А. С. Демин

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (XI–XIII вв.)

А. С. Демин ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (XI–XIII вв.)

STUDIA PHILOLOGICA

STUDIA PHILOLOGICA

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
ОБЩЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ

А. С. Демин

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (XI—XIII вв.)

Ответственный редактор
доктор филологических наук В. П. Гребенюк

РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
МОСКВА 2009

ББК 83.3(2Рос=Рус)3-001.3
Д 30

Издание подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 08-04-16207

Рецензенты:
доктор филологических наук *Е. Л. Конявская*,
доктор филологических наук *А. А. Пауткин*,
доктор филологических наук *Л. А. Софронова*

Демин А. С.

Д 30 Поэтика древнерусской литературы (XI—XIII вв.) / Отв. ред. доктор филологических наук В. П. Гребенюк. — М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 408 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 978-5-9551-0338-9

В книге изучаются литературные средства и способы повествования, использованные в памятниках древнерусской литературы XI—XIII вв. и придавшие им необычайную выразительность, яркость, а иногда и образность. Наибольшее внимание уделяется летописи — знаменитой «Повести временных лет», которой скоро исполнится 900 лет. Делаются экскурсы в историю общественных умонастроений древнейшего периода.

Книга предназначена для медиевистов, преподавателей, студентов и всех тех, на кого чтение древнерусской литературы производит эстетическое впечатление.

ББК 83.3

ISBN 978-5-9551-0338-9

СОДЕРЖАНИЕ

II. Поэтика произведения

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Предлагаемая книга опирается, конечно же, на известную «Поэтику древнерусской литературы» Д. С. Лихачева, но опыт показывает, что у каждого медиевиста свое понимание задач поэтики и свои излюбленные темы. Так и в данном случае предлагаемая книга, во-первых, является не понятийно-теоретической, а историко-литературной поэтикой, рассматривающей категории поэтики в их живом воплощении в литературе; во-вторых, эта книга (кроме ее первой статьи) посвящена изучению литературы только древнейшего периода XI—XIII вв.; и, наконец, в-третьих, автор книги склонен преимущественно к анализу проявлений образности, картинности, изобразительности в памятниках. Наибольшее внимание уделено «Повести временных лет», которой скоро (около 2013 г.) исполнится 900 лет.

В результате получилась в своем роде «микропоэтика» древнерусской литературы, в серии отдельных очерков систематизирующая и объясняющая эстетический смысл фраз и отрывков в основных произведениях избранного периода, но не касающаяся семантики жанров или больших литературных форм. При таком «узком» подходе и пестроте наблюдений тем не менее удается затронуть, пожалуй, одну из самых актуальных сейчас тем — «древнерусская литература как литература» — и в связи с этим показать, как нам кажется, главную эстетическую черту литературы древнейшего периода — дробную яркость впечатлений древнерусских авторов при лаконизме выражения этих впечатлений (подобное своеобразие уже отмечал И. П. Еремин).

Не секрет, что поэтика тесно связана с текстологией, семантикой, историей общественных умонастроений и пр. Поэтому в данной книге естественны регулярные «заходы» в эти области, но пока лишь для постановки тех или иных отдельных вопросов. Ведь, например, специально об общественных умонастроениях XI — начала XIII вв. надо писать уже совсем другую книгу.

Тем не менее автор предлагаемой монографии стремился сразу же проверять свои выводы конкретными древнерусскими текстами, а не заниматься абстрактно-теоретическими медитациями, чего, кстати говоря, так не любил Д. С. Лихачев. Хочется надеяться, что в филологическом отношении, в том числе в исследованиях

древнерусского литературного творчества, «постлихачевское» время окажется не менее плодотворным.

Во всяком случае когорта известных исследователей, изучающих древнерусскую книжность и словесность, сейчас отнюдь не малочисленна. В связи с этим автора предлагаемой книги можно упрекнуть в отсутствии историографических очерков по той или иной теме. В свое оправдание скажу, что историографические очерки имеют тенденцию перерастать в широкие самостоятельные обзоры положения дел в современной русистике-медиевистике; я же старался не отрываться от конкретных задач, рассматриваемых в данной книге, и от круга тех крупных научных работ прошлого, которые непосредственно именно с этими задачами связаны. Однако о ныне живущих в Москве и Санкт-Петербурге ученых, их книгах, их подходах, их личностях, помогающих в эстетическом изучении древнерусской литературы, я помнил и помню всегда. Это, в первую очередь (в алфавитном порядке): Е. М. Верещагин, А. А. Гиппиус, В. П. Гребенюк, И. Н. Данилевский, И. Г. Добродомов, А. А. Зализняк, В. В. Калугин, А. М. Камчатнов, А. В. Каравашкин, В. М. Кириллин, Е. Л. Конявская, В. А. Кучкин, М. Ю. Люстров, К. А. Максимович, А. М. Молдован, Т. М. Николаева, А. А. Пауткин, А. М. Ранчин, Л. И. Сазонова, Л. В. Соколова, Л. А. Софронова, О. В. Творогов, А. Л. Топорков, Н. В. Трофимова, А. Н. Ужанков, Л. И. Щеголева, А. Л. Юрганов.

I

ИЗ ИСТОРИИ ЯВЛЕНИЙ ПОЭТИКИ

К ВОПРОСУ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Произведения XI — середины XIV вв.

Изобразительность повествования является ценной, притом хорошо осознанной писателями эстетической чертой литературы Нового времени, а древнерусская литература вполне могла обходиться без изобразительного повествования, довольствуясь лишь общей его выразительностью. Но отрицать эпизодическое появление изобразительных выражений, а иногда и изобразительных отрывков в памятниках просто невозможно.

Все дело в том, что же именно обозначать термином «изобразительность» и его различные проявления. Определения этого феномена настолько расплывчаты и разноречивы, что лучше всего руководствоваться практическими упрощениями, подходящими для нашей работы. Допустим, в произведении прямо или косвенно назван какой-нибудь предмет и повторения его характеристик составляют некую логическую тему в произведении. Это еще не проявления предметности, а тем более изобразительности. Под предметностью и даже под *изобразительностью* (слабой) мы понимаем связь двух и более предметов, упоминаемых в рассказе, именно предметную детальность характеристик, то есть *предметные мотивы* в отдельных описаниях объектов или предметные сквозные темы о том или ином объекте в произведениях, а как целое предметные миры произведений, чего в древнерусской литературе немало и о чем в основном пойдет речь при разборе древнерусских памятников.

Под *художественной изобразительностью* же мы понимаем явление семантически более яркое, чем предметная описательность. Тут выделяются два вида явлений. Один вид явлений мы называем *изобразительными мотивами*, которые мы находим в тех частях или отрывках древнерусского произведения, где автором не просто названы предметные детали некоего объекта (героя, события и пр.), но этому объекту приданы необычные, даже фантастические качества, не соответствующие привычной реальной действительности.

Вот, например, рассказ о рождении Иисуса Христа в апокрифическом «Евангелии Иакова», переведенном на Руси рано, возможно, до XII в.[1] Иосиф ввел беременную Марию в вертеп, и пошел искать повитуху, и, как он рассказал, «възрех на небо и видех кругъ солнечьныи стоящь; и видех птица небесныа молъчаща; и, позревъ на землю, и видех делателя възлежаща и не делающа делъ своих; и рукы их въ опаницах почрьплюще и къ устом не приношаху; и жующе, не проглотяхуть; но всем очи бяху на небо зряще; и видех овца женомы, и стояху, не идуще; и възведе пастырь руку, хотя ударити овца, и рука его стояше горé; и позрех в потокъ, и видех уста козлищь прилежаща к воде и не пьюща»[2], — странно застыл мир, окружавший Иосифа; застыл даже сам Иосиф: «идыи, не идях». Это художественный изобразительный мотив необычного мирового замедления в ожидании рождения Христа.

В единую изобразительную тему могли сцепляться предметные детали и мотивы на протяжении произведения, причем мотивы или темы могли быть слабыми в предметном отношении, но одновременно в чем-то все-таки изобразительными. Подобные случаи нередки в оригинальных древнерусских произведениях, в чем также можно будет убедиться далее.

Но есть еще другой вид художественной изобразительности, представленный простейшими *художественными образами*, — возникают они, когда у автора один предметный объект ассоциируется с другим предметным объектом, порождая образ-«кентавр» того, что не существует в реальности.

Образы-«кентавры» довольно редки, бедны и чаще всего неоригинальны в древнерусской литературе. Приведем лишь элементарный пример из переводного же апокрифа — «Слова о трех мнисех» (или «Жития Макария Римского») XIII–XIV вв.: у отшельника Макария рядом с его пещерой жила львица с двумя львятами, и когда Макарий согрешил с блудницей, то, по рассказу Макария, «лвица разъгневашася на мя и киваста на мя главами своими, видяще грехъ мои, и звахъ я, и не идоста ко мне. Умолихъ я, и повелехъ имъ ископати яму при угле внутрь пещеры. Ископаста яму когты своими… и придоста лвища, плачющася о мне, и загребоста мя въ яме» (141, стб. 2), — огорченные львы здесь явно очеловечены. Образ очеловеченных львов традиционен и встречается, в частности, уже в «Синайском патерике» XI в.

Образы также могли сцепляться в единую изобразительную тему в произведении, но уже в гораздо более поздней литературе.

Все наши наблюдения не сводятся лишь к инвентаризации предметных и изобразительных деталей, мотивов, тем и образов в памятниках. Мы пытаемся установить причины появления элементов художественной изобразительности или картинности у древнерусских авторов (их *умонастроения*) и даже стараемся предположить, было ли и каким было сообщество писателей в Древней Руси, использовавших способы художественной изобразительности.

Намеченный нами подход в чем-то подтверждает и дополняет, но не отменяет и не подменяет собой других характеристик памятников другими исследователя-

ми, в конечном же счете — позволяет оценить перспективу связи литературы древнерусской с литературой Нового времени, чем успешно уже занимались Ф. И. Буслаев, И. П. Еремин, Д. С. Лихачев.

1. Переводная литература: изобразительное разнообразие

Богатейшей предшественницей оригинальной древнерусской литературы явилась литература переводная, и естественно начать наше исследование изобразительности с переводной литературы. Мы ограничимся наблюдениями над небольшим, но на наш взгляд, изобразительно типичным материалом, — «Успенским сборником» с переписанными в нем житиями, апокрифами и поучениями; разнообразными апокрифами, изданными Н. С. Тихонравовым; отчасти «Хроникой» Георгия Амартола и отчасти же «Шестодневом» Иоанна Экзарха.

Пространные описания строений, одежд, вооружений, войск, болезней, знамений и пр. в переводных памятниках большей частью были фактографичны и почти или вовсе не изобразительны. И все же своего рода «блестки» изобразительности в виде традиционных предметных сравнений, формул и выражений были рассеяны по множеству переводных текстов. Разнообразные «блестки» в описания людей или предметов вносились, например, сравнениями со снегом. Конечно, поминалась белизна снега: «одежа его бела, яко снегъ» (Слово Иоанна Златоуста от сказания евангельского в Успенском сборнике[3]); «одение его бело, яко снегъ» (Слово Григория Антиохийского на погребение и воскресение Иисуса Христа в Успенском сборнике, 398); «пътице… белы, яко и снегъ» (Хождение Агапия в рай в Успенском сборнике, 468); «церкы видима, яко снегъ на горе высоце лежащь видети бяше, зане белыми мраморы уставлена» (Хроника Георгия Амартола[4]) и т. д. Белизна снега служила мерилом белизны: «лежаще хлебъ… белеи снега» (Хождение Агапия в рай в Успенском сборнике, 470); «явиша же ся душа ихъ — паче же седмерицею белеиша, яко и снегъ» (Мучение Вита, Модеста и Крестяниция в Успенском сборнике, 229); «яви же ся душа его седмицею белеиши снега» (Мучение Еразма в Успенском сборнике, 220). Одновременно авторы отмечали не собственно белизну, а сияние снега: «свьтяше же ся тело его, яко снегъ» (Мучение Вита и др. в Успенском сборнике, 227); «акы снегъ сияющааго ся бисьра» (Слово Иоанна Златоуста о собрании собора на Господа в Успенском сборнике, 316). Кроме белизны и сияния авторы иногда припоминали жгучую студеность снега («раждьженая риза, въ ню же и́ облекоша, бысть студена, яко снегъ» — Мучение Еразма в Успенском сборнике, 215) или быстроту его таяния («тело его растаяше ся, яко снегъ отъ уга» — Мучение Христофора в Успенском сборнике, 187).

Множество иных предметных сравнений и сопоставлений, особенно бытовых, регулярно употреблялось в переводных памятниках, а затем перешло и в произведения собственно древнерусские.

Переводная литература использовала и более развернутый вид изобразительных средств изобразительные мотивы, составлявшие резкий контраст обычному или привычному в жизни, придававшие остроту сюжетам. Например, на контрастном фоне прекрасной погоды отчетливей рисовалась внезапная страшная буря: «Солнце бяше напущая светьлыя своя луща, яко и въ жатву. И вънезапу бысть тьма, и мълния, и громи, и дъждь велии паде зело… Бысть же дъждь въкупь 3 дни и 3 нощи» (Житие Епифана в Успенском сборнике, 262). Чаще же контрастный фон лишь подразумевался, как например, при описании внешности каких-либо особенных существ, но тем неожиданней развивался тот или иной сюжет: «И видехъ сторожа адовныя, стояща у превеликихъ воротъ: яко аспиды велики, лиця ихъ; и очеса ихъ, яко свеща потухлы; и зуби имъ обнажени до перси ихъ» (из Книг Еноха Праведного[5]), на подразумеваемом фоне обычных человеческих лиц это действительно страшилища, которых увидел смиренный Енох. Таким же способом изобразительно выделялись самые разные объекты описаний: необычное поведение людей и животных («Епифанъ же, яко же бяше лежа мьрътвъ, въздвигъ ногу свою десную, пьхну и́ въ лице» Повесть Поливия о Епифане в Успенском сборнике, 292; «святыи же Витъ, сътворь крестъ, пресили гневъ львовъ, и текъ львъ, предъ ногама его паде и языкъмъ своимь отираше потъ лица его» Мучение Вита и др. в Успенском сборнике, 228); исключительно же изобретательно и помногу изображались физические муки людей, как на этом, так и на том свете («призрехъ еще на огненую реку и видихъ ту человека стара влачима, и погружаше и́ до колену, и приде ангелъ Итмелдюхъ, имыи в руку своею железо велико, на четыри части остро, и на немь изволочаше утробу старцю усты» и пр. Хождение апостола Павла по мукам[6]).

В переводных произведениях использовались и совсем большие, так сказать, «нагнетательные» описания состава и качеств описываемого объекта, выражавшие гиперболизированные или идеализированные авторские представления об объекте. Вот, например, описание умершего человека: «Образъ лежащаго помышляю, нъ ныне его не вижю у него. Къде доброта лиця? Не се ли очьрьне? Къде покывающии очи ясней? Не се ли растекосте ся? Къде власи лепии? Се отпадоша. Къде възнесеная выя? Се съкруши ся. Къде бързыи языкъ? Се умълъче. Къде руку доброта? Се расыпа ся. Къде величьство тела? Се растая ся. Къде ризъ украшение? Се истьле. Къде благоухание и добре воняющия? Се въсмьрьдеша ся. Къде безумие уностьное? Се мину» (Слово Иоанна Златоуста о терпении в Успенском сборнике, 448). Из этого предметного перечисления парадоксальным образом вырисовывается облик цветущего человека, каким тот, по представлению Иоанна Златоуста, был при жизни, и облик этот безусловно идеализированный, — «великовеличавыи человекъ». И мертвец тоже в своем роде идеальный.

«Великовеличавых» людей, застывших в своем величии, в первую очередь и изображали авторы переводных произведений, например, то, как выглядит князь в глазах потрясенного смерда: «Яко же смръдъ, и нищь человекъ, и странъ, пришедъ изьдалече… аще се прилучити ему и кнеза видети, седеща въ сраце, бисеромь по-

кыдане, гривну цетаву на выи носеща, и обручи на руку, поясомъ вълъръмитомъ поясана, и мьчь златъ при бедре висящь, и оба полы его болеры седеще въ златахъ гривнахъ и поясехъ и обручьхъ», то долго продолжает «чюдити се красоте» (Шестоднев Иоанна Экзарха[7]), — описан идеально представительный князь, тем более что этот бедный зритель «не бо естъ виделъ на своеи земли того».

Но крупные «нагнетательные» изобразительные мотивы не так уж часто встречались в переводной литературе. Еще более редкими являлись переводные произведения, авторы которых даже в переводе представали как художники слова на всем протяжении их повествования, правда, не сплошь, а местами.

К таковым относилось, например, «Мучение Иринии» в «Успенском сборнике». Автором этого произведения в самом конце текста был назван старец Апелиян («се же написа Апеилянъ старьць духъмь святыимь» — 160). Этот Апелиян (автор условный или реальный) составил эстетически интереснейшее житие Иринии, использовав — случай редчайший — действительно образы «кентавры». Так, после фактографического описания «столпа» (охраняемой территории, огражденной стенами, с богатыми помещениями и садами, вероятно, в крытых дворах), куда цесарь заточил свою красавицу-дочь Иринию до достижения ею брачного возраста, автором была приведена отчаянная речь заключаемой отроковицы к отцу: «Живу ли мя *въ двьрьхъ ада* погребаеши, отче? Иде же къ т[ому] не възмогу гла[голати, мате]ре моея слышати, ни иноя жены. Солнця не вижю, пътиць небесьныихъ не вижю, нощи и дне не вижю. По земли не хожю, ни обувения требую лепоте... Съвьрьстьниць своихъ не вижю, — вьсея твари лишаю ся» (136–137). На благоустроенный «столп» были перенесены признаки мрачного преддверия ада, — возник несомненно трагический образ.

Однако, образ столпа — адского преддверия у автора жития был все-таки неотчетливым; далее в житии автор лишь однажды еще раз затронул эту тему, но уже не в связи со «столпом»: очередной, второй цесарь, мучитель Иринии, «повеле быти рову 30 стопъ въ высоту и въ широту и въмстати ту аспиды, и схидьны, и керасты, и василиски, и тъгда въврещи деву, и въскоре беседовати еи къ аду» (147), — на этот раз ров предстал как преддверие ада.

Автор жития проявил лишь эпизодическую, но все же склонность к созданию образов-«кентавров», по крайней мере, еще два раза. Так, автор рассказал о необычайно изощренном мучении Иринии: третий цесарь, тоже мучитель Иринии, «повеле въбити ей въ пята 300 гвоздии; и, насыпавъше же вретище песъка, възложиша на плещи ся; и въложиша си въ уста бръзды, преподобьнеи деве, влачаще же ю, *яко и скотъ* ... слугы потязающе бръзды, влечаху къ граду, ругающе ся» (152), — на Иринию были перенесены признаки скотины, подкованной гвоздями, тяжело нагруженной и с проклятьями тащимой под уздцы. Сама Ириния это подтверждала: «въ истину, *яко скотъ* быхъ у тебе, Господи».

Но до того образ-«кентавр» остался совсем не развит автором: конь «устрьмивъ ся на цесаря и, зубы емъ, укуси ему десную руку, *яко травы*... цесарь паде

на земли и издъше» (144), откушенная конем «травяная» рука цесаря изобразительно эффектна, но упомянута мимолетно.

У всех этих трех образов-«кентавров», а также и у иных изобразительных средств в житии бесспорной была принадлежность к единой изобразительной теме, пронизавшей все произведение, — автор живописал тяжелейший физический ущерб, нанесенный персонажам, притом не только мученице, но и ее мучителям или вообще лицам или объектам посторонним. Даже ребенок мучился: «отроча 6 лет утрапиво и зело исъхло, исхожаху бо ему из ноздрии чърьвие съ гноемь, врежена ему слуха, немо и глухо, и отинудь вьсеми болезньми одьрьжимо» (153). Природу тоже донимали болезненные катаклизмы: «вънезапу же бысть въздухъ, и съмятение, и быша мълния, и громи, и боязнь велика … съмущающю бо ся аеру, бысть трусъ великъ» (149), далее «вънезапу зину земля» (152) и пр. Длинная череда мучений Иринии была самой разнообразной, она, пожалуй, несколько гуще их обычного, традиционного набора в мученических житиях, на основании чего автора «Мучения Иринии» старца Апелияна можно заподозрить в искусстве показывать «хытрость мукам» (147), правда, без жестокости (у автора подавляющее количество мук либо не ощущались героиней, либо оканчивались исцелением и воскрешением большинства пострадавших персонажей, кроме самых мерзких, либо служили лишь высказываемой, но не сбывшейся угрозой). Таков был один из образчиков переводной литературы, больше других приближавшийся к художественно-изобразительным, а не просто повествовательным произведениям, однако не оказавшей заметного влияния на древнерусских писателей. Переводная литература составила своего рода изобразительный «филиал» на Руси, но для уверенного вывода на этот счет сначала надо обозреть оригинальные древнерусские памятники, чем мы и займемся далее.

2. Митрополит Иларион: мотив праздничности

Древнерусские писатели все-таки шли своим путем соответственно своим умонастроениям. Так, митрополит Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати», можно сказать, воздержался от изобразительных мотивов, а ограничился лишь мотивами предметными.

В своем «Слове» Иларион многократно затрагивал предметный мотив торжественных людских сборищ. Это одна из основных предметных тем его «Слова», которое он начал с обозначения некоего сообщества небесных сил и людей, как бы одновременно занятых торжественным поклонением Богу, пришедшим на землю: «Да хвалимъ его убо и прославляемь, хвалимааго от аггелъ беспрестани, и поклонимся ему, ему же поклоняются херувими и серафими, яко призря призри на люди своа… пришедъ на землю»[8]. Степень ясности, предметности, а тем более изобразительности мотива торжественного собрания людей в этом отрывке очень мала,

потому что проповедник больше был сосредоточен на богословских отвлеченных рассуждениях.

Но далее Иларион снова и уже прямо упомянул торжественное людское сборище вкупе с ангелами, на этот раз по-своему пересказав библейскую историю: «сътвори Авраамъ *гоститву* велику… гоститву и пиръ великъ тельцемъ упитеныим… съзвавъ на едино веселие небесныа и земныа, съвокупивъ въ едино аггелы и человекы» (16). Никакой попытки Илариона придать хотя бы слабую изобразительность повествованию не наблюдается.

И все же дальше Иларион вновь упомянул людское собрание, правда, уже на небе: «мнози ото въстокъ и западъ приидут и *възлягуть* съ Авраамомъ, и Исакомъ, и Аковомъ въ царствии небеснемь» (23), — упоминание о сборище совсем мимолетное, притом в составе евангельской цитаты, не специально посвященной теме людского собрания и, скорее всего, лишь формально примешавшейся у Илариона к данной теме.

Однако потом Иларион опять вспомнил о торжественном собрании людей, как бы одновременно поклоняющихся Спасу: «… распятому поклонитися… рукы к нему въздеваемь… друг друга и всь животъ нашь тому предаемь… *въ всех домех* своих зовемь… молимъ Бога…» (25). Предметности тут чуть побольше, чем в предыдущих мотивах людского сборища, но изобразительности — нет снова.

Затем Иларион отметил сборище людей в «земли гречьске»: «кланяются… *церкви* люди исполнены… вси гради… вси въ молитвах предстоять» (27). Мотив одновременного собрания людей (пусть и отдельными «кучками») в очередной раз был неясно выражен Иларионом, погруженным в историко-церковные припоминания по поводу крещения Руси.

Наконец, Иларион перешел и к сборищу русских людей: «и *въ едино время* вся земля наша… мужи и жены, и малии и велиции, — вси люди исполнеше святыа *церкви*» (28–29). Но и тут Иларион остался верен себе, лишь мимоходом затронув мотив торжественного людского собрания.

В общем, тема людских собраний все же как-то привлекала Илариона, отчего он любил перечислять в «Слове» различные скопления людей, — новозаветные (перед Христом «слепыа… прокаженыа… сълукыа… бесныа… раслабленыа… мертвыа» — 21), ветхозаветные («царие земьстии и вси людие, князи и вси судии земьскыи, юноше и девы, старци съ юнотами да хвалять имя Господне» — 26), но больше всего русские собрания («всемъ быти христианомъ, — малыим и великыимъ, рабомъ и свободныим, уным и старыим, бояромъ и простыим, богатыим и убогыимъ» — 28; перед Владимиром посчастливилось предстать «убогыимъ… сирыимъ… болящиимъ… дължныимъ… вдовамъ… всемь требующимъ милости», «нагыимъ… алъчьныимъ… жаждющиимъ… въдовицамъ… странъныимъ… бескровныимъ… обидимыимъ… убогыимъ» и т. д. и т. п. — 30, 34).

Однако тема торжественных людских сборищ осталась в «Слове» второстепенной, не очень отчетливой, минимально предметной и почти не выраженной изобразительно, что соответствовало сложному характеру «Слова» Илариона —

то ли богословскому трактату, то ли ученой проповеди, то ли поучению, то ли похвальному слову. Творческая оригинальность Илариона здесь была невелика. Соответствующая литературная традиция изображения празднеств давно была известна на Руси. Достаточно сослаться хотя бы на два переводных произведения из «Успенского сборника», — анонимное (или Кирилла Иерусалимского?) «Слово на явление честного креста над Голгофою» и Иоанна Златоуста «Слово на вербницу». «Слово на явление креста», произносимое «въ светьлыи день праздьника»[9], рисует торжественное сборище, — под великим пространством небесного креста стоит великая же масса поющих людей: «превеликыи крьстъ светъмь съставленъ на небеси… простьртъ яви ся… дълго и многы часы надъ землею яви ся лучами… Темь же тъгда абие сътекоша ся вьси гражане въ святую церковь Богоявления, страхьмь обьдьрьжими, — уноты же и старьця, мужи и жены, и самы чьртожьниця, тоземьци же и страньнии, крьстияни и погании. Въкупе же вьс и, яко единеми усты, въспеша» (165–166). Это изображение более крепко сбито и отчетливо, чем рыхлые предметные мотивы в «Слове» Илариона.

В «Слове на вербницу» же Иоанна Златоуста, тоже «о святемь праздьнице», мотив сборища людей ослаблен: «Придете убо вьси, да радуемъ ся о Господи, придете вьси языци, да съплещемъ руками и кликнемъ Богу, спасу нашему, гласъмь весселъмь» (385). Как бы то ни было, Илариону было на что опереться при описании торжественных людских собраний, и сюда ничего принципиально нового он не внес.

Не совсем обычная же частота повторений мотива сборищ в «Слове» объясняется склонностью Илариона регулярно возвращаться в своем произведении к идеологически важным понятиям и явлениям. Поэтому он и завершил свое «Слово», доведя мотив торжественных сборищ до апофеоза, до мотива праздничности Киева, — указал центр, главную святыню — лежит умерший Владимир: «мужьственое твое тело ныне лежит, жида трубы архаггелъскы» (32); вокруг Владимира возвышается Десятинная церковь, которую Ярослав празднично «съ всякою красотою украси, — златомъ, и сребромъ, и камениемь драгыимъ, и съсуды честныими»; вокруг же церкви простирается обширная зона славы: «яже церкви дивна и славна всемъ округъниимъ странамъ, яко же ина не обрящется въ всемь полунощи земнеемь ото въстока до запада» (33). Еще больше праздничен Киев: «славныи градъ твои Киевъ величьствомъ, яко венцемь, обложилъ… градъ величьствомъ сиающь… церкви цветущи… град иконами святыихъ освещаемь и блистающеся, и тимиа
номъ обухаемъ, и хвалами и божественами и пении святыими оглашаемь» (33–34). Под конец Иларион снова вернулся к центральной святыне, — это нарядно одетый Владимир: «ты правдою бе облеченъ, крепостию препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ венчанъ, и милостынею, яко гривною и утварью златою, красуяся» (34). Однако Иларион и тут не думал о создании праздничного изображения, — тема лишь исподволь формировалась в тексте из отделенных друг от друга похвал Владимиру, Ярославу, Киеву и Десятинной церкви.

Иларион являлся догматичным книжником, но не художником, о чем особенно четко свидетельствует мотив как бы воскрешения Владимира в самом конце «Сло-

ва». Иларион перенес на умершего князя признаки спящего и пробуждающегося ото сна человека: «Въстани, о честнаа главо, от гроба твоего! Въстани! Оттряси сонъ! Неси бо умерлъ, нъ спиши до обьшааго всемъ въстаниа. Въстани, неси умерлъ!.. Оттряси сонъ, възведи очи, да видиши... Въстани, виждь чадо свое... и възрадуися и възвеселися» и т. д. (33). Однако создание эффектного образа и тут не нужно было Илариону, и он лишь богословски объяснил слушателям, в чем дело: «Виде же аще и не теломъ, но духомъ показаеть ти Господь вся си» (34). Повествование Илариона, увы, не изобразительно.

Но перейдем к простейшей основе изобразительности — к предметному миру в «Слове» Илариона. Чаще всего Иларион повторял одиночные мелкие детали, степень изобразительности которых была минимальна или исчезающе мала. В качестве примера можно сказать о предметной теме одевания-облачения персонажей, которая у Илариона была всегда связана с какими-либо значительными, торжественными событиями: Христос на землю «въ плоть *одевься*, приде» (13), «*повиться въ пелены*» (20); Владимир «въ Христа *облечеся*» (27—28), «правдою бе *облеченъ*» (34). С одеванием были связаны и другие объекты, — «сыны своа въ нетление *облачить*» (19); «нагы *одевая*» (31), «нагыимъ *одение*» (34); «въ лепоту *одеша* святыи церкви» (28—29); «Кыевъ, величьствомъ, *яко венцемь, обложилъ*» (33). Вся эта череда «одевательных» элементов не составила цельной предметной темы из-за полной символичности смысла у большинства из них.

И все же предметный мир оказался не таким уж скудным в «Слове» Илариона. Понаблюдаем за повторяющимися сочетаниями предметных объектов в «Слове». Используя их, Иларион ввел многочисленные микросюжеты в текст своего богословско-символического произведения и тем самым отразил свои обобщенные представления об обычном ходе тех или иных предметных событий. Например, Иларион обозначил, что обычно происходит в мире природы: солнце встает над землею («солнцю восиавъшу... солнечьнеи теплоте землю съгревши», «солнцу светъ сниде на землю» — 17, 20). Такой обобщенно-предметный микросюжет о земле вполне благополучен: человечество не только согрето, но и стало ходить свободно при солнечном свете («человечьство... въ благодети пространо ходить... при благодетьнеим солнци» — 17).

Далее Иларион добавил новые микросюжеты о том, что же случается с землей: на иссушенную землю проливается вода («всю землю обять и ако вода морьскаа покры ю», «по всеи же земли... дождь благодетныи оброси», «источникъ наводнився и всю землю покрывъ», «пусте бо и пресъхле земли нашеи сущи... зною исушивъши ю, вънезаапу потече источникъ... напаая всю землю нашу» — 18, 23, 24). В благополучности и этого микросюжета сомневаться не приходится («и до насъ разлиася», «пиемъ источьникъ» — 23, 25).

Одновременно коснулся Иларион и микросюжетов из другой области, — о человеческой деятельности, в частности, о плавании по морю («пучину... преплути», «исъходящеи въ море и плавающеи по нему», «сущиимъ въ мори далече», «пучину преплути» — 18, 26, 35), и этот микросюжет также был благополучен («и

въ пристанищи… заветриа пристати, невредно корабль… съхраньшу и съ богатеством» — 35). Микросюжеты на бытовую тему были единичны («съсудъ скверненъ… помовенъ водою… прииметь млеко» — 14).

Обильнее же всего Иларион использовал обобщающие микросюжеты из церковной жизни, особенно во второй половине своего «Слова», например, о наполнении церквей людьми («церкви люди исполнены», «вси людие исполнеше святыа церкви», «въ святыа церкви чястять» — 27, 29, 33). Конечно, и этот микросюжет был у Илариона вполне благополучен, как и иные микросюжеты из той же области («манастыреве на горах сташа» и пр. — 29).

В своем «Слове» Иларион обращался и к такой разновидности предметного повествования микросюжета, как сталкивание взаимоисключающих или как бы враждебных друг другу объектов, — чаще из области природы («отиде бо светъ луны, солнцю въсиавъшу»; «езеро пресъше… источникъ наводнився»; «зоре… явившася, тогда тма… погыбе» — 17, 23, 29), а также из церковной жизни («капища разрушаахуся, и церкви поставляахуся» — 28). И постоянно эти микросюжеты у Илариона оказывались благополучными, — плохое заменялось хорошим.

Наряду с микросюжетами Иларион использовал и другое средство предметности в повествовании — повторяющиеся упоминания частей или качеств того или иного целого, отражавшие обобщенные представления проповедника о том или ином объекте. Вот характерный пример: из чего «состоит» церковь как здание? — Из икон, алтаря, сосудов, фимиама и пр. («церкви поставляахуся… и иконы святыих являахуся… епископи сташа пред святыимъ олтаремь… темианъ Богу въспущаемь»; «дом Божии великыи… украси… златомъ и сребромъ, и камениемъ драгыимъ, и сосуды честныими»; «церкви цветущи… град иконами святыихъ освещаеше и блистающеся, и тимиаvномъ обухаемь» — 28–29, 33–34). Такого рода перечисления содержали уже не столько микросюжеты, сколько микрокартинки, и тоже благополучные («въ лепоту одеша святыа церкви» — 28–29).

По «Слову» рассыпаны также повторяющиеся упоминания главных качеств или функций отдельных предметов из разных областей жизни. Микросюжеты или микрокартинки тут намечены совсем скупо. Так, по обобщающим представлениям Илариона, солнце — светит; источник — поит; город — чем-то окружен («градъ… обложять», «градъ… яко венцемь обложилъ» — 22, 33); книги — писаные («въ… книгах писано», «написася въ книгы» — 14, 28); руки — в молениях («рукы к нему въздеваемь», «въсплещете руками» — 25, 26) и т. д.

К этому можно добавить еще библейские цитаты и пересказы у Илариона, — они у него часто содержат упоминания предметов: гора, холм, болота, олень, звери и птицы, «кокошь» со своими птенцами (25, 24, 22); дом, двери, дуб, молоко, пеленки, пир с тельцом, мехи и вино (15, 20, 16, 23).

Предметный мир в «Слове» Илариона хотя и не составлял целого, но все же являлся достаточно насыщенным. То есть Иларион все же не стремился рассуждать только абстрактно; не таким уж чистым теоретиком он был.

В общем, предметный мир в «Слове», как правило, отличался благополучностью. Правда, Иларион начал свою проповедь с грустной предметной темы, положения умершего в гроб, — и далее к этой теме неоднократно возвращался («пострадавы… плотию и до гроба… въ гробе полежаниемь»; «человекъ въ гробе положенъ бысть»; «тело… лежит» — 13, 21, 32). Однако постоянно Иларион связывал эту тему с умиротворенной мыслью о воскресении из мертвых («въстани, о честнаа главо, от гроба твоего» — 3). Благополучный предметный мир «Слова» показывает, насколько глубоко Иларион был проникнут небывалым до него на Руси идеализирующим, даже праздничным настроением удовлетворенности жизнью.

Иларион, действительно, был «мужь благъ, книженъ и постникъ», как охарактеризовала его «Повесть временных лет»[10], однако все же он писал не с абсолютной глухотой к предметно-изобразительному слову. Возможно, поэтому, а не только по традиции, Иларион «слово еуагельское» определял как сияющее (28).

На фоне переводной литературы, в том числе ярких поучений Иоанна Златоуста, Иларион-проповедник выглядел преимущественно как схематизатор воспеваемых торжеств. Древнерусская литература начиналась с торжественных сочинений лишь со слабыми предметно-изобразительными мотивами и темами.

3. Нестор-агиограф: позы как доказательства

Два древних произведения одного автора оценим с точки зрения изобразительности и авторского умонастроения. Первое произведение — «Чтение о Борисе и Глебе», составленное Нестором, — отличается однотипностью предметных деталей. Вот Нестор описал, например, как прощался перед походом на врагов блаженный Борис с отцом своим князем Владимиром: «Блаженый же, *падъ, поклонися* отцю своему, и *облобыза* честнеи *нозе* его, и пакы *въставъ, обуимъ* выю его, целоваше съ слезами»[11]. Позы Бориса упомянуты в пространственной последовательности, — с ног до головы Владимира, — отсюда некоторая изобразительность приведенного описания. Но все предметные детали совершенно традиционны, и, собрав их, Нестор-агиограф, вероятно, постарался «всемъ послушающимъ жития» (1) показать через позы героя его основное качество — идеальную послушливость Бориса своему отцу, которую и до этого эпизода Борис проявлял тоже.

Далее, упоминая традиционные позы, Нестор продолжил изображать смирение Бориса даже в момент его убийства: «целова вся, възлеже на одре своемь… изиде изъ шатра и, въздевъ на небо руце, моляшеся» (11).

Точно тем же способом — последовательностью традиционных поз — Нестор изобразил смирение и набожность Глеба: «падъ посреде церькв и, молися… и, вставъ отъ земля, иде ко иконе святыя Богородица и ту, падъ, поклонися съ слезами, и целовавъ образъ святыя Богородица» и пр. (8).

И затем четко нарисованными традиционными позами Нестор обозначил главные черты всех остальных персонажей жития. Слуги жалостливы: «и доша къ бре-

гу, жалящеси по святомь и часто озирающеся, хотяще видити, что хощеть быти святому» (12)[12]. Безжалостный повар зарезал Глеба, став в несколько вычурную позу: «Оканьный же поваръ… изволкъ ноже свой и ятъ святого Глеба за честную главу… ставъ на колену, закла и главу святому, и пререза гортань его» (13). Некий отрок был инвалидом, о чем свидетельствовала его поза: «отрокъ хромъ: бяше бо нога его скорчена и суха, акы трость… Не могы ходити, древяную ногу подъделавъ, хожаше» (17). Эффектное исцеление другой болящей: «Рука же еи бе десная яко суха… И се отрышеся отъ выя поясъ, им же бе рука ея възвязана, и паде на земли, рука же еи простреся и бысть цело, яко и другая» (24). И т. д.

Зачем Нестору понадобилось буквально при каждом удобном случае упоминать позы персонажей? Судя по контексту, желание убедить «братию» в подлинности сведений, им сообщаемых. О своем стремлении к подлинности Нестор предупреждал прямо: «елико слышахъ отъ некыхъ христолюбецъ, то да исповеде» (1); «нъ никому же неверно ла не мнится» (22); «опасне велуших ъ испи савъ я, другая самъ сведы» (26). Сами персонажи у Нестора тоже «хотя истее слышати» (20) о событиях.

Главным доказательством подлинности событий служили у Нестора ссылки на непосредственных свидетелей, видевших события своими глазами: « верниии людие *видевше*», «мнози людие стояще окрестъ его и *зрящии* на нь, и всемъ *зрящимъ*» (22); «мнози поведаху, *видевше*» (25). Однажды автор жития сослался даже на самого себя: «уже не отъ инехъ слышалъ, нъ и *самовидець* бысть» (19). Даже кратко упоминаемые Нестором евангельские события тоже именно виденные: Христос в присутствии апостолов «мьногажды имъ чюдеса створь предъ ними и предъ всимъ народомъ… *Видяху* бо чюдеса многа, яже творяху святии апостоли» (2–3). А в рассказ о главных героях жития Нестор тоже предпочитал вставлять упоминания о зрении и глядении, например, в рассказ об убийстве Глеба: «и *узреша* иже беша съ святымъ… Святый же Глебъ… глаголаше бо имъ: "…ведуть мя къ брату моему, и онъ, аще *видит* мя… И они да придуть ко мне. Ти *видимъ*…" …Оканьнии же тии, *видевше* корабль… Святый же, *видевъ* я… *възревъ* на небо» и др. (12).

Использованные Нестором эпитеты, сравнения и символы в подавляющем, даже в абсолютном большинстве, — это зримые «световые» свидетельства: Борис и Глеб «*светящеся*, акы две звезде светле» (5); «*светящася*, яко молнии» (14); «яко же бо солнецьныя луча *сияюща*» (16); «беста акы снегъ *белеющаяся*, лице же ею *светяся*, акы ангелома» (17); ангелы — «*светлии*» (13); Феодосий Печерский «*светяся*, акы солнце» (21) и т. д.

Для «световой» направленности доказательств Нестора показательно, что из всех литературных средств он делал пояснения тоже только к «световым» символам и средствам. Например, Нестор провел различие между огнями над телами святых и над закопанным кладом: «Многажды нощию на месте томъ видяху, идеже лежащеть тело святого Бориса и Глеба, овогда свеще, овогда столпъ огньнъ с небесе сущь. Аще бо или сребро, или злато скровено будеть подъ землею, то мнози видять огнь горящь на томъ месте, — то и то же дьяволу показающю сребролюбыхъ

ради» (15 16). В конце жития Нестор опять-таки прибег к пояснению светового символа: Борис и Глеб «есть светьле неугасающи и солнца светьле йши: солнце бо отъ облакъ и нощи мьногажды покрывается, светиле же блаженою, н ощь и день не оскудея, светъ посещая тьмьныя» (26).

Наконец, отношение Нестора к зримому свидетельству как наилучшему особенно явственно выдает, как нам кажется, еще одно пояснение в житии. По сообщению Нестора, князь Ярослав повелел написать икону, изображающую Бориса и Глеба, да такую, что «вернии людии… видяще ею образъ написанъ и акы самою зряще» (18), — в данном рассказе вовсе не было обязательно отмечать сходство иконописного изображения с реальным обликом святых, тут проявилась личная тяга Нестора к использованию именно изобразительных доводов для убеждения читателей в подлинности описываемых им событий.

В общем, Нестор-агиограф не искал и не открывал новые изобразительные детали или средства, но прилежно отбирал их из широкого фонда традиционных средств, которые служили ему не для собственно изобразительной, а для убеждающе-поучительной цели.

Теперь перейдем к анализу другого произведения, написанного Нестором после «Чтения о Борисе и Глебе», — к «Житию Феодосия Печерского».

Несомненным художественным достижением Нестора было изображение матери Феодосия Печерского. В рассказе о ней Нестор вроде бы перенес на женщину признаки мужчины, мать Феодосия мужеподобна: «бе бо и телъмь крепъка и сильна, яко же и муж; аще бо кто и не видевъ ея, ти слышааше ю беседующа, то начьняше мьнети мужа ю суща»[13]. Однако вряд ли здесь Нестора увлекло создание именно образа матери Феодосия, так как больше нигде агиограф не повторил экстравагантного переноса признаков мужчины на женщину. Нестор просто прибег к контрасту облика матери с обычным обликом женщины. Скорее всего, мать Феодосия была мужеподобной в реальной действительности, и поэтому Нестор упомянул эту контрастную черту, возможно, как объяснение особенностей поведения этого персонажа.

Изобразительная заслуга Нестора заключалась в создании мотива (вернее, изобразительной темы) оголтелой агрессивности матери Феодосия путем настойчивого повторения одних и тех же предметных деталей, относящихся к матери, и их накапливания по мере развертывания пространного житийного повествования[14]. Так, нагнетались ее позы крайнего возбуждения: «абие погъна въ следъ» Феодосия, «гънаста путь мъногъ, ти тако пристигъша, яста и́, и отъ ярости же и гнева мати его имъши и́ за власы, и поврьже и́ на земли, и своима ногама пъхашети и́» (76). Или потом: «плакааше ся по немь, люте биющи въ пьрси своя» (80 81).

Изображение Феодосия Нестор составил в житии по тому же принципу многократного упоминания одних и тех же деталей облика Феодосия, при том главным элементом в изображении Феодосия служили его благочестивые позы. Нестор неуклонно фиксировал то, как Феодосий сидел: «обнаживъ тело свое до пояса, сядяше, прядыи… Отъ множьства же овада и комара все тело его покръвено будяше…

отець же нашь пребываше не подвижимъ» (87); «николи же на ребрехъ своихъ ляжашеть, нъ аще коли хотящю ему опочинути, то седъ на столе и тако мало посъпавъ» (90); «седящю и прядущю нити» (97); «блаженыи же… седя, и долу нича, и яко малы въсклонивъ ся» (123). Отмечал Нестор и то, как Феодосий стоял: «Ставъ въ двьрьхъ церковьныихъ, учаша вься» (90); «ставъ, прославяше… Бога» (91). Прослеживал Нестор положение рук Феодосия: «ударивъ своею рукою въ двьри» (91); «псалтырь усты поющю тихо и рукама прядуща вълну» (100); «предъ церковию стояща, руце же на небо въздевъ» (117) и пр. Указывал Нестор позы Феодосия при встречах с другими людьми: «поклони ся имъ и любьзно целова я» (75); «видеста другъ друга, падъша оба въкупе, поклониста ся и тако пакы охаписта ся» (96); «емы и́ за руку» (99); «падъ на пьрсьхъ его» (102); «палъку свою дающю ему» (133). Особенно же часто Нестор рисовал покорные молитвенные позы Феодосия: «моля ся Бога съ плачьмь и часто къ земли колене прекланяя» (101); «моляща ся, и вельми плачюща ся, и главою часто о землю биюща» (102); «се блаженыи въставъ и ниць легъ, на колену моляше ся съ сльзами» (130) и т. п. Сама кончина Феодосия была отмечена его позой: «опрятавъ ся, и нозе простьръ, и руце на пьрьсьхъ крьстообразьне положь, предасть святую ту душю въ руце Божии» (130).

Позы прочих персонажей жития Нестор так же непременно обозначал : как они сидят, как стоят, как кланяются, что делают руками и т. д.; например, один из персонажей скинул с себя богатую одежду и «своима ногама попирашеть ю въ кале» (84); другой персонаж «покывавъ главою на село» (120), то есть указал головой.

Но, пожалуй, все до единого эти обозначения поз Нестором были заимствованы из житийной повествовательной традиции. Даже совпадало, например, то, как мать пихала Феодосия ногами, — так и бесы пихали иного монаха: «за власы имъше и́, тако пьхающе, влачахути и́» (100). Нетрадиционным же явилось лишь пристрастие Нестора к частому упоминанию людских поз.

Нестор проявил склонность также к обозначению положения предметов, их своего рода «поз»: «вънезаапу чюдо бысть страшьно: отъ земля бо възятъ ся церкы и съ сущиими въ неи възиде на въздусе» (104); «и се виде церковь у облака сущу» (105). Или сосуд для меда: «опроворотилъ таковыи сосудъ тъщь и ниць положилъ» (114).

Все эти многочисленные упоминания поз имеют одно общее объяснение. Нестор и на этот раз был очень озабочен тем, чтобы убедить читателей жития в истинности сообщаемых сведений, о чем он прямо сказал: «яко же на показание тому быти, еже о семь да не зазьрить ми никъто же от васъ, яко сии сьде въписахъ» (113). И далее подчеркивал о себе: «съ истиною исповедающе» (119); «оспытовая слышахъ от древьниихъ мене отець, бывъшиихъ въ то время, та же въписахъ азъ, грешьныи Несторъ» (134). И сами персонажи у Нестора тоже стремились к истинности их познаний: «самъ видевъ… иже истиньна суть» (118); «пыташе» (101), «хотящи исти видети» (79); и побуждали других: «иди и съмотри истее» (114). Так что фиксация поз предназначалась у Нестора для внушения читателям уверенности в подлинности событий, о которых рассказывало «Житие Феодосия Печерского».

На основании общности авторских целей и сходства в способах их воплощения можно говорить об изобразительной близости обоих житий, написанных Нестором, — «Чтения о Борисе и Глебе» и «Жития Феодосия Печерского». В переводных житиях того времени не проявлялась столь демонстративная забота об убедительности повествования, как у Нестора[15].

Никакой заметной творческой связи Нестора с Иларионом не проявилось, хотя оба писателя иногда использовали формально сходные изобразительные средства. По сравнению с проповедником Иларионом Нестор-агиограф был неизмеримо богаче в подборе предметных деталей, что в первую очередь объясняется разностью жанров, в которых оба писателя творили.

4. Игумен Даниил: лирические мотивы

В «Хождении в Иерусалимъ и землю обетованную» некоторую изобразительность своему непритязательному изложению игумен Даниил придал благодаря многочисленным кратким сравнениям увиденного в чужой земле с привычными ему объектами на юге земли Русской. Вкупе эти многочисленные сравнения, как правило, нетрадиционные, составили единую изобразительную тему в произведении и отразили идеализирующее представление Даниила то ли о Русской земле, то ли о некоем привычном для него мире, за которым угадывается Русь.

Прежде всего, представление Даниила о скромной, человечной русской природе косвенно отразилось в этих сравнениях. Косвенно, — потому что игумен редко когда подчеркивал, что имеет в виду именно свою родную природу (например: «яко же *наша* лоза»[16]); чаще он просто подразумевал это: «яко олха образом» (30). По сравнениям видно, что Даниил вспоминал «дубравы… леси», в том числе «лесъ частый» (86); вспоминались ему «древце… мало… осина» (30), «древо не высоко» — верба (52), «рыба… образом же есть яко коропичь» (карп, 90); «посреди поля того красного яко же стог кругол». Кстати говоря, и в чужой земле Даниил чаще отмечал не величественные, а невысокие, уютные деревья: «И есть дуб-от не велми высокъ, кроковат велми… ветьви же его близ земли приклонилися суть, яко мужь можеть, на земли стоя, досячи ветви его» (68); «смаковици малы» (96). Или совсем низенькие: «древца многа и низка, с травою равна» (30).

Припоминаемый Даниилом привычный для него, вроде бы русский рельеф обычно так же был невысок, невелик и даже уютен: «яко горка мала» (36); «аки горка камена, мала, островерха» (96); «яко печерка мала» (34).

Но целенаправленной идеализацией Русской земли Даниил в своих сравнениях не занимался. Напротив, он несколько скептически высказался, например, о черниговской «реце Сновьстей — лукаво течет и быстро велми… Сновь река,.. болоние (затоны) имать… Сновь река» (52); «течеть же… лукаряво велми» (88). Но все же идеализированные припоминания у Даниила преобладали.

Большой пласт сравнений у Даниила относился также к привычному для него, вероятно, русскому быту. И опять игумен ласково вспоминал преимущественно о небольших и приятных строениях и изделиях: «аки теремець создан ъ» (74); «есть яко лавица… сделанъ яко теремець красенъ» (34); «созданъ есть яко дворъ камень кругомъ… и посреди того двора есть созданъ аки теремець кругло» (48); «есть яко погребець малъ» (96); «созданъ яко олтарець и комара мала» (50) и т. д.

Правда, повторим, что Даниил в большинстве случаев предпочитал пользоваться географически нейтральными сравнениями, не привязанными явно к определенной стране, включая Русь. Оттого те же самые уменьшительные слова (горка, теремец, пещерка, комарка, лавица и пр.), он употреблял и в применении к Палестине. Однако, например, редкостное сравнение — в толпе паломников «створиша яко *улицю*» (110), не отдает ли оно русской реалией? Или: «възлести есть по степенем яко на *горницю*» (60).

В общем, бесспорно только, что в сравнениях Даниила отразился привычный ему мир (поэтому в сравнениях упоминались, в частности, вещества, характерные и для русского быта, отруби пшеничные, клей вишневый, киноварь, миро, смола и пр. 30, 100, 110) и что этот постоянно припоминаемый Даниилом мир был довольно приятен и беструден. Это сказалось даже в измерениях объектов, расстояний и скоростей, в семантических оттенках соответствующих выражений: «высоко было, яко стружия выше» (36), — копье вполне мирно стоит; «близь… яко довержеть человекъ каменемь малымъ» (46), «яко можеть доверечи мужь каменемь малым» (52), «яко довержет мужь каменемь малым» (60), — не надо надрываться в бросании камней, они маленькие; «ни немощи малы не почютих в теле моем, но всегда, яко орелъ облегчаваем» (104), — легко двигаться. И опять за этими измерительными сравнениями нет-нет да и мелькала как будто бы русская фигура: «ту есть близъ… яко можеть дострелити добръ *стрелець*» (64), слово «стрелец» Даниил не прилагал ни к кому в Палестине. Так что подтверждается признание Даниила в конце «Хождения» о том, что он постоянно думал о Русской земле («николи же не забыл есмь» 114).

Воображение игумена, несомненно, было затронуто. Недаром про фрески и статуи он часто говорил: «яко живи» (34, 36, 58, 60, 74 и пр.). Однако предметное представление Даниила о Русской земле (или о привычном ему мире), отразившееся в «Хождении», было очень дробным и слабо оформленным в единую изобразительную тему. Впрочем, все умиротворенное повествование Даниила, с цитатами из Писания и характеристиками увиденного, было мелко мозаичным и отрывистым, как будто Даниил стеснялся говорить пространно.

Иларион, Нестор-агиограф и игумен Даниил явились очень не похожими друг на друга древнерусскими писателями, находившимися на очень дальних подступах к изобразительности изложения и шедшими каждый своим путем в своих излюбленных жанрах.

5. Летописцы «Повести временных лет»: начатки изобразительности

Манера повествования летописцев, участвовавших в формировании «Повести временных лет», как нам представляется, не очень различалась принципиально; поэтому мы рассматриваем летопись как единое целое.

В «Повести временных лет» встречается, по нашим наблюдениям, более 70 случаев изобразительного изложения (а если учесть косвенную изобразительность символики, то нужных отрывков наберется еще больше).

Изобразительные мотивы формировались у летописцев обычно на основе **контрастов**. Вот наиболее ясные примеры. В летописной статье под 1024 г. описывается ночное сражение новгородского князя Ярослава с тьмутораканьским князем Мстиславом у города Листвена: «И бывши *нощи*, бысть тма, молонья, и громъ, и дождь… и бысть сеча силна; яко посветяше молонья, *блещашеться* оружье. И бе гроза велика и сеча силна и страшна»[17].

Контрастом беспросветной тьмы дождливой ночью и резко блещущего оружия при молнии летописцем, пожалуй, был введен изобразительный мотив исключительно ожесточенной и мрачной сечи. Мотив этот был не совсем традиционен, потому что в древнерусских произведениях, переводных и оригинальных, оружие сверкало обычно от солнца, а не так страшно во тьме.

Однако не все отчетливо в этом кратком описании Лиственской битвы. Летописец ведь не подчеркнул контраст тьмы и блещущего оружия: эти упоминания находились в разных фразах; оказались же они по соседству не намеренно, а, вероятно, в результате соединения новгородского и киевского рассказов о Лиственской битве[18]. Больше того, упоминание о блещущем оружии могло понадобиться летописцу (или позднейшим осмыслителям) не столько для изобразительного контраста, сколько для объяснения возникшей неразберихи, когда два отряда из войска Ярослава стали вместо противника рубить друг друга: во тьме, «елико же молния осветяше, толко мечи видяху, и тако друг друга убиваху». Правда, процитированное нами пояснение отсутствовало в «Повести временных лет» и появилось только в более поздних летописях[19].

И все же пугающий свет во тьме неоднократно описывали летописцы в «Повести временных лет». Чаще всего это были таинственные или зловещие «знамения»; например: «бысть знаменье на небеси… акы пожарная заря от въстока, и уга, и запада, и севера, и бысть тако *светъ всю нощь*, акы от луны полны светящься… и сия видяще знаменья благовернии черньци со въздыханьем моляху ся к Богу и со слезами, дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро» (276, под 1102 г.). Или: «явися столпъ *огненъ* от земля до небеси… в час 1 *нощи*, и весь миръ виде» (284, под 1110 г.). Иногда свет во тьме являлся потрясающим видением одного персонажа; имеем в виду, например, описание «бесовьскаго деиства» перед монахом Исакием в монастырской пещере: «и единою по обычаю наставшю вечеру… и до *полунощья*… седяше на седале своем… и свещю угасившю. *Внезапу свет восья*, яко от

солнца восья в печере, яко зракъ вынимая человеку. И поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ею, акы солнце. Он же не разуме бесовь скаго деиства, ни памяти прекреститися» (192, под 1074 г.).

Однако нигде в «Повести временных лет» мы не найдем четко осознанного отношения летописцев к изобразительной роли контрастов, к создаваемым ими изобразительным мотивам. Например, летописец рассказал, что «обри… примучиша дулебы, сущая словены, и насилье творяху женамъ дулепьскимъ: аще поехати будяше обърину, не дадяше въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обърена, и тако мучаху дулебы» (12). Контраст есть: слабые женщины запряжены вместо сильных коней; но развернутой картины мучения надрывающихся женщин нет, летописец лишь кратко пересказал легенду, в сущности, только напомнил о ней.

Наряду со слабыми изобразительными мотивами летописцы использовали **зачатки образов**. Таков, например, рассказ о «зверскости» деревлян: «…древляне живяху звериньскимъ образомъ, жиуще скотьски: убиваху другъ друга; ядяху вся нечисто; и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху уво́ды девиця» (13). «Скотскость» деревлян осталась лишь оценкой, без подкрепления предметными деталями из жизни зверей или скота. Образ еле-еле проглядывает («ядяху вся нечисто»).

Более предметные детали содержит у летописца описание мусульманского богослужения под 987 г.: «…како ся покланяють въ храме, рекше в ропати: стояще бес пояса; поклонився, сядеть; и глядить семо и онамо, яко бешенъ; и не[т] веселья в них, но печаль и смрадъ великъ. Несть добро законъ ихъ» (108). На мусульманина перенесены признаки «бешеного» человека, но неотчетливо. Преобладает идея, оценка, но не изображение.

Если деталей бывало и побольше, то все равно ясного образа летописец не думал добиваться. Вот пример рассказа о словенском банном обычае: «совлокуться, и будуть нази, и облеются квасомъ уснияныимъ, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и того ся добьють, одва вылезуть ле живи суще, и облеются водою студеною, и тако ожиуть; и то творять по вся дни, не мучими никим же, но сами ся мучать» (8 9). Здесь летописец на «мовенье» перенес некоторые признаки мучения, от которого люди становятся еле живыми. Описание того или иного этнического обычая с привнесением в него элементов мученичества, исступленности, агрессивности было характерной для летописцев темой, относившейся кроме словен еще и к обрам, деревлянам, половцам, иным язычникам, мусульманам, католикам-латинянам, даже к грекам и пр. Однако перенос признаков мучения на «мовенье» не отличался у летописца отчетливостью, то есть в данном случае не к изобразительности стремился летописец, а к удивительности описания.

Прочие случаи изобразительного переноса признака объекта на другой объект у летописцев были максимально элементарны: так, парализованный монах Исакий стал выздоравливать «и на ногы нача встаяти, акы младенець, и нача ходити» (194, под 1074 г.), — всего лишь один признак младенца перенесен на взрослого. Это, скорее всего, средство разговорно-бытового рассказа, отнюдь не оригинальное.

В летописи использовались только неразвернутые или шаблонные тропы обычно как усилительное средство в наиболее важных местах больших рассказов. Например, в повествовании под 1097 г. об ослеплении Василька Теребовльского краткие изобразительные характеристики (в основном, сравнения) получили все основные герои в самый напряженный, в самый страстный момент их деятельности. Давыд перед совершением злодеяния представлен заторможенным от ужаса, как внезапный глухонемой: «Давыдъ же седяше, акы немъ... и не бе в Давыде гласа, ни послушанья бе бо ужаслься» (259); Василько после казни представлен «яко и мертвъ», почти что на том свете: «Да быхъ в той сорочке кроваве смерть принялъ и сталъ предъ Богомъ» (261); кроткий Владимир во время конфликтов «приходящая к нему напиташе и напаяше, акы мать дети своя» (264). Сугубое усиление требовало сугубых тропов. Поэтому, когда, например, в рассказе о разгроме венгров половцами понадобилось обозначить апогей событий, то летописец стал нагнетать сравнения, перенес на объект один признак другого объекта и еще один признак совсем иного объекта: «сбиша угры, акы в мячь; яко се соколъ сбиваеть галице» (271, под 1097 г.).

Иногда предметные детали ярки, но непонятно, чьи качества перенесены летописцем с объекта на объект. Например, языческие боги чуди «живуть... в безднахъ, суть же образомъ черни, крилаты, хвосты имуще» (179, под 1071 г.). Только дальний контекст подсказывает, что эти существа принимались рассказчиком за бесов. Таких случаев в летописи немало.

Рискнем обратиться к такому сравнению: начатки изобразительности бродили в летописи, как жиринки в бульоне; киевские летописцы XI начала XII вв. занимались совсем иным делом, нежели искусство, — сжатыми идеологизированными пересказами удивительных и впечатляющих легенд.

Тем не менее если не изобразительный, то **предметный мир** летописи был достаточно богат и значителен. Одним из излюбленных летописцем способов усиления значительности события было прямое столкновение объектов с противоположными качествами, видоизменявшее качество исходного объекта на некое *переходное* между объектами. Например, летописец рассказал о путешествии апостола Андрея по пути из греков в варяги: в частности, о том, как, плывя вверх по Днепру, апостол «по приключаю приде и ста подъ горами на березе» (8). Эти «горы» (холмы) подразумевались пустынными, ибо летописец отметил, что путник остановился на ночлег лишь «по приключаю», то есть случайно, не у поселения. О самих «горах» летописец ничего не сказал, явно подразумевая «горы» безлюдными. Точно так же дальше в летописи ничего не сообщал летописец о «горах» под Киевом, если они были безлюдны: «поча ходити по дебремъ и по горамъ» (156, под 1051 г.), безлюдность таких ничем не характеризуемых «гор» косвенно подтвердил один из персонажей: «...хочю въ ону гору ити единъ, яко же и преже бяхъ обыклъ, уединивъся, жити» (158, под 1051 г.). О тех же, однако уже заселенных «горах» летописец всегда что-то сообщал: «Седяше Кий на горе, где же ныне увозъ Боричевъ» (9) и пр.

Но тут же эти пока еще пустынные и безлюдные «горы» предстали в совсем ином виде. Апостол обратился к своим ученикам: «Видите ли горы сия?» И объяснил, что же он там видит: «яко на сихъ горахъ восияеть благодать Божья, имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ въздвигнути имать». То есть эти «горы» будут застроены и многолюдны. Столкновение двух взаимоисключающих качеств приводило в рассказе к их слиянию в половинчатое качество, примиряющее противоположности. В данном случае будущее влияло на настоящее, и пустынные «горы» оказались уже не совершенно пустынными: в присутствии учеников Андрей провел церемонию благословения места будущего града и на одной из «гор» «постави крестъ», движение к постройке города как бы началось. Такова предметная семантика рассказа.

В летописи есть еще несколько рассказов с предсказаниями, и во всех них будущее влияло на настоящее. Например, под 1096 г. говорилось о том, что где-то далеко на севере в горах плотно затворены «скверпии языци», но они, по предсказанию, выйдут из гор «в последняя же дни» (236). И будущее уже действует: они «секуть гору, хотяще высечися, и в горе той просечено оконце мало» (235) — проникновение началось.

Семантически это был не перенос предметного признака другого объекта на данный объект, а лишь способ впечатляющей материализации невидимого объекта в видимый. Вот пример гораздо более осязаемой материализации — описание одного из «знамений»: «...въ Иерусалиме случися внезапу по всему граду за 40 днии являтися на вздусе на конихъ рищющимъ, въ оружьи, златы имуща одеже, и полкы обояявляемы, и оружьемъ двизающимся» (164, под 1065 г.). На нечто эфемерное («являтися»), бесформенное, не имеющее названия, перенесены признаки материального войска построившиеся полки («являемы»), в сверкающих доспехах («златы одежа»), скачущие на конях («рищющимъ»), угрожающие оружием («оружьемъ двизающимся»). В результате, призрачное («на вздусе») все больше становится материальным (распространяется «по всему граду»), кратковременное («случися внезапу») — постоянным («40 днии»).

Данный рассказ был заимствован летописцем из недошедшего до нас переводного «Хронографа», но, как показывает повествование о разных знамениях в этом месте летописи, летописец не механически переписал свой источник. Вот аналогичный рассказ, уже, несомненно, созданный самим летописцем: «Предивно бысть Полотьске, въ мечте ны бываше: в нощи тутънъ станяше; по улици, яко человеци, рищюще беси. Аще кто вылезяше ис хоромины, хотя видсти, абье уязвенъ будяше невидимо отъ бесовъ язвою... Посемь же начаша в дне являтися на конихъ, и не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ видети копыта» (214 215, под 1092 г.), — невидимое и бесформенное понемногу материализуется во всадников с оружием, которые с топотом рыщут на конях, всюду оставляют следы, ранят встречных людей и вот-вот станут видны целиком: недаром «человеци глаголаху, яко навье бьють полочаны», то есть «бесы» должны выглядеть, как мертвецы.

Невидимое так и не становилось полностью видимым, однако проявляло себя материально. Например, в летописи рассказывалось, что один из монахов, взглянув на братью, поющую в церкви, «виде обиходяща беса въ образе ляха, в луде, и носяща в приполе цветкы, иже глаголется лепокъ. И обиходя подле братью, взимая из лона лепокъ, вержаше на кого-любо. Аще прилняше кому цветокъ в поющихъ отъ братья, мало постоявъ и раслабленъ умомъ, вину створь каку-любо, изидяше ис церкви, шедъ в келью, и усняше, и не възвратяшется в церковь до отпетья» (190, под 1074 г.). Цветки, которые этот лях-бес вынимал из своего «лона», были невидимы (их видел только один монах), но прилипчивы («прилняше») и дурманящи (от них человек делался «раслабленъ умомъ... и усняше»).

Все это у летописцев не образы, плод слияния двух разных объектов в один, а лишь накопление предметных мотивов для усиления значительности объектов фантасмагорических, находящихся на грани реального и нереального.

В единичных случаях можно заметить у летописца семантическое столкновение одного объекта даже с несколькими объектами, противоположными исходному в каких-то отношениях. В результате, у исходного объекта появлялась целая серия новых качеств, промежуточных между противоположностями. Так, в уже упоминавшемся рассказе под 1074 г. о монахе Исакии на живого человека были перенесены признаки мертвеца («взяша им, мертва мняще, и, вынесше, положиша» — 193); мертвеца обмывают, он не ест и пр. («омываше и спряташеть им… за 2 лета лежа, си ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни от какаго брашна, ни языкомъ проглагола, но немъ и глух лежа за два лета» — 194); у мертвеца заводятся черви («многажды и червье въкыняхуся подъ бедру ему»). Благодаря столкновению противоположных качеств — персонаж живой и мертвый — летописец изобразил полумертвеца, плохо двигающегося («раслабленъ теломь, яко не мощи ему обратитися на другую страну, ни встати, ни седети, но лежаше на единои стороне») и почти не чувствительного ни к холоду, ни к жару («примерзняшета нозе его г камени, и не движаше ногама» — 195; «ногама босыма ста на пламени» — 196). Путем столкновения других противоположностей — человек взрослый и младенец — летописец описал нечто вроде идиота, плохо что соображающего («подъ ся половаше... на ногы нача встаяти, акы младенець... положаху пред ним хлебъ, и не възмяше его, но ли вложити в руце ему», только потом «научися ясти» — 194–195). Наконец, на Исакия были перенесены и черты неживой куклы, которой управляют (бесы «начаша имъ играти» — 193) и которой даже ворон не боится («шедъ, я ворона и принесе» — 195), отсюда непредсказуемость юродивого. Предметный мотив необычности, странности, ненормальности героя достаточно выражен в летописном рассказе.

Наконец, предметный мир летописи был наполнен значимыми и иногда явно выпяченными предметными **деталями**. Ограничимся лишь двумя трагическими примерами. Под 912 г. летописец подчеркнул материальность конского «лба» (черепа) как орудия смерти Олега. Олег решил проведать останки своего коня «и прииде на место, иде же беша лежаще кости его голы и *лобъ голъ* и… рече: “Отъ

сего ли лба смьрть было взяти мне?” И въступи ногою *на лобъ*, и выникнувши змиа *зо лба*» и т. д. (39), череп лежал на земле рядом с костями, он казался пустым, на него князь поставил ногу, в черепе находилась змея и высунулась опять же из черепа. «Лоб» для летописца был важной, фактически главной предметной деталью в этом рассказе.

Другой пример, уже под 971 г., тоже касается «лба», теперь уже человеческого: печенеги «убиша Святослава, и взяша главу его, и *во лбе* его съделаша чашю, оковаше *лобъ* его и пьяху *из него*» (74), и этот «лоб» являлся у летописца главной деталью рассказа.

Собственно предметный мир летописи нуждается в отдельном исследовании, в том числе необходимо определить, насколько распространена была манера летописцев опираться в их рассказах на ту или иную главную предметную деталь.

Но вернемся к феномену изобразительности. Авторы XI начала XII вв. Иларион, Нестор-агиограф, игумен Даниил, Нестор-летописец и др. лишь стихийно, кто меньше, кто больше, нащупывали походящие для них, как правило, бедноватые начатки предметно-изобразительных мотивов или образов; в процессе этого никакой единой творческой группы они не составляли и изобразительными резервами переводных памятников как-нибудь широко не пользовались. Ничто не предвещало важной роли изобразительности в будущем.

6. Автор «Сказания о Борисе и Глебе»: лирическая изобразительность

«Сказание о Борисе и Глебе» разительно отличается от суховатого «Чтения» Нестора целым рядом изобразительных мест.

Первое явно изобразительное место встречается в рассказе о том, как повел себя Борис, когда услышал о смерти своего отца: «И яко услыша святый Борисъ, начатъ телъмь утърпывати, и лице его вьсе сльзъ испълнися, и сльзами разливаяся, и не могый глаголати, въ сердци си начатъ сицевая вещати» [20]. Это настоящий «нагнетательный» изобразительный мотив, а не просто фактографическое описание: Борис весь, с ног до головы, внешне и внутренне, был охвачен (именно охвачен) сильнейшим горем. На полную охваченность Бориса горем автор «Сказания» указывал и дальше: «сльзами *разливашеся вьсь*» (31), «*вьсь* сльзами *облиявъся*» (36), слуги Бориса «видевъша господина своего дряхла и *печалию облияна* суща зело» (35).

Внезапность же перемены состояния Бориса хорошо видна, если сопоставить данное описание с примыкающей к «Сказанию» статьей «О Борисе, какъ бе възъръмь», то есть каким Борис был обычно. Тело Бориса, обычно крепкое («телъмь бяше красьнъ, высокъ… крепъкъ телъмь» 51), вдруг ослабело и сжалось; обычно приветливое лицо Бориса («веселъ лицьмь») теперь омрачилось; обычно красноречивый Борис («въ съветехъ мудръ» 52) теперь «не могый глаголати» и т. д.

Автор «Сказания» проявил небывалый на Руси интерес к теме глубокого телесного и душевного страдания героев, провел эту тему через все произведение. В

«Сказании» свои страдания подчеркивал сам Борис («сердце ми горить, душа ми съмыслъ съмущаеть… къ кому сию горькую печаль простерети» 29), притом с целой симфонией болезненных звуков («съ сльзами горькыми, и частыимь въздыханиемь, и стонаниемь многымь» — 33); вопияли о страдании Бориса и окружавшие его люди («красота тела твоего увядаеть» — 35).

Точно так же, с такими же деталями и с тем же изобразительным мотивом, автор описал страдания и Глеба. Этот нетрадиционный интерес автора «Сказания» к изображению страданий коснулся и читателей его произведения, автор «Сказания», притом среди агиографов только он, призывал читателей к сильным переживаниям: «Къто бо не въсплачеться, съмрьти тое пагубьное приводя предъ очи сьрдьца своего?» (31); «съ сльзами припадающе молимъся» (50).

Эти обращения автора к читателям и обилие гиперболичных трагических деталей (но традиционных) свидетельствуют, что дело было не столько в самодовлеющем интересе автора к страданиям героев, сколько в желании вызвать у читателей «Сказания» живое сочувствие к Борису и Глебу.

Второе явно изобразительное место в «Сказании» находим в речи Бориса, содержащей «нагнетательное» же описание богатой жизни князей, «ихъ жития»: «багряница и брячины, сребро и золото, вина и медове, брашьна чьстьная; и быстрии кони, и домове красьнии и велиции, и имения многа и дани; и чьсти бещислены и гърдения, яже о болярехъ своихъ» (30), — охарактеризована «слава мира сего» у сильных мира сего: внутренний быт князей, внешний быт князей, их окруженность почетом. Конкретный смысл первой части перечисления не со всем ясен: то ли имелась в виду комфортность князей в их обыденном быту; то ли подразумевались торжественные наряды князей, драгоценная посуда и яства на княжеских пирах (недаром в списках «Сказания» в составе «Великих миней четьих» XVI в. слово «брячины», то есть шелковые одеяния, было переосмыслено как «брачные пирове», а перед тем, в некоторых списках «Сказания» XV XVI вв. произошла переделка «брячин» в «багряницы брачныи»[21]).

Как бы то ни было, но изобразительный мотив в этом описании был выражен автором: князья словно застыли в присущих им повторяющихся деяниях, в постоянно богатом времяпрепровождении. Подобный мотив восходит к традиции осудительных описаний жизни богачей. Но в «Сказании» к данному мотиву автор добавил еще один, уже не совсем традиционный изобразительный мотив мгновенного и бесследного исчезновения такого яркого, такого ощутимого на этом свете материального богатства князей: «Къде бо ихъ жития и слава мира сего?.. Уже все се имъ акы не было николи же, вся съ нимь ищезоша, и несть помощи ни отъ кого же сихъ, — ни отъ имения, ни отъ множьства рабъ, ни отъ славы мира сего».

И все же главное здесь не изобразительность: автор «Сказания» постарался вложить в уста Бориса повышенно экспрессивную характеристику жизни князей, вот почему ее сопровождала длинная череда вопросов Бориса («То камо имамъ прийти..? Какъ ли убо обрящюся..? Кый ли ми будеть ответъ? Къде ли съкрыю..?

Чьто бо приобретоша..? Къде бо ихъ жития..?» 30). То есть автор опять стремился вызвать сочувствие читателей к Борису, к его тягостным раздумьям.

Третье явно изобразительное место в «Сказании» описывало встречу Глеба, плывшего в ладье, с его убийцами в устье реки: «И яко узьре я святый, възрадовася душею; а они, узьревъше и́, омрачаахуся и гребяахуся къ нему. А сь целования чаяше отъ нихъ прияти. И яко быша равьно пловуща, начаша скакати и зълии они въ лодию его, обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ, бльщащася акы вода. И абие вьсемъ весла отъ руку испадоша, и вьси отъ страха омьртвеша» (40). Это описание автор составил на основе контраста: одни радуются — другие «омрачаахуся»; одни «начаша скакати» — другие «омьртвеша»; одни держат в руках, очевидно, поднятые мечи — другие выронили из рук опущенные весла. Столкнулись душевная размягченность одних и неистовая злоба других. В житиях душевное смирение мучеников обычно так или иначе смягчало или даже перевоспитывало злобных мучителей. Но в «Сказании» не так: несмотря на все увещания беззлобного Глеба, который смотрит «умиленама очима» на напавших, те ведут себя «яко же убо свирепии зверие… яко не вънемьлють словесъ его» (41). И этот мотив тоже должен был пробудить «умиление» читателей.

В приведенном отрывке об убийцах Глеба обращает внимание совершенно неожиданная яркая изобразительная деталь мечи в их руках «бльщащася акы вода». Как бы ни объяснять происхождение этого образа (вероятно, припоминанием о библейском Голиафе[22]), неясным остается, почему блеск именно воды автор перенес на мечи, при чем тут вода. Сугубо предположительным может послужить и такое объяснение этого образа: все, что реально течет, разливается, обливает, омочает, проливается, ассоциировалось у автора «Сказания» с предметами трагическими (слезы, кровь). Возможно, мечи, блестевшие, как текучая речная вода, тоже стали выглядеть трагически у автора «Сказания» для усиления впечатления у читателей.

В конце «Сказания» есть еще и четвертое явно изобразительное место это описание мощей убиенного Бориса, выкопанных из земли: «Се же пречюдьно бысть и дивьно и памяти достоино, како и колико летъ лежавъ тело святого, то же не врежено пребысть ни отъ коего же плътоядьца, ни беаше почьрнело, яко же обычаи имуть телеса мьртвыхъ, нъ светьло, и красьно, и цело, и благу воню имущю, — тако Богу съхранивъшю своего страстотьрпьца тело» (48). Автор «Сказания» эмоционально подчеркнул необычайную свежесть тела Бориса, чтобы вызвать ответное благоговение у читателей. Изысканную красоту тела и его частей у всех положительных героев автор «Сказания» отмечал неоднократно и опять-таки с эмоциональным подъемом.

В общем, не объявляя прямо о своих устремлениях, автор использовал изобразительные мотивы в своем произведении в первую очередь для воздействия на чувства читателей. К этому, вероятно, предрасполагали повышенно чувствительные общественные настроения в момент написания «Сказания»[23].

В художественном отношении автор «Сказания о Борисе и Глебе» был резко своеобразен и опять-таки не примыкал к какой-либо группе «изобразительных»

писателей того времени. Все творили в одиночку, когда дело касалось изобразительности.

7. Владимир Мономах: разнородность мотивов

«Поучение» Владимира Мономаха содержит только лишь 2 3 изобразительных места.

Первое место, которому лишь с натяжкой можно приписать изобразительность: «да не застанеть вас солнце на постели»[24], — о необходимости вставать рано к заутрени. У Владимира Мономаха здесь присутствовал изобразительный мотив солнечного света, приятного, красивого: после заутрени, добавил Мономах, надлежит, «потомъ солнцю въсходящю, и узревше солнце, и прославити Бога с радостью, и рече: “*Просвети очи* мои, Христе боже, иже далъ ми еси *светъ* твои *красный*”» (247).

Мотив приятного света не был совершенно случаен у Мономаха. Перед процитированным отрывком в «Поучении» он затронул мотив света дважды: «*восиянеть* весна постная… братья… *свето*давцю вопьюще» (243). И далее с восхищением: « Господи *чюдна* дела твоя како небо устроено, како ли *солнце*, како ли луна, како ли звезды, и тма, и *свет*… дивуемъся» (244).

Довольство миром, устроенным для человека, — тема вообще-то традиционная (ср., например, «Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста в «Успенском сборнике»); авторы обычно выражали довольство материальной благоустроенностью мира. Мономаха же в большей степени, чем обычно, привлекала еще и красота мира: «*украшено* твоимъ промыслом, Господи… *на веселье*… человекы *веселять*» (244).

Однако мотив красоты мира был выражен Мономахом все-таки больше философически, чем предметно. Упоминание постели, освещенной солнцем, мелькнуло мимоходом, да и то, скорее, как символ ленивости человека, спящего на этой постели.

Второе изобразительное место в «Поучении» более ярко: «ехахом сквозе полкы половьчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и *облизахутся на нас, акы волци стояще*» (249), на половцев Мономах перенес признаки стоящей волчьей стаи, наметился образ хищного волчьего ожидания: вот-вот набросятся. Этот нетрадиционный для книжности образ возник у Мономаха, несомненно благодаря его охотничьим впечатлениям (о своих «ловах» он рассказывает несколько далее), но сходный мотив (вернее, тему) «пожирающей» агрессивности врагов Мономах повторял неоднократно и перед тем: «поскрегчеть на нь зубы своими» (241); «убо живи пожерли ны быша» (242); «мы, человецы грешни… хощемъ и́ пожрети и кровь его пролья́ти вскоре» (243). Однако в отличие от подобных книжных высказываний образ половцев-волков, вероятно, был взят Мономахом из разговорной речи, но не развит.

Третье, на этот раз совсем слабо изобразительное место появилось в конце «Поучения» Мономаха, когда он перешел к рассказу о своих «ловах»: «конь диких

своима рукама связалъ есмь въ пущах, 10 и 20 живых конь… тура мя 2 метала на розех и с конемъ; олень мя одинъ болъ, а 2 лоси: одинъ ногами топталъ, а другыи рогома болъ; вепрь ми на бедре мечь оттялъ; медведь ми у колена подъклада укусилъ; лютыи зверь скочилъ ко мне на бедры и конь со мною поверже» (251), — из этого перечисления у Мономаха сформировалось что-то вроде «нагнетательного» изобразительного мотива непрерывного и тесного противоборства охотника с дикими зверьми: «не блюда живота своего, ни щадя головы своея». Этот мотив жестокого противоборства, видимо, был связан с главной настроенностью Мономаха, с его чувством постоянного напряжения, которое обильно отразилось в его настоятельных советах в «Поучении»: «тружатися», «весь день боряся», не лениться, «не дая себе упокоя», «понужаяся на добрая дела», «управивъше сердце свое» и т. д. и т. п. (241–246, 251).

В целом же, в «Поучении» не только мало изобразительных мест, но все они к тому же очень разнородны и почти что случайны, — вероятно, потому, что находятся в разных отрывках «Поучения», написанных деятельным и практичным Мономахом в разное время, который, по его признанию, «потомь собрах словца си любая, и складохъ по ряду, и написах» (241).

Ни в какую цельную группу нельзя объединить древнерусских писателей XI — начала XII вв. по признаку изобразительности их произведений, — каждый сам по себе.

8. Киевские летописцы XII в.: оскудение изобразительности

Начнем наш обзор с изобразительных мест в «Киевской летописи», с третьей редакции «Повести временных лет» в составе «Киевской летописи». Под 1114 г. здесь летописцем пересказаны слышанные им легенды: «Пришедшю ми в Ладогу, поведаша ми ладожане, яко "сде есть егда будеть туча велика, находять дети наши глазкы стекляныи и малы и великы и провертаны… на полунощныхъ странахъ спаде туча, и в тои тучи спаде веверица млада, акы топерво рожена … и пакы бываеть другая туча, и спадають оленци мали в неи "»[25]. Контраст: большие эфемерные тучи, оказывается, несут в себе многочисленные мелкие плотные предметы, — то стеклянные бусы, то маленьких, только что народившихся белочек, то оленят. Летописец и продолжил этот рассказ аналогичным примером из «Хронографа»: «дожгьцю бывшю и тучи велиции, — пшеница, с водою многою смешена, спаде»; «крохги сребреныя спадоша» (278).

Однако отчетливого стремления к изобразительному изложению летописец не проявил: у него в дальнейших примерах из «Хронографа» уже не из туч, а просто откуда-то сверху, очевидно, с неба падали и тяжеленные, очень крупные предметы — камни, кузнечные клещи и пр. («трие камени спадоша превелици», «спадоша клеще съ небесе» — 278). Летописец просто развил тему необыкновенности далекой земли, в которой выпавшие из туч разные предметы размножаются в изо-

билии: белочки «възрастъши и расходится по земли», оленята «възрастають и расходятся по земли», а бусинок стеклянных столько, что их даже у реки «беруть, еже выполаскываеть вода, от нихъ же, — признается летописец, — взяхъ боле ста».

Летописца явно увлекла эта тема необыкновенности далекой земли, и он обратился к книжным аналогиям, — к другим еще более далеким от Руси землям со странными обильными «осадками» твердых предметов: где-то во времена римских цесарей из туч столько выпало пшеницы, что «ю же събравше, насыпаша сусекы велия»; в Египте столько нападало железных кузнечных клещей, что с тех пор ими повсеместно из железа «нача ковати оружье», прежде лишь деревянное или каменное.

Тема необыкновенности далекой земли югры и самояди в статье под 1114 г. перекликалась с описанием той же загадочной и даже зловещей земли под 1036 г. (сквозь гигантские горы пытается «высечися» секирами и ножами какой-то страшный народ, а просекли лишь «оконце мало»). Оба рассказа были вставлены в третью редакцию «Повести временных лет», возможно, одним и тем же автором[26], которому, видимо, был свойствен интерес к необычному, но не специально к картинности рассказов.

Далее в «Киевской летописи» (в статьях до 1170-х годов) совсем немного несомненно изобразительных мест, и все это преимущественно описания необычных небесных знамений. Интересна лишь изобразительная эволюция таких описаний. Под 1141 г. летописец детально, но вполне традиционно запротоколировал «предивно знамение». Последующее в «Киевской летописи» под 1144 г. описание уже не так традиционно и более драматично: «летящю по небеси до земля яко кригу огнену и остася по следу его знамение въ образе змья великаго» (314). В этом кратком описании, пожалуй, передана пугающая стремительность небесного события, тем более что непосредственно перед тем летописец затронул сходный мотив, — рассказал о все сметающем атмосферическом катаклизме: «бысть буря велика, ака же не была николи же… и розноси хоромы, и товаръ, и клети, и жито из гуменъ, — и спросто рещи, яко рать взяла, и не остася у клетехъ ничто же, и нечии налезоша броне у болоте, занесены бурею» (314). Однако в этих сообщениях не заметно сознательного намерения у летописца именно изобразить стремительность событий, которые его поразили, и только.

Но драматического апогея описание небесного знамения достигло под 1161 г.: «бысть знамение в луне страшно и дивно: идяше бо луна через все небо от въстока до запада, изменяючи образы своя, — бысть первое ии убывание по малу, дондоже вся погибе, и бысть образъ ея, яко скудно черно, и пакы бысть яко кровава; и потом бысть, яко две лици имущи, — одино зелено, а другое желто, и посреде ея, яко два ратьная секущеся мечема, и одиному ею, яко кровь идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко течаше» (516), — летописец не просто фактографически описал лунное затмение, но изобразил луну переживающей нечто вроде смертельной болезни («вся погибе»), которая символизирована схваткой двух воинов друг с другом.

Мотив схватки ратников на луне был навеян летописцу, конечно, его поглощенностью рассказами о непрерывных военных бранях, об одной из которых он только что и поведал: «и бысть брань крепка велми зело от обоихъ, и летяху мнози убиваеми от обоихъ, и тако страшно бе зрети, яко второму пришествию быти» (515).

Мотив же болеющей луны, возможно, был связан с некоторым интересом летописца к описанию смертельных болезней. Например, под 1152 г. говорилось, что один из летописных персонажей стал жаловаться: «"оле те некто мя удари за плече", и не може с того места ни мало поступити, и хоте летети, и ту подъхытиша и́ подъ руце, и несоша и́ въ горенку, и вложиша и́ въ укропъ, и молвяхуть, яко "дна есть подъступила", и много прикладывахуть», но больной «нача изнемогати велми и... преставися» (463). Или под 1168 г. долго рассказывалось, как другой летописный персонаж «нездравуя велми... видивши... его велми изнемагающа... самъ же по вся недели причащение имаше, слезами омывая лице свое... а уже ему велми изнемагающю... нача глаголати тихом гласомъ, слезы испущая от зеницю» и т. д.

Однако изображение луны содержало у летописца дополнительный оттенок, луна не погибала окончательно, а вроде бы медленно начинала приходить в себя: «идяше бо луна через все небо» (как бредет не убитый, а раненый); она не почернела глубоко и бесповоротно («яко скудно черно»), но потом стала кровавой и затем зелено-желтой («две лици имущи», — и действительно, так заживает лицо человека после тяжкого избиения). Этот оттенок неопределенности между плохим и хорошим (уцелеет ли луна) не был отчетливо выражен летописцем, и все же не был случаен: ведь летописец тут же повторно обозначил ту же ситуацию, схватка двух ратников на луне еще длится; оба тяжело ранены мечами в голову; и чем закончится схватка, — взаимоистреблением или выживанием, — неизвестно.

Подобный мотив отчасти мог быть связан с литературной традицией изображения знамений и дальних земель, как бы «застрявших» между противоположными ситуациями. Ср. в «Повести временных лет» под 1065 г.: «солнце пременися, и не бысть светло, но акы месяць бысть, его же невегласи глаголють снедаему сущю», — не ясно, будет или же не будет «съедено» солнце; ведь оно пока лишь «снедаемо»[27]. Точно так же под 1096 г. рассказано о страшном народе, заключенном где-то в северных горах, — не ясно, выйдут или не выйдут эти люди наружу, так как пока они только «секуть гору» (235).

В отличие от такого рода рассказов описание лунного затмения в «Киевской летописи» отличается неожиданным вниманием летописца к цвету; однако и эта главная изобразительная черта описания объясняется не художественной целью автора, а его эпизодическим впечатлением от явления, на которое смотреть было «страшно и дивно». Такие эпизодические впечатления от экстраординарных, преимущественно печальных или устрашающих событий отразились в летописи и далее (например, о слезах умиравшего князя: «и бе видити слезы его лежачи на скранью его, яко женчюжная зерна; и тако отирая слезы убрусцемъ» — 531, под 1168 г.). В итоге, изобразительные мотивы «Киевской летописи» получились лишь

немного более экспрессивным, но гораздо более скудным продолжением изобразительных мотивов «Повести временных лет».

Что же касается более поздних статей «Киевской летописи», то при всей фактографической подробности и предметности рассказов изобразительность из них почти исчезла, если не считать изредка употребленных летописцам и традиционных броских деталей, формул и выражений.

Авторы произведений XI — второй трети XII вв., повествование которых в отдельных местах отличалось некоторой изобразительностью, как бы случайно и разрозненно появлялись на Руси.

9. Автор «Слова о полку Игореве»: героические мотивы

Начнем классификацию изобразительных мотивов «Слова о полку Игореве», естественно, со вступительного высказывания автора о Бояне: «Боянъ бо вещии, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы»[26]. Предметной темой этого высказывания у автора, несомненно, являлась природа. Движение («растекатися») объектов и особенно животных в этой природе, несомненно, подразумевалось активным. Далее автор, продолжая говорить о Бояне, более ясно обозначил активность и даже стремительность движения объектов и существ в мире природы: «*скача*, славию, по мыслену древу, *летая* умомъ подъ облакы… *рища*… чресъ поля на горы» (44). О том, что автор подразумевал именно активное передвижение мысли, волка и орла, свидетельствуют и их последующие передвижения в «Слове», которые были тоже только энергичными: «мыслию ти *прелетети издалеча*» (51); «мысль *носитъ* ваю умъ *на дело*» (52); «мыслию *поля меритъ*» (55); «*скачютъ* акы серыи влъци въ поле» (46); «*бежитъ* серымъ влъкомъ» (47); «*скочи* влъкомъ» (53); «влъкомъ *рыскаше*» (54) и пр.

Но самое любопытное во вступительной характеристике Бояна: объекты и существа, находившиеся в разных местах (мысль — на древе, волк — на земле, орел — под облаками) как бы одновременно устремлялись («растекались») вовне от неподвижного древа. Автор обозначил состояние, когда все персонажи действуют одновременно, коллективно, слаженно.

Подобный мотив одновременности, скоординированности передвижений, например, волка и орла был явно фантастичен и отражал художественное представление автора о природе, которую он наполнил активно движущимися животными. Вот еще некоторые свидетельства тому. Так, в конце «Слова» автор повторил изобразительный мотив одновременного движения животных вовне, на этот раз от половецких веж: «А Игорь князь… полете соколомъ подъ мьглами… Коли Игорь соколомъ полете, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу» (55). Автор многократно варьировал изобразительно-фантастический мотив необычайно активной совместной деятельности животных в природе и иногда обозначал

своего рода «догонялки» птиц: «пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедеи, которыи дотечаше…» (43 44); «…буря соколы занесе чресъ поля широкая галици стады бежать къ Дону Великому» (44). Иногда животные устремлялись не вовне, а окружали какой-то центр: «Игорь къ Дону вои ведетъ… влъци въсрожать по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (46); «дружину… птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша» (53); «стрежаше é гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ» (55). Наконец, иногда животные передвигались как бы поочередно, составляя своеобразную «эстафету»: «поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гоголемъ на воду, възвръжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ… и полете соколомъ…» (55). Во всех этих случаях данный изобразительный мотив в «Слове» указывал на наличие авторского представления о природе, насыщенной энергично действующими животными.

Более того, природа, по представлению автора «Слова», была заполнена и коллективно действующими предметами: «чръныя *тучя* съ моря идутъ… а въ нихъ трепещуть синии *млънии*. Быти грому великому, итти *дождю*… Се *ветри*… веютъ съ моря… *Земля* тутнетъ, *реки* мутно текуть, *пороси* поля прикрываютъ» (47). Иногда предметы в природе сами не действовали, но подвергались активнейшему воздействию: «наступи на *землю* Половецкую, притопта *хлъми и яругы*, взмути *реки и озеры*, иссуши *потоки и болота*» (50). Растения также действовали коллективно: «Ничить *трава* жалощами, а *древо* с тугою къ земли преклонилось» (49). Так что вполне подтверждается впечатление Д. С. Лихачева: «природа воспринимается автором “Слова” только в ее изменениях, в ее действиях, в ее жизни»[29].

Однако то было не только представлением автора о природе, но широким мироощущением автора «Слова», которое охватывало огромные политико-географические пространства. У автора «Слова» с фантастической слаженностью и одновременностью действовали целые скопления разных народов: «и многи страны хинова, литва, ятвязи, деремела и половци сулици своя поврьгоша, а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи» (52); или: «ту немци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря» (50). Разные города Руси тоже выступали солидарно: «А въстона бо, братия, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми» (49); «се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами» (51). В конце «Слова» люди, страны и города объединились в согласованных действиях: «Девици поютъ на Дунаи вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь едетъ по Боричеву… Страны ради, гради весели» (56).

Это авторское миропредставление все же было неотчетливым, автор не только не сформулировал его, но нигде даже не оговорился о нем ни словом, да и сами изобразительные мотивы отличались нечеткостью. Причина заключалась в том, что описания природы или географических пространств не являлись основной целью автора «Слова», а входили только в состав иносказаний или символических предвестников грядущих событий либо их символических же следствий.

Эти представления автора о природе и географическом мире были относительно бедны предметными деталями: чаще всего в каждом отдельном случае

автор упоминал 2 3 объекта природы, иногда 4, и одно-два их действия, редко больше. Повторявшиеся сочетания предметных деталей также приходится признать скудными: древо облака, волк орел, волк сокол, земля реки. А из действий объектов природы автор преимущественно упоминал их бег или полет. Представления автора о наполненности мира коллективными действиями животных или людей питало не столько авторское воображение, сколько понятия-символы. Такие представления вернее было бы назвать полухудожественными или дохудожественными.

Пока не удается ответить на вопрос о внешних источниках этих полухудожественных авторских представлений о насыщенности мира коллективными действиями разных существ. Близкой литературной традиции, которой мог следовать автор «Слова», еще не обнаружено. Хотя библейская (ветхозаветная) и хронографическая манеры повествования местами и могли повлиять на автора «Слова», но фантастичные изобразительные мотивы совокупных передвижений или действий разных персонажей вовсе не характерны для данных источников. Что же касается состояния реальной природы в конце XII в., то тогда не наблюдалось, например, резкого возрастания численности животных, которое могло навести автора «Слова» на представление об их тесной совместной деятельности. Миропредставление автора «Слова» приходится признать совершенно оригинальным и неизвестно откуда появившимся.

Почему же автор буквально на протяжении всего «Слова» постоянно повторял изобразительные мотивы энергично действующего мира? Главной целью автора, по-видимому, была героизация событий, и радостных и печальных, героизация Бояна, Святослава, Игоря, русского войска и пр., придание значительности тому, о чем он рассказывает. Поэтому изобразительные мотивы автор всюду сопровождал возвышенными характеристиками своих героев: Боян вещий, Святослав грозный и великий, Игорь мужественный и буий, русичи храбрые. Поэтому своих героев автор помещал в героический же мир природы — с быстрыми движениями, громкими звуками, массивными участниками, большими сборищами, торжественными действами, включая мотив воспевания героев. Так что автор «Слова о полку Игореве» являлся больше политиком, чем художником.

Мы рассмотрели первый вид изобразительных мотивов в «Слове», теперь (в последовательности текста памятника) обратимся ко второму виду изобразительных мотивов, содержащемуся, например, в характеристике курян: «… куряне сведоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени… луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени» (46), наряду с темой боевой готовности воинов, в этом отрывке присутствовал фантастический изобразительный мотив постоянной окруженности курян оружием с самого их рождения, причем вооружением, находящимся в идеальном состоянии.

Тут отразилось представление автора «Слова» о тесной окруженности персонажей первоклассным оружием, — соответствующий изобразительный мотив неоднократно повторялся в «Слове». Так, предметами воинского снаряже-

ния, красивыми и ценными, были окружены или имели при себе различные персонажи «Слова»: «Чрьленъ стягъ, бела хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие храброму Святьславличю!» (47); «Инъгварь и Всеволодъ и все три Мстиславичи!.. Кое ваши златыи шеломы, и сулици ляцкии, и щиты? Загородите... своими острыми стрелами...» (53). И не только воинскими предметами были окружены герои «Слова»; ср. Святослав: «одевахутъ... чръною паполомою на кроваты тисове... сыпахуть... великыи женчюгъ на лоно» (50). И не только красивые, но и потерявшие красоту и даже неприятные предметы иногда соприкасались с персонажами «Слова»; ср.: «уже соколома крильца припешали поганыхъ саблями, а самою опуташа въ путины железны» (50); «ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована» (51); или: «имъ лýчи съпряже... имъ тули затче» (55). Однако красивые предметы все же преобладали: червленые щиты, харалужные мечи, златые шеломы, каленые сабли, драгие оксамиты, злато ожерелье, бобровый рукав и т. д. и т. п.

И снова повторяются уже знакомые нам черты и этого представления автора о статичной окруженности персонажей преимущественно красивыми предметами. Это представление также не было отчетливым у автора «Слова», хотя оказалось несколько побогаче деталями, чем предыдущее представление. Представление автора о тесной окруженности людей, так сказать, коллекциями предметов не удается объяснить ни литературной традицией, ни историческими обстоятельствами, — не отмечено резко усилившейся красоты вооружения в конце XII в. или изобилия его производства. Автор включил своих персонажей в мир красивых или добротных предметов опять-таки для героизации событий, радостных либо печальных («слава», «хвала» или ущерб им); правда, о такой героизирующей цели автор, по своему дипломатичному обыкновению, ничего не сказал прямо.

Третий вид изобразительных мотивов в последовательности текста «Слова» содержится в описании перехода вечера в ночь: «Длъго ночь мрькнеть. Заря светъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славии успе, говоръ галичь убудися» (46). Изобразительный мотив наступающего идеально глубокого покоя в природе обозначил автор в этом отрывке; и добавил: «русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша» (чтобы не беспокоили? Отдых перед битвой?). Мотив покоя-отдыха природы и людей автор затем повторил: «Дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело» (47). Аналогичный изобразительный мотив уже даже ласкающего покоя-отдохновения автор повторил и в конце «Слова»: «О, Донче... лелеявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами подъ сению зелену древу» (55). Природа и люди в ней, по героизирующему представлению автора «Слова» не только действовали героически, но и героически отдыхали (постоянно с упоминаниями славы и величия).

О четвертом виде изобразительных мотивов в «Слове» (о Яр-Туре Всеволоде) тоже можно сказать лишь немногое: «Камо, Туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвечивая, — тамо лежатъ поганыя головы половецкыя» (47). Главный изобразительный мотив в приведенном высказывании — это фантастическая

быстрота, даже мгновенность результата только что начатых действий: только поскакал князь, а уже валяются отрубленные вражеские головы. Подобный мотив мгновенного результата встречается преимущественно лишь в первой половине «Слова», и больше всего в начале произведения: только Боян протянул персты к струнам, как струны сами уже зарокотали песнь; только Игорь наполнился ратного духа, как уже навел свои полки на половецкую землю; только возникло намерение сесть на коней, как уже можно позреть на синий Дон и пр. Правда, встречается нечто похожее и во второй половине «Слова»: «злачеными шеломы по крови плаваша» (52), — только русские надели шеломы, как уже реки крови (своей или вражеской?) текут. И в данных случаях представление с элементами картинности было, в первую очередь, обусловлено героизирующими устремлениями автора «Слова». Недаром он сослался на пример Бояна, который бы о походе Игоря мог высказаться в том же духе: «Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыеве» (44), — только русские ступили за границу Руси, как уже свершилась победа и прошел о ней слух.

Пятый вид изобразительных мотивов встречается в характеристике битвы: «Съ зарания до вечера, съ вечера до света летятъ стрелы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя… Чръна земля подъ копыты костьми была посеяна, а кровию польяна» (48), — предметы сами, как бы без людей участвуют в битве, показывая ее «техническую» бесчеловечность, о какой раньше и «не слышано» было. Однако и этот фантастичный изобразительный мотив не только не обозначен автором, но и редок, — он обрамляет рассказ лишь о данной битве («ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя» (47), и больше нигде не повторяется. Автор «Слова» удивляет не мощью своего воображения и не обилием своих идей, а изобретательностью в способах достижения одной цели — героизации событий и персонажей.

Шестой изобразительный мотив в «Слове» не продуктивен. Автор описал застывшую позу покоренных народностей, которые «сулици своя поврьгоша, а главы своя поклониша подъ тыя мечи харалужныи» (52). Но совершенно отчетливо видно, что и это перечисление у автора имело иносказательный смысл, а собственно изображением поз он не интересовался ни здесь, ни в других местах «Слова», когда он кратко упоминал о понижении глав или стягов. Главной была героизация Руси.

Наконец, можно отметить седьмой заметный изобразительный мотив в «Слове», в плаче Ярославны: «омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце, утру князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле» (54), — опять-таки кратко, мимоходом и не очень ясно, как это присуще автору «Слова», здесь обозначен изобразительный мотив интимной заботы о физическом здоровье персонажа, связанный с использованием одежды, уходом за телом и пр. Мотив такой заботы не раз повторялся в «Слове», и относился он к курянам, повитым, возлелеянным и вскормленным среди воинского снаряжения; к Святославу, которого «одевахуть… и негуютъ» на кровати; и в конце «Слова» — еще раз к Игорю, которого лелеют на волнах, стелют ему зеленую траву под сенью зеленого древа. Однако, хотя и этот мотив не-

традиционен, особой жалостливостью к своим героям авторы конца XII в. уже не отличались, а о вдруг повысившейся гуманности медицины в конце XII в. также не известно. Так что, скорее всего, во всех отмеченных нами случаях автор «Слова» занимался бесконечным варьированием способов героизации поступков и состояний своих персонажей, не всегда положительных, и героизирующим оправданием событий, вовсе не радостных.

Можно проанализировать еще целый ряд более мелких проявлений изобразительности в «Слове», но ничего принципиально нового они не вносят в вывод о героизирующих устремлениях автора «Слова» и о лишь вспомогательной идейной роли изобразительных мотивов в тексте памятника.

Но тогда почему из множества возможных риторических способов героизации автор предпочел по преимуществу именно изобразительные мотивы? За этим скрывается не некая художественность натуры автора «Слова», а, скорее, его политико-риторический расчет. Автор использовал изобразительные мотивы как предметные иносказания и символы в своем повествовании. Похвалы походу Игоря были неуместны. Предметные иносказания же завуалированно вносили оттенки героичности в авторский рассказ и исподволь меняли представление об Игоревом походе в положительную сторону.

С точки зрения изобразительности целеустремленное творчество автора «Слова» оказалось ни на кого не похожим, впрочем, как и творчество каждого из предшествовавших ему авторов. Художественной литературы в Древней Руси, естественно, не существовало, но время от времени появлялись отдельные, изолированные феномены изобразительности в книжности, возникшие по очень разным причинам, — первые ласточки художественности с самого начального периода древнерусской литературы.

10. Авторы XIII — середины XIV вв.: традиционность мотивов

В XIII в. лишь немногие произведения содержали изобразительные мотивы, и то довольно скудные.

Автор «Слова о погибели Русской земли». Несмотря на относительную малость дошедшего до нас отрывка «Слова о погибели Русской земли», в нем можно обнаружить неоднократно повторяющийся пространственный изобразительный мотив, начиная с перечисления красот Русской земли: «О… земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми… реками и кладязьми многочестьными, горами крутыми, холми высокыми, дубравоми частыми, польми… зверьми… птицами бещислеными, городы великыми, селы… винограды… домы… и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами, — всего еси испольнена земля Руская» [30]. Наряду с главным мотивом красоты Русской земли, автор ввел в свое описание и мотив заполненности Русской земли предметами и существами: подчеркнул их объемную величественность (горы крутые, холмы

высокие, города великие), их важность (кладязи месточестные, князья грозные, бояре честные) и — главное — их всезаполняющую множественность (многие красоты, озера многие, птицы бесчисленные, вельможи многие; дубравы и то частые, то есть густые). Правда, это описание можно читать в разбивке и на иные словосочетания, однако общий смысл его от этого не меняется: все перечисляемые объекты предстают во взаимном соседстве, вся Русская земля обязательно чем-то заполнена («испольнена»).

Изобразительный мотив предметной заполненности и более широкого географического пространства, пожалуй, присутствовал у автора во втором перечислении, последующем непосредственно за первым: «Отселе до угоръ, и до ляховъ, до чаховъ; от чахов до ятвязи; и от ятвязи до литвы, до немець; от немець до корелы; от корелы до Устьюга, где тамо бяху тоимици погании, и за Дышючимъ моремъ; от моря до болгаръ; от болгарь до буртасъ; от буртасъ до чермисъ; от чермисъ до моръдви — то все покорено было Богомъ крестияньскому языку», — автор указал не только на обширность покоренной территории, но и — очень неявно — на тесную связь ее частей: народности стоят, как бы взявшись рука об руку.

Далее в «Слове», опять-таки в перечислении, автор уже совсем бегло затронул мотив предметной заполненности, трансформировавшийся у него в неясный мотив окруженности, стесненности или отделенности объектов колыбелью, болотами, железными воротами и пр.: «половоци дети своя ношаху в колыбели, а литва из болота не светъ не выникываху, а угры твердяху каменыи городы железными вороты … а немци … далече будуче за синимъ моремъ» (154–155). Затем этот мотив тесной окруженности объектов предметами совсем сошел у автора на нет: «буртаси, черемиси, вяда, моръдва бортъничаху на князя великого Володимера» (155), — раз бортничали, значит, как можно догадываться, сидели в лесах, окружены лесами, но ни прямо, ни косвенно об этом автор не сказал.

В общем, затухающий изобразительный мотив наполненности-стесненности объектов не был ни главным, ни отчетливо выраженным у автора «Слова о погибели», однако как дополнительное смысловое сопровождение все же присутствовал в произведении, в его перечислениях.

Разгадать за этим авторский взгляд на мир невозможно ввиду краткости дошедшего отрывка «Слова», и поэтому пока остается объяснить наличие слабого пространственного изобразительного мотива в «Слове» авторской склонностью к риторичности, к большим предметным перечислениям, стихийно и непоследовательно вводившим украшающие изобразительные смыслы в повествование.

Неожиданно встречаем нечто существенное, связанное с этим памятником, — впервые выявляется сходство произведений разных авторов в изобразительном отношении: изобразительный мотив наполненности-окруженности предметами «Слова о погибели Русской земли» оказывается похожим на один из изобразительных мотивов «Слова о полку Игореве». На стилистическую родственность обоих памятников, отделенных полувеком друг от друга, ученые обратили внимание уже

давно. Теперь можно прибавить факт их именно изобразительной родственности. Однако никакой непосредственной связи обоих авторов не наблюдается.

Галицко-волынские летописцы. О галицко-волынских летописцах будем говорить, придерживаясь традиционного деления «Галицко-Волынской летописи» на вошедшие в нее летописные своды.

Начнем, разумеется, со свода 1246 г. (так называемого свода киевского митрополита Кирилла). Первое изобразительное место начинает всю «Галицко Волынскую летопись» это известная характеристика галицкого князя Романа Мстиславовича под 1201 г.: «устремил бо ся бяше на поганыя яко и левъ; сердитъ же бысть яко и рысь; и губяше яко и коркодилъ; и прехожаше землю ихъ яко и орелъ; храборъ бо бе яко и туръ»[31]. Собственно изобразительный мотив, наметившийся у летописца, сводится к подчеркиванию необычайно энергичного напора князя на «поганых», того, как он «устремил бо ся» и «прехожаше».

Автор летописной статьи под 1201 г., начинающейся со столь симптоматичной похвалы, вообще проявил интерес именно к незаурядной воинской напористости персонажей его повествования: далее он ввел краткую похвалу Владимиру Мономаху, изгнателю врагов, «погубившему… половци, *изгнавшю* Отрока во обезы, за Железная врата… пилъ золотом шоломомъ Донъ и *приемшю* землю ихъ всю и загнавшю оканьныя агаряны»; затем автор упомянул напористость уже не русского, а половецкого хана Кончака, «иже снесе Сулу, пешь ходя, котелъ нося на плечеву». Настойчивость персонажей имел в виду летописец, когда упомянул, что половецкого хана Сырчана не удалось изгнать окончательно («Сырчанови же оставшю у Дону, рыбою оживъшю»), а его певцу Орю, по поручению Сырчана, удалось уговорить изгнанного половецкого хана Отрока вернуться в свою землю («молви же ему моя словеса, пои же ему песни половецкия. Оже ти не восъхочеть, даи ему поухати зелья именемь евшанъ»). Примечательно, что, по сообщению летописца, и Отрок выбрал не спокойную, а беспокойную жизнь: «восплакавшю рче: "Да луче есть на своеи земле костью лечи, а не ли на чюже славну быти"».

Но изобразительный мотив напористости персонажей в статье под 1201 г. все-таки не был отчетлив и, возможно, был привнесен в летопись при кратком пересказе летописцем каких-то источников риторико-героического содержания[32].

Второе изобразительное место в летописи встречается под 1217 г. в характеристике венгерского полководца Филнея: «Выиде Филя древле пregордыи, надеяся обяти землю, потребити море, со многими угры» (736). Наряду с обвинением этого Фили в гордости здесь присутствовал у летописца гротескный изобразительный мотив напористого охвата Филей земли и моря, а затем мотив напористости Фили был продолжен в летописной статье его самовосхвалениями: «рекшю ему: "Единъ камень много горньцевъ избиваеть". А другое слово ему рекшю прегордо: "Острыи мечю, борзы коню, многая руси"». Показательно, что и тут летописец использовал чужую риторику, чужой источник, с которым в летопись перешла тема наглой напористости персонажа. В собственных же рассказах летописец не

проявлял интереса к изображению напористости личностей и вообще далее в своде 1246 г. тему напора больше не затрагивал.

Далее, в рассказах о галицком князе Даниил Романовиче, свод 1246 г. содержал целую серию изобразительных мотивов. Так, под 1229 г. летописец рассказал о нападении венгерского короля Белы IV на Галич и о победе Данила над венгерским войском: «сице умирающимъ: иниии же изъ подъшевь выступахуть, акы ис чрева; иниии же, во коне влезъше, изомроша; иниии же, около огня солезъшеся и мясъ ко устомъ придевоше, умираху; многими же ранами разными умираху» (761), смерть застигла венгров, застывших в разных позах.

Однако изобразительное место в данной статье появилось, возможно, опять-таки благодаря заимствованию летописцем соответствующего мотива из какого-то источника. Ведь весь рассказ об осаде Галича венгерским королем летописец пересыпал штампами и цитатами («яко инде глаголють: "Скыртъ река злу игру сыгра гражаномъ", тако и Днестръ злу игру сыгра угромъ»[33]).

Затем летописец стал изображать растерянность галицкой оппозици и князю: «малодушна блюдящася… изиидоста слезнама очима, и ослабленомь лицемь, и лижюща уста своя» (777, под 1237 г.). Но опять, изображение летописцем полнейшей растерянности галицкой оппозиции Даниилу, вероятно, тоже отдавало чужой риторикой, как и непосредственно предшествовавшее ему описание встречи Даниила простыми галичанами: «и попустишася, яко дети ко отчю, яко пчелы к матце, яко жажющи воды ко источнику» (707).

Последнее в своде 1246 г. явно изобразительное место повествует об осаде Киева Батыем: «и не бе слышати от гласа скрипания телегъ его, множества ревения вельблудъ его, и рьжания от гласа стадъ конь его» (784, под 1240 г.). Мотив необычайно плотного и «толстого» окружения Киева татарскими войсками прямо подчеркнут летописцем: «Приде Батыи Киеву в силе тяжьце, многомь множьствомь силы своеи, и окружи град… и бысть град во обьдержаныи велице… обьседяху град». Однако этот изобразительный мотив был заимствован летописцем из «Хроники» Георгия Амартола, как и дальнейшие изобразительные детали («и ту беаше видиты ломъ копеины, и щитъ скепание, стрелы омрачиша светъ» — 785) были взяты летописцем из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия[34].

На риторическую ориентацию летописца указывает также то, что все эти изобразительные отрывки появлялись в летописном тексте внезапно и выглядели как стилистически инородные вставки, своего рода «окошки», повышающие эмоциональность летописного рассказа, чаще в самом начале летописной статьи, реже в конце. Так что у составителя свода 1246 г. именно традиционной предметной риторикой, предметными перечислениями главным образом и вносилась изобразительность повествования.

В итоге, можно указать на давно уже замеченное учеными эстетическое сходство «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли» и галицкой летописи. Вероятно, в конце XII — первой трети XIII вв. на юге Руси сложилась богатая литературно-риторическая традиция экспрессивного повествования, которой

независимо друг от друга питались и названные три произведения, но которая еще не обследована как целое.

Перейдем теперь к более позднему летописному своду 1261 1269 гг. (к так называемому своду холмского епископа Иоанна). Изобразительный отрывок содержится в статье под 1249 г. о войне галицкого князя Даниила Романовича и его брата владимиро-волынского князя Василька Романовича с их племянником луцким князем Ростиславом Михайловичем: перед битвой над частью войска Даниила «бывшу знамению сице надъ полкомъ: сице пришедшимъ орломъ и многимъ вороно мъ; яко оболоку велику, играющимъ же птичамъ; орлом же клекьщущимъ и плавающимъ криломъ своими и воспрометающимъ ся на воздусе, яко иногда и николи же не бе» (802), автор изобразил такое напряженное кипение действий персонажей внутри ограниченного пространства, что за его пределы вырываются громкие звуки (клекотание орлов).

Признаки подобного «утесняющего» мотива заметны у летописца и при описании всех последующих фаз сражения: во время тесного столкновения противников тоже вырывались вовне громкие звуки («крепко копьем же изломившимся, яко от грома, тресновение бысть»; «ляхы крепко идущимъ... сильньнъ гласъ ревуще в полку ихъ» 803).

Несомненна традиционность мотива подобного «утеснения», со звуками, вырывающимися вовне из некоего клубка. Ср. уже рассмотренное выше описание осады Киева Батыем под 1240 г. Ср. ранее в «Киевской летописи» под 1174 г. описание одного из сражений: «смятошася обои, и бысть мятежь великъ, и стонава, и кличь рамня, и гласе незнаемии; и ту бе видити ломъ копииныи, и звукъ оружьныи; от множьства праха не знати ни конника, ни пешьце» (976). Таким образом, несомненна традиционно-риторическая ориентация и холмского летописца.

Далее в летописи время от времени попадаются изобразительные описания войск или толп, а также церквей и некоторых строений, но все они состоят из наборов совершенно традиционных деталей и мотивов и, в сущности, фактографичны (в том числе и известное описание воинского наряда Даниила Романовича под 1252 г.). В изобразительном отношении автор свода 1261 1269 гг. интересен только как продолжатель риторических традиций прошлого.

Более поздние своды в составе «Галицко-Волынской летописи» не содержат оригинальных изобразительных описаний, а повторяют старые риторические образцы (вроде «Слова о Законе и Благодати» Илариона) или фактографичны тоже.

Добавим, что при вкраплении изобразительных мотивов средства традиционной риторичности в XIII в. использовались летописцами не только на юге, но и на севере Руси, хотя северный набор риторических средств отличался от южного. Так, в «**Новгородской первой летописи**» летописцы XII XIII вв. выражались более кратко, броско и однообразно за счет привычных фольклорных, бытовых или книжных сравнений: «обнаживъше, яко мати родила»; «градъ же, яко ябълоковъ боле»; «вышли есте, акы рыбы на сухо», «скрутяся въ брьне, акы на рать»; «акы злодея, пьхающе за воротъ»; «все люди секуще, акы траву»; «проливающа

кровь христьяньскую, акы воду»; «стоящь полкъ… яко и лесъ» и т. д.[35] Иногда использовались фольклорно-пословичные перечисления: «сватба пристроена, меды изварены, невеста приведена, князи позвани» (72, под 1233 г.). Однако в изобразительные описания новгородские летописцы не вдавались, — только подчеркивали отдельные детали.

«Повесть о житии Александра Невского». В этом суховатом произведении, составленном, возможно, не без участия киевского митрополита Кирилла, нет развернутых изобразительных мотивов. Самое заметное место — это изображение сугубо церемониальных поз Бориса и Глеба, явившихся в видении: «посреди насада стояща святая мученика Бориса и Глебъ, въ одеждах чръвленыхъ, и беста рукы дръжаща на рамех. Гребци же седяху, акы мглою одеяни»[36]. Автор «Повести о житии» проявил интерес к обозначению поз своих персонажей, — то благочестивых («пад на колену пред олтаремъ», «воздевъ руце на небо», «распростере руку свою» — 428, 432, 438), то позорных («веляхуть босы полле коний», «вязахуть ихъ къ хвостом коней» — 434). Все эти изобразительные элементы, скорее всего, были традиционны или взяты автором из каких-либо конкретных источников[37].

Точно так же и иные совершенно традиционные изобразительные элементы были рассыпаны по всему тексту «Повести о житии»: потрясающие звуки («глась его — акы труба в народе» — 426); трясение земли («трусъ от копий ломления… яко же и езеру померзъшю двигнутися»); упоминания солнца, лиц человеческих, покрытия поверхности озера сражающимися и т. д.

«Повесть о житии» свидетельствовала о сформированности в литературе XIII в. обширной книжно-риторической традиции повествования, причем в эту систему — и это главное в данном случае — обязательно входили и изобразительные элементы, тоже сплошь традиционные.

Стефан Новгородец. В XIV в. изобразительное повествование почти исчезло из литературы. Пожалуй, можно указать лишь одно исключение — «Хождение» Стефана Новгородца и одно изобразительное место в нем. Свое «Хождение» («Странник») в Царьград в 1348—1349 гг. Стефан Новгородец начал с описания статуи византийского императора Юстиниана и подчеркнул ее энергичное живоподобие: «Ту стоить столпъ… И на верху его седить Иустинианъ Великы на коне *велми чюденъ: аки живъ… грозно* видети его… а правую руку от себя простеръ *буйно…*»[38].

Здесь не просто отразилось впечатление очевидца. Судя по повтору определенного круга тем, Царьград воспринимался Стефаном Новгородцем как средоточие жизненных сил. Тему жизненности памятников Царьграда Стефан повторял неоднократно: «въ одиной церкви ту Христос велми гораздо, *аки живъ человекъ*, образно стоить» (34); «ту икону Лука евангелистъ написалъ, позираа на самую госпожу девицу Богородицю, и *еще живе и́ сущи*» (32); «и ту близ трапеза каменна святого Авраама… под дубом амаврийскым, — той дубъ *зелено лествие имеет и зиме, и лете,* и до скончаниа веку» (30). Все эти предметы обладают живой влагой: «ту на стене Спасъ, мусию утворенъ, и *вода* святая от язвъ гвоздииных от ногу его *идет*»

(30); «икона… святы Спасъ, в ню же ножем удари неверный, и *поиде* от иконы *кровь*, то же и *до ныне кровь* та знати» (36); «ту глава святаго Пантелеймона, ту же и *кровь* его» (40). Предметы являют свою жизненную силу и другими способами: «и ту стоит лотокъ, на нем же вообразися святая Богородица съ Христомъ… и *въскрича отрочя* в муце на доске» (36); «кандило велико с маслом стклянo падеся от высоты и *не разбися, ни огнь не угасе*» (30); предметы активно блестят: «иконы… *аки солнце, сиають*» (36); «церковь мусию удивлена изовну, *аки сиаеть*» (38); постройки ярко цветные: «столпове от камени *краснаго* мрамора» (30); «подобни *аспиду*» (30); «от камени *багряна… пропестри*» (30); «от *зелена* камени» (38) и пр.; наконец, все крупно и велико: «столпъ чюденъ вельми толстотою и высотою» (28); «много на них писаниа *от връха и до долу* писано *рытию великою*» (28); «дворъ… *великъ, граду подобенъ*» (34); «вь Царьград, *аки в дубраву велику*, внити» (40) и т. п. Царьград, по описанию Стефана, способствует здравию людей: «ту люди прикасаются, иле же кого болить, *здравие приемлют*» (30); «у того олра множество люди приходитъ и *приемлють исцеление*» (30); «ту лежит множество болящих… и *примают исцелениа*» (32); «ту же множество людей лежить болных на одрех, различными недуги одръжими, *приимають исцелениа… и здравие приимают*» (40) и т. д. Великой энергией наделяет людей Царьград: например, богородичная «икона же та велика велми, окована гораздо… единому человеку въставят на плеща встанно, а он руце распростреt, аки распятъ, тако же и очи ему запровръжеть, видети грозно, по буевищу мычет его семо и овамо, велми силно повертывает им» (14). Или еще один памятник человеческой энергии: «тело святаго Савы-повара: 40 лет варилъ на братию ясти» (36).

Чем было вызвано острое желание Стефана Новгородца видеть Царьград центром жизненной силы православия? Возможно, этому отчасти содействовала религиозная полемика со шведами: ведь именно в 1348 г. шведский король Магнус II потребовал от новгородцев созвать совместный съезд шведских и русских «философов» для выяснения, чья вера лучше, но новгородцы сослались на Царьград, с которым и надлежало вести споры[39]. Себя новгородцы никак не могли поставить в пример из-за постоянных пожаров, мятежей и иных несчастий. На этом фоне «Хождение» Стефана Новгородца с киванием на Царьград было вполне к месту, хотя никакого шведского «следа» у Стефана не наблюдалось. Но и позднее Царьград оставался для новгородцев великим авторитетом, ср. под 1354 г. сообщение новгородской летописи: «приидоша послове архиепископа новгородского Моисиа изъ Цесаряграда и привезоша ему ризы крестъцаты, и грамоты с великымъ пожалованием от цесаря и от патриарха, и златую печать» (364).

Возможно также, что в середине XIV в. новгородцы вообще искали внешний источник жизненной силы, и не обязательно в Царьграде. Поэтому в 1347 г. новгородский Василий написал послание о существовании сохранившего ся земного рая на земле, где-то на востоке, действующего и в момент создания послания: «А то место святаго рая находилъ Моиславъ-новгородець и сынъ его Ияковъ… на горе той написанъ деисусъ лазоремъ чюднымъ… И светъ бысть в месте томъ само-

сиянень... светлуяся паче солнца. А на горахъ техъ ликованиа многа слышахуть и веселия гласы поюща»[40]. Этот рай-эдем постоянно дает знать о себе приносимыми оттуда свежим хлебом, свежими яблоками, свежей финиковой ветвью и пр.

Итог наших наблюдений неутешителен. Самостоятельной истории изобразительности не существовало в оригинальной древнерусской литературе XI — середины XIV вв. Изобразительные мотивы и образы обычно использовались писателями лишь как эпизодические вспомогательные средства для достижения тех или иных идейных целей. Заметнее всего к изобразительным мотивам обращались писатели XI–XII вв., а в XIII–XIV вв. литература оскудела в изобразительном отношении, став более прямолинейно нравоучительной и шаблонно риторичной. Не до искусства было.

И все же вопреки всем приведенным примерам из текстов нас почему-то не покидает общее ощущение устойчивой изобразительности древнерусских произведений XI–XIV вв. Видимо, мы со слишком строгими модернизирующими мерками подходили к древнерусской литературе, тем самым обедняя ее, но забыли о более простом явлении, — о *предметном мире* памятников, авторы которых мыслили называемые ими предметы и действия в предметном же окружении. Вот, например, «Моление Даниила Заточника», упоминающее огромное количество предметов, в том числе реку. Какие предметные ассоциации связывались у автора с рекой вообще? Во-первых, река течет («река текуща»[41]); во-вторых, может течь быстро («речная быстрость» — 368); в третьих, река может быть широкой («текуща без бреговъ» — 392) или же узкой («река въ брезех, а брези камены»); в-четвертых, река может течь «сквози дубравы»; в-пятых, из реки пьют, она служит водопоем («напаяюще не токмо человеки, но и звери»), из реки можно «коня напоити». Разворачиваются целые картинки-микросюжеты. И таких скрытых картинок-микросюжетов в «Молении» великое множество. Их изучением обязательно надо заняться, и не только в «Молении», но это уже особая тема. Пока же мы занимались лишь более или менее открытыми, явными (и, как правило, застывшими) картинами в древнерусской литературе XI — середины XIV вв.

II. Памятники Куликовского цикла

1. «Задонщина»: экспрессия

Наиболее интересна цветность символики (и якобы реальных деталей) в «Задонщине» при описании подготовки и проведения Куликовской битвы. Особенно впечатляет синий цвет, который, по-видимому, дважды упоминал автор «Задонщины». В обоих случаях автор «Задонщины» упоминал *синие* небеса и, судя по контексту, имел в виду летнее время, летний погожий день, когда в поле поют птицы и с синей высоты небесной далеко видно: «Оле жаворонок, *летняя* птица, красных день утеха, возлети под *синее небеса*, посмотри к силному граду Москве, воспои...»[42].

Далее летнюю тему автор продолжил: «О соловеи, *летняя* птица, что бы ты, соловеи, вощекотал…» (537. В Синодальном списке: «А соловеи, *летняя* птица, красных днеи втеха…» 552); затем автор опять упомянул синие летние небеса: «то уже соколи белозерстии и ястреби… ис камена града Москвы возлетеша под *синие небеса*… Солнце… сияет» (537. В других списках солнце *ясно* сияет 543, 549, 553).

К летнему мотиву можно отнести также упоминание зеленого цвета, — зеленой травы далее в «Задонщине»: «лежати на *зелене* ковыле *траве* на поле Куликове» (538). Правда, связи с летом здесь автор не обозначил. Картина (и тем более тема) ясного лета в «Задонщине» была лишь полуосознанной автором, неотчетливой и прерывистой.

Тем не менее тему лета (или начала осени) позже дополнили списки «Задонщины», хотя тоже косвенно и неотчетливо. В Историческом втором списке была упомянута зеленая мурава («целовати намъ зелена мурова» 547), а в Историческом первом списке — стоги сена («лежать трупы христианскии, акы сенныи стоги» — 545).

Тема лета начала осени в символике «Задонщины», пусть ассоциативная, с одной стороны, соответствовала исторической действительности авторской памяти о времени Куликовской битвы. Показательно, что точная дата битвы была указана в «Задонщине»: «билися… на рожество святеи Богородицы» (537. В Кирилло-Белозерском и Синодальном списках уточнено: «сентября 8» — 549, 553). В списке Ундольского же внутренний отсчет по временам года продолжился, и рассказ о судьбе Мамая после Куликовской битвы указал и на более позднее время: «не с кем тебе *зимы зимовати* в поле» (540).

Но, с другой стороны, лето в «Задонщине» предстало только в его идеальных, полноценных проявлениях: прекрасный день, синее небо, зеленая трава, поющие птицы, сияющее солнце. На эту картину ясного лета вряд ли повлияло «Слово о полку Игореве», в котором летние мотивы отсутствуют (разве что только в самом конце «Слова» встречается нечто родственное летнему мотиву: «стлавшу ему *зелену траву*… одевавшу его *теплыми мъглами* под сению *зелену древу*»[43]). Можно предположить, что автор «Задонщины», хоть и использовал из «Слова» отдельные детали, но в целом исходил, скорее всего, из фольклорных и житейских представлений об идеальном лете (но о самих таких представлениях XIV — начала XV вв. подробно мы пока ничего не знаем).

Картине идеального лета противоречат в «Задонщине» два описания гроз. Однако это, пожалуй, летние грозы. Во всяком случае сразу после описания погожего летнего дня автор упомянул предстоящую бурю: «Ци буря соколи снесетъ…» (536), а перед описаниями гроз автор упоминал то «чистое поле», то «черна земля» (537, 538), над которыми грозы, надо понимать, и разражались. Конечно, грозы не были ни отчетливо названы, ни отчетливо вписаны автором «Задонщины» в картину лета, и эту связь гроз с летом автор, возможно, почти и не ощущал.

Сами же грозы автор изобразил исключительно масштабными, — с сильными ветрами, великими тучами, кровавыми зорями, сильными молниями и вели-

кими громами: «возвеяша силнии ветри… прилелеяшася великиа тучи… из них выступают кровавыя зори, и въ нихъ трепещють силнии молнии» (543, цитируем по Историческому первому списку, так как в списке Ундольского, и только в нем одном, пропущены ветры); вторая гроза: «на том поле силныи тучи ступишася, а в них часто сияли молыньи и загремели громы велицыи» (538). Сравнительно со «Словом о полку Игореве», откуда взято описание грозы, автор «Задонщины», придерживаясь заимствованных деталей, значительно усилил грозовую тему: у него гроза не собирается, как в «Слове», а уже происходит (ср. в «Слове»: «быти грому великому» — 47; а в «Задонщине»: «загремели громы велицыи»); прибавились сильные ветры, в «Слове» не упоминаемые; тучи уже соступились, а не идут, и окрасились кровавыми зорями, которые в «Слове» лишь предвещали будущую грозу; молнии не только трепещут, но и сияют (в Синодальном списке: «сияли силныя великия молныя» — 553); а вот дождя нет (в «Задонщине» дождь не упомянут в отличие от «Слова»), — автор сосредоточился на изображении неба, а вообще, по-видимому, был склонен изображать природные явления в их максимальном проявлении.

И все же в цельную картину зрелого лета с грозами цветовая символика у автора в «Задонщине» не укладывалась. Например, в «Задонщине» выли серые волки: «И притекоша серые волцы… и, ставши, воют на реке» (537); «и отскоча… серым волком взвыл» (538). В «Слове о полку Игореве» серые волки бегут, но не воют. *Воющие* серые волки в «Задонщине», пожалуй, больше напоминают уже о глубокой зиме, а не о лете, хотя фенологическая авторская ассоциация тут не ясна. Изобразительное творчество автора «Задонщины» не являлось самоцелью, а имело полуосознанный, хаотичный и — главное — чисто риторический характер.

Самым же часто упоминаемым в «Задонщине» был золотой цвет, который в контексте повествования символически обозначал многое, — и готовность русских воинов к борьбе («вступив во *златое* свое стремя и взем свои мечь в правую руку» — 537, и храбрость и опытность воинов («храбры… ведомы полеводцы… под шеломы *злачеными*» — 536), и силу русского войска («а вою с нами триста тысящь окованые рати… а под собою имеем добрые кони, а на собе *злаченыи* доспехи» и пр. — 537), а в особенности — шумный и решительный напор на врагов («стучит великая силная рать… громят удалцы руские *злачеными* доспехи и черлеными щиты» — 537 и мн. др.). В отличие от «Слова о полку Игореве», где золотые предметы символизировали лишь их княжескую принадлежность и более ничего (златые стремя, шелом, престол, седло, ожерелье и пр.), в «Задонщине» обладание золочеными предметами было распространено на всю русскую рать, многократно повторено и при этом всюду переосмыслено автором для подчеркивания неостановимой удали русского войска, — опять автор «Задонщины» показал себя усилителем качеств объектов изображения, на этот раз людей.

Однако в собственно изобразительном отношении повествование автора «Задонщины» осталось довольно бедным, — в лучшем случае одна-две цветовые детали иногда использовались автором в отдельных эпизодах («*злаченым* доспехом

посвельчивает» 538; «все великое воиско широкие поля кликом огородиша и *злачеными* доспехами *осветиша»* 539), но все эти детали были взяты автором большей частью из «Слова о полку Игореве» для риторической их перетасовки. Риторичность безусловно преобладала над изобразительностью, которая лишь сопровождала риторику.

Теперь обратимся к сокращенному тексту «Задонщины» в Кирилло-Белозерском списке 1470 1480-х годов монаха Ефросина, который «притушил» летние мотивы в произведении (лето уже нигде у него не упоминается) и цветность «Задонщины» сделал более «пасмурной»: синие небеса были заменены Ефросином на «синие облакы» (548, 549) с синими же молниями, а зеленая трава — на «белую ковылу» (550); Пересвет стал поскакивать на «сивце», а его посвечивающий золотой доспех исчез.

Подобные замены вряд ли делались Ефросином совершенно целенаправленно (ведь осталось, например, упоминание о том, что «солнце… ясно светить» 539; но уже не «сияет», как в других всех списках). Скорее всего, то были неожиданные смысловые результаты сокращения и обобщения Ефросином текста своего протографа. И все же эти исправления выдают, быть может, и некую минорность Ефросина в его изображении Куликовских событий: недаром свою «Задонщину» Ефросин завершил плачем русских жен о павших в битве, а не сценами триумфа.

Главной же (но прямо не объявленной) заботой Ефросина по сравнению с протографом являлась еще более усиленная экспрессивность сокращенного текста, отразившаяся и на цветовых деталях. Поэтому героичность золотого цвета он перенес и на Бояна: «…Боянъ воскладая свои *златыя* персты на живыя струны, пояше… гуслеными *буиными* словесы» (548). Однажды Ефросин явно добавил цветовую деталь: у русского войска «пашутся хоригови берчати, *светяться* калантыри *злачены»* (548), узорных хоругвей и золоченых лат нет ни в каких иных списках. Однако вступительная фраза перед этим добавлением, откуда бы Ефросин его ни взял, свидетельствует лишь о торжественно-риторическом подкреплении Ефросином основной мысли «Задонщины» («звенить слава по всеи земли Русськои»), но не о собственно изобразительных сознательных стараниях редактора.

С той же экспрессивно-героической целью Ефросин усилил «шумность» Куликовских событий. Так, только у Ефросина «сторожевыя полкы… под трубами *поють»* (549); только Ефросин многократно (пять раз) повторил, что «*стукъ стучить и громъ гремить* в славне городе Москве. То ти, брате, не *стукъ стучить*, ни *гром гремит*, *стучить* силная рать… Уже бо *стукъ стучить и громъ гремить…* То ти не *стукъ стучить*, ни *гром гремить…*» (549); только у Ефросина «*грянуша* копия» (549); только у Ефросина «хоробрыи Пересвет *свистомь поля перегороди»*, а «зогзици *кокують»*, также «не тури *возрыкають* на поле Куликове, на речке Непрядне, *взопаша* избиении» (550), то есть даже убитые вопят. По представлению Ефросина, чем значительней событие, тем оно проявляется громче. Поэтому он сделал еще одну вставку по поводу вопля, громкой славы Куликовской битвы: «Воды *возпиша, весть подаваша* по рожнымь землямь, за Волгу, к Железнымь вра-

томь, к Риму» и т. д. (549). Неуклюжестью исправлений у Ефросина лишь подчеркивается его внутреннее желание сделать «Задонщину» более «шумной», недаром свой текст Ефросин начал с предложения произносить похвалы с горы (то есть с холма громко): «взыдемь на горы Киевьскыи… вшедъ, восхвалимь вещаго Бояна в городе в Киеве» (548); между тем во всех остальных списках никакого произнесения речей не предусматривалось, а предлагалось только смотреть: «Взыдем на горы Киевския и посмотрим…» (535).

И последнее. При сокращении предметных описаний из своего протографа Ефросин тем более проявил склонность не к изобразительности, а к экспрессивности повествования. Ср. в Синдальном списке (и в списках извода Ундольского): «У боя нас людеи 300 тысещъ кованыя рати, а воеводы у нас крепкия, ведомоя дружина, а под собою маем кони борздыя, но собе маем доспехи позлащенныя, а шоломы чиркаския, а щити московския, а сулицы немецкия, а кофыи фразкия, а кинжалы мисурскими, а мечи булатныя» (553). Из этого перечня у Ефросина осталась, примерно, половина: «грянуша копия харалужныя, мечи булатныя, топоры легкие, щиты московьскыя, шеломы немецкие, боданы бесерменьскыя» (549). Представленную в «Задонщине» в своем роде «хозяйственную» характеристику русского войска, готовившегося к битве, Ефросин превратил в стройное описание войска, уже приступившего к битве; оставил и даже добавил то, что, по его представлению, могло «греметь», и убрал предметы, не очень гремевшие. Экспрессивность перечня у Ефросина как раз усилилась, а не уменьшилась.

Такова была подсознательно сформировавшаяся изобразительность повествования у Ефросина благодаря его риторико-преувеличительной настроенности, насколько это можно установить, а местами домыслить по Кирилло-Белозерскому списку «Задонщины».

2. «Сказание о Мамаевом побоище»: сложные картины

Особенностью «Сказания о Мамаевом побоище» первой четверти XVI в. является сравнительная частота в нем не только обычных «нагнетательных образов», довольно однообразных, но наличие необычно сложных картин, составленных автором из разнородных традиционных элементов.

Первое достаточно сложное изобразительное место в «Сказании» повествует о прощании великой княгини Евдокии (Авдотьи) Дмитриевны со своим мужем великим князем московским Дмитрием Ивановичем, отправляющимся на войну: «Княгиня же великаа Еовдокиа с своею снохою, княгинею Володимеровою Мариею, и с воеводскыми женами и з боярынями взыде въ златоверхый свой теремъ в набережный и сяде на урундуце под стеколчяты окны. Уже бо конечьное зрение зрить на великого князя, слезы льющи, аки речьную быстрину. С великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим и рече…»[44].

По крайней мере, два основных изобразительных мотива были намечены автором в приведенном отрывке. Сначала автор обозначил некую нарядность обстановки, в которой пребывала Евдокия, — на берегу златоверхий терем со стеклянными окнами, а внутри за окнами — рундук (а не простая скамья). Всем предыдущим повествованием автор тоже отметил нарядность действий персонажей (на которых смотрела Евдокия); причем заимствованная из «Задонщины» символика имела уже чисто декоративное, принаряживающее значение для характеристики князя и его удалого войска: «Солнце ему на въстоце ясно сияеть… Уже бо тогда, аки соколи, урвашася от златых колодиць ис камена града Москвы, и възлетеша под синиа небеса, и възгремеша своими златыми колоколы… *урядно* убо *видети* въйско их» (33). Наверное, было «урядно видети» и Евдокию в тереме. Тем более что картина общего «урядства» была затем продолжена автором, описавшего дальнейшее чинное продвижение русского войска за Москву: «И подвигошася князь великий Дмитрий Иванович по велицей шыроце дорозе, а по немъ грядуть русские сынове успешно, яко медвяныа чяши пити и сьтеблиа виннаго ясти» (34).

Но вернемся к Евдокии, — изобразительный мотив «урядства» Евдокии был все-таки бегло и не совсем отчетливо, лишь как тенденция, выражен автором и тут же перетек в несколько иной дополнительный мотив — впечатляющий броскости плача Евдокии: «слезы льющи, аки речьную быстрину». Гиперболизирующие сравнения слез или кровопролития с речной или морской водой всегда были рассчитаны производить впечатление (ср. в «Сказании» дальше: «*жалостно видети и грько посмотрити* человечьскаго кровопролитиа — аки морскаа вода» (45). Возможно, хорошо видимые слезы Евдокии тоже входили в картину ее чинного же «урядства» в прекрасном тереме.

Затем в рассказ о Евдокии автор ввел второй основной изобразительный мотив — ее застывшей позы в интерьере терема: «сяде… с великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим». Поза застывшая, потому что в этом положении Евдокия произносит длинную речь. Эта впечатляющая (и, конечно, традиционная) поза, вероятно, тоже входила у автора в картину «урядства» Евдокии.

Зачем понадобилась автору эта несколько бледная, но не совсем обычная, нарядная и довольно статичная картина? — Чтобы наглядно показать **значимость** разворачивающихся событий: ведь все происходит публично (в тереме Евдокия находится «с своею снохою… и с восводскыми женами и з боярынями»), а сама церемония — особенная по своей важности, — «отдавающе последнее целование… конечное целование… уже бо конечьное зрение зрить на великого князя».

Картина «урядства» Евдокии и оба изобразительных мотива позволяют выявить повествовательную манеру автора в «Сказании» в целом. Автор «Сказания», по-видимому, стремился к фиксации значимости каждого этапа излагаемых событий и поэтому постоянно «замедлял» их ход, заставляя и своего главного персонажа (великого князя Дмитрия Ивановича) регулярно застывать в традиционных позах с произнесением долгих торжественных речей («и ставъ пред святою иконою…

и пад на колену свою… и рече…»; «ста… пред образом Господнимъ, пригнувъ руце к персем своим… и рече…»; «прииде къ гробу… любезно к нему припадаа, и рече…»; «паде на колени свои прямо великому плъку чернаго знамениа… нача звати велегласно…»; «събранымъ же людем всем князь великий ста посреди ихъ… глаголаше же…» — 28, 31, 32, 39, 47 и т. д.) и при этом все более и более заметно рыдать («источникъ слезъ проливающи», «слезы, аки река, течаше от очию его», «слезами мыася» — 31, 41, 47 и пр.).

Кроме того для фиксации значимости событий автор неоднократно использовал мотивы явно красивого и нарядного «урядства» различных русских персонажей. Самый яркий пример относится к изображению смотра русского войска, куда автором «Сказания» примешан взятый из «Задонщины» и развитый символико-изобразительный мотив наступающего погожего свежего летнего дня: «Князь же великий… увидевъ образы святых, иже суть въображени въ христианьскых знамениихъ, аки некии светилници *солнечнии* светящесе въ время *ведра*; и стязи ихъ золоченыя ревуть, простирающеся, аки *облаци*, *тихо трепещущи*… доспехы же русскых сыновъ, аки *вода въ* вся ветры *колыбашеся*; шоломы злаченыя на главах ихъ, аки *заря утреняа* въ время *ведра* светящися…» Золоченость предметов также усиливала нарядность картины. Картина именно «урядства» и от того величественности войска была нарисована автором: «умилено бо видети… Князь же велики видевъ плъцы свои *достойно уряжены*» (39). Мотив же именно летнего «урядства» автор далее даже пояснил: «Осени же тогда удолжившися и деньми светлыми еще сиающи» (40).

Все дальнейшие сложные картины автор «Сказания», естественно, посвятил военным событиям, — грозным, но тем не менее бодрящим и даже величественно красивым. Так, перед битвой на Куликово поле «мнози влъци притекоша на место то, выюще грозно; непрестанно по вся нощи слышати гроза велика; … мнози рати … не умлъкающи глаголють; галици же своею речию говорять; орли же мнози от усть Дону слетошася, по аеру летаючи клекчють; и мнози зверие грозно выють, ждуще… таково кровопролитие, акы вода морскаа. От таковаго бо страха и грозы великыа древа прекланяются и трава посьстилается» (38), — автор собрал на тему грозного ожидания почти все, что было можно использовать из «Слова о полку Игореве» и других памятников; но русские воины у автора ведут себя так, будто видят что-то приятное и обнадеживающее: «храбрым людем в плъкех сердце укрепляется, а иныя же людие в плъкох … паче укротеша… А правоверниі же человеци паче процьветоша радующеся, чающе… прекрасных венцовъ».

Самый напряженный момент жестокой Куликовской битвы так же предстал величественно красивым: «изыде облакъ, яко багряная заря, над плъком великого князя, дръжашеся низко. Тъй же облакъ испльненъ рукъ человечьскых, яже рукы… много венцевъ дръжаше и опустишася над плъком на головы христианьскыя» (44).

Даже трагический рассказ о поисках исчезнувшего Дмитрия Ивановича закончился вполне благочинно: «наехаша великого князя бита и язвена вельми и трудна, *отдыхающи ему под сению* ссечена древа березова. И видевше его … поклонишаяся ему … и падше на ногу его, глаголюще: "Радуйся, князю нашь…"» и т. д. (46). «Урядством» эпизодов автор «Сказания» подчеркивал значимость и даже величие описываемых событий, о чем он и заявил в первых же строках своего произведения: «Подобаеть намъ поведати *величество* и милость Божию» (25).

В заключение отметим довольно поздний характер развитой в «Сказании» темы значимости и величия Куликовских событий (эта тема в произведениях Куликовского цикла формировалась постепенно и достигла апогея в «Сказании»). На поздний характер стиля «Сказания» указывает и любопытный изобразительный пример: обычно сравнение погибающих в битве людей с деревьями или травой касалось только русских, и автор «Сказания» следовал этой жалостливой традиции («богатыри же русскыа, и воеводы, и удалыа люди, аки древа дубравнаа, клонятся на землю … русскые сынове … аки трава клонится» — 44), и вдруг автор, переосмыслив жалостливость на удаль, применил эти сравнения к татарам: «сынове же русские … сечаху их, аки лес клоняху, аки трава от косы постилается» (45). Переосмысление традиционных сравнений и есть черта поздняя.

3. «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича»: поздние мотивы

В риторическом «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», которое исследователи датируют в широких пределах от конца XIV в. по XVI в.[45], содержится интересный символико-изобразительный отрывок. Это краткое описание Куликовской битвы: Дмитрий Иванович пошел против Мамая «и срете его в татарскомь поле, на реце Дону. И сступишася плъци, аки тучи силнии, и блеснушася оружиа, аки молниа в день дождя. Ратнии же сечахуся, за рукы емлюще; по удольем же кровь течаше, и Донъ река потече, с кровию смесившеся. И главы татарьскы, акы камение валяшеся, и трупиа поганыхъ, акы дубрава посечена»[46].

Этот отрывок, присоединяющий «Слово о житии Дмитрия Ивановича» к памятникам Куликовского цикла, мы рассмотрим подробно (а все «Слово» и его внекуликовские темы анализировать не будем). В описании Куликовской битвы автор «Слова» внес параллельный реальному описанию символико-изобразительный мотив сокрушительной бури, как бы природного катаклизма: собрались огромные тучи, днем, блеснула молния, разразился дождь, потекло по «удолиям», валились камни и полегла дубрава. Любопытен оттенок данного мотива: буря направлена на татар, на их головы и тела.

Появление мотива бури в описании Куликовской битвы не было случайным, — ведь тема бури и непогоды связывалась у автора «Слова» со всей жизнью Дмитрия

Ивановича: перед описанием битвы автор упомянул, что Дмитрий Иванович «аки кормьчий крепок противу ветром влъны минуя» (210); после битвы автор провозгласил, что Дмитрий Иванович «ветром — тишина» (214); затем, когда умер Дмитрий Иванович, автор снова усилил символическую тему бури, — «аеръ възмутися, и земя трясашеся… день тмы и мрака» (222).

Мотив напора на врагов тоже не был случайным, и символику напора на врагов (в основном испепеляющим огнем) автор «Слова» повторял неоднократно. И все же символико-изобразительный мотив напора бури на врагов в описании Куликовской битвы не получился у автора отчетливо развитым и цельным, потому что автор прежде всего постарался сделать риторичным свой рассказ, ради чего в нем и объединил разнотипные традиционные детали, по которым, кстати говоря, можно приблизительно датировать описание Куликовской битвы в «Слове».

Мотив напора на врагов, в сущности, распадается на четыре отдельных мотива. Первый мотив — буря с тучами. Но мотив напора бури на врагов нельзя считать ранним в древнерусской литературе. Первоначально в памятниках буря обычно была направлена на русских. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрелами съ Дону Великаго»[47], — идут с Дона, с моря, то есть на русское войско и на четырех русских князей. Соответственно и в «Задонщине» (начало XV в.?) буря с тучами двигалась на русских: «Уже бо всташа силнии ветри с моря, прилелеяша тучю велику на усть Непра, на Русскую землю. Ис тучи выступи кровавыя оболока, а из нихъ пашють синии молньи… идеть хинела на Русскую землю»[48]. В XV–XVI вв. эту традицию продолжила, например, «Повесть о нашествии Тохтамыша» на Москву «Граду же… аки морю мутящуся в бури велице», «татарове же такъ и поидоша к граду… и идяху стрелы их на град, аки дождева тучя умножена зело, не дадуще ни прозрети»[49].

В произведениях с первой трети XV в. грозовая туча стала касаться одновременно и русских, и татар; эмоция авторов передвинулась на саму битву. Так, в пространной летописной повести о Куликовской битве (1440-е годы или позже) было даже подчеркнуто: «и прольяся кровь, акы дождова туча, обоихъ, — и христианъ, и татаръ, и множество много руси побыни быша от татаръ, а от руси — татарове»[50]. В «Новгородской летописи» по списку Дубровского новый оттенок мотива закрепился: «пролияся кровь, аки дождевая туча, от обоих, — руских сыновъ, поганых, — и множество бещисленое падоша трупие мертвых от обоих»[51].

Начало отмеченному переосмыслению мотива, возможно, положила «Задонщина», где в одном из мест неявно уже подразумевалась связь туч с битвой как целым, с обеими воюющими сторонами: «На том поле силныи тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и загремели громы велиции. То ти ступишася руские удалцы с погаными татарами…»[52]. В Синодальном списке «Задонщины», датируемом серединой XVII в., подобное переосмысление распространилось и на места произведения, где раньше отмечалось движение бури на русских; теперь же буря

затрагивала битву обеих сторон вместе: «Вжо, брате, возвеяша сильныя ветри ко вусти Дона и Днепра, пролишася сильныя кривавыя зори, в них же трепещут сильния молниа. Быти утупу великому на реце Непрадене, меж Дона и Днепра, пасти великому трупу человеческому но поли Куликове, пролити крови»[53].

Если теперь посмотреть описание Куликовской битвы в «Слове о житии Дмитрия Ивановича», то видно, что сам по себе мотив бури с тучами тоже относился к полкам обеих сторон (и лишь в общем контексте он приобрел противотатарскую направленность). То есть мотив бури с тучей являлся в «Слове» поздним и указывал на XV в., не ранее.

Второй мотив в описании Куликовской битвы в «Слове» — течение крови по удолиям и реке — имел иную предысторию. Первоначально в рассказах о Куликовской битве, использовавших данный мотив, по-видимому, дважды упоминалась кровь, текущая рекой, — сначала кровь татарская, а потом — русская, как например, в «Задонщине»: «а трупми татарскими поля насеяша, и кровию ихъ реки протекли»; но затем: «грозно бо и жалосно, брате, в то время посмотрети, иже лежат трупи крестьяньские у Дуная великого на брезе, а Дон река три дни кровию текла»[54]. С начала XVI в. стала течь кровь всех сражавшихся людей. Ср. в «Хронографе 1512 г.» (1516–1522 гг.): «И зъступишася полки… по юдолиемъ кровъ течаше, и бысть войска на девятидесять верстахъ, а трупа человечьскаго на 40 верьстахъ паде»[55]; в «Сказании о Мамаевом побоище» Основной редакции (первая четверть XVI в.): «а жалостно видети и гръко посмотрити человечьскаго кровопролитиа… трупу человечьа… а реки по три дни кровию течаху»[56]. Но одновременно или несколько позже редакторы произведений Куликовского цикла уже предпочли упоминать или более или менее ясно подразумевать только христианскую или русскую текущую кровь, так например, в «Сказании о Мамаевом побоище» Киприановской редакции (1526–1530 гг.): «множество избиеных християнъскаго воинства — князей, и бояр, и воевод, и слуг, и пешего воиньства, — яко и число превзыде, всюду реки кровавыа протекоша»[57]; в Забелинском списке XVII в., отличающимся индивидуальными чтениями («Сказание о Мамаевом побоище» Основной редакции): «грозно зрети и жалостно смотрети кровопролития руских сынов, а трупу человечю… а реки по три дни текуще кровию»; «грозно бо, братие, в той день смотрети трупу християнсково, аки силные стоги, а Дон река 3 дни текуще кровию»[58].

В этой миграции оттенков мотива (по мере остывания непосредственных впечатлений от события и перемены умонастроений) «Слово о житии Дмитрия Ивановича» занимает хронологически среднее место (течет кровь «ратних» вообще), то есть описание Куликовской битвы в «Слове» вписывается в период не ранее XVI в.

Третий мотив в описании Куликовской битвы в «Слове» («и главы татарьскы, акы камение валяшеся»), пожалуй, уникален и кажется явно поздним. Дело в том, что этот мотив был использован в «Новгородской летописи» по списку Дубровского: «а Дон река кровью протече, а главы, аки камение вяляхуся в дуброве»[59]. Новгородский летописный текст, скорее всего, восходил к «Слову о житии Дмитрия

Ивановича»: не только потому, что список Дубровского появился гораздо позже «Слова», в конце XVI — начале XVII вв., и сообщал, как в «Слове», о кровопролитии воинов обоих войск, но — главное — потому, что исказил рассказ «Слова» (головы-камение уже обоих войск почему-то стали валяться в дуброве). Отсюда следует, что рассказ о Куликовской битве в «Слове о житии Дмитрия Ивановича» был написан до конца XVI в. и, возможно, до 1539 г. (до новгородского летописного свода 1539 г., содержащегося в списке Дубровского[60]).

Остается рассмотреть последний, четвертый изобразительный мотив в описании Куликовской битвы в «Слове о житии Дмитрия Ивановича»: «трупиа поганыхъ, акы дубрава посечена». Этого сравнения (или символа) не было ни в летописной повести о Куликовской битве, ни в «Задонщине», а появилось похожее сравнение лишь в «Сказании о Мамаевом побоище», уже в Основной редакции.

Можно предполагать, что в описании Куликовской битвы в «Слове о житии Дмитрия Ивановича» данный мотив своей «неправильностью» выдавал свой более поздний характер даже сравнительно со «Сказанием о Мамаевом побоище»: в «Сказании» тела сопоставлялись с древесами дубравными, а в «Слове» — с дубравой, что уже менее точно. Подобная риторическая «забывчивость», пусть пока еще эпизодическая, выглядит предвестницей явлений середины и конца XVI в., когда «хорошие» символы, относившиеся к русским, древнерусские авторы стали регулярно применять к врагам тоже[61].

Таким образом, контаминация отдельных мотивов в единый изобразительный мотив бури против татар в описании Куликовской битвы в «Слове о житии Дмитрия Ивановича» ведет ко времени не ранее первой полвины XVI в. Правда, все-таки требуется более широкое и, если угодно, более мелочное изучение смысловой эволюции отмеченных мотивов в древнерусской литературе. Однако изложенные предварительные наблюдения над менявшимися смысловыми оттенками изобразительной символики убеждают в сравнительно позднем появлении описания Куликовской битвы в «Слове о житии Дмитрия Ивановича» и соответствуют сделанным ранее текстологическим выводам М. А. Салминой по поводу этого произведения.

В заключение анализа отрывка отметим, что при объединении разных символико-предметных мотивов в описании Куликовской битвы индивидуальная предметность мышления автора «Слова» проявилась очень слабо. Все оставалось в пределах литературной традиции, и, даже если автор упоминал больше двух-трех предметных деталей в символе, то все равно использовал только традиционные же детали (ср.: «Бчелы… медоточныа глаголы испущаа, цветовных… сотъ съплетаа, да клетца сладости… исплънить» — 222, 224). Предметные качества у объектов автор ассоциировал скупо и тоже традиционно (например, кровь — течет). «Плетение словес» для автора было важнее изобразительности повествования.

Но в целом предложенные нами очерки по вопросу об изобразительности древнерусских произведений свидетельствуют о том, что изобразительность в виде постоянных тенденций была свойственна древнерусским памятникам и что

на этом основании их вполне можно причислять к произведениям художественным, а древнерусскую литературу называть действительно литературой.

Примечания

Все древнерусские тексты цитируются с упрощением орфографии.

[1] См.: *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 10 12; *Творогов О. В.* Евангелие Иакова // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 119 120.

[2] Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3: Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. С. 78, стб. 2. Далее страницы и столбцы этого издания указываются в скобках.

[3] Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 356. Далее страницы указываются в скобках.

[4] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 195.

[5] *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 1. С. 23.

[6] *Тихонравов Н. С.* Указ. соч. Т. 2. С. 50.

[7] *Бодянский О. М.* Шестоднев, составленный Иоанном ексархом болгарским. По харатейному списку Московской синодальной библиотеки 1263 года // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 3. Л. 195 об. 196.

[8] Идейно-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1. С. 13. Далее страницы указываются в скобках.

[9] Успенский сборник XII XIII вв. С. 166. Далее страницы указываются в скобках.

[10] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1.: Лаврентьевская летопись / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 156. Под 1051 г.

[11] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 7. Далее страницы указываются в скобках.

[12] Традиционность этой сравнительно редкой детали видна хотя бы по «Паренесису» Ефрема Сирина: «поидут … часто взирающе вспять» (цит. по: *Архангельский А. С.* Творения отцов церкви в древней русской письменности: Извлечения из рукописей и опыты историко-литературных изучений. Казань, 1890. Вып. 3. С. 59).

[13] Успенский сборник XII XIII вв. С. 75. Далее страницы указываются в скобках.

[14] Эту черту повествования отметил И. П. Еремин: «Ощущения этой все возрастающей напряженности Нестор добивался простым и в то же время очень действенным способом: настойчивым повторением через некоторые промежутки, каждый раз с новыми вариациями, одних и тех же положений» (*Еремин И. П.* Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 31).

[15] Эту черту также отметил И. П. Еремин, рассматривая сюжетную сторону жития: «Нестор всегда, как правило, не ограничивался перенесением в Житие литературного по своему происхождению сюжета, а его перерабатывал с целью придать ему бóльшую достоверность» (*Еремин И. П.* Указ. соч. С. 36).

[16] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. М., 1980. С. 52. Далее страницы указываются в скобках.

[17] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 148. Далее столбцы указываются в скобках.

[18] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 223 225.

[19] Там же. С. 223.

[20] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. С. 29. Далее страницы указываются в скобках.

[21] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. С. 30, примечание 43; *Бугославский С. А.* Текстология Древней Руси. М., 2007. Т. 2: Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе / Сост. Ю. А. Артамонов. Приложение 1. С. 22 23, при мечание 69; с. 75, примечание 59; с. 98, примечание 77[а].

[22] См.: *Демин А. С.* Сравнение «акы вода» в «Сказании о Борисе и Глебе» и жалостливость Владимира Мономаха // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2008. Сб. 13. С. 000 000.

[23] См.: *Демин А. С.* Указ. соч.

[24] РСРЛ. Т. 1. Стб. 246. Далее столбцы указываются в скобках.

[25] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 277 278. Далее столбцы указываются в скобках.

[26] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. XXXVIII XXXIX, 203 204.

[27] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 164. Далее столбцы указываются в скобках.

[28] Слово о полку Игореве / Тексты подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. С. 43. Далее страницы указываются в скобках.

[29] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1976. С. 95.

[30] *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 154. Далее страницы указываются в скобках.

[31] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 716. Далее столбцы указываются в скобках.

[32] Об этом см., например: *Лихачева О. П.* Галицко-Волынская летопись. Комментарии // ПЛДР: XIII век. М., 1981. С. 568; *Гудзий Н. К.* История древней русской литературы. 7-е изд., испр. и доп. М., 1966. С. 211; Древнерусские летописи / Комментарии В. Панова. М.; Л., 1936. С. 369.

[33] Летописец процитировал «Хронику» Иоанна Малалы. См.: *Лихачева О. П.* Указ. соч. С. 582. Подробнее см.: *Пауткин А. А.* Беседы с летописцем: Поэтика раннего русского летописания. М., 2002. С. 224 225; 283, примечание 30.

[34] См.: *Пауткин А. А.* Указ. соч. С. 226.

[35] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 26 (под 1141 г.), 30 (под 1156 г.), 56 (под 1216 г.), 60 (под 1220 г.), 67 (под 1228 г.), 76 (под 1238 г.), 84 (под 1265 г.), 86 (под 1269 г.). Далее страницы указываются в скобках.

[36] Повесть о житии Александра Невского / Подгот. В. И. Охотникова // ПЛДР: XIII век. М., 1981. С. 430. Далее страницы указываются в скобках.

[37] См., например: *Серебрянский Н. И.* Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915. С. 189 и сл.; *Мансикка В. Й.* Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913. С. 32.

[38] ПЛДР: XIV середина XV века / Текст «Хождения» подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1981. С. 28. Далее страницы указываются в скобках.

[39] См.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 359. Далее страницы указываются в скобках.

[40] ПЛДР: XIV середина XV века. С. 46.

[41] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. С. 392. Далее страницы указываются в скобках.

[42] Тексты «Задонщины» / Подгот. Р. П. Дмитриева // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. С. 536. Далее страницы указываются в скобках. Берем за основу список Ундольского со сходными чтениями в других списках.

[43] Слово о полку Игореве. С. 55. Далее страницы указываются в скобках.

[44] Основная редакция «Сказания о Мамаевом побоище» по списку конца 1520-х начала 1530- годов // Сказания и повести о Куликовской битве / Текст подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. С. 33. Далее страницы указываются в скобках.

[45] *Прохоров Г. М., Салмина М. А.* «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя рускаго» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Ч. 2, вып. 2. С. 405.

[46] ПЛДР: XIV середина XV века / Текст памятника подгот. М. А. Салмина. С. 212. Далее страницы указываются в скобках.

[47] Слово о полку Игореве. С. 47.

[48] Памятники Куликовского цикла / Текст по Кирилло-Белозерскому списку подгот. Б. М. Клосс. СПб., 1998. С. 90. Сходно в списках Ундольского и Историческом первом (Там же / Подгот. соответственно В. А. Кучкин и Б. М. Клосс. С. 114, 127 128).

[49] ПЛДР: XIV середина XV века / Текст памятника подгот. М. А. Салмина. С. 194, 196.

[50] Памятники Куликовского цикла / Текст памятника подгот. В. А. Кучкин. С. 37.

[51] ПСРЛ. М., 2004. Т. 43 / Текст памятника подгот. О. Л. Новикова. С. 135.

[52] Памятники Куликовского цикла / Текст по списку Ундольского подгот. В. А. Кучкин. С. 115. Сходно в списках Синодальном и Историческом первом (Там же / Подгот. соответственно В. А. Кучкин и Б. М. Клосс. С. 101, 129).

[53] Памятники Куликовского цикла. С. 99.

[54] Памятники Куликовского цикла. С. 117 118. Список Ундольского. Сходно с ним в списках Историческом первом (Там же. С. 130 131) и в Историческом втором (Тексты «Задонщины». С. 547).

[55] ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1 / Текст памятника подгот. С. П. Розанов. С. 414 415.

[56] Сказания и повести о Куликовской битве. С. 45.

[57] Сказания и повести о Куликовской битве / Текст Киприановской редакции подгот. О. П. Лихачева. С. 66.

[58] Повести о Куликовской битве / Текст по Забелинскому списку подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959. С. 198, 201.

[59] ПСРЛ. Т. 43. С. 135.

[60] См.: *Лурье Я. С.* Летопись Новгородская Дубровского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ч. 2, вып. 2. С. 52 54.

[61] См.: *Демин А. С.* О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона до Ломоносова. М., 2003. С. 341 357.

СИМВОЛИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XI — НАЧАЛА XIII ВВ.

Масса научных работ о символике запредельна по своему объему, а точки зрения на символ бесконечно многообразны, поэтому из прагматических соображений мы ограничимся самым общепринятым признаком символа в древнерусском литературном повествовании: внешне, лексически, символ называет какое-либо предметное явление или предметный объект, но внутренне он обозначает в большинстве случаев абстрактное явление, абстрактное состояние или абстрактное качество. Хотя символы и тропы с теоретической точки зрения считаются явлениями резко разными и не пересекающимися, изучение символики в предлагаемой работе ведется в несколько необычном направлении: не классифицируются символы сами по себе, как это сделано, например, в известной работе В. П. Адриановой-Перетц[1], а предпринимается попытка (во многом еще предварительная и, наверное, не всегда убедительная из-за нехватки доказательств) показать органичную изобразительную составляющую древнерусской литературной символики.

В том, что изобразительные оттенки у символики обнаруживаются, казалось бы, в самых безнадежных случаях, убеждает, например, древнейшая русская гимнография, которая поначалу представляется прибежищем только чистых, беспримесных символов. Однако чтение конкретных молитвословий приводит к противоположным наблюдениям. Так, в тексте одной из старейших церковных служб, составленной в первой половине XI в. киевским митрополитом Иоанном I в память о Борисе и Глебе на 24 июля и дошедшей в списках конца XI—XII вв.[2], автор нередко сопровождал символику краткими пояснениями, делающими символы в некоторой степени предметно представимыми.

В частности, по отношению к Борису и Глебу автор неоднократно употреблял слово «венец» в меняющихся значениях то символа светской власти, то символа воинской победы над бесами, то символа мученичества или святости. Но однажды этот символ светской власти вроде бы вернул себе признаки реального предмета, когда автор, неотчетливо припоминая традиционный облик царя, обозначил цар-

скую нарядность Бориса: «*цесарьскыимь веньцемь* отъ уности *украшенъ, пребогатыи* Романе: власть велия бысть своему отечьству…»[3]. Далее в неотчетливую же картину царственной внешности уже обоих братьев автор службы вовлекал и другие царские символы: «кръвию своею *прапруду носяща*, преславьная, и *крестъ въ скипетра место въ десную руку носяще*, съ Христомъ *царствовати* ныня сподобистася, Романе и Давыде…» (140).

Иногда автор намечал мимолетную картину, вернее, детали не царской, а мученической внешности братьев: «*каплями кръвьныими* и святыими *очьрвивъша ризы*, пресвятая Романе и Давыде» (138). А иногда символы у автора службы Борису и Глебу вводили в картину ночи: «яко *звезде* две, мира *просвещаета* чудесныими *блистании*, страстотерьпца Господня Романе и Давыде, *мракъ* греховьныи *отгоняща*» (138).

Появлению предметных оттенков в символике службы Иоанна, возможно, способствовало авторское воодушевление, выражаемое Иоанном, пожалуй, чаще, чем в службах Борису и Глебу иных авторов, — и как раз при использовании опредмечиваемых символов Иоанн восклицал: «веселомь серьдьцемь… радостьно» (138) и пр.

Все это подсказывает нам, что, сравнительно с гимнографией, в собственно повествовательных памятниках можно найти гораздо больше предметных оттенков в символах.

Обзор интересующего нас явления проведем на основе семи оригинальных древнерусских произведений XI — начала XIII вв., в которых символика была достаточно распространена, но в каждом памятнике своеобразна. Это «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати» Илариона, «Житие Феодосия Печерского», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника» и «Киевская летопись».

1. «Повесть временных лет»: благоговение

Изучение изобразительных мотивов, проникших в символику, начнем с летописной похвалы княгине Ольге под 969 г., содержавшейся уже в «Древнейшем летописном своде» 1039 г.[4] Прежде всего, где здесь символы? Вот лишь одно из высказываний об Ольге: «си бо сьяше, аки луна в нощи»[5]. Союз «аки» не указывал на сравнение: ведь речь не шла о реальном конкретном сходстве качеств Ольги с качествами луны. Иносказания здесь тоже не содержалось: предметным объектом не обозначался другой предметный объект, и не сама по себе луна обозначала Ольгу. На самом деле все детали в этом высказывании (и далее при развитии символа ночи в похвале) выступали в роли символов, когда предметными деталями автор обозначал абстрактные понятия: ночь, то есть подразумеваемая тьма ночи, символизировала язычество; луна, то есть ее сияние, символизировало праведницу; сияние луны во тьме ночи символизировало пребывание христианки среди язычников и т. д.

Похвала Ольге имела у автора двойной смысл. Первый и главный — смысл символический. Второй же смысл — второстепенный, неотчетливый, но в данном случае самый интересный для нас, смысл предметный, изобразительный, который подспудно возник в похвале из совокупности перечисляемых деталей: «Си бысть предътекущия крестьяньстеи земли, аки деньница предъ солнцемь и аки заря предъ светомъ; си бо сьяше, аки луна в нощи; тако и си в неверныхъ человецехъ светящеся, аки бисеръ в кале» (68). Нельзя не заметить, что в похвалу был введен автором изобразительный мотив (не изображение, а мотив) глубокой ночи с сияющей луной, — это подтверждается аналогичными описаниями реальных ночей в летописи, содержащими те же три-четыре предметные детали, как и в похвале Ольге (ночь, луна, «светящеся», заря). Например, под 1102 г.: «на небеси... акы пожарная *заря*... бысть тако светъ всю *нощь*, акы от *луны* полны *светящься*» (276).

Изобразительный мотив как бы реальной ночи у автора похвалы получился непреднамеренно, о чем свидетельствуют его три смысловые особенности. Во-первых, автор обозначил не конкретную, а отвлеченную ночь вообще, луну вообще, звезду вообще и т. д. Во-вторых, обобщенная ночь у автора похвалы оказалась «неправильной», потому что автор перечислил друг за другом разновременные детали: и глубокую ночь с сияющей луной, и конец ночи перед рассветом, и даже начало утра перед восходом солнца. Этот случайно возникший мотив фантастической ночи-утра нельзя объяснить какими-либо литературными традициями. Авторы похвальных слов если уж развивали символ деталями, то без смешения времени суток: язычество — это ночь, а начало христианства — день (так делал, например, Иларион в «Слове о Законе и Благодати»).

Мотив «неправильной» ночи отличался еще и третьей особенностью — автор начал как раз с утра, а потом углубился все дальше в ночь: сначала упомянута деньница (Венера) перед восходом солнца, потом — предшествовавшая звезде предрассветная заря, затем — предшествовавшая заре глубокая ночь с сияющей луной; а жемчужина в грязи светится уж совсем во тьме.

В общем, предметные детали в похвале не составляли осознанного автором единого изобразительного целого, однако слабый изобразительный оттенок в похвале все же присутствовал: перечисляемые детали мыслились автором как существующие одновременно и рядом друг с другом, словно на некоем «панно».

В это «панно» автор похвалы добавил еще один изобразительный мотив, сопровождавший символику крещения: Ольга то ли ночью, то ли под утро омывается в купели, совлекши с себя неведомо откуда взявшуюся на ней ветхую одежду Адама, и облекается в новое одеяние («си бо омыся купелью святою, и совлечеся греховною одежевъ ветхаго человека Адама, и въ новыи Адамъ облечеся, еже есть Христосъ»).

Зачем автору понадобилось это неясное, но ощутимо статичное «панно» ночи утра с Ольгой, застывшей в главном деянии своей жизни? Скорее всего, для того, чтобы создать своего рода словесный «памятник» Ольге. Недаром автор тут же заговорил о памяти праведникам («бессмертье бо есть *память* его... в *памят* вечную

праведникъ будеть») и намекнул на земной памятник Ольге мавзолей с ее мощами («се бо вси человеци прославляють, видяща лежащая в теле на многа лет»).

Еще один благополучный, но уже осознанно использованный автором воинский изобразительный мотив обозначился в летописной похвале Феодосию Печерскому под 1091 г.: «*победивъ* мирьскую похоть и миродержьца князя века сего, *супротивника* поправъ дьявола и его козни, *победникъ* явися противным его *стрелам* и гордымъ помысломъ, ставъ супротивно, укрепивъся *оружьемь* крестнымь и верою *непобедимою*, Божьею помощью» (214). Детали символики у автора похвалы образовали, конечно, не картину сражения, а наметили изобразительный мотив величественно, как на медали, застывшей фигуры воина-победителя («победивъ... супротивника *поправъ*... победникъ *явися*... *ставъ* супротивно... *укрепивъся* оружьемь...»). Традиционная символика победы не предусматривала обязательность описания позы победителя. Думается, вновь проявилось у летописца желание возвести похвалой подвижнику некий словесный «памятник», наряду с упоминанием памятника материального («люди... иже взирающе на *раку* твою, поминають...» 213).

Далее можно и вне символики продолжить рассмотрение этого тяготения к памятникам, материальным и словесным, у создателей «Повести временных лет», но мы ограничиваемся только обзором символов с изобразительными добавками и систематизацией таких смысловых добавок.

Развивая символ, летописец мог выходить за пределы «памятника» одинокому герою к застывшей многофигурной композиции. Например, в похвале Ярославу Мудрому под 1037 г. автор символизировал принятие христианского учения Русью перечнем сельскохозяйственных работ: «яко же бо се некто землю разо́рить, другыи же насееть, ини же пожинають и ядять пищю бескудну» (152). В отличие от реального сезонного труда земледельца, в похвале Ярославу Мудрому этапы сельско хозяйственной деятельности разнесены по многим людям и даже поколениям, что подтверждает автор в своем пояснении к данной символике: «тако и сь — отець бо сего Владимиръ землю взора и умягчи... сь же [Ярослав] насея... а мы пожинаемъ... приемлюще...». Все это в изобразительном отношении напоминает ту масштабную многофигурную «запону», которую для большей убедительности христианского учения философ показал Владимиру: «показываше ему о десну праведныя, в весельи предъидуща въ раи, и о шююю грешники, идуща в муку» (106, под 986 г.). Автор похвалы Ярославу тоже сделал упор на глаголы настоящего времени несовершенного вида: «вернии людье наслажаются», «пожинають и ядять», «мы пожинаемъ», «мудрость бо обретаемъ» и пр., однако тут автор демонстрировал перед глазами читателей не «запону», а, скорее, содержательную книжную миниатюру, оттого и перешел к похвале книгам: «книгамъ бо есть неищетная глубина» и т. д. (152). Однако все это не было доведено до отчетливой образности, не стихийной.

Иногда при нагнетании символов в летописном рассказе возникало иное изобразительное «панно», нежели «памятник» или многофигурная композиция. Вот, например, в похвальной речи византийского патриарха к княгине Ольге под 955 г.

читаем: «Христосъ имать схранити тя, яко же схрани Еноха в первыя роды, и потомъ Ноя — в ковчезе, Аврама — от Авимелеха, Лота — от содомлянъ, Моисея — от фараона, Давида — от Саула, 3 отроци — от пещи, Данила — от зверии; тако и тя избавить от неприязни и от сетии его» (62). В результате длинного перечисления библейских лиц разновременные библейские события и герои объединились в пространственное окружение Ольги, составили как бы защитную стену, которую летописец тут же и упомянул: «премудрость... на краихъ же *забральныхъ* проповедаеть». Правда, изобразительный мотив защитной стены, окружившей Ольгу, летописец обозначил все же неотчетливо.

В отдельных летописных рассказах символами служили совершенно конкретные реалии, и тогда изобразительные мотивы приобретали трагический характер. Например, под 1065 г. летописец описал серию странных происшествий, которые, по его мнению, являлись предзнаменованиями зловещего будущего: «В си же времена бысть знаменье: на западе звезда превелика; луче имуще, акы кровавы; въсходящи с вечера по заходе солнечнемь; и пребысть за 7 днии. Се же проявляше не на добро» (164). Тут же летописец добавил второе знамение: «В си же времена бысть детищь... его же, детища, выволокоша рыболове въ неводе... бяшеть бо сиць: на лици ему срамнии удове, иного нелзе казати срама ради». И тут же летописец вспомнил еще об одном знамении, предшествовавшем описанным: «Пред симь же временемь и солнце пременися, и не бысть светло, но акы месяць бысть; его же невегласи глаголють снедаему сущю. Се же бывають сица знаменья не на добро». Следуя друг за другом в едином повествовании, все три знамения объединились в непрерывную череду зловещих событий, взаимодополняющих друг друга: одно знамение явилось на ночном небе с вечера, другое знамение появилось на небе днем, а еще одно обнаружилось на земле и в воде. Летописец таким способом усилил изобразительный мотив зловеще искаженного мира с неба до земли.

Мало того, в этой же статье, в сразу же следующей за этим выборке знамений из «Хроники» Георгия Амартола, летописец использовал тот же способ нагнетания знамений, заполняя изобразительными мотивами неблагополучия все реально зримое пространство: знамения «на вздусе» («въ оружьи... полкы обоя явлены»), знамения на ночном небе («восия звезда на образъ копииныи», «по сем же бысть звездамъ теченье с вечера до заутрья»), знамения на дневном небе («и паки солнце без лучь сьяше»), знамения на земле у людей («жена детищь роди безъ очью и без руку, и чересла бе ему — рыбии хвостъ прирослъ»), знамения среди животных («песъ родися шестиногъ») и т. д. (164—165). Всеобъемлющая мрачная «сфера», «яко видящим мнети кончину» (165).

Наконец, в летописи, в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского под 1097 г., встречается еще один изобразительный мотив, а именно — гигантский тревожный знак. Так, автор повести сообщил об ослеплении Василька конкретным ножом («узре Василко торчина остряща *ножь*... и приступи торчинъ... держа *ножь*» и т. д. — 260—261), а затем в речах князей по поводу ослепления Василька этот нож преобразился в символ княжеской междоусобицы: «...створи се в

Русьскеи земьли и в насъ, братьи, оже вверженъ в ны *ножь*», «зло створилъ еси в Русьстей земли и вверглъ еси *ножь* в ны» (262. Ср. далее под 1100 г. о том же: «ввергль еси *ножь* в ны, его же не было в Русскеи земли» 274). В результате, символику сопроводил настойчиво выраженный изобразительный мотив гигантского грозного ножа, всаженного в Русскую землю.

Гиперболизированные предупреждающие предметы-знаки появлялись у автора данной летописной повести неоднократно. Например, князья «целоваше крестъ межъ собою» не воевать друг с другом (265); однако, когда один из князей в нарушение клятвы пошел на Василька и его брата, Василько «вземше кресть, его же бе целовалъ к нима... и Василко възвыси крестъ, глаголя, яко "сего еси целовалъ"»; и тут конкретный крест обернулся каким-то громадным внеземным крестом: «сступишаяся полци, и мнози человеци благовернии видеша кресть над Васильковы вои, възвышься велми» (270).

Предметная деталь в повести, становившаяся символом, могла приобретать сопутствующую повышенную значимость и не за счет гиперболизации ее величины, а благодаря переносу в небесный мир. Вот с ослепленного Василька «сволокоша с него сорочку кроваву» для стирки, но очнувшийся Василек высказал сожаление: «да бых в тои сорочке кроваве смерть приялъ и сталъ пред Богомь» (261), окровавленная княжеская сорочка предъявлена самому Богу, который имеет и к ней касательство.

Существовал еще один способ летописного изображения, правда, редкий и фактически не относящийся к нашей теме. Вот чуть ли не единственный пример в летописи под тем же 1097 г.: в сражении с венграми половцы «сбиша é в мячь... сбиша угры, акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице» (271). Выражение «сбиша, акы в мячь» относится, конечно, к сравнениям, а не к символам, и предполагает предметное сопоставление людской свалки в битве со свалкой в игре. Но вот как атрибутировать выражение «яко се соколъ сбиваеть галице»? «Сокол» и «галки» уже кажутся символами противоборствующих сторон. Однако на самом деле это иносказания, а не символика, потому что предметными понятиями сокол, галки — здесь переносно обозначены другие предметные же, а не абстрактные, понятия — половецкий князь Боняк и разгромленное им венгерское войско. Такие иносказания нередки, например, в «Слове о полку Игореве».

Иносказание выполняло другую изобразительную роль, нежели символика. Если в тексте при нагнетании символов иногда формировался параллельный изобразительный мотив, лишь сопровождавший символический смысл того же текста, то иносказание обычно обходилось без символики и напрямую усиливало конкретный изобразительный смысл всей фразы. В частности, в приведенной выше фразе иносказанием «яко се соколъ сбиваеть галице» автор гиперболизировал летучий размах описываемой сечи.

В целом же, не остается сомнений в том, что при развитии или нагнетании символов в летописном повествовании символику сопровождала некоторая степень изобразительности. Эти изобразительные мотивы («памятники», «стены»,

«сферы», «знаки» и пр.) были довольно разнотипны, а произошло это, скорее всего, потому, что в составлении летописи участвовали не думавшие об образности своего повествования очень разные авторы и в очень разное время. И все же нечто общее сформировалось: эти изобразительные мотивы при символах, пусть и стихийные, передавали преимущественно благоговейные чувства летописцев перед великими или страшными событиями прошлого.

2. «Слово о Законе и Благодати» Илариона: идеализация

Символика других летописей XII XIII вв. гораздо беднее, чем в «Повести временных лет», и сравнительно с ней ничего нового не содержит в изобразительном отношении. Зато символика более раннего произведения — «Слова о Законе и Благодати», — хотя и однообразна по способу изложения (Иларион использовал только нагнетания символов), но сопровождавшие его символику изобразительные мотивы семантически отличались от изобразительных мотивов « Повести временных лет».

Сравним, например, символику крещения, сходную в «Слове» Илариона и в «Повести временных лет». Владимир в «Слове», как и Ольга в летописной похвале, раздевается, омывается в купели и одевается: «*съвлече же ся* убо каганъ нашь и съ *ризами* ветъхааго человека *съложи тленьнаа, оттрясе прахъ* невериа и *вълезе въ* святую *купель*, и породися от духа и *воды*, въ Христа крестився, въ Христа *облечеся*, и изиде от купели, *белообразуяся*»[6]. Развивая символ крещения, Иларион ввел изобразительный мотив чистой обмытости Владимира, а этот мотив далее продолжил мотивом парадной облаченности князя с ног до головы: «ты правдою бе *облеченъ*, крепостию *препоясанъ*, истиною *обутъ*, съмысломъ *венчанъ*, и милостынею, яко *гривною и утварью златою, красуяся*» (34). Владимир у Илариона идеально наряден внешне, чем напоминает красочно описанного обобщенного князя в «Шестодневе» Иоанна Экзарха. У Илариона так же идеально наряден и современный ему Киев, который сын Владимира «величьствомъ, яко венцемь, обложилъ» (33).

В отличие от летописцев Иларион вполне сознательно превращал изобразительные мотивы при символах в идеальные образы, что подтверждает присутствующая в обоих произведениях символика смены «ночного» язычества «дневным» христианством: «Отиде бо светъ луны, солнцю въсиавъшу... и студеньство нощьное погыбе, солнечьнеи теплоте землю съгревши, и уже не гърздится... человечьство, нъ... пространо ходить, иудеи бо при свешти... делааху... християни же при благодетьнеим солнци... жиждють» (17). Ночь и день в описании Илариона не искажают реальности, как это было в летописи, но представлены в максимально полном, идеальном своем проявлении: ночью светит луна и очень холодно, люди теснятся при свече; днем же сияет солнце, своею теплотою согревая землю, люди ходят свободно.

Другие изобразительные мотивы на основе перечисления символов, довольно многочисленные в «Слове», тоже отразили тяготение Илариона к созданию полнокровных идеальных образов, — например, в теме христианского орошения после языческой засухи: если уж потек источник, то обильный и все проникающий («еуагельскыи же источникъ *наводнився и всю землю покрывъ*» — 23); если пошел дождь, то максимально плодотворный («дождемь Божиа поспешениа *распложено бысть многоплодне*» — 34).

Почти через полтора века после Илариона другой знаменитый проповедник Кирилл Туровский — довел символику в своих «словах» до гигантских изобразительных панорам всеобщего благополучия.

3. «Житие Феодосия Печерского»: страстность

«Житие Феодосия Печерского», написанное Нестором (летописцем или тезкой летописца) в конце XI — начала XII вв., при всей изученности его поэтики[7] и относительной непритязательности повествования, содержит целые пласты еще недооцененных нами литературных средств, к которым в первую очередь относится множество фразеологических символов. Эти символы в тексте «Жития» не образовывали «колоний», а употреблялись обычно в одиночку, но тем не менее они изредка благодаря контексту приобретали некоторый предметный оттенок как слабую степень изобразительности.

В «Житии» можно выделить большую группу фразеологических символов, обозначавших внутреннее состояние человека и при этом благодаря контексту иногда дополненных предметными оттенками. Один из предметных оттенков — обозначение физического или телесного действия в символе. Так, автор в «Житии» сравнительно часто упоминал символ «сердце», в частности, символ «**обращение сердца**», который обозначал перемену настроения у персонажей. Однажды предметный оттенок, пожалуй, дал о себе знать в этом символе: когда Феодосий «моляще ся Богу прилежно о спасении матере своея и *обращении сердца* ея на послушания», то есть о смене ее ярости смирением[8], то эту тему автор продолжил уже не символикой, а реалиями: «въ единъ бо день пришедъши мати, ему глаголя: “...*не възвращю ся* въ градъ свои... да иду в манастырь женъ”». У автора, видимо, ассоциировались слова «обращение», «обратитися», употребленные в абстрактном значении, со словами «возвращение», «возвратитися», обозначавшими физическое передвижение. «Обращение сердца» — это немного и его физический поворот.

Авторскую ассоциацию поворота душевного с поворотом физическим, хотя выраженную слабо и мимолетно, нельзя признать совершенно случайной в «Житии». Она выражалась через соседство символических мотивов с реальными при развитии сюжета, в том числе при добавлении сравнений. Например, Феодосий поучал монахов: «*не обратимъ ся* на прьвыя грехы, яко же се и пси на своя бльвотины. “Никъто же бо, — рече Господь, — възложь рукы своея на рало и *обращь*

ся въспять, управленъ есть въ царство небесьное"» (92), нравственное «обращение» людей к прошлым грехам ассоциировалось с телесным поворачиванием, так как сравнивалось автором с физическим возвращением псов на блевотину и с телесным поворотом пахаря за сохой назад.

Объяснить наличие слабого предметного оттенка у символа можно в какой-то степени традиционностью его содержания. Для сугубо предварительных суждений о данной литературной традиции привлечем произведения, переписанные вместе с «Житием Феодосия» в «Успенском сборнике», а также «Повесть временных лет».

Символ «обращение сердца», имеющий предметный оттенок, по-видимому, не был распространенным. Из круга избранных нами памятников удается найти лишь один пример (и то библейский) в «Повести временных лет», под 1068 г.: «Глаголеть бо пророкомь намъ: "*Обратитеся* ко мне всемь *сердцемь* вашимь, постомь и плачемъ"»; на некоторый предметный оттенок в символе указывает непосредственное продолжение летописного изложения, переводящее духовное обращение в физическое возвращение: «но мы на злое *възвращаемся*, акы свинья, в кале греховьнемь присно каляющеся, и тако пребываемъ» (168).

Однако чаще «обращение сердца» являлось не более чем символом, как, например, в той же «Повести временных лет» под 996 г.: «люди си, им же *обратилъ* еси *сердце* в разум познати тебе, Бога истинного» (124); или, например, в «Слове на вербницу» в составе «Успенского сборника»: «възглаголеть къ намъ господь Богъ… и на *обращающихъ сердца* къ нему», «да *обратять ся сердца* отьцемъ на чада» (385, 386).

Таким образом, в «Житии Феодосия» слабый предметный оттенок все-таки наличествовал в символах «обращение сердца», «обратити сердце». Если даже этот предметный оттенок и был традиционно слаб, то в «Житии Феодосия» он оказался выраженным несколько более настойчиво.

Редкий, встречающийся, кажется, только в «Житии» фразеологический символ **«на разум наводити»** (обращать в благоверие) содержал предметный оттенок другого физического действия реального передвижения: Феодосий старался, «да бы ни единъ от стада его отлучилъ ся, нъ вся въкупе… мъногы *на Божии разумъ наводяше*»; и далее автор добавил глаголы движения, все более реальные: «и къ небесьному царствию *направляше*. Нъ се пакы на прокое отселе съповедание… *поидемъ*. Се бо… *приде* келарь къ сему блаженому» (109). Наводити направляти — пойти — придти: люди учимые, «наводимые на разум» ассоциировались у автора «Жития» куда-то ведомыми, идущими по некоему пути.

Этот безусловно традиционный и распространенный оттенок неоднократно добавлялся в «Житии», особенно ясно и развернуто, когда речь шла о таком внутреннем состоянии, как покаяние: «Покаяние бо есть *путь*, *приводя* къ царству… бес того бо неудобь *вълести* никому же; покаяние есть *путь, въводя* въ породу; того *пути*, братие, *дрьжимъ ся*; на томь пригвоздимъ *плесне и стопы*» (92).

Ряд фразеологических символов, обозначавших внутреннее состояние человека в «Житии», содержал предметные оттенки физического противостояния или

борьбы. Так, автор дополнял символы моральной защищенности «**оградитися верою**» или «**оградитися молитвой**» предметным оттенком реальной материальной ограды. Вот как, например, переходами от символики к реальному повествованию или к реальным сравнениям рассказано о Феодосии: он настроился «на *възграждение* монастыря... и *оградивъ ся верою и упованиемь... възгради* церькъвь на месте томь ... и *оградивъ* и постави келие многы» (89). «Ограждение верою» ассоциировалось с возграждением и ограждением монастыря.

Сходная ассоциация выражалась и далее: Феодосий «о стаде своемь моля Бога... и молитву творя, и тою *огражая* й, яко *градомь твьрдъмь...* и тако бе *оградилъ* вься области его монастырьскыя» (120). «Ограждение молитвою» ассоциировалось с твердой городской оградой.

И еще раз мотив твердой материальной защиты автор добавил к символу «оградитися верою»: «Многашьды же сего блаженаго князи и епископи хотеша того искусити, осиляюще словесы, нъ не възмогоша и, акы о *камыкъ* бо приразивъше ся, оскакаху, — *огражень* бо бе *верою и надежею...* и въ себе *жилище* святааго духа сътвори» (125). «Ограждение верою» ассоциировалось с каменной оградой, с жилищем.

Предметный оттенок реальной ограды, добавляемый в символ ограды моральной, был характерен, пожалуй, только для «Жития Феодосия Печерского», вероятно, в силу строительно-монастырской тематики произведения.

Предметные оттенки тем более проявлялись при развитии символов. Например, символы «крестное оружие» или «**вооружитися молитвою**» вводили мотив реальной военной победы в описание борьбы против бесов: «отець же нашь Феодосии... оградивъ ся *крьстьнымь оружиемь...* благодатию Христовою *победи* я и *възятъ* от Бога *власть* на них» (90); «тъгде же отець нашь Феодосии *въоруживъ ся* на ня пъстъмь и *молитвою...* яко се *оружиемь*, отгънани быша от вьси тоя; и тако пакы блаженыи приде въ монастырь свои, яко *храбъръ, сильнъ, победивъ* зълыя духы» (115) и пр. Предметный мотив победоносного вооружения молитвой был типичен, пожалуй, тоже только для «Жития Феодосия».

Кроме того, в «Житии» в символах, обозначавших внутреннее состояние персонажей, еще один ряд предметных оттенков указывал именно на физическое состояние человека. Например, в символ «**духовного брашна насыщатися**» (быть учимым) автор однажды привнес оттенок реального насыщения реальной пищей, и сделал это разными способами сразу, — и развитием символа, и добавлением реальных деталей, и последовательностью повествования: князь часто приходил к Феодосию, «*духовьнаго* того *брашьна насыщая ся* паче *меду и съта*, се же суть словеса блаженааго, яже исходяахуть от медоточьныихъ *устъ* техъ» (123); а до того автор рассказывал, как другой князь, тоже часто приходивший к Феодосию, хвалил сладость его реальной пищи: «несмь тако сладъка *брашьна въкушалъ*, яко же ныне сьде» (106).

Подобный символ духовного насыщения, конечно же, был глубоко традиционен и широко распространен в литературе, но преимущественно в кратком виде и

без явственных предметных оттенков. Появление же более заметного и даже подчеркнутого предметного оттенка в символе было связано с повышенной учительной энергией героя.

Еще одним подтверждением возникновения предметных оттенков в символе от страстности персонажа может послужить символ «тепл на веру», который в соответствующем повествовательном окружении вдруг наполнялся реальным жаром. Так, один из черноризцев, который хотел «чърноризьць съвершенъ быти», наткал полотна без разрешения Феодосия, который за это ему велел: «възьмъ сия, яко ослушания есть дело есть, въвьрьзи въ пещь *горущу*. Онъ же, иже *теплъ* сыи *на веру*... въвьрьже въ пещь, и тако *изгоре*» (108), — духовная теплота черноризца перекликалась с жаром горящей печи.

Мы обозрели в «Житии Феодосия» далеко не все случаи внесения предметных оттенков автором в символы, но и так ясно, насколько широким получился в «Житии» дополнительный изобразительный фон как отражение духовной энергии героев.

4. «Поучение» Владимира Мономаха: оптимизм

Символика «Поучения» Владимира Мономаха не так уж богата, но один символ давно привлек внимание истолкователей, — это, конечно, выражение «седя на санех» во вступительной части «Поучения», где Мономах написал: «*Седя на санех*, помыслих в души своеи и похвалих Бога, иже мя сихъ дневъ, грешнаго, допровади»[9]. По общепринятому мнению исследователей, упоминание автора о себе, сидящем в санях, когда им не конкретизировано, что это за сани, как и куда они движутся, а деепричастным оборотом обозначено некое состояние человека, символически указывало на приближение скорбного Мономаха к смерти, к его похоронам[10]. И действительно, Мономах тут же пояснил, что до солидных дней жизни довел его Бог; а потом далее в «Поучении» прямо признал: «унъ бех и *сстарехся*» (242).

Однако в символе «седя на санех» можно ощутить и дополнительный смысловой оттенок, выраженный Мономахом и — самое интересное — противоречащий принятому сейчас похоронно-символическому истолкованию всей этой фразы, а также истолкованию всего «Поучения» как произведения преимущественно печального, чуть ли не трагического. Дело в том, что традиционная символика похоронных саней в книжности XI — XII вв. основывалась на формуле «*возложити* на сани», которая отражала реальный ритуал возложения умершего на сани. Вот уже хорошо известные примеры из «Повести временных лет» по хронологии таких сообщений о хоронимых князьях: умершего Владимира Святославовича «*възложьше й на сани*» (130, под 1015 г.); умершего Ярослава Владимировича «*възложьше на сани*» (162, под 1054 г.); умершего Изяслава Ярославовича «*възложивше* тело его *на сани*» (202, под 1078 г.). В третьей редакции «Повести временных лет» под

1113 г.: умершего Святополка Изяславовича «спрятавше тело его и *възложиша на сане*»[11]. В древнейших миниатюрах тело умершего также возлагали на сани (например, тело Владимира Святославовича на миниатюре «Силавестровского сборника» XIV в.).

Но к уже известным фактам добавим, что формулу «возложити на сани» летописцы видоизменяли в зависимости от реальной ситуации. Если в летописи речь шла не о только что умершем человеке, а уже о последующей перевозке раки с телом, то употреблялась формула «вставити на сани». Например, в «Повести временных лет» под 1072 г.: «вземше Глеба в раце камене, *ставиша на сани*» (182. В «Сказании чудес Бориса и Глеба» та же формула повторялась неоднократно: «възьмъше Глеба въ раце камяне, *въставивъше на сани*», «*въставивъше на сани*... преже Бориса ... Глеба по немь *въставивъше на* другыя *сани*»[12]). Эта формула держалась долго; ср. «Владимиро-Суздальскую летопись» под 1283 г. о расправе баскака над боярами: «отимая голову и правую руку» от боярских тел «и начаша бесурмене вязати головы боярьскыя к торокам, а рукы вкладоша в судно и *ставиша на сани*» (481).

Если же в летописи рассказывалось не об уже умершем, а о лишь смертельно больном человеке, то летописцы предпочитали употреблять выражение «взяти на сани», как например, писали о Феодосии Печерском в «Повести временных лет» под 1074 г.: «впаде в болезнь, разболевшю бо ся ему и болевшю днии 5... Братья же *вземше* я *на сани*...» (186). Когда же упоминался просто ослабевший болящий человек, далекий от смерти, то в такой ситуации летописец обращался к выражению «вывозити на санках», что читаем, например, в «Новгородской первой летописи» под 1220 г. про посадника Твердислава Михайловича: «Твердислав же бяше немощенъ, и *вывезоша* и́ *на санкахъ*...»[13].

Тогда из какой же реальной ситуации исходил Мономах, применив символическое выражение «*сидети* на санях»? Тем более что Мономах повторил его дважды, — в начале «Послания» и еще раз через несколько строк: «на далечи пути да *на санех седя*» (241). К сожалению, в других произведениях XI–XII вв. точно такое же выражение встретить не удалось. В «Иконописных подлинниках» сидят уже не тела, а души умерших, переносимые в ладье на том свете, что не имеет отношения к «Поучению» Мономаха.

К счастью, выявлению нового оттенка в символическом выражении «сидети на санях» помогают косвенные данные. Обратим внимание на часть анализируемого выражения, — на семантику слова «седети» у Мономаха. Прежде всего, «*седя* на санех» у Мономаха подразумевало «*ездя* на санех». Сам Мономах в «Поучении» употребил как адекватные, с одной стороны, фразу с сидением и, с другой стороны, фразу с ездой; ср. две сходные фразы о «безлепице», — детей Мономаха о «безлепице» в его адрес, а затем фразу Мономаха о «безлепице» в адрес его детей: «*на санех седя безлепицю* си молвилъ» (241) и «*на кони ездяче*... мыслити *безлепицю ездя*» (245). Так же, например, и в «Повести временных лет» сидение на каком-нибудь средстве передвижения подразумевало и езду на нем. Вот даже

самый анекдотический пример: монах «виде единого, *седяща* на свиньи, а другыя *текуща* около его. И рече имъ старець: “Камо *идете*?”» и т. д. (191, под 1074 г.), ясно, что «седя на свиньи бесъ» ехал.

Теперь вернемся к выражению «седя на санех» и его реальной основе у Мономаха. Сидение-езда на санях основывались на повторяющемся в «Поучении» реальном мотиве постоянных поездок, походов и ловов Мономаха. Но *езда* на чем-нибудь служила реалией и не имела символического значения в «Поучении». А вот во вполне здоровое *сидение* в едущих санях Мономах вложил символический смысл, обозначив, пожалуй, не столько приближение к смерти, сколько сохранение своей дееспособности в старости. Он ведь не лежит, а сидит. Мотив дееспособности проходил через все «Поучение». Недаром в конце «Поучения» Мономах именно за сохранение своей энергии поблагодарил Бога: «хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя, грешнаго и худаго, *селико лет* сблюл от техъ часъ смертныхъ и не ленива мя былъ створилъ, хулаго, на вся лела человечьская потребна» (251 252). Тут не лишне будет привести относительно близкую параллель из «Повести временных лет» под 945 г. с деревлянами, сидящими пока еще не в похоронной ладье и пока еще полными сил: «понесоша я в лодьи, они же *седяху* в перегъбех, въ великихъ сустугахъ, гордящеся» (56). Таким образом, «сидение» в санях могло осмысляться Мономахом как знак сохранения энергии пожилым человеком.

Если наша догадка верна, то при втором упоминании едущих саней Мономахом выражение «далекий путь» символически обозначало также не близость смерти, не нахождение у далекого послесмертного пути на том свете, а, напротив, еще все-таки далекий земной путь Мономаха к смерти. Действительно, свое «Поучение» Мономах написал в возрасте примерно 64 лет, в 1117 г., а умер лишь через 8 лет — в 1125 г. Соответственно, Мономах в «Поучении» нигде не упомянул о близости своей кончины, а, напротив, выразил надежду на продолжение своей активной деятельности и привел в пример всех «добрых мужей», в том числе и себя: «и еще, Господи, *приложи ми лето к лету…* Тако похвалю Бога и седше думати с дружиною, или люди оправливати, или на ловъ ехати, или поездити, или лечи спати» (247).

Добавим, что отношение Мономаха вообще к смерти и далее в «Поучении» вовсе не было покорно-меланхолическим. Напротив, Мономах учил не бояться смерти, энергично делать дела «не щадя головы своея» (251): «Смерти бо ся, дети, не бојачи, ни рати, ни от звери, но мужьское дело творите, како вы Богъ подасть» (252).

Так что можно сделать вывод: в начале «Поучения» выражением «седя на санех» Мономах, действительно, символически указал на свою активную энергичность, пусть и в пожилом возрасте, и предметный вид этой подразумеваемой Мономахом активной деятельности даже можно конкретизировать. Ведь выражения с глаголом «седети» на чем-то неподвижном либо передвигающемся обычно в древнерусских произведениях сочетались с обозначением каких-либо сосредоточенных занятий героев или их окружения (по принципу «седе, делая дело свое» — «Житие Феодосия Печерского» в «Успенском сборнике», 101). Сидение же в/на каком-либо

предмете вводило в некое публичное действо. Ср. то же «Житие Феодосия Печерского», в сцене почитания Феодосия: «преподобьнууму Феодосию *на возе седящю*, вси же боляре, съретъше, поклоняху ся ему» (99); или в «Повести временных лет» картина почитания Бога ангелами: «Богъ есть на небеси, *седя на престоле*, славим от ангелъ, иже предстоять ему со страхом» (177, под 1074 г.); или сцена княжеских переговоров в «Повести временных лет»: «*седишь* с братею своею *на одином ковре*, то чему не жалуешься, до кого ти нас жалоба?» (273, под 1100 г.); или, наконец, у самого Владимира Мономаха задолго до «Поучения» в его письме к князю Олегу Святославовичу 1096 г., приложенному к «Поучению», сцена печалования жены по погибшем муже: «и *сядет*, акы горлица *на сусе древе* желеючи» (254). А в самом «Поучении» Мономах даже похвалил своего отца за усидчивую деятельность: «отець мои, дома *седя*, изумеяше 5 языкъ» (246).

Но тогда какое свое публичное действо подразумевал Мономах, которое сочеталось с символическим силением в санях, то есть с его бодрой старостью? Первое упоминание саней в «Поучении» не дает ответа на этот вопрос. Но второе упоминание саней все же содержит косвенный ответ: Мономах предвидел, что его дети «или инъ кто, *слышавъ* сю грамотицю … тако се рекуть: “На далечи пути да на санех седя, … си *молвилъ*» (241). Раз слушают то, что им некто молвит с саней, значит Мономах символически обозначил себя пожилым человеком, произносящим или посылающим наставления молодым. Далее об этом своем публичном занятии он сказал с четкой прямотой: «Си словца прочитаючи, дети моя… и се от худаго моего безумья *наказанье* послушаите мене» (245).

В соответствии со своим бодрым настроением Мономах с самого начала обозначил и содержание своего «Поучения», — он сразу же за первым упоминанием саней стал учить энергичности в жизни: «ому же любо детии моихъ … не ленитися начнеть, тако же и тружатися» (241). В общем, выражение «седя в санех» надо понимать в том смысле, что пожилой Мономах много еще чего сделает.

Наблюдения над семантикой символа «седя на санех» позволяют поставить ряд более общих вопросов о творчестве князя. На примере символического выражения «седя в санех» можно отметить одну из особенностей повествовательной манеры Мономаха. С точки зрения поэтики на фоне поминания похоронных саней в современных ему памятниках видно, что Мономах в данном случае резко и живо переосмыслил распространенную формулу с санями, чего до него не делал, кажется, никто.

Индивидуальное переосмысление формул, пусть и не вызывающе сплошное, но все же не единичное в «Поучении», видимо, было свойственно Мономаху, о чем мы вынуждены сказать коротко, так как индивидуальность фразеологии и ее устные корни у Мономаха требуют специального исследования, а мы не станем отрываться от фразы с санями. Тем не менее и во фразе с санями соседствуют одна за другой две формулы, которые переосмыслил Мономах: «*Седя на санех, помыслих в души* своеи и похвалих Бога, иже мя сихъ дневъ, грешнаго, допроводи». Здесь сразу вслед за формулой с санями Мономахом преобразована формула, обозначавшая

озабоченность или озадаченность героя, типа «помыслити в себе», «помыслити в сердце» или «помыслити в уме»; вместо обычной формулы Мономах употребил успокоительное выражение — «помыслих в души своеи».

Полных аналогий и этому выражению Мономаха найти не удалось. Схожее явление наблюдается только в «Сказании о Борисе и Глебе», но там персонажи стонут или глаголют в своей душе, а не помышляют в душе. Почему же Мономах употребил столь индивидуальное выражение — «помыслих в души своеи»? Наверное, потому, что именно о человеческой душе он довольно много, мудро и притом успокоительно рассуждал в своем «Поучении» (да и в письме Олегу Святославовичу тоже «вникнущи въ *помыслы души* своеи» — 253).

Так или иначе, но о преобразовании Мономахом двух формул кряду свидетельствует синтаксический результат, — фраза получилась неловкой и неясной, больше свойственной, пожалуй, устной речи, чем письменному изложению. Присмотримся к структуре этой фразы. Глагол «помыслити», так сказать, в нормальных фразах в книжных памятниках, как правило, бывал слит с конкретным пояснением того, о чем именно помыслил герой (помыслил что-либо сделать, «помысливъ, рекъ...»; «нача помышляти, яко...»; «помысливъ же въ себе, еже...»; «помышляя въ себе, кто...»; «помышляше, аще...» и т. д.). У Мономаха же выражение «помыслих в души своеи...» формально не имеет пояснения и оттого выглядит незаконченным. Можно, конечно, видеть в этой неловкой фразе поздний пропуск слов, вкравшийся в дошедший список. Однако более вероятным кажется, что Мономах, не будучи очень уж изощренным книжником, переосмыслил формулы в процессе немного нескладного превращения им грустного помышления о своем пожилом возрасте в бодрую похвалу Богу за достижение такого возраста. Иными словами, оптимистическое переосмысление формулы с похоронными санями не было у Мономаха случайностью.

Кстати, напомним, что Д. С. Лихачевым уже была отмечена в письме Мономаха к Олегу «поразительная для своего времени переделка обычной воинской формулы ободрения воинов перед битвой» (Мономах заявил, что, мол, ничего удивительного в том, что воины погибают в сражении): «вместо побуждения к битве Мономах этой же формулой оправдывает свой отказ от мести за убитого сына»[14], то есть и тут он не разгневан, не ожесточен и не мрачен, а искренне смиренен.

Перейдем к еще более общему вопросу. Что же побуждало Мономаха переосмыслить формулы, прежде всего формулу с санями? Это можно объяснить тем, что к отмеченным фразеологическим новациям Мономах обратился благодаря новизне его индивидуальной идейной позиции. Ученые давно уже отметили идейную приверженность Мономаха к золотой середине, его отстранение от крайностей[15]. И в нашем случае, во фразе с санями, Мономах проявил себя не как восторженный, а, если можно так выразиться, как основательный оптимист, последовательно отворачивавшийся от всего крайне плохого, в том числе от мыслей о *близости* своей смерти; напротив, в последующем своем изложении он постоянно надеялся на лучшее и успокаивал себя и читателей: «вечеръ водворится плачь, а заутра

радость» (242). Если в «Поучении» Мономах о чем и сожалел, то традиционно о краткости человеческой жизни вообще: «смертни есмы: днесь живи, а заутра в гробъ… поручил ны еси на мало днии» (245); но характерен вывод Мономаха из этого прискорбного обстоятельства, — уже знакомый нам жизнелюбивый мотив: «не ленитеся… не мозите ся ленити ни на что же доброе» (246).

По поводу оптимизма Мономаха ограничимся лишь небольшими дополнительными замечаниями. Неприятие плохого Мономахом отразилось даже в сравнительно мелких темах его «Поучения». Так, сразу же вслед за фразой с санями Мономах сказал и далее продолжил говорить только в оптимистически ободрительном тоне о возможной судьбе своего «Поучения», Мономах отвергал слишком плохое отношение к нему: «…кто слышавъ сю грамотицю, не посмеится… а приметь е в сердце свое… Аще ли кому не люба грамотиця си, а не поохритаються… аще вы последняя не любы, а передняя приимаите» (241). И далее: «Си словца прочитаюче… аще не всего примете, то половину» (245); «аще забываете всего, а часто прочитаите» (246), — плохое или неприятное все-таки закончится хорошим. Такой мотив не был связан с традиционным самоуничижением безликого автора.

Оригинальным бодрым, оптимистическим настроем, нейтрализующим эпизодические минорные высказывания, пронизано все «Поучение» Мономаха, вплоть до его символических выражений, анализ которых, следовательно, помогает существенно дополнить характеристику умонастроений этого своеобразного князя.

В заключение нашего анализа символа «седя на санех» учтем, теперь уже собственно из «Повести временных лет», а не из «Поучения», еще одно высказывание Мономаха, возможно, тоже подтверждающее предположение о склонности Мономаха к оригинальному оптимистическому переосмыслению похоронных реалий и формул. К нашему удовлетворению, летописцы тоже приводили высказывания Мономаха, хотя и в виде кратких выдержек из произнесенных им речей. Например, под 1100 г. летописец сообщил о съезде русских князей в Витичеве, на котором Владимир Мономах обратился со следующими словами к своему двоюродному брату Давыду Игоревичу (мы их уже цитировали выше): «Да се еси пришелъ и *седишь* с братьею своею *на одином ковре*, то чему не жалуешься, до кого ти нас жалоба?» (273). Несмотря на то, что в летописи эта речь помещена после «Поучения» Мономаха, она на самом деле была произнесена Мономахом за несколько лет до создания «Поучения», но уже продемонстрировала то, чем Мономах позднее отличится в «Поучении».

Как и сани, к похоронным или предпохоронным принадлежностям летописцы относили и ковер. Так, по сообщениям летописцев, убитого Олега Святославовича нашли «высподи трупья, внесоша и́ и положиша и́ *на ковре*» (75, под 977 г.); затем умершего Владимира Святославовича «обертевше *в коверъ* и… възложьше и́ на сани» (130, под 1015 г.); потом перед казнью Василька Ростиславовича «почаста простирати *коверъ*, и простерше, яста Василка», а после казни «вземше и́ *на ковре*, взложиша на кола, яко мертва» (260–261, под 1097 г.); наконец, убитого

Андрея Юрьевича Боголюбского «вземше и́ *на ковре*… внесоша и́ в божницю» (369, под 1175 г.).

В отличие от летописцев, в своей устной речи к Давыду Мономах, во-первых, превратил упоминание о ковре в символ. Ведь на одном реальном ковре, пожалуй, не могли уместиться пятеро князей, участвовавших в съезде 1100 г., да еще со своими дружинами, да они и не захотели бы тесниться на одном ковре в жарком августе в городке Витичеве южнее Киева, где состоялся съезд. Во-вторых же, Мономах переосмыслил похоронную реалию в символ активного «сидения», то есть в символ сотрудничества князей, которые только что «створиша миръ межи собою» (273). Сидение на санях и сидение на ковре оптимистически символизировало у Мономаха добрую энергию сидящих.

Из наших предположений, сделанных на основе сравнительно мелких фактов, вырисовывается перспектива исследований на будущее. Непосредственность высказываний Владимира Мономаха, отразившаяся в поэтике его «Поучения», способствует воссозданию облика этого автора как живого речистого человека, действовавшего в счастливых исторических условиях первой четверти XII в.

5. «Слово о полку Игореве»: героизация

Остановимся сначала на анализе повествовательных средств в знаменитой вступительной похвале Бояну: «Боянъ бо вещии, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы»[16]. В этой характеристике преобладают иносказания, но иносказания разного типа, — предметные и абстрактные.

Скажем и о тех, и о других. С одной стороны, в похвале присутствуют классические предметные иносказания, хотя и в скрытой форме: Боян — это волк и это орел («Боянъ... растекашется... вълкомъ... орломъ...»).

Склонность автора к «птичьим» иносказаниям при упоминании Бояна подтверждается ближайшим контекстом, в котором автор уже прямо обозначил Бояна и как соловья («О Бояне, соловию стараго времени»), а персты Бояна как соколов («пущашеть 10 соколовъ... Боянъ же, братие, не 10 соколовъ... пущаше, нъ своя вещиа пръсты... въскладаше»).

По всему тексту «Слова» наблюдается много подтверждающих аналогий. Автор нередко использовал разные по форме иносказательные обозначения человека птицей: «чръныи воронъ — поганыи половчине» (47); Игорь — «заиде соколъ» (49); «Романе и Мстиславе... яко соколъ... ширяяся» (52); Ярославна — «полечю, рече, зегзицею» (54) и пр.

Иносказательное же обозначение человека также и волком вообще было излюбленным приемом автора: «куряне... скачють, акы серыи влъци» (46); «Гзакъ бежитъ серымъ влъкомъ» (47); «Всеславъ... скачи влъкомъ... влъкомъ рыскаше» (53, 54); «Игорь князь... скочи... влъкомъ... Влуръ влъкомъ потече» (55).

Но, с другой стороны, предметные иносказания в похвале Бояну подавлялись более важными для автора абстрактными иносказаниями, которые обозначали не предметные явления, а абстрактные понятия, и, таким образом, приближались к символам, хотя символами не становились. Прежде всего, глагол «растекашется» служил иносказанием абстрактного понятия «песнь творити»; одновременно глагол «растекашется» в данной фразе иносказательно обозначал абстрактное передвижение вообще, — поэтому автор применил глагол «растекашется» сразу к трем очень разным объектам — мысли, волку и орлу, в то время как во всех других случаях автор четко называл отличительный вид передвижения объектов: птицы у него в основном летали, звери — бежали или скакали, а мысль — тоже летала.

Прочие абстрактные же иносказания во фразе о Бояне добавляли, как именно это песнотворение-движение осуществлялось. Упоминания волка и орла здесь у автора все-таки не имели весомого предметного смысла, а иносказательно указывали на ярусы песнотворческого передвижения: нижний («вълкомъ по земли») и верхний («орломъ подъ облакы»).

Сложнее понять, какой ярус передвижения при песнотворении иносказательно обозначало выражение «растекашется мыслию по древу». Словоформа «мыслию» у автора «Слова», скорее всего, подразумевала не внутреннее свойство человека, а пребывающий вне человека внешний самостоятельный объект, орудие движения или действия, такой же, как у словоформ «вълкомъ» или «орломъ» в данной фразе (ср. о мысли в других местах «Слова»: «*мыслию* ти прелетети» — 51; «*мыслию* поля меритъ» — 55; «*мысль* носитъ ваю умъ» — 52. Ср. также аналогичные по форме выражения орудийные обозначения: «летая *умомъ*» — 44; «*кликомъ* поля прегородиша» — 47; «итти дождю *стрелами*» — 47; «течетъ сребреными *струями*» — 53; «опутаеве красною *дивицею*» — 56; и т. д.).

Можно предположить, что растекание мыслью «по древу» иносказательно обозначало движение не горизонтальное, а вертикальное, и, пожалуй, сверху вниз, — вниз по стоящему «древу». Правда, при упоминаниях «древа» в связи с песнотворчеством Бояна автор не раскрыл направленность движения «по древу» (см.: «скача, славию, по мыслену древу» — 44).

Однако обратимся к аналогиям в «Слове». Используя еще одно иносказание о творчестве Бояна, автор несколько яснее обозначил движение именно сверху вниз: «не 10 соколовъ на стадо лебедеи пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны *въскладаше*» (44).

Кроме того, все прочие упоминания «древа» в «Слове» (уже не в связи с Бояном), кажется, имели в виду движение как раз тоже сверху вниз. Наиболее ясен этот оттенок в таких выражениях, как «древо с тугою къ земли *преклонилось*» (49), «древо с тугою къ земли *преклонило*» (55), «древо не бологомъ листвие *срони*» (52). Менее ясно действие сверху вниз обозначено во фразах: «Дивъ кличетъ връху древа, велитъ послушати земли...» (46), — с верха дерева к земле; еще пример: «одевавшу его теплыми мъглами подъ сению зелену древу» (55), — от верхней

«мглы» (ср. немного ранее: «полете соколомъ подъ мьглами») к стоящему дереву и «сени» под ним.

На склонность автора к обозначению вертикального движения сверху вниз указывают дополнительные аналогии в «Слове», в которых верх и низ были достаточно четко обозначены разными объектами. Например, во фразе «два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста и въ море погрузиста» (50) два солнца мыслились находящимися вверху, море — внизу, а оба столпа соединяли верх с низом, притом движение происходило опять-таки сверху вниз («погрузиста»). Ценность этой аналогии несколько уменьшается из-за реконструированности цитированной фразы, в которую упоминание о погружении в море перенесено современными текстологами из дальнейшего текста, явно спутанного (50 51, 500 501).

Но другие, текстологически бесспорные аналогии с упоминанием солнца в «Слове» повторяют ту же пространственно-смысловую схему. Так, в плаче Ярославны: «...слънце... простре горячюю свою лучю на ладе вои» (55), солнце обозначало верх; воины «въ поле» — низ; луч — соединял верх с низом, движение-простерние луча явно шло сверху вниз.

Или еще одна аналогия: «Солнце ему тъмою путь заступаше» (45), солнце, конечно, верх; путь «по чистому полю» — низ; тьма — соединитель верха с низом; направление движения сверху вниз (ср. о солнце: «*отъ него* тьмою... прикрыты» — 44).

Аналогии затрагивали не только солнце. Ср. в плаче Ярославны: «О ветре-ветрило! ... Мало ли ти бяшеть горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море» (54), облака относятся к верху, море — к низу, ветер их связывает, а движется сверху вниз.

В «Слове», кажется, нет ни одного случая с противоположным движением не сверху вниз, а снизу вверх *по вертикальному объекту*, соединяющему верх и низ (сомнительно только выражение: «рища в тропу Трояню чресъ поля на горы» — 44. Поля — низ, горы — верх, тропа соединяет их, следуя снизу вверх, однако она не вертикальный объект). Так что автор «Слова» в начальной похвале Бояну, вероятнее всего, предполагал двигающейся сверху вниз и мысль по стоящему «древу».

Далее встает новый вопрос: в характеристике песнотворения Бояна автор «Слова» иносказательно говорил об одновременном ли движении нескольких объектов в разных плоскостях как своего рода параде, либо об их последовательных движениях в разных плоскостях поочередно как о некоей эстафете? Сама характеристика Бояна не дает ответа на этот вопрос. Опять в какой-то степени помогают контекст и аналогии. Дальнейшее иносказание песнотворения Бояна как полета соколов подразумевало явно последовательное движение. Затем иносказание Бояна как соловья также подразумевало единое последовательное движение поочередно в разных плоскостях — по древу, под облаками, по тропе. Наконец, близкое по форме к характеристике Бояна описание бегства Игоря из плена то же имело в виду последовательное передвижение Игоря в разных местах: сначала «горностаемъ къ

тростию», затем «белымъ гоголемъ на воду», потом «босымъ влъкомъ... къ лугу Донца», а там и «соколомъ подъ мьглами» (53). Значит, велика вероятность того, что песнопение Бояна автор «Слова» иносказательно обозначил тоже как эстафетное движение, последовательно переходившее из плоскости в плоскость: сначала сверху вниз, затем понизу, а потом поверху.

Главным пространственным смыслом в этой иносказательной характеристике было: Бояново песнопение «растекашется» все шире и дальше. И действительно, первое же движение во фразе — передвижение мысли — было устремлено вдаль. Глаголы «растекатися» и семантически ему родственные «течи», «разлиятися», «простиратися» обозначали у автора «Слова» некое широкое и беспрепятственное действие (ср.: «тоска разлияся *по Рускои земли*, печаль жирна тече *средь земли Рускыи*» — 49; «грозы твоя *по землямъ* текуть» — 52; «*по Рускои земли* простропшася» — 51). Существительное «мысль» было связано с передвижением куда-то далеко (ср.: «мыслию ти прелетети *издалеча*» — 51; «мыслию поля меритъ *отъ* великаго *Дону до* малаго *Донца*» — 55). Существительное «древо» — притом всегда в «Слове» только в единственном числе — явно служило символом и, возможно, обозначало нечто вроде межевого знака на дальней границе Русской земли: «древо» стояло перед землями незнаемыми, «древо» находилось у быстрой Каялы, «древо» обнаруживалось по пограничным рекам Роси и Сулє, «древо» охраняло Игоря у пограничного же Донца. Так что мысль при песнотворении посылалась далеко и текла широко (ср. частичную аналогию с посыланием слез: Ярославна из Путивля «слала... слезъ *на море*» — 55).

Второе передвижение, содержащееся в анализируемой фразе о Бояне, — бег волка — тоже иносказательно указывало на неостановимый охват большого пространства «растеканием», скаканием, рысканием и пр. (ср.: «скачють, акы серыи влъци *въ поле*» — 46; «поскочи *по Рускои земли*» — 49; «влъкомъ рыскаше: *изъ Кыева* дорискаше *до* куръ *Тмутороканя*» — 54).

Последнее, третье передвижение, упомянутое в характеристике Бояна, — полет орла — иносказательно обозначало сразу два пространственных оттенка: свободное взмывание вверх (ср.: «летая умомъ *подъ облакы*» — 44; «соколъ... *высоко* птицъ възбиваетъ» — 51; «*высоко* плаваешь... яко соколъ на ветрехъ ширяяся» — 52; и еще: «*горѣ* подъ облакы веяти» — 54) и далекий полет (ср.: «...хороброе гнездо, *далече* залетело» — 47; «о, *далече* заиде сокодъ... къ морю» — 49; «полечю, рече, зегзицею *по Дунаеви*» — 54; и еще: «вьются голоси *чрезъ море*» — 56).

В целом, иносказательная характеристика песнотворения Бояна является непривычным для нас семантическим образованием. Внешне — изложение как будто с предметными деталями; а на самом деле — иносказания с высокой степенью абстрактности, которые вкупе обозначали всеохватность песенного движения у Бояна.

Зачем автору «Слова» в характеристике Бояна понадобилось прибегать к столь насыщенной и в общем нетрадиционной системе «двигательных» иносказаний, в некотором отношении приближающихся к символам? Думается, для **героизации**

творчества Бояна как прославителя русских князей: ведь струны его инструмента «княземъ *славу* рокотаху», а он «плъкы ущекоталъ... свивая *славы* оба полы сего времени» (44). И прославитель этот отличался тщательностью: накладывал все десять своих перстов на струны.

Эта героизация, о которой скажем немного подробнее, не сводилась к прославлению успехов персонажа или к гиперболизации его поступков, а выражалась в подчеркивании надежности, основательности персонажа, в полноте охвата им места и предметов действия. В этом отношении пространственно-изобразительная героизация Бояна имела многочисленные аналогии в «Слове».

Таким способом в «Слове» были героизированы все русские персонажи. Например, Игорь в начале «Слова» всеобъемлюще заполнен мужеством («истягну *умь* крепостию своею, и поостри *сердца* своего мужествомъ, наплънився ратнаго *духа*» — 44), а в конце «Слова» стремительно бежит из плена, охватывая пространство от земли до неба, и эта неудержимость расценивается как подвиг («Княже Игорю! Не мало ти *величия*» — 55). Князь Всеволод мощно страгивается с места и устремляется вдаль: «Яръ Туре Всеволоде! *Стоиши* на борони, *прыщеши* на вои стрелами, *гремлеши* о шеломы мечи харалужными. Камо, Туръ, *поскочяше*, своимъ златымъ шеломомъ *посвечивая*...», — он в героическом движении «забывъ чти и живота» (47–48). Князь Святослав всеобъемлюще охватывает пространство своими активными действиями: «...бяшеть притрепалъ своими сильными плъкы и харалужными мечи, наступи *на землю половецкую*, притопта *хлъми и яругы*, взмути *реки и озеры*, иссуши *потоки и болота*. А поганаго Кобяка *изъ луку моря*... выторже», — оттого «поютъ славу Святославлю» (50). Героичны своей повсеместностью пребывания и русские войска: «Комони ржуть *за Сулою*, звенить слава *въ Кыеве*, трубы трубять *въ Новеграде*, стоять стязи *въ Путивле*» (44), — и «слава» опять упомянута. Особенно подчеркнута в «Слове» героичность курян через охват ими предметов и ландшафта, — трижды по три элемента: «подъ *трубами* повити, подъ *шеломы* възлелеяны, конець *копия* въскръмлени; *пути* имъ ведоми, *яругы* имъ знаеми; *луци* у нихъ напряжени, *тули* отворени, *сабли* изъострени; сами скачють... въ *поле*»; и все ради славы: «ищучи себе *чти*, а князю *славе*» (46).

В «Слове» героизированы и разнообразные несчастья, которые предстоит преодолевать, причем героизированы тем же самым изобразительным способом — иносказаниями со смыслом насыщенной пространственной или предметной всеохватности. Особенно значительными выглядят зловещие знамения, охватывающие небо и землю и символизирующие гигантское наступление врагов на русское войско. Например: «...кровавыя *зори* светъ поведаютъ, чръныя *тучя* съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 *солнца*, а въ нихъ трепещуть синии *млънии*... *Земля* тутнетъ, *рекы* мутно текуть, пороси *поля* прикрываютъ», — это значит: «Быти грому *великому*... половци идуть *отъ Дона, и отъ моря*, и *отъ всехъ странъ* рускыя плъкы оступиша» (47). Неудачные для русских сражения героизированы превращением их в процессы сельскохозяйственных работ или пира и пр.

Героизировано даже состояние покоя в «Слове». Ср.: «Длъго ночь мрькнетъ. *Заря* светъ запала, *мъгла* поля покрыла, щекотъ *славии* успе, говоръ *галичь* убудися. Русичи великая поля щиты прегородиша, ищучи себе *чти*, а князю *славы*» (46), — действие последовательно охватывает объекты сверху вниз, от неба до земли, и всё застыло в ожидании славы.

Таким образом, характеристика Бояна была лишь первым эпизодом в длинном ряду героизированных людей и событий в «Слове».

Казалось бы, трудно и даже невозможно создать героическое произведение на горестную тему о полном поражении, позорном пленении и тихом бегстве не очень крупного русского князя из плена, но автор «Слова о полку Игореве» справился с задачей героизации подобных событий путем обильного использования символических иносказаний со смыслом пространственной полноохватности.

6. «Слово Даниила Заточника»: камерность

Свое сочинение[17] этот условный автор наполнил огромным количеством символов. В том, что это все-таки именно символы, а не сравнения или иносказания, можно убедиться на любом наугад выбранном примере. Так, в начале «Слова» Даниил Заточник заявил о манере своего изложения: «Бысть языкъ мои трость книжника-скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость» [18]. В этой фразе связаны не писчая «трость» с языком автора и не река с авторскими устами, а обозначены отвлеченные понятия: «быстрость» реки символизировала « уветливость» (говорливость) уст, а «скорописность» трости символизировала многоречивость «языка». Символы эти были оформлены автором неотчетливо, что являлось обычным для всего Даниилова «Слова». Тем не менее, в самом конце «Слова» Даниил повторил характеристику своего стиля, но, пожалуй, несколько яснее: «Да не възненавидим буду миру со многою беседою, яко же бо птица, частяще песни своя, скоро възненавидима бываеть» (398), — учащенность пения птицы символизировала многоречивость автора.

Все эти символы были рассыпаны по тексту «Слова», они как целое не являлись продуманным способом повествования у автора и не образовывали компактных предметных картин или каких-либо изобразительных мотивов, но все же вкупе, если брать весь текст, распределялись по нескольким тематическим группам, обладающим определенным изобразительным своеобразием, независимо от того, о хорошем или о плохом говорил автор. Наиболее повторяющимися в «Слове» Даниила были, так сказать, ландшафтные мотивы у символов; например: «аки река, текуща без бреговъ сквози дубравы»; или: «аки река в брезех, а брези камены» (392). В подавляющем большинстве ландшафтные мотивы в «Слове» являлись камерными; автор упоминал одиночные предметы, находящиеся преимущественно в поле: то попадался «нощный вранъ на нырищи» (388; на развалинах); то конь «за буяном» (392; за курганом); то «древо при пути» (390); то «дубъ крепокъ мно-

жеством корениа» (392), то бесплодная «смоковница» (388), то «трава блещена, растяще на застени» (388; трава бледная в затененном месте), то какое-то «место незаветрено» (392).

«Слово» Даниила, адресованное князю Ярославу Владимировичу, казалось бы, должно было быть более «государственно» широким предметными мотивами своей символики. Однако сравнительно более масштабные упоминания природы в «Слове» единичны: два три раза упомянуто море; в общем раза три четыре упомянуты различные явления, относящиеся к небу (солнце, звезды, воздух, облака). Автора «Слова» явно тянуло к камерности. Показательно в связи с этим, что когда Даниил упоминал «землю», то в предметном отношении на самом деле он имел в виду поле, не такое уж большое, например: «пусти тучю на землю художества моего» (390), — одна туча стоит над землей, то есть, конечно, над полем.

Преобладающая камерность изобразительных мотивов Даниила выразилась и в специфичности круга символически или реально обозначенных им людских занятий, опять-таки независимо от того, говорил ли он об одобряемых им или об осуждаемых действиях. В основном автор затрагивал дела домашние («възри... аки мати на младенецъ» — 366; «веселишися многими брашны... лежиши на мягкых постелях под собольими одеялы» — 392; «приничюще к зерцалу и мажущися румянцемъ» — 396); упоминал дела хозяйственные («орють... сеють» — 390; «неводъ... удержитъ... рыбы» — 392; «кони паствити ... коня напоити» — 392), припоминал и дела ремесленные («олово... часто разливаемо» 390; «гусли бо страяются персты» — 392; «ражжение железу» — 394). О более масштабных делах оговорки Даниила были единичны (например, о военной службе: «за добрымъ князем воевати» — 392).

Камерность мотивов Даниила не была нарочитой; она получилась естественно. Ее нельзя объяснить только нищетой несчастного автора, которому до менее приземленных проблем не было дела. Ведь о своей нищете Даниил мог писать и с размахом: «покры мя нищета, аки Чермное море — фараона» (388), «одержимъ нищетою... рыдая, аки Адамъ рая» (390) и т. д.

Камерность предметных мотивов Даниила в большей степени, как нам кажется, определялась все-таки мелочной идейной атмосферой удельной Руси первой половины XIII в. Недаром Русскую землю автор «Слова» не упоминал вовсе, зато упоминал пункты местные то «градъ нашь» (392), то «Новгород», то «Курское княжение» (390), и рассуждал об удельных переменах: при каких обстоятельствах «князь высока стола добудсть», а при каких «меншего лишенъ будеть» (394).

Конечно, предположение о зависимости изобразительных мотивов у автора «Слова» от общественного кругозора удельной Руси нуждается в обстоятельных исторических сопоставлениях. Пока же укажем на литературные параллели: сходная со «Словом Даниила Заточника» удельная узость авторского кругозора наблюдается также в таких очень разных памятниках XIII XIV вв., как «Сказание об Индийском царстве» и «Житие Александра Невского»[19].

На материале символики всего лишь шести памятников XI начала XIII вв. можно увидеть, с каким разнообразием символика сопровождалась той или иной степенью изобразительности в литературных произведениях до конца XII в.

Однако для XIII в. типичной стала, пожалуй, как раз логическая застылость и изобразительная скудость литературной символики. Так, в чрезвычайно пространном, риторично-компилятивном «Житии Авраамия Смоленского» Ефрема однажды встречается большой блок символов с повторяющимся предметным мотивом сбора существ в защищенном от опасностей месте: «аки делолюбивая пчела, вся цветы облетающи и сладкую *собе* пищу приносящи и готовящи... яко же пастухъ добрый, вся сведый паствы и когда на коей *пажити* ему пасти стадо, а не... овогда гладомъ, иногда же по горамъ разыдуться, блудяще, а инии отъ зверей снедени будуть... тако же и корабленикъ и хитрии кормници, ведуще путь и пристанище ихъ, милости ожидающе отъ Бога и подобна ветра, а не противу бури и волнамъ морьскымъ, но съ Божиею помощью како ити *нареченнаго града* бес пакости и потопления... Яко же кто хотя нареченъ быти воеводы отъ царя, то не вся ли *събираеть* храбрыя оружникы и тако стати крепко...?» и т. д.[20] Защищенное место (улей пажить град полк) как единое изобразительное целое почти не вырисовывалось у автора жития, который лишь логически подобрал символы в своем повествовании о гонениях на Авраамия и окружении его преследователями, но не использовал дополнительную силу единого образа при нагнетании символов.

Такова, по нашему предварительному впечатлению, одна из линий эволюции изобразительности в древнерусской литературе XI XIII вв., нуждающаяся в дальнейших поисках средневековой образности.

7. «Киевская летопись»: символика и экспрессивность

Остается затронуть еще одну тему, имеющую отношение к литературной истории символики. Символика в древнерусской литературе не сводилась только к абстрагирующим логическим операциям авторов и сопровождалась не только изобразительными оттенками, но еще служила средством выражения авторских эмоций. Эмоциональность древнерусских символов XI XII вв. не очень изучена[21].

В безбрежном море символов мы ограничимся символикой сердца[22], кажется, больше всего подходящей для изучения экспрессивности символов, а начнем с «Повести временных лет», что пригодится для сопоставлений с «Киевской летописью».

Символика сердца в «Повести временных лет» разделяется на две тематические группы. Одни символические выражения указывают преимущественно на интеллектуальную деятельность человека. Больше всего употребляются символы «возложити на сердце», «положити на сердце», «вложити в сердце», «взыти в сердце», «влезти в сердце». Иногда используются символы «преложити сердце в разум» или «обратити сердце в разум». Единичны символы «утвердитися сердцем»,

«написать на сердце», «приняти в сердце», «напоити сердце», «на сеяти сердце», что-либо «имети в сердце» (лесть, помышленье и пр.).

Другие «сердечные» символы указывают на чувства человека. Их набор в летописи даже несколько больший, чем символов интеллектуальных: «одебелети сердцем», «уповати сердцем», «быти в сердце» (испытывать приязнь), «дати по сердцу» (дать желаемое), «прияти всем сердцем», «не быти сердцем» с кем-либо, «отстояти сердцем» от кого-либо, «вознестися сердцем», «обратитися сердцем», «иматися единым сердцем», «ужасатися сердцем» и пр.

Как ни странно, но символы, обозначавшие мыслительную деятельность, были теснее связаны с авторской экспрессией, нежели символы, обозначавшие эмоции. Таков, например, символ «**вложити в сердце**» (то есть внушить). В «Повести временных лет» это символическое выражение употреблялось неоднократно, но чаще как формула, уважительная, но не экспрессивная. Эмоцией эта формула наполнилась лишь однажды   в конце «Повести временных лет», в статье под 1103 г. о Долобском съезде князей Святополка Изяславовича и Владимира Всеволодовича Мономаха, начавших обсуждать, идти ли им походом на половцев.

Эмоциональный оттенок этот символ получил благодаря контексту, благодаря вовлечению в сцену напряженного размышления русских князей: «*Вложи* Богъ *у серьдце* русьскимъ князємъ *мысль* благу   Святополку, Володимєру   и *снястася думати* на Долобьске. И седе Святополкъ съ своею дружиною, а Володимеръ съ своею дружиною, а въ единомь шатре, и *почa думати*. И начаша глаголати...»[23]. До этой статьи летопись никогда не сообщала об обстоятельном «думании» князей перед походами или иными деяниями; князья действовали сразу же или, в лучшем случае, «сдумавше», — так одним словом летописец иногда обозначал планировку похода. Сравнительно же развернутое перечисление действий князей и подчеркнутое повторами «думание» (а у летописца здесь даже половцы тоже «начаша думати») наложили некоторый экспрессивный оттенок и на символическое обозначение «думания», на символ «вложити в сердце мысль».

Больше того, летописец необычно начал свой рассказ   именно с этого же символа: «В лето 6611. *Вложи Богъ у серьдце* русьскимъ княземъ *мысль благу...*». Никогда раньше ни один летописный рассказ не начинался с какого-либо символического выражения или тропа; начатия были просты. На этом фоне начало рассказа под 1103 г. вместе с символом явно выделялось своим высоким тоном.

Кроме того, этот символ был подчеркнут предыдущим контекстом. В предшествующей статье под 1102 г. летописец предупредил: «*вложи Богъ мысль добру* в русьскии князи,   умыслиша дерзнути на половце, поити в землю их, еже и бысть, яко же скажемъ въ пришедшее лето» (252). Последовавший затем повтор этого символа также передавал некоторую экспрессию летописца, тем более что символ был усилен при повторе: «вложи Богъ мысль»   «вложи Богъ *у серьдце...* мысль».

Летописец, несомненно, был настроен на высокий тон рассказа под 1103 г. и продолжил свое в общем сдержанно-экспрессивное изложение, используя в том числе и символы, схожие с начальным символом или отличающиеся от него: «и

великии *Богъ вложи жалость* велику у половце, и страхъ нападе на ня и трепетъ» (254), «Богъ… скруши главы змеевыя» (255) и т. д.

Но вот что интересно: вступительной фразой летописец сразу же намекнул на полную успешность замысла князей и победоносность их похода, от того летописец и определил замысел князей как «мысль благу», а в предшествующей статье как «мысль добру», да еще вложенную самим Богом.

Использование экспрессивного символического выражения как предвестника будущего, конечно, было связано с представлением летописца о значении всякого рода предзнаменований, наполнявших летопись. Не случайно в данном случае летописец предпослал благотворному «думанию» князей в 1103 г. сообщение о небесных знамениях в предшествовавшем 1102 г.: «В то же лето бысть знаменье на небеси, месяца генваря 29, по 3 дни, аки пожарная зоря от въстока, и уга, и запада, и севера, и бысть тако светъ всю нощь, акы от луны полны светящеся. В то же лето бысть знаменье у луне, месяца февраля в 5 день. Того же месяца, в 7 день бысть знаменье въ солнце: огородилося бяше солнце въ 3 дуги, и быша другыя дугы, хрепты к собе» (251–252).

Уникальным было истолкование этих знамений автором: летописец напрямую связал их с победоносным походом русских на половцев. В подавляющем же большинстве небесные знамения толковались в летописи как предвестники зла, «не на добро бысть», «на зло бывають». Но в данном рассказе летописец, во-первых, посчитал, что злое знамение как-то можно переменить на доброе, для чего сослался на очевидцев: «сия видяще знаменья благовернии человеци съ въздыханьемь моляхуся Богу со слезами, да бы Богъ *обратилъ* знаменья си *на добро*» (252).

Во-вторых, летописец, продолжая свои рассуждения, стал указывать на двойное значение знамений: «знаменья бо бывають *ово же на добро, ово же на зло*». Такая трактовка совершенно необычна ни для «Повести временных лет», ни для «Киевской летописи»; в смягченном виде она все же встречается в «Киевской летописи», но лишь в одном месте, в известной летописной повести под 1185 г. о походе внучатого племянника Владимира Мономаха новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев: «Игорь же, возревъ на небо, и виде солнце, стояще, яко месяць… и рекоша мужи: "Княже, се есть не на добро знамение се". Игорь же рече: "Братья и дружино! Таины Божия никто же не весть … а намъ что створить Богъ *или на добро, или на наше зло*, а то же намъ видити"» (638), объяснить сходство точек зрения на знамения в статьях под 1185 г. и под 1102 г. можно тем, что «Киевская летопись», в изобилии использовавшая фразеологию и мотивы «Повести временных лет», возможно, и здесь, в статье под 1185 г., ориентировалась на предыдущую летопись.

И это еще не все о трактовке знамений в статье под 1102 г. в «Киевской летописи». Летописец, в-третьих, завершая свои рассуждения, прямо определил описанные им знамения как добрые: «си знаменья быша *на добро*» (252).

Вопиющего нарушения традиции здесь, кажется, не было. Дело в том, что в летописях в категорию безусловно зловещих небесных знамений попадали явления с

уменьшением или исчезновением обычного света; например, под 1065 г.: «солнце пременися, не бысть светло, но акы месяць бысть, его же невегла сии глаголють снедаему сущю, се же бывають сия знамения не на добро» (153).

Небесные же знамения с прибавкой световых явлений не имели отчетливой связи со злом. Например, под 911 г.: «Явися звезда велика на западе копеиным образомъ» (23), — это краткое сообщение было вставлено Нестором в летопись между двумя рассказами об очень успешных событиях, и вся композиция такой и осталась в третьей редакции «Повести временных лет».

И позже не связывал летописец яркие световые небесные знамения со злом, например, в статьях под 1104 и 1105 гг.: «...родися у Святополка сынъ, и нарекоша имя ему Брячиславъ. В се же лето бысть знаменье: стояще солнце въ крузе... а вне круга обаполы 2 солнци... тако же знаменье в луне, темь же образомъ... въ дне по три дни, а в ночи и в луне по три ночи. В лето 6613. Увалися верхъ святого Андрея. В сем же лете постави митрополитъ Анфилохыя епископа Володимерю... Темъ же лете явися звезда с хвостомъ на западе и стоя месяць. Того же лета пришедъ Бонакъ зиме на Зарубе и победи торкы и береньдеи» (256 257), судя по изложению, здесь упомянуто лишь одно несчастье для русских людей, но вряд ли солнечное знамение предвещало обвал купола у Андреевской церкви, тем более что ранее, во второй редакции «Повести временных лет», эта комета упоминалась, но вот сообщение о падении верха церкви отсутствовало[24].

Неясность статуса ярких световых небесных знамений сохранялась и далее. Так, в «Киевской летописи» под 1141 г. солнечное знамение не предупреждало о будущем несчастье (о смерти переяславского князя Андрея Владимировича), а появилось после его смерти в качестве торжественного сопровождения княжеских похорон: «*прединвно* знамение бысть на небеси: быша три солнца, съяюче межи собою, а столпи трие, стояще от земля до небеси... и стояша знамения та, доньде же похорониша й» (309).

Неясность статуса ярких световых знамений и радостная обнадеженность летописца, вероятно, позволили ему в статье под 1102 г. сделать новый шаг в развитии литературной традиции, — трактовать подобные знамения как предвестники добра и начать статью под 1103 г. символическим обозначением будущего успеха русских князей.

Но такое развитие традиции осталось в летописи единичным шагом. Тот же символ «вложити в сердце» был использован в «Киевской летописи» в начале статьи под 1111 г. о походе тех же русских князей на половцев. Однако статья 1111 г. во многом повторила рассказ 1103 г., в том числе его символику. Символ же «вложити в сердце» в статье 1111 г. стал просто формулой, неоднократно повторяемой в разных местах в повествовании: «*Вложи Богъ* Володимеру *въ сердце*, и нача глаголати брату своему Святополку, понужая его на поганыя на весну» (264): «се бо *ангелъ вложи въ сердце* Володимеру Манамаху поустити братью свою на иноплеменникы русьские князи» (268); «и тогда се *ангелъ вложи* Володимеру *въ сердце*, нача понужати, яко же рекохомъ...» (268).

Еще раз символом «вложити в сердце» была начата статья под 1170 г. о походе правнука Владимира Мономаха киевского князя Мстислава Изяславовича и других князей на половцев: «В лето 6678. *Вложи Богъ въ сердце* Мьстиславу Изяславичю *мысль благу* о Рускои земли, зане же ее хотяше добра всимъ сердцемъ, и съзва братью свою, и начала думати с ними» (538). Экспрессивность символа «вложити в сердце» в этой статье была сильно снижена: мотив предвосхищения будущего и сценка глубокого размышления князей отсутствовали. Сам символ повторялся и варьировался летописцем в повествовании больше как формула: «ти Богъ вложилъ таку мысль въ сердце» (538); «ни мысли таковои не имеяше въ сердци своемъ» (542). Другие, не «сердечные» символы летописец тоже повторял как формулы; например: «възряче на Божию помочь и на молитву святое Богородици» (538); «възревше на Божию помочь, и на силу честнаго креста, и на молитву святеи Богородици» (539); «възря на Божию правду и силу честнаго креста» (543) и пр. Радость от победы над половцами была обозначена летописцем без особого воодушевления, не как в статье 1103 г., всего-то: «възвратишася въ свояси с радостью великою» (540). Так что символ «вложити в сердце» не обладал собственной экспрессией, а получал ее в зависимости от эмоциональности всего контекста.

И все же совокупность символов, упоминавших сердце, то в одном, то в другом эмоциональном летописном повествовании понемногу стала приобретать и собственную экспрессивность. Это видно по повторам не одной и той же формулы, а разных символов, упоминавших сердце, в составе той или иной летописной статьи. Так, в драматичном рассказе «Киевской летописи» под 1147 г. об убийстве князя Игоря Олеговича киевской толпой преследуемый князь стал молиться: «и *въздохнувъ из глубины сердца* скрушеномъ смиреномъ смысломъ, и прослезився, и помяну вся Иовова, и *размышляше въ сердци* своемъ...» (350), — повтор летописцем «сердечных» символов, возможно, свидетельствовал о некоторой их экспрессивной роли в рассказе.

Ту же слабую и мимолетную экспрессивность «сердечных» символов можно ощутить в летописи и далее, в рассказе под 1119 г., там, где говорилось о напряженных переговорах князей, не ладивших друг с другом, в том числе киевского князя Вячеслава Владимировича с его братом владимирским князем Юрием Владимировичем: «князь же Вячеславъ послуша брата своего и свата Володимира, *приемъ въ сердци* слова его, потъкнуся к ряду и к любви, — бяшеть бо князь Вячеславъ *незлобивъ сердцемъ...*» (392–393).

А во взволнованной похвале злодейски убитому владимирскому князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому под 1175 г. (в составе летописной повести о его убиении) экспрессивность «сердечных» символов уже не выглядела получившейся случайно: ему «отверъзлъ бяше Богъ *сердечне очи...* смиряя образъ свои *скрушеномь сердцемъ* и уздыханье *от сердца износя...* и то *помняше* слово *вь сердци* всегда» (583–584); и в последующих эпизодах: «и *въ болезни сердца* иде... и *въздохнувъ из глубины сердечныя*, и прослезися, и помяну вся Иовова, и *размышляше вь сердци своемь...*» (587–588). Какие бы источники ни использовал автор повести, ско-

пление «сердечных» символов не получилось механически, но ими автор отметил особо трагические места повествования (вместе с символами кровопролития).

В летописной же статье под 1178 г. «сердечные» символы проникли и в рассказ о деятельности новгородского князя Мстислава Ростиславовича, и в похвалу ему: «хотя *страдати от всего сердца* за отчину свою… си *размышливая* вся *во сердци* своем… и *вложи Богъ въ сердце* Мьстиславу *мысль* благу…» (607); «и *воздохну из глубины сердца* своего и прослезився… и воздевъ руце на небо, и *воздохнувъ из глубины сердца* своего, прослезився» (609); «и тако *от всего сердца бьяшеться* за отчину свою» (611). «Сердечные» символы образовали своего рода «каркас» торжественно-трагического летописного изложения.

Символика не так уж бедна и однообразна как явление литературной поэтики.

Примечания

[1] *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.

[2] *Творогов О. В.* Иоанн (XI в.) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 206; Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Подгот. к печати Д. И. Абрамович. С. XX.

[3] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. С. 136 137. Далее страницы указываются в скобках. Древнерусские тексты здесь и далее цитируются с упрощением орфографии.

[4] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 117, 548 549.

[5] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 68. Далее столбцы указываются в скобках. Текст летописи цитируется с упрощением орфографии.

[6] Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1 / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. Стр. 27 28. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

[7] См. одну из работ последнего времени: *Ранчин А. М.* Статьи о древнерусской литературе. М., 1998. С. 83 104. Тут же и библиография темы.

[8] Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 82. Далее страницы указываются в скобках. Древнерусские тексты цитируются с упрощением орфографии.

[9] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 241. Далее столбцы указываются в скобках. Тексты «Повести временных лет» и «Владимиро-Суздальской летописи» цитируются по тому же изданию.

[10] Повесть временных лет / Изд. подгот. Д. С. Лихачев. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 517.

[11] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 275.

[12] Успенский сборник XII XIII вв. Стб. 62, 70.

[13] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 60.

[14] *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 2. С. 136.

[15] См.: *Будовниц И. У.* Общественно-политическая жизнь Древней Руси: (XI XIV вв.). М., 1960. С. 140; *Романов Б. А.* Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки. 2-е изд. М.; Л. С. 128; *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 216 217.

[16] Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. С. 43. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

[17] «Слово» относим к более ранним произведениям, чем «Моление». См.: *Соколова Л. В.* К характеристике «Слова» Даниила Заточника. (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 229 255. Основываемся на первоначальном тексте, без вставок более поздних, выявленных Л. В. Соколовой.

[18] Памятники литературы Древней Руси: XII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1980. С. 388. Далее страницы указываются в скобках. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

Использую переводы «Слова», сделанные Д. С. Лихачевым (в том же издании, с. 389 и сл.) и В. В. Колесовым (Мудрое слово Древней Руси: (XI XVII вв.). М., 1989. С. 160 и сл.).

[19] См., например: *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. С. 222 223, 278 281.

[20] Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. С. 72. Текст «Слова» цитируется с упрощением орфографии.

[21] См., например, работу Д. С. Лихачева «Метафоры-символы», где «эмоциональные значения» символики упомянуты лишь однажды, и то в отношении к так называемому второму южнославянскому влиянию (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 1. С. 445).

[22] О древнерусских формулах со словами «сердце», «душа», «ум», «разум» см.: *Лопутько О. П.* Устойчивая формула в истории русского литературного языка: (X XV вв.). Новосибирск, 2001. С. 44 61.

[23] Цитируется третья редакция «Повести временных лет», а затем «Киевская летопись», см.: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. Стб. 262.

[24] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 327.

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО СРАВНЕНИЯ («АКЫ ВОДА»)

1. Предметный смысл сравнения

Агиографическое «Сказание о Борисе и Глебе» неизвестного автора конца XI — начала XII в. содержит исключительно яркое сравнение в рассказе о нападении убийц на Глеба, которые «обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ, *блещащася, акы вода*»[1]. Откуда эта изобразительная деталь появилась?

Вряд ли автор «Сказания» исторически точно знал, как блестели в действительности мечи нападавших, или заимствовал эту деталь в качестве реалии из преданий о Борисе и Глебе. Все остальные памятники борисоглебского цикла в лучшем случае лишь глухо упоминают обнаженное или готовимое «оружье» у убийц (летописный рассказ «О убьеньи Борисове» и рассказы в «Прологах») или вообще не упоминают никакого «оружья» у нападавших («Чтение о Борисе о Глебе»)[2].

Сравнение блеска обнаженных мечей с блеском воды в отрывке об убийстве Глеба нельзя отнести и к традиционным риторическим средствам, ибо в древнерусской литературе блеск оружия, в том числе мечей, не был водным, но обычно сравнивался с блеском или сиянием молнии, солнца или зари (или оружие блестело на солнце либо при молнии). Примеров тому такое множество, что не станем их приводить.

Для дальнейших объяснений необходимы наблюдения над контекстом анализируемого сравнения. В эпизоде об убийстве брата, содержащем сравнение с водой, постоянно встречаются и другие предметные детали: Глеб «поиде въ *кораблици*» до «*устие*» реки; убийцы «*гребяахуся*» к Глебу; они «равно *пловуща*, начаша *скакати*» в ладью Глеба; у гребцов «*весла отъ руку испадоша*, и вьси *отъ страха омьртвеша*» (40–41). Этих деталей нет в других произведениях о Борисе и Глебе (только в «Чтении» упомянуты весла, но без рук: «положе весла» — 13; а в одном из проложных рассказов упомянуто «скакание» — 99, взятое как раз из «Сказания о Борисе и Глебе»[3]). Предметность изложения в данном случае была обусловлена темой приключения. Показательно, что в рассматриваемом эпизоде «Сказания» Глеб, молясь своему отцу, употребляет знаменательное слово: «вижь *приключьшаяся* чаду твоему» (42); это слово, как правило, связанное с обозначе-

нием внезапного неблагоприятного события, то есть приключения, отсутствует в других произведениях о Борисе и Глебе.

У автора «Сказания» при рассказе об обстоятельствах убийства Глеба, возможно, мелькнуло припоминание о традиции описания страшного приключения на воде. Эпизоды приключений во время плавания на кораблях в древнейших памятниках содержат те же или сходные детали, что и в соответствующем эпизоде «Сказания», — неизбежные по сюжету упоминания кораблей, плавания, воды, весел и пр., но самое главное — подчеркивания страха. Вот, например, «Космография» Козмы Индикоплова: «*плававше*... и пришедше близь... *устие*... яко же *убоатися* всемъ иже в *корабли* и бяше *страшно* намъ отнюдь видение» и т. д.[4] Одно из «слов» «Синайского патерика»: «вълезъшю ему въ *корабль*... и въ мнозе *унынии* и недоумении беша корабльници...»[5]. Одно из чудес «Жития Николая Чудотворца» упоминает и выпадение весел из рук гребцов: «*иде в корабли*... и *весла*, яже беша в *рукахъ* ихъ, *изрази*... и от ризъ его многа *вода* текуши... от великия *ужасти* разумети не могу»[6].

Однако только «приключенческими» описательными традициями все-таки нельзя объяснить сам факт появления сравнения с водой в «Сказании о Борисе и Глебе». Другое объяснение сравнения связано вот с какой особенностью повествовательной манеры автора «Сказания» в рассказе об убийстве Глеба, — с настойчивым повторением указаний на реальную зримость людей и предметов: «*узьрети* лице твое», «*узьре* я», «они *узьревъше* и» «*възьревъ* къ нимъ» (40), «онъ *видевъ*» (41), «уже не имамъ васъ *видети*», «*вижь* течение сльзъ моихъ», «*възьревъ* къ нимъ» (42), «и *узьре* желаемааго си брата» (43). Эти упоминания зримости регулярно повторялись автором и в других эпизодах «Сказания»: «къ кому *възьрю*» (29), «*узьрю* ли си лице» (30), «и вси *зьряще* его» (31), «и *видевъ*... яко годъ есть утрении» (33), «*зьря* к иконе Господьни», и *узьреста*... и *видевъша* господина своего», «*узьре* текущиихъ... блистание оружия и мечьное оцещение» (34—35) и т. д. и т. п. Блеск обнаженных мечей, как отметил автор, тоже «си *видевъ* блаженый» Глеб (40).

Здесь снова не обошлось без авторского следования древней литературной традиции. Описания сражений или подготовки к нападению традиционно содержали какую-нибудь избранную броскую деталь, ясно зримую противником и вызывающую его страх. Вот обзор этой литературной традиции в самом кратчайшем виде по некоторым древнейшим памятникам. Яркой деталью при описании войска или воина нередко служило упоминание обнаженного или блещущего оружия, с выразительным сравнением. Например, описание ангела-воителя в «Ипатьевской летописи» под 1110 г.: Александр Македонский «види мужа... и мечь нагъ в руце его и обличенье меча его, *яко молонии*... и ужасеся цесарь велми»[7]. Или войско в «Хронике» Георгия Амартола: «яко же въсия солнце на златыя щиты и на оружия, блистахуся горы от нихъ и сияху, *яко отъ святилъ* горящь, темь възмущахуся вси видяще»[8]. В подобных картинах с блещущим оружием сравнения могли относиться и к чему-то другому, нежели оружие. Так, в «Слове о всех святых» Иоанна Златоуста: «Чьто бо есть страшьно на брани: пълъци на обе стороне станутъ окованы,

блистающе ся оружиемь и землю светяще... и многопадение обоиде, *акы на жатве класомъ*»[9]. Или в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия: «Вои же, по обычаю облъкшеся въ оружие, *яко стены*, поидоша... Вся преградная места бльщахуся оружиемь позлащенымь... И великъ ужасъ нападе на мятежники»[10]. Оружие могло блистать и без каких-либо сравнений. Например, в «Повести временных лет»: «яко посветяше молонья, блещашеться оружье, и бе... сеча силна и страшна»[11]; «яко се видяху... ездяху... въ оружьи светле и страшни»[12]. В «Хронике» Георгия Амартола: «оружию движания и златыя красоты блистания»[13].

Не вызывает сомнений, что подобная повествовательная традиция повлияла на описание нападения убийц на Глеба в «Сказании о Борисе и Глебе». Воздействие воинских мотивов на «Сказаниие» не единично (ср.: «поидоша противу собе, и покрыша поле Лътьское множьствъмь вои, и сьступишася» т. д. 46 47; или о Борисе и Глебе: «Вы... намъ оружие... и меча обоюду остра» 49); этих воинских мотивов и деталей нет в других произведениях о Борисе и Глебе.

Однако сравнение блеска оружия именно с водой не укладывается в фонд традиционных изобразительных воинских мотивов. Видимо, не в изобразительных традициях было дело. Тем более что сравнение блеска мечей с водой в «Сказании» имело лишь ограниченный изобразительный смысл и указывало только на сильный блеск оружия, не более того.

2. Символический смысл сравнения

Эпизод со сравнением мечей с водой содержит немаловажную смысловую особенность: воинские мотивы в древнерусской литературе всегда связаны со сражением; в эпизоде же о Глебе в «Сказании» сражение не воспоследовало, хотя мечи обнажены. Но эти мечи не окровавлены, а чисты, блестят водянисто, потому что не будут употреблены в дело, — ведь Глеба заклали ножом. Недаром Глеб видел мечи, а упомянул свое будущее заклание ножом: «закалаемъ есмь» (42). Сравнение оружия с водой обладало не столько изобразительностью, сколько символическим смыслом, предсказывая будущий результат наперед.

Существовала ли литературная традиция символизировать неприменение оружия его чистотой, сказать трудно. Но все же можно привести близкую аналогию из Библии: у Голиафа «копие в руку его, *яко вода*, ищищено блещащеся»[14], копье блестело, как вода, потому что оно так и не вступило в бой и осталось чистым, Давид успел убить Голиафа до применения копья. Показательно, что в пересказе этого эпизода «Хронографом 1512 г.» незамаранность оружия Голиафа, притом уже меча, указана прямо: «в руку его мечь, яко вода, чистъ»[15]. Однако непосредственного влияния Библии в данном эпизоде «Сказания», пожалуй, не наблюдается.

Сравнение блеска мечей с водой содержало еще один символический, притом экспрессивный смысл. Водяной блеск мечей был зловещим, символизировал какую-то страшную и даже смертельную опасность. Недаром автор «Сказания» добавил, что блещущих, как вода мечей люди не просто устрашились, но «омьртве-

ша». Тут, возможно, не обошлось без влияния традиции рассказов о путешествиях, на этот раз сухопутных, но связывавших блеск воды с опасностью. Например, в «Слове о трех мнисех» (или «Житии Макария Римского»): «источник знамянанъ водныи белъ, яко млеко [в другом списке: «и бе въ немъ вода бела»]. И видехомъ ту мужи страшны зело, окрестъ воды стояща... и видевше то, мы трепещюще, яко мертви... и минухом место то со страхом»[16]. В «Александрии»: «И видехомъ некако место, и бе на немъ источникъ светелъ, его же вода заблищашася, аки молниа... и призвахъ повара... он же, приимъ икру, и иде къ светлому источнику омыти икру, и абие намокши в воде, оживе икра и избежа от руку повара... поваръ же бывшаго не поведа»[17], — очевидно, напуганный. В «Девгениевом деянии»: «Во источнице бо томъ свéти, а вода, яко свеща, светится. И не смеяше бо к воде той от храбрыхъ приитьти никто, понеже бяху мнози чюдеса: в воде той змей великъ живяше»[18]. Однако нигде зловещий блеск воды не переносился на оружие, и, таким образом, сравнение блеска обнаженных мечей с водой в «Сказании о Борисе и Глебе» снова оказывалось уникальным.

Пока, до обнаружения иных аналогий, остается признать, что сравнение блеска мечей с водой явилось результатом индивидуального творчества автора «Сказания». Убийцы, обнажив мечи, перескакивали над водой в корабль Глеба — вот спонтанно и возникло у автора сравнение с водой.

3. Жалостливость автора

При всей случайности появления сравнение блеска мечей с водой не было бессмысленным и вполне соответствовало авторскому настроению. Сравнение блеска мечей с блеском воды в «Сказании» относится к любопытным феноменам древнерусской литературной поэтики. Изобразительность у автора «Сказания» была особого рода, — не столько реалистической, столь привычной для нас, сколько иносказательно-символической (о подобном явлении уже писал Д. С. Лихачев[19]). Оказывается, существовали литературные средства, сочетавшие, с одной стороны, реальную изобразительность, а с другой стороны, умозрительную символичность и благодаря такому сочетанию смыслов отличавшиеся особой экспрессивностью.

Но ведь экспрессивно все «Сказание». В рассказе об убийстве Глеба герой жалостно плачет, чувства персонажей драматически сталкиваются и меняются: Глеб «умиленый», затем «възрадовася», его убийцы «омрачаахуся», его окружение ужаснулось и пр. Подчеркнуто часто — почти 30 раз — в тексте «Сказания» повторяются эпизоды с упоминаниями о слезах, печали, плачах, воздыханиях, умилении, стенаниях, горе, унынии, сокрушении, скорби, жалости и пр. у героев и даже у мимолетных персонажей, а упоминания минорных чувств постоянно разрастаются в целые описательные сцены плачей. В отличие от «Сказания», в более пространном «Чтении о Борисе и Глебе» плачи упоминаются всего лишь 5–6 раз, и то очень кратко, а в летописной статье «Об убьеньи Борисове» плачи упоминаются и того меньше — 3 раза, и тоже кратко. Стремлением автора «Сказания» к трагич-

ности повествования можно объяснить, в частности, и появление зловещего сравнения мечей с водой, окруженного самыми интенсивными в «Сказании» плачами и воплями персонажей. Вода к слезам ближе, чем, скажем, молния или солнце (ср. в «Галицко-Волынской летописи»: «слезы от себе изливающи, аки воду»[20]; или в одном из «слов» Иоанна Златоуста: «источьницехъ водьныихъ прикладаема беаху очеса и... сльзы вряща капааху...»[21] и др.).

Но зачем автору понадобилось так убиваться? Объяснить болезненную, трагическую манеру изложения автора «Сказания» нельзя только житийной традицией. Например, в «Успенском сборнике», где наряду со «Сказанием о Борисе и Глебе» переписаны различные жития, в том числе мученические, ничего похожего на острую трагичность «Сказания» не встречается. В прочих житиях, скажем, Евстафия Плакиды или Алексия человека Божия, плачи гораздо более редки, чем в «Сказании».

Стремление автора «Сказания» к явно повышенной трагической экспрессивности изложения объясняется индивидуальной авторской целью. В рассказе об убийстве Глеба автор подчеркнул отсутствие отклика людей на отчаянные речи Глеба: убийцы «ни поне единого словесе постыдешася... не вънемлють словесъ его» (41); близкие тоже не слушают его, на что Глеб жалуется: «отца моего Василия призъвахъ — и не послуша мене... И ты, Борисе, брате... то ни ты хочеши мене послушати... и никто же не вънемлеть ми» (42). Да и Борис ранее жаловался на то же: «не вемь, къ кому обратитися» (29). Подобная тоска героев по слушателям отсутствует в других произведениях о Борисе и Глебе. В «Сказании» же Борис и Глеб пытались вызвать сочувствие своими речами, даже у убийц («милъ ся имъ деяти», «милъ вы си дею» — 35, 41), и даже убийц ласково называли «братия моя милая и любимая», «братия моя милая и драгая» (25, 41). Подобных поползновений героев к сочувствию тоже нет в других произведениях о Борисе и Глебе. Наконец, автор «Сказания», и только он, однажды, возможно, показал образец сочувственного отклика слушателей на речи Бориса: «да егда слышаху словеса его... и къждо въ души своеи стонааше» (36). По-видимому, аналогично эмоциональным героям «Сказания» автор пытался, так сказать, «достучаться» до чувств читателей и слушателей своего произведения.

Поэтому автор устами персонажей регулярно обращался фактически к читателям, взывая к их чувствам: «Къто бо не *въсплачеться*, съмерти тое пагубьное приводя предъ очи сьрдьца своего?» (31); «къто не *почюдиться* великууму съмирению, къто ли не съмериться, оного съмерение видя и слыша?» (37). В конце «Сказания» автор уже и сам призвал «нас», включая читателей, отозваться чувствами на рассказанное о двух страстотерпцах: «Темь же прибегаемъ к вама и *съ слезами* припадающе молимъся...» (50). В конце рассказа об убийстве Глеба тоже содержалось косвенное, в виде евангельской цитаты, обращение к чувствам читателей, побуждение их к нужному эмоциональному состоянию: «*Въ търпении* вашемь сътяжите душа ваша» (42).

Не ясно, каких читателей или слушателей имел в виду автор «Сказания», — вообще всех жителей Русской земли? (В «Чтении» читатели обозначены, кажется, более церковно: «братие»). Вероятно, для религиозно-гражданственного потрясения читателей понадобилось автору «Сказания» и необычное сравнение мечей с водой.

4. Жалостливость Владимира Мономаха

Теперь требуется объяснить повествовательную манеру автора «Сказания». Точное время создания «Сказания» неизвестно. Однако, если принять за основу мнение ряда ученых о появлении «Сказания» не ранее начала XII в., в 1115 — 1117 гг.[22], то намечаются интригующие параллели.

Показательна характеристика великого князя киевского Владимира Всеволодовича Мономаха в «Лаврентьевской летописи» — в «Повести временных лет» и в продолжившей ее «Суздальской летописи». Так под 1125 г. в посмертной, итоговой характеристике Владимира Мономаха подчеркивается одна из ведущих его черт: «*Жалостив* же бяше отинудь и даръ си от Бога прия: да егда в церковь внидяшеть и слыша пенье, и абье *слезы* испущашеть, и тако молбы ко владыце Христу *со слезами* воспущаше»[23]. Жалостливость Мономаха отмечена прежде всего к «сродникома своима, к святыма мученикама Борису и Глебу».

Не только церковная жалостливость Мономаха имелась в виду. В предшествующих рассказах летописи постоянно отмечалась сходная жалостливость Мономаха: когда заболел его отец, то Мономах «*плакавъся*», и когда преставился отец, то Мономах снова «*плакавъся*» (217, под 1093 г.); вскоре утонул брат Владимира Мономаха и погибла дружина — «Володимеръ же... *плакася* по брате своемъ и по дружине своеи... *печаленъ* зело (220, под 1093 г.); затем один князь ослепил другого — «Володимеръ же слышавъ... ужасеся и *всплакавъ*» (262, под 1097 г.); князья хотят воевать друг с другом — и снова «се слышавъ, Володимеръ *расплакавъся*» (262, под 1097 г.); сверх того Владимир заявлял, что ему «*жаль*» убиваемых смердов (277, под 1103 г.). Все это упоминания отнюдь не церковных плачей Владимира Мономаха. Жалостливость показана в летописи как всеохватывающее свойство Мономаха. Притом никто из князей в летописи не показан таким жалостливым и часто плачущим, как Владимир Мономах. Это, по летописи, его индивидуальная черта.

Вероятно, так оно и было в действительности. Правда, прямых документов о чувствительности Мономаха в нашем распоряжении нет. Но ведь «Лаврентьевская летопись» в конечном счете все-таки восходит к южнорусскому летописанию времени Владимира Мономаха[24], то есть, вероятно, осталась правдивой по отношению к нему. Показательно, что собственно южнорусская «Ипатьевская летопись» содержит те же и даже добавляет еще детали к картине чувствительности Мономаха. Под 1113 г.: «Володимеръ *плакася* велми... *жаля си* по брате» (о Святополке); под 1117 г.: «Володимеръ же *съжали си* темь оже проливашеться кровь»; под 1126 г.: «добрыи *страдалець* за Рускую землю»[25].

Наконец, собственные сочинения Владимира Мономаха тоже могут подтвердить его чувствительный настрой. Так, в своем «Поучении» 1117 г. он пишет: «вземъ Псалтырю, *в печали* разгнухъ я, и то ми ся выня: вскую *печалуеши*, душе... Вскую *печална* еси, душе моя»; далее Мономах призывает своих детей заниматься «3-мя делы добрыми... покаяньемъ, *слезами* и милостынею», «*слезы* своя испустите»; и снова возвращается к своим минорным чувствам: «*съжаливъси* христьяных душь и селъ горящих и манастырь»; в письме к Олегу Святославовичу: «о, *многострастныи и печалны* азъ, много борешися сердцемь», «кончавъ *слезы... желеючи*»[26].

Видимо, реальный Владимир Мономах, как видно из нашего краткого обзора, и в самом деле по разным поводам отличался жалостливостью, которая явно перекликается с жалостливостью «Сказания о Борисе и Глебе». Такое сходство подталкивает к предположению о том, что жалостливо-трагические настроения Владимира Мономаха каким-то образом повлияли на стиль автора «Сказания о Борисе и Глебе», включая и появление в его тексте резко экспрессивного сравнения мечей с водой.

Прямых подтверждений связи «Сказания» с Мономахом нет. В тексте самого «Сказания» Владимир Мономах никак не упоминается, хотя косвенно он, может быть, и подразумевался в заключающих «Сказание» восхвалениях, между прочим сообщавших о современности уже автора «Сказания»: «князи наши противу въстающая дьржавьно побежають... дьрзость поганьскую низълагаемъ» (49). Если в этих словах видеть напоминания о состоявшихся победоносных походах русских князей на половцев, то придется отнести эти напоминания лишь ко времени не ранее начала XII в., а именно — к походам 1102, 1107 и 1111 гг., в которых активное участие принимал Владимир. Увериться в подобном толковании помогает считающийся предшественником «Сказания» летописный рассказ «О убьеньи Борисове», в конце которого высказана еще лишь только надежда на будущие успехи: «...заступника наша! Покорита поганыя подъ нозе княземъ нашимъ» (72).

Связь между настроенностью автора «Сказания» и эмоциональной особенностью Владимира Мономаха можно подтвердить только очень неполными аналогиями между «Сказанием» и некоторыми местами произведений, прямо упоминающих Владимира Мономаха и Бориса с Глебом, жалостливо-трагичных по тону и оттого содержащих зловещие изобразительно-символические детали. Таково уже упоминавшееся «Поучение» Владимира Мономаха. В том месте, где Мономах говорит о своих трагических переживаниях («съжаливъси христьяных душь и селъ горящих и манастырь» 249), он тут же использует зловещую изобразительно-символическую деталь — яркое сравнение (полки половецкие «облизахутся на нас, акы волци, стояще») и при этом поминает Бориса («на святого Бориса день... ехахом сквозь полкы половьчские... и святыи Борисъ не да имъ мене в користь»).

Между чувствами и их выражением у Мономаха и у автора «Сказания» есть сходство, но лишь общее и частичное. Жалостливость, судя по летописным упоминаниям, проявилась у Мономаха гораздо раньше, чем у автора «Сказания», на

которого Мономахово настроение и могло повлиять, но не благодаря возможному личному общению автора «Сказания» с Мономахом (данные на этот счет отсутствуют) или чтению его «Поучения», а, скорее всего, в результате воздействия эмоциональной атмосферы вокруг Мономаха (хотя и об этой атмосфере мы ничего определенного не знаем) на настроенность автора «Сказания» и ис пользование им яркого сравнения.

На сентиментальную общественную атмосферу вокруг Владимира Мономаха, возможно, указывает посвященная ему некрологическая статья под 1126 г. в «Ипатьевской летописи», где обильно плачут буквально все: «святители же, *жалящеси, плакахуся* по святомъ и добромъ князи; весь народъ и вси людие по немъ *плакахуся*, яко же дети по отцю или по матери; *плакахуся* по немъ вси людие и сынове его... и внуци его; и тако разидошася вси людие *с жалостью* великою... *с плачемъ* великомъ»[27]. О похоронах других князей, даже самых известных, больше нигде в летописи не рассказывалось с фиксацией такой потрясенности людей. Так что можно предположить существование повышенно эмоциональной атмосферы и вокруг живого Мономаха и ее влияние на повествовательную манеру автора «Сказания о Борисе и Глебе».

Есть еще несколько частичных аналогий «Сказанию» в сочинениях уже не Мономаха, но, видимо, отразивших веяние трагической жалостливости вокруг Владимира Мономаха. К наиболее ранним аналогиям относится рассказ о половецком нашествии в «Повести временных лет» под 1093 г., где говорится не только о печалях Владимира Мономаха, но и других людей, — все очень чувствительны. Так, по утонувшему при бегстве от половцев молодому князю Ростиславу «*плакася* по немь мати его и вси людье *пожалиша* си по немь повелику» (221); от нашествия половцев «бысть *плачь* великъ в граде», «сотвори бо ся *плачь* великъ в земли нашеи» (222); «на христьяньсте роде *страхъ и колебанье*» (223); «вся полна суть *слезъ*... ноне же *плачь* по всемъ улицам упространися» (224); «мъного роду христьяньска стражюще, *печални... со слезами* отвещеваху другъ къ другу ... со *слезами* родъ свои поведающе» и т. п. (225). Подобного жалостливого рассказа в летописи еще не появлялось. Зловещие изобразительно-символические детали вкраплены в трагический рассказ: «ноне видимъ нивы поростъше зверемъ жилища быша» (224); «опустневше лици, почерневше телесы ... языкомъ испаленым, нази ходяще, и боси ногы имуще, сбодены терньем» и пр. (225). И Бориса и Глеба при этом поминал летописец: «Богъ нам наводить сетованье... въ праздникъ Бориса и Глеба, еже есть праздникъ новыи Русьскыя земля» (222). Однако нет никаких непосредственных связей между «Сказанием о Борисе и Глебе», летописным рассказом под 1093 г. и поведением самого Мономаха. Можно предполагать только воздействие атмосферы вокруг Мономаха и на эти эмоциональные сочинения с их экспрессивными литературными средствами, включая изобразительно-символические детали.

Еще одна частичная аналогия «Сказанию о Борисе и Глебе» наблюдается в «Повести о Васильке Теребовльском», помещенной в «Повести временных лет»

под 1097 г., но на самом деле со значительными поздними редакторскими изменениями вставленной в летопись в 1116 1118 гг. или немного позже[28]. В этой летописной повести плачет и переживает не только Владимир Мономах, но и другие персонажи: «Святополкъ же *сжалиси* по брате своем» (257); Давид «бе бо *ужаслъся*» (259); «Василко ... възпи к Богу *плачем* великим и *стенаньем*» (260); «*плакатися* начала попадья... и очюти *плачь*» ее Василько (261); «Давыдъ и Олегъ *печална* бысть велми и *плакастася*» (262). Это самое слезное повествование летописи соответственно содержит и многие зловещие изобразительно-символические детали: «Давыдъ же седяше, акы немъ» (259), — готовится к ослеплению Василька; «бысть, яко и мертвъ» (261), — состояние ослепленного; «да бых в тои сорочке кровавe смерть приялъ и сталъ пред Богомь», — желание ослепленного; «вверженъ в ны ножь» (262), — оценка преступления и т. д. Правда, в этой повести упоминаются не Борис и Глеб, а убиваемые братья неопределенно: «и начнеть брат брата закалати» (269). В итоге картина та же: сходство повествовательных манер «Сказания» и летописной повести с их экспрессивными деталями не более, чем самое общее; оба сочинения независимо друг от друга отражают предполагаемую нами эмоциональность Мономахова времени.

Наконец, еще одна довольно слабая аналогия «Сказанию о Борисе и Глебе» отыскивается в «Сказании чудес Романа и Давида», в рассказе о перенесении мощей Бориса и Глеба в 1115 г. по инициативе Владимира Мономаха. Рассказ подчеркивает чувствительность участников действа: «вси елико бяше множьство людии, ни единъ же без *слезъ* не бысть» и «вьсемъ... съ *сльзами* Бога призывающемъ»[29]. В предыдущих рассказах о событиях, произошедших до великого княжения Владимира Мономаха, ни словом не говорилось ни о слезах, ни о плачах людей. В слезном рассказе же о перенесении мощей появились и детали, которые можно расценить как зловещие: при перенесении мощей Глеба «ста рака не поступьно. Яко потягоша силою, ужа претьргняхуся... а людемъ зовущемъ... и въсхожаше гласъ народа отъ всехъ... яко и громъ»[30]. Но опять: отмечается лишь самое общее сходство манер повествования в рассказе об убийстве Глеба из «Сказания о Борисе и Глебе» и в рассказе о перенесении их мощей из «Сказания чудес Романа и Давида», — то есть экспрессивность обоих рассказов, по-видимому, была продиктована эмоциональной атмосферой времени Владимира Мономаха.

В результате, наша попытка объяснить в «Сказании о Борисе и Глебе» появление изобразительно-символического сравнения «обнажены меча... бльщащася, акы вода» приводит нас к гипотезе об основной первопричине сравнения: жалостливо-трагическая настроенность Владимира Мономаха и его окружения, вероятно, повлияла на эмоциональную атмосферу того времени, а отсюда и на «Сказание» и его поэтику. Это феномен связи литературного средства с общественными настроениями начала XII в. Идейная ориентация на Мономаха уже давно отмечалась исследователями на примере редакций «Повести временных лет». Теперь сюда можно предположительно отнести и «Сказание о Борисе и Глебе».

5. Дальнейшая история сравнения

Расширение базы наблюдений по «мономаховой» проблеме — дело будущего, мы же ограничиваемся только одним указанным сравнением. Дальнейшая судьба сравнения зловещего блеска враждебного оружия с водой в древнерусской литературе крайне бедна и подчеркивает литературную оригинальность «Сказания». Оружие оставалось блещущим во многих произведениях, но без воды. Пока можно указать только две очень относительные аналогии редкостному сравнению из «Сказания о Борисе и Глебе». Одна аналогия содержит сравнение хоть и не оружия, но все-таки воинских доспехов с водой. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится: «Доспехы же русскых сыновъ, *аки вода* въ вся ветры, колыбашеся»[31]. Подобная аналогия в «Сказании о Мамаевом побоище» слишком формальна и никакой содержательной связи между обоими произведениями не выявляет: сравнение, во-первых, относится не к противнику, а к русскому войску; во-вторых, содержит указание на движение воды, а не на ее блеск; в-третьих, входит в картину утренней бодрости русского войска «въ время ведра», а не в зловещую сцену омрачения и помертвения действующих сторон.

Вторая аналогия — уже из «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» — заслуживает несколько большего внимания. Хотя описание доспехов в «Повести» восходит в основном к «Сказанию о Мамаевом побоище» и к тому же не содержит ни упоминания блеска, ни сравнения с водой, но зато описание относится именно к врагам и наполнено все-таки световыми мотивами. Речь идет о турецком войске: «Фетили у всех яныченей кипят у мушкетов их, *что свещи горят*... А на янычснях на всех збруя их одинакая красная, *яко зоря*, кажстца... А на главах у всех яныченей шишяки, *яко звезды*, кажются»[32].

В приведенном отрывке о приходе турецкого войска к Азову удивляет перенос автором «Повести», так сказать, хороших сравнений, положительных деталей на турок. Например, сравнение сверкания доспехов с зарей в «Сказании о Мамаевом побоище» исконно относилось к русским воинам: «шоломы злаченыя на главах ихъ, *аки заря* утренаа... светящися»[33]. Еще в «Галицко-Волынской летописи» доспехи как заря сверкали у русских же воинов: «щите же ихъ, *яко заря*, бе»[34]. Автор же «Повести об азовском осадном сидении» применил сравнение с зарей к противникам русских — к туркам.

То же самое произошло со сравнениями блеска доспехов и оружия со звездами и с горящими свечами. Ранее сравнение со звездами имело в виду русских воинов, как например, в «Казанской истории»: у них «*аки звезды*, на главах светяхуся златыя шеломы и щиты»[35]. Автор «Повести об азовском осадном сидении» снова перенес это благородное сравнение со звездами на врагов. Сравнение же с горящими свечами вообще отличалось церковным характером. Ср. в «Житии Василия Нового»: «от каплей крови его, иже на земли, възсиа свет, *яко же свещи горят*, яко звезды небесныа сияют»[36]. Но и такое сравнение автор «Повести» придал «бусурманам».

Объяснить столь странное явление «пробусурманскими» симпатиями автора «Повести» совершенно невозможно: он турок ругательски ругает. Отчасти можно связать положительные изобразительные мотивы «Повести» в описании вражеского войска со схожими повествовательными тенденциями «Казанской истории». Однако автор «Повести об азовском осадном сидении» пошел явно дальше «Казанской истории» в яркости изображения вражеских доспехов и оружия, в попытке показать «*стройной* приход бусурманской», «*дивной* приход бусурманской»[37].

Все дело заключается в особенности эстетики автора «Повести»: яркое и красочное напрямую означало для него грозное и страшное. Это видно по всему эпизоду прихода турецкого войска: шатры турецкие «яко горы высокия и страшныя забелелися»; «трубии великия... голосами *страшными* их бусурманскими»; «яко звери воют *страшны*»; «стрелба... как есть стала гроза великая над нами страшная, бутто... молния страшная»; «и страшно добре нам стало от них... такую рать великую *страшную*... очима кому видети»; «знамена у них... черны... яко тучи *страшныя*» и т. д.[38]

В последующем эпизоде — уже подготовки турецкого войска к штурму — красочное и страшное опять связаны: «Знамена у них зацвели и прапоры, как есть стали цветы многия... Дивен и *страшен* приход их под Азов город. Никак того уже нелзя *страшнее* быть»[39]. И в картине штурма та же связь красочного и страшного: «от стрелбы их огненой дым топился до неба, как есть *страшная* гроза небесная, когда бывает гром с молниею»[40].

Красочно-страшное всегда адресно у автора «Повести». Страшно могло быть русским от яркой картины, но страшно могло быть и туркам. Такова, например, зловещая для турок, обещающая им «горести лютые и плачи многие» красочная картина ожидания битвы: «в полях наших, летаючи, клекчют орлы сизыя, и грают вороны черныя подле Дона тихова, всегда воют звери дивии — волцы серыя, по горам у нас брешут лисицы бурыя, — а все то скликаючи, вашего бусурманского трупа ожидаючи»[41]. Страшно туркам, по их признанию, и от яркого окончания битвы: «выезжают... два младыя мужика в белых ризах, с мечами голыми... шла великая и *страшная* туча... а перед нею, тучею, идут по воздуху два страшные юноши, а в руках своих держат мечи обнаженные, а грозятся на наши полки бусурманские», — «от того-то *страшного* видения» турки побежали[42].

«Повесть об азовском осадном сидении» косвенно упоминает Бориса и Глеба, и, возможно, «Сказанием о Борисе и Глебе» был навеян в том же месте «Повести» мотив голых-обнаженных мечей. При всем различии «Сказания» и «Повести» видно, что и через пятьсот лет древняя литературная традиция оставалась в силе: яркая, красочная деталь как средство поэтики в древнерусском произведении XVII в., в его воинских эпизодах, несмотря на ослабленную или вовсе отсутствующую символичность и философичность, сохранила и даже усилила прежнюю экспрессивную функцию — быть зловещей, страшной, грозной, трагичной, а не нейтрально-изобразительной. Но принципиально изменилась реальная основа экспрессии, которую составило отнюдь не редкое в XVII в. ревностное военно-

хозяйственное внимание авторов к вооружению, экипировке и тактике воюющих сторон. Таким образом, уникальная, больше никогда не повторявшаяся настроенность в киевском обществе начала XII в. в конечном счете и породила уникальное же сравнение в «Сказании о Борисе и Глебе».

Примечания

[1] *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. С. 40. Далее при цитировании текстов памятников борисоглебского цикла страницы этого издания указываются в скобках. Древнерусские тексты здесь и далее цитируются с упрощением орфографии.

[2] См.: Там же. С. 12 13, 70, 97, 99, 102, 103.

[3] Там же. С. XVI.

[4] Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 65 66.

[5] Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967. С. 275.

[6] *Крутова М. С.* Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности. М., 1997. С. 74 75.

[7] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 263.

[8] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. М., 1920. Т. 1. С. 203 204.

[9] Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 460 461.

[10] *Мещерский Н. А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 381.

[11] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 148. Под 1024 г.

[12] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 267 268. Под 1111 г.

[13] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 200.

[14] Библия. Острог, 1581. Л. 131 об. Первая книга Царств, гл. 17.

[15] ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1 / Текст памятника подгот. С. П. Розанов. С. 109.

[16] Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин. С. 138.

[17] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: исследование и текст. М., 1893. С. 76.

[18] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1991. С. 46.

[19] «Средневековый символизм часто подменяет метафору символом... В средневековых произведениях сама метафора очень часто оказывается одновременно и символом» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 1. С. 441).

[20] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. С. 408. Под 1288 г.

[21] Успенский сборник XII XIII вв. С. 331.

[22] Выводы о датировке «Сказания о Борисе и Глебе», в частности 1115 1117 гг., см., например: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб.,

1908. С. 96; *Абрамович Д. И.* Указ. соч. С. VII; *Адрианова-Перетц В. П.* Сюжетное повествование в житийных памятниках XI XIII вв. // Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 92; *Дмитриев Л. А.* Сказание о Борисе и Глебе // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 398 408; *Ужанков А. Н.* Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий // Древняя Русь: вопросы медиевистики. М., 2001. № 1 (3). С. 49; *Никитин А. Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 296; *Он же.* Инок Иларион и начало русского летописания: Исследование и тексты. М., 2003. С. 81, 172.

[23] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 294 295. Далее столбцы указываются в скобках.

[24] См.: *Лурье Я. С.* Летопись Лаврентьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 242 243; *Он же.* Общерусские летописи XIV XV вв. Л., 1976. С. 58.

[25] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 275, 283, 289.

[26] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 241, 244, 245, 249, 252, 254. «Лирическое начало было в высшей степени свойственно Мономаху» (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 2. С. 153).

[27] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 289.

[28] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. XXXV, XLI; *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 43, 50–52; *Творогов О. В.* Василий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 91 92; *Он же.* Сильвестр // Там же. С. 391 392.

[29] *Абрамович Д. И.* Указ. соч. С. 65.

[30] Там же. С. 65–66.

[31] ПЛДР: XIV — середина XV века / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. М., 1991. С. 164.

[32] Хрестоматия по древней русской литературе XI XVII веков / Сост. Н. К. Гудзий. 6-е изд., испр. М., 1955. С. 359. В других списках «Повести» сравнения те же — см.: ПЛДР: XVII век. Кн. 1 / Текст памятника подгот. Н. В. Понырко. М., 1986. С. 141.

[33] ПЛДР: XIV — середина XV века. С. 164.

[34] ПЛДР: XIII век. С. 318. Под 1251 г.

[35] ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 470.

[36] ПЛДР: Вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М., 1986. С. 544.

[37] ПЛДР: XVII век. Кн. 1. С. 141; Хрестоматия по древней русской литературе XI XVII веков. С. 359.

[38] Хрестоматия по древней русской литературе XI XVII веков. С. 358 359.

[39] Там же. С. 366.

[40] Там же. С. 366.

[41] Там же. С. 363.

[42] Там же. С. 372.

СЕМАНТИКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ XI — НАЧАЛА XII ВВ.

В древнейших произведениях XI — начала XII вв. очень часто используется такое всепроникающее литературное средство, как перечисления. Семантика перечислений оказывается неожиданно разнообразной в памятниках и раскрывает некоторые принципы описания явлений мира у древнерусских писателей.

1. Переводные произведения

Так называемая хронографическая **«Александрия»** (сформировалась в III в., ее славянский перевод появился в конце XI — начале XII вв.) содержит сравнительно мало перечислений. Все они примечательны тем, что указывают только на важнейшие части того или иного целого. Например, описывается драгоценная «дщица»: «златомъ и сланомъ обложена, имеющи звездъ 7 и чястныи стражь, солньце же и луну, солнце же убо крустално, а луна адаматина, другыи нарицаемыи Зеусъ въздушныи, другыи же Кронъ змиевъ, Афродитъ самъфирова» и т. д.[1], подобная опись называет только самое важное у «дщицы», потому что всего ее состава, как оговаривается тут же, «слово указати не можеть».

Так же описан далее царский дворец — только важнейшие части его обстановки, потому что «от множества не можемъ исказати великия доброты их» (110). Как естественный и привычный, принцип перечисления важнейших частей целого зачастую использовался в «Александрии» без каких-либо пояснений: «зверие ихъ суть тигры, лвове, слонове, буяюще своею силою» (81) — перечислены не все звери некоей опасной местности, а только самые сильные; или : «имение наша есть земля, древа плодносная, светъ, солнце, луна, звездъныи ликъ и вода» (85) — указаны только крупнейшие части просторного «имения» бескорыстных рахман. Нередко и название целого не ставилось при перечислении частей, например: «творити же свои нравъ, и обычая, и праздникы, и тръжества, и веселиа жрътвы» (70) — отмечены важнейшие элементы лишь подразумеваемого явления — жизненного уклада народов. Или, например: «и бяше видети везде огнь, и камение, и стрелы, и сулица испущаа» (52) — упомянуты самые смертоносные орудия битвы, но битва не названа.

Архаичность подобных перечислений заключалась в их неполной, по нашим меркам, литературности, они как бы еще не оторвались от хозяйственных описей.

Перечни обильны в **«Слове о царствии язык последних времен»** (или «Откровении») Мефодия Патарского, которое было сочинено в IV в., дважды переведено в Болгарии, причем первый славянский перевод использовался на Руси уже в самом начале XII в. Далее речь пойдет, конечно, о переводе как литературной данности на Руси. Перевод «Слова» Мефодия Патарского содержал в абсолютном большинстве даже не перечни, а парные сочетания родственных понятий, которыми повествователь в тексте лаконично обозначал всю полноту разновидностей или всю полноту состава того или иного явления. Например, когда говорилось о том, что мужи, одевшись в женские ризы «по стьгнамъ града ходяще и по торжищемъ пред всими»[2], то, судя по оговорке «пред всими», парное сочетание стогн и торжищ подразумевало весь град полностью, со всеми его жителями. Или когда повествователь предрекал, что, очевидно, в города «дивии осьлии приидут и сьрны от пустыня, и всяк род зверинъ узрят человеце» (277), то подразумевалось нашествие всех видов диких зверей, полностью «всяк родъ зверинъ», а не только ослы и серны. Когда рассказчик пророчил, что род измаилтян «в руце цесаря грьчьска преданъ будеть оружиемъ и примучениемъ, и будеть ярьмъ грьчьскъ съторицею на них» (279), то сочетанием «оружие и примучение» обозначил вообще весь состав насилий, который затем и обобщил понятием «ярем»; когда повествователь предупредил, что измаилтяне «наругатися начнуть и насмивати ходящиимъ по Божии заповеди уродскыими и буими беседами» (276), то опять-таки парой глаголов «наругатися и насмивати» обозначил обилие многообразных оскорбительных действий, то есть «уродскых и буиих бесед» измаилтян по отношению к христианам. В «Слове» Мефодия Патарского содержится огромное количество парных перечислений, не развитых в аналитичные перечни и демонстрирующих архаический лаконизм в характеристиках явлений.

Однако система парности содержала заметные нарушения. Многие пары превратились в формулы, которые имели гораздо более узкий смысл. Например, формула «человеци и скоты» не означала «все живое от человека до скотов»; ее смысл теперь: «все люди». Когда повествователь писал, что «скончается печаль на человецехъ и на скотахъ, и будуть гладъ и смерть, измждають человеце и распрашатся, акы персть, по всеи земле» (278), то он имел в виду только людей и даже забыл об условно упомянутых скотах. Если же требовалось обозначить все живое, то к формуле «человеци и скоты» делались разные прибавки: «пущенъ есть по всей земле на человекы к на скоты, и на звери...» (275), «и будуть вси под властию: и человеце, и скоти, и птица небесныа...» (276).

Отдельные парные сочетания не содержали однородных понятий и семантически соотносились уже с иными повествовательными формами. Так, перечисление «падуть въ гресехъ и во смраде» (276) соотносилось с определительным словосочетанием «падут в смрадных грехах»; перечисление «одержими будуть вси

молчаниемъ и страхомъ» (276) тяготело к причинно-следственному высказыванию «одержимы будут все молчанием из-за страха».

В переводе «Слова» наличествовали также перечисления фактически единичных элементов, которые только по формальной привычке перечислялись парами (например, «мучителе воеводы, их же имена си суть: Ориивъ и Зивъ, Изееве и Салмона» — 271).

В переводе «Слова» внешняя парность в перечнях местами начала разрушаться, и между парами стали внедряться одиночные элементы. Так, описывалось «приношение ко святымъ: любо злато буди, любо сребро, любо камение честное, любо медь, любо железо, любо ризы, любо честнеи хлеби темъ летию будуть» (276) — золото с серебром и медь с железом образовывали пары, но в одиночку стояли камение, ризы, хлеба. Интересно, что в болгарском списке 1345 г. «Слова» Мефодия вместо одиночного словосочетания «честнеи хлеби» присутствовала, возможно, первоначальная пара: «и брашна въсе и сънели честнии» (221).

Парные сочетания с их семантикой входили, наверное, в самый архаичный пласт собственно литературных средств (ср. «стилистическую симметрию», особенно псалмов[3]), но глубина их архаичности уже колебалась в переводе «Слова» Мефодия.

Во многих переводных произведениях, напротив, перечисления были довольно длинны и означали не просто полноту, но исчерпанность всех разновидностей или частей того или иного явления. Очень много таких перечислений в Евангелии. Например, Евангелие от Матфея, V, 44 по **«Архангельскому евангелию»**: «любите врагы вашя: благословите кльнущая вы, добро творите ненавидящиихъ васъ, молите за творящая вамъ напасти, изгонящая вы благословите»[4] — под врагами подразумевались все возможные виды врагов: клянущие, ненавидящие, творящие напасти, изгоняющие; так же и в понятие «любити» вошли как бы все проявления любви: благословлять, добро творить, молить за любимого. Интересно, что приписка русского писца XI в. в «Архангельском евангелии» содержала тот же вид перечисления, претендующий на исчерпанность: «отягъченъ грехы бечисльными... помышляя сластолюбие, похотение, свары, пьянство — просто рекъше, вся злая» (390–391) — писец подразумевал список грехов, исчерпывающих понятие «вся злая».

Принцип характеристики явления исчерпывающим перечислением его разновидностей или состава был провозглашен в **апокрифе о Енохе**, переведенном в XI–XII вв. Енох объявлял: «Тогда раздреши Господь векъ человека ради и раздели е на времена и лета, на месяци, и дни, и часы... И се, чада моя, азъ правлемая по измерихъ и исписахъ»[5]. И далее: «И видехъ адъ отверстъ... и снидохъ, и исписахъ все суды судимыхъ, и все въпросы ихъ уведахъ» (22), «видите, азъ вся дела всякого человека написываю» (23).

Перечисления со значением исчерпанности всех разновидностей явления были распространены и в житиях. Они преобладали, в частности, в **«Житии Мефодия Моравского»**, болгарском сочинении конца IX в., издавна известном на Руси. Так,

даже в парном перечислении — «слово сильное и кротькое» — отчетливо подразумевались все качества речей, произнесенные Мефодием, что и поя снялось: «сильно — на противьныя, а кротъкое — на приемлющая казание». Далее дополнительно пояснялось, какую полноту качеств сочетали слова и дела Мефодия: «ярость, тихость, милость, любъвь, страсть и търьпение — вьсе о вьсячьскыихъ бывая» — подчеркивалась исчерпанность именно «всяческих» качеств [6].

Указание «всяческих» элементов типично для большинства перечислений в «Житии Мефодия Моравского». Многие перечни в этом житии делали упор на «всяческость» перечисляемого; например, тело усопшего Мефодия провожали «мужьскъ полъ и женьскъ, малии и велиции, богатии и убозии, свободьнии и рабы, въдовиця и сироты, страньнии и тоземьци, недужьнии и съдравии — вьси бывъшааго вьсячьско вьсемь» (198). Да и беды, в которые попадал блаженный, перечислялись как вездесущие и всеисчерпывающие: «На вьсехъ же путьхъ въ многы напасти въпалъше от неприязни: по пустынямъ — въ разбоиникы, и по морю — въ вълъны ветрьны, по рекамъ — въ съмьртньны незапьны» (197).

Перечисления со значением исчерпанности проникали всюду, в том числе в повести. Оттого вставки во **вторую редакцию «Александрии»** отличались уже иным характером перечней, обозначавших не важнейшие части целого, а исчерпывающую полноту его разновидностей или состава, хотя части перечислялись не буквально все. Так, во вторую редакцию «Александрии» было включено сочинение Палладия Еленопольского V в. «О рахманех» с перечнями, обозначавшими охват всего состава явления. Например, автор сообщал, что у рахман «несть четвероножиць, ни оратвы, ни железъ, ни здания, ни огня, ни плода, ни вина, ни ризы, ни иного ничто же, еже на дело прекланяется или на наслаждение бывающее» (109, ср. 200–201) — этим перечнем автор исчерпал все в материальной жизни, хотя перечислил далеко не все даже из главного. Иногда для исчерпанности автору было достаточно перечислить три элемента: «имамъ все — землю, воду, въздухъ» (117) — это тоже полное «все»; а, бывало, автор ограничивался и двумя элементами: «влъковъ же и лвовъ и всехъ зверии горши есте вы» (125) — «все звери», а упомянуто лишь два. В прочих вставках во второй редакции «Александрии» перечни также имели тот же характер со значением исчерпанности.

Архаичной, по-видимому, была категоричность смысла перечислений, обозначавших безусловную исчерпанность явления. Все оттенки смысла парных и более длинных перечислений не противопоставлялись друг другу резко и составили единый архаический семантический фонд.

Однако указанными видами перечислений дело не ограничивалось. Так, **«Хроника» Георгия Амартола** (составлена в IX в., славянский перевод ее появился на Руси в XI в.) более чем обильна перечислениями. Судя по переводу, повествователь бесконечное число раз употреблял парные сочетания, традиционные по семантике, однако не менее часто использовал уже троичные сочетания, притом с обобщающими словами, которыми обозначал некие расширенные, более крупные явления, чем следовало из самих перечислений, что не свойственно только «наполняющей»

семантике парных сочетаний. Например, в перечислении «мужеубиица и тати прочая безаконьствующая»[7] повествователь имел в виду не только совокупность разного рода разбойников, как это обозначило бы парное сочетание («мужеубиица и тати»), но всех преступников вообще, что и раскрывал третий, обобщающий элемент перечислений («безаконьствующая»). Так же в перечислении «на пустошство учя цесаря, на безаконие и злобия все» (537) расширяющий смысл перечисления раскрывал третий его элемент — не отдельные нарушения, но все злое.

Расширяющий смысл троичных перечислений поясняли также обобщающие слова вне этих перечислений. Например, описание весны: «начинае муся еару, рекше весне: земля прозябаеть зело траву, и пажити цвьтуть, и древа ражають плоды» (220), — не просто земное изобилие, как следовало бы из парных сочетаний, а больше того — весна. Или: «начать скорбети, и улютати, и тужити, и съ уныниемъ жития си разруши» (103), — не просто огорчение, но погибель. Нередко обобщающие слова указывали на расширенный количественный смысл троичных перечислений: «пришедъшю ему в Египетъ въ силе тяжьце — на колесницах, и на слонех, и вои многыми» (200), — не просто войско, но «сила тяжка». Или: «имеюще с собою множество много от цесарскых дружинъ, и от гридеи, и от чиновъ» (554), — не только отборные воины, но таких «множество много».

В переводе «Хроники» были также нередки уже не троичные, а довольно длинные перечисления, тоже с расширительным смыслом и соответствующими обобщающими словами. Например: «...недугъ приимъ, различными страстьми разделяше: огнь бо силенъ бе, сварбъ же бещисльныи по всему телу и по лицю, и въ оходъ беспрестани страсти, и на ногу струпи смердящии, утробе же горящи, и сраму гниющю черви испущаше, и къ симъ простодушья и злодушья растерзание всемъ удомъ его бяше, и скверныи смрадъ из устъ его исхожаше во ину... толику имяше болезнь нестерпиму» (216), — в результате, это не просто недуг, а «болезнь нестерпима». Наиболее частым смыслом длинных перечней, иногда из 10 20 и более элементов, являлся смысл количественный: мол, чего-то чрезвычайно много; поэтому завершались такие перечисления словами «и прочии прочая», «много же множаише», «и ина многа и различна и бесчислена» и т. д. Исключительно большие перечислительные описания, например, храма или града, свидетельствовали об уникальной величине или ценности объекта.

Архаичность подобных перечислений заключалась в категориальном несоответствии элементов перечисления тому целому, к которому они во фразе были отнесены, — таков был, видимо, архаический способ выделения чего-то удивительного, необычного. «Наполняющая», «исчерпывающая» и «расширяющая» семантика перечислений не всегда резко различалась и вполне уживалась даже в границах одного и того же произведения, составляя общий фонд архаических повествовательных средств.

Иной семантической особенностью (также не очень четко отсекаемой от других смыслов) обладали перечни в переводном **«Мучении Иринии Мегидской»**. Житие было переведено рано, раз дошло в знаменитом «Успенском сборнике»

XII XIII вв., и содержало немало традиционных парных сочетаний, однако, большинство перечислений в переводе «Мучения» являлось некими сюжетами, историями, перечисляемые качества неудержимо переходили в действия. Например: принесено к Иринии «отроча 6 лет, утрапиво и зело исъхло, исхожаху бо ему из ноздрии чьрьвие съ гноемъ, врежена ему слуха, немо и глухо, и отинудь вьсеми болезньми одьржимо»[8] — в этой фразе перечень обозначил как бы осмотр отрока целительницей («видевъши же е святая... възьмъши отроча въ руце»). Такое же движение к сюжету наблюдается, например, в описании красоты Иринии: «лепа и прелепа видениемь и красьна телъмь, яко чюдити ся вьсемъ человекомъ о доброте ея» (135) — изложение не замыкается на статическом перечислении «доброт» царевны, но упоминает взирание на красоту («цесарь же видевъ, яко доброта ея подобляаше ся лучамь солнечныимь»), реакцию взирающих («чюдити ся... человекомъ», «цесарь ... възвести цесарици» о красоте дочери и пр.).

При перечислении существительных особенно был отчетлив переход к действию, сюжету. Вот, например, осуждаются язычники: «бысте лишающе нищая, а врази Богу живому, слугы бесомъ, прелюбодеи, блудьници, льстьци и множемъ блазнителе, не престающе бо свирепеете» (139) показательно, что начинается и кончается перечень существительных указанием именно действий, стремительно нарастают греховные устремления язычников, в этом заключается своеобразный сюжет этого перечня. Перечисление существительных нередко переходило в преобладающее перечисление глаголов: «ты еси сътяжание Божие и причьтъ творению Исус Христову, ты своего отца не остави, ты родителя из мьртвыихъ оживи и руку ему ицели» (144 145) похвала превратилась в напоминание о чудесных деяниях Иринии, стала явно сюжетной.

В «Мучении Иринии» даже перечисление только одних существительных все равно имело сюжетный оттенок. Например: «Народи же видевъше беззаконьныима погубление, и отрочати ицеление, и демону явление...» (154) это краткое изложение предыдущих событий, рассказанных в житии. Или же: «Вънезапу же бысть въздухъ и съмятение, и быша мълния и громи, и боязнь велика» (149) — сюжет разворачивается прямо на глазах. Описание составных частей некоего сооружения также превращалось в строительный сюжет: «помыслихъ... създати стълъпъ, имущь покровъ 13 и дьври 13, одръ 6; окрьстъ же стълъпа быти стене, и да будут стрегущеи его; сътвориве... тряпезу злату и 3 чаше, и в нем же есть злато, и вьси съсуди... да будуть злати... да будеть же и престолъ златъ и подъношение; вода же ключи въсходящи до 3 на десяте премостъ... да будуть же и сади различьни въ дворехъ имуще плоды цесарьскы...» (135 136) столп последовательно обозревается извне, от входов и до внешней ограды, и изнутри, от обстановки и столовых приборов в помещении до фонтанов и насаждений во двориках.

Сюжетны в «Мучении» многие троичные и даже парные сочетания, особенно глагольные: «седающи и едущи» (136), «не дивиши ли ся и трепещеши» (141), «очищаеть ся и хранить ся не съгрешати» (155) и пр. — развитие действия налицо в каждом сочетании. Сюжетны троичные и парные сочетания существительных:

«бысть биение, и плачи, и сльзы» (137), «въздвигни на мя раны и принеси мучения» (158) — действие, несомненно, развивается. Сюжетными предстают и сочетания прилагательных: «имя твое велико и дивьно» (138), «горькъ и лютъ есть» (140), «мали дние твои и въскоре конець твои» (156) — как бы причины и следствия заключены в каждой паре.

Большие перечисления тем более сюжетны в «Мучении Иринии»; так, напоминание о сотворении мира стало огромным сюжетным перечислением в житии: «Богъ же... сътвори небеса, солнце и луну, звезды, яже ищьте; о снова великую стену земли; повеле водамъ тещи на служьбу нашю; дасть же и древа различьная... сътворь же вься четвьрьногая, гады, пътица; съдела же человека... положилъ есть... мълния на служьбу плодомъ земльнымъ... нарече свет день, а тьму нощь; положи годины, месяца, и времена, и лета» и пр. (140).

«Сюжетная» семантика перечислений в переводных произведениях, наряду с «наполняющим», «исчерпывающим» и «расширяющим» смыслами перечислений, давала возможности для выбора повествовательных средств древнейшим русским авторам, которые, тем не менее, пошли своим путем.

2. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона

От анализа отдельного литературного средства не так уж далеко до определения более общих принципов повествования у писателя, особенно у автора древнего, и примером может послужить знаменитое «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона второй четверти XI в. Свое «Слово» Иларион, сочинитель духовный, очень идеологичный, но при этом литературно искусный, почти сплошь составил из перечислений буквально в каждой фразе.

Смысл перечислений у Илариона нередко не совсем тот, какой мы привыкли ожидать от перечислений нынешних. Так, в выражении «крепокъ и силенъ Богъ»[9] мы привычно ищем цельный смысл, получающийся из сочетания двух синонимичных эпитетов, — то ли единое родовое понятие на основе видовых, то ли пояснение либо усиление одного понятия другим. Но ничего этого у Илариона не было. В действительности же Иларион в своем «Слове» был склонен обозначать сходные темы, мотивы в виде повторяющейся мозаики слов. Отрывок из похвалы Богу, выражение из которого приведено выше, посвящен принятию христианства народами: «Къ *живущиимъ* бо на *земли* человекомъ... *приде*... да... познають *посещение* свое и Божие *прихождение* и *разумеють*, яко тъ есть... *крепокъ* и *силенъ* Богъ» (13). Обратим внимание на цепочку слов «живущий — земля — придти — посещение — разуметь — крепкий и сильный». Вот похвала уже Владимиру Крестителю, а Иларион повторил в ней словесный материал, аналогичный предыдущей похвале (курсивом выделены повторенные слова): «Сии... Влодимеръ... *укрепевъ... крепостию и силою* съвершаяся... *живущю и землю* свою пасущу... *приде* на нь *посещение* вышняаго... и въсиа *разумъ* въ сердци его, яко *разумети*...» (27). Ср. соответствия: «живущиимъ» — «живущю», «на земли» — «землю», «приде»

«приде», «посещение» — «посещение», «разумеють» — «разумети», «крепокъ и силенъ» — «крепостию и силою» и пр.

Далее в «Слове» следует еще одна похвала Владимиру за крещение, и Иларион снова повторяет словесные элементы предыдущих похвал за крещение же: «славный — возмужать — крепость и сила — мужество — смысл — правда — разум — идольский — возгореть». Ср. первую похвалу Владимиру: «Сии *славныи*... Влодимеръ... *възмужавъ*, *крепостию и силою* съвершаяся, *мужьствомъ* же и *съмыслом* предъспеа... землю свою пасущу *правдою*, *мужьствомъ* же и *съмысломъ*... и въсиа *разумъ* въ сердци его, яко *разумети* суету *идольскии* льсти... *възгоре* духом...» (27). Ср. вторую похвалу: «*...славныи... премужьственыи...* почюдимся *крепости же и силе...* яко тобою... льсти *идольскыа* избыхомъ... друже *правде*, *съмыслу* место... како *разгореся* въ любовь Христову, како въселися въ тя *разумъ...*» (29). Повторявшиеся перечисления «крепокъ и силенъ», «крепость и сила» вместе с россыпью других повторяемых слов являлись у Илариона своего рода постоянно перебираемыми четками повествовательной темы о принятии христианства.

Указание на ту или иную повествовательную тему — вот главная семантическая функция перечислений и иных повествовательных форм в «Слове» Илариона. Поэтому повторявшиеся перечисления, как правило, включали в себя и не синонимичные, а продиктованные общим сюжетом элементы. Ср. призывы к восхвалению с цепочками синонимичных или привлеченных по смежности слов «прославить — похвалить — поклониться — подивиться — чтить», и т. п.: «къто не прославить, къто не похвалить, къто не поклониться... и къто не подивиться...» (19); «да хвалимъ его убо и прославляемь... и поклонимся ему» (13); «чтуть и кланяются» (27); «похвалимъ... почюдимся... благодарив въздадимъ» (29); «како славять... како покланяются...» (33); «възрадуися и възвеселися и похвали» (34); и др.

В сходных темах Иларион большей частью повторял, так сказать, ключевые слова, но не обязательно перечисления, и тогда, например, перечислительная форма «познають... и разумеють» (13) в другом месте преобразовывалась далее в неперечислительную форму «разума еже познати» (24); а, например, перечисление «будущему веку, жизни нетленнеи» (14) сжималось в словосочетания «вечная жизнь» (13, 14), «будущая жизнь» (29); или, может быть, напротив, именно словосочетания превращались у Илариона в перечисления, ср.: «господь Богъ» — но «господь нашь и Богъ» (25), «господи и... Боже» (29), — важно не то, какая форма в какую переходила, а наличие конгломерата определенных слов, фразеологически представлявших повествовательную тему каждый раз, когда данная тема затрагивалась.

От семантики перечислений у Илариона перейдем к его манере повествования. В склонности Илариона к повторяющейся мозаике слов отразился его интерес к структуре событий и явлений, к разложению их на составляющие и смежные элементы. Следствий этого немало. Так, для лучшего растолкования факта Иларион стремился задавать «структурные» вопросы: «Како верова, како разгореся... како въселися... како възиска... како предася... повеждь намъ... Повеждь... откуду ти припахну... откуду испи... откуду въкуси...» (29) и т. д. Метафоры-символы в

«Слове» тоже выразили это стремление к членению: Христос не только «закалаемь бываеть», но и «дробимъ» (24); новое вероучение это отделение от старой оболочки: «ново учение новы мехи, новы языкы» (23), «съвлече же ся... и съ ризами ветъхааго человека съложи тленнаа» (27), и т. п. Но особенно «структурны» в «Слове» длинные сопоставления или противопоставления лиц и событий последовательно по многим отдельным эпизодам.

Отсюда проясняется особенность мироотношения автора «Слова». По сравнению с привычными для нас описаниями реальности структурные упражнения Илариона имели одно существенное отличие: Иларион структурировал не свои впечатления от событий и явлений непосредственно, а чужие рассказы о них: из книжных понятий и оценок, тасуемых, как ему было надо, составлял он свое повествование, то есть, по его же разъяснениям, оперировал материалом, «преизлиха насыштьшемся сладости книжныа» (14). Это мир книжника.

Сугубая книжность мироотношения Илариона определила и его принцип составления похвал или порицаний: многократно отражать, варьировать одну и ту же тему и составляющие ее понятийные элементы, принятые в книжности. Поэтому в «Слове» были часты параллелизмы, когда сказанного один раз оказывалось мало и вторая фраза аналитично варьировала основные элементы первой фразы. Например, порицания язычества содержали параллелизмы «идольский мрак бесовское служевание», «идольский мрак — тьма бесослугания»: «идольскыимъ мракомъ одержиме быти и бесовьскыимъ служеваниемь гыбнути» (13); «тогда начатъ мракъ идольскыи от нас отходити... тогда тма бесослуганиа погыбе» (28). Еще присутствовали параллелизмы «слепой — блудящий», «слепой — ослепленный»: «бывшемъ намъ слепомъ и истиннааго света не видящемь, нъ въ лети идольстии блудящемь» (24), «слепи бехомъ от бесовьскыа льсти сердечныими очима, ослеплени невидениемь» (34).

Манере многократного дробно-догматического повторения понятийных элементов соответствовали в «Слове» обширные нанизывания цитат и перифразировок на одну тему это, как написал Иларион, «памагаеть ми словеси» (31), то есть внятности книжного изложения.

Свой принцип составления похвал Иларион прямо не сформулировал, говорил лишь о том, что надо или принято хвалить и славить, молить и призывать «беспрестани» (13): «въ всех домех... еще и еще... ото въстокъ и до западъ... вся страны, и гради, и людие...» (25–26) — все эти и многие другие высказывания подразумевали не обязательно одновременность произносимых похвал и характеристик, но всегда их книжность, множественность и повторяемость. Иларион даже привел пример одной из таких похвал, которую произносят «вси людие», и она оказалась составленной из демонстративно подчеркнутых повторений и вариаций: «Единъ святъ, единъ Господь... Христос победи, Христос одоле, Христос въцарися, Христос прославися...» (29).

Перечисления в «Слове о Законе и Благодати» обладали еще одной семантической особенностью, тоже непривычной для нас и, вероятно, архаической: член пе-

речисления, чаще всего последний, нередко логически выделялся или усиливался повтором предпочитаемого слова. Например: «Безвестьная же и *таинаа* премудрости Божии *утаена* бяаху аггелъ и человекъ, не яко неявима, нъ *утаена*» (15) — при перечислении двух эпитетов ударение сделано на втором, и фраза подтверждает это. Или еще: «Пусте бо и *пресъхле* земли нашеи сущи, идольскому зною *исушивъши* ю» (24) — благодаря словесному повтору усиление придано все-таки второму элементу перечисления. Иногда значимость последнего члена перечисления подчеркивалась сравнением: «всю землю обятъ и, ако вода морьскаа, покры ю» (18) — «покры» ярче, чем «обятъ», благодаря прибавке сравнения; особенно ясно видно предпочтение последнему элементу в более длинном перечислении: «Ты правдою бе облеченъ, крепостию препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ венчанъ и милостынею, яко гривною и утварью златою, красуяся» (34) — заключающая перечень «милостыня» больше всех выделена. В менее ясных случаях о последнем элементе перечисления просто говорилось больше: «како верова, како разгореся въ любовь Христову, како въселися въ тя разумъ выше разума земленыихъ мудрець» (29) — последний отрезок фразы длиннее всех предыдущих; или последний элемент, кажется, означал самую сильную степень соответствующего качества: «апостольскаа труба и еуальскыи громъ» (29) — гром громче трубы; «слепыа ихъ просвети, прокаженыа очисти, сълукыа исправи, бесныа исцели, раслабленыа укрепи, мертвыа въскреси» (21) — воскрешение и есть самое сильное деяние. Гораздо реже усиление ощущалось не у последнего, а у первого элемента, например: «многыа твоа нощныа *милостыня* и дневныа щедроты... къ всемь требующиимъ *милости*» (30) — вроде бы верховенство за первым элементом, за «милостыней», раз дальше следует словесная перекличка с ней; но это скорее случайность; ведь верховенство последнего элемента перечня сразу же восстанавливалось при ближайшем использовании того же ряда: «твоа бо щедроты и *милостыня...* доброприлюбныа Богомъ *милостыня... милостыни* мужу... блажени *милостивии...*» (31).

Некоторая неравноценность членов перечисления объясняется, в первую очередь, неравноценностью мотивов и тем, которых перечисление касалось, то есть опять-таки книжной ориентацией Илариона. Так, например, во фразе «не въ худе бо и *неведоме* земли владычьствоваша, нъ въ Руське, яже *ведома* и слышима есть всеми четырьми конци земли» (27) больше других был выделен эпитет «ведом», вероятно, оттого что именно книжный мотив «ведания» являлся немаловажным для Илариона и повторялся в «Слове» по отношению к людям («въ инех книгах писано и вами *ведомо...* Ни къ *неведущиимъ* бо пишемь» — 14; «*ведущеи* бо законъ» — 30) и по отношению к Богу («яко *уведять* мя» — 19; «яко же Самъ *весть*» — 20; «яко Богъ *уведеся* и познанъ бысть всеми конци земля» — 21). Примеры можно умножить.

Некоторая усиленность одного из членов перечисления была полезна для четкости похвал, помогая, по словам Илариона, славить «ясно и велегласно» (28), «съ дързновениемь и несуменно» (29), «яснее и вернее» (31); а преимущественная выделенность именно последнего члена обозначала завершенность перечисления:

«учиняюща иже недоконьчаная твоа наконьча» (32). Скрупулезная аналитичность изложения — господствующая черта Илариона, мысли которого вращались в кругу книжности.

Книжный аналитизм, вероятно, был продиктован авторской ролью, избранной Иларионом в его «Слове». Это облик очень скромного книжника: «похвалимъ же и мы по силе нашеи, малыими похвалами» (26) — за подобными словами стояло реальное смирение, а не лишь традиционное самоумаление: ведь Иларион, по его признанию, не хотел писать «на тщеславие съкланяяся» и являя пример «славохотию» (14); да и где уж было разглагольствовать, когда только что «бывшемь намъ, яко зверемь и скотомъ, не разумеющемь деснице и шюице» (24). Автор чувствовал себя «въ человецехъ сихъ, новопознавшиихъ Господа» (32), и, потрясенный премудростью книжности, разработал для еще не очень изощренной русской книжной элиты самый простой и доступный способ богословского изложения и книжного чтения — «токмо от благааго съмысла и остроумиа» (30) — структурно-растолковательный способ дробления книжного материала на элементы и мозаичного их повторения. Вклад древнейших русских авторов в литературную архаику еще недооценен.

3. «Житие Феодосия Печерского» Нестора

«Житие Феодосия Печерского», созданное Нестором в конце XI в. или в начале XII в., содержит много перечислений моральных качеств главного героя и монахов вообще. У этих перечислений наблюдаются, по крайней мере, три семантические особенности.

Первая особенность: Нестор постоянно повторял сочетания названий моральных качеств; например, вместе перечислял смирение и покорение: «видевъ отрока въ такомь *съмерении* и *покорении* суща»; «дивити ся *съмерению* его и *покорению*»; «зело дивяше ся *съмерению* его и *покорению*»; «бе же *съмеренъ* сердцьмь и *покоривъ* къ вьсемъ» и т. д.[10] Повторялась у него и пара «смирение и послушание»: «быти вамъ... в *съмерении* сущемъ и въ *послушании*» (129); «*съмеренъмъ* съмыслъмь и *послушаниемъ*» (96), «мнози съведетельствують о добремь его *съмерении*... и *послущании*» (102).

Судя по этим и многим другим упоминаниям смирения, Нестор свободно менял сочетания, например, перечислял смирение с кротостью или смирение с «простостью»: «имяше бо *съмерение* и *кротость* велику... таково ти бе того мужа *съмерение* и *простость*» (97).

Однако чаще повторялись сочетания все же определенных качеств. Видимо, Нестор в характеристиках персонажей исходил из представления об устойчивом комплексе главных достоинств монаха: «смирение — покорение — послушание — кротость — простость». Из подобного комплекса Нестор по ходу изложения составлял самые разные пары, в том числе выделял покорение и послушание: «възищемъ Бога... *покорениемь* же и *послушаниемь*» (92); иногда же называл вместе

несколько компонентов устойчивого комплекса: «съ всякыимъ *съмерениемь*, бяше бо *кротъкъ* нравом, и тихъ съмыслъмь, и *простъ* умъмь» (86); «съведетельствують о добремь его *съмерении...* и *послущании*, и иже къ вьсемъ *покорение* сътяжа, наипаче... видевъше *кротость* его...» (102).

Набор главных качеств монаха не был жестко ограничен Нестором; к устойчивому комплексу присоединялись и некоторые другие, не столь часто повторяемые качества героя, например, «труд»: «отець же нашь Феодосии *съмеренъмь* съмыслъмь и *послушанимь* вься преспевааше, *трудъмь* и подвизаниемь» (87); «*съмеренъмь* съмыслъмь, и *послушаниемь* и прочиими *труды* подвизая ся» (96); «начать на *труды* паче подвижьнеи бывати... и делати съ всякыимь *съмерениемь*» (75); еще добавлялись, например, «слезы» и «пощение»: «възищемъ Бога рыданиемь, *сльзами*, *пощениемь*, и бьдениемь, и *покорениемь* же и *послушаниемь*» (92); «съ *сльзами* учааше аже... о *пощении...* и о *покорении...*» (127); «увещавааше я съ вьсякыимь *съмерениемь* и съ *сльзами* учаше вься» (108). В общем же, устойчивый комплекс идеальных монашеских качеств в любой момент мог быть дополнен редко повторяемыми или больше не повторяемыми качествами: «дивити ся... *съмерению* его, и *покорению*, и толику его въ уности *благонравьству*, и *укреплению*, и *бъдрости*» (80); «блаженыи же вься си съ радостию приимаше, съ *мълчаниемь* и съ *съмерениемь*» (77); и т. д. Размытость границ устойчивого комплекса монашеских достоинств, вероятно, свидетельствовала об архаичной нечеткости характеристик у Нестора.

Вторая семантическая особенность: Нестор составлял большинство своих перечислений — устойчивых, полуустойчивых или как бы случайных, — преимущественно подбирая родственные, иногда даже синонимичные категори и, примерами чего служат и комплекс «смирение — покорение — послушание — кротость», и единичные перечисления: «търпение и съмерение» (85); «покорение же его и повиновение» (75); «поубожи ся и съмери ся» (77); и др. Среди этих синонимичных сочетаний бывали и заимствованные (вроде цитаты из Евангелия: «крътъкъ есмь и съмеренъ сьрдцьмь» — 79, 97), однако обычно Нестор сам составлял свои перечисления качеств и их совокупностью обозначал некое более широкое расплывчато-эмоциональное понятие, в данном случае — благочестивое душевное состояние главного героя и его учеников, которое он эпизодически называл по-разному — «спасение души», «светьлыя душа», «доброе и чистое житие», «рвение», «доблесть»; и пр.

Главный смысл перечислений у Нестора: не «наполненность» качеством и не его «исчерпанность», а сдержанная экспрессия чего-то возвышенного. Именно такая манера изложения, помимо характеристик благочестия монахов, распространялась и на упоминания прочих душевных состояний людей («отъ *ярости* же и *гнева...* имъши и за власы» — 76; «елико *скърби* и печали прияша... не мощьно исповедати» — 86), на упоминания состояний и действий («*ругающе ся* ему, *укаряхут й* — 77; «*уча* и *утешая*» — 125; «сицево *бъдение* и *несъпание* по вься нощи» — 118; и пр.), на описания состояния разных объектов («одежда же его бе *худа* и

сплатана» 74; «бе бо и телъмь *крепька* и *сильна»* 75; «место *скрьбно* суще и *тесно* и еще же и *скудно* при всемь» 88); и т. д. и т. п. Не важно, речь шла о хорошем или о плохом, «оно» всегда возвышенно.

Некоторую возвышенность герою придавали и одиночные эпитеты, по тому что в течение изложения они постоянно повторялись, варьировались и чередовались, образуя своего рода сквозное перечисление синонимов и семантиче ски близких слов, тоже обозначавших вкупе широкое душевное или духовное состояние того или иного лица. Например, Феодосий сначала был определяем тольк о единичными эпитетами — святой, преподобный, богоносный, блаженный, «доб лий», божественный, богословесный, божий, богодохновенный, великий, про священный, преславный и пр.; с массой одиночных эпитетов нарастала и торже ственность повествования о Феодосии; оттого во второй половине «Жития» появились уже парные сочетания эпитетов в приложении к Феодосию блаженный и пр еподобный, блаженный и духовный, праведный и преподобный, благой и богонос ный, блаженный и великий; а завершилось «Житие» даже тройственным сочетани ем эпитетов в адрес «преподобьнаго и богоносьнааго и блаженааго отца нашего Феодосия» (135). Торжественность перечисления, логическая размытость вмес то обобщающей формулировки, вероятно, тоже признак архаичности изложения.

Третья семантическая особенность перечислений в «Житии»: почти все эти прямые или косвенные обозначения качеств-состояний были разнесе ны по социальным группам персонажей. Некоторые чувства-состояния Нестор отмечал преимущественно у Феодосия и монахов. Например, почти только Фе одосий и монахи испытывали или выражали в «Житии» веселие и радость. Еще , правда, иногда веселились и радовались князья, но исключительно только от общения с Феодосием. Точно так же лишь Феодосий и монахи чувствовали в «Житии» печаль и скорбь, тужили, плакали, рыдали, лили слезы; и точно так же р едкие печаль и слезы некоторых других лиц князя, боярина, вдовы и др. обяз ательно были связаны с присутствием Феодосия же. Однако автор «Жития» уделял внимание и иным лицам, кроме Феодосия и монахов, и, например, гнев и ярост ь были свойственны в «Житии» явно только персонажам светским — князьям, ро дителям будущих монахов и др.; о Феодосии же, напротив, было заявлено, что тот «николи же бе напраснъ, ни гневьливъ, ни яръ очима» (108). Наконец, некоторым чувствам в «Житии» были подвержены буквально все — от Феодосия до разбой ников; например, все персонажи боялись, переживали страх, трепет, ужас; все персонажи чувствовали любовь, жалость, умиление. Нестор, по-видимому, действительно, делил персонажей по типам и оттого сопровождал свое повествован ие многочисленными замечаниями о том, кому что приличествует: «е лепо боля ромъ» (84); «лепо бо намъ есть нарекъшемъ ся черньцемъ» (92); «яко же е леп о кънязю» (123); «яко же обычаи есть унымъ» (74); или же что всем «подобаеть нам ъ» (122), «яко ж обычаи есть крьстияномъ» (73); и т. д. Все должно быть как поло жено. Распределение некоторых чувств жестко по социальным рангам людей, несом ненно, тоже архаично.

В общем, перечисления в «Житии» свидетельствуют, что Нестор воспринимал мир идеалистически, возвышенно и с уверенностью в его справедливости, желал каждой группе персонажей «мирно жити» (133), был настроен «на успехъ и на устроение» (73).

Удивляет, какое неисчерпаемое и все растущее разнообразие манер изложения существовало уже в самый древнейший период истории литературы Руси, хотя преобладала все таки интеллектуально логическая направленность литературного творчества.

4. «Повесть временных лет»

Летописец в «Повести временных лет» постоянно перечислял состав ные части того или иного целого, того или иного явления. Особенность летописного изложения такова: в перечнях на одну и ту же тему летописец упорно повторял один и тот же первый элемент, а прочие перечисляемые элементы обычно не имели устойчивого места. Рассмотрим эту особенность по темам перечислений, начиная с тем широких. Так, когда летописец перечислял страны света, то первым, как правило, он указывал восток. Летопись начата рассказом о разделе Земли между сыновьями Ноя: «разделиша Землю... И яся въстокъ Симови... Хамови же яся полуденьная страна... Афету же яшася полунощныя страны и западныя»[11]. Рассказ о разделе Земли заимствован летописцем из «Хроники» Георгия Амартола и из какого-то недошедшего «Хронографа»[12], но, скорее всего, именно летописец ввел перечисление сведений по странам света и при этом первым назвал восток. Такой же порядок перечисления летописец повторил, обозревая Землю при потомках сыновей Ноя: «прияша сынове Симови въсточныя страны, а Хамови сынове полуденьныя страны, Афетови же прияша западъ и полунощныя страны» (5); восток был назван первым при упоминании легендарной пустыни: «пустыня Етривь скыя межю встокомь и северомъ» (226, под 1096 г.; географическое уточнение тоже принадлежало летописцу[13]); восток упоминался первым и при перечислениях стран света по иным поводам, например, при описании небосвода: «бысть знаменье на небеси... акы пожарная заря отъ въстока, и уга, и запада, и севера» (266, под 1102 г.); при обозрении территории варягов: «по сему же морю седять варязи семо ко въстоку..., по тому же морю седять къ западу...» (3).

Летописец называл восток первым в своих перечислениях стран света, скорее всего, потому, что считал восток главной страной света. Хотя о главенстве востока летописец специально не рассуждал, но косвенно, пожалуй, вырази л этот принцип мироописания, включив в летопись так называемую «Речь философа», где неоднократно напоминалось о связи именно востока с важными библейскими событиями: во-первых, «насади Богъ рай на въстоце»; во-вторых, при рождении Иисуса Христа «вольсви придоша отъ въстока, глаголюще: "...Видехомъ бо звезду его на въстоце..."»; в-третьих, сам Господь обозначил все пространство Земли, начав с

востока: «Тако глаголеть Господь: “...отъ въстока и до запада имя мое прославися...”» (86, 100, 96, под 986 г.).

Остальные страны света не имели определенного места в летописных перечислениях. Таким образом, можно предположить, что литературным принципом летописца было: первым указать главное, а прочее уже не так важно.

Многие перечисления подтверждают, что летописец придерживался именно такого принципа изложения. Так, первым элементом в космогонических перечислениях у летописца выступало небо: «Богъ... створилъ небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека» (81, под 983 г.); «створилъ небо, и землю, звезды, месяць и всяко дыханье» (83, под 986 г.); «створи небеса, землю, море, вся видимая и невидимая» (89, под 986 г.). Но вот перечисления уже не о мироздании: «знаменья бо въ небеси, или звездахъ, ли солнци, ли птицами, ли етеромь чимь не на благо бывають» (161, под 1065 г.); и даже не перечень, а перечислительный рассказ развивался в той же последовательности упоминаний: «бысть знаменье на небеси, ...в луне, ...в солнци...» (266, под 1102 г.); и т. д. Небо упоминалось первым, потому что летописец считал его главным космогоническим элементом, опять-таки опираясь на Библию и ссылаясь на то, что первым было сотворено небо («искони бо створи Богъ небо, тоже землю» 112, под 988 г.), что небо особенно почтено («Богъ есть на небеси, седяй на престоле» 172, под 1071 г.), что царство небесное сравнительно с прочими имеет «красоту неизреченьну» (103, под 986 г.). Остальные элементы не занимали устойчивого места в перечислениях, то есть летописец и тут следовал литературному принципу первым называть главное.

Рассмотрим летописные перечисления на различные исторические темы и литературную манеру летописца, в них отразившуюся. В перечислениях на историко-этнические темы летописец также повторял первые элементы. Если речь шла о славянских племенах, то первыми указывались поляне: «словенескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи, северъ, бужане» (10); «и живяху в мире поляне, и деревляне, и северъ, и радимичи, вятичи, и хорвате» (12); «держати почаша... княженье в поляхъ, а в деревляхъ свое, а дреговичи свое, а словени — свое в Новегороде, а другое — на Полоте, иже полочане» (9); дань «козари имаху на полянехъ, и на северехъ, и на вятичехъ» (18, под 859 г.); «и бе обладая Олегъ поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи» (23 24, под 885 г.). Соответственно в перечислительных рассказах о племенах первыми также назывались поляне: племена «имяху бо обычаи свои..., кождо свой нравъ. Поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ... А древляне живяху звериньскимъ образомъ... И радимичи, и вятичи, и северъ одинъ обычай имяху... Си же творяху обычая кривичи и прочии погании...» (12 13). Поляне в рассказах первые, потому что они главные для летописца. Предпочтение полянам летописец ясно выразил уже в начале летописи они идеальные «мужи мудри и смыслени» (9).

Когда же летописец говорил о, так сказать, международных объединениях, то перечень открывали обычно варяги: «Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици,

фрягове и прочии» (4); «звахуся варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гъте» (18 19, под 862 г.); «поимъ воя многи: варяги, чюдь, словени, мерю, весь, кривичи» (22, под 882 г.); и мн. др. Варяги в перечислениях первые, потому что они самые важные для летописца: ведь «оть техъ варягь прозвася Руская земля» (19, под 862 г.) эту мысль летописец подчеркивал неоднократно.

При перечислении социального состава общества, управляемого князем, летописец первыми называл бояр, однако место остальных слоев не закреплял четко: «съзываше боляры своя, и посадникы, старейшины по всемъ градомъ, и люди многы... и приходити боляромъ, и гридемъ, и съцьскымъ, и десяцьскымъ, и нарочитымъ мужемъ» (122 123, под 996 г.); «созва... боляры своя и старци градьские... И реша бояре и старци» (104, под 987 г.); «созва болярь и кыянъ... И реша боляре и людье» (250, под 1097 г.); и т. д. При церковной характеристике общества первыми чаще всего указывались епископы: «възлая честь епископомъ и презвутеромъ, излиха же любяше черноризци... И собрашася епископи, и игумени, и черноризьци, и попове, и боляре, и простии людье» (209 210, под 1093 г.); «предъ епископы, и предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ, и предъ людми градьскыми» (222, под 1096 г.); даже о чужой стране: «в земли Лядьске... епископы, и попы, и бояры своя» (146, под 1030 г.).

Историческое прошлое как собрание умерших людей также имело свою последовательность перечислений у летописца первыми упоминались «отцы»: «землю отець своихъ и дедъ своихъ» (157, под 1054 г.); «отци ваши и деди ваши» (254, под 1097 г.); «по устроенью отьню и дедню» (124, под 996 г.); «на столе отьни и дедни» (139, под 1016 г.); и мн. др. Первенство отцов перед дедами было безусловным в летописи. Отцы упоминались часто, притом и без дедов: следовали обычаям, законам и заповедям именно отцов и наследовали именно отцам; деды же упоминались в летописи довольно редко и всегда в сопровождении отцов, как подкрепление отцам. Отцы важнее дедов у летописца. Есть только два исключения в последовательности перечислений: один раз Владимир Креститель упоминает «дедъ мой и отець мой» (124, под 996 г.), и другой раз Владимир Всеволодович Мономах отмечает, что «сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла» (252, под 1097 г.). Оба упоминания сначала дедов, а потом отцов в речах князей выглядят случайными отступлениями от правила, потому что тут же, в этих же летописных статьях обычная последовательность восстанавливается, в том числе и в речи Владимира Мономаха. Так что нет оснований сомневаться в значимости летописных отцов для летописца.

В перечислениях на различные исторические темы летописец выдерживал один и тот же литературный принцип: первым называл главное и только главному уделял особое внимание.

Рассмотрим перечисления, относившиеся к быту, к обыденной жизни. Так, человек как единство телесного и духовного получал в летописных перечнях характеристику, начиная, как правило, с тела: «теломъ велици и умомь горди» (11);

«съвкуплена телома, паче же душама» (134, под 1015 г.); «погыбе теломь и душею» (176, под 1071 г.); «дебелъ теломь, черменъ лицемъ, великыма очима, храборъ на рати, милостивъ» (146 147, под 1036 г.); иногда первым упоминалось лицо: «добру сущю зело лицемъ и смыслену» (59, под 955 г.); «красенъ лицемъ и душею» (80, под 983 г.); иногда первым указывался «взоръ»: «глядай взора, и лица его, и смысла его» (69, под 971 г.); «взоромъ красенъ, и теломъ великъ, незлобивъ нравомъ» (196, под 1078 г.). Так или иначе, но перечислительные характеристики персонажей в летописи почти всегда начинались с физических элементов (если т е вообще присутствовали в характеристике).

Первенство физического, телесного в летописных перечислениях об ъясняется преобладающей в летописи «плотской» тематикой, в том смысле, чт о летописец больше рассказывал о внешних, физических деяниях людей и лишь и зредка говорил об их душе, «сердце» или уме. Поэтому и летописные некрол оги князьям обычно тоже первыми поминали телесные черты или просто тело кня зя, а уж потом переходили к его внутренним свойствам. Даже о Владимире Кре стителе летописец повествовал в той же последовательности: «...схраниша тел о его с плачемь, блаженаго князя... Аще бо и бе преже на скверньную похоть желая , но после же прилежа к покаянью...» (128, под 1015 г.) тело упомянуто перед характеристикой морального облика. То же, например, о Ярополке Изяславовиче в некрологе: «...спрятавше тело его... Такъ бяше блаженый сь князь тихъ, кротькъ, смеренъ и братолюбивъ...» (200, под 1086 г.) сначала упомянуто тело. Среди летописных перечислений встречаются только два исключения, когда перво й указывается душа, а потом тело: в обоих случаях это выражение «радовашеся д ушею и теломъ» (59, под 955 г.; 122, под 996 г.). Подобная перемена последовательности упоминаний, возможно, не была случайной на этот раз, так как летопис ец сообщал о великих благочестивых событиях крещении Ольги и первом праздн овании в Киеве праздника Успения Богородицы. Подобным же образом летописе ц нарушал обычную последовательность упоминаний, когда составлял некролог ические похвалы личностям, безусловно христиански совершенным с его точки зрения, тогда первой он упоминал душу человека (или его душевные качест ва) и лишь потом тело. Например, так поведал о Ярославе Владимировиче Мудром: «Ярославу же приспе конець житья, и предасть душю свою Богу... Всеволодъ же спрята тело отца своего...» (158, под 1054 г.); или же о его внуке очень набожном Глебе Святославовиче: «Бе же Глебъ милостивъ убогымъ и страннолюбивъ, тщанье имея к церквамъ, теплъ на веру и кротокъ, взоромъ красенъ, его же тело положено бысть Чернигове...» (193, под 1078 г.) сначала о духовном, потом о телесном. Однако первенство души и духовного обозначено в летописи по поводу лиш ь нескольких идеальных лиц, в большинстве же летописных рассказов первенство вало тело.

При перечислении пищи или съестных припасов первым упоминался х леб: «хлебъ, и вино, и мясо, и рыбы, и овощь» (30, под 907 г.); «хлебы, мяса, рыбы, овощь розноличный, медъ въ бчелкахъ, а въ другыхъ квасъ» (123, под 996 г.); «ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни оть какаго брашна» (188, под 1074 г.); «ядый

хлебъ сухъ, и то чересъ день, и воды в меру вкушая» (153, под 1051 г.); и др. Хлеб, конечно, считался главным продуктом в летописи; он, так сказать, олицетворял собою даже всю пищу, что видно, например, по высказыванию о времени, когда «приспевшю вкушенью хлеба» (187, под 1074 г.) — имелся в виду, конечно, не только один хлеб; хлеб обозначал и вообще всякое довольствие, судя по жалобе одного из князей в летописи: «Се бо мя выгнал из города отца моего; а ты ли ми зде хлеба моего же не хощеши дати?» (228–229, под 1096 г.; ср. в летописи цитату из Псалтыри: «Яко же Давыдъ глаголеть: ядый хлеб мой възвеличилъ есть на мя лесть» — 75, под 980 г.).

При перечислении воинского снаряжения первым указывалось «оружье»: «покладоша оружье свое, и щиты, и золото,... изоделися суть оружьемъ и порты» (53, под 945 г.); «на оружьи и на конихъ» (124, под 996 г.); «оружье и кони» (166, под 1068 г). Главенство «оружья» благосклонно подчеркивалось летописцем в рассказе о Святославе, который «именья не брежеть, а оружье емлеть» (70, под 971 г.). Первенствовало «оружье» даже в перечислении с переносным смыслом: «укрепивъся оружьемь крестнымь и верою непобедимою» (207, под 1091 г.).

При перечислении даней, даров, трофеев, украшений и всяческих богатств первым фигурировало злато: «неся злато, и паволокы, и овощи, и вина, и всякое узорочье» (31, под 907 г.); «злато много, и паволоки, и камenье драгое, и страсти Господня, и венець, и гвоздие...» (37, под 912 г.); «злато и сребро, паволоки и съсуды различныя» (60, под 955 г.); «бещисленое множьство злата и сребра, кунами и белью» (167, под 1068 г.); и т. д. и т. п. Главенство злата было само собой разумеющимся у летописца.

В общем, перечисления на темы материально-бытовые подчинялись тому же литературному принципу у летописца: прежде всего обозначить главное, а об остальном — сказать как придется.

Перечисления на этические темы демонстрируют ту же закономерность. Из положительных государственных и общественных состояний важнее всех считался мир: «не преступите намъ... мира и любви» (37, под 912 г.); «имети миръ и свершену любовь» (71, под 971 г.); «бе миръ межю ими и любы» (124, под 996 г.); «жити мирно и в братолюбьстве» (145, под 1026 г.); «мирно пребывати, в совокуплении и въ сдравии» (136, под 1015 г.); и др. Соответственно в ряду несчастий первой ставилась война: «избавляюща оть усобныя рати и оть проныръства дьяволя» (136); «ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють» (161, под 1065 г.); «отъ рати и отъ продажь» (211, под 1093 г.); «рать и скорбь» (217, под 1093 г.). Из череды физических страданий человека первенствовали раны: «приимаше раны, и наготу, и студень» (190, под 1074 г.); «многовещныа имуще раны, различныя печали и страшны мукы» (216, под 1093 г.); и пр. Из множества нравственных человеческих недостатков возглавляли перечень грехи: «умножишася греси наши и неправды» (208, под 1092 г.); «въстягнутися отъ греха, и отъ зависти, и отъ прочихъ злыхъ делъ неприязнинъ» (там же); «грехъ ради нашихъ великихъ и неправды, за умноженье безаконий нашихъ» (214, под 1093 г.); «греси ихъ и безаконья ихъ» (225, под 1096 г.).

Не трудно доказать, что и тут первым указывалось главное, летописец был сосредоточен на главном.

И последнее. В летописи не только объекты, но и наборы качеств перечислялись с повторяющимся первым элементом. Великость предмета или существа стояла на первом месте: «Земля наша велика и обилна» (19, под 862 г.); «ископати яму велику и глубоку» (55, под 945 г.); «быкъ великъ и силенъ, ...мужь... превеликъ зело и страшенъ» (120 121, под 992 г.); «бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ» (139, под 1016 г.); «бе бо великъ и силенъ Редедя» (143, под 1022 г.). И в перечислительных рассказах первой указывалась великость объектов: «имать градъ великъ быти, и церкви многи Богъ въздвигнути имать» (7); «звезда превелика, луче имущи акы кровавы» (160, под 1065 г.); «церкы, юже бе создалъ велику сущю... и пристрой ю великою пристроею, украсивъ ю всякою красотою» (202, под 1089 г.).

По-видимому, из всех качеств летописец больше всего ценил великость. Недаром прилагательное «великий» намного чаще всех остальных прилагательных употреблялось в летописи[14]; недаром прилагательными «великий» и «велий» летописец характеризовал Бога гораздо чаще, чем другими определениями, хотя подчеркивание преимущественно великости или величия Бога не было обязательным; обилие повторявшихся формул с прилагательным «великий» типа «честь великая», «плач великий», «победа великая» и т. д. тоже свидетельствовало о предпочтении, которое летописец оказывал этому эпитету, тем более что некоторые летописные рассказы местами получились даже необычно заполненными подобными выражениями, как, например, рассказ под 1103 г. о победе над половцами: «И Богъ великый вложи ужасть велику в половце... велико спасенье Богъ створи, а на врагы наша дасть победу велику... И придоша в Русь с полономъ великымъ, и с славою, и с победою великою» (268 269).

Но слово «великий» чрезвычайно многозначно в летописи, и поэтому встает вопрос, какое же качество явлений летописец считал главным.

Снова обратимся к семантике перечислений со словом «великий». Вот любопытный пример: под 862 г. рассказывается о том, как четыре племени — чудь, словены, кривичи и весь — пригласили к себе княжить варягов, называвшихся русью, и от тех варягов новое государство стало называться Русскою землею. Приглашавшие сказали о себе: «Земля наша велика и обилна» (19). Значение слова «великий» не ясно в данном отрывке, но здесь вряд ли имелось в виду то, что сейчас кажется нам: будто выражение «земля велика» обозначало большую территорию; на самом же деле летописец в своем повествовании нигде и никогда не затрагивал тему великости-обширности Русской или иной земли. Он, скорее всего, мыслил иной категорией: «земля великая» у него, в первую очередь, означала «землю многолюдную». В летописи немало свидетельств этого. Летописец неоднократно связывал великость с многолюдством. Он, например, перечислил ряд днестровских племен и заключил перечисление такими словами: «Бе множьство ихъ... суть гради ихъ и до сего дне, да то ся зваху отъ грекъ Великая Скуфь» (12) — великая область, потому что населена множеством людей, — так летописец пояснил гре-

ческое название области. Различные иные явления летописец называл великими из-за их многолюдности, множества или многости участников. Например, характеризовал войско как великое из-за его бесчисленности: «И оступиша печенези градъ в силе велице, бещислено множьство около града» (64, под 968 г.). Сражение называлось великим из-за множества сражавшихся: «Брани же велице бывши, и многемъ падающимъ отъ обою полку» (260, под 1097 г.). Победу летописец считал великой благодаря множеству убитых врагов: «И сдея Господь въ тъ день спасенье велико... мнози врази наши ту падоша» (224, под 1096 г.). Праздник великий предусматривал множество народу: «сотворяше праздникъ великъ, сзывая бещисленое множство народа» (122, под 996 г.). Великий плач подразумевал большое множество плачущих: «вси кияне великъ плачь створиша» (200, под 1086 г.), «во плачи и велице вопли, плака бо ся... весь градъ Киевъ» (196, под 1078 г.) «весь Киевъ», «вси кияне» и есть косвенное обозначение огромного множества людей. В общем, если летописец так или иначе пояснял определение «великий», то всегда как множество, многолюдство. Так что выражение «земля наша велика и обилна», в первую очередь, означало: «земля наша многолюдна и обильна». Интересно, что в «Псковской второй летописи» в эпизоде о призвании варягов так и поясняются слова о великости земли: «Земля наша велика есть, и умножися людеи»[15].

Итак, многолюдство летописец ставил на первое место как главное достоинство страны. Многолюдство выступало в летописи источником обилия, созидания: «умножившемъся человекомъ на земли и помыслиша создати столпъ до небесе» (4); или в более скромных масштабах: «умножившимся братьи в печере... и помыслиша поставити вне печеры манастырь» (154, под 1051 г.); или означало обилие чего-то нехорошего: «умножаться — и осквернять землю» (228, под 1096 г.); или от противного, когда безлюдность — источник оскудения: «городи вси опустеша, села опустеша прейдемъ поля... все тоще ныне видимъ, нивы поростъше...» (216, под 1093 г.) так или иначе, но многолюдство всегда упоминалось первым как главное историческое обстоятельство.

Другие значения эпитета «великий» в перечислениях качеств объектов подтверждают, что летописец неспроста ставил этот эпитет на первое место. Короче говоря, и в перечислениях качеств у летописца господствовал культ выделения чего-то одного главного при гораздо меньшей внимательности ко всему остальному.

Опора на что-то одно главное являлась общим принципом литературного творчества летописца, повлиявшим не только на перечисления, но и на другие формы повествования в летописи. Так, например, летописец нередко приводил краткие оценки различных явлений, причем каждое явление характеризовалось только по его главной черте, обычно одной. Например, состояние страны определялось по добру или по злу, сделанному этой стране, и летопись была заполнена соответствующими лапидарными оценками: «колико добра створилъ Русьстей земли» (128, под 1015 г.); «велико добро створиши земле Русьской» (267, под 1103 г.); или, напротив: «болше зло наводить Богъ на землю» (136, под 1015 г.); «земле Русьской много зло створше» (194, под 1073 г.); «сего не бывало есть в Русьской земь-

ли ни при дедехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла» (252, под 1097 г.); и т. д. Доброе и злое состояния страны местами конкретизировались в летописи и почти всегда упоминались как единственный главный признак в каждом случае. Например: «подающа целебныя дары Русьстей земли» (134, под 1015 г.); или же, напротив: «осквернися кровьми земля Руска» (77, под 980 г.); и более того: «губять землю Русьскую» (212, под 1093 г.), «погубили суть землю Русьскую» (221, под 1095 г.); и пр. Эти одиночные качества страны подбирались по принципу противоположности добра и зла. Такова, например, еще пара: «бысть тиши на велика в земли» (145, под 1026 г.), но «бысть мятежь в земли Лядьске» (146, под 1030 г.).

И в более детальных описаниях летописец характеризовал явления по их главной черте. Так, он сравнительно более подробно рассказывал о различных церковных службах и их первым, главным элементом неизменно указывал пение: «пенья и службы архиерейски, престоянье дьяконъ» (105, под 987 г.); «устави въ манастыри своемь, како пети пенья манастырьская, и поклонъ какъ держати и чтенья почитати, и стоянье в церкви, и весь рядъ церковный...» (156, под 1051 г.); «бодру быти на пенье церковное, и на преданья отечьская, и почитанья к нижная; паче же имети въ устехъ Псалтырь Давыдовъ подобаеть черноризцемъ» (179, под 1074 г.); и т. п. Краткие же упоминания служб сводились только к указанию пения: «стоять, поюще» (184, под 1074 г.); «со обычными песнми» (210, под 1093 г.); и пр.

Иные формы повествования отражали ту же манеру летописца — опираться на что-то одно главное в характеристике объектов. Так, иногда летописец упоминал лишь самую броскую черту какого-нибудь существа, а остальные черты отказывался перечислять. Например, описав урода: «Бяшеть бо сиць: на лици ему срамнии удове, иного нелзе казати срама ради» (160, под 1065 г.) — летописец мог бы ограничиться общей оценкой без деталей или, напротив, перечислить несколько деталей, однако показательно, что он посчитал достаточной только одну деталь. Летописец таким же способом передавал суть речей некоторых летописных персонажей: приводил одно их краткое высказывание и далее делал лишь общую отсылку, что «ина словеса хулная глаголаху» (225, под 1096 г.).

Когда летописец противопоставлял какие-нибудь объекты, то он опять-таки основывался только на одном главном для данного случая признаке, не следя за соотношением всех прочих сообщаемых им сведений. Лишь в начале летописи, рассказывая об обычаях племен, летописец редкий случай противопоставил по две позиции: «поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ и ...брачный обычай имяху... А древляне живяху звериньскимъ образомъ,... и брака у нихъ не бываше» (12). Далее в летописи противопоставлялось только что-либо одно. Народы — по обуви: волжские болгары «суть вси в сапозехъ» — «поидемъ искать лапотниковъ», то есть другой народ (82, под 985 г.); человек человеку противопоставлялся по комплекции: один «превеликъ зело», а другой «середний теломь» (121, под 992 г.); или по учености: один «хытръ книгамъ», а другой «не книженъ» (201 202, под 1089 г.); боги противопоставлялись по месту пребывания: «Какый то богъ, седя в бездне? То есть бесъ. А Богъ есть на небеси» (172, под 1071 г.); оружие

противопоставлялось по лезвиям: «оружье обоюду остро, рекше мечь» сопоставлялось с «оружьемь единою стороною остромь, рекше саблями» (16); и т. д. каждый раз в центре внимания летописец держал, как правило, один признак.

Теперь можно определить тип литературного творчества летописца в максимально широкой исторической перспективе, то есть по сравнению с нашим временем. Пристрастие летописца к выделению главного в явлениях, особенно когда он пользовался перечислениями, вполне сопоставимо с гораздо более разветвленной иерархичностью элементов в наших современных литературных перечислениях. На этом основании литературное творчество летописца правомерно назвать архаическим.

Далее встает вопрос об истории литературной архаики, представленной «Повестью временных лет» и ее перечислениями. Архаическая литературная манера выделять только главное, по-видимому, не уходила в глубокую древность, так как своей системой перечислений летопись уникальна и не имеет аналогий в более ранних памятниках, оригинальных и переводных, а в конкретных случаях главенство-первенство тех или иных категорий в перечислениях объяснимо самыми разными причинами, не сводимыми в единое целое, — от библейских традиций до политической реальности и быта.

Можно заметить дополнительную особенность архаичных летописных перечислений — их живую, еще не застывшую, еще не завершенную систематичность. Главные, первенствующие, повторявшиеся элементы летописец отбирал как придется — по самым разнообразным поводам: первым называл то самое крупное, большое, заметное, то самое значимое, ценное, сильное, то самое существенное, определяющее, обобщающее, то нечто старшее, начальное, исходное, подготовительное и т. д. Кстати, вся летопись составляет историю по годам, и первым указан 852 г. — год самого раннего, по расчету летописца, употребления названия «Русь» в книжности, то есть хронологический перечень у летописца возглавляет не начальное событие, а начальное называние явления — эта черта также архаична.

Летописец так и не определил безусловно первый, главный элемент состава многих и многих объектов. Например, в раю для него были главными то «красота», то «веселье», то свет. Когда летописец перечислял потребительские дары, блага или запасы, то на первое место он ставил меха: «одаривъ скорою, и чалядью, и воскомъ» (53, под 945 г.); но затем первым называл мед: «ради даемъ медомь и скорою» (57, под 946 г.); а вскоре — и челядь: «многи дары прислю ти: челядь, воскъ, и скъру, и вои в помощь» (61, под 955 г.); потом меха вообще упоминал последними: «си жито держить, а си — медъ, а си — рыбы, а си — скору» (170, под 1071 г.). Возможно, таким способом летописец тонко различал ситуацию в некоторых рассказах. Но, вернее всего, он просто немного путался. Ведь в летописи он не оставил практически ни одного перечня без колебаний первого элемента, варьировал даже привычные парные сочетания, нередко уже ставшие формулами. Вот в паре «города и села» летописец первыми обычно упоминал города, например, в рассказе о несчастьях Русской земли: «городи вси опустеша, села опустеша» (216,

под 1093 г.), но в этом же рассказе однажды поменял местами элементы: «опустеша села наша и городи наши» (215) видимо, не придавая особого значения этой последовательности упоминаний. Так же и в сочетании «день и ночь» летописец постоянно указывал первым день, но иногда буквально в соседних строчках допускал вариации: «Водяшеть бо я въ день столпъ облаченъ, а в нощи столпъ огненъ. То се не столпъ водяше ихъ, но ангелъ идяше предъ ними в нощи и въ дне» (274, под 1110 г.) — сначала «въ день — в нощи», но тут же «в нощи — въ дне». Примеров таких стихийных колебаний великое множество. Система перечислений в «Повести временных лет», вероятно, только-только сложилась, но содействовала опять-таки архаической солидности или монументальности повествования: только главное, без мелочной иерархичности.

Вообще же, «Повесть временных лет» составила всего лишь эпизод в огромной и богатой истории древнерусской литературной архаики XI XIV вв.[16] Осознание типа авторского творчества служит ключом к пониманию текста памятника почти что в его первоначальной живости и крупности целей вот в чем нужность изучения семантики произведений.

Примечания

[1] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения. С. 8. Далее страницы указываются в скобках. Орфография древнерусских памятников здесь и далее передается с упрощениями.

[2] Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. М., 1863. Т. 2. С. 275. Цитируется список XV XVI вв., восходящий к первому славянскому переводу «Слова» Мефодия. Далее страницы указываются в скобках.

[3] *Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 446 454.

[4] Архангельское евангелие 1092 г. / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М., 1997. С. 91. Далее страницы указываются в скобках.

[5] Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. СПб., 1863. Т. 1. С. 20 21. Далее страницы указываются в скобках.

[6] Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М, 1971. С. 191.

[7] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 79. Далее страницы указываются в скобках.

[8] Успенский сборник XII XIII вв. С. 153. Далее страницы указываются в скобках.

[9] Идейно-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1. С. 13. Далее страницы издания указываются в скобках.

[10] Успенский сборник XII XIII вв. С. 78, 80, 87. Далее страницы указываются в скобках.

[11] «Повесть временных лет» цитируется по наиболее удобному для использованию изданию: Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 1 2. Далее страницы указываются в скобках.

[12] Об отличии от источников см.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 42 44, 72 73.

[13] Там же. С. 101 102.

[14] Ср.: *Творогов О. В.* Лексический состав «Повести временных лет»: (Словоуказатели и частотный словник). Киев, 1984. С. 32, 164, 211.

[15] Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М., 1955. Вып. 2. С. 9.

[16] «Во многом это появление монументального стиля представляется загадочным, требующим дальнейших размышлений и изучений» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 101).

ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ X — НАЧАЛА XII вв.

1. Древнейшие славянские жития

К еще одному явлению образности подступали описания внешности персонажей в памятниках. Научных работ по этой теме мало[1]. Мы берем лишь древнейшие жития, самые основные, всего 25 произведений, в их числе 15 древнерусских, староболгарских и старосербских житий, еще 9 переводных сочинений, вошедших в состав общеславянской литературы и переписанных, в частности, в знаменитом «Успенском сборнике» XII XIII вв., и еще единственное древнечешское славяноязычное, а не латинское, «Житие Вячеслава».

Первая и главная особенность житий того периода описание внешности героев было неразвернутым, но всеобъемлющим. Всегда находились слова, дававшие оценку внешности в целом. Автор мог упомянуть, например, «дъщерь красну» («Житие Константина», 5)[2], и эта шаблонная оценка уже передавала какое-то представление о внешности девушки. Автор жития мог восхититься «светящимися красотами блаженаго уноши» («Житие Вячеслава», 16) и тем самым выразить ощущение сияющей юношеской красоты.

Даже краткие замечания об одежде очень проясняли внешность человека: виделся монах «приеть чрьньчьскии образь» (первое «Житие Наума», 182), «приель иночьскыи образь» («Житие Иоанна Рыльского», 128), «расою обить» (то есть рясою обвит «Житие Симеона» Савы, 169), либо мирской человек, облеченный «въ одежю славьну и светьлу, яко же е лепо боляромъ», или «светель отрокъ въ воиньстеи одении» («Житие Федосия Печерского» Нестора, 84, 101), или женщина, которую «въ ризы многоценьны облече... и вонями помазавъ» («Житие Христофора», 181).

Упоминания наготы тоже делали облик цельным: «раздьравъше ризы ея, и пъртищи препоясавъше, поставиша предь вьсеми нагу» («Житие Февронии», 240). Оговорки о физическом состоянии тоже помогали представить облик персонажа: «отроча 7 летъ, утрапиво и зело исъхло» («Житие Иринии», 153).

Рисовалась вся фигура человека, когда агиограф прямо или косвенно упоминал о «всем» герое: например, выражение «вьсь сльзами облиявъ ся» («Сказание о Борисе и Глебе», 49) означало, что подвижник залит слезами во весь свой рост.

Агиографы именно «видели» человека: «Видехъ... мужа высока видъмь и красьна добротою» («Житие Христофора», 185), «видехъ подружие свое боляще, огнем люте держиму» («Чудо Георгия о болгарине», 257), «видя и нага» («Житие Константина», 13), «видяще нища въ одежи худе» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 110), «азъ же глядавъ и смотривъ всихъ, видехъ едину краснеишу всехъ... украшену вельми монисты златыми, и бисеромъ, и въсею красотою» («Житие Константина», 2).

Тело являлось безусловно самым часто упоминаемым компонентом внешности людей почти во всех житийных произведениях. Тело своих героев как реалию агиографы упоминали на протяжении всего изложения, начиная с юности: «бе унъ телъмъ... бяста бо уна теломъ» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 6–7), «узревъ философа уна теломъ» («Житие Константина», 6), «мужъ говеинъ ун сы телъмъ» («Житие Епифана» Иоанна, 263). Будущий подвижник думал о том, как «се вьспитати прьстьное ми тело» («Житие Симеона» Стефана, 44), «растыи убо телъмь» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 74). Агиографы дивились красоте и крепости тела героя: «телъмь бяше красьнъ... крепъкъ телъмь» («Сказание о Борисе и Глебе», 58), «бе бо и телъмь крепъка и сильна... бяше бо и телъмь благъ и крепъкъ» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 75, 87), «бе же телъмь блаженыи Витъ румянь, яко огньнъ, и красьнъ зело» («Житие Вита», 225), «съвьрыпено тело имущи» («Житие Февронии», 231), «красьна телъмь, яко чюдити ся вьсемъ человекомъ о доброте ея» («Житие Иринии», 135). Тело мучеников светилось и белело: «Ти видеша тело блаженою... и беста, акы снегъ, белеющаяся» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 17), «свьтяше же ся тело его, яко снегъ» («Житие Вита», 227), «и се, яко луча солнечьная, тако просвете ся тело ея» («Житие Февронии», 248).

Агиографы следили за тем, какой ущерб телу героя был причиняем во время жизненных испытаний, прегрешений и мучений. Тело слабело: «начать телъмь утьрпывати», «красота тела твоего увядаеть» («Сказание о Борисе и Глебе», 44, 51, 48–49), «бе бо раслабленъ телъмь» («Слово о первых черноризцах», 188), «труденъ сы тельмъ и боленъ» («Житие Константина», 26–27). Враги подвижников, мучители и преступники претерпевали то же: «И начатъ оканьныи тъ пенити ся и тело его растаяше ся, яко снегъ отъ уга» («Житие Христофора», 187), тяжкий грех «раждизаеть тело» («Житие Епифана» Поливия, 290). Агиографы отмечали и сравнительно небольшие неудобства телу подвижников, например, от холодной или жесткой одежды либо от вериг: «довълееть едина свита на телеси» («Житие Епифана» Поливия, 271), «тело честеише власяницею подъ ризами цесарскими облачашеся... бось и пешь к нивамъ своимъ идяше» («Житие Вячеслава», 26), «железу же узъку сущю и грызущю ся въ тело его» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 78). Агиографы со вниманием описывали добровольные и насильственные «язвы святого тела» героев, «таяния тела», то, как «телеса мучить»: «Убивае тело

свое мразомь и бурею», «обнаживъ тело свое до пояса... оть множьства же овада и комара все тело его покръвено будяше и ядяху плъть его», «чюдьное тело мое повеле острьгати», «мечемь и огньмь погублю тело твое... тело Февронино тако съсечено», «тело же... аки от песь растерзася» и т. д. и т. п. («Житие Февронии», 246; «Житие Симеона» Стефана, 66; «Чудо Георгия о змие», 26; «Житие Иоанна Рыльского», 127; «Житие Феодосия Печерского» Нестора, 87; «Житие Еразма», 214; «Житие Февронии», 242, 245; «Житие Вячеслава», 56). Бывало так, что у мученика после истязаний «на теле его ни едина рана не обрете ся» , «ни единого же вреда не имыи на теле своемь» («Житие Еразма», 214; «Житие Вита», 227).

Провидя свою смерть, подвижник «омочивь все тело свое сльзами пречьстъными... поливае сльзами тело свое» («Житие Симеона» Стефана, 50, 52). Затем агиографы описывали мертвое тело. Вот его положили, повергли, метнули наземь, и вот тело лежит таких указаний делалось множество почти во всех житийных произведениях. Нередко следовал эпизод: «И лежа тело светому не велешу никому же», тогда тело начинали искать и «видеше тело светаго» («Житие Иоанна Рыльского», 130). Тело оказывалось целым: «тело святого то же не врежено пребысть... цело» («Сказание о Борисе и Глебе», 55), «и обретохъ чьстьное тело его цело и невредимо» («Житие Симеона» Савы, 172), «и се тело плотию и еще цело явися и от всех язвъ, бывших на немъ, ицелено... не гневше, ни стлевше, но ицеленами язвами» («Житие Вячеслава», 62, 64).

Следующий этап из истории тела: подвижник «лежаше мьртвъ, и тело его готовляху къ гробу» («Житие Еразма», 216) целая церемония. Как показывали писатели, тело хранили или стерегли, «следещимъ окресть телесе его» («Житие Симеона» Стефана, 52), пока за телом не прибывала достойная депутация. Тело брали и несли, «да въздвигнуть тело... и донесуть е» («Житие Февронии», 245). Тело несли и клали «на месте знаменито» или «на явлене месте» («Житие Февронии», 246; «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 16). Вокруг тела разыгрывались горестные сцены: кто «преклонь колене надь телъмь, възъпи гласомъ велиемь» («Житие Еразма», 216), а кто «вьрже ся на тело блаженааго» («Сказание о Борисе и Глебе», 48) и «осяза ему вьсе тело» («Житие Епифана» Поливия, 277), иные и того больше — «припадъше къ телу, въпияху» («Житие Февронии», 245 246; «Житие Симеона» Савы, 171) и даже «облобизав же пакъ... тело» («Успение Кирилла», 156).

Заключительные картины в житиях относились к омыванию и одеванию тела подвижника: «и вечеру бывъшю умывъше святое тело» («Житие Февронии», 246). Правда, иногда этого не делали, если подвижник завещал: «Ни же омывайте убогаго моего тела» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 129). И вот «тело святаго мученика помаза муръмь и понявицею обитъ» («Житие Христофора», 187), «ськутавше тело блаженаго» («Житие Симеона» Стефана, 53), «събьра святая телеса ихъ и съ вонями повить» («Житие Вита», 229). Наконец, тело хоронили, погребали, «спрятавше», «затворивше» или даже «заклепше» от людских взоров — об этом повествовали все жития. История тела героя проходила перед глазами агиографов.

Слово «тело» писатели употребляли в качестве обозначения именно всего человека в целом, всей его фигуры, всего его облика, с головы до ног. Части тела всегда мыслились в теснейшей с ним связи: «Бе бо раслабленъ тел омь... и червье въкыняхуся подъ бедру ему» («Слово о первых черноризцах», 188), «Селинъ рече къ ней: "Азъ... погублю тело твое"... и повеле врачю пьрси ея отрезати» («Житие Февронии», 242), «и никто же его николи же виде... воду възливающа на тело, разве тъкмо руце умывающа» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 97 98), «съвьрыпено тело имущи, светьлъмь лицьмь» («Житие Февронии», 231), «бе же телъмь блаженыи Витъ румян, яко огньнъ, и красьнъ зело, очи же ему, яко луча солнечьная» («Житие Вита», 225) и т. п. Цельным, но неразвернутым представлением о телесном облике человека была проникнута вся древнейшая житийная славянская литература.

Вторая особенность описаний внешности человека в X XII вв.: все тело, стоящее или лежащее, агиографы стихийно членили на последовательные части — верх, середину, низ. Таковы были их главные пространственные ассоциации, отражавшие цельное представление о теле. Более подробного, четырех- или пятичастного деления не прослеживается как распространенного принципа описания. Например, в «Житии Иоанна Рыльского» автор сообщил, что Иоанн «бие прьси свое, и колене прекланяе, и сльзы точе постомь и бдениемь, убивае тело свое мразомь и бурею» (127). В этом эпизоде, хотя смутно и сбивчиво, но все-таки в относительном членении обозревалось все тело Иоанна от середины, от персей, и до низу, до колен, и от низа до верха, до слез на лице. В «Житии Феодосия Печерского» автор рассказал о преследовании одного благочестивого юноши его знатным отцом: «Имъ сына своего божествьнааго Варлаама... съньмъ съ него святую мантию... иже бе на главе его... облече въ одежю славьну и светьлу... Онъ же съврьже ю долу... То же повеле отець его съ гневъмь сьвязати ему руце и одети и въ преже реченую одежю... Варламъ... съврьже одежю съ себе и своима ногама попирашеть ю» (84). Расплывчатый облик Варлаама вырисовывается в данном отрывке: его голова, то покрытая, то обнаженная, руки, которые связаны, ноги, которыми он попирал одежду.

Склонность агиографов к цельному обозрению тела через указание трех частей проявлялась в важнейших местах житий, и прежде всего при изображении мученичества героя: «повеле въбити еи въ пяте 300 гвоздии, и, насыпавъше вретище песька, възложиша на плещи ея, и въложиши ей въ уста бръзды» («Житие Иринии», 152) пяты, плечи, уста, то есть низ, середина, верх. Изображение смерти подвижника также сопровождалось объединительной детализацией его тела: «Лице весело имыи... нозе простьрь и руце на пьръсьхъ крьстообразьне положь, предасть святую ту душю въ руце Божие» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 130) лицо, верх, затем ноги, низ, и руки на груди, средняя часть. Чудеса и исцеления людей различными святыми тоже побуждали агиографов представлять цельное человеческое тело в трехчастном членении: «имша за руку... прекрестиста... ногу его... Люди же... видеша, яко ни устну можеть отврести» («Чтение о Бо-

рисе и Глебе» Нестора, 22 23) — нога, рука, уста, то есть три части тела человека обозначены снизу доверху.

Однако двухчастные, менее детализированные обозначения тела встречались в гораздо более многочисленных эпизодах житий. В сущности, двухчастным являлось известное описание внешности Бориса в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Телъмь бяше красьнъ — высокъ, лицьмь круглъмь, плечи велице, тънъкъ въ чресла, очима добраама, веселъ лицьмь, борода мала и ус — младъ бо бе еще, светя ся цесарьскы, крепъкъ телъмь...» (58) — указаны верх тела, лицо, очи и пр., затем его средняя часть — плечи, чресла, но низ тела не упомянут.

Трудно сказать, ощущалась ли писателями незавершенность целого в двухчастных описаниях внешности. Во всяком случае, однажды было обращено внимание на подобную неполноту изображения человека, правда, на иконе: « Како... вы, аще лице до прьсии токмо будеть, иконную честь ему творяще, не стыдитеся?» Но тут же объяснялось, что незаконченное изображение все равно обозначает цельный «образ»: «А икона отъ лица образъ являеть и подобие того, его же ради будеть писана» («Житие Константина», 5 7).

Так или иначе, но при обозначении внешности очень достойного, уважаемого человека агиографы предпочитали указывать лишь две крайние части его тела. Верх и низ: «Очи твои право да зрите, и вежди твои да помавасте праведна, права течения твори твоима ногама» («Житие Симеона» Савы, 166), «виде... лице еи, и платъ на главе еи по челу, и падъ на ногу еи» («Житие Пахомия», 212). Низ и верх: «нь тъкмо, Господи, нозе, нь и главу» («Житие Симеона» Стефана, 46), «обувъ нозе свои и умывъ лице свое» («Сказание о Борисе и Глебе», 47), «облобыза честнеи нозе его, и пакы въставъ, обуимъ выю его» («Чтение о Борисе и Глебе» Нестора, 7), «львъ предъ ногама его паде и языкъмь своимь отираше потъ лица его» («Житие Вита», 228).

Если герой молился, то авторы тоже обычно упоминали два телесных элемента, чаще — колени и слезы: «И преклонь колене свои на зьмлю сь сльзами» («Житие Симеона» Стефана, 56), жития были заполнены «бесчисльныими коленопреклоненьми... и топлыми сльзами» («Житие Иоакима», 248). Или же упоминались руки и слезы: «И въздвигъ къ Богу руце свои и сътвори молитву съ слезами» («Житие Константина», 35), «въздевь руце, начеть съ сльзами глаголати» («Житие Симеона» Савы, 168). Встречались упоминания рук и коленей: «въздевъши руце горé и преклонивъши колене» («Житие Февронии», 235).

При изображении болезней, заточений и казней тоже присутствовал и два элемента, чаще всего руки и ноги героев: «бывъшимь съкърчене рукама и ногама» («Сказание чудес Бориса и Глеба», 64), «лазе на руку своею, влачаше по себе нозе свои» («Житие Симеона» Савы, 58), «руками же и ногами оковани люте же» («Житие Вячеслава», 64), «обе руце отсещи Февронии и десную ногу» («Житие Февронии», 244) и мн. др. В эпизодах внезапных освобождений от заточения и мук упоминались те же руки и ноги: «И веригы разрешаютсе от ногах и рукахъ» («Житие Наума» второе, 183).

При изображении раскаяния неправедных мучителей и горя мирских людей снова выделялись два элемента — руки, которые били по лицу или голове: «рукою бити своею лице свое» («Житие Еразма», 216), «ударяя дланию въ чело» («Житие Вита», 228).

В этих случаях цельный облик человека создавался всем произведением. Сочетания из двух элементов в текстах житий использовались во всех мыслимых вариантах, сумма которых вела к полному целому. Например, в «Житии Феодосия Печерского» Нестора, помимо полной трехчастной характеристики облика Феодосия, присутствовали все варианты двухчастные. То указывались верх и низ тела Феодосия, очи и колени: «Начахъ прилежьно Бога молити, — рассказывал Феодосий о своей борьбе с бесами, — и часто поклонение коленомъ творити... яко же отъ того часа не бояти ми ся ихь, аще предъ очима моима являхуть ми ся» (99–100). То обозначались верх и середина тела Феодосия, слезы на лице и перси: «съ сльзаами учааше... бия въ пьрси своя» (127). То середина и низ Феодосиева тела, руки и ноги: «Не дада рукама своима, ни ногама покоя» (96) и т. д.

Так же отражалось цельное представление о теле, например, в «Житии Симеона» Стефана. То облик Симеона охватывался снизу доверху, колени и слезы: «и поклонише колене... сь сльзами» (41). То выделялись верхняя и средняя части тела Симеона, очи и руки: «Он же въздвигь очи и руце свои» (25). То части средняя и нижняя, руки и ноги: «Оковаше ему руце и нозе» (22). Взгляд автора, в сущности, скользил по всему телу Симеона, с головы до ног.

Двухчастными сочетаниями иногда досконально размечалось все тело героя. Так, в «Житии Иринии» изложение следовало от плеч к устам мученицы: «вретище песъка възложиша на плещи ея и въложиша еи въ уста бръзды» (152). Затем — от плеч к ногам: «испаду же гвоздие из ногу и вретище песъка съ плещю ея» (152). И в заключение — от ног к устам: «и къ ногама еи припадъ... Блаженая же... отвьрьзъши уста своя» (154). Общий результат — цельное тело.

Однако в житиях преобладали указания на всего лишь одну часть или на один член тела. В сумме, за этими, казалось бы, изолированными, одиночными реальными указаниями стояло то же самое представление писателей о человеческом теле в целом. Вот отчего в житиях безусловно чаще всех прочих элементов называлось тело в целом, а также ответственные элементы каждой из трех частей тела: верхние — лицо, очи, средние — руки, нижние — ноги. Например в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора чаще всех повторялись указания на тело (14 раз), на руки (9 раз), на ноги (7 раз) и на очи героев (5 раз). В «Житии Февронии» чаще всех упоминались тело (10 раз), руки (12 раз) и ноги (9 раз). В «Житии Феодосия Печерского» руки (19 раз), тело (14 раз) и лицо (6 раз). В «Житии Вячеслава» — руки (13 раз) и тело (12 раз). В «Сказании о Борисе и Глебе» — тело (16 раз) и слезы (9 раз). В «Житии Симеона» Стефана — тоже тело (11 раз) и слезы (7 раз). В относительно небольших произведениях пропорция в частоте упоминаний сохранялась: например, в «Сказании чудес Бориса и Глеба» чаще всех упоминались тело (9 раз), руки и ноги (по 7 раз) и очи (5 раз), в «Слове о первых черноризцах печерских» тело

упоминалось 4 раза, а очи, руки и ноги — по 3 раза, все остальное — реже. Тело, лицо и руки многократно упоминались в 22 из 25 названных житийных памятников, а ноги — в 18 произведениях. Иначе говоря, славянские агиографы представляли облик своих героев не отрывочно, не изолированными частями, а цельно, с головы до ног.

Третья особенность: из трех уровней человеческого тела внимание писателей больше всего было сосредоточено на верхней части. Верх тела героев упоминался в подавляющем большинстве житийных эпизодов, а в половине всех житий из 25 — всегда, как только речь заходила о теле человека. В многочисленных характеристиках тела перечень элементов верхнего ряда редко когда количественно уступал перечню элементов ряда среднего или нижнего. Чаще всего их было поровну, вроде таких сочетаний: «помазовати ему главу, и по лицу, и по рукамъ, такожде и прьси» («Житие Иоакима», 251) — два элемента верхней части тела, голова и лицо, и два элемента средней части, руки и грудь. Или: «И съжигаху ребра ея. Феврония же на небо възведъши очи... извесивъши языкъ... Скврьньныи Селинъ повеле зубы ея ис корене избити... И повеле врачю пьрси ея отрезати... и имъ за дьсныи сьсьць девицу» и т. д. (242). Элементы верхней и средней частей тела все время численно соответствовали друг другу по ходу повествования: ребра — очи; затем язык, зубы — груди, сосцы. Взгляд писателя равномерно переходил выше — ниже.

Во многих эпизодах житий сдвиг писательского внимания был явно в сторону верха. Например, в известном описании внешности Бориса из «Сказания о Борисе и Глебе» (58) перечислялись четыре элемента верхнего ряда тела — лицо, очи, борода, усы, но лишь два элемента среднего ряда — плечи, чресла. В эпизоде из «Жития Христофора» — «и власы своя распростьръ кругъмь главы, и лице свое на колену положь» (178) — указывались три элемента верхних — власы, глаза, лицо, но лишь единственный элемент нижний — колени. В «Житии Вячеслава» говорилось: «Мечь из руку ужасьшася слугы диаволя испаде, иже... святыи Вячеславъ... за власы держа и потрясая главою его» (54) — даже у мимолетного персонажа — одного из мучителей Вячеслава — писатель больше внимания обращал на верх тела, голову и волосы, чем на остальное.

Кстати говоря, у этого персонажа рука оказалась поднятой: «Онъ безумный... изнесъ воскоре мечь на святого главу верхъ» (53–54) — рука как бы тоже принадлежала верху тела. Подобные случаи возвышения рук были нередки: «Он же вьздвигъ очи и руце свои» («Житие Симеона» Стефана, 25), «онъ же въздевъ руце свои» («Житие Симеона» Савы, 168), «и въздвигъ к Богу руце свои» («Житие Константина», 35), «рукою бити своею лице свое» («Житие Еразма», 216) и мн. др. В таких отрывках речь шла уже только о верхе тела.

Для агиографов были характерны эпизоды со сосредоточением исключительно на верхе тела своих героев, без упоминания прочих частей тела: «Сльзами лице свое омочивь... и преклонивь ему вию свою и... отьеть власи главы свое» («Житие Иоакима», 252). Глава, власы, лицо, слезы, шея — упомянуты только верхние члены. «И дрьжащ святааго руку, прилагааше къ вреду, имь же боляше на шии, и

къ очима, и къ темени» («Сказание чудес Бориса и Глеба», 62) — голова и шея. «Положи на выи моеи грешнеи... и положивь на главе моей... Аз же... съ сльзами глаголахъ» («Житие Симеона» Савы, 167) — автор вспоминал только о голове с шеей. «Яви ся предъ людьми мужь... глава его, яко песья, а власи его превелици простьрти, очи же его, акы звезда утрьняя, и зубы его измьлять, аки вепрю дивьему» («Житие Христофора», 178) — описана только голова страшилища. «И възьревъ къ нимъ умиленама очима, и спадъшемъ лицьмь, и вьсь сльзами обли явъся» («Сказание о Борисе и Глебе», 49) — описано только лицо героя. «Кама бо очима омраченыи азь смею узрети... или которима устнама призову» («Житие Симеона» Стефана, 24) — автор тоже говорил только о лице. «Мужь голоусь, светелъ, и не можахъ зрети на лице ему» («Чудо Георгия о болгарине», 256) — снова о лице. «Святыи же Еразмъ... на небо възвожа очи свои... пресвятеи ланите его...» («Житие Еразма», 217) — о лице. И т. д.

Наиболее часто в житиях упоминалось примерно 15 элементов тела: 7 верхних — голова, волосы, лицо, очи, слезы, уста, шея, 5 средних — плечи, руки, грудь, ребра, чресла и 2 нижних — ноги и колени. Предпочтительное внимание писателей к верхней части тела героев было бесспорным.

И, наконец, **четвертая особенность** описаний XI–XII вв.: тело человека как статическая данность не интересовало агиографов, которые отмечали лишь то, что двигалось, действовало, менялось. Покажем это на примере «Сказания о Борисе и Глебе». Тело человека в целом и его части редко когда мыслились автором в неизменности их качеств: тело — честное (44, 48, 55), слезы — горькие (47), глава — святая (50), седины — добролепные (44) — вот, пожалуй, и все обозначения немногих неизменных свойств. Прочие эпитеты и метафоры «Сказания» относились к телу человека, которое меняется внешне. Оно крепкое, красивое и светлое (44, 45, 55, 58), но оно слабеет, «утьрпаеть» у человека горюющего или ужасающегося (44, 51, 54), но «красота тела... увядаеть» (48) у больного или раненого человека, а потом и чернеет тело, «яко же обычаи имуть телеса мьртвыхъ» (55). Борис «лицьмь круглъмь» и «веселъ лицьмь» (58), но он же в горе становится «спадъшемь лицьмь» (49).

Тело и его части упоминались в «Сказании» преимущественно тогда, когда они являлись объектом или участником активных действий. Тела страдальцев ранили и пробивали: «И без милости прободено бысть чьстьное и многомилостивое тело святого и блаженааго Христова страстотьрпьца Бориса, насунуша копии оканьнии» (48). Голову приподымали: «начатъ въскланяти святую главу свою» (50), отсекали и отбрасывали: «и отъсекъше главу, отъвьргоша и кроме» (49). Седины целовали (44). Лицо заливали слезами (44, 47, 51). Очами эти слезы испускали (47) и очами зрели (49, 51). Уста открывали (46). Руки воздевали (54), делали ими дело или хотя бы что-то в них держали: «обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ» (51). Ноги обували (47), ногами шли (49), колени преклоняли (52) и т. д. Человек ни одним членом тела не пребывал в бездействии.

Да и отдельное описание, казалось бы, застывшей внешности Бориса в «Сказании» тоже рисовало человека, готового к действию и действующего: он полон сил — высок, широкоплеч, молод, крепок, от него исходит сияние энергии — «светя ся цесарьскы... акы цветъ цвьтыи въ уности своеи... и благодать Божия цвьтяаше на немь», он и поступает как надо — «покаряя ся при всемь отцю... въ ратьхъ хъбър, въ съветехъ мудръ, и разумьнъ при вьсемъ» (58). И во многих других житиях внешность героев выявлялась через их действия и движения.

За изображением агиографами XI—XII вв. внешности человека раскрывается особенность их мироотношения: каждый объект описания воспринимался ими как некая отчетливая цельность, в которой они выделяли лишь немногие, важнейшие части, преимущественно даже какую-нибудь одну главную часть, притом энергично действующую. Опять-таки типично «Сказание о Борисе и Глебе». Например, жизнь князей была обрисована как цельная картина, составленная из важнейших частей. Главное содержание княжеского «жития» подчеркнуто автором: «славы ради... слава мира сего... чьсти... гърдения». «Слава» дана в ее динамичном воплощении — в одеяниях, пирах, поездках, чествованиях и прочих церемониях.

Какого бы предмета ни касался автор «Сказания», он его представлял цельно, выделяя преимущественно одну, с его точки зрения, самую существенную и притом динамичную черту. Главное у коней — на них сидят: «въседъ на конь» (50), «на кони седети» (54). Звери — свирепые: «сверепа звери» (51), «сверепии зверие» (52). Обнаженные мечи блестят: «блистание оружия и мечьное оцещение» (48), «обнажены меча... блыщаща ся» (51). Оружие пронзает сердце: «прободоста им мечьмь въ сердце» (50), «оружие ихъ вънидеть въ сердца» (53), «бысть копиемь въ сердце въдруженъ» (55). Свеча горит и светит: «свеще горуще» (54), «видеша светъ и свеще» (55), «свеще въжьгъше... да светить» (56). В житиях использовалась масса подобных лапидарных штампов.

Можно говорить об особом, «широком» стиле мышления агиографов X—XII вв.: какой бы ни была главная тема жития и как бы ни проповедовал агиограф отречение от мирского, но он держал, не научился еще не держать, в поле зрения весь христианский мир и порывался затронуть множество явлений, событий, лиц, предметов, не углубляясь в изолированное описание чего-либо одного. Ср. сформулированную Д. С. Лихачевым одну из особенностей «стиля монументального историзма»: «Произведения литературы поражают своей энциклопедичностью, стремлением рассказать сюжет от начала и до конца, передать мировую историю “от Адама” или от Вавилонского столпотворения до настоящего времени, рассказать об устройстве мира в целом и т. д.»; «охватить возможно шире мироздание в целом, видеть в каждой детали всю вселенную (своеобразный “универсализм” видения)»; «идейно человек стремился охватить весь мир»[3]. Вероятно, оттого целый ряд житий агиографы начинали с сотворения мира, а автор «Сказания о Борисе и Глебе» стремился сначала рассказать о делах Владимира, крестителя Руси, и о его детях.

Влияние подвижника, мученика, святого агиографы распространяли на весь мир: «Тако и си святая постави светити въ мире премногыими чюдесы сияти в

Русьскеи стороне велицеи... и не ту единде, нъ и по вьсемъ сторонам и вьсемъ землямъ преходяща» («Сказание о Борисе и Глебе», 56), «светило въ вьсемь мире видимое» («Житие Феодосия Печерского» Нестора, 96), «по всем землямъ ходя величаа словесы проповедааше» («Житие Вячеслава», 70) и мн. др. Агиографы охотно повествовали о путешествиях святого и особенно о чудесах у его мощей: «творимая чюдесы по истине ни вьсь миръ можеть понести» («Сказание о Борисе и Глебе», 56).

Еще очень многое нужно исследовать в «широком», «каталогичном» стиле мышления славянских писателей X XII вв., и не только по житиям, но, например, по поучениям и посланиям.

2. «Повесть временных лет»

Несколько иное, чем в житиях, явление образности находим в «Повести временных лет», в характеристиках внешности летописных персонажей. Эти характеристики резко отличаются от привычных явлений в литературе Нового времени.

Летопись не содержала литературных портретов[4]. Летописец не выделял внешность человека как самостоятельную категорию и не пользовался соответствующей обобщающей терминологией. Слова, которые мы сейчас готовы принять за обозначение статичной внешности, имели у летописца иной смысл. Например, слово «взоръ», которое нам кажется уместным перевести нашими современными понятиями «облик, вид», больше обозначали у летописца факт глядения героя на окружающих или же глядение окружающих на героя. Так, греки наставляли своего посла к Святославу: «Глядай взора», то есть: следи за его взглядом, на что и как смотрит Святослав; ведь греки хотели узнать, к каким подаркам князь «любьзнивъ»; далее сообщалось, что они положили перед ним дары, но Святослав «кроме зря»; и греки потом жаловались: «вдахомъ дары, и не возре на ня»[5]. Так что слово «взоръ» в данном рассказе было связано с глаголами «зрети, воззрети» и означало «взор, зрение, глядение, смотрение» Святослава, а не его внешность, облик, внешний вид отдельно от его действий.

Когда же в летописи говорилось, каковы персонажи «взоромъ», то тоже подразумевалась не столько их внешность сама по себе, сколько глядение на них со стороны окружающих людей. Недаром в летописи использовалось производное от существительного «взоръ» прилагательное «взоренъ» (заметный, хорошо смотрящийся со стороны: «взоренъ бываеть во вратехъ мужь» — 79, под 980 г.); форма «взоромъ» недаром заменялась в списках словом «въззоромъ» (то есть: воззрением 196, под 1078 г., примеч. 6) или пояснялась словом «видение» (например, бесы «худи взоромь», то есть «скверни и зли в видении» (на взгляд) 174, под 1071 г., и 192, под 1074 г.).

Другое слово «образъ», которое нам может показаться полноценным обозначением внешности, тоже таковым не являлось в летописи, а больше указывало на некое действие, на «виденье» кого-то со стороны («въ образе Феодосьеве... ви-

денье видель» — 184, под 1074 г.); «образъ» — это есть то более, то менее приемлемое зрителем «виденье», каков персонаж («въ образе Исус Христове и въ ангельстемь недостойни суще того виденья» — 191, под 1074 г.), нередко ввод зрителей в «мечтанье» принятием персонажами не своего, подлинного, а чужого, ложного облика («пременяше во иного образъ, в мечтаньи сице творяше» — 175, под 1074 г.), или принятием временного, быстро сменявшегося обманного вида («творяще в мечте... въ образе медвежи, овогда же лютымъ зверемь, ово въломъ, ово змие полозяху к нему, ово ли жабы, и мыши, и всякъ гадъ» — 191, под 1074 г.); иногда слово «образъ» обозначало отличительную для зрителей окрашенность персонажа («образомъ черни» — 174, под 1071 г.), иногда — одежду («възложилъ образъ мнишьский»), но тут же — и поведение («научивъ чернечьскому образу» — 152, под 1051 г.). Если же имелся в виду облик более стойкий, то употреблялось слово «зракъ» («приимъ рабий зракъ истиною, а не мечтаньемь» — 110, под 986 г.; «Духъ схолящь зракомъ голубинымъ» — 101, под 986 г.), однако тут слово «зракъ» больше относилось к божественной сущности видимого зрителями, а не собственно ко внешности персонажа.

В общем, летописец не употреблял слов для специального обозначения внешности, потому что такими общими категориями не мыслил. Оттого понятие красоты, которое у нас обычно относится ко всей внешности человека, летописец связывал только с отдельной его частью, как правило, с лицом («красоты ради лица ея» — 74, под 977 г.; «красенъ лицемъ» — 80, под 983 г., и 162, под 1066 г.). Если же летописец высказывался о красоте персонажа более общо, то и в этих случаях он имел в виду все-таки отдельные красивые детали, а не внешность в целом. Например: «поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ею, акы солнце» (187, под 1074 г.), — ясно, что речь шла опять-таки о красивых лицах. Или: «Дасть Бохмить комуждо по семидесять женъ красныхъ, исбереть едину красну, и всехъ красоту възложить на едину» (83, под 986 г.), — это место означало, что у семидесяти женщин берутся разные красивые элементы и инкрустируются в одну, а не то, что внешность всех женщин накладывалась одна на другую. Летописец мыслил об элементах, а не о целом. Когда же летописец давал совсем общую характеристику вроде бы внешности человека («отроча красно» — 92, под 986 г.; «взоромъ красенъ» — 193 и 196, под 1078 г.), то на этот раз оказывалось, что летописец подразумевал, пожалуй, нечто более широкое и расплывчатое, нежели только внешность, — благоприятное впечатление от всего человека: «бысть отроча красно, и бысть летъ 4» — милый возраст, нельзя не «любити отроча».

Об отсутствии у летописца стремления к изображению цельной внешности человека свидетельствуют сравнительно подробные летописные характеристики персонажей, очень немногочисленные. Описаний, перечисляющих сразу несколько внешних черт персонажей, буквально единицы, и все они указывают лишь отдельные частности, притом только тогда, когда те обращают внимание своей необычностью — величиной, цветом, ущербностью и пр. Поэтому в летописи есть характеристики людей, вообще не упоминающие физических деталей, которые,

очевидно, ничем и не выделялись, и, напротив, преобладает множество коротких замечаний о необычности качества того или иного телесного элемента или физической черты у человека: «высокъ теломъ» (202, под 1089 г.); «превеликъ зело» (121, под 992 г.); «черево твое толъстое» (139, под 1018 г.); «перереза ему лице, и есть рана та на Василке и ныне» (251, под 1097 г.); «язвено на главе его» (151, под 1044 г.); и мн. др. Летописец во всех случаях мыслил не целым, а фрагментами и к обобщающему представлению о внешности персонажей не приближался ни при упоминаниях частей тела, ни при упоминаниях одежды и обуви. У нормального человека обычно в той или иной форме упоминались тело и лицо. Например, Мстислав: «дебелъ теломь, черменъ лицемъ, великыма очима» (146–147, под 1036 г.); Ростислав: «взрастомь же лепъ и красенъ лицемь» (102, под 1066 г.). У мучающихся персонажей дополнительно к телу и лицу упоминались ноги: «опустневше лици, почерневше телесы... ногы имуще сбодены...» (217, под 1093 г.); «раслабленъ теломь... червье въкыняхуся полъ белру ему» (188, пол 1074 г.). У погубляемых («кладущих главу»), естественно, упоминалась глава: «гвозди железныи посреди главы въбивахуть имъ» (43, под 941 г.); «взяша главу его и во лбе его съделаша чашю» (72, под 971 г.); «усекнуша главу его» (131, под 1015 г.); и др. У уродов и уродливых существ упоминался хвост или что-то вроде хвоста: «безъ очью и без руку, в чересла бе ему рыбий хвосъ приросль»; «на лици ему срамнии удове» (161, 160, под 1065 г.); «образомъ черни, крилаты, хвосты имуще» (174, под 1071 г.). Но обязательность определенных деталей по типам персонажей не соблюдалась.

Фрагментарность или дробность характеристик выражалась еще в том, что каждый элемент внешности быстро подключался к действию, к сюжету рассказа, но не к другим элементам внешности. Упоминаемый элемент внешности вводил в ситуацию вокруг персонажа, в частности, указывал на впечатление окружающих людей. Например, печенежский борец «бе бо превеликъ зело и страшенъ» (121, под 992 г.) — страшен для окружающих своей «превеликостью» (ср.: «спаде превеликъ змий отъ небесе, и ужасошася вси людье» — 207, под 1091 г.; ужаснулись из-за его «превеликости», от маленькой змеи не ужасались). Элементы внешности были связаны и с иными воздействиями персонажа вовне. Например: «бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы седети» (139, под 1018 г.) — тяжело коню из-за «великости» седока; «бе бо великъ и силенъ Редедя» — трудно с ним бороться (143, под 1022 г.); Всеслав: «бысть ему язвено на главе его... сего ради немилостивъ есть на кровьпролитье» (151, под 1044 г.). Элементы внешности обозначали также святость персонажа в мире, приведем только один пример из многих: Ольгу «вси человеци прославляють, видяще лежащю в теле на многа лета» (67, под 969 г.), нетленность тела — признак святости. Элементы внешности персонажа служили и знамением будущего для страны. Виды одежды всегда упоминались только как знак социальной ситуации, определенной общественной церемонии; и т. д.

Фрагментарность или дробность характеристик особенно проявилась в несвязывании летописцем внешнего и внутреннего у персонажей. Внешние и внутрен-

ние черты персонажей перечислялись летописцем как равноправные, не зависящие друг от друга качества, внешнее не связывалось причинной связью с внутренним, внутреннее и внешнее одинаково действовали вовне. Вот пример: «теломъ велици и умомъ горди» (11) — телом велики не оттого, что умом горды, и горды не оттого, что велики; но обры, запрягавшие дулебских женщин в телегу, мучили дулебов и своим телом (тяжело возить), и своим умом (унижали). Или: «красенъ лицемъ и душею» (80, под 983 г.) — и то, и другое суть взаимонезависимые данности, одинаковые по производимому впечатлению. Отдельные высказывания, которые, на наш современный взгляд, все-таки отражают связь внутреннего и внешнего, на самом деле такой связи не содержали. Так, наставление византийскому послу, направляемому с дарами к Святославу, можно расценить как совет догадываться о настроении князя по выражению его лица: «Глядай взора, и лица его, и смысла его» (69, под 971 г.); на самом же деле речь шла лишь о действиях Святослава вовне: «Примечай, на что смотрит, куда обращает лицо, к чему его устремление» (слово «смыслъ» в летописи означало «устремление, тип действий»: «Каиновъ смыслъ приимъ» — 129, под 1015 г.; «нача любити смыслъ уныхъ» — 209, под 1093 г.; «въсприимъ смыслъ буй» — 222, под 1096 г.; соответственно прилагательное «смыслении» имело оттенок «деловой, деятельный», поэтому естественным являлось противопоставление: «Бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ... но бяше смысленъ» — хотя был велик и тяжел, но был подвижен, энергичен, первым «въбреде в реку, и по немь вои его» — 140, под 1018 г.).

В характеристиках летописных персонажей иногда повторялись пары качеств, одно внешнее, другое внутреннее. Крупен и воинствен: «дебелъ теломь, ...хоробръ на рати» (146–147, под 1036 г.); «ратенъ, взрастомь же лепъ» (162, под 1066 г.). Красив и добр: «черменъ лицемъ,... милостивъ» (147); «красенъ лицемъ и милостивъ убогымъ... взоромъ красенъ» (193, под 1078 г.); «взоромъ красенъ... незлобивъ нравом» (196, под 1078 г.). Однако это были традиционно повторяемые то рядом, то отдельно друг от друга элементы характеристик, а не причинно-следственные пары, основанные на связи внешнего и внутреннего у человека.

Нередко кажущиеся нам значимыми, самостоятельными элементы внешности на самом деле почти не являлись таковыми. Элемент внешности мог обозначать то, из чего сделан объект. Например, когда летописец описывал «Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ» (77, под 980 г.), имелось в виду не столько то, как выглядел Перун, сколько то, что тело Перуна сделано было из дерева, голова — из серебра, а усы — из золота (ср. далее именно о материале, из которого изготовлены идолы: «начаша кумиры творити, ови древяны, ови медяны, а друзии мрамаряны, а иные златы и сребрены» — 8.9, под 986 г.). Элемент внешности на самом деле мог обозначать манеру поведения героя. Например, в рассказе о приходе княгини Ольги к византийскому императору, который «видевъ ю добру сущю зело лицемъ и смыслену» (59, под 955 г.), словосочетание «добра лицемъ» (а не «красна лицемъ») указывало, скорее, не на внешность и красоту Ольги (после ее замужества, судя по датам летописи, прошло 52 года), а на ее доброликость, то есть

приятность, обходительность, воспитанность, согласующуюся с ее «смысленностью» (смышленностью-опытностью-тактичностью). Недаром, как тут же сказано, «удививъся царь разуму ея», а вовсе не красоте. Лицо упомянуто, но, пожалуй, не как полноценная реалия; подобное словоупотребление для летописи не было редкостью (ср.: «едино Божество в трехъ лицахъ» — 110, под 988 г.; «страхъ нападе на ня и трепетъ отъ лица русскихъ вой» — 268, под 1103 г.; и др.). В характеристиках все фрагментарно.

Фрагментарность характеристик являлась частью более широкого явления мозаичности изображения героев в летописи. Летописные герои представали исключительно деятельными[6]. Если летописец перечислял только внутренние качества персонажей, то и тогда имел в виду их действие вовне — активные («братолюбивъ», «милостивъ убогымъ» и т. д.), менее активные («молчаливъ», «тихъ» и пр.), направленные персонажами иногда на самих себя («въздерж ася отъ пьяньства и отъ похоти»), но всегда действия. Чувства и замыслы считались приходящими снаружи на человека[7]. Думание или чувство персонажа тут же переходило в действие, в том числе любовь: «Но обаче любяше Ольга сына своего Святослава... моляшеся за сына и за люди по вся нощи и дни, кормящи сына своего до мужьства его» (62–63, под 955 г.); «любяше дружину по велику, именья не щадяше» (147, под 1036 г.); «излиха же любяше черноризци и подаяше требованье имъ» (209); и др. Физиологическое состояние персонажа тоже сопровождалось действиями: Владимир «бе несытъ блуда, приводя к себе мужьски жены и девице растьляя» (78, под 980 г.); еще слабый ребенок Святослав смог перебросить копье лишь «сквозе уши коневи» (56, под 946 г.); впавшие в болезнь сразу же умирали; и т. п. Герои, пребывавшие в пассивном положении, тоже оказывались в деле: с живостью принимали великие почести или дары; делали гораздо больше того, к чему их побуждали, или энергично сопротивлялись нажиму; если тянули с принятием решения, то занимаясь различного рода испытаниями. Бесноватые доходили до крайней степени беснования и юродства. Все сводилось к мозаике деяний.

В разных эпизодах и обстоятельствах один и тот же персонаж мог быть изображен существенно иным, без обязательной для нас связи его прежних и новоявленных черт. Поэтому, например, Олег вдруг потерял присущее ему хитроумие, опасливый Игорь внезапно забыл об осторожности, коварная Ольга после крещения превратилась в кроткую и беззащитную бабушку, не любивший Киева Святослав неожиданно возлюбил Русскую землю, Владимир после принятия христианства стал вялым в воинских и государственных делах, и т. д. и т. п.[8] Деятельность героев простиралась до определенных пространственных границ, преграждаясь деятельностью других героев и договорами о «пределах» деятельности каждой из сторон. Лишь окаянные персонажи беспредельны, пока их не остановит смерть. Посмертные характеристики героев в летописи относились не ко всей их жизни, а преимущественно к последним их годам.

Мозаичность[9] сохранялась у летописца и при описании составных веществ человека: «створилъ Богъ человека отъ земле, сставленъ костьми и жылами отъ

крове, несть в немъ ничто же» сверх того (171–172, под 1071 г.) — человек представлен чем-то вроде творимого склада предметов и веществ, но не в виде цельного организма, как принято его осмысливать сейчас. То же мозаичное накопление качеств содержали характеристики летописных героев по типам людей: одни качества и деяния перечислялись у «блаженных» и «благоверных» героев, другие — у воинственных, третьи — у «неистовиих» и «окаянных», и т. д.

Почему так произошло? Дробность и мозаичность характеристик и вообще рассказов о героях — это результат архаичности литературного творчества летописца[10]. Солидность, монументальность (термин Д. С. Лихачева), простота крупных целей — основа архаики; элементы изобразительности использовались летописцем для усиления значительности изложения и для развития действия в повествовании[11], — вот его главные цели; а дробность и мозаичность — сопутствующие последствия в летописи, остро ощущаемые сейчас нами, но не древнерусским летописцем.

Примечания

[1] См., например: *Никольская А. Б.* К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литературе // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, с. 191–200; *Трифонов Ю.* Иоанъ Екзархъ Български и неговото описание на човешкото тело // Български прегледъ: Списание за славянска филология. София, 1929, кн. 2, с. 165–202; *Трифунович Дж.* Портрет у српскоj средњовековноj књижевности. Крушевац, 1971.

[2] Цитируемые в этом разделе произведения: «Житие Вита» — Успенский сборник; «Житие Вячеслава» — *Никольский Н. К.* Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно русском переложении. СПб., 1909; «Житие Епифана», оба — Успенский сборник; «Житие Еразма» — Успенский сборник; «Житие Иоакима Сарнадапорского» — *Новакович С.* Прилози к историjи српске књижевности // Гласник Српског ученог друштва. Београд, 1867, књ. 5, свеска 22 старога реда; «Житие Иоанна Рыльского», так называемое народное — *Гильфердинг А. Ф.* Собрание сочинений. СПб., 1868, т. 1; «Житие Иринии» — Успенский сборник; «Житие Константина Философа», пространное — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Житие Наума Охридского», оба — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Житие Пахомия» — Успенский сборник; «Житие Симеона Неманя» Савы Сербского — Списки св. Саве / Издао их В. Чорович. Београд, 1928; «Житие Симеона Неманя» Стефана Первовенчанного — *Чорович В.* Житиjе Симеона Немање до Стевана Првовенчанога // Светосавски зборник. Београд, 1939, књ. 2; «Житие Февронии» — Успенский сборник; «Житие Феодосия Печерского» Нестора — Успенский сборник; «Житие Христофора» — Успенский сборник; «Сказание о Борисе и Глебе» — Успенский сборник; «Сказание чудес Бориса и Глеба» — Успенский сборник; «Слово о первых черноризцах печерских» — Летопись по Лаврентиевскому списку; «Успение Кирилла Философа» — *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора — *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916; «Чудо Георгия о болгарине» — *Динеков П., Куев К., Петкано-*

ва Д. Христоматия по старобългарска литература, 3-е изд. София, 1974; «Чудо Георгия о змие» — *Рыстенко А. В.* Легенды о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литературах. Одесса, 1909.

[3] *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987, т. 1, с. 93, 294; т. 2, с. 20.

[4] «Литературный портрет реального человека — завоевание литературы Нового времени; для средневекового писателя начала XII в. такой портрет — задача еще явно непосильная» (*Еремин И. П.* Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.; Л., 1966. С. 97).

[5] Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 69. Под 971 г. Далее страницы указываются в скобках.

[6] Ср.: «Он весь в деятельности, он представитель своего положения, он как бы обращен вовне — к зрителю, к окружающим» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 35).

[7] «Добрые и злые помыслы возникают в сердце человека не изнутри, но всегда от толчка извне» (*Еремин И. П.* Указ. соч. С. 67).

[8] «...они у летописца меняют свой характер, как платье» (*Еремин И. П.* Указ. соч. С. 43).

[9] О мозаичности говорят по разным поводам и в разных выражениях разные исследователи: «Летопись — произведение монументального искусства, она мозаична» (*Лихачев Д. С.* Указ. соч. Л., 1987. Т. 2. С. 74); «мир... дробный в сознании летописца... Фрагментарность и связанная с нею порою внутренняя противоречивость летописного повествования... — ключ к пониманию и природы летописного человека» (*Еремин И. П.* Указ. соч. С. 75–76); «преобладал же в летописи рассыпанный или рассыпающийся мир — не панорама, а калейдоскоп» (*Демин А. С.* «Повесть временных лет» // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI–XIV вв. М., 1996. С. 145).

[10] Ср. высказывание «о глубоком архаизме летописного повествовательного стиля» (*Еремин И. П.* Указ. соч. С. 85).

[11] «...монументализм этот особый — динамичный» (*Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. Л., 1985. С. 51).

К ВОПРОСУ О ФОНДЕ УСТНЫХ ПРИПОМИНАНИЙ

(Соломон в древнерусской литературе)

Компилятивное повествование базировалось не только на заглядывании книжников в книги и переписывании кусков из них, но еще и на текстовой памяти компиляторов. Образец — то, как авторы обращались с библейским Соломоном.

Библейского Соломона вечно поминали книжники Древней Руси, и для нас ценность этих бесчисленных упоминаний состоит в примере того, какими путями в недрах древнерусской книжности формировалась собственно литература.

Процесс был своеобразен. Уже в самый древнейший период древнерусские книжники получили хороший литературный задел — обширные рассказы о Соломоне в переводных произведениях, особенно в «Хронике» Георгия Амартола. Но сравним, что же рассказала о Соломоне древнерусская летопись — «Повесть временных лет», которая активно пользовалась «Хроникой» Амартола и многократно упоминала Соломона. Составители «Повести временных лет» древнерусские летописцы XI — начала XII вв. охотно повторяли фактически лишь одно, главное и элементарное сведение о Соломоне — о том, что Соломон был мудр, являл «многу мудрость»; эту главную черту летописцы и разъясняли: Соломон был мудр прежде всего в своих советах, так что «слышати хотящи премудрости Соломани»[1]; он даже выступал от имени самой Мудрости, «хваля е» («азъ, премудрость, вселихъ советъ, и разумъ, и смыслъ... Мои совети, моя мудрость...» — 152, под 1037 г.)[2]; он усиленно призывал к разуму («приложиши сердце твое въ разумъ... Делатели нечестивыхъ далече от разума» — 62–63, под 955 г.)[3]. При этом летописцы благочестиво оговаривали, что Соломону была свойственна мудрость не божественная, а лишь человеческая (не «доброе мудрости Божьи, но... человечески» — 62, под 955 г.) и не стойкая, не предохранившая Соломона от грехов («мудръ же бе, а на конець погибе» — 80, под 980 г.; «бысть мудръ, но на конець поползеся» — 97, под 986 г.). Один из главных грехов Соломона летописец даже пояснил специально: Соломон был «женолюбець», имел «женъ 700, а наложниць 300»; но тут же летописец смягчил греховность Соломона: «Соломанъ покаявся» (80, под 980 г.). Вот, собственно, и все о Соломоне в «Повести временных лет».

Что стоит за столь скупым и крайне упрощенным отражением облика библейского Соломона в древнерусской летописи? Для летописцев XI XII вв. была характерна архаическая манера повествования — выделять и разрабатывать лишь одну, главную с их точки зрения черту описываемых героев, предметов или событий, а остальные черты или качества оставлять без внимания. Так произошло и с Соломоном. Дополнения к его облику не подбираются. Например, не без усилий можно заметить, что кроме мудрости летописцы вроде бы обозначили у Соломона еще и нечто вроде человеколюбивости: он обещал праведникам жизнь вечную («праведници въ веки живуть» 69, под 969 г.; «умершю мужю праведну не погыбаеть упованье» — 131, под 1015 г.), призывал помогать нищим («вдаяи нищему Богу взаимъ дает» — 125, под 996 г.) и братьям («братья в бедах пособива бывають» — 203, под 1078 г.). Однако якобы человеколюбивые высказывания Соломона, приводимые летописцами в летописи, слишком эпизодичны, единичны, очень разрозненны и все таки разнотипны по содержанию, чтобы приписать летописцам более широкий взгляд на Соломона. Он для них мудр, и только.

Причина столь упрощенного взгляда летописцев на Соломона вовсе не так угнетающе примитивна, как может показаться. Если бы Соломон вообще не нужен был летописцам, то они не упоминали бы его и не ссылались бы на него так неоднократно (под 852, 955, 969, 980, 986, 996, 1037, 1075, 1078 гг.). К упрощению взгляда на Соломона подтолкнул летописцев, как нам думается, любопытный умственный процесс: Соломон для летописцев из области многосодержательного книжного чтения стал передвигаться в область устных припоминаний, элементарных мотивов, кратких разговорных выражений.

Некоторые следы «устности» летописного Соломона увидеть нетрудно. Соломона летописцы упоминали в основном в первой половине летописи, то есть в самой эпичной ее половине, причем там имя Соломона писалось, как правило, не в книжной его форме, а в форме, так сказать, разговорно-народной — «Соломанъ». Цитаты из «Притч» Соломона летописцы, кажется, тоже не подвергали книжной сверке, но больше приводили их на память с разными неточностями и колебаниями. Например, высказывание Соломона от имени мудрости (Притчи, VIII, 17) в одной и той же летописной статье то звучало так: «Ищющи бо мудрости обрящють», то этак: «Азъ любящая мя люблю, и ищющим мене обрящють мя» (62, под 955 г.); а в последующей статье и несколько иначе: «Азъ любящая мя люблю, ищющи мене обрящють благодать» (152, под 1037 г.).

Летописец, бывало, предпочитал ссылаться не точно на Библию или на книгу Соломона, а на какие-то припоминаемые рассказы о нем: «Бе бо, рече, у Соломана женъ 700, а наложниць 300» («рече» то есть говорят, рассказывают). Древнерусские летописные персонажи иногда выдавали эту ориентацию летописцев на устную память: персонажи тоже не столько читали, сколько слышали и с упрощениями держали в памяти библейские цитаты. Так, о крестителе Руси великом князе киевском Владимире летописец недаром написал, что тот на слух вспоминал

о Соломоне: «Соломона же *слыша* глаголюща: "Вдаяи нищему Богу взаимъ дает". Си *слышавъ* ...» (125, под 996 г.).

Процесс формирования устного фонда не замыкался на Соломоне и был гораздо шире. Летописцы XI — начала XII вв. не являлись скрупулезными книжниками, но ориентировались на обширный фонд устных припоминаний, касавшихся и других библейских героев и книжного Писания в целом. В связи с этим показательно, как это обстоятельство отразилось на летописных персонажах: книжное Писание чаще выступало у летописцев не столько как предмет чтения, сколько как предмет слушания. Вот летописец сообщает о составлении славянской азбуки и переводе Апостола и Евангелия на славянский язык, — результат: «И ради быша словени, яко *слышиша* виличья Божья своимь языкомь» (27, под 898 г.). Соответственно тогда «на Русьстеи земли.. си бо не беша преди *слышали* словесе книжного» (119, под 988 г.). Тот же Владимир Креститель, по сообщению летописца уже «любя словеса книжная». Но в каком виде? — «*Слыша* бо единою еуангелье чтомо... и Давида глаголюща» (125, под 996 г.). Слушать Писание летописцы предлагали и своим современникам, всем «намъ» — цитировали различные библейские высказывания, но подавали их как устно говоримые для слушания: «Богъ... глаголеть бо... намъ... Глаголеть Господь вседержитель, си *слышаще*, въстягнемъся на добро» (168–169, под 1068 г.). Слушание Писания предполагалось в первую очередь, конечно, в церквях (ср. об апостолах: «ученья ихъ, аки трубы, гласять по вселенеи в церквахъ» (83, под 983 г.); однако внецерковное прямое чтение Писания и иных книг летописцы рассматривали тоже как устное действо: «Иже бо книгы часто чтеть, то *беседуеть* с Богомь или святыми мужи» (152–153, под 1037 г.).

Этот фонд устных припоминаний летописцев отпочковался от книжности, но не входил в фольклор, а был промежуточным между ними, а, возможно, и самостоятельным культурным явлением, разновидностью коллективной устной словесности, состоявшей из элементарных представлений, отразившихся в собрании популярных отрывков, адаптированных, удобных для памяти кратких, упрощенных выражений, цитат, сведений, мотивов, характеристик и даже композиций рассказиков, регулярно вносимых в летопись. Так, в начальной части «Повести временных лет» летописцы интенсивно использовали древнерусский перевод «Хроники» Георгия Амартола, то, как положено книжникам, переписывая из него почти дословно обширные отрывки, но чаще, в некоторой степени подобно сказителям, пропуская через свою память и превращая пространные ученые рассказы «Хроники» в не совсем книжные, краткие, броские, ритмизированно изложенные сообщения, почти анекдоты (в старинном смысле этого слова), и добавляя ссылки на поговорки: «и есть притъча в Руси и до сего дне» (12, вступление к летописи).

Состав фонда устных припоминаний ранних русских летописцев как явление неизученное нуждается в дальнейшем исследовании. Ясно, что его питала не только книжность и письменность, но и слышанные летописные разнообразные слухи и легенды, — «многа словеса», «яко же сказають», которые «человеци глаголаху», а «друзии же инако скажють», либо «людье вси рекоша» и пр. (281; 10; 215; 111;

208. Под 1106 г.; вступление; под 1092 г.; под 988 г.; под 1089 г.). Вот в какую «компанию» попал Соломон в летописи.

Продолжим наблюдения (конечно, предварительные) над состоянием коллективного фонда элементарных представлений и словесных устных припоминаний древнерусских книжников о Соломоне. В XI XIII вв. фонд этот был очень консервативен. Древнерусские авторы постоянно и в разных кратких выражениях поминали в основном лишь мудрость Соломона, которая проявилась не только в его высказываниях, но и при создании богатейшего храма. О строительной мудрости и премудрости Соломона вспоминали летописцы и в XI в. («Соломанъ, иже възъгради церковь Богу, и нарече ю Святая Святыхъ, и бысть мудръ» — 97, под 986 г.), и в XII в. («Святая Святыхъ, юже бе Соломонъ цесарь премудрыи создалъ»[4]), и в XIII в. («Соломонъ Давыда, иже домь Божии великыи и святыи его мудростью созда»[5]), и позже. Помнили древнерусские авторы и о ущербе Соломоновой мудрости из-за его женолюбия: «Соломонъ, паче всехъ человекъ имея премудрость, женами погибе»[6]; «Соломонъ премудрости глубину постигъ, жене повинувся»[7] и т. д. Заметных подвижек в составе элементарных представлений из фонда устных припоминаний о Соломоне вплоть до XIV в. не произошло.

Но в XV в. лед тронулся. Получили распространение целые циклы далеко отошедших от Библии апокрифических рассказов о Соломоне, и почему на Руси это произошло, еще предстоит выяснить. Фонд устных писательских припоминаний, то есть элементарных представлений и упрощенных высказываний о Соломоне, стал получать более обильную подпитку помимо Библии и книжного языка, примером чего служит эпизод из деятельности известного древнерусского книгописца конца XV в. Ефросина. В одном из своих сборников он записал два текста апокрифа о Соломоне и загадочном существе Кито́врасе: один текст, книжный и пространный («Сказание о томъ, како ятъ бысть Китоврасъ Соломономъ»), Ефросин переписал из «Палеи», а другой текст, кратчайший («О Китоврасе от Палеи»), явно сочинил сам, пересказав разговорным языком и в крайне упрощенном виде читанные и слышанные им сюжеты о Соломоне и Китоврасе, — создал памятку, отразив то, что помнил[8]. Сжатие разнообразных книжных материалов в такие удобные памятки было излюбленным занятием Ефросина.

Судя по повторению кратких выражений и упрощенных мотивов в произведениях, коллективный фонд устных припоминаний писателей о Соломоне в XV в. кое в чем изменился. Старые приснопамятные мотивы — Соломон премудр и Соломон женолюбив — получили продолжение в неожиданные сферы, отчего облик Соломона потерял былую монументальность и цельность. Мудрого Соломона книжники уже представляли непрерывно задающим мудреные вопросы и загадки колоритным персонажам или быстро отвечающим на их причудливые загадки. Эта общая исходная композиция в памяти книжников конкретизировалась на листах рукописей в разнообразнейших вариациях. При этом сам Соломон стал дополнительно приобретать в памяти книжников неотчетливые черты книжника же («книг бяше у Соломона царя 8000»; «Соломонъ же, слышавъ, въписа во

зборъникъ стихъ сеи»[9]) и одновременно Соломон связался с бесами («съзва бесы, иже ему служаху»[10]; «рече Соломон бесом»[11]). И одновременно же Соломон стал вспоминаться книжниками как функционирующий царь, и разрозненны е по произведениям, довольно примитивные детали не замедлили себя ждать: Соломон сидит в роскошных палатах («седъ на полатах стекла белого»[12]); задает богатые пиры («створи Соломон пиръ велик отроком своим»[13]; «перепился есть вечеръ... побаляет царь, им же вчера много ялъ есть»[14]); едет на коне («царь, вcase на конь, выеха на брегъ»[15]); имеет «мечь остръ»[16]; рассылает свои грамоты («посла царь Соломон грамоту къ Дарью царю прьскому»[17]), детали разные, еще как бы случайные, но сходный смысл их указывает на новую установку, которая начала ф ормироваться в теперь уже разнородном фонде устных припоминаний книжников XV XVI вв. о мудром и ловком царе Соломоне.

Наступил XVII в. время резчайших перемен, в том числе буйного распространения в России полуфольклорных, частью совершенно нелепых п овествова ний о Соломоне, отражающих огромную мешанину элементарных мотивов и кратких выражений в фонде устных припоминаний сочинителей. К Соломо ну стали присоединяться припоминания о самых неожиданных лицах и типах. Соломон в памяти разудалых рассказчиков превратился, в сущности, в предпр иимчивого и небогатого авантюриста, готового быть кем угодно в каждый данны й момент. Да, он мудрый, но нечто вроде завидного жениха-философа («философст вуя предъ цари и царицами многими»[18]). Он уже не столько патологический женолюбец, сколько галантный кавалер («Соломанъ учалъ девицъ на корабле ви ноградомъ кормить и медомъ поить... и девицы изумелись, смотря... на Саломанову красоту и мудрость»[19]) и даже благополучный семьянин («у Соломана жена прекрасна»[20]). Царские пиры больше похожи на «обеды» с довольно простой публикой («и рече Соломанъ царь: "Купче, буди ко мне заутра на обедъ»[21]; «и царь Соломанъ всталъ за столомъ, молвилъ»[22]). Соломон успевает побыть и гулякой праздным («пошелъ къ морю гулять»[23]), и силачом («могучие плеча»[24]), и купцом («пошелъ торговать по заморью»[25]), и кашеваром («и вышелъ противъ гостей изъ корабля Соломанъ кашеваръ и рече: "Гости заморяне, пора за столъ и за скатерти"»[26]); побывал он и нищим («аки прохожей старецъ милостыню сбирать»[27]), и хулиганом («и Соломанъ всталъ изъ-за стола, пустилъ изъ рукава мышь, и мышь по столу п отекла»[28]), и даже казнимым преступником («и повеле царь Китоврасъ Соломона скоро повесити, и Соломонъ предъ царемъ Китоврасомъ нача плакати»[29]); больше того Соломон оказался и как бы былинным оборотнем («и полете Соломонъ подъ н ебеса яснымъ соколомъ... пошелъ по земли лютымъ зверемъ... и поплыветъ въ море щукою»[30]), и церковно-книжным грешником, попал в ад и воскрес («толико летъ сиде во тме и сени смертней, пострада крепце»[31]). И т. д. и т. п.

Бóльшую мешанину трудно придумать. Строго говоря, фонд устных припоминаний о Соломоне перестал быть коллективным и раздробился на прихотливо-индивидуальные части по отдельным сочинителям XVII в.

В заключение нашего неизбежно беглого обзора темы немного скажем об этих индивидуальных фондах устных припоминаний о Соломоне у древнерусских книжников. Индивидуальные припоминания тех или иных книжников сгруппировались в некие фонды, несомненно, задолго до XVII в. Вот, например, знаменитая «Задонщина» — плод не столько скрупулезной текстологической деятельности неизвестного нам автора конца XIV — начала XV в., сколько работы его фразеологической памяти. В «Задонщине», отличающейся хаотичным мельканием различных элементарных мотивов, упоминался Соломон, правда, в каком виде он упоминался, мы не знаем из-за исчезновения первоначального текста памятника. Но в последующих списках и редакциях произведения этот странным образом появившийся Соломон так или иначе продолжал упоминаться. В старейшем списке, 1470-х годов: «Земля еси Русская, какъ еси была доселева за царемь за Соломоном, такъ буди и нынеча за князема великим Дмитриемь Ивановичемь»[32]. В самом полном списке, середины XVII в.: «Руская земля, то первое еси как за царем за Соломоном побывала»[33]. В других списках XVI XVII вв. эта фраза переписана с сильными грамматическими и смысловыми искажениями.

Соломон в качестве героя русской истории совершенно неведом ни письменности, ни фольклору. Его проникновение в «Задонщину» пока необъяснимо. Но его стойкое сохранение как элементарного мотива в списках «Задонщины», даже с какой-то попыткой обоснования в старейшем списке, уже можно объяснить и феноменом памяти книжников. Хотя с текстом «Задонщины» книжники не очень церемонились, однако невнятная фраза о Соломоне сохранялась, по всей вероятности, благодаря тематическому окружению «Задонщины» в рукописных сборниках, которые переписчики «Задонщины» сами и составляли. «Задонщина» в этих сборниках как раз и окружена повествованиями о Соломоне. Так, старейший список «Задонщины» XV в. писан рукой уже названного нами Ефросина, вписавшего в свой сборник перед «Задонщиной» притчу Соломона «о женской хитрости», а после «Задонщины» — сообщения о храме «Святая Святых» Соломона, загадку с упоминанием Соломона, серию рассказов о судах Соломона, затем отрывки из иных притч Соломона и пр.[34] В аналогичной ситуации находится и самый полный список «Задонщины» XVII в., непосредственно перед которым тот же писец переписал «Повесть о царе Давиде и о сыне его Соломоне и о их премудрости», «О суде царя Соломона» и «Соломана царя премудрость»[35]. Соломон все время был на слуху составителей этих сборников, когда они переписывали «Задонщину», и, так сказать, охранял его мимолетное «прорусское», защитительное упоминание в ней, тем более что в «Повести о царе Давиде и сыне его Соломоне» Соломон перед Давидом прямо охарактеризовал их царство как христианское, почти что русское: «то твое царство... твои ближние бояре, и околничие, и думные дворяне... твои православные христиане»[36]. И вообще, такая защитительная мысль, видимо, бытовала издавна: ведь Соломон, по толкованию древнерусского «Азбуковника» XVI в., это «миръ, рекше тишина и безмятежие»[37].

Вопрос о фонде элементарных представлений и кратких выражений в памяти древнерусских писателей, о его признаках (устность, упрощенность, повторность, вариативность), о его границах, объеме и составе, о его разновидностях и особенно его функциях в литературе только лишь поставлен в данной статье, притом на очень ограниченном и неполно подобранном материале. Методика выявления такого фонда еще не разработана. Терминология данной темы не апробирована. Этот объект изучения, думается, примыкает к проблеме исследования средневековой «устной литературы» других народов[38]. Задач на самом деле так много, что с налету их не решить.

Примечания

[1] «Повесть временных лет» // ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 62. Под 955 г. Далее столбцы указываются в скобках. Орфография памятников упрощена.

[2] Эту цитату в исправном виде см.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 193.

[3] Эти цитаты в исправном виде см.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 72 73.

[4] «Киевская летопись» // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 581. Под 1175 г.

[5] «Галицко-Волынская летопись» // Там же. Т. 2. Стб. 922. Под 1289 г.

[6] «Киево-Печерский патерик» // Памятники литературы Древней Руси: XII век / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1980. С. 544.

[7] Послание Якова-черноризца к князю Дмитрию Борисовичу // Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1981. С. 458.

[8] См.: Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века / Тексты апокрифов подгот. Г. М. Прохоров. М., 1981. С. 68 72. См. также: *Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // Труды Отдела древнерусский литературы. Л., 1980. Т. 35. С. 182, 184.

[9] «Судове Соломони» // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Вып. 3 / Тексты апокрифов подгот. А. Н. Пыпин. С. 55, 56.

[10] «О судех евреискаго царя Соломона, сына Давидова» // *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 1. С. 269.

[11] «Сказанье о царевне» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 53.

[12] «О южичкой царици» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 54.

[13] Суды Соломона // Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. С. 66.

[14] «Повесть о Китоврасе» // *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. С. 255.

[15] «Сказанье о царевне» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 53.

[16] «Судове Соломони». С. 56.

[17] «О судех евреиска царя Соломона, сына Давидова». С. 269.

[18] «Сказание о премудрости царя Соломона» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 61.

[19] «Повесть царя Давида и сына его Соломана и о ихъ премудрости» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 65.

[20] «Притча царя Соломона о цари Китоврасе» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 59.

[21] Там же. С. 60.

[22] «Повесть царя Давида и сына его Соломона и о ихъ премудрости». С. 65.

[23] Там же. С. 63.

[24] Там же. С. 65.

[25] Там же. С. 67.

[26] Там же. С. 64.

[27] «Притча царя Соломана о цари Китоврасе». С. 60.

[28] «Повесть царя Давида и сына его Соломана и о ихъ премудрости». С. 65.

[29] «Притча царя Соломана о цари Китоврасе». С. 60.

[30] «Повесть царя Давида и сына его Соломана и о ихъ премудрости». С. 67.

[31] «Повесть дивна о цари Соломани» // Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 71.

[32] Тексты «Задонщины» / Подгот. Р. П. Дмитриева // Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 549.

[33] Там же. С. 537.

[34] Рукопись Российской национальной библиотеки, собрание Кирилло-Белозерское, № 9/1086, л. 116 224 об., 520 521. См.: *Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина. С. 120 125, 141.

[35] Рукопись Российской государственной библиотеки, собрание Ундольского, № 632. Л. 143 193 об.

[36] Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. С. 64 65.

[37] «Книга, глаголемая Алфавитъ» // *Ковтун Л. С.* Азбуковники XVI XVII вв.: старшая разновидность. Л., 1989. С. 259.

[38] См.: *Куделин А. Б.* Арабская литература: Поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003. С. 12 и сл.

II

ПОЭТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» И «ХРОНИКА» ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

По характеру использования различных источников в «Повести временных лет» можно понять, отличались ли ранние русские летописцы друг от друга как повествователи. Этого вопроса касались А. А. Шахматов, Д. С. Лихачев, И. П. Еремин, М. Х. Алешковский, А. Л. Никитин, И. Н. Данилевский и др., но говоря о политической и религиозно-нравственной позиции летописцев. Был ли свой стиль у каждого летописца? Довольно большой материал для собственно литературоведческих наблюдений предоставляет «Хроника» Георгия Амартола, славяно-русский перевод которой был использован летописцами буквально на всех этапах создания «Повести временных лет». Давно уже отмечены текстологически крупные заимствования из «Хроники» в «Повести временных лет» (они определены А. А. Шахматовым[1], всего около 30 случаев), но можно заметить и более мелкие фразеологические и стилистические соответствия (тогда прибавляется еще около 40 случаев). Далее предлагается нечто вроде журнала наблюдений по основным этапам формирования летописи.

1. «Древнейший свод» (около 1039 г.)

Начнем с древнейшего из этапов в создании «Повести временных лет», как они выделены и названы А. А. Шахматовым[2], с «Древнейшего киевского летописного свода», в последовательности реконструированного А. А. Шахматовым текста. Каждый случай сходства анализируется отдельно. Курсивом обозначаются лексические и фразеологические соответствия обоих памятников. Обобщения делаются после перебора всех случаев сходства.

1. Начальный рассказ «Древнейшего свода» содержал характеристику полян: «Бяху мужи *мудри и съмыслени*»[3] (ср. то же в реально дошедшем тексте «Повести временных лет»: «бяху мужи мудри и смыслени»[4]). В «Хронике» Амартола (то есть в переводе «Хроники») есть сходное место в рассказе о царице Савской: «бе бо и та Сивула зело *смысльна и премудра*»[5]. Однако никаких дополнительных соответствий между рассказами нет. В «Древнейшем своде» здесь наверняка было

использовано ходкое в то время выражение, которое поэтому повторялось с вариациями и без связи с «Хроникой», например, в сообщении об Ольге: «бе *мудра и съмысльна*» (ДС, 543; нет в ПВЛ под 903 г.); а также в рассказах о Владимире: «ты, кънязь, еси *мудръ и съмысльнъ*» (ДС, 557; ПВЛ, 84, под 986 г.); «избьра отъ нихъ мужа *добры и съмысльны*» (ДС, 554 555; ПВЛ, 79, под 980 г.).

2. В «Древнейшем своде» о князе Святославе говорилось: «Кънязю Святославу... нача вои съвъкупляти мъногъ и храбръ, бе бо самъ храбръ и легъкъ, *акы пардусъ*... И посылаше къ странамъ...» (ДС, 546 547; ПВЛ, 64 65, под 964 г.: «Князю Святославу... нача вои совкупляти многи и храбры и легъко ходя, *аки пардусъ*... И посылаше къ странамъ...»).

Откуда летописцем было взято сравнение с пардусом, не совсем ясно. В «Хронике» Георгия Амартола это сравнение относилось к Александру Македонскому: «По Филипе царствова въ Македонии Александръ, сынъ его... воя своя изрядивъ... и скочи, *акы пардусъ* съ многою силою на въсточныя страны... посла къ Июлеемь... такъ бо обычаи имяше Александръ, посылающю слы от себе к противящемъся ему цесаремъ» (42, 47).

В. М. Истрин отметил сравнение с пардусом в трех памятниках в летописи, «Хронике» Амартола и в «Александрии»: «море прескочи, *акы пардусъ*, дръзостью воюя землю сурьскую... посылаше послы къ июдсамъ»[6]. Но это место отсутствует в «Александрии» первой редакции, появилось оно лишь во второй редакции «Александрии» начала XV в. и, значит, было заимствовано летописцем XI в. из «Хроники» Амартола[7]. Однако уподобления Святослава Александру Македонскому в летописи вовсе не проводилось. Просто летописец уместно припомнил выразительный фразеологический осколок то ли из «Хроники», то ли еще откуда (ведь А. А. Шахматов предполагал, что летописная характеристика Святослава, включая сравнение с пардусом, могла восходить и к некоей не дошедшей до нас болгарской хронике[8]).

Составителю «Древнейшего свода» вообще было свойственно использовать краткие шаблонные сравнения для яркого обозначения основного морального свойства или эмоционального состояния летописных персонажей или событий: например, Ольга внимала христианскому учению «*акы губа* напаяема» (ДС, 545; ПВЛ, 61, под 955 г.) и «*акы дьньница* предъ сълньцьмь и *акы заря* предъ светъмь сияше» (ДС, 548; ПВЛ, 68, под 969 г.); «дияволъ... сь бяшеть ему, *акы търнъ* въ сьрдьци» (ДС, 555; ПВЛ, 82, под 983 г.); «апостоли... учения ихъ, *акы трубы* гласять» (ДС, 556; ПВЛ, 83, под 983 г.); «матери же чадъ сихъ... *акы по мьртвьцихъ*, плакахуся» (ДС, 562; ПВЛ, 119, под 988 г.); убийцы Бориса «нападоша на нь, *акы зверие* дивии» (ДС, 5734 ПВЛ, 134, под 1015 г.); Глеб «*акы агня* непорочьно принесеся на жьртву Богови» (ДС, 574; ПВЛ, 136, под 1015 г.).

Однако, как можно убедиться, почти все приведенные сравнения имели церковный, а не воинский характер. Вероятно, к Святославу церковно окрашенное сравнение применить было нельзя, а морально-воинское — можно; он храбр и быстр, как пардус (в последующем «Начальном своде» этот моральный смысл был

разрушен и превращен в физический: «и легъко ходя, акы пардусъ»[9]). В общем, сравнение Святослава с пардусом входило в мозаику рассеянных по «Древнейшему своду» лапидарных оценок князьям или другим персонажам.

3. В заключительном рассказе о Святославе сообщалось о печенежской осаде, в которую у устья Днепра попал Святослав: «и не бе у нихъ брашьна уже, *и бысть гладъ великъ, яко* по полугривне *глава* коняча» (ДС, 551; ПВЛ, 73 74, под 971 г.). Аналогия из «Хроники» Амартола выглядит так: «приде Адеръ, цесарь суриискыи, и седе округъ Самария, *и бысть гладъ велии, яко* продатися *главе* ослина 30 сребрьникъ» (180).

Нельзя с уверенностью возводить это летописное сообщение именно к «Хронике» Амартола, так как никакой параллели между голодом в стане Святослава и голодом в Самарии не прослеживается. Тем не менее можно допустить, что подобное обозначение меры голода летописец взял на вооружение то ли из «Хроники» (ср. в ней еще: о голоде в войске византийского императора Юлиана Отступника: «скорбящимъ… о недостатце *брашьнемь*, толикъ гладъ одержаше й, яко и *конину* и *мьщину* ясти имъ» 363), то ли из других источников, возможно, из Библии, но, если взял в «иностранном» виде, то русифицировал сообщение, заменив сребренники на гривны, а ослиную голову на конскую.

Обращение летописца к коню, а не к лошади, не случайно: боевой конь использовался в «Древнейшем своде» для выразительного обозначения степени того или иного качества. В рассказах о Святославе это делалось неоднократно, хотя и не всегда прямо. Слишком детский возраст Святослава: «суну копиемь Святославъ на деревляны, и копие лете сквозе уши *коневи* и удари въ ногы *коневи*, бе бо детьскъ» (ДС, 544; ПВЛ, 58, под 946 г.). Теснота осады Киева печенегами: «И оступиша градъ въ силе велице, бещисльно мъножьство около града, и не бяше льзе *коня* напоити, на Лыбеди печенегы» (ДС, 547; ПВЛ, 65 и 67, под 968 г.). Степень богатства Переяславца, по высказыванию Святослава: «Хочю жити Переяславьци въ Дунаи, ...яко ту вься благая съходяться», в том числе «*комони*» (ДС, 548; ПВЛ, 67, под 969 г.).

Конь для обозначения меры качества использовался и в дальнейших рассказах «Древнейшего свода». Тучность польского короля Болеслава: «бе бо Болеславъ великъ и тяжькъ, яко и на *кони* не могы седети» (ДС, 577; ПВЛ, 143, под 1018 г.). Тяжесть болезни Святополка Окаянного: «и раслабеша кости его, не можаше седети на *кони*» (ДС, 578; ПВЛ, 145, под 1019 г.). Мера высоты: «възвыше, яко на *кони* стоящю досящи» (ДС, 581; ПВЛ, 150, под 1036 г.).

В последующих сводах такой способ повествования исчез и, видимо, не ценился. Так, в рассказе «Начального свода» об осаде Киева печенегами прежнее обозначение тесноты осады было разрушено большой вставкой[10].

Правда, и в «Начальном своде» однажды как будто бы прежним способом была указана степень мора: во время похода Ярослава, посланного Владимиром на ямь, «помроша *кони* у вои Володимерь; яко и еще дышающемъ *конемъ*, съдираху хъзы съ нихъ, — толикъ бе моръ въ *конихъ*» (195; ПВЛ, 153 154, под 1042 г.). Однако

здесь обозначением меры качества служили не кони, а их «хъзы»; а кроме того, это маленькое сообщение могло являться припиской к «Древнейшему своду», сделанной еще до составления «Начального свода», как и последующий рассказ о походе сына Ярослава на греков (ПВЛ, под 1043 г.)[11].

В общем, выразительное обозначение меры качества конем, вероятно, имело воинские корни и в раннем русском летописании было характерно лишь для «Древнейшего свода».

4. Сообщение о голоде у Святослава заканчивалось следующей развязкой: «Весне же приспевъши, поиде Святославъ въ порогы, и нападе на нь Куря, кънязь печенежьскыи, и *убиша* Святослава, взяша *главу* его и въ *лъбе* его съделаша чашю, *оковавъше* лъбъ его, и *пияху* по немь» (ДС, 551; ПВЛ, 74, под 972 г.). Все это не только в целом, но и в деталях напоминает историю войны византийского царя Никифора и болгарского князя Аптокрумля в «Хронике» Амартола: Аптокрумль «*уби* его... Никифору же *главу* усекнувъ... потом же обнаживъ *лъба* и *оковавъ* сребромъ извну, и повеле *пити* из неа княземъ блъгарскымъ» (487).

Об ориентации «Древнейшего свода» на «Хронику» Амартола дополнительно свидетельствует еще одна параллель, правда, косвенная. В «Хронике» причиной гибели Никифора объявлено его корыстолюбие: Никифору предлагали мир, но «царь же *не послуша* отинудь мирскых глаголъ *многыа ради несытости*», а ведь «непресыщениемъ мнози умрошя... колици бо болшему *желающе*, от всего испадоша» и т. д. (487–488). Соответственно в «Древнейшем своде» о корыстолюбии Святослава хотя и не говорилось прямо, но намек на это был: Святослав собрал с греков чрезмерно большую дань («и даша ему дань; имашеть же и за убиеныя... възя же и дары мъногы» — ДС, 550; ПВЛ, 71, под 971 г.; «възьмъ именье мъного у грькъ и полонъ бещисльнъ», — ДС, 550; ПВЛ, 73, под 971 г.).

Затем, в «Начальном своде» намек на корыстолюбие Святослава подкрепился вставкой: воевода посоветовал Святославу миновать днепровские пороги, занятые печенегами, не на ладьях, а «на конихъ около», но Святослав «*не послуша* его и поиде въ лодияхъ» (НС, 87). Почему не послушал? Возможно, потому, что на конях всю собранную дань было не перевезти, а Святославу жалко было терять даже ее часть.

В более поздних летописях упоминания о корыстолюбии Святослава даже приблизились к «Хронике» Амартола, например, во «Львовской летописи»: «чюжимъ паче силы *желая* и своя си погуби за *премногую его несытость*»[12].

Таким образом, за летописным рассказом о смерти Святослава с самого начала ощущалась тень «Хроники» Амартола. Судя по всему, рассказывая о Святославе, пусть и по народным преданиям[13], составитель «Древнейшего свода», иногда припоминал аналогичные ситуации и эффектные детали из «Хроники» Амартола.

5. В рассказах «Древнейшего свода» о Владимире тоже обнаруживается несколько аналогий с «Хроникой» Амартола. Первая аналогия сомнительна: «И нача къняжити Володимеръ Кыеве единъ и *постави кумиры на хълму* вне двора теремьнаго, и творяше потребу кумирамъ съ людьми своими» (ДС, 555; ПВЛ, 79, под 980 г.); «Хроника»: «По Феодосьи же царствова Аркадии... тъ столпа *постави* на

Ксиролофе, рекъше сухыхъ *холмъ*, на немь же своего *утверди кумира*» (392); ср. также в оглавлении к «Хронике»: «По Феодосии царствова Аркадии... иже столпъ *на* сусе *холме постави*, на нем же свои *кумиръ постави»* (15).

Вряд ли «Древнейший свод» восходил здесь непосредственно к «Хронике», тем более что содержание сравниваемых отрывков все-таки различно. Сходство же их фразеологии объясняется, скорее всего, существованием, может быть, все-таки навеянного «Хроникой» Амартола некоего словесного шаблона для сообщений об установке языческих кумиров. Ср. в «Речи философа», которая входила в «Древнейший свод»[14], отрывок, связанный с «Хроникой» Амартола[15]: «створи две главе злате, *постави* едину въ Вефиле *на холме*» (ПВЛ, 97, под 986 г.).

6. В «Древнейшем своде» болгары-магометане излагали Владимиру принципы своей веры, в том числе: «*поклонися* Бохьмиту... веруемъ *богу*, а Бохьмить ны *учить*, глаголя: *обрезати* уды таиныя, и *свинины не ясти, вина не пити*; и по съмерти же, рече, *съ женами похоть* творити блудьну... Аще *къто* будеть *богатъ сьде*, то и *тамо*; аще ли есть *убогъ сьде*, то и *тамо*» (ДС, 557; ср. ПВЛ, 84–85, под 986 г., где в последней фразе допущен механический пропуск [16]). Несомненную аналогию находим в «Хронике» Амартола в рассказе о Магомете-Бохмите: «*научи обрезыватися* мужем и женамъ, единому точию *покланятися богу... Научи* же я... *не приимати свиных мясъ, вина* же всема ти *не примати...* Праведнымъ же... в раи имъ внити... *женам* же с ними быти... и всяко угажати... плоть *похотну... Кождо* же убо зде поживет *въ богатстве* ли *в нищете* и беславы, такым же образомъ *тамо* пребываеть» (450–451).

Составитель «Древнейшего свода», по-видимому, использовал большой рассказ о Магомете из «Хроники» Амартола (или из хронографа, где «Хроника» была), изложил сведения в той же последовательности, что и в «Хронике», но не переписал все целиком, а сделал выборку только основных положений магометанского вероучения, без рассуждений Амартола по их поводу, кратко пересказал сведения и превратил в сжатое перечисление, — очень деловитый подход, который сохранялся в «Древнейшем своде» и при изложении основ христианского и иных вероучений (ср. поучение царьградского патриарха Ольге, варяга киевлянам, «немцев» и хазар Владимиру, греческого философа Владимиру о магометанах, Владимира боярам о речи философа).

7. В заключительном рассказе «Древнейшего свода» о выборе вер Владимиром «бояре реша: ...Ольга, яже бе *мудреиши вьсехъ человекъ*» (ДС, 560; ПВЛ, 108, под 987 г.). Аналогичный способ изложения в «Хронике» Амартола относится к Соломону: «иписание нарицаеть, глаголя: ...преумножися умъ его *паче* всего *ума всех* древнихъ *человекъ* и *паче всех умныхъ* егупетьскых... *паче всех* суще *премудреише и умнеише...* и *премудрьствова паче всех человекъ*» (144).

В «Древнейшем своде» Соломон упоминался только в связи с Ольгой и больше ни с кем. Так, в некрологической похвале Ольге именно ей была адресована цитата из Притч Соломона (ДС, 549; ПВЛ, 68, под 969 г.); в «Начальном своде» эта связь была усилена дополнительным эпизодом с Соломоном в рассказе о крещении Ольги.

Похвала же бояр Ольге, похоже, ориентировалась на «Хронику» Амартола, но составитель «Древнейшего свода» по своему обыкновению сжал похвалы Соломону в краткую формулировку о мудрости Ольги.

8. Рассказ о смерти Святополка Окаянного в составе «Древнейшего свода» (ДС, 578; ПВЛ, 145, под 1019 г.) имеет параллели в разных местах «Хроники» Амартола.

Выражение «*раслабеша кости его*» из «Древнейшего свода» соотносится с выражением «вся телесная *удеса его раслабешася*» в «Хронике» Амартола, в рассказе о смерти сирийского правителя Антиоха IV Гордого (203). Использование летописцем рассказа об Антиохе подтверждается и сходством деталей. В «Хронике» злодей Антиох бежал после поражения от персов; соответственно злодей Святополк бежал после поражения от Ярослава. В «Хронике» Антиох «повели оружнику своему беспрестани поганяти»; соответственно Святополк своим отрокам «глаголаше: побегнете... побегнете». В «Хронике» Антиох сетовал: «се погыбаю въ земли чюжеи»; соответственно летописец сообщил, что Святополк «прибежавъ въ пустыню межю Ляхы и Чехы».

Выражение, следующее далее в летописном рассказе, «*испровьрже зъле животъ свои*» тоже восходило к рассказу об Антиохе в «Хронике» («*уродьствьно житие* въ чюжеи стране *испроверже*»), однако тут летописец припомнил и другие подобные выражения, повторявшиеся в «Хронике», особенно в оглавлении к ней: «*зле житие си испроверже*», «*свои животъ* по правде *зле извращи*», «*изверже зле житиа си*» (14, 18, 25); ср. также и в рассказах «Хроники»: «*испроверже житья своего*» (357), «*испровръже* скверно и оканно *житие зле*» (482) и пр.

Заключительная нравоучительная фраза в летописном рассказе о смерти Святополка содержала выражения — «*показоваше яве посъланая* на нь *пагубьная рана* и по съмерти *муку* вечьную», которые были взяты летописцем из рассказа «Хроники» о смерти уже иного злодея, правителя Иудеи Ирода Великого: «житье си испроверже... по отшествии сего света прияша *мукы* оканьнаго, *показавше яве* образъ, абы приятъ сего от Бога *послана рана пагубная...*» (215–216)[17].

По летописному рассказу о смерти Святополка видно, что составитель «Древнейшего свода» держал в памяти аналогичные рассказы и подходящие выражения «Хроники», используя их по случаю для своего сжатого изложения.

В целом впечатление таково, что составитель «Древнейшего свода» лишь в отдельных эпизодах летописи использовал подходящие ему сюжеты и детали из «Хроники» (преимущественно об отрицательных лицах и событиях, см. примеры № 4, 6, 7, 9); но чаще он предпочитал употреблять шаблонные выражения, читающиеся в том числе и в переводе «Хроники» Амартола (см. примеры № 1, 2, 3, 5).

2. «Свод Никона» (около 1074 г.)

«Свод Никона», по реконструкции А. А. Шахматова, выглядит в основном как сравнительно небольшое продолжение «Древнейшего свода», и лишь в одной из

статей этого «Свода Никона» можно обнаружить параллели с «Хроникой» Амартола. Никон рассказал о новгородском волхве, который «мъногы прельсти... глаголашеть бо, яко “преиду по Волхъхову предъ вьсеми”... ростии и́ паде мьртвъ, и людие разидошася, онъ же погыбе телъмь и душею» (ДС-СН, 604; ПВЛ, 181, под 1071 г.). В «Хронике» же сходным образом рассказывалось о некоем лжепроповеднике: «Февда... блазнитель, повинуя к себе многыя, рече: “Азъ пресеку Иердана и проити створю людемъ”. И симъ сгрешивъ, убьенъ бысть и вси сущии с нимь» (225).

Вряд ли Никон здесь взял за образец непосредственно эпизод из «Хроники» Амартола; вероятнее всего, существовал повлиявший на Никона какой-то штамп рассказывания о плохом конце, так сказать, идеологических нечестивцев; тем более что в последней фразе цитированного отрывка Никон использовал распространенную формулу «телом и душею» (ср. в «Хронике» Амартола: «умре душею и телъмь» 364, 480 и пр.). Так что в данном рассказе у Никона продолжилась та же ориентация на сюжетно-фразеологические схемы «Хроники», что и в «Древнейшем своде».

3. «Начальный свод» (около 1095 г.)

1. «Начальный свод», как установлено А. А. Шахматовым[18], имел свое название «*Врменникъ*, еже нарицается летописець рускыхъ князь...» (НС, 361). Название свода явно перекликалось с заголовками «Хроники» Амартола: «*Временъникъ* въпросте» (31), «*Временьник* о хрестьянскыхъ цесарехъ» (333). Так составитель «Начального свода», возможно, показал, что «Хронике» Амартола он будет уделять большее внимание, чем это делалось раньше.

2. И действительно, первая же фраза предисловия к «Начальному своду» явилась обобщением сведений и формулировок из «Хроники» Амартола: «Яко же бысть древле цесарь Римъ, и *прозъвася въ имя его* градъ Римъ; и пакы Антиохъ, и бысть Антиохия Великая; и пакы Селевкъ, и бысть Селевкия; и пакы Александръ, и бысть *въ имя его* Александрия; и по мънога места тако *прозъвани* быша град ти *въ имена* цесарь техъ и кънязь техъ. Тако же и въ нашеи стране *прозъванъ* бысть градъ великыи Кыевъ *въ имя* Кыя» (НС, 361 362). Ср. в «Хронике» Амартола: «царствова Ромъ, иже созда Римъ градъ, и Римъ, братъ его» (39); «Селевкии... тъ три грады созда... 1. Селевкии нарече, 2. Антиохии, 3. Лаодикию *въ свое имя*, и в сыновне, и въ дщерие, бе бо имя еи Лаодикия» (199); Александр Македонский «великую Александрию *въ свое имя* созда» (47). В «Хронике» немало сообщений о том, что очередной правитель «градъ создавъ, *нарече* и́... *въ свое имя*» или «въ имя» чье-либо (35, 36, 86 и пр.).

Первый же после предисловия рассказ о Кие и его братьях в «Начальном своде» содержал объяснение названия Киева: «*въ имя брата* своего стареишаго *нарекоша* и́ Кыевъ» (НС, 365; ПВЛ, 9). В «Древнейшем своде» этого объяснения не было, вставленное в «Начальный свод»[19], оно, судя по форме и повествовательной манере, тоже ориентировалось на «Хронику» Амартола.

3. После рассказа о создании Киева и о полянах в «Начальном своде» следовала вставка о походе Руси на Царьград[20]: «Въ си же времена бысть в Гречьстеи земли цесарь именьмь Михаилъ и мати его Ирина, иже *проповедашеть покланяние иконамъ въ пьрвую неделю поста.* При семь *придоша русь на Цесарьградъ* въ кораблихъ, *бес числа* корабль. А *въ дъвою съту въшьдъше въ Судъ, мъного* зъло *сътвориша* грькомъ и *убииство* велико *хрьстияномъ. Цесарь же съ патриархъмъ Фотиемь мольбу сътвори въ цьркъви святыя Богородица Влахерне вьсю нощь. Таче святыя Богородица ризу изнесъше, въ море скутъ омочиша.* А въ время то, яко *тишине сущи, абие буря въста*, и потапляше корабля русьскыя, и *извьрже й на брегъ. И въ свояси възвратишася*» (НС, 365 366; ср. ПВЛ, 21 22, под 866 г.).

Этот отрывок примечателен тем, что в нем «Хроника» Амартола (вернее, ее продолжение, составленное Симеоном Логофетом) была использована по-разному. В первой фразе составитель «Начального свода» напомнил предыдущее изложение «Хроники»; ср. в «Хронике»: «Святых *иконъ поклонение проповедавъ в первую неделю* святого *поста*» (503). Вторая фраза летописного отрывка кратко обозначила суть дела с оглядкой на «Хронику», в которой сообщалось, «яко *русь на Костянтинь град идут*» (511); притом летописная деталь «бес числа корабль» также была навеяна фразеологией предыдущего изложения в переводе «Хроники»: «пловущимъ премногомъ *бес числа*» (420), «воя *бес числа*» (466) и пр. Зато все дальнейшее в летописном рассказе явилось сравнительно точной выпиской из «Хроники», хотя и с сокращениями; ср. в «Хронике»: «Русь же, *внутрь Суда вшедше, много убииство христианомъ створиша.* И пришли бяху *въ двоесту* лодей... Царь же... вниде и *съ патриархомъ Фотиемь* къ сущии *церкви святыа Богородица Влахерне*, и абие пакы *всюнощную молбу створиша... Таче* божественую *святыа Богородица ризу* с песньми *изнесше, в мори скутъ омочивше. Тишине же сущи* и морю укротившуся, *абие буря* съ ветромъ *въста...* руси лодия възмяте, и *къ брегу привержени* избиени... *И въ своаси* с побеждениемъ *възвратишася*» (511).

Сам факт появления этой довольно заметной фактографической выписки из «Хроники» в «Начальном своде», конечно, не означал изменения прежней лаконичной повествовательной манеры летописца, но все же мог быть симптоматичным в литературном отношении.

4. В рассказе о призвании варягов встречается редкое выражение: « и *въсташа* сами *на ся* воеватъ» (НС, 368; ПВЛ, 19, под 862 г.). Аналогию можно заметить в оглавлении к «Хронике» Амартола: «сущеи же людье въ Костянтине граде *въсташа на ся*» (17). Однако о связи летописи с «Хроникой» тут говорить нельзя с уверенностью. Скорее всего, подобное выражение, все-таки бытовавшее в книжности, было использовано в переводе «Хроники» и в летописи независимо друг от друга.

5. Видимо, ничем иным как общей фразеологической традицией обозначения почести объясняется и сходство выражений между летописным рассказом об Ольге и рассказом «Хроники» об Аврааме; летопись: «хощю вы *почьстити* наутрия *предъ людьми* своими» (НС, 63 64; ПВЛ, 56, под 945 г.); «Хроника»: «цесарь вельми *похваливъ* Аврама и, *предъ всеми* видевъ удивлена, многы дары великыми его

почте предъ всеми» (85); ср. еще: Давид «постави цесаремь сына своего Соломона, пакы рече к нему *предъ людьми»* (Хроника, 137).

6. Теперь перейдем к летописным рассказам о Владимире. Об осаде Корсуня Владимиром в «Начальном своде» было сказано: «Володимеръ же *обьстоя градъ...* и преяша воду, и *людие изнемогоша жажею водьною и предашася»* (НС, 137 138; ПВЛ, 109, под 988 г.). Аналогично сообщение «Хроники» Амартола об осаде Ветилуи Олоферном: «Олофернии же *приступаше* ко граду, преже *преимъ воду*, и *людемъ изнемогающемъ водною жажею* и хотящемъ *предати градъ»* (192). Никакой параллели между Владимиром и Олоферном в летописи не проводится. Возможно, оба эти сообщения имели общий фразеологический источник; но примечательно, что летописец помнил уже не только отдельные ходкие выражения, а целую повествовательную композицию из них.

7. В том же летописном рассказе об осаде и взятии Корсуня Владимиром летописец упомянул, «колико зъло сътвориша русь гръкомъ» (НС, 139; ПВЛ, 110, под 988 г.). Ср. в «Хронике»: «много зла христианом сотвори» (24), «колико зла створи», «о колицех злых сътвори греком» (25), «много зла крестьяномъ створиша» (26) и т. д. И в переводе «Хроники», и в летописи использовалось распространенное тогда выражение. Ср. в «Начальном своде» еще: «мъного зъло сътворьша... колико си мънс съключи зъла» (НС, 254; ПВЛ, 200, под 1078 г.) и пр.

8. Вероятно, к общеупотребимым ситуационным выражениям относилось в летописи высказывание Владимира, пожелавшего креститься: «великъ Богъ хрьстияньскъ» (НС, 140; ПВЛ, 111, подъ 988 г.); ср. в «Хронике» восклицания иудеев, пожелавших креститься: «великъ Богъ крестьянескъ» (338).

9. В «Начальном своде» более подробно, чем в «Древнейшем своде», была изложена история расправы Владимира с киевскими идолами[21]; в частности, был прибавлен рассказ о надругательстве над Перуном: «повеле кумиры *испровргещи...* Перуна же *повеле... влещи... на поругание...»* (НС, 148 149; ПВЛ, 116, под 988 г.). В летописной статье «Начального свода» наблюдается некоторое сходство с рассказом «Хроники» об аналогичной расправе византийского императора Юлиана Отступника: «...стояше медяный кумиръ Христовъ... его же кумира Иульянъ нечестивыи *сняти* и доловь *на поруганье* и *волочити* и̂ *повеле»* (360).

На предположение о том, что составитель «Начального свода», говоря о Владимировых идолах, опирался на сюжетно-фразеологические припоминания из данного рассказа «Хроники», наводят дополнительные мелкие соответствия. Так, в «Начальном своде» сообщалось, что язычники около идолов *«осквьрняху землю требами* своими» (НС, 95; ПВЛ, 79, под 980 г.); в «Хронике» Юлиан *«истокы жертвами* сквернами *оскверняше»* (360). Далее в «Начальном своде» упоминались именно медные статуи, привезенные Владимиром в Киев: *«медяне* дъве капищи и 4 коне *медяны*, иже и ныне *стоять...»* (НС, 148; ПВЛ, 116, под 988 г.); в том же рассказе «Хроники» упоминалось, что в городе Панеада *«стояше медяныи кумиръ* Христовъ» (360). Наконец, «Начальный свод» добавил, что после расправы с Перуном *«плакахуся* его невернии людие» (НС, 149; ПВЛ, 117, под 988 г.);

в «Хронике» — «видяще крестьяне стонаху и *плакаху* о бываемыхъ» (360–361). И еще одно возможное соответствие: затем в том же рассказе «Начального свода» говорилось, что «се *слышавъше* людие, *съ радостию идяху*» (НС, 149; ПВЛ, 117); а в продолжении рассказа «Хроники» сообщалось, что «*съ* вельею *радостью услышавъше...* жидомъ же отвсюду *стекающимъся*» (362).

Формальная связь «Начального свода» с «Хроникой» Амартола здесь просматривается, но содержание памятников в большинстве случаев противоположно: летописец рассказывал о языческих «кумирах», а Амартол — о статуе Христа; летописец говорил о плаче язычников, а Амартол — о плаче христиан; летописец сообщал о радости желающих креститься, а Амартол — о радости врагов христианства. Составитель «Начального свода», по-видимому, вольно, в своих целях использовал сюжетно-фразеологическую схему подходящего рассказа «Хроники».

Возможно, и не один рассказ «Хроники» схематически повлиял на летописный рассказ о расправе над Перуном. Так, в «Начальном своде»: «Перуна же *повеле привязати* коневи къ хвосту... и 12 мужа пристави *тети жьзлиемь...* на *поругание*» (НС, 148–149; ПВЛ, 116–117, под 988 г.); ср. в «Хронике» о расправе римского полководца над одним из римских сенаторов: «ужемъ *препоясавъ*, и *повеле жезльникомъ бити...* и тако бещести изганъ...» (41). Ср. еще в «Начальном своде», в начале рассказа о поставлении кумиров Владимиром: «*И жьряху* имъ, наричюще я богы, и *привожаху сыны своя и дъщери, и жьряху* бесомъ» (НС, 95; ПВЛ, 79, под 980 г.)[22]; соответственно в «Хронике» об идолах в Самарии: «створиша две злате краве, и поклонишася, и *служаша има* и Ваалу, и *привожаху* имъ *сыны своя и дщери...* и *волхвоваху*» (183).

10. Рассказ о смерти Святополка, уже в «Древнейшем своде» имевший черты сходства с «Хроникой» Амартола (см. из «Древнейшего свода» наш пример № 8), был приведен в «Начальном своде» в еще большее соответствие с «Хроникой»[23]. «Начальный свод»: «Его же по правьде, яко неправьдьна, суду пришьдъшю, по ошьствии сего света, прияша мукы, оканьнаго, показоваше посъланая пагубьная рана въ съмьрть немилостивьно въгъна» (НС, 184–185; ПВЛ, 145, под 1019 г.); «Хроника»: «его же по правде, яко неправеднаго, суду пришедшю, по отшествии сего света, прияша мукы, оканьнаго, показавше яве образъ, абье приятъ сего от Бога послана рана пагубная въ смерть немилостивно въгна» (215–216).

Составитель «Начального свода» сделал буквальную выписку из «Хроники», притом не фактографическую, а нравоучительную, чего не наблюдалось в предыдущих древнерусских сводах.

11. О полоцком князе Всеславе Брячиславовиче в «Начальном своде» говорилось, что тот «немилостивъ есть на кровопролитие» (НС, 196; ПВЛ, 155. под 1044 г.). Это выражение можно сопоставить с «Хроникой», где охарактеризованы злые грешники: «скоры суть на пролитье кръви» (120). Но действительной связи между летописью и «Хроникой» здесь не было, потому что выражение и в летописи, и в «Хронике» восходило к «Притчам» Соломона[24]. Сам «Начальный свод» прямо указывал на источник этого выражения: «О сяковыхъ бо Соломонъ рече:

"Скори суть пролияти кръвь..."» (НС, 168 169; ПВЛ, 132, под 1015 г.); а высказывание о Брячиславе, по-видимому, являлось лишь видоизменением библейского выражения.

12. Зато далее в «Начальном своде» в рассказе о различных зловещих знамениях, от слов «яко же древле, при Антиохе, въ Иерусалиме ключися...» и до слов «проповедающи наитие языка, еже и бысть» (НС, 208 210; ПВЛ, 164 165, под 1065 г.), была сделана непрерывная серия больших выписок, обобщающая тему знамений из «Хроники» Амартола (200, 262, 421, 428, 479, а также 453, 458). Все выписки отмечены А. А. Шахматовым, который считал их восходящими (через новгородский летописный свод середины XI в., которым, по мнению А. А. Шахматова, воспользовался киевский «Начальный свод» конца XI в.) к особому «Хронографу», содержавшему и «Хронику» Амартола[25]. Как бы то ни было, но в литературном отношении составитель «Начального свода» в данном случае явно проявил свою расположенность не к сжатому, а, напротив, уже к довольно пространному повествованию, о чем даже предупредил непосредственно перед выписками: «Се же бывають сица знамения не на добро, мы бо по сему разумеемъ» (НС, 208).

13. «Начальный свод» с жалостью рассказал об убийстве великого князя киевского Изяслава Ярославовича во время битвы: «*вънезапу* приехавъ единъ, *удари й копиемь за плечо*. И *тако убиенъ бысть* Изяславъ» (НС, 255; ПВЛ, 201, под 1078 г.). Кое в чем сходно было сказано в «Хронике» Амартола об убийстве византийского императора Юлиана Отступника тоже во время битвы: «*внезапу* бо *послано копье на нь*, и прободенъ бысть *въ мышьцю*, вниде же ему въ ребра, *темь* прободениемь *животъ сы испроверже*, неведущю ему, кто и уби» (363). Но Юлиан — крайне отрицательный герой «Хроники», а Изяслав — исключительно положительный персонаж летописи. Летописец как нейтральную усвоил сюжетно-фразеологическую схему сообщения о внезапном убийстве правителя независимо от того, был он хорошим или плохим. Подобные случаи в «Начальном своде» были не единичны (см. выше примеры № 6, 9).

Опору на клише составитель «Начального свода» продемонстрировал в рассказе о гибели Изяслава и далее в некрологических рассуждениях о князе: «не въздая зъла за зъло... не възда противу тому зъла... не въдасть зъла за зъло» (НС, 256 257; ПВЛ, 202, под 1078 г.). Эта формула в «Хронике» Амартола относится к Давиду, который не мстил Саулу за преследования: «ничто же възда ему зла противу зла» (126). Но в «Начальном своде» сопоставление Изяслава с Давидом не проводилось, летописец использовал лишь ходкое выражение, независимо от «Хроники» Амартола. Ср. в «Начальном своде» ранее: «не въздающе зъла за зъло» (НС, 215; ПВЛ, 169, под 1068 г. Взято из «Слова о казнях Божиих»[26]).

14. В конце «Начального свода» давалась характеристика киевскому митрополиту Иоанну: «и сякого *не бысть преже* въ Руси, ни *по немь не будеть сякъ*» (НС, 264; ПВЛ, 208, под 1089 г.). Соответственно в «Хронике» Амартола Бог сказал Соломону: «и *не бысть преже* тебе и *по тобе не будет подобенъ* тобе» (144). Но и

тут составитель «Начального свода», скорее всего, оперировал фразеологической схемой, помимо «Хроники».

15. Последние, как предположено А. А. Шахматовым, слова составителя «Начального свода»: «Се бо азъ, грешныи, и мъного и часто *Бога прогневаю* и часто съгрешаю *по вься дьни*» (НС, 284; ПВЛ, 225, под 1093 г.). Сходное выражение в «Хронике» Амартола: «*Бога по вся дни* и часы делы и словесы *прогневающе*» (107).

Ориентация летописца на «Хронику» проявилась здесь вот в чем. В «Хронике» словам о прогневании Бога непосредственно предшествуют нравоучительные рассуждения Амартола на тему: «крепкымъ крепкое предъстоить испытание; научает ь же сими насъ Богъ, яко добродетелныхъ истовее истязаеть... силн ии же силно истязаеми будут... ему же много дано, много истяжють... яко же по многу милость его, тако и многа обличения его...». В «Начальном своде» тем же словам о прогневании Бога непосредственно предшествовали рассуждения летописца точно на ту же тему: «Имь же паче ярость свою възлвиже на ны, яко паче вьсехъ почьтени бывъше... Яко же паче вьсехъ просвещени бывъше и владычьню волю ведуще и презьревъше, въ лепоту паче инехъ казними есмы». Видимо, рассуждения Амартола навели летописца на соответствующие мысли, которые он выразил своими словами.

Подведем итог. «Начальный свод» на всем своем протяжении не часто, но регулярно, от своего начала и до самого конца, обращался к «Хронике» Георгия Амартола, притом к разным ее частям и тоже от ее начала и до ее конца. С «Древнейшим сводом» «Начальный свод» роднит пристрастие к стандартным выражениям и повествовательно-фразеологическим схемам (см. примеры № 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14). Но в отличие от «Древнейшего свода» в «Начальном своде» летописец проявил большее тяготение к подробному и разветвленному изложению, что, в частности, заметно не только по выпискам из «Хроники» (см. примеры № 3, 10, 12) и использованию ее сюжетно фразеологических схем (см. примеры № 2, 9, 15), но и по оговоркам летописца о характере своего повествования, появившимся именно в «Начальном своде» и отсутствовавшим ранее.

Составитель «Начального свода» уже в своем предисловии призывал внимательней знакомиться с разросшимся летописным повествованием: «Васъ молю, стадо Христово, съ любовию приклоните ушеса ваша разумьно... Мы же... вься по ряду извьстно да съкажемъ» (НС, 363 364; ср. реально дошедший текст с этим предисловием в «Новгородской первой летописи» младшего извода[27]). Составитель «Начального свода» предупреждал о своих новых рассказах, вставленных в летопись: «По семь съкажемъ о приключивъшихъся въ летехъ сихъ», «и се да съкажемъ...», «се же написахъ и положихъ...» и т. д. (НС, 373, 197, 203[28]); скромно признавался, что это он еще мало рассказал: «скажемъ... мало»; «на меню николико», «се же повемь мало нечьто», «нъ се реку мало нечьто» и пр. (НС, 232, 240, 268, 269[29]); ссылался на прежние рассказы: «о немь же преже съказахомъ», «яко же рекохомъ», «яко же рекохомъ преже» и др. (НС, 91, 193, 275[30]); указывал на окончание сделанных вставок: «мы же пакы на последование възвратимъ ся, глаголюще

сице...», «нъ мы на предьнее възвратимъся», «мы же на предълежащи пакы възвратимъся» (НС, 362, 367, 216); наконец, предвосхищал будущие свои рассказы: «яко же последи скажемъ»[31], «пакы съкажемъ» (96, 203).

Гораздо бóльшую развитость повествования в «Начальном своде» можно объяснить большим количеством новых идей в нем, но для их раскрытия нужно особое исследование, уводящее далеко от связи древнерусской летописи с «Хроникой» Амартола.

4. «Повесть временных лет» Нестора (около 1113 г.)

1. Географическое начало «Повести временных лет» (1 3) о разделении Земли между сыновьями Ноя, как установил А. А. Шахматов[32], почти целиком было переписано из «Хроники» Амартола (58 59), не без влияния, правда, какого-то «Хронографа». Судя по характеру сокращений в летописной статье, Нестора интересовали чисто справочно-фактические сведения, бесконечные пере числения, а не собственно повествование, чем начало новой летописи стало резко отличаться от предыдущего «Начального свода».

2. Летописный рассказ о вавилонском столпе тоже, как показал А. А. Шахматов[33], восходил к «Хронике» Амартола и неизвестному «Хронографу», из рассказов которых Нестор сделал краткую фактичную выжимку.

3. Во вступлении к «Повести временных лет» прибавилось следующее сообщение о Кие: «пришедшю въ свои градъ Киевъ, ту животъ свои скончa» (10). Сходное умиротворяющее замечание в «Хронике» Амартола касается Александра Македонского: «пакы възвратися въ Вавилонъ, в немъ же и умре» (47). Но летопи сец здесь не обращался к «Хронике» Амартола, а, веротянее всего, использовал летописный же повествовательный штамп. Уже в «Древнейшем своде» встречалось похожее связанное со смертью возвращение героя к своему изделию или к своей столице: тмутороканский князь Мстислав Владимирович «умьре, и положиша и́ в цьркъви... юже бе самъ заложилъ» (ДС, 581; ср. ПВЛ, 150, под 1036 г.). В «Начальном своде» подобные штампы повторялись неоднократно: киево-печерский игумен Антоний «ископа печеру... въ неи же съконьча животъ свои» (НС, 200[34]; ср. ПВЛ, 188, под 1051 г.); владимиро-волынского князя Ярополка Изяславовича «положиша... в церкви... юже бе самъ началъ зьдати преже» (НС, 262; ср. ПВЛ, 206, под 1086 г.). Нестор также не чуждался повторять подобные штампы: «вдасть... Давыдови Дорогобужь, в нем же и умре» (274, под 1100 г. Речь шла о следующем после Ярополка владимиро-волынском князе Давыде Игоревиче).

4. Дальнейшие упоминания болгар и угров во вступительной части «Повести временных лет» (11) явились сокращением сведений из разных мест «Хроники» Амартола (36, 434)[35].

5. Первая фраза в сообщении «Повести временных лет» об обрах (11) также сокращенно отразила «Хронику» Амартола (434)[36], а выражение о том, что обры «примучиша» дулебов (12; ср. и об Олеге, который «примучи» деревлян 24, под

883 г.) могло повторить словоупотребление «примучивъ», «примучи» из перевода «Хроники» (4, 36, 37, 38). Характеристика обров здесь же в летописи — «быша бо обьре *теломъ велици* и умомь горди, и Богъ потреби я» (12), — возможно, тоже имела отношение к «Хронике», к рассказу Амартола о судьбе иудейского царя Саула: «что убо Саулу поможе *величьство* и высота *тела* его?.. Не подобаеть убо на телесную высоту *величатися* и велие мыслити... Саулу же убьену бывшю...» (127–128). Одна из заключительных фраз об обрах в летописи — «помроша вси, *и не остася ни единъ*» (12) — опять соотносится с тем же рассказом «Хроники» о Сауле, который убил всех горожан в Номве, «*и не оста* от нихъ *ни един*» (126). Но, скорее всего, то был фразеологический штамп. Ср. в «Хронике» в другом месте, о жителях Самарии: «и отрину я Господь от лица своего, *и не оста ни единъ*» (183–184).

6. Нестор новыми сведениями дополнил старую летописную тему (см. «Начальный свод», пример № 2) о происхождении названий — на этот раз этнонимов — от имен людей: «бяста бо 2 брата в лясехъ — Радимъ, а другии Вятко... и прозвашася радимичи... прозвашася вятичи» (12). Сама подобная манера объяснений наверняка была заимствована Нестором, так как очень напоминает «Хронику» Амартола: «Суръ же доставъшю ему страну нарече Суриею, от него же суряне нарекошася... Киликсъ же доставъшюю ему землю нарече ю Киликия, — въ свое имя кождо свою страну нарекоша» (37); «от Латина царя нареченомъ латиномъ и Италомъ... италяне нарекошася древле, а напоследокъ нарекошася ромеи от Рома» (54) и пр.

7. Еще одно возможное проявление фразеологического влияния перевода «Хроники» Амартола на летопись Нестора встречается, когда летописец осуждал деревлян, которые «*живуще скотьски*» (13), и тем самым повторял высказывания Амартола о сарацинах, «о *скотиньске жизни* ихъ» (29), или насчет мелхиседекиан, про «*скотиньское житие* ихъ» (88).

8. Следующую затем большую выписку в летописи (14–16) из фактичного рассказа «Хроники» Амартола о нравах разных народов (49–50) Нестор даже предварил специальной, так сказать, ученой отсылкой: «Глаголеть Георгии в летописаньи»[37]. Такими учеными ссылками на книжников Нестор пользовался неоднократно: «о семь бо уведехомъ... яко пишется в летописаньи гречьстемь» (то есть у продолжателя «Хроники» Амартола[38]; ПВЛ, 17, под 852 г.); «папежь римьскии... река» (27, под 898 г.); «великии Настасии Божьа града рече» (40, под 912 г.); «Мефодии же сведетельствуеть... яко же сказаеть... Мефоди папа римскыи» (234, 236, под 1096 г.). Летописцы до Нестора ссылались только на Писание, но не на более поздних книжников.

9. Под 858 г. (19) Нестор сокращенно изложил взятый из продолжения «Хроники» Амартала рассказ о походе греков на болгар (508)[39].

10. Под 866 г. (21–22) Нестор опять-таки с некоторыми сокращениями переписал рассказ из продолжения «Хроники» Амартола о походе русов на Царьград (511)[40].

11. Сообщение под 868 г. (22) о правлении одного из византийских цесарей тоже восходило к продолжению «Хроники» (519)[41].

12. Под 879 г. странное сообщение о том, что Рюрик «*предасть княженье* свое Олгови» (22), находит фразеологическое соответствие в продолжении «Хроники», в сообщениях о том, что «умре Леонъ царь, Александру, своему брату, *царствие предавъ*» (540); затем умер и Александр, «*царствие* Костянтину, Леонтову сыну *предасть*» (542).

Наблюдаются не только фразеологические, но и ситуационные параллели между данным летописным сообщением о Рюрике и Олеге и рассказом «Хроники» о Леоне, Александре и Константине. В летописи Нестор объяснил передачу княженья Рюриком Олегу как родственнику («от рода ему суща») малым возрастом Игоря, Рюрикова сына («вьдавъ ему сынъ свои на руце, — бысть бо детескъ вельми»). Сходно в «Хронике»: Леон передал свое царствие брату, «моляся, сына его Костянтина ла хранить» (540), потому что «Костянтин же, отцу его умершу, 7 лет имеаше възрастомъ» (542).

Далее в летописи говорилось, что Игорь подчинялся Олегу: «хожаше по Олзе и слушаша его» (29, под 903 г.). В «Хронике» же соответственно сообщалось о том, что с самого начала «Александръ же царствова… с Костянтином, Леонтовомъ сыномъ» (540), а Константин даже после смерти Александра «под поручникы повинуяся», оставленными Александром.

Таким образом, у Нестора, по-видимому, наметились параллели между Рюриком и Леоном, между Олегом и Александром, между Игорем и Константином. Это тем более вероятно, потому что Нестор знал в полном объеме хронографический рассказ об Александре и Леоне, о чем свидетельствует летописное сообщение под 887 г. (24), восходящее к продолжению «Хроники» Амартола (527)[42]. Любопытно, что на русскую ситуацию 879 г. Нестор неявно перенес более позднюю византийскую ситуацию 913 г. (Александр умер в 913 г.), — аналогия из авторитетной «Хроники» для Нестора, видимо, была важнее исторической последовательности событий.

13. Летописный рассказ под 898 г. о Кирилле и Мефодии А. А. Шахматов возводил к недошедшему до нас «Сказанию о преложении книг на словенский язык», а через него к «Житию Мефодия»[43]. Наблюдается еще одно, дополнительное сходство, — между летописным рассказом о поисках учителя моравскими князьями для славян и рассказом «Хроники» Амартола о поисках учителя византийским цесарем Феодосием I Великим для своих сыновей.

Собственно, сходна лишь сама сюжетно-фразеологическая схема. В начале рассказов начинаются поиски учителя, — летопись: «*послаша* ко царю Михаилу» (26); «Хроника»: «*посла* по всеи вселенеи своего царьства» (376). Поясняется, зачем нужен учитель, — летопись: «иже бы *наказалъ*, и *поучалъ* насъ, и протолковалъ *святыя* книги»; «Хроника»: «*учити святыя* грамоты», «да *научить* ю и человечю исписанью», «да *накажеть* чада его», «*накажеши* я» (376–377). Упоминается разумение, — летопись: «не *разумеемъ* книжнаго образа»; «Хроника»: «*разумыя*

божествьнаго же и человеческаго» (377). Излагается суть просьбы, летопись: «*послете* ны учителя», «*просящи* учителя»; «Хроника»: «*прося послати* к нему человека таковаго» (377). Созываются советники, летопись: «царь Михаилъ и *созва* философы вся и сказа имъ речи вся словенскихъ князь»; «Хроника» : «цесарь же римсьскыи *призвавъ* папежа, *показая ему грамоту* царя Феодосья». Советники находят выход из положения, — летопись: «и *реша* философи: “*Есть* мужь в Селуни *именемъ* Левъ”»; «Хроника»: «*рече* папежь къ цесареви: “*Есть* у насъ деяконъ етеръ... *имя* ему Арсений”». Дается характеристика кандидатам, летопись: «с ынове *разумиви*... 2 сына у него *философа*»; в «Хронике» тоже ищут «мужа *разумива*» (376), «мужа *философа*» (377). За кандидатами посылают, — летопись: «*посла* я, и *придоста... и рече има*»; «Хроника»: «и *пославше* призваша... *пришедъшю* ему, и *глаголи ему*». Желание иметь учителей еще раз подтверждают, летопись: «*сего* бо *желаютъ*» (27); «Хроника»: «*о таковемь желаеть*». Получившие учителей радуются, летопись: «и *ради быша* словени, яко *слышиша*...»; «Хроника»: «се *слышавъ*, цесарь *радъ бысть* зело».

Из приведенных примеров видно, что Нестор детально помнил схему типового рассказа о поисках учителя, но вряд ли взял за образец только и исключительно рассказ «Хроники» Амартола.

Больше того, Нестор свободно пользовался подобной схемой и для рассказов о поисках нужного человека вообще. Так, под 993 г. Нестор включил рассказ о том, как Владимир искал воина, который смог бы побороться с печенежс ким богатырем. Одни элементы летописного рассказа о поисках воина совпадают с элементами рассказов о поиске учителя и в летописи, и в «Хронике»; другие же элементы совпадают только с «Хроникой». Вот сообщается о начале поисков: «Володимеръ же... посла биричи по товаромъ [в других списках летописи: по воиску], глаголя: “Нету ли такого мужа...?”... сля по всем воемъ» (этот элемент мы уже отмечали). Далее используется еще не отмеченный элемент схемы, о неудачности поисков спервоначалу: «и *не обретеся никде же*»; ср. в «Хронике» Амартола о поисках учителя: «*не възмъже обрести никого же*... и *не обретъ*, яко же искаше... искавшю и *не обрете*» (377). Тут нашелся советник — выручатель Владимира: «и приде единъ старъ мужь ко князю и рече ему: “Есть у мене единъ сынъ...”» (этот элемент уже был отмечен). Затем снова добавлен был еще не отмеченный нами элемент схемы, об уникальности предлагаемого человека: «отъ детьства бо его *несть* кто *имъ* ударилъ» (123); ср. в «Хронике» о предложенном учителе: «подобенъ *ему* инъ *несть*» (377). Последовал привод нужного человека: «посла по нь и приведоша и́» (этот же элемент уже был отмечен). И опять Нестор ввел дополнительные элементы схемы, — о сомнениях нужного человека в своих силах: «не веде, могу ли...»; ср. в «Хронике» учитель говорит, что он «недостоинъ» (378); а также о внешности нужного человека, летопись: «бе бо середнии теломь»; ср. в «Хронике»: «лепъ же имущю образъ, благоповиненъ же възракомь». Все кончается радостью: «Володимеръ же радъ бывъ»; ср. в «Хронике»: «и възрадовася радостью великою зело цесарь» (378). И даже самый последний элемент схемы, ранее

не отмеченный нами, не забыл использовать Нестор, о награждении нужного человека: «Володимеръ же великимь мужемъ створи того» (124); ср. в «Хронике»: Феодосий «повелику же почтивъ Арсенья» (379).

Добавочные сведения о сходстве летописного рассказа про единоборство с печенежским богатырем и «Хроники» Амартола см. ниже, под № 27.

Что же касается схемы рассказов о поисках нужного человека, то некоторые элементы этой схемы сформировались в летописи задолго до Нестора и встречались даже в «Древнейшем своде», например, в статье о сражении Ярополка Святославовича со своим братом Олегом Святославовичем, в ходе которого Олег был убит. Начинаются поиски убитого князя: Ярополк «посъла искать брата своего. Искавъше его, не обретоша. И рече единъ деревлянинъ: “Азъ видехъ...”. «И посла Ярополкъ искать брата... и налезоша...»; Ярополк подтвердил желание инициатора убийства: «...сего... еси хотелъ» и пр. (ДС, 551 552; ПВЛ, 75, под 977 г.).

Нестор же хорошо помнил всю в его время уже разветвленную схему.

14–25. Далее в «Повести временных лет» с 902 г. по 943 г. (29, 32, 39 45) следуют выписки, сделанные Нестором из «Хроники» Амартола и ее продолжения о византийских и болгарских событиях (530, 541, 305 306, 542, 544 545, 546 548, 552, 557 559, 566, 567 569, снова 566, 568)[44].

26. Под 946 г. в рассказе о четвертой мести Ольги деревлянам употреблено словосочетание «хочете изъмерети гладомъ» (58), которое сходно со словосочетанием в «Хронике» Амартола «гладомь умирающимъ» (23). Однако непосредственной связи летописи с «Хроникой» тут не было, потому что выражение «гладомь умирающимъ» использовалось только в оглавлении к «Хронике», вероятно, более позднем, чем сама «Хроника», а в соответствующем рассказе в продолжении «Хроники», то есть в переводе рассказа, стояло «гладом гыблющу» (508). Летописец просто употребил привычную для летописи варьирующуюся формулу; ср.: «помроша... гладомь» (163, под 1060 г.); «гладомъ умаряеми» (223, под 1093 г.); «изнемогаху... гладомъ» (65, под 988 г.); «изнемогаем гладом» (272, под 1097 г.); «хочем померети от глада» (127, под 997 г.) и т. д.

Но окончание летописного рассказа о четвертой мести явно перекликалось с «Хроникой». Ольга «*взя градъ, и пожьже й, стареишины* же града *изънима,* и *прочая* люди — *овыхъ изби*, а *другыя работе предасть мужемъ своимъ*» (59). Ср. «Хронику» о разрушении Седекии и Иерусалима Навуходоносором: «Навходоносоръ же, *пленивъ градъ, пожьже й* весь и Седекию *емъ*... и оставъшимъ всемъ домомъ въ граде пожьже... *стареишина* поваромъ, *прочихъ* жидовъ нарочитыхъ ведъ къ Навходоносору, *овехъ* же *умертви, другых работе предасть князем своимъ*» (175). Нестор, конечно, не сопоставлял Ольгу с Навуходоносором, однако же запомнил сюжетно-фразеологическую схему хронографического рассказа о полном разгроме города врагов и при случае последовал ей.

27. Рассмотренный выше (см. № 13) летописный рассказ под 993 г. о единоборстве русского воина с печенежским богатырем содержит дополнительные схождения с «Хроникой» Амартола, с разными ее рассказами. По летописи, печенежский

князь предложил Владимиру: «Выпусти ты свои мужь, а я свои, да ся борета; да аще твои мужь ударить моимь, да не воюемъ за три лета; аще ли нашь мужь ударить, да воюемъ за три лета» (122). Все это напоминает в «Хронике» предложение персидского царя Власия византийскому цесарю Феодосию II Каллиграфу: «Аще имаши единого храбра во въихъ своихъ единому на сечю изити на единого сечьца персянина, да аще победить мои его, то абье створю миръ дани ради за 8 лет; аще ли побеженъ будеть вашь, то възму 10 кентинарья злата» (400).

В данном случае Нестор опять продемонстрировал знание повествовательной схемы рассказов о единоборстве, но вовсе не был привязан к «Хронике» Амартола. О традиционности этой схемы свидетельствует, например, аналогия, присутствовавшая уже в «Своде Никона», когда летописец рассказал о единоборстве тмутараканского князя Мстислава Владимировича с касожским князем Редедей, Редедя тоже предложил Мстиславу: «нъ сънидеве ся самъ боротъ; да аще одолееши ты, то възьмеши имение мое и жену мою, и дети мое, и землю мою; аще ли азъ одолею, то възьму твое вьсе» (ДССН, 579; ср. ПВЛ, 146 147, под 1022 г.)[45]. Подобная схема, по-видимому, прижилась не только в фольклоре, но и в книжности.

Дальнейшие детали рассказа «Повести временных лет» под 993 г. о единоборстве с печенежским богатырем снова сходны с «Хроникой» Амартола, но уже с иным рассказом в ее продолжении, о поиске византийским цесарем Михаилом III силача, который справился бы с непокорным конем: «печаловаше царь, яко не имеа мужа силу конскую премощи»; но тут пришел один из знатных людей и «рече цареви: "Есть у мене, царю, мужь некыи добль, силенъ..." Цареви же повелевшу вборзе ему приити... сего обретъ, введе. Царь же повеле коня яти. Тъи же, единою рукою узду вземъ, а другою же за ухо емь» укротил коня; «цареви причта его» (505). В «Повести временных лет» аналогично следующее: богатыря «въ наших не бысть, и поча тужити Владимеръ»; но один из почтенных мужей сообщает, что есть у него силач; Владимир послал за ним и привели его к князю; далее пошли в дело руки силач «похвати быка рукою за бокъ... елико ему рука зая», а потом они с печенежином «ястася и почаста ся крепко держати», и наш силач «удави печенежина в рукахъ до смерти»; Владимир возвысил победителя (122 123). Ясно, что и здесь Нестор следовал некоей общей схеме рассказов об усмирении свирепого существа, а не подражал «Хронике».

В летописном рассказе о единоборстве с печенежским богатырем можно найти и другие типовые детали единоборческих рассказов, например, об устройстве места для поединка: по сообщению летописи, «размеривши межи обема полкома» (123); а по сообщению «Хроники», «ставшема межи полкома на сечю» (400).

Кроме того, печенежин в летописи «бе бо *превеликъ зело и страшенъ*» (123); в «Хронике» же «бяше *великъ и страшенъ*» кумир, сооруженный Александром Македонским (387). И вновь дело было не в «Хронике»; Нестор просто воспользовался традиционным обозначением чего-то особо страшного. Ср. в «Начальном своде»: «и бе гроза *велика* и сеча сильна и *страшьна*» (НС, 188; ПВЛ, 148, под 1024 г.)[46].

В общем, рассказ под 993 г. подтверждает искусность Нестора в пользовании различными повествовательными схемами, откуда бы он их ни брал.

№ 28. Самое позднее заимствование из «Хроники» Амартола (88 90) читается под 1036 г. в фактографическом пояснении Нестора о происхождении половцев (234)[47].

№ 29. Под 1103 г. в «Повести временных лет» сообщается о казни половецкого князя Белдюза: «*расекоша и на уды*» (279). Такое же выражение встречается в продолжении «Хроники» Амартола: кесаря Варду «*на уды рассекоша*» (514), а перед тем стало известно, что он «*на уды рассеченъ* будет» (513). Подобное выражение нельзя отнести к часто употребляемым в XI начале XII в.; поэтому остается открытым вопрос, припомнил ли Нестор это выражение из «Хроники», либо откуда-то еще.

№ 30. В конце «Повести временных лет», под 1106 г., сообщение Нестора о кончине старца Яна Вышатича имеет фразеологическое сходство с разными отрывками из «Хроники» Амартола. Ср. летопись: «*преставися* Янь, *старець добрыи, живъ лет* 90, *в старости* мастите» (281); «Хроника»: «*умре* Давидъ *старостию доброю... сыи 70 лет*» (138); продолжение «Хроники»: патрикий Никифор Фока «*конча си житие въ старости добре*» (530). Далее о Яне в летописи говорится: «бе бо мужь благъ, и *кротокъ, и смеренъ*»; соответственно в «Хронике» об одном из еврейских иереев сказано: «*смеренъ, кротокъ* человекъ» (121). Летописец еще добавил о Яне: «*огребаяся всякоя вещи*»; ср. в «Хронике» характеристику каждого непорочного человека: «*огребаяся от всякоя* злы *вещи*» (91). Вряд ли можно видеть здесь специфическую ориентацию Нестора на «Хронику» Амартола, тем более что второе вышеприведенное выражение в «Хронике» сопровождалось ссылкой на Иоанна Златоуста, а третье выражение ссылкой на Писание.

Подведем предварительные итоги. Нестор воспользовался «Хроникой» Амартола, делая иногда даже обширные выписки из нее, в основном для заполнения информационных пустот в начале «Повести временных лет» о древнейших событиях до середины X в. (см. примеры № 1, 2, 4, 5, 8 11, 14 25, 28). Затем характер обращения к «Хронике» изменился. Нестор предпочел эпизодически использовать лишь повествовательные схемы, легшие в основу тех или иных рассказов «Хроники» (см. примеры № 6, 12, 13, 26, 27), а также многочисленные традиционные выражения (см. примеры № 3, 5, 7, 26, 27, 29, 30). Сравнительно с составителем «Начального свода», по преимуществу рассказчиком, Нестор предстает более опытным и фактографичным книжником.

5. Третья редакция «Повести временных лет» (1118 г.)

В окончании третьей редакции А. А. Шахматов отметил заимствования и из «Хроники» Амартола[48], судя по которым направленность книжного труда у летописца уже не менялась: были сделаны очень большие выписки, преимуществен-

но нравоучительные, или упомянуты отдельные легендарные факты, взятые из «Хроники»[49].

Сопоставление «Повести временных лет» с «Хроникой» Георгия Амартола позволяет думать, что на протяжении 80 лет создания летописи летописцы как повествователи все-таки не так уж сильно отличались друг от друга, разве что со временем склонялись к большей развитости и пространности повествования. Этим обстоятельством оправдывается возможность исследовательского подхода к летописи XI начала XII вв. как к единому целому в литературном отношении.

Примечания

[1] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники / Текст статьи подгот. М. Д. Приселков // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 41 61.

[2] Наглядно это представлено А. А. Шахматовым в его трудах: 1) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 539 610; 2) Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 1 374.

[3] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 539 (далее в скобках указываются буквы ДС и страницы).

[4] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 9 (далее в скобках указываются буквы ПВЛ и столбцы). Этот и все другие памятники цитируются с упрощением орфографии.

[5] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. Текст. С. 145. Далее страницы указываются в скобках.

[6] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. С. 160 161; Приложения, с. 152.

[7] Там же. С. 239. Ср. Приложения, с. 28, 35.

[8] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 130, 466.

[9] См. «Начальный свод» в реконструкции А. А. Шахматова: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 75 (далее в скобках указываются буквы НС и страницы).

[10] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 126 127; 547, примечание 5.

[11] Ср.: Там же. Стр. 441; 584, примечание*.

[12] См.: Повесть временных лет / Изд. подгот. Д. С. Лихачев. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 447.

[13] Предположение об этом, к сожалению, без каких-либо оснований, см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 132.

[14] См.: Там же. С. 147, 560.

[15] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 146 147.

[16] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 103, примечание 13 14.

[17] На заимствование указал А. А. Шахматов; см.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 57, № 24.

[18] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. XXI XXII, 361; Повесть временных лет / Изд. подгот. Д. С. Лихачев. С. 327.

[19] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописях сводах. С. 539, примечание 3.

[20] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 97 99, 539, примечание 4; *он же.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 48 49, № 9.

[21] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 143; 561, примечание 4.

[22] О прибавке этого сообщения в «Начальном своде» см.: Там же. С. 555, примечание 1.

[23] Соответствие отмечено: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 57 58, № 24.

[24] См.: *Матвеенко В. А., Щеголева Л. И.* Временник Георгия Монаха: (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. М., 2000. С. 524.

[25] *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 58 60, № 26; он же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 598, примечание 2.

[26] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 107; он же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 606, примечание 3.

[27] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 103 104.

[28] О принадлежности процитированных замечаний именно составителю «Начального свода» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 102 103; 543, примечание 1; 587, примечание 2; 451.

[29] Ср. ПВЛ, 183, 189, 211, 270, под 1074 и 1091 гг., то есть, судя по годам, эти замечания летописца появились тоже именно в «Начальном своде», и не ранее.

[30] О принадлежности к «Начальному своду» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 554, примечание 1; 583, примечание 2. Последнее из процитированных замечаний летописца (ср.: ПВЛ, 217, под 1093 г.), судя по году, также относилось к «Начальному своду».

[31] О присутствии этого замечания в «Начальном своде» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 139; 555, примечание 1.

[32] *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 42 44, № 1.

[33] Там же. С. 44 45, № 2.

[34] Это замечание, вероятно, было вставлено в «Свод Никона» при составлении «Начального свода». См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 445.

[35] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 45, № 3 4.

[36] Там же. С. 45 46, № 5.

[37] См.: Там же. С. 46 47, № 6.

[38] См.: Там же. С. 47, № 7.

[39] См.: Там же. С. 47 48, № 8.

[40] См.: Там же. С. 48 49, № 9.

[41] См.: Там же. С. 49, № 10.

[42] См.: Там же. С. 49, № 11.

[43] Там же. С. 80 92.

[44] Там же. С. 49 57, № 12 23.

[45] О вставке этого рассказа Никоном см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 424 425; 579, примечание со знаком *.

[46] Об отнесении этого сообщения к «Начальному своду» см.: Там же. С. 224; 580, примечание 5.

[47] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 58, № 25.

[48] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. XXXVII, 334, 340, 350 и др.

[49] Ср.: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 262, 270, 271, под 1109 и 1110 гг.; «Хроника» Амартола // *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. С. 7, 160 162, 325.

«ПОДРАЗУМЕВАТЕЛЬНОЕ» ПОВЕСТВОВАНИЕ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Во второй части монографии, посвященной «микропоэтике» древнерусской литературы, рассматривается и более широкое явление, чем образность, стиль, повествовательная манера древнерусских авторов, проявляющаяся в основном на уровне фраз произведения, в их семантике.

При чтении древнейших памятников литературы Древней Руси привлекают внимание странные, необычные и не всегда понятные для нас, то есть архаические способы и средства древнерусского повествования. Вольно или невольно мы следим не только за тем, какое содержание излагается, но и за тем, как оно излагается. Так мы полнее начинаем понимать, условно говоря, философию древнерусских авторов: по смыслу сказанного их представления о мире, по манере повествования их идеал человека, желаемые его черты.

В связи с этим появляется повод по новому перечитывать поистине неисчерпаемую «Повесть временных лет». В данной работе рассматривается одна из особенностей повествовательной манеры «Повести временных лет», а конкретнее анализируются многочисленные случаи подразумеваний как проявления архаического лаконизма в летописных рассказах, но не все вообще, а лишь подразумевания, связанные с предметными деталями в рассказах или с упоминаниями действий летописных персонажей и раскрывающие преимущественно практическую, житейскую, этическую мудрость летописцев, как раз наименее изученную.

При этом не трудно заметить, что смысловая ясность и определенность зачастую отсутствуют в «подразумевательном» летописном повествовании, что подразумевания получались у летописцев по самым различным причинам и не осознавались как единообразный литературный прием. Тем не менее и такое, в известной мере непреднамеренное, неотчетливо выраженное литературное творчество ранних летописцев и их несформулированная «философия» тоже нуждаются в исследовании, ведь тогда хотя бы частично можно ответить на более общий вечный вопрос: с чего начиналась литература в Древней Руси.

1. Летописный рассказ об апостоле Андрее (подразумевание необычного)

Самое естественное это читать летопись в той последовательности, в какой ее текст до нас дошел. Первый летописный рассказ, который содержит удивляющий нас способ повествования, относится к апостолу Андрею, к посещению апостолом Андреем места, где в будущем возник Киев. Летописный рассказ краток, и поэтому можно привести его полностью: «А Днепръ втечеть в Понетьское море жереломъ, еже море словеть Руское, по нему же училъ святыи Оньдреи, братъ Петровъ, яко же реша. Оньдрею учащю въ Синопии, и пришедшю ему в Корсунь, уведе, яко ис Корсуня близь устье Днепрьское. И въсхоте поити в Римъ, и проиде въ вустье Днепрьское, и оттоле поиде по Днепру горé. И по приключаю приде и ста подъ горами на березе. И заутра въставъ и рече к сущимъ с нимъ ученикомъ: «Видите ли горы сия? Яко на сихъ горах восияеть благодать Божья, имать градъ великъ быти, и церкви многи Богъ въздвигнути имать». И въшедъ на горы сия, благослови я, и постави крестъ, и помоливъся Богу, и сълезъ съ горы сея, иде же после же бысть Киевъ»[1].

Кем был создан летописный рассказ об апостоле Андрее и Киеве? При нынешних разногласиях о том, кто именно составил «Повесть временных лет», нам достаточно принять за основу известное положение А. А. Шахматова: «Повесть временных лет» составил киево-печерский монах Нестор около 1113 г.[2], он же написал или записал рассказ об апостоле Андрее и Киеве[3]. Значит, о литературном творчестве Нестора и будем говорить.

Сначала скажем о Несторе как редакторе, переработавшем свой источник. Правда, конкретный источник летописного рассказа об Андрее так и не установлен. Найдены лишь некоторые сходные мотивы в византийских сочинениях; однако со славянскими переводными апокрифами об апостоле Андрее, которыми, казалось бы, в первую очередь мог воспользоваться летописец, летописный рассказ не имеет почти ничего общего, кроме упоминания отдельных деталей (плавание, гора, утро, ученики, град, крест), но совершенно в иной связи, в ином сюжете и в ином контексте[4]. Из-за того, что источник летописного рассказа все-таки не известен, все дальнейшие выводы о редакторской работе Нестора неизбежно будут предположительными, но и они необходимы.

Причины обращения Нестора к теме об апостоле Андрее неясны. Возможно, в этом как-то сказалось почитание памяти апостола Андрея в семье киевского князя Всеволода Ярославовича в 1080-х годах[5]. Возможно, легенда относилась к совсем иному лицу, замененному Нестором на апостола Андрея[6].

Но удивительней другое: повествовательной целью Нестора был, скорее всего, *краткий пересказ* слышанной им легенды об апостоле Андрее и Киеве. Хотя о такой своей редакторской цели летописец ничего не заявляет ни здесь, ни далее, но подтверждают данное предположение имеющиеся аналогии в первой, самой эпичной половине летописи (примерно, до Ярослава) пересказы тех эпизодов,

которые ранее в той же половине летописи были изложены более подробно. Обычно при пересказе напоминается только о начале или о конце ранее рассказанного эпизода, а вся богатейшая его середина опускается. Таков, например, пересказ князем Владимиром под 987 г. его бесед с представителями разных вер, подробнее изложенных в летописи годом раньше, под 986 г. Владимир пересказывает своим боярам: «Се приходиша ко мне болгаре, рькуще: “Прими законъ нашь”» (106), — и этой фразой заменена вся речь болгар в пересказе Владимира, в то время как под 986 г. речи болгар были гораздо более пространны и содержательны. Владимир же пересказал только начало болгарских речей; болгары говорили вначале: «веруи в законъ нашь» (84). Далее Владимир пересказывает речи немцев: «ти хваляху законъ свои» (106), и опять припоминает смысл лишь одного места из произнесенных немцами речей: «вера бо наша светъ есть» (85). Наконец, кратчайшим образом пересказывает Владимир гигантскую речь греческого философа: «придоша грьци, хуляще вси законы, свои же хваляще. И много глаголаша, сказающе от начала миру, о бытьи всего мира» (106), — тут Владимиром упомянут общий смысл только начала речи философа, который довольно долго порицал веру мусульманскую и веру «римскую» (одна — «оскверняеть небо и землю», другая — «разъвращена» — 86), а затем философ приступил к длиннейшему рассказу «из начала» мира (87). Владимир продолжает свой пересказ, резко переходя к иной теме: греки «другии светъ поведають быти; да, аще кто, дееть, в нашю веру ступит, то паки умеръ въстанеть и не умрети ему в веки; аще ли в ынъ законъ ступить, то на ономь свете в огне горети» (106), — это пересказ уже самого конца речи философа: «приимъ царство небесное… и не умирати въ веки… иже не веруеть къ Богу… мучими будут в огни…» (105–106).

Не только летописные персонажи, но и сам летописец по тому же принципу пересказывает вкратце рассказы, изложенные им ранее более подробно, — чаще только их начало. Например, летописец напоминает: «Словеньску же языку, яко же рекохомъ, жиуще на Дунаи… Поляномъ же жиущемъ особе, яко же рекохомъ, суще от рода словеньска и нарекошася поляне» (11–12). Летописец, действительно, рассказывал об этом раньше во вступительной части летописи, а для пересказа использовал в основном лишь начала предыдущих рассказов — начало рассказа о расселении славян по земле («сели суть словени по Дунаеви… и ти словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне…» — 5–6) и начало рассказа о создании Киева («полем же жившемъ особе и володеющемъ и роды своими…» — 9).

Вполне возможно, что рассказ Нестора об апостоле Андрее и Киеве тоже являлся результатом редактирования источника — кратким пересказом легенды, упомянувшим лишь ее начало и конец и в результате утратившим тонкости ее содержания. И этому тоже есть ясная аналогия. Так, например, произошло с пересказом киевлянами истории создания Киева. Под 862 г. киевляне вспоминали: «Была суть 3 братья — Кии, Щекъ, Хоривъ, — иже сделаша градоко-сь и изгибоша» (21). Киевляне пересказали то, что подробнее рассказывалось во вступительной части летописи, но использовали только начало того рассказа («быша 3 братья, единому

имя Кии, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ… и створиша градъ…» 9) и самый конец того рассказа («ту животъ свои сконча… ту скончашася» 10). В результате, в пересказе киевлян ощущается невнятность: не понятно, почему был создан град и отчего его создатели вдруг «изгибоша». Аналогична некоторая невнятность и в летописном рассказе об апостоле Андрее и Киеве: апостол «рече к сущимъ с нимъ ученикомъ» (8), значит, апостола сопровождали ученики, но далее ученики не упоминаются, и куда подевались эти апостольские ученики, остается непонятным. Все эти неясности и недомолвки суть последствия краткого пересказа, к которому прибег Нестор.

Почему же Нестор ограничился лишь кратким пересказом столь, с нашей нынешней точки зрения, важной и даже основополагающей андреевской темы? Вряд ли только потому, что скуден был его источник. Скорее всего, потому, что для Нестора, независимо от источника, андреевская тема в известной мере уже не имела особой идейной актуальности. О деяниях апостола Андрея далее в летописи ни Нестор, ни другие летописцы больше нигде не упоминали. В самом же рассказе Нестора об апостоле Андрее и Киеве нет указаний на актуальность или важность темы; фраза «иде же после же бысть Киевъ» не имела отношения к оценке, а обозначала хронологическую последовательность событий: что было «прежe» и что стало «после же», в то время как мотив актуальности в рассказы о давно прошедших событиях летописец вводил иными выражениями «и доныне», «и до сего дне», «и до днешнего дне», «и доселе», а еще и рассуждениями о значении события.

Неактуальность очень короткого рассказа об апостоле Андрее и Киеве (более краткого даже, чем об Андрее и словенах) также видна на фоне больших и, видимо, актуальных пересказов во второй половине дошедшего текста летописи. Например, под 1071 и 1096 гг. летописец пересказал рассказы киевского тысяцкого Яна Вышатича и новгородца Гюряты Роговича об опасностях, которые исходят от волхвов и от неких «нечистых» народов с Севера. Такие темы о грозящих опасностях были явно животрепещущими для летописца, и потому эти пересказы стали довольно пространными, детальными и сопровождались комментариями летописца («беси бо не ведять мысли человеческое, но влагають помыслъ въ человека» — 178; «в последняя же дни… изидут и си скверни языкы, яже суть в горах полунощных» — 236).

И вообще тема об апостоле Андрее и Киеве слишком спокойна и благополучна, между тем как Нестор во всей своей летописи почти полностью уделил внимание сюжетам неблагополучным, неспокойным, драматичным.

Крупное исключение из напряженной тематики летописи составляет, пожалуй, только похвала строительной и книгописной деятельности Ярослава под 1037 г., существовавшая еще в «Начальном своде» (и даже до него) и содержащая мотивы, сходные с пророчеством апостола Андрея о Киеве. Апостол предсказал: «…восияеть *благодать* Божья, имать *градъ великъ* быти, и *церкви* многи Богъ въздвигнути имать» (8). Это и совершил Ярослав: «Заложи Ярославъ *городъ великыи*… заложи

же и *церковь* святыя Софья митрополью, и посемь *церковь* на Золотых воротехъ святое Богородице благовещенье… обрящють *благодать…*» (151 152). Наверное, все-таки не древняя похвала Ярославу повлияла на сравнительно новый рассказ об Андрее, а у подобных благополучных тем был общий повествовательный образец. Но показательно, что сравнительно с обильной похвалой Ярославу «градостроительное» пророчество Андрея не было развернуто и прокомментировано Нестором, тема была затронута уже мимоходом, Нестор в известной мере проявил равнодушие к андреевской теме.

Финал у этой темы вполне естественный. Для редакторов летописи непосредственно после Нестора андреевская тема совсем потеряла актуальность; их интересовала совершенно новая для летописи тема — не об апостолах-покровителях и учителях, а о гораздо более решительных и скорых ангелах-хранителях, приставленных к каждой стране и к каждому человеку («къ коеи же твари ангелъ приставленъ… ко всимъ тваремъ ангели приставлении, тако же ангелъ приставленъ къ которои убо земли, да соблюдають куюжь то землю… посла господь Богъ ангела русьскымъ княземъ… ангели от Бога послани помогать хрестьяномъ… комуждо достася ангелъ… ангели бо, глаголю, наша поборникы на противныя силы воюющимъ… коемуждо церкви хранителя ангела пристави» и т. д. под 1110 1111 гг.[7]). Знаменательно, что даже под 1015 г. во вставке, сделанной именно в третьей (по А. А. Шахматову) редакции, речь шла тоже об ангеле-покровителе[8], в то время как у Нестора и до него тема ангелов не выпячивалась столь резко и конкретно, как в третьей редакции «Повести временных лет», увидевшей в ангелах, в первую очередь, более реальную помощь христианам в войнах против «поганых».

Новый акцент в отношении летописцев к ангелам можно, пожалуй, различить прямо на стыке Несторовой «Повести временных лет» с ее, по А. А. Шахматову, третьей редакцией в статье под 1110 г. Нестор завершает свою летопись расплывчатым и успокоительным указанием на то, что «ангелъ бо приходит кде благая места и молитвении домове и ту показають нечто мало виденья своего, яко мощно видети человекомъ» «ово столпом огненым, ово же пламенем» (284). Третья же редакция, в отличие от Нестора, переходит к явно менее благостным картинам и к более отчетливым изображениям ангелов. В продолжении статьи под 1110 г. в третьей редакции летописи ангел, например, является перед Александром Македонским, который «лежа на ложи своемъ посреде шатра, отверзъ очи свои, види мужа, стояща над нимъ, и мечь нагъ в руце его, и обличенье меча его, яко молонии… и рече ему ангелъ…»[9]; а далее, под 1111 г., рассказывается, что половцы, по их признанию, видели ангелов у Дона, на поле битвы с русскими: ангелы «ездяху верху васъ въ оружьи светле и страшни, иже помогаху вамъ», — «тем же достоино похваляти англы»[10].

В общем, можно предполагать, что ослабленная уже у Нестора летописная тема солидного апостольского покровительства Руси, действительно, заменилась в третьей редакции «Повести временных лет» темой ангельской скорой помощи христианам, успешно борющимся с «погаными».

Теперь можно попытаться ответить на вопрос о причине все-таки включения этой, казалось бы, неактуальной легенды в летопись. Дело не столько в Андрее, сколько в Киеве. В рассказе Нестора об Андрее, по-видимому, проводилась благородная идея особой богоизбранности и предпочтительности Киева. Свидетельств тому три. Во-первых, необычайно щедро предсказание апостола Андрея о Киеве: судя по форме высказывания, как бы сам Бог непосредственно участвует в создании града («церкви многи Богъ въздвигнути имать» — 8). Киев — вне конкуренции, в летописи больше ничего подобного не говорится ни о других городах, ни о созидательной деятельности Бога вообще на Земле; разве что упоминается о прямом участии Бога в создании Киево-Печерского монастыря («нача Богъ умножати черноризце… Богъ умножаеть братью» — 158, под 1051 г.), — то есть опять-таки речь идет о Киеве и о прямой деятельности Бога там.

Второе свидетельство предпочтительности Киева более слабо: Киев в рассказе об Андрее даже как бы старше Новгорода. Андрей находится на месте, «иде же после же бысть Киевъ», а потом идет туда, «иде же ныне Новъгородъ», — слово «бысть» указывает на время более давнее, чем слово «ныне».

Третье свидетельство предпочтительности Киева в нынешнем тексте рассказа об Андрее и вовсе не заметно, но все-таки настолько любопытно, что стоит его реконструировать, обратив внимание на самое начало рассказа: «Оньдрею учащю въ Синопии и пришедшю ему в Корсунь, уведе яко ис Корсуня близь устье Днепрьское, и въсхоте поити в Римъ, и проиде въ устье Днепрьское, и оттоле поиде по Днепру горé».

Зачем апостолу Андрею необходимо было посетить Рим? Нестор не скрывает причины — чтобы путешествующему апостолу отчитаться в своей миссионерской деятельности, что он и сделал («приде в Римъ и исповеда, елико научи и елико виде»). Если заглянуть в основной исторический источник различных сведений Нестора — «Хронику» Георгия Амартола, — то сразу становится видно, что, с точки зрения летописца, во времена апостола Андрея не существовало не только ни Киева и ни Новгорода, но и ни Царьграда, который создан был Константином Великим лишь в IV в., а вот Рим и являлся главным центром христианства во времена первых двенадцати апостолов. О таком представлении Нестора свидетельствует, в частности, такая деталь. Нестор недаром упомянул о том, что «святыи Оньдреи — братъ Петровъ» (7): как раз в те же времена, по словам «Хроники» Георгия Амартола, «и великому апостолу Петру въ Римъ пришедъшю... и мнози веровавъше и крестишася»[11].

Однако нашему современному читателю кажется алогичным маршрут плавания апостола Андрея: для того, чтобы попасть в Рим, Андрей из Херсонеса плывет не по короткой водной дороге на юг, вдоль западного берега Черного моря, а выбирает длиннейшее путешествие на север, вверх по Днепру, до Балтийского моря и далее кружным морским путем вокруг всей Европы. У нас нет данных о популярности у греков или у русских такого длинного маршрута плавания через север из Черного моря в Рим[12].

Правда, непосредственно перед рассказом об Андрее Нестор упомянул подобный маршрут: «море Варяжьское, и по тому морю ити до Рима». Но что-то тут не так. На самом деле, судя по тексту летописной статьи, ни о каком едином непрерывном маршруте, тем более во времена Андрея, Нестор не намеревался писать, а сбивчиво перечислил несколько самостоятельных путей, относящихся к гораздо более позднему времени, когда уже существовали поляне. Один, главный путь — из Царьграда в Балтику: «от Царягорода прити в Понотъ моря, в не же втече Днепръ-река», это «путь изъ варягъ въ греки и изъ грекъ: по Днепру… в море Варяжьское». Другой путь, из Балтики до Рима, лишь кратко упоминается — «изъ варягъ до Рима» — и явно не входит в состав пути из варяг в греки. Третий путь — «от Рима прити по тому же морю ко Царюгороду»; упоминание пути от Рима к Царьграду выглядит не очень вразумительным: ведь нелепо получается, что от Рима до Царьграда плывут по тому же Балтийскому морю («по тому же морю»). Четвертый путь намечает передвижение не по Днепру, а по Западной Двине в Балтику — «по Двине въ варяги»: «изъ Оковьскаго леса… Двина… потече… и внидеть в море Варяжьское». Пятый путь: «ис того же леса потече Волга… и вътечеть… в море Хвалисьское, тем же и из Руси можеть ити в болгары и въ хвалисы». Наконец, шестой путь — «от Рима же и до племени Хамова», то есть в южные страны.

Из летописного перечисления путей следует, что они не имели прямого отношения к путешествию Андрея и что апостол Андрей вовсе не обязан был плыть в Рим по Днепру и Балтийскому морю. Можно предположить, что первоначально текст рассказа Нестора содержал отрицание: Андрей « **не** въсхоте поити в Римъ», а поплыл вверх по Днепру в противоположном направлении. Предположение о нежелании Андрея ехать в Рим поддерживается летописным словоупотреблением. Глагол «въсхотети» (кроме рассказа об Андрее) употребляется только во второй половине летописи и всегда с отрицанием как привычное словосочетание: «не всхотеша бо ходити по путемъ моим» (169, под 1068 г.), «не въсхоте ити к братома своима» (230, под 1096 г.); «обещавшюся ити… Кыеву, … и не всхоте сего… створити, но пришедъ Смолинску» (236, под 1096 г.); «кияне же не всхотеша, но рекоша…» (219, под 1093 г.) и т. д. Правда, есть и контрдоводы против предлагаемого предположения. Глагол «въсхотети» употреблен в летописи всего лишь 8 раз, слишком мало для прочных выводов о данном словоупотреблении. Кроме того, во всех дошедших списках «Повести временных лет» в рассказе об Андрее глагол «въсхотети» употреблен без отрицания.

Однако, с другой стороны, на некое «нехотение», на отстраненное отношение Андрея к Риму в рассказе, может быть, указывает то, что, хотя апостол и вынужден был отчитаться в Риме о своих путешествиях, но при этом он не без насмешливости беседовал с непонятливыми римлянами (о новгородском банном обычае) и, не оставшись, уехал из Рима в Синоп («бывъ в Риме, приде в Синопию» 9).

Противоречивость смысла рассказа об Андрее можно разрешить, предположив, что в недошедшем до нас тексте Нестора действительно стояло «не въсхоте», а в последующих, уже дошедших до нас редакциях «Повести временных лет» отрица-

ние «не» почему-то было опущено, и Андрей как будто бы целеустремленно отправился в Рим. Так или иначе, но имеется некоторое основание отметить в Несторовом рассказе об апостоле Андрее возможный мотив предпочтения Киевской земли Риму и усомниться в «латинских симпатиях» Нестора в рассказе об Андрее[13].

Теперь сопоставим, с какими идеями летописи перекликается пусть и слабо выраженное, в сущности, лишь подразумеваемое представление о предпочтительности Киева в рассказе об Андрее. Если говорить об оценке Киева, то мостик перебрасывается к концу XI в. До Нестора, например, в заголовке «Начального свода» место Киева оценивалось не так высоко: «грады почаша бывати по местом, преже Новгородчкая волость, и потом Кыевская»[14]. Но потом в заголовке «Повести временных лет» Киев неявно был поставлен выше Новгорода: «откуду есть пошла Руская земля, кто въ Киеве нача перви княжити и откуду Руская земля стала есть» (1 2). Эти фразы требуют пояснений. Судя по вниманию летописца к происхождению этнонимов и последовательности его изложения в начальной части летописи, автор заголовка (Нестор или кто-либо позже) указывал на содержащиеся в начале летописи разъяснения о том, во первых, откуда пошло употребляться **название** «Русская земля» (под 852 г.): «нача ся прозывати Руска земля, о семь бо уведахомъ… яко пишется в летописаньи гречьстемь. Тем же отселе почнем и числа положимъ» (17 18); во-вторых, кто в Киеве начал княжить раньше всех: по Нестору, это были не Кий, который, как сказано во вступлении к летописи, всего лишь «княжаше *в роде* своемь» (10); не бояре Аскольд и Дир, которые под 862 г. «начаста *владети*» землею полян (21), не будучи ни князьями, «ни рода княжа» (23); а, вернее всего, первым киевским князем Нестор выставил Олега под 882 г., «седе Олегъ *княжа въ Киеве*» (23); в-третьих, Нестор разъяснил (под 862 г.), откуда составилось **название** «Русская земля»: от варягов-русов, приглашенных княжить прежде всего в Новгороде, и «прозвася Руская земля» (20). Таким образом, в заголовке «Повести временных лет» не наблюдается хронологической последовательности в перечислении событий, о которых далее расскажет летопись. По-видимому, принцип перечисления у автора заголовка был другим, по степени древности или важности *объектов* повествования: сначала летописец имел в виду греков, потом Киев, и лишь после Киева Новгород.

Поэтому не удивительно, что затем именно в тексте Нестора в конце летописи снова прозвучал мотив исключительности Киева: «яко то есть стареишеи град въ земли во всеи Кыевъ» (230, под 1096 г.).

В еще большей степени убеждает в идейной связи между началом и концом летописи эволюция идеи об отношении Бога к Руси. Божье покровительство Руси в составе христианского мира отмечалось летописью только до 1015 г. включительно, а далее в летописи подобная обнадеживающая тема полностью исчезла и надолго сменилась темой наказания Божия Руси за грехи. Снова мотив надежды на Бога появился в летописи с 1093 г., то есть в самом конце «Начального свода», в трагических тонах описывавшего опустошительное нашествие половцев на Русь,

но утешавшего: «Но обаче надеемъся на милость Божью… тако Господь створи нам… падшая въставить» (224). Однако теперь эта отчаянная надежда выбраться из невиданного несчастья преобразовалась в нечто небывалое в гордую идею предпочтительности Руси перед другими странами. Ср. знаменитое высказывание летописца: «Кого бо тако Богъ любить, яко же ны взлюбилъ есть? Кого тако почелъ есть, яко же ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого же… яко паче всех почтени бывше… яко же паче всехъ просвещени бывше…» (225). Кстати, и в заголовке к «Начальному своду» тоже говорилось об особой богоизбранности Руси «како избра Богъ страну нашу на последнее время». С такой обостренной надеждой конца XI в. на особую богоизбранность Руси и Киева, вероятно, и можно связывать включение Нестором рассказа об апостоле Андрее в летопись. Так что надо развести судьбы двух тем: главной для Нестора являлась не андреевская тема, а тема богоизбранности Руси.

Правда, идейное сходство рассказа Нестора об апостоле Андрее и Киеве с умонастроениями конца XI в. очень неполно: во-первых, мы мало что знаем об этих умонастроениях по другим источникам («Киево-Печерский патерик» тут почти ничего не дает); а, во-вторых, в рассказе об Андрее отсутствует идейно важный элемент, наличествующий в завершающей части летописи, прямые упоминания трагических исторических событий, особенно нашествия половцев. Тем не менее после рассказа об Андрее, в массиве вступительных текстов, тоже, по определению А. А. Шахматова, вставленных Нестором в начало летописи, упоминание об агрессивности половцев все же есть: «яко же се и при насъ ныне половци законъ держать отець своих кровь проливати» (16), — это возможное указание на атмосферу, в которой появился летописный рассказ Нестора об апостоле Андрее и Киеве.

В рассказе об Андрее заметна еще одна перекличка с умонастроениями конца XI в. В рассказе утверждается, что обещанная Божья благодать действительно снизошла, предсказание свершилось и «бысть Киевъ». Но, по крайней мере, в первой половине летописи, в донесторовых рассказах, приводились лишь просьбы к Богу о будущих покровительстве и защите («призри», «дажь», «услыши», «мьсти» и пр.), и только в конце летописи, уже в рассказах Нестора, возобладал мотив сбывшейся Божьей защиты, например, под 1103 г. («яко Господь избавилъ ны от врагъ наших, и покори врагы наша, и скруши главы змиевыя, и далъ еси сих брашно людем русьскым» 279). Несторовы начало и конец летописи идейно связаны.

Проанализировав, насколько это можно, редакторскую работу Нестора и ее смысл, перейдем к рассмотрению одного из проявлений собственно литературного творчества Нестора в рассказе о путешествии апостола Андрея. Обратим внимание на одну любопытную деталь в перечислении действий Андрея. Зачем Нестору понадобилось упоминать о том, что апостол не только взошел на горы, но и слез с горы? Эта деталь явно выглядит «лишней» на фоне повествовательной манеры рассказов о путешествиях и походах в летописи. Ведь обычно в летописи маршрут путешествующего или занятого походом персонажа обозначается только его

прибытием в определенные пункты, но не уходами из них. Значит, не совсем о путешествии Андрея тут пошла речь. И действительно, «лишняя» деталь имеет стилистическую особенность: Андрей не просто сошел с горы, а «слезъ с горы *сея*», — местоимение «сей» многократно повторяется в рассказе, придавая величавость повествованию: «…горы *сия*, яко на *сих* горахъ… на горы *сия*… съ горы *сия*…». Повторы местоимения «сей» встречаются в очень немногих рассказах летописи, всегда только в торжественном повествовании, — в похвалах князьям, в изложении предзнаменований, в изображении церемоний. Напротив, в обыденном повествовании местоимение «сей» не употребляется летописцем. Например, в непосредственно предшествующем рассказу об Андрее описании пути « изъ варягъ въ греки и изъ грекъ» употребляется только местоимение «тот», а не «сей»: «из него же озера», «изъ того озера», «по тому морю», «по тому же морю», «из того же леса» и т. д. (7). В рассказе об Андрее «лишняя» деталь с местоимением «сей» указывала на то, что в эпизоде описывается уже не путешествие, а какое-то торжественное действо.

Для сравнения присмотримся к обычной структуре летописного повествования о торжественных церковных *действах*. Такие рассказы в «Повести временных лет» обычно состоят из перечисления действий, из одних и тех же композиционных элементов, явно отобранных по единому литературному шаблону. Сначала упоминается о приходе персонажей на место действа — в церковь или в географический пункт: «вниде… къ сущеи церкви святеи Богородице Влахерне» (21, под 866 г.); «иде… в церковь» (107, под 987 г.); «влезъше бо въ церковь» (114, под 988 г.); «изиде… на Дънепръ… влезоша в воду» (117, под 988 г.); «видевъ церковь… вшедъ в ню» (124, под 996 г.); «взыде… на Льто» (144, под 1019 г.); «в церкви» (190, под 1074 г.) и пр. Затем прямо или косвенно упоминается образовавшееся людское сборище: «царь… с патреярхомъ» (21); «крилосъ… и лики съставиша» (107); «снидеся бещисла людии» (117); «позре по братьи» (190). Нередко указывается следующий этап — стояние людей, готовых к действу или вовлеченных в действо: «поставиша я на пространьне месте… престоянье дьяковъ» (107); «стоя… въставъ простъ» (114); в Днепре «стояху» (117); «ста на месте, идеже убиша Бориса» (144); «стоящю… на месте своемь… братьи, иже стоять» (190). Конечно, рассказывается и о произносимых речах и молитвенных деяниях людей: «молитву створиша» (21); «створиша праздникъ… пенья» (107); «молитвы творяху» (117); «помолися Богу» (124); «въздевъ руце на небо… помоливъся» (144); «поюще… стояше крепок в пеньи» (190) и т. д. При этом иногда говорится о манипуляциях со священными предметами или прикосновениях к ним: «божественую святы Богородиця ризу… изнесъше» (21); «кадила вожьгоша» (107). Причем поставление, то есть воздвижение чего-то почти всегда в первой половине летописи было связано с той или иной (языческой или христианской) церемонией: «крестъ поставленъ целовати» (114, под 988 г.); «постави церковь… на холме, иде же творяху потребы» (118, под 988 г.); «постави кумиры на холму… и жряху имъ» (79, под 980 г.); «две главе злате постави, едину… на холме… и кланяхуся людье» (97, под 986 г.) и пр. И, наконец,

заканчивается описание церковного действа сообщением о том, что его участники завершили действо и разошлись: «идоша кождо в домы своя» (118); «се ему рекшю, поидоша» (144); «отпояху… и тогда изидяше в келью свою» (190).

Не трудно заметить, что, говоря о деяниях апостола Андрея, Нестор изобразил торжественную церемонию, составив рассказ из тех же композиционных элементов: приход персонажа на место действия («въшедъ на горы»); присутствие людей («сущимъ с нимъ ученикомъ»); приготовление священного предмета для поклонения («постави крестъ»); молитвенные действия («благослови… и помоливъся»); завершение церемонии («сълезъ съ горы сея»).

Правда, изложено все как-то стерто. Специфика рассказа Нестора о посещении апостолом Андреем «гор» киевских заключается в *отсутствии названия* проведенной им церемонии, название только подразумевается, в то время как подавляющее большинство летописных описаний различных церемониальных действ — бытовых, политических, церковных (около 40 описаний, преимущественно в первой половине «Повести временных лет») — содержат названия: прямые — в форме существительных; и косвенные названия — в форме глаголов или словосочетаний с глаголами, указывающих на целое, составляемое из перечисляемых действий персонажа или группы персонажей. Так, продолжающий путешествие апостола Андрея рассказ о банной церемонии словен содержит оба вида названий — прямое («мовенье») и косвенное («како ся мыють»). Далее в летописи вариации называния чередуются вольно. Рассказ о греческом богослужении содержит прямые названия описываемой церемонии («праздникъ», «služенье», «служба» — 107–108, под 987 г.). Рассказ же о завещании Ярослава использует лишь косвенные названия церемонии («наряди сыны своя… уряди сыны своя» — 161, под 1054 г.). Все описания похорон в летописи тоже имеют только косвенные обозначения («погребоша», «схорониша», «положиша»). И т. д. На этом фоне видно, что при описании церемониальных действий апостола Андрея Нестор, действительно, обошелся совсем без названия церемонии и без какого-либо обобщающего слова, хотя имел в виду нечто вроде церемонии запланирования будущего града.

Отсюда возникает вопрос: почему у летописца так произошло? Причины могли быть самые различные. Перебор их, исходя из общих соображений, позволяет остановиться на наиболее, как нам кажется, правдоподобной причине. Одну причину отвергнем сразу. Чистая случайность, механическое выпадение первоначально наличествовавшего названия церемонии в дошедшем до нас летописном тексте вряд ли имели место: ведь тогда бы изложение деяний апостола отличалось бы некоторой неловкостью, а оно, напротив, достаточно гладко. Вторую причину, более вероятную, тоже отвергнем. На результат сокращения летописцем некоего первоначального текста отсутствие названия церемонии, пожалуй, все-таки не похоже, потому что при сокращении в первую очередь, как правило, опускаются детали, а название церемонии, если оно было, обычно сохраняется. Третья причина совсем маловероятна. Считать, что в данном случае название церемонии подразумевалось летописцем само собой как привычное, тоже нельзя: такое подразумевание может

быть характерно для частых описаний однотипных церемоний, а деяния апостола Андрея уникальны. Наиболее правдоподобно объяснить отсутствие названия церемонии апостола Андрея можно содержательной причиной, тем, что Нестор подразумевал именно *необычную* торжественную церемонию, не уложившуюся еще в рамки привычного, устоявшегося действа, затруднился ее определить.

Опять-таки на основе аналогий мы получаем доказательства того, что неназыванием церемонии Нестор и в самом деле обозначал необычность действа. В других эпизодах летописи подобный непривычный для нас, архаический способ изложения более или менее четко просматривается: необычные или удивительные, неординарные или уникальные действа (характеризуемые эпитетами «дивный», «чюдный», «новый») летописец описывал, не употребляя их названий, а только перечисляя части неназываемого целого как цепь действий, производимых персонажами. Таково, например, описание крещения киевлян. Перечислены действия участников церемонии: «Наутрия же изиде Володимеръ с попы... на Дънепръ, и снидеся бещисла людии, влезоша в воду и стояху овы до шие, а друзии до персии, младии же по перси от берега, друзии же младенца держаще, свершении же бродяху, попове же стояще молитвы творяху...» (117, под 988 г.). Однако ни смысл этого небывалого на Руси действа, ни его название не указаны летописцем. О подразумевании свидетельствует то, что в контексте описания и в последующем комментарии к событию летописец раскрывает подразумеваемое: называет суть действа («крестившим же ся людемъ... люди на *крещенье* приводити» 118) и косвенно указывает на его необычность, «чюдность», новизну («си бо не беша преди... *чюдна* дела... се быша новая» и пр. 119 120).

Иногда летописец сразу начинает описание странного действа с прямого определения его необычности: «*Предивно* бысть *чюдо* Полотьске... По улици, яко человеци, рищюще беси... Посемь же начаша в дне являтися на конихъ, и не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ видети копыта» и пр. (214 215, под 1092 г.). При этом конкретное название такого необычного процесса отсутствует в описании, но как подразумевание всплывает в заключительном примечании летописца к описанию: «Се же *знаменье* поча быти...».

Бывает, что не летописец лично от себя, а его персонажи подчеркивают необычность действа: «*Дивьно* мы находихом *чюдо*, его же не есмы слышали преже сих лет» (235, под 1096 г.). Далее следует описание удивительных действий, но опять-таки без обозначения летописцем или героями сути происходящего дива: «...суть горы заидуче в луку моря, им же высота ако до небесе, и в горах тех кличь великъ и говоръ, и секуть гору, хотяще высечися, и в горе тои просечено оконце мало, и туде молвять... и помаваюτь рукою...» и т. д. И лишь потом, в комментарии летописца разъясняется подразумеваемый смысл описанного: «Си суть людье, заклепении Александром Македоньским цесаремь... загна их на полунощныя страны и горы высокия» (235 236).

Нередко в летописи прямо не указывается на необычность действа, без сомнения, явно беспрецедентного, но и в таком случае летописец избегает называть такое

необычное действо. Например, описывается фактически суд Олега над Аскольдом и Диром: арест Аскольда и Дира воинами Олега, предъявление им обвинения Олегом («вы неста князя»), ссылка Олега на свою правомочность («но азъ есмь роду княжа»), предъявление вещественных доказательств («вынесоша Игоря: "И се есть сынъ Рюриковъ"»), приговор и его исполнение («и убиша Асколда и Дира» — 23, под 882 г.). Однако названия этому необычному действу летописец не дает.

Вот еще пример. Под 1103 г. Нестор описал некую церемонию, объектом которой был половецкий князь Белдюз: его «яша» русские князья и «приведоша»; «и нача Белдюзь даяти на собе злато, и сребро, и коне, и скотъ»; но его «нача впрашати», почему он и другие половцы «многажды бо ходивши роте, воеваете Русскую землю... проливашет кровь хрестьяньску»; и вынесли приговор: «да се буди кровь твоя на главе твоей»; и приговор привели в исполнение: «повеле убити и, и тако расекоша и на уды» (279). Несомненно, описан суд над Белдюзом, но летописец никак не называет эту торжественную церемонию, явно необычную для летописных сюжетов.

Так что в рассказе об апостоле Андрее и Киеве мы встречаемся, по-видимому, с тем же архаическим литературным средством или с той же манерой повествования — многозначительно умалчивать, лишь подразумевать, но не называть необычное явление при его описании.

На то, что Нестор прочно придерживался представления о необычности церемонии, проведенной Андреем, дополнительно указывают некоторые детали в рассказе. Во-первых, церемония проведена не кем-нибудь, а самим апостолом, притом братом Петра; апостолы же в летописи совершали небывалые деяния. Конечно, тем самым церемония Андрея охарактеризована снова лишь косвенно, но все же...

Во-вторых, еще одним косвенным признаком существования у летописца представления о необычности той или иной церемонии является указание на ее историческую значимость. В летописных рассказах с необычными, «дивными» и «чюдными» событиями зачастую тут же обозначалась и их историческая роль. Например, в комментариях по поводу крещения Руси Владимиром под 988 и 1015 гг. летописец явно связывал необычность события («*дивно* же есть се, колико добра створилъ Русьстеи земли, крестивъ ю» — 131) и его историческую значимость («събысся пророчство на Русьстеи земли… темь же и мы припадаемь… в родъ и родъ въсхвалить дела твоя… ныне же свободихомся от греха», «сего бо в память держать русьстии людье, поминающее святое крещенье» — 119–120, 131); отмечал и резкость перемен, принесенных событием («се же не единъ, ни два, но бещисленое множьство к Богу приступиша, святымь крещеньемь просвещени… нощь успе, а день приближися… сеть скрушися, и мы избавлени быхом…» — 120). В рассказе об апостоле Андрее, таким образом, мы встречаем сравнительно скупое упоминание о значимости церемонии («после же бысть Киевъ», «градъ великъ… и церкви многи») и опять лишь скрытое указание Нестора на ее необычность.

Рассказ об апостоле Андрее и Киеве содержит еще и третий косвенный признак наличия у Нестора представления о необычности описываемой им церемо-

нии. Дело в том, что при оценке летописцем явно необычных событий в летописном повествовании используется мотив новизны не только происходящего, но и его участников и его объектов. Так например, в рассуждениях о крещении Руси постоянно упоминаются «*новыя* люди сия». В рассказе об апостоле Андрее указание на нечто новое тоже есть, но указание опять только косвенное: Киев сначала упомянут как безымянный город («градъ великъ») и лишь потом назван («бысть *Киевъ*»). Подобным способом в рассказы о необычных событиях в первой половине летописи вводились новые, неожиданно появляющиеся персонажи. Например, под 862 г. персонажи сначала анонимны («изъбрашася 3 братья...» — 20), и только в дальнейшем повествовании о призвании варягов сообщаются их имена («стареишии *Рюрикъ* сяде...» и т. д.); тут же и о других персонажах, тоже вначале действующих анонимно («бяста... два мужа... и та испросистася... и поидоста... и идуче... узреста... и реста...») и лишь потом вдруг названных («*Асколъдо* же и *Диръ* остаста...»). Под 898 г. упоминаются «сынове разумиви...», и лишь в дальнейшем изложении о составлении славянской азбуки они названы — «сына своя *Мефодия* и *Костянтина*» (26). Под 980 г. об агрессивном сватовстве Владимира: князь желает взять в жены некую «тьчерь», и гораздо позже мелькает ее имя — «речь *Рогънедину*» (75). Под 987 г. о другом оригинальном сватовстве Владимира: князь требует к себе некую цесарьскую «сестру», и лишь при развитии последующих необычных событий сообщается ее имя — «сестру... имянемъ *Аньну*» (109). Количество примеров можно увеличить. Это архаичный для нас, но привычный для летописцев способ повествования. Отсюда можно предположить, что в рассказе об апостоле Андрее Киев тоже был представлен как новый, неожиданно вступающий в дело объект, указывающий на необычность описываемой церемонии.

Наконец, в рассказе об апостоле Андрее и Киеве содержится четвертый косвенный признак необычности церемонии, проведенной апостолом. Это признак, так сказать, от противного. Положенные церемонии, по летописи, всегда проводились подготовленно, в традиционно предназначенных для того местах или в местах, объяснимых предшествующими памятными событиями. Но вот место церемонии Андрея — необычно: церемония состоялась «по приключаю», незапланированно, на пустых и безлюдных «горах» — и это тоже признак ее необычности.

В общем, пожалуй, обнаруживаются следы того, что Нестор относился к церемонии апостола Андрея как к необычному торжественому действу, и, следовательно, в рассказе содержалось двойное подразумевание: подразумевалось название церемонии и подразумевалась ее необычность.

Остается ответить на наиболее интересный для нас вопрос, почему же так скрытно Нестор выразил свое представление о виде церемонии, проведенной Андреем, и о ее необычности. Скрывать-то тут Нестору было нечего. Отчасти, но не целиком, можно объяснять эту непонятную скрытность воздействием нетворческих причин, — например, расплывчатостью Несторова представления при кратком пересказе легенды. Но проявлений данного представления в тексте все-таки не

так мало, чтобы сводить всё к слабости ощущения или к случайностям редактуры Нестора. Видимо, существовала и идейная причина скрытной манеры Несторова повествования. Подразумевания предполагают наличие читателя, и Нестор чему-то учил своих читателей «подразумевательным» повествованием о далеких исторических событиях. Это его не высказанное им прямо назидание людям вообще и читателям в частности можно сформулировать приблизительно так: смотри и по деталям догадывайся сам о сути наблюдаемого или рассказываемого. Подобное авторское кредо сказалось не только на «подразумевательной» манере повествования, но и на пристрастии к изображению догадливости персонажей. Вот ведь апостол Андрей воззрел на киевские горы и сразу понял, чего надо ожидать.

В летописи, — и у Нестора, и у предшественников Нестора, — такой принцип догадливого отношения к внешнему миру демонстрировался неоднократно, притом самыми разными персонажами. Смотрел и делал вывод Бог: «Сниде господь Богъ *видети* градъ и столпъ и рече Господь: "Се родъ единъ и языкъ единъ". И съмеси Богъ языкы и раздели» (5). Рассказ о вавилонском столпотворении заимствован Нестором из «Хроники» Георгия Амартола[15], но именно Нестор представил Бога смотрящим и толкующим видимое, — в тексте Амартола этого нет. Смотрели и толковали видимое хазары: им «*показаша* мечь, и реша старци козарьстии: "Не добра данъ..."» (17). Смотрели и соображали немцы: «они же *видевша* бещисленое множьство — злато, и сребро, и паволокы, — и реша: "Се ни въ что же есть, се бо лежить мертво, сего суть кметье луче"» (198, под 1075 г.). Видели и мучительно догадывались жители Полоцка: бесов «не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ *видети* копыта... темъ и человеци глаголаху, яко навье бьють полочаны» (215, под 1092 г.).

Нередко в летописи рассказ о разглядывании и понимании имел более сжатую форму и умещался в речи персонажа. Так, тот же апостол Андрей сообщал и о виденном, и о своем уразумении виденного: «Дивно *видехъ* Словеньскую землю... и то творять мовенье собе» (8–9). Добрыня осмотрел пленных болгар и понял: «*Съглядахъ* колодникъ, оже суть вси в сапозехъ, — симъ дани намъ не даяти» (84, под 985 г.). Или десять дружинников Владимира глядели и сообщали, что именно они углядели и как оценили у болгар же: «*Смотрихомъ*, како ся покланяють въ храме... Несть добро законъ ихъ» (108, под 987 г.). Жители Белгорода предлагали печенегам заняться подобным осмыслительным смотрением: «Имеемъ бо кормлю от земле... да узрите своима очима» (128, под 997 г.). Наконец, греки предложили даже целую инструкцию о подсматривании и осмыслении своему «мужу мудру», посланному к Святославу: «*Глядаи* взора и лица его и смысла его» (70, под 971 г.).

Во второй половине летописи Никоновой и Несторовой упоминания о разглядывании и осмыслении бывали совсем беглыми, без прямой речи персонажей; например: старец Матфей «стояцю на утрени, възведъ очи свои, хотя видети игумена Никона, и *виде* осла стояща на игумени месте и разуме, яко не всталъ есть игуменъ» (191, под 1074 г.); или: «*узре* Василко торчина, остряща ножь, и разуме, яко хотят и́ слепити» (200, под 1096 г.). Чаще всего беглые упоминания о види-

мом явлении сопровождались толкованиями уже самого летописца: «*видимъ* нивы поростъше зверемъ жилища быша... кажеть бо ны добре благыи Владыка» (224, под 1093 г.); «придоша прузи... яже *видеста* очи наши за грехы наша» (226, под 1094 г.); «явися столпъ огненъ... и весь миръ *виде*... се же беаше... видъ ангелескъ» (284, под 1110 г.) и пр.

Из приведенных примеров видно, что подобное учительное отношение к миру и к читателям («смотри и догадывайся», «читай и догадывайся») еще не было осознано летописцами как теоретический принцип и не оформилось в этические сентенции или хотя бы в обобщающие замечания о правилах людского поведения, но, тем не менее, эта нравоучительная тенденция проявилась в летописных рассказах. Уже «Начальный свод» начинался с поучения к стаду Христову преклонить «уши ваши разумно».

2. Летописный рассказ о словенах и римлянах (подразумевание малодостойного)

Свой рассказ о путешествии апостола Андрея Нестор продолжил, на этот раз называя церемонию, но при этом подменив одно понятие другим. Банный обычай «мовенье» подается в рассказе как длительная пытка: словены «мучими»; они «нази»; их «бьють» так, что они «ели живи»; их обливают «водою студеною», тогда они, как после пытки, приходят в себя («оживуть»); и это повторяется «по вся дни» (8 9).

Собственно, кто именно не понял иносказательного обозначения того, что делают словены, апостол Андрей или римляне? Ведь они одинаково удивлялись: Андрей «удивися», римляне «дивляхуся». Ясно, что непонятливыми, с точки зрения Нестора, оказались римляне. Ведь, по рассказу Нестора, апостол, только что провидевший создание Киева, сразу понял и своеобразие словен: « виде... како есть обычаи имъ и како ся мыють». Это Андрей оформил свой рассказ как бы в виде загадки для римлян, и отгадку ему пришлось сообщить несообразительным римлянам же: «и то творять мовенье собе, а не мученье».

Кто же из персонажей представлен в неблагоприятном свете? Конечно, не Андрей. И не словены, которые, как следует из рассказа Нестора, вроде бы древнее, чем поляне: словен уже застал апостол Андрей («виде ту люди сущая»), в то время как полян апостол еще не видел и места их будущего обитания («горы») пустовали. Если бы Нестор настроен был против словен, то мотив их древности не проявился бы. Кроме того, против словен или насмешливо по отношению к словенам ни Нестор, ни его предшественники нигде в летописи не высказывались (другое дело, что Нестор отдавал предпочтение полянам и Киеву). Попавшими впросак показаны Нестором именно римляне, а как раз римлян, латинян и «немцев отъ Рима» летопись и до Нестора осуждала неоднократно: их учения «отци наши… не прияли суть» (85, под 986 г.); у нихъ «въ храмех… красоты не видехомъ никоея же» (108, под 987 г.); у «латынъ ученье разъвращено» (114, под 988 г.) и пр. Апостол

Андрей — «свой», а римляне — чужие, — вот что, вероятно, подразумевал Нестор в своем рассказе.

Но если Нестор не без насмешки показал чуждость латинян словенам, то почему он сделал это так скрыто? Ведь римлян он даже не называет прямо: Андрей «приде въ Римъ… и рече имъ». Кто такие эти «они», к тому же христиане они или язычники, не поясняется. Остановиться на каком-либо совершенно бесспорном объяснении подобной скрытости не удается. Одно объяснение такое: Нестор занимал, условно говоря, прозападную позицию и, пересказывая легенду, не хотел очень уж обличать римлян, тем более тогда еще не католиков. Вспомним, что Нестор вставил в летопись под 898 г. рассказ, благожелательный по отношению к папе римскому, — о том, как папа защитил богослужебные книги, переведенные на славянский язык и писанные славянскими письменами. Однако достаточных данных для утверждения о прозападности Нестора нет.

Другие объяснения невнятности выражения Нестором своего отношения к римлянам тоже недостаточно основательны, так как нет возможности сравнить рассказ Нестора с его источником, не известным нам. Тем не менее об объяснениях все-таки надо подумать. Не получилась ли невнятность оттого, что Нестор при пересказе легенды переключил свое внимание с римлян на этнографические подробности о словенах? Но специальные этнографические сообщения Нестора о разных племенах и народах обычно сопровождались его жесткими, положительными или отрицательными нравственными оценками (например: «поляне бо своих отець обычаи имуть кротокъ и тихъ… а древляне живяху звериньскимъ образомъ» (13); однако словенам Нестор не высказал ни похвалы, ни осуждения (выражение «дивно видехъ Словеньскую землю», пожалуй, не содержало указания на что-то плохое или же на хорошее: в летописи слово «дивно» могло относиться и к тому, и к другому); рассказ был составлен так, чтобы показать заблуждение римлян, их подвергнуть насмешке, то есть в центре внимания Нестора находились в большей степени Андрей и римляне, а не словены сами по себе.

Может быть, Нестор, пересказывая легенду, слишком сжал свой рассказ, в частности, возможный в источнике диалог персонажей (апостола и римлян) летописец преобразил в монолог Андрея, и в результате сокращений в рассказе появились разного рода невнятности? Тут можно только гадать.

И все же из всех возможных причин скрытности Нестора в характеристике римлян предпочтение, пожалуй, можно отдать литературной причине — традиционной лаконичности, безоценочности летописного повествования об очень давних событиях. В первой половине летописи не раз описываются ситуации, когда летописные персонажи одно явление ошибочно принимают за другое, но несколько уничижительная оценка таких персонажей, как правило, только подразумевается. Например, испуганные греки принимают язычника Олега за святого Дмитрия Солунского: «Несть се Олегъ, но святыи Дмитреи» (30, под 907 г.), — замечания Нестора по поводу явного заблуждения греков нет. И до Нестора летописцы повествовали таким же способом о попадающих впросак персонажах. Самый яркий

пример — о том, как незадачливый византийский цесарь не понял, что перед ним не будущая его жена, а его духовная дщерь, на которой ему нельзя жениться, — при этом оценки несообразительному цесарю летописец тоже не дает (под 955 г.). Или, например, печенеги приняли киевского отрока за печенега, а киевского воеводу — за киевского князя, — оценки наивным печенегам тоже нет (под 968 г.). Лишь в единичных случаях в летописи выносилась хоть какая-то минимальная оценка путающимся персонажам: «коне медяны… яко же *неведуще* мнять я мрамаряны суща» (116, под 988 г.). Таким образом, невнятный для нас рассказ Нестора о римлянах, скорее всего, просто был написан Нестором в традициях «подразумевательного» повествования, одним из экспрессивных средств которого служила подмена названий или понятий, а учительной, литературообразующей основой «подразумевательного» повествования служило все то же отношение летописцев к миру и к читателям, неотчетливое и безадресное, выраженное лишь в практике непосредственного рассказывания: верно понимай то, что слышишь или видишь (или читаешь), а иначе ты — глупец.

3. Летописный рассказ о Кие (подразумевание благопристойного)

Другой способ подразумевания замечается в летописном рассказе о Кие. Рассказ о Кие делится на две части: старшая, первая часть — о сотворении Киева — присутствовала еще в «Древнейшем киевском своде» 1030-х годов, а более позднее продолжение повествования о Кие было добавлено уже Нестором[16]. В Несторовой сжатой сводке сведений о Кие озадачивает своей, казалось бы, малосодержательностью заключительная фраза в рассказе о Кие: «Киеви же пришедшю въ свои градъ Киевъ, ту животъ свои скончa» (10), — для того, чтобы завершить историю жизни Кия, Нестору, конечно, надо было сказать о его кончине. Но зачем надо было упоминать о кончине Кия именно в *своем* граде?

Думается, что фразой «пришедшю въ свои градъ Киевъ, ту животъ свои скончa» Нестор обозначил как раз некие благополучные, достойные уважаемого персонажа *обстоятельства* его смерти (мы бы сказали сейчас: «умер в своей постели»). Аналогии в летописи подтверждают наличие такого смысла у фразы о Кие. Во-первых, все сообщения о возвращении летописных персонажей в град свой, в землю свою или в какое-то свое место были связаны с достижением тех или иных благополучных результатов. Вот самые яркие примеры. Возвращение в свой город или к себе в город после победы, заключения мира, взятия дани и пр.: Игорь «веземъ у грекъ злато и паволоки и на вся воя и възратися въспять и приде къ Киеву въ своя си» (46, под 944 г.), — взял трофеи и вернулся к себе в Киев; Ольга «уставляющи уставы и уроки, и суть становища ее и ловища, и приде въ градъ свои Киевъ... Иде Вольга... и устави... повосты и дани... по всеи земли знамянья и места, и изрядивши, възратися къ сыну своему Киеву и пребываше съ нимъ въ любъви» (60, под 946 и 947 гг.), — навела порядок и вернулась к себе в Киев; Ярослав прорвал

печенежскую осаду Киева, «приде Киеву и вниде в городъ свои» и затем разгромил печенегов (151, под 1036 г.); Мстислав «створи миръ... приде Новугороду в свои град» (240, под 1096 г.) и т. д. Сообщение о возвращении в прочие свои места тоже служило знаком благополучия или исполненного долга: русские воины спаслись от гибели — «от таковыя беды избегнути и въ своя си возъвратишас», «възъвратишася въ своя си, тем же пришедшимъ въ землю свою» (22 и 45, под 866 и 941 гг.); «крестившим же ся людемъ, идоша в домы своя» (118, под 988 г.); «отстоявшю утренюю предъ зорями, идоша по кельямъ своимъ» (190, под 1074 г.) и т. д. Значит, и Кий, по летописи, достойно вернулся в свой город.

Во-вторых, пребывание умерших персонажей в чем-то своем или у кого-то своего служило знаком достойного завершения жизни: Владимир — «поставиша и́ въ святеи Богородици, юже бе създалъ самъ» (130, под 1015 г.); Мстислав — «положиша и в церкви у святаго Спаса, юже бе самъ заложилъ» (150, под 1036 г.); Всеволод «преставися тихо и кротко и приближися ко отцемъ своимъ» (217, под 1093 г.); Ростислав — «положиша и́ у церкви святыя Софьи у отца своего» (221, под 1093 г.) и т. п. Значит, и Кий достойно умер.

В-третьих, на достойную кончину Кия указывает сама фразеология летописного сообщения, отнюдь не случайная, — ведь она повторяется: Кий «ту животъ свои скончa, и братъ его Щекъ и Хоривъ и сестра их Лыбедь ту скончашася». Выражения «животъ свои скончати» и «скончатися» относились в летописи только к достойным людям: основатель Киево-Печерского монастыря Антоний «скончa животъ свои» (158, под 1051 г.); благочестивый монах Исакий «скончa житье свое… о Господе скончася» (198, под 1074 г.); великий князь киевский Владимир «скончася» (130, под 1015 г.); блаженный Борис «скончася» (134, под 1015 г.). И, напротив, о смерти злодеев говорилось иначе: Святополк Окаянный «испроверже зле животъ свои» (145, под 1019 г.); убийца Итларь «зле испроверже животъ свои» (228, под 1035 г.).

Так что из использованных Нестором архаических для нас средств повествования следует, что Кий умер вполне благопристойно. Правда, Нестор пишет об этом расплывчато, лишь подразумевая некие возвышенные обстоятельства смерти Кия, но, очевидно, не зная о них ничего конкретного, не зная и последовательности смерти братьев, — ведь не одновременно они вдруг все скончались. Но Нестору нужна была не отписка, а важно было возвысить Кия перед догадливым читателем.

Со стремлением во что бы то ни стало возвысить Кия мы встречаемся во всем Несторовом рассказе о Кие с начала и до конца. Свою часть рассказа о Кие Нестор начинает с утверждения о том, что Кий никаким перевозчиком на Днепре не был, «но се Кии княжаше в роде своемь» (10). Выражение «княжаше в роде своемь» — при всей его решительности очень неопределенно. Судя по обычной летописной фразеологии, родами «володеют» старейшины (а Кий как раз был братом «старейшим»), а князья княжат в каком-либо городе. Но Нестор не говорит, что Кий «княжаше» в Киеве и, следовательно, Кий всех раньше «въ Киеве нача первее княжити». Выражение «княжаше в роде своемь», скорее всего, является контами-

нацией, благодаря которой Нестор, опять-таки не зная конкретно, в каком качестве правил Кий, приподнял статус Кия как нечто переходное от старейшины к князю. И дальше Нестор настаивал на такой, так сказать, форме власти: «И по сихъ братьи держати почаша родъ ихъ княженье в поляхъ» (10), — не князья, но уже княжат. Догадливый читатель поймет, — так мы сейчас можем предположительно объяснить цель лаконичности Нестора.

Рассказывая о Кие, Нестор добавляет еще, по крайней мере, две возвышающие Кия детали: Кий в Царьграде «велику честь приялъ есть от царя» византийского и Кий «сруби градокъ малъ» на Дунае (10). Первое сообщение более прозрачно подразумевает знатность Кия, раз ему оказал почести сам византийский цесарь, а второе сообщение уже не так отчетливо выставляет Кия настоящим князем: ведь все князья, начиная с Рюрика, активно занимались строительством городов, что неукоснительно отмечает летопись как важную княжескую прерогативу. Но Нестор, уклоняясь от традиций летописной точности, опять неотчетлив в своих сообщениях: он не конкретизирует, мирно или войной Кий «ходилъ Царюгороду», какие именно почести были оказаны цесарем Кию и как именно звали цесаря, потому что всего этого он не знает («велику честь приялъ есть от царя, при которомъ приходивъ цари», имя его «не свемы»); не указано опять-таки по незнанию и то, как Кий собирался назвать свой новосрубленный город и где все-таки и в чьих владениях тот находился (вместо этого сказано неопределенно: Кий «приде къ Дунаеви и възлюби место»; а уж после Кия «наричють дунаици городище Киевець», — остатки того города фактически неназванные Нестором обитатели тех мест именуют Киевцем). Общие выражения помогли Нестору не только прикрыть незнание фактов, но и для догадливого читателя создать архаическими повествовательными средствами облик Кия как достойного правителя.

Однако в Несторовой уважительной характеристике Кия остался ощутимый элемент невнятности, потому что в рассказе Нестором же упомянуты, как можно думать, и неблагополучные для Кия события: Кий, оказывается, хотел осесть со своим родом на Дунае, то есть почему-то покинул Киев; остаться же на Дунае «не даша ему ту близь живущии», то есть Кий потерпел неудачу. А далее роль Кия Нестор уже вообще не выделяет, называя его только в составе трех братьев или глухо, без имен, упоминая этих братьев. То, что о хорошем и о не очень хорошем Нестор равно высказывался очень скрытно, не толкуя детали, заставляет опять вспомнить о его учительной, деликатно проявляемой жизненной позиции: смотри и догадывайся сам.

4. Летописный рассказ о смерти Олега Вещего (подразумевание отрицательного)

Знаменитый рассказ о смерти Олега Вещего был вставлен в летопись составителем «Повести временных лет» Нестором и отсутствовал в предшествовавшем ей

«Начальном своде»[17], этим выводом А. А. Шахматова руководствуемся, говоря далее об отношении Нестора к Олегу и о его манере повествования в рассказе.

Каким выглядит Олег в рассказах Нестора? С 879 г. по 907 г. в тексте летописи это герой вполне заслуженный. Но в заключительном рассказе о гибели Олега под 912 г. Олег у Нестора выступает уже как лицо не совсем положительное. К такому впечатлению подводит целый ряд фраз по ходу рассказа и, прежде всего, его фактически первая фраза: «И помяну Олегъ конь свои, и бе же поставил кормити и не вседати на нь» (38). Олег у Нестора ведет себя очень странно: вместо того, чтобы кормить коня и садиться на него для поездок, князь отказывается от обычного обращения с конем. Мало ли что могло происходить в действительности. Но Нестор не без писательской экспрессии противопоставил, казалось бы, бессмысленный поступок Олега нормальному процессу: кормить коня, но не вседать на него (союз «и» во фразе имел противительное значение); и не только противопоставил, но дополнительно выпятил странность повеления Олега, нарушив ради такого случая обычную для летописи прямую хронологическую последовательность повествования: сначала указал на поступок Олега как на нечто поразительное, а уж потом стал рассказывать о породивших этот казус событиях («бе бо въпрошал волъхвовъ и кудесникъ…»).

Представление о, так сказать, ненормальности поведения Олега Нестор далее в рассказе выразил неоднократным повторением экспрессивных указаний на необычность ситуации с конем: снова упомянул, что Олег «повеле кормити и́ (коня) и не водити его к нему». Сам Олег даже усилил свой отказ: «николи же всяду на нь, ни вижю его боле того». Необычность поведения Олега как князя в рассказе Нестора тем более выделяется на фоне всего летописного повествования о «нормальных» князьях и воинах, которые только и делали, что садились на коней и ездили на конях. Правда, представление о странности поведения Олега выражено Нестором лишь скрыто, без каких-либо прямых оценок.

Это представление имело и дополнительный ценностный оттенок: странно ведущий себя Олег становится у Нестора, пожалуй, отрицательным персонажем. Ведь в летописи все прочие случаи отказа ездить на коне или иные ненормальности в обращении с конями связаны исключительно с отрицательными персонажами. Подобная связь повторялась еще до Нестора, в «Начальном своде», где отказывались или не могли ездить на конях безусловно отрицательные персонажи: древляне («не едемъ на коняхъ» — 56, под 945 г.); Святополк Окаянный («бежащю ему... не можаше седети на кони» 145, под 1019 г.). Именно из-за отрицательных персонажей нельзя было нормально ухаживать за конями, например, из-за печенегов («не бяше льзе коня напоити — на Лыбеди печенези» — 67, под 968 г.); наконец, именно для отрицательных персонажей совершенно ненормальным образом использовались кони («Перуна же повеле привязати коневи къ хвусту и влещи» — 116, под 988 г.). Нестор продолжил эту традицию: во вставленном им в начало летописи одном из рассказов, к примеру, обры тоже отказывались ездить на конях («поехати будяше обърину, не дадяше въпрячи коня, ни вола, но веляше

въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обърена» 12); тут же Нестор прямо дал отрицательную характеристику таким наездникам: «быша бо объре... умомь горди, и Богъ потреби я».

В отдельных случаях в летописных рассказах воздерживались ездить на конях и не однозначно отрицательные персонажи, — вроде Святослава (воевода советует ему: «Поиди, княже, на конихъ»; но Святослав «не послуша его и поиде в лодьяхъ» 71, под 971 г.) или вроде Болеслава Польского («бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы седети» — 143, под 1018 г.). Олег, видимо, относился у Нестора к таким неоднозначно отрицательным персонажам.

И все-таки об отрицательном смысле высказывания «кормити и не вседати» свидетельствует сама его структура (делать, но не доделать, исказить и пр.). В летописи подобные выражения, обозначавшие нарушение обычного хода вещей, всегда относились к персонажам отрицательным или к поступкам, не одобряемым летописцем. Некоторые примеры уже были приведены: «поехати будяше объриину, не дадяше въпрячи коня» (12); Святополк Окаянный — «бежащю ему… не можаше седети на кони» (145, под 1010 г.). Ср. еще: печенеги «побегоша… и не ведяхуся, камо бежати» (151, под 1036 г.); «немцы» — «видехомъ въ храмех многи службы творяща, а красоты не видехомъ никоея же» (108, под 967 г.); латиняне — «влезъше бо въ церковь, не поклонятся иконамъ» (114, под 988 г.); монах «раслабленъ умом» — «в поющихъ от братья мало постоявъ... изидяше ис церкви… и не възвратяшется в церковь до отпетья» (190, под 1074 г.) и т. д. Так что Нестор осудительно относился к Олегу.

В рассматриваемом рассказе Нестора содержится еще ряд деталей, по-видимому, тоже отрицательно характеризующих Олега. Так, из рассказа следует, что Олег нарушил свое княжеское слово: сначала отказался видеть коня («ни вижю его» — 38), а потом вроде бы передумал («а то вижю кости его» — 39). Своих слов, обещаний и клятв не сдерживали в летописи только отрицательные персонажи. Правда, летописец никак не увязал эти два поступка Олега; да и произошло ли, по мнению летописца, нарушение данного князем слова? Ведь Олег обещал не видеть живого коня, а не мертвого. Отрицательное представление уклончивого Нестора об Олеге здесь трудноуловимо.

Но смысл других деталей, связанных с конем, в рассказе Нестора снова наводит на предположения о неблагоприятных оттенках в Несторовом изображении Олега. Так, Олег говорит: «Конь умерлъ есть, а я живъ» (39), пристойно ли князю сопоставлять себя с конем? Далее: Олег «въступи ногою на лобъ» коня, — не карикатурна ли такая поза победителя («стати на костях») всего лишь над конским черепом? Еще: Олега «уклюну» змия, высунувшаяся из полого конского черепа, соответствует ли княжеской чести столь приземленная смерть? Ответов на эти вопросы летопись не дает. Но в целом возникает стойкое подозрение в том, что Нестор все же имел какое-то неблагоприятное мнение о действиях Олега, однако прямо на этот счет предпочел не высказываться.

Подобное ощущение отрицательности отношения Нестора к Олегу поддерживается группой деталей, относящихся к иной теме в рассказе, к волхвам. Свое объяснение странности поведения Олега Нестор начал с указания на переговоры Олега с волхвами. В других рассказах летописи «прельщенные» люди, верящие волхвам, всегда открыто осуждались: именно «невегласи послушаху» волхвов (174, под 1071 г.). Тех людей, которые слушают волхвов, Нестор тоже заклеймил открыто в своем комментарии к рассказу о гибели Олега: волхвы «знамения творяху... на прелщение оканным человекомъ» (40); волхвы «прекостни имуще умъ... знаменають иною козньюна прелесть человекомъ, не разумевающих добраго» (41). Однако нельзя утверждать, что эту оценку «человекомъ» Нестор обязательно относил также и к Олегу, потому что она отстоит далеко от рассказа об Олеге, принадлежит не летописцу, но входит в обширную его выписку из «Хроники» Георгия Амартола[18]. Кроме того, сам Олег в рассказе, хотя сначала и послушал кудесника, но потом, лет этак на десять, как бы забыл о предсказании и в конце концов решительно обвинил всех волхвов во лжи. Так что остается под вопросом предположение, будто Нестор считал Олега «не разумевающим добраго».

Однако в первой половине рассказа, когда речь заходит о волхвах, содержатся еще две детали, все же более непосредственно свидетельствующие о неблагоприятных оттенках в Несторовом изображении Олега. Во-первых, князь обратился к волхвам, потому что стал опасаться смерти: «бе бо въпрашалъ волхъвовъ и кудесникъ: "От чего ми есть смерть?"» (38). Но отважному князю недостойно так суетливо бояться смерти. Не боялся ее, например, Святослав: «волею и неволею стати противу, да не посрамимъ земле Руские, но ляжемъ костьми ту мертвы» (70, под 971 г.); не боялся смерти Василько Теребовльский: «не боюся смерти» (266, под 1097 г.); не боялись гибели и другие князья: «убо смерть намъ зде, да станемъ крепко»[19]. И напротив, страшилась смерти корыстная дружина Игоря, предпочитавшая отступить «не бившеся», а то может случиться «обьча смерть всемъ» (46, под 944 г.). На этом фоне опасливые расспросы Олега выставляют его в неприглядном виде, хотя летописец опять-таки никак не поясняет, почему Олег вдруг стал так беспокоиться.

Вторая неблагоприятная деталь: Олег, как сказано, «приим въ уме» предсказание кудесника. Выражение «приим въ уме», вероятно, означало у летописца ошибочное осмысление предсказания Олегом: и действительно, ведь Олег не смог расчислить умом, что ему грозит смерть не только от живого коня («конь, его же любиши и ездиши на нем, от того ти умрети» 38), но и от коня мертвого, даже от части коня, даже от старой кости его. Добавим, что «умъ» в летописи категория отнюдь не положительная: умом люди заблуждаются, бывают расслаблены, впадают в смятение (41, под 912 г.; 120, под 1074 г.; 257, под 1097 г.); ум надо очищать (184, под 1074 г.); ума все время не хватает («умомъ простъ» 208, под 1089 г.; «что ума приласте?» — 107, под 987 г.); умом бывают «горди» (12), и именно в гордом «възнесенье», по признанию одного из князей, «рекох въ уме своемь» (266, под 1097 г.). Правильное, успешное решение достигается только через серд-

це, — так следует из летописи. Например, Владимир верное желание креститься «положи на сердци своемъ» (106, под 986 г.); и другие решения летописных персонажей оказывались правильными, когда они прелагали мысль в сердце, возлагали на сердце, утверждали сердцем, писали на сердце, обращали сердце, принимали в сердце, когда им «Богъ вложи в сердце» и т. д. Естественно, у Олега ничего этого не было, опора только на «умъ» стала гибельной. Однако и на этот раз никакого ясного осуждения Олега по этому поводу скрытный Нестор не допускает, оно читается лишь между строк.

Но и во второй половине рассказа, продолжающей тему волхвов, встречается странная деталь, опять выдающая, как можно предполагать, отрицательное отношение Нестора к Олегу, — князь этот внезапно начинает вести себя насмешливо: «Олегъ же посмеася и укори кудесника» и у скелета коня снова «посмеяся» (39). Как известно, напрасно «посмеяся». Кто еще напрасно «посмеяся» в летописи? — явно отрицательный печенежин — над русским борцом (123, под 992 г.); порочные люди — над праведным Ноем (90, под 986 г.). Еще насмехаются отрицательные персонажи над положительными явлениями: языческая дружина Игоря — над христианской верой (Святослав признается: «дружина моа сему смеятися начнуть» — 63, под 955 г.); половцы — над иконами («на святыя иконы насмихающеся» — 233, под 1096 г.); бесы — над людьми («бсси бо... насмихаются» — 175, под 1071 г.). То, что Олег «посмеяся» над словами кудесника, — еще куда ни шло; а вот то, что Олег «посмеяся» над бедными костями коня, характеризует князя отнюдь не положительно в данном летописном эпизоде. Да и «укоряют» в летописи другие персонажи обычно от явной наглости (141–142, под 1010 г.; 143, под 1018 г.; 233, под 1096 г.). Хотя аналогий маловато, но наши подозрения насчет Нестора кажутся небезосновательными, а вкупе все упомянутые детали побуждают думать об отрицательном отношении сдержанного Нестора к Олегу, по отношении, выраженном только лишь косвенно.

Кроме того, Нестор поместил Олега в некий зловещий мир, заполненный странностями и неожиданностями. Парадоксально ведет себя не только Олег, парадоксальны и другие персонажи и предметы: то, что любишь, грозит смертью («его же любиши... от того ти умрети» — 38); то, что оберегают, погибает («конь... его же бе поставил кормити и блюсти его... умерлъ есть» — 38–39); малоприятный, но безобидный предмет оказывается самым опасным («отъ... лба смьрть», «змиа изо лба» — 39) и пр. Мир в этом рассказе Нестора выглядит каким-то уродливым и смертоносным, — потому что это мир волхвов и их предсказаний, бросающий свой зловещий отсвет на Олега.

Правда, летописец ничего такого прямо не обобщает. Но, судя по другим рассказам летописи, мир волхвов, а также бесов, действительно, представлялся летописцам странным, противоестественным и античеловеческим («вы есте тма, и во тме ходите, и тма вы ятъ» — 197, под 1074 г.); в том числе и кони в этом мире искажались и вовлекались в зловещие смертоносные события: кони то превращались в «лобъ»; то являлись «на вздусе» (164, под 1064 г.); то заговаривали человеческим

голосом (165); то являлись невидимыми, и только их копыта или следы их копыт были видны (215, под 1092 г.). Персонаж, поверивший волхвам или бесам, подвергался смертельной опасности; в частности, перед ним появлялись змеи: «ово змие полозяху к нему» (197, под 1074 г.); страдали и ноги персонажа — то в лютый мороз «примерзняшата нозе его г камени», то «ногама босыма ста на пламени» (195 196, под 1074 г.). Конечно, аналогии рассказу о смерти Олега от укуса змеи в ногу тут не близкие. Но так или иначе все же можно предполагать, что Нестор осторожно выставил Олега в неблагоприятном свете.

Теперь требуются объяснения этому своеобразному отрицательному отношению Нестора к Олегу и скрытной манере его выражения. Самый первый вопрос заключается в том, лично ли Нестор так выразил свое неодобрительное или неблагоприятное отношение к Олегу или оно механически, вместе с заимствованным текстом, перешло из какого-то источника.

Один из источников Несторова рассказа о смерти Олега известен и бесспорен, — им послужил «Начальный свод»[20], где без каких-либо комментариев сообщался только сам факт об Олеге: «идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре»[21]. Исходя из характера этого сообщения, по тексту Нестора можно предположить (вычленить), что кратким, фактичным и неидеологичным мог быть и его второй, неведомый нам источник, связывающий смерть Олега случайно около коня, но не от коня, однако не упоминавший волхвов и зловещую роль коня. Вот примерный ход изложения в этом предполагаемом источнике: «И помяну Олегъ конь свои... и призва стареишину конюхом, рече: «Кое есть конь мъи, его же бе поставил кормити и блюсти его?». Он же рече: «Умерлъ есть». Олег же… прииде на место, иде же беша лежаще кости его голы и… змиа… уклюну в ногу, и с того умре» (39). Доводы о содержании этого чисто фактичного источника очень зыбки, потому что они опираются на некоторые несоответствия в Несторовом тексте, возникшие при переработке источника. Так, в этом источнике на сугубо «конскую» тему был вполне естествен диалог Олега с конюхом, а вот в Несторовом тексте этот диалог не имел никакого отношения к волхвам. Кроме того, становится понятно, почему в этом диалоге Олег упоминает об уходе за оберегаемым конем («кормити и блюсти») без каких-либо намеков на его роковую роль. Добавим, что сюжеты с поисками коня имели место в том же «Начальном своде» (отрок спрашивал: «Не виде ли коня никто же?» 66, под 968 г.), а вот сочетания «конских» мотивов и волхвов в летописи, вообще склонной к повторению ситуаций, больше нет нигде. Так что, может быть, стоит допустить версию о существовании у многоопытного книжника Нестора целых трех источников, отнесенных к смерти Олега: во-первых, краткого летописного сообщения; во-вторых, источника без волхвов и, в-третьих, источника о каком-то предсказании волхвов.

Из всего этого следует догадка о том, что подобные неблагоприятные упоминания об Олеге мог сознательно вставить в свой рассказ все-таки, вероятнее всего, сам Нестор. Если догадка верна, то в таком случае возникают новые вопросы: во-первых, почему неблагоприятные упоминания об Олеге вообще появи-

лись в рассказе Нестора; во-вторых, составляют ли они целенаправленную тему; и, в-третьих, почему они скрытны. На первый вопрос ответ таков: Нестор ввел в летописный рассказ об Олеге совершенно новую тему — о волхвах и их предсказании, — и при этом благопристойный Нестор, конечно, не мог не осуждать обращения Олега к волхвам и кудесникам.

Ответ на второй вопрос: неблагоприятные замечания об Олеге все же не выстроились у Нестора в стройную тему, — напротив, они отрывочны, детали не связаны в единое целое. Дело в том, что при изложении легенды центр внимания Нестора переместился с едва намеченной характеристики Олега на волхвов, на более важную для Нестора и развитую им тему сбываемости языческих предсказаний. Поэтому в рассказе повторялись ссылки на речи волхвов («рече ему кудесник… бяхуть рекли волсви… глаголють вольсви»), и завершался рассказ обширнейшим теоретическим комментарием Нестора по поводу того, отчего же «от волхвования собывается чародейство» (39), — главное растолковано, а относительно второстепенному для него предмету ученый монах Нестор уже не уделил особого внимания.

Наконец, ответ на третий, самый интересный для нас вопрос: скрытность отдельных неблагоприятных упоминаний об Олеге объясняется все-так и уважительным отношением Нестора к Олегу, государственную роль которого летописец так старательно подчеркивал[22]. Возможным примером уважительного отношения Нестора к Олегу может послужить еще одно косвенное, но очень любопытное свидетельство в летописи об отрицательном облике Олега и зловещей атмосфере вокруг него. Рассказ о смерти Олега помещен под 912 г., ему предшествует сообщение под 911 г. о явлении кометы: «Явися звезда велика на западе копииным образом» (92). Никаких пояснений летописца по этому поводу нет, хотя в других местах летописи подобные небесные знамения всегда толкуются как недобрые. Но известно, что сообщение о комете вставлено в летопись Нестором[23] и взято оно из «Хроники» Георгия Амартола (вернее, у продолжателя Амартоловой «Хроники»)[24]. Сообщение о комете в «Хронике» Георгия Амартола имеет соответствующее толкование и, больше того, в чем-то перекликается с сюжетом о волхвах в летописном рассказе об Олеге: очередной византийский цесарь Александр «ничто же царское дело творя, но на пищу и на срамодеание упразднитися възлюби... При семь звезда явися велия от запада, копииника его нарицаху от сих злии, та звезда кровопролитие прознаменуеть в Костянтине граде, — глаголаху. Сь убо Александръ прелестникомъ и влъхвам себе предасть, послуша бо их... сеи же сими прелщен бысть... Оружие же Богомъ послано уязвен бысть...»[25]. Вряд ли Нестора заинтриговал только сам по себе факт появления этой кометы, вне контекста сообщения о ней. Но и с уверенностью нельзя считать упоминание кометы намеком Нестора на то, какой он далее представит судьбу Олега. Смысл неблагоприятный опять скрыт, нейтрализован, скорее всего, благодаря уважительному отношению Нестора к Олегу: сразу после глухого сообщения о комете Нестор вставил торжественный договор Олега с греками, в котором Олег назван «великим князем русским» и «светлым князем» (33–34, под 912 г.).

Думается, что эта идейная тактичность Нестора распространялась не только на Олега, но и вообще на древнейших киевских правителей. В текстах, вставленных Нестором в начальную часть летописи, многочисленные, но всегда скрытые отрицательные характеристики содержались не только в рассказе об Олеге, но, например, и в рассказах о непутевом князе Игоре[26]. Ограничусь только одним примером. Под 903 г. про Игоря Нестор рассказывает, на наш взгляд, довольно уничижительно: «Игореви же въздрастъшю, и хожаше по Олзе и слушаша его» (29), — выросший Игорь, сын Рюрика, должен был княжить самостоятельно, а он все еще подчиняется Олегу и даже не участвует в походах: «Иде Олегъ на грекы, Игоря остави в Киеве» (29, под 907 г.). Это полная противоположность выросшему отважному Святославу, ср.: «Князю Святославу възрастъшю и възмужавшю, нача вои совокупляти... воины многи творяше» (64, под 964 г.). Однако прямой оценки Игорю Нестор не высказывает. Можно даже предположить, что Нестор, оставив Игоря в Киеве, тем самым просто попытался объяснить отсутствие упоминания об Игоре в далее приводимом договоре победоносного Олега с греками, а ссылка Нестора на второстепенную роль Игоря лишь невольно получилась уничижительной. И все же приходится думать об отрицательном смысле Несторового сообщения об Игоре, потому что Нестор тут же добавляет еще один факт из жизни Игоря: «И приведоша ему жену от Пьскова именемъ Олгу» (29), — что это за ничтожный князь, который не сам выбирает себе жену? В «Древнейшем своде» сообщалось противоположное: «Игорь... приведе собе жену отъ Плькова именьмь Ольгу». Нестор переделал эту фразу. Ср. о другом князе: в «Начальном своде» говорилось, что Владимир Святославович сам «приводя к себе мужьски жены» (80, под 980 г.); однако это сообщение Нестор не изменил. В общем, Нестор с неодобрением отнесся к Игорю, но снова — только скрытым: ведь все-таки это «великий князь русский», как он неоднократно назван во вставленном Нестором же договоре Игоря с греками.

В текстах Нестора нет ни одного явного выпада против древнейших русских князей. Сомнение вызывает лишь одно сообщение: «И прозваша Олга вещим, бяху бо люди погани и невеигласи» (32, под 907 г.). «Вещим» — это хорошо или плохо, с точки зрения летописца? Пожалуй, нехорошо, судя по оценке, которую летописец дал «невегласам», прозвавшим Олега «вещим». Но показательно, что в адрес князя дипломатичный Нестор от себя не выносит никаких оценок. Внимательный читатель должен был делать выводы сам.

В то же время, в противоположность Нестору, в «Начальном своде» регулярно встречались прямые и резкие осуждения даже самых знаменитых деятелей: Игорь жаден («желая больша именья» — 54, под 945 г.); Святослав не почтителен к матери («аще кто матери не послушаеть, в беду впадаеть... смерть прииметь; се же к тому гневашеся на матерь» — 63–64, под 955 г.); кроме того, Святослав не любит свою родину («ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ» — 67, под 968 г.); Владимир развратен («прелюбодеи бысть убо», «бе несытъ блуда... бе бо женолюбець» — 78, 80, под 980 г.; «любя жены и блуженье многое» — 85, под 986 г.); Святослав Ярославович, внук Владимира, вероломен и властолюбив

(«преступивше заповедь отню, Святослав же бе начало выгнанью братню, желая болши власти» 182, под 1073 г.); Всеслав Брячиславович, правнук Владимира, жесток («немилостивъ есть на кровьпролитье» 155, под 1044 г.) и пр.

В противоположность же «Начальному своду», в рассказах, вставленных, так сказать, «государственником» Нестором, древнейшие киевские правители и князья даже идеализировались: во вступлении к летописи Нестор опровергал «не сведущих» и отстаивал знатность Кия; в конце летописи утверждалось, что при древнейших князьях на Руси не происходило такого плохого, как на исходе XI в. («сего не бывало есть в Русскеи земли ни при дедех наших, ни при отцихъ наших» — 262, под 1097 г.); их заслуги оценивались очень высоко («землю нашю... беша стяжали отци ваши и деди ваши трудом великим, храброствомь... поистине отци наши и деди наши зблюли землю Руськую» 263 264, под 1097 г.). Такое идеализированное мнение о предках, видимо, сложилось у Нестора под влиянием небывалых несчастий конца XI в. нашествия половцев и княжеских междоусобиц; предки призваны помочь потомкам, — вот учительная позиция Нестора. К сожалению, из-за отсутствия других источников мы не знаем, широко ли было распространено подобное мироотношение или же нравоучительная идеализация предков была свойственна только Нестору индивидуально. Но пока именно глубокой уважительностью к предкам, в том числе к Олегу, и ориентацией на читательскую тонкость можно объяснить скрытность отрицательных высказываний Нестора об Олеге.

Не выходя за пределы летописного материала, можно поставить вопрос о происхождении этой «подразумевательной» манеры повествования. Конечно, не Нестору принадлежит заслуга ее открытия. В том, что подобного рода подразумевания отрицательных оценок имели старые литературные корни, помогают убедиться повествовательные куски в летописи, сохранившиеся еще от предшественников Нестора. Например, рассказ о хазарской дани с полян, вставленный в летопись еще Никоном в 1070-е годы[27], содержит знаменательный перебой в повествовании. Хазарский отряд, собравший с полян дань мечами, вернулся к своему князю и старейшинам. Следует диалог сторон. Хазарские воины говорят: «Се налезохомъ дань нову». Князь и старейшины спрашивают: «Откуда?». Воины отвечают: «Въ лесе, на горахъ, надъ рекою Днепрьскою». Князь и старейшины продолжают опрос: «Что суть въдали?». И тут воины вдруг не дают ответа — «они же показаша мечь» (17). Далее старейшины разражаются речью, как будто получили ответ. Но почему промолчали хазарские воины? По-видимому, воины не знали, что такое мечи, не знали, как называются полученные ими предметы, и потому только показали образчик. Именно невежество хазарских воинов, — черту, столь нелюбимую и открыто обличаемую в других летописных рассказах о других персонажах, — в данном рассказе, вероятно, и подразумевал летописец, притом, может быть, и не без некоторого отрицательного оттенка о хазарах: ведь поляне, как сказано в начале рассказа, «быша обидимы древлями и инеми околними» (16 17), в число которых входили хазары.

В подтверждение сошлемся на третью редакцию «Повести временных лет», где аналогичный жест растолковывается более или менее ясно в рассказе под 1096 г. о неведомом северном народе, окруженном непроходимыми горами[28]: «кажуть на железо и помавають рукою, просяще железа» (235), не знают, как назвать его, потому что «есть не разумети языку ихъ» и потому что это «человекы нечистыя», «скверниии языкы», нецивилизованные (235 236).

В рассказе же Никона о хазарской дани смысл жеста хазар и отношение автора к ним только подразумевались, скорее всего, потому, что главное внимание автор уделил вопросу о сбываемости предсказания хазарских старейшин, а об остальном рассказал бегло и неполно, а кроме того потому, что к хазарам этот летописец и не относился с враждебностью. Рассказ Никона подтверждает, что «подразумевательная» манера летописного повествования существовала еще до Нестора. То, как она конкретно складывалась и какого читателя имела в виду, покажут будущие исследования, тем более, что мы рассмотрели далеко не все случаи подразумевания в рассказе о смерти Олега.

В заключение кратко коснемся вопроса об архаичности Несторова повествования. Сами по себе подразумевания оценок не составляют архаики. Считать рассказ о смерти Олега плодом архаичного литературного творчества позволяют, по крайней мере, два обстоятельства, непосредственно к оценке Олега относящиеся. Во-первых, непривычны для нас, то есть архаичны использованные Нестором детали для скрытой характеристики Олега. Например, к несомненной архаике относится характеризование Олега через его отношение к боевому коню. Конь в «Повести временных лет» вообще является мерой качеств, — мерой детскости («суну копьемъ Святославъ на деревляны, и копье лете сквозе уши коневи и удари в ноги коневи, бе бо детескъ» 58, под 946 г.); мерой дороговизны («и бе гладъ великъ, яко по полугривне глава коняча» (74, под 971 г.); мерой высоты здания («въздано... възвыше, яко на кони стояще рукою досящи» 150, под 1036 г.); показателем степени бодрости войска («конем ихъ не бе спеха в ногах» — 276, под 1103 г.) и степени паники («побегоша, хватающе кони» 282, под 1107 г.) и пр. Семантика «конских» деталей целиком принадлежит к тому времени.

Во-вторых, к архаическому, то есть, сравнительно с нашими современными литературными нормами, недостаточно развитому, «подразумевательному» повествованию можно причислить вообще весь рассказ Нестора о смерти Олега из-за почти полного отсутствия в нем необходимых нам объяснений и оценок. В рассказе Нестора просто начинается и развивается, в том числе вопросами Олега, некий внешний сюжет. Семантика таких «внешних» сюжетов также нуждается в изучении.

5. Летописные рассказы о княгине Ольге и деревлянах (подразумевание зловещего)

В «подразумевательной» манере были изложены и летописные рассказы о расправе Ольги с деревлянами, а ведь эти рассказы под 945 г. принадлежали не Нестору, а появились еще в «Начальном своде»[29].

Остановимся только на самом выразительном и сравнительно толково изложенном рассказе о первой мести Ольги деревлянам. Уже давно разъяснено на основе внелетописных параллелей, что Ольга, обещав деревлянскому посольству оказать «*честь* велику» несением всех их в ладье («възнесуть вы в *лодьи*» — 56), на самом деле подразумевала их похороны[30]. В тексте самой летописи у других летописцев тоже можно найти ряд аналогий мотиву похорон из рассказа об Ольгиной мести. Ср. связь похорон с отданием последних почестей умершему: «великъ плачь створиша над нимъ… спрятавше тело его *с честью*» (206, под 1086 г.); в третьей редакции «Повести временных лет» связаны почести и перезахоронение: «перенести мощи… на похвалу и *честь* телесема ею»[31]. Аналогия связи ладьи с похоронами умершего: «И вземше тело его, привезоша и́ в *лодьи…*» (202, под 1078 г.). Кстати говоря, связь ладьи с похоронами добавлена в той же летописной статье об Ольге и деревлянах, но составителем «Летописца Переяславля Суздальского» XV в., восходящего к более раннему своду XIII в.: деревлянский князь часто видел зловещий сон, будто «Олга даяши ему... одеяла чръны с зелеными узоры и *лодьи*: в нихъ несеннымъ быти, смолны»[32].

Кроме того, в рассказе о первой мести Ольги деревлянам заметно еще несколько похоронных мотивов, имеющих аналогии в летописи. Так, несение человека («понесете ны… и понесоша я» — 56) всегда в летописи (особенно в первой ее части) отмечалось как обязательная часть ритуала похорон или перезахоронения: «несоша и погребоша» (23, под 882 г.; 39, под 912 г. и др.), «мертва мняще и вынесше» (193, под 1074 г.), «преставися… и принесше ю» (212, под 1091 г.), «принесоша и́… и плакася по немь» (221, под 1093 г.) и т. д.

Далее. С мотивом похорон было связано копание ямы: «Ольга же повеле ископати яму велику и глубоку» (56). Ср. в летописи же: «ископа яму, и вложи умершаго, и погребе и́… ископа яму, и вложиста, и погребости» (90, под 886 г.); «раскопаемъ… и сего загребем зде» (197, под 1074 г.). С мотивом похорон было связано и засыпание или насыпание могилы. Ольга, приготовив яму для деревлян, «повеле засыпати я... и посыпаша я» (56). Ср. в той же летописной статье под 945 г., как Ольга провела необходимую церемонию похорон своего мужа: «повеле… съсути могилу велику, и… соспоша» (57); ср. еще добавление в «Летописце Переяславля Суздальского» в рассказе о языческом похоронном обычае: «И егда кто умираше… съжигаху… и въ курганы сыпаху»[33].

В рассказе о первой мести Ольги есть и менее заметные архаические похоронные мотивы, касающиеся деревлян (не станем в них углубляться), есть и дополнительный, более общий мотив их смерти. Так, Ольга предлагает деревлянам: «лязите въ лодьи» (56). Но глаголы «лечи» и «лежати» в летописи прочно были связаны со смертью: «ляжемъ костьми ту мертвы... моя глава ляжеть» (70, под 971 г.); «учашеть... о смертнемь часе... иде же лягу азъ» (212, под 1091 г.); «егда Богъ отведеть тя от житья сего, да ляжеши, иде же азъ лягу, у гроба моего» (216, под 1093 г.). Лежали в рассказах летописи только мертвые: «лежать мощи его» (158, под 1051 г.; 209, под 1091 г. и др.); «лежить тело его» (281, под 1106 г.); «ле-

жачие сечены» (148, под 1024 г.); «лежаще кости его голы» (39, под 912 г.). Или же лежали в предсметном состоянии: «разболевшю же ся и конець прияти, лежащю ему в немощи» (189, под 1074 г.); «в немощи лежа» (145, под 1019 г.); «раслабленъ теломь... лежаше» (194, под 1074 г.) и т. п.

Наконец, летописный рассказ о первой мести Ольги добавляет еще один смысловой оттенок к мотиву о похоронах деревлян, — похороны переходят в выбрасывание чего-то отвратительного, враждебного. Ведь деревлян, в отличие от описаний почтенных похорон, не положили в могилу, а «несъше, *вринуша* е въ яму и с лодьею» (56). Такому же позорному выбрасыванию куда-то вниз подверглись в летописи, например, Перун («*вринуша* и́ въ Днепръ» — 117, под 988 г.) и омерзительный урод-«детищь» («*ввергоша* и́ в воду» — 164, под 1064 г.).

В общем, рассказ о первой мести Ольги содержит довольно богатый комплекс мотивов, подразумевающих, что над древлянами совершается похоронный обряд. И развитие сюжета подтверждает это. Но по мере чтения летописного рассказа все настойчивей встает вопрос, почему здесь все основано только на подразумеваниях. Приписать это непонятливости летописца, его невниканию в суть дела при торопливом пересказе только внешней канвы легенды никак нельзя. Ведь сам же летописец, несомненно, понимая, о чем идет речь, прервал повествование о якобы мирном диалоге Ольги с деревлянами внезапным предупреждением о повелении Ольги вырыть яму на своем дворе для деревлян. Подразумевания в речах Ольги, конечно, показывали, насколько умна и как тонко может себя вести Ольга и, напротив, как чужды ей, невежественны и грубы деревляне. Однако, многократное и даже демонстративное повторение похоронных мотивов в рассказе свидетельствует, что не только в характеристике Ольги тут было дело…

Склонность летописца к последовательно «подразумевательному» повествованию можно объяснить тем, что летописец ожидал от читателя недюжинной сообразительности, ставил читателя как бы в положение проницательного участника событий, который сам должен догадываться по неким деталям о подлинном смысле речей и действий летописных персонажей. Возможно, поэтому в начале рассказа летописец специально вводил читателя в состояние осведомленного участника, относительно подробно указывая, где именно протекала река в том месте, куда пристали деревляне; где «бе бо тогда» град Киев, к которому их потом вознесли; где находился княжий двор и «теремъ каменъ», в котором сидела Ольга и пр. (55). А дальше читателю предстояло разбираться уже самому, — так мы можем (не без сомнений) трактовать цель летописца. Не без сомнений, — потому что летописец нигде даже словом не обмолвился о чтении летописи и о ее читателях. Но ведь не для самого себя он писал.

Наше предположение, может быть, не о совсем намеренном, но все-таки о расчете летописца на сообразительность этого смутно представляемого читателя, пожалуй, подтверждается не рассказами о второй и третьей мести Ольги (они слишком скомканы и неясны), а рассказом о четвертой мести Ольги деревлянам, помещенном уже под 946 г. и принадлежащим Нестору[34]. Здесь подразумевание,

как давно было отмечено Д. С. Лихачевым же, строится на довольно редком в летописи средстве — на игре слов, настойчиво повторяемой в рассказе. Ольга обращается к деревлянам с двусмысленными словами: «хощю дань имати помалу... мало у васъ прошю... прошю у васъ мало... у васъ прошю мала» (58–59). На самом деле Ольга хочет в виде зловещей для деревлян дани взять деревлянского князя Мала (полностью лишить их самостоятельности?). Но нужного для нас пояснения по этому поводу нет в этом рассказе. Зато в предыдущих рассказах имя Мала неоднократно упоминалось и даже без особой нужды напоминалось: «деревляне... со княземъ своимъ Маломъ... за князь свои Малъ... за князь нашь за Малъ, — бе бо имя ему Малъ князю деревьску» (54–56). Читателю, таким образом, оставалось только припомнить и сообразить.

Однако и на этот раз с полной уверенностью нельзя утверждать, будто летописец так уж целеустремленно добивался проницательности от читателей, — ведь развитием сюжета не было подтверждено подразумевание, так как о дальнейшей судьбе Мала, за которым столь хитроумно охотилась Ольга, летописец почему-то не сказал ничего, даже намеком.

И все-таки есть некоторое основание считать, что, рассказывая об Ольге, летописец, по крайней мере составитель «Начального свода», исходил из следующей учительной предпосылки, каким желательно быть человеку: надо верно понимать, что же тебе говорят и что из этого следует. Ольга послужила у летописца образцом проницательности. Например, рассказ о переговорах Ольги с византийским цесарем, который витиевато намекнул Ольге, что он не прочь жениться на ней, а Ольга мгновенно «разумевши» намек, составитель «Начального свода» сопроводил соответствующим одобрением Ольгиной сообразительности: «видевъ ю... смыслену, удививъся царь разуму ея» (60, под 955 г.)[35].

В рассказах о переговорах с деревлянами летописец тоже сочувственно показал проницательность и изворотливость Ольги в понимании и толковании обращенных к ней речей. Так, в рассказе о первой мести деревляне предлагают Ольге: «да поиди за князь нашь за Малъ» (56), — слова деревлян звучат как ультиматум, но Ольга нейтрализует их суть, двусмысленно называя это требование «речью» («люба ми есть речь ваша»), то есть просьбой, мольбой (в летописи перед рассказами об Ольге слово «речь» имело и такое значение; ср. под 898 г.: «речи вся словеньскихъ князь» толкуются как «Словеньска земя просящи» — 26; под 944 г.: «речь цареву» летописец толкует, будто византийский цесарь «моля и глаголя» — 45). А далее Ольга и прямо называет это же требование деревлян просьбой: «да аще мя просите право...» (56). Здесь нужно обратить внимание не только на слово «просите», но и на слово «право»: просите действительно или просите по всем правилам, — ведь деревляне перед тем, как придти к Ольге, замыслили поступать как им заблагорассудится («створимъ... яко же хощемъ» — 55), но Ольга и этот замысел провидела, выслушав речи деревлян.

Наконец, в Несторовом рассказе о четвертой мести Ольга опять предстает прекрасно понимающей невысказанную суть речей. Осажденные в своем городе де-

ревляне предлагают заплатить Ольге дань, казалось бы, традиционными для них ценностями: «ради даемъ медомь и скорою» (58). Но Ольга сразу раскрывает обман: «Ныне у васъ несть меду, ни скоры... вы бо есте изънемогли в осаде» (59–60). Ведь если бы Ольга согласилась на предложенную дань, то тогда деревляне попросили бы ее выпустить их в лес для сбора меда и охоты, а там их ищи-свищи.

Образцовая восприимчивость Ольги, возможно, была изображена уже в «Древнейшем своде», в сцене ее крещения константинопольским патриархом: «она же, поклонивши главу, стояше, аки губа напаяема, внимающи ученья» (61, под 955 г.[36]). Никто из князей так истово не вслушивался в речи. И тут же по контрасту летописец осудил крайнюю невосприимчивость, проявленную Святославом: речи Ольги Святослав не слушал, «не брежаше того ни во уши приимати», «не внимаше того» (63). Это сообщение составитель «Древнейшего свода» сопроводил целым поучением: таким людям «ушюма тяжько слышати», «прострохъ словеса, и не внимасте», «ни хотяху... внимати», «не смыслиша бо, ни разумеша» и пр. (63–64). Судя по рассказам об Ольге, нравоучительная проблема понимания речей явно обострилась в «Начальном своде» и затем в «Повести временных лет», усилилась и ее литературообразующая роль.

6. Летописный рассказ о крещении Руси (подразумевание усвоенного)

Этот фактографически довольно скудный рассказ содержит разные виды подразумеваний. Он начинается картиной уничтожения языческих кумиров: Владимир «повеле кумиры исповрещи, овы осечи, а другия огневи предати. Перуна же повеле... тети жезльемь, — се же не яко древу чюющю, но на поруганье бесу» (166, под 988 г.). Первая процитированная фраза, по догадке А. А. Шахматова[37], принадлежит «Древнейшему своду», а вторая фраза — уже «Начальному своду», но тем не менее обе фразы имеют одинаковую семантическую особенность: обе лишь подразумевают, но прямо не оговаривают, что кумиры — деревянные. Первая фраза: раз кумиров секут и сжигают, то, значит, они не каменные или металлические, а деревянные. Вторая фраза в своей назидательной части уже мимоходом упоминает «древо», более ясно подразумевая, что Перун был деревянным.

Летописец ограничился подразумеваниями деревянности кумиров, вероятно, не только потому, что сам помнил ранее сказанное, но и потому, что рассчитывал на последовательно читающих летопись, на их знакомство с предыдущим летописным изложением, которое упоминало «Перуна древяна» и повторяло, что «не суть то бози, но древо... делани руками в дереве», что эти кумиры «древо суть»; а раз «кумиры древяны», то «огнь зажьже идолы» и пр. (79, под 980 г.; 82, под 983 г.; 85 и 92, под 986 г.).

Многое в рассматриваемом рассказе о крещении кратко напоминало читателю летописи о ранее более подробно рассказанном. Вот только некоторые примеры. Под 988 г. напоминается эпизод из рассказа об осаде Корсуня Владимиром: «на

горе, иде же съсыпаша среде града, крадуще персть приспу» (116); ср. отрывок из предшествующего рассказа под 986 г.: «крадуще сыплемую персть... сыплюще посреде града» (109). Под 988 г. кратко же напоминается и о пантеоне языческих богов, собранном Владимиром: «церкви… поставляти по местомъ, иде же стояху кумиры, и постави церковь святаго Василья, иде же стояше кумиръ Перунъ и прочии, иде же творяху потребы князь и людье» (118); ср. изложенное гораздо раньше в «Древнейшем своде»: «постави кумиры на хълму... и творяше потребу кумиромъ съ людьми своими»[38]; ср. в «Начальном своде» под 980 г.: «постави кумиры на холму… Перуна… и жряху имъ… требами своими» (79). Кроме того, сетования дьявола под 988 г., несомненно, перекликались с его же речами в предшествующем рассказе под 983 г.; см. под 988 г.: «прогоним есмь… где бо мняхъ жилище имети, яко сде не суть ученья апостольска» (118); ср. под 983 г.: «прогонимъ бяше… мняшеся… яко сде ми есть жилище, сде бо не суть апостоли учили» (83). Вряд ли все это простые повторы. Можно предположить, что в рассказе о крещении серией прямых и косвенных напоминаний о ранее изложенных сведениях, включая подразумевание деревянности Перуна, летописец проявлял свою памятливость и одновременно так или иначе побуждал читателей летописи к воспоминанию о прочитанном, в том числе к памяти на детали.

Правда, прямых настояний летописца к этим призрачно представляемым читателям о том, чтобы помнить прошлое, нет в рассказах, но в качестве образца для читателей показательно, как ведут себя летописные персонажи, которые на это прошлое, изложенное ранее в летописи, то и дело ссылаются, когда приближается крещение. Бояре Владимира поминают крещение Ольги: «Аще бы лихъ законъ гречьскии, то не бы баба твоя приняла Ольга» (108, под 987 г.); Владимир упоминает проведенное его мужами испытание вер: «еже бо ми споведаша послании нами мужи» (110, под 988 г.). Византийские цесари поминают, «колько зла створиша русь грекомъ» (там же; ср. раньше, под 912 г.: «многа зла творяху русь грекомъ» — 30). «Людье» вспоминают прошедшее и описанное раньше в летописи крещение Владимира и его бояр: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли» (117, под 988 г.). Даже дьявол напоминает о прошлом Руси, где, по его словам, не учили апостолы (апостол Андрей, по летописной легенде, действительно, только прошел, но не учил) и где «ни суть ведуще Бога» (118, под 988 г.; ср. в летописи раньше: «не ведуще закона Божия» — 14) и «служаху мне» (ср. раньше же: «жряху бесомъ» — 79, под 980 г.).

Обращенность к читателям ощущается и в том, что в рассказах о подготовке и принятии крещения исторические напоминания имеют поучительный оттенок, иногда переходят в большие исторические экскурсы (см., например, «Речь философа» под 986 г. и речь корсуньского епископа под 988 г.), сопровождаются и завершаются поучениями летописца к «нам грешником» (под 983 и 988 гг.): помни и учись.

В первой половине летописи не все исторические напоминания и подразумевания были связаны с темой крещения, некоторые упоминания имели в виду па-

мятливость читателя на прочитанное в летописи, но вовсе не относящееся к крещению. См. явные ссылки летописца для читателей на предыдущее изложение: «Словеньску языку, *яко же рекохомъ*, жиуще на Дунаи... Поляномъ же жиущемъ особе, *яко же рекохомъ*» (11–12; ср. о том ранее 5 и 9). Или очень известный пример, — о Владимире Рогнеда говорит: «Не хочю розути робичича» (76, под 980 г.), — здесь двойное подразумевание[39]. Одно: «розути» — разувание мужа как часть свадебного обряда — предполагает знание этого обычая читателем; второе: «робичич» — сын рабыни — предполагает знакомство читателя с предшествовавшим летописным сообщением под 970 г. о незнатности матери Владимира, которая служила ключницей у Ольги. Читателю летописи, таким образом, требовалось разного рода догадливость и памятливость.

Но вернемся к рассказу о крещении. В этом очень расплывчатом и скупом рассказе встречаются и более интересные случаи подразумевания. О подразумевании необычности этой церемонии мы говорили в первом разделе данной статьи. Здесь же обратим внимание на такой способ летописного повествования, когда герой велит персонажам что-то делать, а цель действий не раскрывает: «Посемь же Володимиръ посла по всему граду, глаголя: "Аще не обрящеться кто заутра на реце — богатъ ли, ли убогъ, или нищь, ли работникъ — противенъ мне да будеть» (117). Зачем киевлянам надо было являться на реку и на какую именно реку, Владимир не объявил, — так изложено в летописном рассказе. Но из рассказа же следует, что киевляне, оказывается, знали, куда надо идти — на Днепр, и знали, зачем идти — на крещение, так как «с радостью идяху» на него и рассуждали о нем («се… добро… сего… прияли»). Это читателям рассказа надо было догадываться, о чем идет речь; но догадываться было легко и по знанию обряда крещения, и по развитию соответствующей темы в летописи.

Чем подкрепить наше предположение об ориентации летописцев на догадливых читателей? Склонностью летописцев к стимулированию читательской догадливости отличается вся первая половина летописи, притом в разновременных рассказах от «Древнейшего свода» до Нестора. Нередки рассказы, в которых персонажей наставляют, как им поступать, но цель действий не указывается, а только подразумевается. В этом отношении особенно выразителен принадлежащий Нестору рассказ о так называемом белгородском киселе[40]. В осажденном печенегами Белгороде некий белгородский старец говорит горожанам: «Послушаите мене... и я вы что велю, створите» (128, под 997 г.). Велит он им следующее: «"Сберете аче и по горсти овса, или пшенице, ли отрубъ"… Повеле женамъ створити цежь… и повеле ископати колодезь и вставити тамо кадь. И повеле другыи колодязь ископати и вставити тамо кадь. И повеле искати меду... и повеле росытити велми и въльяти в кадь в друземъ колодязи. Утро же повеле послати по печенегы…». Горожане беспрекословно выполняют поручения, но цель всех этих приготовлений не раскрывается в рассказе, — о ней, очевидно, надо догадаться по внешнему ходу действий, по развитию сюжета. Но догадаться кому? Горожане, как следует из дальнейшего изложения, уже знали цель — обмануть печенегов. Поэтому в присутствии печене-

гов («да узрите своима очима») белгородцы черпали еду якобы из колодцев: «Аще стоите за 10 лет, что можете створити нам? Имеемъ бо кормлю от земле». Печенеги поверили и сняли осаду. Таким образом, о цели действий предстояло догадываться именно читателям рассказа, не без подсказки самих персонажей, а может быть, и по аналогии с тем, как принято было учить реальному делу в те времена: не общими инструкциями, а методом последовательных практических шагов, приводящих к искомой цели.

Правда, мораль подобных подразумеваний (умный человек должен понимать, для чего что-то велят делать) никак не обозначалась летописцами в рассказах такого типа. Иногда даже оставалось неясным, а понимали ли сами персонажи цель или смысл предписываемых им действий. Например: «И повеле Олегъ воемъ своимъ колеса изделати и воставляти на колеса корабля» (30, под 907 г.), что думали при этом воины, не сказано. Только по дальнейшему изложению событий читатель мог догадаться, зачем были поставлены корабли на колеса. Однако повторим, что по поводу сообразительности, догадливости и памятливости никаких специальных советов или хотя бы намеков читателям или людям в летописи нет. Так что склонность летописцев XI начала XII в. как-то использовать читательскую заинтересованность и догадливость, скорее всего, формировалась стихийно и еще не стала фактом осознанного, преднамеренного, декларируемого литературного творчества летописцев. Такова литературная архаика.

Заключаем наше исследование предварительными размышлениями по истории идеи сообразительности-догадливости в летописи. Нельзя не заметить, что архаическое «подразумевательное» повествование в заметной степени встречается преимущественно в начальной, эпичной части «Повести временных лет», в рассказах о событиях, не выходящих за пределы конца X начала XI вв. Далее же изредка попадаются в рассказах непоясняемые детали, смысл которых может быть недостаточно понятен лишь нам, но он был ясен и летописцам, и читателям того времени. Например, под 1022 г. рассказывается о том, как тмутараканский князь Мстислав Владимирович согласился на поединок с касожским князем Редедей. Редедя: «Идеве ся сама боротъ»; Мстислав: «Тако буди» (146 147). Но Редедя добавляет: «Не оружьемь ся бьеве, но борьбою». Ответ Мстислава на этот раз почему-то не приводится, но, очевидно, Мстислав согласился, так как соперники «яста ся бороти крепко». В конце концов Мстислав, призвав Богородицу на помощь, победил Редедю: «удари имь о землю». Но самое неожиданное для нас: «и вынзе ножь и зареза Редедю». Неужели Мстислав, помянувший Богородицу, тут же поступил неблагородно и все-таки применил оружие? Среди возможных объяснений, на наш взгляд, наиболее приемлемо следующее: нож не считался оружием, это, скорее, предмет хозяйственный, поварской, — что по рассказам летописи ясно видно. Так что Мстислав не нарушил договоренности. И дальше в рассказах летописи ни о чем особенно догадываться уже и не надо, в том числе и нам, все растолковано летописцами.

Как все это соотносится с историей раннего летописания? Рассказ о Мстиславе и Редеде был вставлен в летопись Никоном[41] и в эволюции «подразумевательного» повествования мало что значил. На основе дониконовских же материалов можно предполагать, что склонность летописцев озадачивать читателей была выражена слабее в «Древнейшем своде», чем в более поздних сводах. Вот лишь один пример. В «Повести временных лет» под 980 г. рассказывается, как воевода великого князя киевского Ярополка Святославовича предал своего властителя на смерть, подучая его делать определенные шаги, но не сообщая, к чему они на самом деле приведут: «Побегни за градъ… Твори миръ съ братомъ своимъ… Поиди къ брату своему…» и т. д. (77 78). В результате беззащитный Ярополк пришел к своим убийцам, которые подняли его «мечьми подъ пазусе». Этот рассказ излагался еще в «Древнейшем своде»[42], притом без какой-либо «подразумевательности», ведь о замысле воеводы-предателя читатель был предупреждаем летописцем неоднократно: воевода «лукавьствоваше на князя своего лестью… преда князя своего… се бо бысть повиненъ крови тои… самъ мысля убити Ярополка… замысля лестью…» и пр. Своей нравоучительной пояснительностью этот рассказ о расправе Владимира с Ярополком в «Древнейшем своде» принципиально отличается, например, от интригующих своей «подразумевательностью» рассказов о расправах Ольги с деревлянами в «Начальном своде» и у Нестора.

Усиление «подразумевательности» в «Начальном своде» и в «Повести временных лет» и стимулирование летописцами читательской (и вообще людской) проницательности, возможно, были вызваны умственным кризисом конца XI в., когда, по признаниям в самой летописи, то один, то другой правитель «нача любити смыслъ уных» и «не сведуще» в делах, «не здумавъ с болшею дружиною», а «начаша друзии, несмыслении глаголати» (217 218, под 1093 г.), когда правитель «въсприимъ смыслъ буи... послушавъ злых советникъ», «имы лсти веры» (230, 238, под 1096 г.), «емъ веру лживым словом», «смятесе умом», «не ведыи лсти, иже имаше на нь» (257 258, под 1097 г.) и пр. Летописцу приходилось сожалеть по поводу произошедших несчастий и падения умственного и нравственного уровня людей: «на христьяньсте роде страхъ, и колебанье, и беда упространися... тако да накажемъся... кажеми есмы.... да... Владыку познаемъ... освятившеся, не разумехом... паче всехъ просвещени бывше... и презревше» (223 225, под 1093 г.). Впрочем, связывание «подразумевательности» летописного изложения с умственным кризисом конца XI в. (который надо изучать особо) пока является не более чем общим преположением.

И если допустить, что так оно и было и учительная настроенность летописцев обогатилась новым элементом, то в таком случае, почему «подразумевательность» исчезла или почти исчезла в «Начальном своде» и в «Повести временных лет», начиная с рассказов о временах Ярослава и до конца летописи? Ответ на этот вопрос совершенно неясен, и приходится цепляться за очень шаткую схему: вероятно, имело значение состояние устных источников, которые удавало сь использовать летописцам; если устный источник больше, чем на век был старше летописца, то

при включении в летопись устные предания, ценные, но уже не всегда понятные летописцу, нуждались в осмыслении или в осторожном переосмыслении. Вот почему именно начальная часть летописи и стала средоточием «подразумевательного» повествования. Но непреодолимая трудность для обоснованных выводов на этот счет состоит в том, что мы не знаем этих устных источников. Может быть, что-либо дополнительно прояснится в истории «подразумевательного» повествования при обращении к другим древнейшим произведениям литературы и фольклора Древней Руси.

Остается охватить материал в целом. Самой главной причиной «подразумевательности» летописного повествования являлась его вынужденная конспективность, порожденная то глухостью сведений, дошедших до летописцев, то необходимостью лишь кратко пересказывать легенды в летописи. Недаром «подразумевательность» проявилась только в летописных рассказах об очень древних для летописцев временах.

Но сохранению «подразумевательности» в летописном повествовании еще содействовала пусть и второстепенная, но содержательная причина: своего рода идеал человека у летописцев XI — начала XII в., — не только политический идеал князя, заставлявший летописцев отказываться от открытого произнесения отрицательных оценок старым князьям, но и интеллектуальный идеал человека вообще, оправдывавший лаконичность летописного изложения. Что это был за идеал? Положительный человек, по представлениям летописцев, прежде всего должен быть умен и сообразителен, то есть «смыслен», «мудр», «разумлив». Этот интеллектуальный идеал летописцы выражали повторением указанных положительных оценок разным людям.

Так, положительными людьми летописцы считали всех старинных героев, принявших и распространявших христианскую веру, и именно их ум подчеркивали. Например, больше всех летописцы хвалили «*смыслену*» княгиню Ольгу, которая, первой из князей приняв христианство, «искаше *мудростью* все въ свете семь» (60, 62, под 955 г.) и «бе *мудрешии* всех человекъ» (108, под 987 г.). Несколько меньше из тех же похвал досталось Владимиру Крестителю: «ты, князь, еси *мудръ и смысленъ*» (84, под 986 г.). Не обойдены аналогичной похвалой были и Владимировы послы, отдавшие предпочтение христианской вере при выборе вер: они — «мужи добры и *смыслены*» (107, под 986 г.). Наконец, все «мы» — старательные читатели божественных книг — тоже становимся умнее: «*мудрость* бо обретаемъ» (152, под 1037 г.).

Однако к положительным людям летописцы причисляли не только христиан, но и некоторых язычников, и тогда у таких язычников летописцы тоже отмечали их ум и мудрость. Например, поляне, раз они благородные охотники с кроткими и тихими обычаями, охарактеризованы как «мужи *мудри и смыслени*» (9). Ветхозаветный Соломон, «иже возъгради церковь Богу и нарече Святая Святыхъ», — соответственно «бысть мудръ» (97, под 986 г.).

Но однажды, неведомо за какие заслуги, в летописи назван умным явный враг польский король Болеслав I Великий: он «бяше *смыслень*» (143, под 1018 г.). При этом ничего положительного о Болеславе летописец не сообщил, кроме, может быть, одного обстоятельства: Болеслав обиделся на публичные оскорбления его чести со стороны действительно подлого киевского воеводы, бросился в бой на русское войско и победил. Наверное, так и должен был поступить рыцарственный воин, и, может быть, за это летописец назвал его «смысленным»? Во всяком случае, другие персонажи, тоже положительные в воинском отношении, заслужили у летописца аналогичную оценку: «мужи *смыслении*» (218, 219, под 1093 г.).

Кроме того, умность положительных людей в летописи выражалась еще в том, что они многое «разумеют»: княгиня Ольга «*разумевши*» (61, под 955 г.); «*разумевъ* Великыи Феодосии… старець именемь Матфеи бе прозорливъ… и *разуме* старець» (189 191, под 1074 г.) и т. д. И напротив, абсолютно или в момент рассказа отрицательные персонажи ничего «не разумеют» в соответствии с Псалтырью, цитируемой летописью: «не смыслиша бо, ни разумеша во во тьме ходящии» (63, под 955 г.). Так, приглуповатый монах Исакий «не разуме бесовьскаго деиства, ни памяти прекреститися» (192, под 1074 г.).

В общем, нельзя утверждать, что у летописцев сформировался твердый идеал положительного человека как умного, но какая-то тенденция к этому была. Нельзя утверждать и регулярность воздействия этого архаического своей неразвитостью, полусформировавшегося идеала на «подразумевательность» летописного повествования: только примерно лишь в половине случаев «подразумевательные» рассказы в летописи сопровождались ссылками на «смысленность», мудрость, разумность и разумение персонажей, и то это были мимолетные упоминания, а в остальных «подразумевательных» рассказах летописцы не вспоминали об уме человека, даже косвенно. В литературном отношении «подразумевательное» летописное повествование интереснее причин, его вызвавших.

Попытки расширить зону «подразумевательного» повествования в древнейшей книжности Руси оканчиваются неудачей. Нечто аналогичное отыскивается, пожалуй, только в древнейшем же фольклоре. В качестве примера для предварительного рассмотрения сошлемся на архаичную былину «Потук Михайла Иванович»[43], в старейшей ее записи в так называемом «Сборнике Кирши Данилова» 1780-х годов, переписанном с рукописи 1740-х годов[44]. Былина начинается с того, что киевский князь Владимир на пиру посылает к морю синему богатыря Потока настрелять гусей, лебедей и уток для княжеского стола.

Поток Михайла Иванович
Не пьет он, молодец, ни пива и вина,
Богу помолясь, сам и вон пошел.
А скоро-де садился на добра коня,
И только ево увидели.
Как молодец за ворота выехал:
В чистом поле лишь дым столбом[45].

В тексте прямо сказано о быстроте лишь приготовлений Потока («*скоро*-де садился на добра коня»), а быстрота всей его поездки и прибытия на место только подразумевается. На то, что здесь подразумевалась быстрота именно всех действий Потока, указывают аналогичные эпизоды о поездках из других былин, переписанных в «Сборнике Кирши Данилова» и открыто подчеркивающих быстроту поездок персонажей. Так, в архаической былине «Иван Гаденович»

А *скоро*-де Иван снарежается,
А *скоря* тово поездку чинит
Ко городу Чернигову.
Два девяноста-то мерных верст
Переехал Иванушка в два часа.
. . .   .
Скоро молодцы те собираются,
А *скоря* тово поездку чинят.
. . .   .
Царь Афромей Афромеевич
Скоро он вражду чинил
Обвернется гнедым туром,
Чистыя поля туром перескакал,
Темныя лесы соболем пробежал,
Быстрыя реки соколом перелетал,
Скоро он стал у бела шатра (98, 100, 102).

Подчеркнуто скорые подготовка и передвижение героев являлись общим местом многих былин. Ср. былину «Чурила Пленкович».

Втапоры Владимер-князь и со княгинею
Скоро он снарежается,
Скоря тово поездку чинят (113).

В архаической былине «Про Ставра-боярина» его молодая жена

Скоро она нарежается
И *скоро* убирается
. . .   .
И поехала с великою свитою
. . .   .
Оне *скоро* поскакали со добрых коней (91–93).

Скоро выезжали из дому, скоро и возвращались домой. В той же былине «Потук Михайла Иванович»:

Втапоры Поток Михайла Иванович
Садился на своего добра коня
. . .   .
И *скоро* он поехал к городу Киеву
. . .   .

Нигде *не мешкал, не стоял*.
. . . .
Скоро Поток скочил со добра коня.
. . . .
Авдотьюшка Лиховидьевна полетела она
Белой лебедушкой в Киев-град
. . . .
. . . в свой дом *ускорить* могла (150–151).

Ср. в былине «Иван Гаденович»:

Садился Иван на добра коня,
Побежал он ко городу Киеву,
Скоро Иван на двор прибежал (99).

Вообще всякие дела делались скоро, в том числе свадьбы. Так, в былине «Потук Михайла Иванович»:

Скоро втапоры нарежалася и убиралася
. . . .

Скоро обрученье сделали.

И *не мало замешкавши*
День к вечеру вечеряется (152).

Ср. в былине «Добрыня чудь покорил»:

А *скоро* эта свадьба учинилася,
И *скоро* ту свадьбу к венцу повели (138).

Таким образом, былины, как правило, неоднократно и повсеместно подчеркивали скорость всего комплекса действий персонажей, и на этом фо не единичное упоминание скорости лишь посадки героя на коня и лишь косвенное обозначение скорости поездки («и только ево и увидели») в начале былины «Потук Михайла Иванович» выглядит как результат сокращения или небрежности пер есказа. И действительно, текст этой былины в «Сборнике Кирши Данилова» содер жит многочисленные сокращения[46]. И в других былинах отсутствие прямых обозначений скорости персонажей встречается достаточно редко и притом преим ущественно в местах сокращений или путаности изложения. Например, в оконча нии былины «Иван Гаденович» царь Вахрамей:

Только ево увидели,
Что обвернется гнедым туром,
Поскакал далече во чисто поле к силе своей (105).

Традиционного прямого обозначения скорости действий персонажа з десь нет, потому что конец былины заменен кратким прозаическим пересказом [47]. Сходна текстовая ситуация в былине «Первая поездка Ильи Муромца в Киев». Илья Муромец

Берет благословение великое у отца с матерью.
А только ево, Илью, видели.

Уехал? Оказывается, еще нет:

Прощался с отцом, с матерью
И садился Илья на своего добра коня,
А и выехал Илья со двора своего (232).

Выражение «а только ево, Илью, видели» явно не на месте, изложение спутано, оттого и прямое упоминание скорости сбора Ильи, по всей видимости, выпало, забыто. И далее снова такое же нарушение:

Оне только Илью видели.
. . . .
И стегает Илья он добра коня (242).

То есть уехал, а затем еще лишь собирается в путь. Причина нарушения: в этом месте повествование вообще сильно сокращено[48]. И самое главное: никаких намеков в текстах былин на ожидаемую догадливость читателей или слушателей не просматривается ни в местах подразумеваний, ни где-либо еще. Можно утверждать, что единственной причиной получившихся подразумеваний в былинах служили механические сокращения или пересказы текстов. Хотя этот, возможно, чересчур решительный вывод нуждается в более основательных наблюдениях.

Тем не менее, как связаны подразумевания в былинах и «подразумевательное» повествование в старейшей летописи? Один случай вроде бы указывает на влияние фольклорной подразумевательности на летописную подразумевательность. Под 968 г. в летописи пересказана легенда об осаде Киева печенегами и о киевском отроке, который ухитрился пройти «сквозе печенеги» и помог известить князя Святослава о печенежском нападении: тогда, «то слышавъ, Святославъ, вборзе вседе на коне съ дружиною своею и приде Киеву» (67). О подразумевательности былинного изложения напоминает то, что в приведенном летописном сообщении упомянуто только о скором всаждении героя на коня, а дальнейшая спешная скачка Святослава лишь подразумевается. Как бы ни объяснять подобное сходство, но показательно, что подразумевание в этом месте летописного повествования появилось именно в сокращенном пересказе фольклорной легенды летописцем, в самом конце рассказа.

Сделанный нами крайне предварительный экскурс в словесность за пределы летописи побуждает предполагать, что манера «подразумевательного» повествования и надежды на догадливого читателя и вообще на понимающего человека все-таки были свойственны только ранним киевским летописцам XI — начала XII вв. и то лишь тогда, когда они перерабатывали фольклор.

Примечания

[1] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 7 8. Далее столбцы указываются в скобках. Древнерусские тексты здесь и далее цитируются с упрощением орфографии.

[2] Обзор точек зрения и доводов по этому вопросу см.: *Творогов О. В.* Повесть временных лет // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 337 343. См. еще: Повесть временных лет / Текст, перевод, статью и комментарии подгот. Д. С. Лихачев. 2 е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 330 331.

[3] «Действительно, легенда эта была включена в одну из первых редакций "Повести временных лет" и отсутствовала в предшествовавшем "Повести временных лет" "Начальном своде"» (Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 388). Ср.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. Вводная часть. Текст. Примечания. С. 7 8.

[4] Ср., например, апокрифические тексты, изданные в кн.: *Истомин К. К.* Из славянорусских рукописей об апостоле Андрее. СПб., 1904. Обзор соответствующих апокрифов см.: *Понырко Н. В., Панченко А. М.* Апокрифы о Андрее Первозванном // Словарь книжников и книжности Древней Руси. См. Примеч. 1. Вып. 1. С. 49 54.

[5] См.: Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 388; *Никитин А. Л.* Основания русской истории: мифологемы и факты. М., 2001. С. 120 121; *Чичуров И. С.* «Хождение апостола Андрея» в византийской и древнерусской церковно-идеологической традиции // Церковь, общество и государство в феодальной России: Сб. статей. М., 1990. С. 14 17; *Мюллер Л.* Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Нов город // Летописи и хроники: Сб. статей. 1973 г. М., 1974. С. 58; *Насонов А. Н.* История русского летописания XI — начала XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969. С. 65; *Мурьянов М. Ф.* Андрей Первозванный в Повести временных лет // Палестинский сборник. Л., 1969. Вып. 19 (82). С. 162; *Карташев А. В.* Очерки по истории русской церкви. М., 1991. Т. 1. Репринт. С. 47.

[6] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 4. С. 150; *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 116, примечание 20.

[7] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 262, 264, 268 276.

[8] «Яко же ангелъ Корнильеви рече: "Молитвы твоя и милостыня твоя взиидоша в память предъ Богомъ"» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 117). Ср.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 167.

[9] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 263.

[10] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 268.

[11] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в славянорусском переводе. М., 1920. Т. 1: Текст. С. 252 253.

[12] Такой кружный маршрут вызывает скептическое отношение у большинства исследователей. Ср.: *Голубинский Е. Е.* История русской церкви. М., 1880. Т. 1. Ч. 1. С. 4; *Никитин А. Л.* Основания русской истории. С. 135 и сл. Оправдывается кружный маршрут лишь какими-то чрезвычайными обстоятельствами ср.: *Мюллер Л.* Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород. С. 60; *Кузьмин А. Г.* Начальные

этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 324 325; *Панченко А. М.* Летописный рассказ об Андрее Первозванном и флагеллантство // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 175.

[13] Ср.: «О латинских симпатиях редактора говорит и вставка легенды об Андрее» (*Алешковский М. Х.* Первая редакция Повести временных лет // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969. С. 20).

[14] Новгородская летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 103. Ср.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 361.

[15] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 44.

[16] Ср.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 539; *Он же.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 8 10, 364 365.

[17] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 100 102, 290, 334, 338; Он же. Повесть временных лет. Т. 1. С. 41 42, 372.

[18] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 50 52.

[19] Третья редакция «Повести временных лет» под 1111 г. См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 267.

[20] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 478, 543; *Он же.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 372.

[21] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 109.

[22] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 338; Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 301, 340.

[23] Ср.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 33.

[24] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 50.

[25] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Т. 1. С. 541 542.

[26] Выделение Несторовых текстов об Игоре см. : *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 100 107; Он же. Повесть временных лет. Т. 1. С. 29, 46, 50. Текст в «Древнейшем своде» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 543.

[27] *См.: Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 426 428

[28] О вставке этого рассказа лишь в третью редакцию «Повести временных лет» см.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 25 26; Он же. Повесть временных лет. Т. 1. С. 293 294.

[29] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 108 110, 544; *Он же.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 62 66.

[30] См.: Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 435 437.

[31] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 280. Под 1115 г.

[32] Летописец Переславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и 1219 годов) / Изд. М. А. Оболенский. М., 1851. С. 11.

[33] Там же. С. 4.

[34] См.: Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 438.

[35] О наличии этого рассказа в «Начальном своде» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 111 113, 545; Он же. Повесть временных лет. Т. 1. С. 69 70.

[36] О наличии этой сцены в «Древнейшем своде» см.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 113, 545.

[37] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 143, 561.

[38] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 555.

[39] См.: Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 449.

[40] О принадлежности рассказа Нестору см.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 161 163; Повесть временных лет / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 467.

[41] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 424 425, 579; Повесть временных лет / Статьи и комментарии Д. С. Лихачева. С. 322; 623 (дополнения М. Ю. Свердлова).

[42] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 173 174, 480 482, 552 554.

[43] «Сюжет ее и образы очень архаичны» (*Путилов Б. Н.* Комментарий // Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.; Л., 1958. С. 612).

[44] См.: *Путилов Б. Н.* Сборник Кирши Данилова и его место в русской фольклористике // Там же. С. 527 528.

[45] Потук Михайла Иванович // Там же. С. 149. Далее страницы по этому изданию указываются в скобках.

[46] См.: *Путилов Б. Н.* Комментарий. С. 613.

[47] См.: *Путилов Б. Н.* Комментарий. С. 608.

[47] См.: *Путилов Б. Н.* Комментарий. С. 627.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ ГЕРОЕВ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Явления образности нередко могли возникать медленно, из совокупности рассказов о том или ином персонаже в произведении, когда разрозненные детали, а вернее, частности, постепенно обрисовывали облик персонажа. Это касается и коллективно созданного памятника, такого, как «Повесть временных лет»[1].

Составители летописи повествовали в основном о событиях («что ся здея в лета си» — 17, под 852 г.), но иногда летописец переходил к рассказам специально об отдельных лицах («наменю неколико мужь чюдныхъ» — 183, под 1074 г.). Прямая персонология летописца ограничивалась особыми похвальными словесами князьям и церковным деятелям. Но еще существовала косвенная летописная персонология, гораздо более богатая благодаря многочисленным рассказам и упоминаниям летописца о тех или иных лицах. В результате в летописи сформировался более или менее цельный облик почти каждого летописного героя. Из ранних героев летописи наиболее интересны Андрей Первозванный, Кий, Олег Вещий, Игорь Рюрикович, Ольга, Святослав Игоревич, Владимир Святославич. Их литературный облик как «медленно» получившееся целое и обозревается в данной работе, добавляющей новые семантические наблюдения над летописью.

Персонологии летописи касалось немало исследователей (наиболее обстоятельно — А. А. Шайкин). Ныне задача заключается в обобщении наших новых истолкований летописного текста, ведь главная повествовательная манера этого памятника состоит в том, что в его рассказах больше подразумевается, чем говорится. Естественно, наши истолкования нередко спорны, имеют предварительный характер, что объясняется также и конспективным жанром предлагаемой работы — сразу охватить очень большой материал в кратких, ясных очерках, но без чрезмерного цитирования текста, без полной доскональности доказательств и без подробных библиографических примечаний. Когда ясна общая картина, тогда легче ее детально проверять в дальнейшем. Главное, чтобы наше домысливание не противоречило авторскому.

1. Апостол Андрей

Все, рассказанное летописцем об апостоле Андрее, не было случайным, но характеризовало его облик. Ход рассказа, детали, беглые упоминания все имело смысл.

Андрей предстал значительной персоной, солидным церковным деятелем. Летописец, конечно, недаром отметил, что Андрей являлся братом авторитетного апостола Петра. Летописец показал основательность Андрея, который не кочевал, а обосновался в Синопе, в Синопе учил вере и в Синоп возвратился после долгой поездки в Рим. Поездка, как и положено важному церковному деятелю, была вызвана необходимостью отчитаться в Риме о том, кого Андрей научил и что увидел.

В Рим почтенный миссионер Андрей не пробирался в одиночку, случайными и опасными путями, но со своими учениками спокойно, с ночевками, проследовал по знаменитому пути из грек в варяги, плывя на судне вверх по Днепру. Место своей удобной ночевки на берегу под холмами Андрей благословил, и не мимоходом, а с утра затеял настоящую церемонию благословения места, действуя как высокий церковный иерарх. Он обратился к окружившим его ученикам, описал будущее тех холмов, на которые они смотрели по его указанию, затем взошел на эти холмы, поставил крест на месте предсказанного им города Киева, торжественно помолился Богу и, наконец, сошел с холма, завершив церемонию. Все это показал летописец.

Значительность Андрея проявилась также в его широкой осведомленности. Андрей у летописца, придя в Крым, в Херсонес, уже достаточно знал об устье Днепра и о пути из грек в варяги, а затем выступил в роли пророка, провидевшего большой город со множеством воздвигнутых сияющих церквей. Все, увиденное им, Андрей с редкостным пониманием сути дела принимал к сведению. Например, удивившись странному поведению людей, Андрей сразу понял, что он наблюдает банный обычай словен, которые не просто моются, но еще и «хвощются» (7).

Еще одно проявление значительности Андрея: прекрасное владение искусством речи. Придя в Рим, Андрей смог увлекательно рассказать об обычае словен своим римским слушателям, тонко учитывая психологию западноевропейцев, любящих комфорт, и заставив их пребывать в бесконечном изумлении от парадоксов словенской жизни: в Риме бани каменные, а в Словенской земле — опасно деревянные; пожара следует опасаться, словены же, напротив, вовсю нагнетают огонь и жар; прилюдно раздеваться есть неприлично и недостойно, а словены охотно объявляются нагишом (об этом же обычае на Руси писали западные путешественники и в XVII в.); квас надо бы пить, а словены им обливаются с небывалой расточительностью, да еще каким ядовитым квасом «уснияномъ» из белены (это разъяснение Т. А. Лисовой-Исаченко; такой квас обезболивает кожу); давать бить себя — позорно, да и неприятно, но словены так старательно секут сами себя, притом особенно жгучими гибкими молодыми прутьями, что еле живыми вылезают из бани; римлян на месте словен добила бы ледяная вода, а словены, окатившись

ею, оживают после побоев; добро еще, если бы столь рискованные деяния допускались раз в году, но словены творят это ежедневно.

Значительность Андрея подчеркивалась вот чем еще. Для летописца, составившего летопись через полвека после открытого раскола христианства на католичество и православие и отрицательно относившегося к латинскому Риму, апостол Андрей явился не высокомерным латинянином, а, напротив, как бы «своим» человеком, который вполне лояльно отнесся к славянскому миру, а столь нелюбимых летописцу римлян выставил простофилями. Именно Андрей задал римлянам насмешливую загадку: «Что это такое, когда себя мучают и оскорбляют: оголяются, жарят, бьют себя, морозят?» Несообразительные римляне не смогли ответить, и Андрей в конце концов назвал им отгадку: «И то творять мовенье собе, а не мученье!» (8). Можно предположить, что летописец обозначил даже некоторую нелюбовь Андрея к Риму.

Значительность Андрея не преуменьшили дальнейшие утверждения летописи о том, что вероучителем славянства нужно считать апостола Павла (так отмечено в летописном повествовании под 898 г.). Все это правда. Судя по летописному изложению, апостол и не учил славян, и даже никак не общался с ними, пройдя своим путем задолго до возникновения Киева и Новгорода как предвестник христианства на Руси.

Значительность Андрея ясна и по месту рассказа в общем летописном повествовании. В соответствии с историософией летописца (то есть его манерой определять значение персонажей и событий), важные исторические явления, в том числе христианство, не сами зарождались внутри общества, а извне привносились на Русь пришлыми (или возвращавшимися) героями, и эти приходы были судьбоносными. Апостол Андрей был для Руси первым таким героем. Затем Рюрик, прибыв из-за моря, от варягов, основал русскую государственность (под 862 г.); киевская княгиня Ольга вернулась из Царьграда христианкой (под 955 г.); великий князь киевский Владимир Святославич, вернувшись из варяжского Заморья, стал единодержцем Руси (под 980 г.), потом, возвратившись из Крыма, крестил Русь (под 988 г.).

2. Кий

По не очень внятному и осторожному летописному изложению, к тому же, возможно, заглаженному последующими редакторами и испорченному позднейшими переписчиками, все же можно предположить, что летописец не причислял Кия и его братьев определенно к полянам. По сообщению летописца, поляне жили на своих местах «и до сее братье» (8). Братья же затем каким-то образом «сели» среди полян на трех «горах» (холмах) и построили городок во имя своего старшего брата, там все и пребывали. Поляне же, как можно далее понять, обитали и охотились около города и лишь позже появились в Киеве.

На чужеродность Кия, быть может, указывают также дальнейшие сообщения летописца о том, что Кий никогда не был перевозчиком на Днепре (то есть не от-

носился к «местным»?); что после основания Киева Кий «княжаше в роде своемь» (а не у полян?) и что Кий «възлюби место», далекое от полян, на Дунае, воздвиг там городок и захотел в нем осесть, опять-таки «с родомъ своимъ» (9). Конечно, истолкование всех этих фраз не бесспорно.

Но самое любопытное возможное свидетельство чужеродности Кия и его братьев полянам содержится в Лаврентьевском, а также в Ипатьевском и Переяславско-Суздальском списках летописи через несколько листов после рассказа о Кие. Жители Киева утверждали, что платят дань после смерти всех трех братьев «родомъ ихъ — козаромъ» (20, под 862 г.), то есть родственникам братьев — хазарам. Правда, эта фраза считается искаженной, и нет никаких иных следов мнения летописца якобы о хазарском происхождении Кия и его братьев.

Однако некоторые мотивы в летописном изложении не позволяют полностью отвергнуть предположение о том, что летописец представлял Кия вне среды полян. Во-первых, как следовало из историософской схемы летописца, все древнейшие правители Руси пришли извне, и Кий вряд ли был исключением. Во-вторых, летописец отметил, что Кий ходил в Царьград и принял великие почести от византийского цесаря, а подобное соответствовало выходцу из более энергичного, известного и влиятельного этноса, нежели поляне. В-третьих, хазары, возможно, не случайно предложили полянам платить дань, а поляне сразу согласились платить дань именно хазарам и делали это долго: ведь прецедент уже был — Кий.

В общем, вопрос о характеристике Кия в летописи пока остается открытым.

3. Олег

I. Летописец постарался всячески подтвердить законность вокняжения Олега. Во-первых, летописец подчеркнул достойное происхождение героя — «отъ рода» Рюрика (22, под 879 г.); сам же Олег в рассказе летописца определил себя еще решительнее: «азъ есмь роду княжа» (22, под 882 г.). Во-вторых, летописец представил Олега юридически завещанным преемником Рюрика, который, умирая, «предасть княженье свое Олгови» (22, под 879 г.). В-третьих, как показал летописец, Византия признала Олега князем, неоднократно называя его так в договоре (под 970 и 912 гг.). Олега называли князем все, в том числе кудесники и волхвы. В-четвертых, летописец поставил Олега в ряд с известными законными правителями — с римским императором Константином Великим и византийским цесарем Михаилом III: «отъ Костянтина же до Михаила сего летъ 542, а отъ перваго лета Михаилова до перваго лета Олгова, рускаго князя, летъ 29» (17, под 852 г.). Наконец, сама длительность властвования Олега, отмеченная летописцем, возможно, выступала свидетельством законности его княжения: «бысть всехъ летъ княжения его 33» (38, под 912 г.).

Кроме того, летописец показал законность княжеской деятельности Олега почти на каждом ее этапе. Этот герой у летописца не просто расширял свою власть, но постоянно опирался на правовые установления. Судя по летописным подроб-

ностям, которые могли бы и отсутствовать, будь изложение более сухим, вокняжение Олега в Новгороде сопровождалось возможной церемонией: Рюрик «въдавъ ему сынъ свой на руце» (22, под 879 г.). Последующее вокняжение Олега в Киеве сопровождалось более развернуто описанной церемонией: к подплывшей ладье были вызваны Аскольд и Дир; из ладьи выскочили воины, оттуда же торжественно вынесли Игоря, тогда еще младенца; Олег объявил: «А се есть сынъ Рюриковъ», и публично разоблачил Аскольда и Дира: «Вы неста князя, ни рода к няжа»; Аскольда и Дира после разбирательства наказали убили, затем, однако, продолжили церемониал понесли и похоронили. Лишь после этих подробностей о соблюдении законности летописец сообщил, что «седе Олегъ княжа въ Киеве» (23, под 882 г.).

Последующие события в изложении летописца опять-таки направлялись приговорами героя, устно произнесенными им при той или иной государственной церемонии. Олег объединил в одно государство Новгород и Киев, ознаменовав это событие цитируемым в летописи словесным провозглашением Киева столицей и размножителем (матицей, матрицей) городов на Руси: «Се буди мати градомъ русьскимъ». Олег подчинил северян, потом радимичей, запретив давать дань хазарам, и эти законодательные запреты тоже привел летописец. Олег возвестил: «Азъ имъ противенъ, а вамъ нечему» (23, под 884 г.), «не дайте козаромъ, но мне дайте» (23, под 885 г.).

Оформление победы Олега над Византией летописец изобразил в виде длительной церемонии и был необычно детален, показывая законность каждого шага героя. Когда Олег с войском вплотную подошел к Царьграду и греки запросили мира, то Олег, несколько отступив от города, «нача миръ творити» и, как положено, послал в город своих послов к византийским цесарям-правителям: «Имите ми ся по дань». Греки ответили: «Чего хощеши, дамы ти». Олег перечислил условия. Греки согласились, но дополнительно оговорили свои условия. И вот Олег и цесари «миръ сотвориста» и поклялись друг перед другом соблюдать мир: греки целовали крест, а Олег и «мужи» его клялись «по рускому закону» — своим оружием, богами Перуном и Белесом (30 31, под 907 г.). Еще одну церемонию упомянул летописец: Олег повесил свой щит во вратах Царьграда, «показуа победу» (31). Затем был подписан договор, и текст этого обширного договора летописец вставил в летопись (под 912 г.).

Законность власти была одной из важнейших историософских идей летописца, ей он следовал с самого начала своей летописи: Иафет с братьями правили по тому, как выпал им жребий; Кий дал имя Киеву на основании своего старшинства среди братьев; Рюрик пришел править по совместной просьбе нескольких племен; Олег же у летописца получился своего рода законником, на деле воплотившим завет племен найти князя, который бы «володелъ нами и судилъ по праву» (18, под 862 г.), то есть управлял и судил по правилам. В частности, Олег явился тем первым законником, о ком летописец сказал, что тот не попросту «раздая грады», но «посади» (назначил наместниками) своих «мужей» по городам, и не просто брал

дань, но «устави дани» — установил, с кого какую дань регулярно брать (22–23, под 882–885 гг.).

II. Второе обличье Олега в летописи — воинское. Он показан как жестокий и удачливый военачальник. Олег собрал небывало огромное войско, притом многообразное: летописец недаром впервые ввел и все увеличивал перечисление племен, служивших в войске Олега, а также указал гомерическое число кораблей во флоте Олега — 2000 (под 907 г.; у Аскольда и Дира в 866 г. было всего лишь 200 кораблей). Летописец изобразил Олега исключительно хитроумным и настороженным воителем: он спрятал своих воинов в ладьях и устроил успешную засаду (под 882 г.); он поставил корабли на колеса и пустил их под парусами по полю на город, устрашив противника (под 907 г.); его же обмануть, например, смиренно поданным угощением — отравленными едой и вином — противник не смог (кому суждено умереть от коня, тому не погибнуть от отравы). Олег у летописца свиреп и изобретателен в убийствах: например, около Царьграда он, по сообщению летописца, «много убийство сотвори», а пленников предал различным казням: одних порубили, других замучили, иных расстреляли, прочих в море покидали (29, под 907 г.). Разнообразен Олег и в наложении дани: летописец специально перечислил, как с одних племен Олег требовал большую дань в гривнах, со вторых — «дань легъку», с третьих — черными куницами, с четвертых — монетами «щелягами» (шиллингами?) (под 882–885 гг.). Обильны и изобретательно использованы были и трофеи Олега — золото, паволоки, фрукты, вина и всякое узорочье (под 907 г.). Он даже паруса велел шить из захваченных паволок.

Во всех своих воинских делах, даже самых разрушительных, законник Олег не выходил за пределы правил и традиций — он делал, по определению летописца, только «елико же ратнии творять», то есть только то, что обычно совершают воюющие стороны (29).

Удачливость военно-государственной деятельности Олега оттенена сообщениями летописца на международные темы: в то время, как Олег расширяет Русскую землю, мимо Киева, не мешая Олегу, мирно, с востока на запад проходят венгры, они через Карпаты устремляются на другие народы и тут уже покоряют дунайских славян, воюют с греками, моравами, чехами, захватывают всю Болгарию и т. д. (под 898 и 902 гг.).

III. Летописный облик Олега получился трагически противоречивым. С одной стороны, он язычник, который держал в своих руках языческую «Великую Скифию», сжигал около Царьграда христианские церкви, клялся языческими богами и от язычников же получил прозвище «Вещий» (под 907 г.), намекающее, возможно, на жреческие функции князя. Однако, с другой стороны, этот язычник у летописца выглядел терпимо относившимся к христианству: Олег не возражал, когда греки посчитали его за святого Дмитрия Солунского; принимал их христианские клятвы и не порицал своих послов, которых греки, как сказано в летописи, «учаще я к вере своей и показующе имъ истиную веру» — страсти Господни, венец, гвозди, хламиду багряную и мощи святых (37, под 912 г.). Больше того, Олег стал насмехаться

и оскорбил («укори» что по-древнерусски и означает «оскорбил») своего кудесника и вообще всех жрецов резким обвинением: «То ти неправо глаголють волъсви, но все лжа есть» (38, под 912 г.). Олег у летописца оказался как бы между вер: с волхвами поссорился, но христианства не принял, хотя ко времени его правления, как рассказал сам же летописец, прервав повествование об Олеге, западные славяне и их князья уже крестились и получили переводы церковных книг на славянский язык, а просветитель славян Кирилл пошел учить болгарский народ (под 898 г.).

Явственно двоится облик Олега в завершении летописного повествования о нем — в легенде о смерти князя, который еще за несколько лет до похода на греков 907 г. вопрошал: «Отъ чего ми есть смерть?» (37). Как язычник Олег, естественно, обращался к волхвам и кудесникам, но, кажется, уже тогда он слушал их без должного внимания, а больше надеялся на свой собственный ум. Оттого что безверный Олег лишь умом оценил предсказание кудесника, он не до конца его понял. Кудесник сказал Олегу: «Княже! Конь, его же любиши и ездиши на немъ, отъ того ти умрети» (37 38). Этот «конь» скорее, собирательное «конье»: кудесник, высказавшись в так называемом «вечном» настоящем времени, подразумевал любого коня, на котором предпочитает или в будущем предпочтет ездить князь. (В летописи немало аналогичных высказываний с настоящим «вечным» временем глаголов, обозначающим повторение действия в будущем, и с нарицательным существительным в единственном числе, обозначающим множество объектов данного рода. Летописец иногда сам пояснял смысл подобных изречений. Например: «Не вънимай зле жене, медъ бо каплеть отъ устъ ея, жены любодейци... Се же рече Соломанъ о прелюбдейцахъ» 78 79, под 980 г.; то есть названа одна прелюбодейка, а имеется в виду все их множество. Кстати, сразу после рассказа об Олеге летописец стал рассуждать о предсказаниях различных волхвов и привел одно из их заклинаний: «Бес комара граду!» Упоминался один комар, но подразумевались все комары: «И тако исчезнуша изъ града скоропиа и комарье» 39.) Высказывание кудесника было тем более двусмысленным, что кудесник, как выясняется из дальнейшего повествования, предостерегал Олега не только от любимого живого коня, но и от мертвого, даже от его скелета, даже от его черепа, не говоря уже о других конях. Невнимательный к словам кудесника Олег не почувствовал сердцем свою обреченность среди коней, а умом прямолинейно решил отказаться лишь от одного своего тогдашнего коня: «Николи же всяду на нь» (38). Затем Олег лет на десять забыл о предсказании, все ездил на конях и к месту своей гибели подъехал на коне, летописец недаром подчеркнул это: Олег «повеле оседлати конь… и прииде… и ссeде с коня», тем самым приблизив роковую развязку.

Дальнейшее изложение легенды летописцем, пожалуй, добавляет свидетельства о раздвоенности облика Олега и как правителя. С одной стороны, задумавшись о своей судьбе, Олег продолжал вести себя как предусмотрительный законник. Он обратился к надлежащим ответственным лицам — волхвам — и задал надлежащий вопрос: не о том, **когда** он умрет, а **от чего** ему ожидать смерти, то есть каково ему будет орудие смерти и за какую будущую вину. Олег предпринял меры, которые

он понял так: нельзя убивать коня; пока конь жив, то и князь жив. Поэтому Олег «поставилъ кормити и блюсти» коня, и это обстоятельство трижды отметил летописец. Как законник, Олег в конце концов вспомнил о сосланном коне, потребовал отчета у конюха: «Кое есть конь мъй?» И даже возмутился, когда выяснилась ошибочность, казалось бы, вполне законного решения: «...все лжа есть. Конь умерлъ есть, а я живъ».

Но, с другой стороны, этот законник, оказывается, совершил роняющие достоинство князя поступки. Мало того, что гадать о своей смерти — дело недоброе, но Олег нарушил свое княжеское слово. Он обязался никогда больше не видеть коня, а потом все-таки поехал посмотреть «кости его». Тот, кто не держит слова, погибнет от своего оружия — так провозглашали, например, договоры Руси с греками, включенные в летопись под 945 и 971 гг. Оттого и Олег погиб от своего коня (как части его вооружения; это наблюдение Е. А. Рыдзевской).

Кроме того, Олег был подвержен гордыне. Он дважды «посмеяся» над тем, что ему говорили, а перед останками коня стал в позу победителя, произнеся презрительную речь и словно поправ ногой поверженные «кости» противника («рече: “Отъ сего ли лба смьрть было взяти мне?” И въступи ногою на лобъ»). Гордыня никогда не доводит до добра, хитроумие и удача изменили Олегу, и он погиб не по-княжески, строго говоря, даже не от коня, а от змеи: из пустого конского черепа высунулась змея и «уклюну» Олега в ногу.

Нецельность облика Олега объясняется не только разноречием сведений, использованных летописцем, но и персонологией летописца (то есть его манерой оценивать героев), в соответствии с которой до победы христианства на Руси, где «погании, не ведуще закона Божия, но творяще сами собе законъ» (13, летописное вступление), где «бяху бо людие погани и невеголоси» (31, под 907 г.), не могли появиться совершенно или преимущественно положительные русские князья.

4. Игорь

Летописный Игорь не выглядит как положительный правитель, несмотря на отдельные благоприятные упоминания о нем. Судя по циклу рассказов, Игорю были свойственны слабости, умалявшие его княжеское положение. Одну слабость Игоря, последовательно показанную (но прямо не названную) летописцем, можно определить как пассивность, недостаточную энергичность. Игорь не правил, в детстве его только носили, иногда выносили показывать, но оставляли не у дел (под 882 и 907 гг.). Когда Игорь вырос, он все равно не княжил, а, как отметил летописец, ходил за данью после Олега и слушался его. Даже жену Игорю «приведоша ему» (28, под 903 г.), а не он сам «поял себе жену», как обычно делали активные летописные герои.

Игорь начал княжить лишь после смерти Олега, но выражения, употребленные летописцем в повествовании о княжеской деятельности Игоря, опять указывали на некоторую пассивность Игоря сравнительно с Олегом: Игорь всего лишь однажды

«победивъ» непокорных деревлян (41, под 913 г.), в то время как Олег «примучивъ а», то есть покорил (23, под 883 г.), «бе обладая» ими (23, под 885 г.) и включил в свое войско (под 907 г.). Стремительные печенеги «сотворивше миръ с Игоремъ» (41, под 914 г.), в то время как Олег предпочитал сам напористо «миръ творити» с противником (30, под 907 г.), в летописи наступательная сторона всегда «творила мир» с оборонявшейся или пассивной стороной, но не наоборот. Правда, потом Игорь воевал с печенегами, но это ничем не кончилось, результат не обозначен (под 920 г.), обычно же летописец называл результат: воевали и примучили, начали воевать и захватили землю, воевать начал и много убийств сотворил, воюя и грады разбивая и т. д.

Не очень героичной изобразил летописец войну Игоря с греками. Игорь гораздо сильнее, чем Олег, мучил пленников («гвозди железныи посреди главы въбивахуть имъ» и пр.) и разрушал церкви («много же святыхъ церквий огневи предаша, манастыре и села пожьгоша»), однако войско Игоря было окружено, а флот, больший, чем у Олега, был сожжен — пришлось «убрести» (43 44, под 941 г.). Потом Игорь собрал новое войско, но из 6 или 7 племен, а не из 13, как раньше Олег, и пошел на греков, «хотя мьстити себе» (за себя). Эти слова летописца, возможно, обозначили некую мелочность желания Игоря, так как герои в летописи обычно мстили за других за своих близких или вообще за Русскую землю, и только один Игорь думал о самом себе. Далее летописец сообщил, что Игорь, дойдя всего лишь до Дуная, а не до Царьграда, начал «думать», воевать или не воевать. Олег так никогда не поступал. И не Игорь твердо диктовал свое решение дружине, а опасавшиеся воевать дружинники — слабому князю («не бившеся, имати злато»); летописец осудил это: «Послуша ихъ Игорь». Даже не попытавшись сразиться, Игорь взял у греков дань, какую они первоначально предложили, и вернулся в Киев (45, под 944 г.). Затем летописец снова отметил слабохарактерность Игоря: не князь побудил дружину идти к деревлянам за данью, а корыстная дружина сама позвала князя, «и послуша ихъ Игорь» (53, под 945 г.).

Другая слабость Игоря, которую показал летописец, это жадность. Главное для Игоря, важнее воинской чести и славы, — сбор как можно большей дани, «именья». В первом походе на греков Игорь «именья немало» взял (43, под 941 г.). Во втором походе Игорь отказался от сражения с греками, когда византийский император обещал ему прибавку к прежней дани («возьми дань, юже ималъ Олегъ, придамь и еще к той дани» — 45, под 944 г.). Игорь, по сообщению летописца, взял у греков золота и паволок на всех воинов, однако в следующем году дружина Игоря жаловалась: «А мы нази» (53), значит, князь не поделился с дружиной или недостаточно позаботился о ней. Затем, беря дань с подвластных деревлян, Игорь совсем потерял чувство меры. Сначала он «возложи на ня даньболши Олговы» (41, под 914 г.), потом произвольно увеличил и эту дань («примышляше къ первой дани», «хотя примыслити большюю дань»). Взял ее с разными насилиями, но захотел еще раз собрать («похожю и еще»). Летописец объяснил такое поведение Игоря корыстолюбием: «желая больша именья», то есть имущества, богатства (53,

под 945 г.). Подобная фраза звучала осудительно в адрес князя. Такие обвинения в летописи относились к особо провинившимся князьям (например: «желая болше власти» — 177, под 1073 г.), а по отношению к положительным князьям эти обвинения отвергались («не желая болше волости, ни именья хотя болша» — 197, под 1078 г.). Жадность довела Игоря, в сущности, до преступления: внезапное чрезмерное увеличение дани Игорем явилось бесчестным нарушением договора или официального княжеского слова, определявшего размер дани. Деревляне так это и восприняли: «Почто идеши опять? Поималъ еси всю дань». От жадности «не послуша ихъ Игорь» (54–55). Последовало наказание, развенчавшее Игоря как князя: Игорь был назван алчным, ненасытным волком, убит и погребен не по-княжески — без похорон, в чужой земле, даже не в городе, а где-то у города (под 945 г.).

Летописец избегал давать открытые отрицательные оценки Игорю, как и прочим древним князьям, даже смягчал изложение (например, поражение Игорева войска от греков обозначалось так: «одва одолеша грьци» — 44, под 941 г.; это заметил А. А. Шахматов). Умолчал летописец и о подробностях позорной казни русского князя деревлянами (сказал только, что «убиша Игоря» — 54, под 945 г.). Но все же роковые слабости Игоря ясно вырисовывались из летописного повествования. По персонологии летописца, внутренние слабости князя обозначали слабость княжеской власти на Руси, когда деревляне могли безбоязненно хвастаться убийством русского князя («се князя убихомъ рускаго!» — 54, под 945 г.), «отроки» киевского воеводы были богаче дружины князя, княжеская дружина чувствовала себя зыбко («не по земли ходимъ, но по глубине морьстей» — 45, под 944 г.), в войско приходилось нанимать врагов-печенегов и для верности брать у них заложников, а также признавать равноправие язычников и христиан, и пр.

5. Ольга

I. В летописи Ольга охарактеризована как «смыслена» (смышлена, сметлива, сообразительна, хитроумна — 59, под 955 г.) и «мудрейши всехъ человекъ» (106, под 987 г.). Слова «мудрый», «мудрость» в летописи обозначали не только церковную, «Божью» мудрость, но и «человеческую» практическую опытность, и в определенной мере были синонимичны слову «смысленый», поэтому и употреблялись вместе — «мудръ и смысленъ», «мудри и смыслени». Летописное повествование создало цельный облик «мудрой — смысленой» Ольги. Главной ее чертой летописец, по-видимому, считал не хитрость и коварство, а высокую культуру поведения, умение тонко использовать различные обряды и обычаи для соблюдения чести киевского князя как правителя. Эти черты Ольги обрисованы примерно в десяти летописных эпизодах.

Под 945 г. летописец изложил три эпизода, показав, как искусно Ольга вела себя с деревлянами, прибегая к тем или иным обрядам и церемониям. Первый обряд — дипломатический. Когда 20 деревлянских «лучших мужей» приплыли к Киеву, чтобы заставить овдовевшую Ольгу выйти замуж за деревлянского князя,

то Ольга повела себя как великий киевский князь, принимающий посольство строго по этикету и тем самым соблюдающий свое княжеское достоинство. Рассказ летописца стал необычно подробным, и каждая подробность указывала на важную часть проводимой княжеской церемонии. Ольга находилась не где-нибудь, а на «горе» в каменном тереме. Ольга была заранее подготовлена: ей «поведаша» о приходе деревлян. Ольга «возва» к себе деревлян, а не они появились перед ней самовольно. Не важно, что деревляне были ей ненавистны; правилами дипломатического приема предусматривалось приветствовать посольство, и Ольга произнесла необходимую формулу для встречи гостей: «Добри гостье придоша» («Добро, гостье, придоша», то есть, «добро пожаловать»). Не важно, как отвечали деревляне; Ольга продолжала соблюдать этикет благожелательного приема и произносить традиционные фразы. Она задала положенный после приветствия уже деловой вопрос деревлянам: «Да глаголете, что ради придосте семо?» Затем с официальной милостивостью объявила: «Люба ми есть речь ваша» (54–55). Это не значило, что Ольге понравились речи деревлян. Ольга их как бы и не слышала. Недаром летописец ни разу не употребил слова «слышать» об Ольге, в то время как в других летописных рассказах персонажи постоянно, «слышавъ» нечто важное или «то слышавъ», что-то отвечали или предпринимали. Летописец же показал невозмутимое следование Ольги правилам дипломатической вежливости: ведь деревляне говорили нагло и фактически предъявили ультиматум княгине. Однако княгиня явилась недосягаемой для них.

Далее вдруг оказалось, что Ольга перешла к ведению мирных переговоров и произнесла известную формулу примирения: «Уже мне мужа своего не кресити». Но мир должен быть заключен торжественно (ср. летописные рассказы о заключении мира с греками), и поэтому Ольга обещала деревлянам соответствующую церемонию — «почтити», оказать им «честь велику». Летописец показал, что, заманив деревлян обещанием почета, Ольга навязала им свои правила игры. При этом Ольга несколько унизила деревлян, указав на второстепенность ранга их посольства, — всего лишь «гости», а не полноценные послы (так, по договору Игоря с греками, «ношаху сли печати злати, а гостье — сребрени» — 47, под 945 г.).

Второй обряд, который Ольга использовала для утверждения своего превосходства, это обряд брачный. В повествовании летописца не проводилось границы между разными обрядами, один стремительно перетекал в другой, и функции Ольги менялись быстро и незаметно. Внезапно Ольга предстала в фольклорной роли то ли строгого царя, выдающего свою дочь замуж, то ли в роли злой невесты — оба персонажа во время сватовства испытывали женихов загадками. Ольга задала деревлянам нечто вроде загадки: прийти к ней не на конях, не на возах и не пешком. Брачный обряд был только начат, но летописец отметил, что Ольга целиком захватила инициативу. Не деревляне ушли, но Ольга отослала их с приема («а ныне идете... азъ утро послю по вы»), чтобы они явились уже как сваты.

Третьим обрядом, возвысившим Ольгу, явился обряд похорон. Летописец отобрал только такие детали, которые указывали на исключительно умное поведение

княгини. Ольга, как свидетельствовало летописное изложение, не пошла на низкий обман деревлян (тогда бы она уронила свое княжеское достоинство), но, напротив, предупредила их о своих намерениях, правда, в скрытой форме, не понятной невежественным деревлянам и поэтому ставившей их в унизительное положение. Ольга в лицо деревлянам объявила об их похоронах, использовав двусмысленное сходство обычаев почитания и похорон (это наблюдение Д. С. Лихачева). Ольга сказала деревлянам: «Но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими» (55). Ольга имела в виду иной род почета, нежели полагали деревляне: слово «почтить» (как и словосочетание «честь велика») переносно означало «похоронить с почетом». Утро было упомянуто Ольгой потому, что хоронили, действительно, с утра, а присутствие людей упомянуто, потому что хоронили прилюдно, и Ольга собиралась хоронить деревлян перед людьми своими. Далее Ольга в тех ее речах, которые приведены летописцем, недаром стала настойчиво отсылать деревлян в ладью, в которой они приплыли: «А ныне идете в лодью свою и лязите въ лодьи, величающеся... и възнесуть вы в лодьи», потому что так не только почитали, но и хоронили: в ладье лежали наряженные мертвецы, «величаясь», и их «возносили» вместе с ладьей. Ольга отослала деревлян на их похороны.

Судя по смыслу некоторых деталей летописного изложения, Ольга не произвольно, а на вполне законном основании назначила казнь деревлянам «отпусти я в лодью», и деревляне, послушавшись, значит, невольно признали себя мертвецами. Ольга неспроста сразу назвала деревлянам отгадку на заданную ею загадку: таким образом, деревляне сами ничего не отгадали, а ведь не разгадавшие загадку сваты предавались смерти. Ольга недаром именно в такой последовательности побудила деревлян сказать, что на княжеский двор они не поедут ни на конях, ни на возах, ни пешком не пойдут, а чтобы киевляне несли их в ладье. Если бы имелась в виду церемония почитания, то деревляне должны были перечислить условия в ином порядке, по степени нарастания почета: не пойдем пешком на княжеский двор, ни въедем на возах, ни даже на конях, но вносите нас в ладье. На самом же деле Ольга вложила в уста деревлянам требование о похоронах: раз они мертвы, то не в состоянии ехать, сидя на конях, тем более — сидя на возах, и уж тем паче — идти пешком, мертвых надлежит нести в ладье. Деревляне сами вынесли себе приговор, который и исполнила Ольга.

Небрежное проведение похорон могло уронить достоинство их руководителя, поэтому летописец подробно рассказал, как постаралась Ольга: она велела выкопать яму великую и глубокую на дворе у терема, утром послала киевлян за деревлянами, их понесли в ладье, принесли на княжеский двор и, неся, «вринуша» в яму с ладьею; Ольга, как полагалось на похоронах, «приникъши» к могиле и даже вопросила, словно по обычаю задобряя мертвых: «Добра ли вы честь?» Ответа деревлян ведь они считались мертвыми Ольга по обыкновению не слушала и повелела засыпать их, и их «посыпаша», очевидно, сделав погребальный холм.

Наконец, Ольга, как это следовало из рассказа летописца, не запятнала себя чрезмерной расправой с посольством деревлян, но мудро наказала деревлян соот-

ветственно их вине. Они убили Игоря — и их убили. Смерть Игоря была позорной — и смерть деревлян была позорной: Ольга, как отметил летописец, повелела засыпать их живыми. За убийство князя настигла деревлян даже более позорная смерть, чем Игоря, и они сами это признали: «Пуще (то есть хуже, позорней) ны Игоревы смерти» (55). Игоря похоронили не в городе, а «у града» — так и деревлян похоронили «вне града» (54).

Второй эпизод из отношений Ольги с деревлянами по своему смыслу аналогичен первому эпизоду. Ольга послала к деревлянам, вероятно, устное послание, в котором, следуя своей линии, упомянула, что деревляне, оказывается, не требуют, а «просят» («мя просите» — 55) ее выйти замуж, но сама Ольга вполне правомерно потребовала прислать к ней наиболее знатное брачное посольство, чтобы, по ее словам, «в велице чти» пойти замуж, иначе за ее честь вступятся люди киевские, а это уже будет открытый конфликт с невеждами. Деревляне, вынужденные поступить цивилизованно, прислали «лучших мужей», которые управляли деревлянской землей, и Ольга, следуя традиции приема послов или сватов, оказала им соответственно бульшую честь, чем первому посольству, — почтила их баней.

Но так же последовательно Ольга у летописца продолжала соблюдать похоронный обряд как способ благородного мщения. Ольга не дала прямого обещания выйти замуж. Пришедшим деревлянам она повелела «измыться», а ведь обмывали мертвецов. Как только деревляне влезли в деревянную баню и — главное — «начаша ся мыти» (56), то тем самым они признали себя мертвецами и дали повод Ольге совершить над ними погребальный языческий обряд сожжения (кстати, описанный во вступлении к летописи) — второй этап погребального обряда после насыпания холма и приготовления дров для костра; баня заменила ритуальную груду дров, на которые клали мертвых.

В третьем эпизоде летописец показал совершенство поведения Ольги и вне Киева. Брачный обряд внешне выполнялся ею безукоризненно: не жених к ней, а она в качестве невесты направилась в землю деревлян, взяв с собой, как полагалось невесте, лишь мало дружины. Не справив тризны по первом муже, нельзя было выходить замуж снова, и поэтому Ольга поставила перед деревлянами условие о тризне и выполнила его: пришла к могиле Игоря, оплакала своего мужа, повелела своим людям насыпать большой погребальный холм над захоронением, как бы восстановив честь Игоря, поручила деревлянам приготовить «меды многи» и после всего этого повелела творить тризну.

При общении с деревлянами Ольга не опустилась до лжи. Когда деревляне спросили у Ольги о том, где же их «дружина», то есть посольства, ранее посланные за ней, то Ольга сказала правду, но дипломатически двусмысленно: «Идуть по мне съ дружиною мужа моего». Это высказывание в устах Ольги означало, что посольства деревлян, действительно, «идут» одним путем смерти с дружиной Игоря — ведь и те и другие были перебиты. Выражение «по мне» имело двойной смысл: пространственный («вслед за мной») и временной («до меня»). То есть деревляне подумали, что посольства сейчас придут вслед за Ольгой, а на самом деле

же Ольга сообщила, что уже до ее прихода к деревлянам обе дружины пошли и все еще идут общим смертельным путем. Правда, подобное истолкование ответа все-таки предположительно.

Дело, естественно, не дошло до свадьбы, и Ольга, судя по смыслу упоминаемых деталей, перешла к цивилизованной мести: тризну по мужу превратила в тризну по деревлянам. Ольга отнеслась к деревлянам вроде бы как к почитаемой стороне жениха, но больше как к мертвецам: деревляне сели пить, и Ольга велела «служите пред ними» своим слугам, потому что мертвецы на тризне не могут себя обслужить; затем Ольга велела «пити на ня», пить не столько в честь деревлян, сколько в их память. А когда деревляне «упишася», видимо, мертвецки, последовало заключающее тризну игрище: их иссекли.

II. Четвертый эпизод из отношений Ольги с деревлянами излагается в летописи уже под 946 г. и развивает характеристику двух черт княгини, которые ранее были намечены лишь эпизодически. С одной стороны, летописец изобразил Ольгу как воинственного князя, занятого крупными делами. Ольга отомстила за оскорбление княжеской чести за «обиду» («мьстила уже обиду мужа своего» 57), а теперь пришла с большим войском и осадила главный город деревлян, чтобы не просто продолжить месть («уже не хощю мъщати»), но больше того покорить и искоренить деревлян полностью. Ольга, как приличествовало князю, использовала хитроумное приспособление (птиц) для победы, а затем занялась установлением даней и налогов по деревлянской земле, а потом и в иных местах.

Но, с другой стороны, Ольга, с точки зрения летописца, являлась женщиной, всего лишь исполнявшей обязанности князя вместо убитого мужа и не стремившейся подменить пока еще малолетнего сына: она мстила не за свою «обиду», а за «обиду мужа своего»; не одна отправилась в поход, но «съ сыномъ своимъ Святославомъ»; не одна осадила город деревлян, но опять таки «съ сыномъ своимъ»; потребовала покорности деревлян не одной себе, а чтобы деревляне, по ее словам, «покорилися мне и моему детяти»; по деревлянской земле прошла «съ сыномъ своимъ»; и вернулась в Киев «съ сыномъ своимъ Святославомъ», и далее «пребываше с ним въ любъви» (57 59).

Летописец постоянно показывал, как женское начало отражалось на военной деятельности Ольги. Говоря о сражениях, летописец не упоминал об участии Ольги, потому что войну считал не женским делом: битву начинал Святослав, хоть малолетний и слабенький, а все-таки князь. (Кстати, в предыдущем эпизоде иссечения деревлян в конце тризны летописец специально оговорил женское неучастие Ольги: «а сама отъиде кроме» 56.)

Зато Ольга, по описанию летописца, успешно занималась тонкими словесными переговорами, умела выражаться изощренно-двусмысленно, что не было свойственно мужским персонажам летописи. Ольга не обманывала, когда заверяла деревлян, что не будет им мстить больше, и четырежды подчеркнула, какая дань ей нужна от деревлян: «…хощю дань имати помалу… мало у васъ прошю… сего прошю у васъ мало… да сего у васъ прошю мала» (57). Ольга использовала каламбур;

по существу, она просила выдать ей деревлянского князя Мала (это наблюдение Д. С. Лихачева). Летописец раньше уже пояснил, что «бе бо имя ему Малъ, князю деревьску» (54), а в речь Ольги о дани вставил слово «сего», которое одновременно обозначало и «поэтому» («поэтому прошу»), и «этого» («прошу этого Мала»). Ольга почему-то именно просила деревлян выдать князя: возможно, вызволяла ее жениха, которым деревляне, в сущности, распоряжались как безгласным и лишенным собственной воли заложником; «дерьжаху Деревьску землю» же иные князья (поэтому Ольга мстила деревлянам, а не Малу, который, по догадке А. А. Шахматова, вообще-то был варягом, сыном воеводы-интригана у Ольги). Так или иначе, но Ольга потребовала выдать ей деревлянского князя в качестве дани, то есть лишала деревлян символа независимости. Кроме того, Ольга двусмысленно пообещала деревлянам: получив дань, «поиду опять» (57). Древнерусское слово «опять» означало и «вспять, назад» («вернусь назад, в Киев»), и «снова, еще раз» («нападу снова»). Ольга выполнила высказанное обещание и снова напала на деревлянский город.

Загадочная и до сих пор вызывающая разные толкования «малая» дань, которую Ольга попросила у деревлян, — от двора по три голубя да по три воробья, — возможно, указывала на женские вкусы победительницы, ее интерес к птицам, птичьему двору и пр. (недаром летописец далее, под 947 г., упомянул об Ольгиных «перевесищах» — местах для ловли птиц — по Днепру и по Десне).

Подготовка Ольгой военной операции также носила «женский» характер, была связана с платками, нитками и пр.: летописец детально расписал, как Ольга раздала своим воинам кому по голубю, а кому по воробью, и повелела к каждому голубю и воробью привязывать зажигательный трут, обертывая маленькими платками и ниткой наматывая у каждой птицы (к чему приматывали трут, летописец-мужчина не пояснил). Все было рассчитано прямо-таки с женской домовитой мелочностью: Ольга, очевидно, с умыслом отказалась от дани, которую ей пообещали деревляне, — от меда и мехов (для сбора этих предметов пришлось бы выпустить деревлян в леса, а они бы не вернулись); Ольга же заставила осажденных деревлян собирать птиц именно на их дворах, а своим воинам велела выпустить собранных птиц именно тогда, когда смерклось, потому что птицам уже надо было устраиваться на ночевку, и полетели они с зажженными трутами в деревянный город, притом, как пояснил летописец, в свои городские гнезда: голуби — в голубятни, воробьи — под стрехи. От трутов одновременно загорелись голубятни, клети, сараи, сеновалы и вообще все дворы — вот что такое женская тщательность.

III. В повествовании под 946 и 947 гг. летописец, быть может, обозначил еще одну одновременно и княжескую, и «женскую» черту Ольги — стремление все «уставить» и «изрядить» до конца. Ольга полностью завершила погребальный обряд над деревлянами, ведь выпускание пойманных птиц (душ) на волю являлось заключительным элементом погребального обряда (это отметил Н. И. Толстой). Затем Ольга навела хозяйственно-политический порядок «по всей земли» (59).

IV. Последний яркий эпизод из летописного жизнеописания Ольги был изложен под 955 г. Это эпизод о пребывании Ольги в Царьграде. Может показаться,

что летописец высказался по поводу внешности Ольги, упомянув, что византийский император «видевъ ю добру сущю зело лицемъ и смыслену» (59). Однако в данном случае летописец имел в виду внутренние, интеллектуальные достоинства княгини, хотя и отразившиеся в ее внешности. Словосочетание «добра лицемъ» по смыслу было близко к эпитету «добролична», обозначавшему не столько физическую, сколько духовную красоту Ольги, ведь эпитет «добрый» в летописи в применении к человеку означал персонажей с достойным поведением. Выражение же «видети ю добру лицемъ» тем более указывало на заметность внутренней содержательности княгини, ибо летописные выражения «видеть кого-то» обычно дополнялись указаниями не на внешность, а на поведение людей, а еще чаще — на внутреннее состояние человека. Поэтому-то летописец далее пояснил, что удивился царь именно и только «разуму» Ольги.

Государственный «разум» Ольги, как снова дал понять летописец через множество деталей изложения, проявился в четком соблюдении ею требований княжеской чести. Из летописного повествования следовало, что Ольга никого ни о чем не просила. Она не просила византийского императора об аудиенции, а просто, судя по сообщению летописца, прибыла в Царьград и пришла к «царю». Ольга не просила о крещении, но, «разумевши», вынудила императора крестить ее: император предложил Ольге выйти за него замуж, а Ольга ответила: «Азъ пагана есмь», предоставив последующие шаги делать искательному императору, потребовав крещения, так сказать, по высшему разряду: «Да аще мя хощеши крестити, то крести мя самъ; аще ли ни, то не крещюся».

Ольга не хотела замуж, а, как сказано в летописи, «хотящи домови» (60), однако не просила ее отпустить, но опять именно вынудила сделать это, притом с оказанием ей почета. Когда после крещения император воззвал ее к себе и уверенно объявил, что берет ее себе в жены, Ольга жестко выговорила ему за нарушение христианского закона: «Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя дщерею? А въ хрестеянехъ того несть закона. А ты самъ веси». Для соблюдения своей княжеской чести, чтобы не поддаваться давлению, Ольга ловко использовала на этот раз уже христианский обычай, и императору пришлось признать ее умственное превосходство («переклюкала мя еси, Ольга»), дать ей многие дары, официально наречь ее духовной дочерью себе и отпустить, тем более что Ольга обещала императору («аще возъвращюся в Русь» 61) как равноправный союзник тоже прислать многие дары, в особенности «вои в помощь». Ольга тщательно следила за соблюдением престижа и, вернувшись в Киев, все-таки припомнила императору один факт ущемления ее чести: она заявила прибывшим византийским послам, что даст императору обещанные ею дары только в том случае, если император «постоит» у нее перед Киевом, ожидая допуска, так же, как она простояла перед Царьградом; со сказанным и отпустила послов ни с чем.

V. Уже в Царьграде после крещения Ольга повела себя разительно иначе; можно подумать даже, что летописец изобразил двух разных персонажей — гордую Ольгу и покорную Ольгу. На самом же деле Ольга для летописца осталась такой

же законопослушной княгиней, только раньше, в Киеве, она истово придерживалась языческих обычаев, а теперь, в Царьграде, христианских: Ольга перед патриархом стояла, склонив голову, и внимала ученью, «аки губа напаяема» (59), перед отъездом домой она пришла к патриарху, специально прося благословения.

И в Киеве Ольга, как показал летописец, жила уже только по христианским установлениям для женщин: побуждала своего сына принять крещение, часто говорила ему о радости, которую приносит христианская вера, но признавала главным все-таки князя, несмотря ни на что любила сына своего, надеялась на Божью волю и молилась за него и за всех людей «по вся нощи и дни», «кормила» сына до его возмужания и взрослости (62 63).

Далее летописец перешел к рассказам о бурной деятельности Святослава, а Ольга, судя по отдельным упоминаниям, стала как бы частным лицом, только матерью князя, смиренной и пассивной. Так, Ольга, ничего не предпринимая, затворилась со своими внуками в Киеве от печенегов и сидела в тяжкой осаде, пока печенегов не прогнал Святослав (под 968 г.). Киевляне называли ее старой, а она себя больной.

Последний год жизни Ольги, как показал летописец, был трагичен из-за разногласий с сыном, который не захотел править в Киеве и вообще оставаться на Руси. Ольга, судя по приведенным ее словам, отчаявшись, пеняла Святославу: «Видиши мя болну сущю; камо хощеши отъ мене ити?.. Погребъ мя, иди, ямо же хочеши» (66). И через три дня Ольга умерла, завещав не творить тризны по себе. Ее оплакивали и погребали сын, внуки и все люди, но похоронил ее уже священник (под 969 г.).

Минорный конец сообщений об Ольге связан с представлением летописца об одиночестве княгини-христианки на Руси. Действительно, как рассказано в летописи, Ольга еще в Царьграде тревожилась: «Людье мои пагани и сынъ мой, дабы мя Богъ съблюлъ отъ всякого зла» (60). Ни Святослав, ни его дружина не слушали Ольгу, «творяше норовы поганьския» (62). Об общении Ольги с христианами на Руси летопись не обмолвилась ни словом. В летописной похвале (под 969 г.) Ольгу сравнили с чем-то одиноким, с предрассветной звездой, с луной в ночи, с жемчужиной среди грязи («аки бисеръ в кале» — 67).

Однако персонологическая позиция летописца не менялась, говорил ли летописец об Ольге-язычнице, либо об Ольге-христианке: он исходил из предпосылки, что соблюдение князем принятых законов и обычаев служит чести князя и имеет государственное значение, честь князя — это честь страны. Пусть Ольга-христианка в одиночестве придерживалась христианской веры, но недаром, сообщал летописец, было наречено имя ей во крещении Елена, как у древней царицы, матери Константина Великого (который сделал христианство официальной религией Римской империи), и Ольга действительно думала о всей своей стране («аще Богъ хощеть помиловати рода моего и земле Руские» 63, под 955 г.), и в результате добилась новой чести и для себя, и для своей земли: «Си первое вниде в царство небесное отъ Руси, сию бо хвалятъ рустие сынове... Се бо вси человеци прослав-

ляють, видяще лежащю в теле на многа лета» (67, под 969 г.) (это намек летописца на когда-то существовавший мавзолей Ольги).

6. Святослав

Летописные рассказы о Святославе имеют обобщенный характер и редко когда содержат подробно изложенные эпизоды, ибо летописец (по предположению А. А. Шахматова) использовал в основном болгарский эпос о Святославе, народном герое Болгарии, освободившем болгар от ига Византии.

Однако летописец, пожалуй, коренным образом переосмыслил имевшиеся в его распоряжении сведения, попытавшись ответить на важный для него вопрос: почему так плохо кончил Святослав (печенеги убили Святослава, из его черепа сделали чашу и пили). Ведь Святослав так удачно побеждал разные народы: у хазар взял их главный город, а у болгар — даже 80 городов, с греков же брал дань. Святослав так удачно преодолевал трудности: прогнал печенегов в поле (под 968 г.), одолел восставших против него болгар, энергичной речью вдохновив своих воинов на смертельную битву, победил десятикратно превосходившее русских войско греков, произнеся еще более яркую речь о воинской чести, наконец, пережил невиданно голодную для князя зимовку у Днепровских порогов, когда даже самая скудная мясом часть — «глава коняча» — стоила по полугривне (под 971 г.).

Однако с первого же рассказа о взрослом Святославе летописец пояснил, почему должен был погибнуть этот князь: он не слушал своей матери-христианки, ее слов избегал «ни во уши приимати» (61, под 955 г.), даже гневался на мать. Желавших вслед за Ольгой креститься он оскорблял («ругахуся тому») и возражал матери, что, если он крестится, дружина этому начнет «смеятися». «Аще кто матере не послушаеть — в беду впадаеть», — предупредил летописец и сделал еще более зловещую отсылку на Библию: «Аще кто отца ли матере не послушаеть, то смерть прииметь» (62, под 955 г.).

О других причинах гибели Святослава летописец сказал не так прямо, ибо писал не исторический трактат, а фактографическую хронику, однако последовательностью изложения фактов показал, что же еще привело Святослава к роковому концу. Второй причиной, как можно понять, была нерусская ориентация Святослава, который сел княжить в Болгарии, в Переяславце (под 967 г.). Летописец привел красноречивые факты странной отчужденности князя от Руси. Киевляне обвинили Святослава: «Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ» (65, под 968 г.). И Святослав решительно подтвердил: «Не любо ми есть в Киеве быти. Хочю жити в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ грекъ — злато, паволоки, вина и овощеве розноличныя; изъ Чехъ же, изъ Угорь — сребро и комони, из Руси же — скора и воскъ, медъ и челядь» (66, под 970 г.). Показательно, что в приведенной речи Святослав вставил Русь в ряд чужих стран, дающих в Переяславец нечто вроде дани, даров или экзотических товаров. И далее сообщалось, что Святослав вообще раздал Русь, включая Киев, сво-

им сыновьям, притом сделал это равнодушно, когда новгородцы пришли просить себе князя, Святослав небрежно ответил: «А бы пошелъ кто к вамъ», а сам же ушел в Переяславец (68, под 970 г.). Святослав даже вел себя не как русский, а как степняк, и поэтому летописец специально описал это: «Легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше. Ходя, возъ по собе не возяше, ни котъла, ни мясъ варя, но, потонку изрезавъ конину ли, зверину ли, или говядину, на углехъ испекъ, ядяше; ни шатра имяше, но подъкладъ постлавъ и седло в головахъ» (63, под 964 г.). Лишь в последний момент Святослав пожалел, находясь в Переяславце: «А Руска земля далеча, а печенези с нами ратьни, а кто ны поможеть?» (70, под 971 г.). Но было уже поздно: без помощи из Руси он и погиб.

Третья причина гибели Святослава, показанная летописцем, это чрезмерная воинственность князя. Святослав был очень груб («одебелеша бо сердца ихь» 62, под 955 г.). Летописец недаром процитировал типичные слова Святослава, обращенные к другим странам: «Хочю на вы ити» (63, под 964 г.) то была неприкрытая угроза: «Обязательно нападу на вас» («я вам покажу»). Вот и подтверждение: когда Святослав после великой сечи с болгарами у Переяславца «взя градъ копьемъ», он послал грекам в Царьград: «Хочю на вы ити и взяти градъ вашь, яко и сей» (68, под 971 г.), то есть довольно бесцеремонно: «Обязательно нападу на вас и штурмом возьму ваш город, как и тот взял». Если бы Святослав рыцарственно предупреждал о своих намерениях другие страны, он употреблял бы выражения в иной форме («иду на вы»), без древнерусского вспомогательного глагола «хотети», образовывавшего форму обязательного будущего времени. С греческим посольством Святослав также вел себя очень грубо, вопреки дипломатическому этикету: когда послы прибыли, то Святослав отрывисто распорядился: «Въведете я семо»; когда послы вошли, поклонились ему и положили перед ним дары, то Святослав, глядя в сторону, так же отрывисто приказал:«Схороните» (69, под 971 г.). Это напоминает команды: «Ввести!», «Убрать!».

Греки считали, что Святослав «лютъ». И не только потому, что Святослав из принесенных ему даров принял меч и иное оружие, но не посмотрел на золото и паволоки. Святослав так разрушил византийские города, что они, по отзыву летописца, стоят и до сегодняшнего дня пусты. «Лютый» Святослав собрал с греков огромную дань, взимал даже за убитых, а еще и дары многие, а еще увел пленных без числа. Заключая вынужденный мир с Византией («николи же помышлю на страну вашю, ни сбираю вой» — 71), Святослав как раз мыслил об обратном: «Да изнова из Руси, совкупивше вои множайша, поидемъ Царюгороду» (70, под 971 г.). Святослав и себя не жалел, и думал об обстоятельствах, «аще моя глава ляжеть» (69), «изъбьютъ дружину мою и мене» (70).

Из-за своей воинственной «лютости» Святослав лишил себя поддержки. У него осталось «мало дружины». Из Переяславца пришлось ему уйти. Переяславцы же, как подчеркнул летописец, были врагами Святослава, затворялись от него, выходили на сечу против Святослава и, предупредив печенегов о маршруте Святослава и о малочисленности его дружины, способствовали убийству его. В решающий

момент Святослав не послушался совета опытного отцовского воеводы миновать Днепровские пороги «около» на конях, а не плыть через них в ладьях, и упрямо устремился «в пороги», обрекая себя на гибель (72).

Тут летописец приоткрыл, правда, осторожно, еще одну причину гибели Святослава — жадность к богатству, ведь именно для того, чтобы сохранить и провезти набранные богатства, Святослав не захотел пересаживаться на коней из ладей. Греческие послы, поверив инсценировке нелюбезного приема, ошиблись, когда посчитали, что Святослав «именья не брежеть, а оружье емлеть» (70). На самом же деле Святослав, сумевший обмануть греков, очень ценил «именье много», что немедленно доказал размахом поборов с Византии, приниманием все новых и новых даров. Той же любовью к стекающимся благам сам Святослав объяснил свое пристрастие к Переяславцу.

По персонологии летописца, князья-язычники не могли иметь благополучной судьбы и сами себя вели к гибели — Олег, Игорь, Святослав: «Дела нечестивыхъ далече отъ разума» (62, под 955 г.).

7. Владимир

Летописец, насколько мог, отметил христианское поведение Владимира, его благочестивые чувства и поступки незадолго до крещения: Владимир «плюну на землю» и осудил мусульманские обычаи (84, под 986 г.); Владимир, «вздохнувъ» о посмертном веселье праведников и горе грешников, «положи на сердци своемъ» мысль о крещении (104, под 986 г.); «возревъ на небо», пообещал креститься (107, под 988 г.), а после крещения, снова «възревъ на небо», просил помощи у Бога против дьявола (115, под 988 г.). Летописец подчеркнул благочестивость деятельности Владимира после крещения: он повелел низвергнуть языческих идолов и провести церемонию поругания их; Владимир построил много церквей — в Корсуни (под 988 г.), в Киеве, в том числе богато украшенную им Десятинную церковь, в которой молился и написал клятву давать этой церкви десятую часть от богатств своих и городских (под 989 и 996 гг.); князь построил церкви в других городах, заложил, поставил и населил новые города на многих реках, окружая христианский Киев защитой от печенегов (под 988, 991, 992 гг.); Владимир «любя словеса книжная» (122), то есть следовал Писанию, и потому не только разрешил, но даже повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что потребуется в питье и еде, а из казны получать деньги, а для немощных и больных повелел развозить и раздавать по городу хлеб, мясо, рыбу, фрукты, мед, квас; наконец, Владимир устраивал большие церковные празднества, во время которых раздавал людям, в том числе и убогим, многие богатства и огромные деньги (под 996 г.). Оттого, когда Владимир умер, убогие оплакивали его как заступника и кормителя, и похоронен был этот щедрейший христианин в мраморном гробе (под 1015 г.).

Однако летописец отметил, что Владимира на Руси не почитают так, как он того заслужил: «Мы же, хрестьяне суще, не вьздаемъ почестья противу оного въз-

данью» (128, под 1015 г.). Летописец, вероятно, пенял на то, что празднование памяти Владимира еще не было установлено (мысль А. И. Соболевского), и изложил факты в пользу блаженного. Но еще подробней летописец, в сущности, показал, что же помешало сразу признать Владимира святым, хотя каждый раз летописец пытался оправдать Владимира.

Во-первых, Владимир, по изображению летописца, явился активным и лукавым язычником: он собрал и поставил на холме около своего двора «кумиры» главных языческих богов Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симарьгла и Мокоши, — «творяше требу кумиромъ с людми своими» (80, под 983 г.), и «осквернися кровьми земля Руска и холм отъ» (77, под 980 г.). Но, поспешил примирительно добавить летописец, на том холме ныне стоит церковь святого Василия (построенная Владимиром).

Летописец вынужден был признать, что язычник Владимир «прелюбодей бысть убо» (77), «побеженъ похотью женьскою», «бе несытъ блула» (78). Владимир насильно захватил в жены полоцкую княжну, потом «залеже не по браку» жену своего брата, затем вынудил византийскую царевну стать его женой, но ему мало было и пяти жен, он еще имел 800 наложниц, а кроме того, приводил к себе замужних женщин и растлял девиц (под 980 г.). Однако и тут летописец осторожно оправдывал Владимира: «се же бе невеголосъ, а на конець обрете спасенье» (78), «аще бо и бе преже на скверньную похотъ желая, но после же прилежа к покаянью» (128, под 1015 г.), а все зло в женской прелести (под 980 г.).

Христианскую веру Владимир принял, исходя из своих языческих вкусов, а не по наитию свыше это обстоятельство летописец раскрыл вполне ясно. Владимир вовсе не был исконно предрасположен к принятию православия, но первоначально даже склонялся к мусульманству — «послушаше сладко» мусульман (83, под 986 г.). В разных верах Владимира как язычника интересовала прежде всего внешняя, физическая сторона: что положено есть и пить, как обращаться с женщинами и в особенности — каково богослужение народов. Недаром языческие же бояре и старцы посоветовали Владимиру: «испытай когождо ихъ службу» (104, под 987 г.); и Владимир направил послов, которые у народов и «съглядавше церковную службу ихъ» (105). Православию было отдано предпочтение именно за красоту церковной службы: «несть бо на земли такого вида ли красоты такоя» (106), в то время как даже «немцы», хотя и многие службы творят, а красоты в них не видно никакой. Богословское же содержание вероисповеданий мало привлекало Владимира, и суть обращенных к нему речей об основах вер языческий князь воспринял крайне элементарно: «приходиша немци, и ти хваляху за конъ свой... Се же после же придоша грьци, хуляще вси законы, свой же хваляще и много глаголаша... суть же хитро сказающе, и чюдно слышати ихъ» и т. д. (104, под 987 г.). Или же выражался с некоторой рифмованной бесшабашностью по поводу сообщенных ему конфессиональных сведений: «Руси есть веселье питье, не можемъ бес того быти» (83, под 986 г.); «что ради отъ жены родися, и на древе распятся, и водою крестися?» (102, под 986 г.); «на ономъ свете в огне горети» (104, под 987 г.). С при-

нятием православия Владимир явно тянул («пожду и еще мало» 104, под 986 г.), пытаясь получить взамен земные блага (например, породниться с византийскими императорами), и последним толчком ко крещению Владимиру послужило исцеление от глазной болезни: «Топерво уведехъ Бога истиньнаго» (109, под 988 г.) — выгода очевидная.

Летописец понимал своеобразие крещения Руси Владимиром: крещение произошло по изволенью Божью, а не по нашим делам; перед крещением здесь не апостолы учили, не пророки прорекли; дьявол был побежден не от апостолов, не от мучеников, а языческим невеждой, который после крещения все-таки опять вернулся к жизни «по устроенью отьню и дедню» (124, под 996 г.).

Второй причиной, помешавшей сразу признать Владимира святым, вероятно, была его циничная хитрость, которую летописцу, стремившемуся к полноте сведений о князьях, все-таки пришлось показать. В арсенал средств Владимира постоянно входило прелательство. Владимир не имел шансов стать киевским князем из-за своей низкородности сравнительно с братьями (матерью Владимира была служанка, ключница княгини Ольги). Оттого Святослав послал Владимира княжить к далеким новгородцам только после отказа его более высокородных братьев и с полупрезрительными словами: «А бы пошелъ кто к вамъ... Вото вы есть» (68, под 970 г.), оттого и гораздо позже Владимира называли сыном рабыни (74, под 980 г.). Однако Владимиру удалось стать единодержцем Руси после убийства братьев, одного из которых убил он сам вполне целеустремленно («убью брата своего»), склонив к предательству воеводу брата. Летописец, правда, пригладил эту неприглядную историю: по рассказу летописи, Владимир благородно предупредил брата о войне («пристраивайся противу биться») и обосновал свою борьбу («не язъ бо почалъ братью бити, но онъ»), и именно предатель-воевода был выставлен инициатором разных коварств, что дало повод летописцу разразиться филиппикой («горьше суть бесовъ таковии») и обвинить воеводу в убийстве («се бо бысть повиненъ крови той»), а Владимира оставить в тени (75, под 980 г.).

Но сразу вслед за этим летописцу пришлось рассказать еще об одном предательстве Владимира, которому в отчаянный момент хорошо помогли нанятые им варяги, но Владимир их обманул — не дал обещанной платы и отправил в Царьград, тайно предупредив византийского цесаря: «Се идуть к тебе варязи, не мози ихъ держати въ граде… но расточи я разно, а семо не пущай ни единого». Правда, и в этот раз летописец привел факты, смягчающие отступничество Владимира: варяги явились непосредственными убийцами брата Владимира, варяги хотели пограбить один из русских городов и еще «сотворили зло», а Владимир изгнал не всех варягов, но прежде избрал из варягов мужей добрых и разумных и тем раздал города (77, под 980 г.).

Далее летописец рассказал о том, как Владимир снова использовал предателя: при осаде Корсуня один из корсунцев дал знать Владимиру о слабом месте крепости (подземной водопроводной трубе к городу, которую надо перекрыть) и способствовал падению своего же города. Потом произошло также не все ладно:

Владимир вывез из Корсуня множество ценностей, вплоть до статуй, а разоренный греческий город хитроумно отдал грекам же в качестве выкупа за свою греческую невесту (под 988 г.); предатель же, возвеличенный Владимиром, предал русских в пользу поляков (под 1018 г.).

Неблаговидным поступкам Владимира-язычника летописец нашел противовес: Владимир у летописца одновременно представал по-христиански мягким, кротким и даже слабым князем. Небывалую кротость и уступчивость Владимир моментами проявлял еще до крещения: он, как обозначил летописец это состояние князя, «убоявся» своего брата и бежал за море (74, под 977 г.); Владимир униженно просил братнего воеводу: «Поприяй ми… имети тя хочю во отца место» (75, под 980 г.); затем Владимир хотя и победил волжских болгар, но отказался взять дань и опасливо заключил с ними вечный мир (под 985 г.); своих бояр и старцев Владимир вовсе не свысока спрашивал: «Да что ума придасте?» (104, под 987 г.). После крещения, как следовало из еще более удивительных деталей летописного повествования, Владимир и вовсе ослаб от христианского смирения: «поча тужити» оттого, что не мог справиться с печенегами (120, под 992 г.), и вообще «не могъ стерпети противу» их настолько, что спрятался от печенегов, став под мостом и обещая построить церковь за свое спасение (122, под 996 г.); с дружиной Владимир вел себя исключительно предупредительно: устраивал пиры по всем воскресеньям, и для дружины, когда услышал ее претензии, специально велел исковать серебряные ложки вместо деревянных; с дружиной князь «думал» о всех государственных делах; «миръ и любы» установились у Владимира с христианскими странами. Но, пояснил летописец, Владимир жил в страхе Божии, боясь греха, не казнил разбойников, отчего умножились разбои. Потом Владимир смиренно слушал советы епископов и старцев и по их советам стал то казнить, то вместо казни брать штрафы виры с разбойников (под 996 г.). В это время шла беспрестанная война с печенегами, но, сообщил летописец, Владимир не мог помочь своим людям — «не бе лзе Володимеру помочи, не бе бо вой у него» (122, под 997 г.) — люди сами придумывали, как спастись.

Оправдание Владимира в летописи не привело к апофеозу, а закончилось тревожными сообщениями: летописец перечислил умерших — преставились мать, жены, сын, внук Владимира (под 1000–1011 гг.) — и закончил повествование рассказом о смерти самого Владимира. На неблагополучие указывало и заключительное известие летописца о небывалой ссоре отца с сыном — Владимир захотел идти походом «на сына своего» (127, под 1014 г.). Летописец по обыкновению смягчил сообщение: «Но Богъ не вдасть дьяволу радости» (127, под 1015 г.). Однако от этого не исчезла острая дисгармоничность летописного повествования о Владимире — язычнике и христианине.

Летописец по-своему подводил итоги жизни князей — не по всем их делам в целом, а обычно по одному решающему деянию или обстоятельству в жизни: Рюрика преимущественно характеризовал приход на Русь, Олега — победа у Царьграда, Ольгу — крещение, Игоря — поборы с деревлян, Святослава — непослушание

матери, Владимира крещение Руси. Прочее же отбрасывало лишь дополнительные свет или тень на главный поступок героя. Как ни хотелось летописцу, чтобы Владимир-креститель был признан святым, но этот князь оставался слишком неидеальным, и летописец выразил лишь надежду, лишь пожелание Владимиру: «Дажь ти Господь венець с праведными, в пищи райстей веселье и ликъствованье съ Аврамомь и с прочими патриархы» (128, под 1015 г.).

Персонология, то есть образы героев, «Повести временных лет» по содержанию и формам литературного выражения были явлением полнокровным, но глубоко архаическим.

Примечание

[1] «Повесть временных лет» далее цитируется по изданию: Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. Страницы указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАПАДНЫХ НАРОДОВ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» И В НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XI–XII ВВ.

1. Запад и Рим

«Повесть временных лет» начинается с рассказа о разделе всей Земли между сыновьями библейского Ноя. Это начало летописи составил киево-печерский монах Нестор[1]. Вступительная летописная статья позволяет высказать предположение об отношении Нестора к Западу и даже о географических приоритетах летописца. В летописном вступлении сообщается, что Симу достался земной Восток, Хаму — южная часть Земли, а Иафету — «полунощныя страны и западныя»[2]. Нестор, знавший библейскую историю (в Библии подробности раздела Земли вообще отсутствуют), заимствовал изложение этих сведений из переведенной на славянский язык «Хроники» византийского монаха Георгия Амартола, а также из не дошедшего до нас болгарского компилятивного «Хронографа»[3]. Однако в греческом тексте «Хроники» Запад не упомянут: Симу досталось «то, что к востоку», Хаму — «то, что к югу», а Иафету — «то, что к северу». В славянском переводе «Хроники» тоже нет упоминания Запада[4]. Значит, Нестор или сам вставил упоминание Запада, либо был согласен с такой вставкой, сделанной в болгарском «Хронографе». На навеянное источниками деление Земли по трем сыновьям Ноя в данном отрывке летописи наложился другой способ деления — по четырем сторонам света. Понятие Запада было привнесено Нестором из другой, не библейской, а географической системы понятий.

Отношение Нестора к разным сторонам света (и частям Земли) несколько различалось. Восток он считал первенствующей областью и с него обычно начинал перечисление частей Земли: «И яся вьстокъ Симови», «от вьстока и до полуденья» (22). Первым был назван Восток и в перечислении, касавшемся уже потомков Ноевых сыновей: «прияша сынове Симовы восточныя страны, а Хамовы сынове — полуденьныя страны, Афетовы же — прияша západъ и полунощныя страны» (24). Называние Востока первым из сторон света обычно встречается в отрывках и в цитатах, восходящих к переводным произведениям: «от вьстока и до запада имя мое

прославися въ языцех» (112, под 986 г.)[5]; «от пустыня Етривьскы, межю встокомь и севером» (242, под 1096 г.)[6]. Но и сами летописцы предпочитали называть Восток первым в своих собственных перечислениях. Ср.: «от въстока, и уга, и запада, и севера» (268, под 1102 г.).

Представление о важности Востока выразилось и в частом указании его исходной или конечной областью людских движений и устремлений. В начале летописи передвижение именно на Восток было упомянуто многократно: «Текущи на въстокъ», «сущимъ же ко востокомъ», «идеть на востокъ, в часть Симову», «ко въстоку, до предела Симова» (22, 24). И далее в летописи у Нестора: «потече Волга на въстокъ… и на въстокъ доити въ жребий Симовъ» (26). Восток как исходная область тоже часто обозначался в летописи: «пришедше от въстока» (40, под 898 г.), «пришедьшемь воемь от въстока» (58, под 941 г.), «придоша от въстока» (116, под 986 г.) и пр.

В отличие от Востока, Запад не занимал первого места при перечислении сторон света или частей земли и не выступал как исходная или конечная область движения. Летописцы ощущали Запад лишь переходной, так сказать, транзитной областью между другими областями. Оттого Нестор закончил изложение о разделе Земли упоминанием не Запада, а последующей области или стороны света (юга): «Афету же яшася полунощныя страны и западныя… Ти же приседять от запада къ полуденью и съседяться съ племянемъ Хамовым» (22, 24). При обозрении владений отдаленных потомков Ноя Нестор снова поставил Запад на переходное место: «сынове… Афетовы же прияша западъ и полунощныя страны» (24). То же повторялось в летописи и дальше (ср.: «взиде на всточьныя страны… и загна их на полунощныя страны» — 244, под 1096 г. Единственное исключение — библейская формула «от въстока и до запада», но и она не делала упора на Запад, будучи продолжена: «на всякомь месте» — 112, под 986 г.).

В общем, надо признать, что Нестор и прочие составители летописи без особого внимания отнеслись к Западу (как стороне света и части Земли).

Теперь перейдем к Риму и римскому папе. Под 898 г. в летописи рассказывается о миссии славянских просветителей Кирилла и Мефодия, которые составили славянскую азбуку и перевели библейские и богослужебные книги на славянский язык. Упоминание Нестора о римском папе позволяет задаться вопросом об отношении летописца к папе и вообще о круге лиц, авторитетных для летописца. Римский папа в рассказе выступает как влиятельное лицо, определяющее ход событий: «Се же слышавъ, папежь римьский похули тех, иже ропьщють на книги словеньския, река: "…Да аще кто хулить словеньскую грамоту, да будеть отлученъ от церкве» (42). Оттого к папе применена формула «се же слышавъ», с которой в летописи постоянно начинались сообщения о важных, переломных решениях влиятельных людей. Оттого в летописи передана речь папы, содержащая глаголы в повелительном наклонении, типа «да будеть».

Однако отношение к римскому папе как к влиятельному лицу нашло отражение только в данной летописной статье. При последующем упоминании римского

папы (тоже без имени, под 986 г.) он уже не представал решающим и вменяющим что-либо. Его слова недолго слушал и сразу отвергал киевский князь Владимир Святославович. Влиятельность же римского папы, обозначенная в статье под 898 г., возможно, объяснима особенностью заимствованного летописцем источника западнославянского «Сказания о преложении книг на словенский язык»[7].

И действительно, положительное отношение к Риму в летописной статье под 898 г. отдает глубокой стариной. Аналогию находим в произведении первой половины XI в. в «Слове о Законе и Благодати» Илариона. Для Илариона Рим первооснова христианства: по словам Илариона, благодаря римлянам погублено «иудейство»; с Рима началось почитание христианских «учителей»; по примеру римского императора Константина I Великого киевский князь Владимир Русь «Богу покори»[8].

Иларион уважал Рим, но не в пику Византии. Византия, по Илариону, тоже послужила примером для Руси, для Владимира: «слышано ему бе всегда о благоверьнии земли Гречьске, христолюбиви же и силие вьрою… И сы слышавъ, въждела сердцемь, възгоре духомъ, яко быти ему христиану и земли его» (592). Илариону Византия была даже ближе Рима: только свою Русь и Византию он называл «землей», а прочих «округъних», в том числе Рим, Иларион называл лишь «страной», то есть сторонним государством. А когда перечислял народы, то греков ставил первыми, а римлян вторыми.

Тем не менее уважение к Риму у Илариона проявилось ощутимо и, в свою очередь, восходило к древнему цельному представлению, которое находит некоторые параллели не в оригинальной древнерусской, а в паннono-моравской и южнославянской литературах IX X вв. Например, Рим как первое Христово царство или прообраз его толковало моравское «Слово на рождество Христово»: «Бысть единовластие румьскааго владычьства при кесаре Августе по всей вьселеннеи, его же не бе никогда было прьвее. И по Божию повелению бысть румляномь примучити все езыки и подъ единою властию створше сь силою велиею. Сила бо сказаеть Румь. Да яко небеснии царь единь вьсячьскаа сьдрьжить, тако и земльскыи единь сьдрьжаль вь образь царства Христова. Темь же и мирь гльбокь бысть тогда, яко же иногда не быль никогда же таковь»[9].

Рим как первоисточник, от которого всюду распространилась христианская вера, характеризовали тоже только западно- и южнославянские произведения. Например, «Похвала Клименту Римскому» Климента Охридского: «в Римьсте граде… кипящи благодать Христова… и напаяющи учениемь его всю подъсолнечную»[10]. О том же свидетельствовало «Чтение на крещение Господне», возможно, одного из учеников Мефодия или того же Климента Охридского: «преемши… римьская церкви свещение, и сама дрьжещи доселе, и всему Западу сему подала есть»[11].

Древнейшие славянские памятники более определенно, чем «Слово» Илариона, исходили из идеи о первенстве Рима и поэтому «латинское» упоминали раньше «греческого». Например, пространное «Житие Мефодия Моравского»: «службу церковьную латиньскы, и грьчьскы, и словеньскы сътребиша»[12]. «Убье-

ние святаго Вячеслава, князя Чеська»: «книги латыньския… гречес кия книги или словеньския»[13].

В общем, прав Г. Ф. Федотов, увидевший в сочинении Илариона «отпечаток» «кирилло-мефодиевской мысли»[14].

Однако след римской ориентированности заметен и в древнерусском «Чуде о отрочати»: «святого священомученика Климента от Рима в Херсонъ, от Херсона в нашу Рускую страну сътвори приити Христос»; «умножи Господа своего талантъ не токмо в Риме, но и в Херсоне и в Руси»[15]. Вот почему римский папа в качестве главного общехристианского авторитета был выведен в статье под 898 г. «Повести временных лет».

2. «Немцы»

В «Повести временных лет» в статье под 986 г. о выборе веры киевским князем Владимиром Святославовичем сообщается о приходе в Киев представителей разных народов с предложением принять их веру, в том числе говорится о «немцах», то есть о западноевропейцах. Отрывок касается нескольких этно-политических тем.

Объем понятия «немьци». Летописцы словом «немьци» обозначали родовое понятие, а словом «Рим» видовое понятие. О том свидетельствует словосочетание «немьци от Рима». В «Древнейшем киевском своде» 1037 1039 гг. «немцы» были упомянуты, хотя и без уточнения «от Рима», однако немного далее было подтверждено, что эти «немцы» «приходиша от Рима»[16]. Словосочетание «немьци от Рима» наличествовало в «Начальном киевском своде» 1093 1095 гг.[17], перешло в «Повесть временных лет» Нестора, во все списки, кроме Лаврентьевского[18].

Нестор в своем введении к летописи, в перечне европейских народов еще раз передал эту связь, указав как близкие народы: «…римляне, немци… » (24). Не удивительно, что представления о «немцах» и о средневековом (не античном!) «Риме» у летописцев были сходными.

Пределы захода к «немцам». Эти географические понятия «Рим» и «немцы» — представлялись летописцу поворотным пунктом поездок, куда занятые делами люди активно прибывают, но откуда быстро убывают. Оттого в описании пути из варягов в греки был очерчен замкнутый северо-западный круговой маршрут (Днепр — Балтийское море — Рим — Царьград — Черное море — Днепр), и именно Рим выступил местом резкого поворота и быстрого возвращения домой: «внидеть… в море Варяжьское. И по тому морю ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю ко Царюгороду» (26). Так же по скользящему маршруту к Риму сворачивал и от Рима возвращался апостол Андрей: «учащю въ Синопии и пришедшю ему в Корсунь… и въсхоте поити в Римъ… И иде въ варяги, и приде в Римъ… бывъ в Риме, приде в Синопию» (26). Страну «немцев» Владимир тоже мыслил областью быстрого поворота для посылаемого им посольства: «Идете паки в немци, съглядайте тако же, и оттуде идете в греки» (122, под 987 г.).

Главный недостаток «немцев». В дошедшем до нас тексте летописи не ясна мотивировка отказа Владимира от веры «немцев»: «яко отци наши сего не прияли суть» (100). Чего не приняли предки Владимира? Слово «сего» двусмысленно. Оно могло подразумевать, что предки Владимира не приняли христианского Бога. Однако при выборе вер Владимир не высказывался о чужих богах. По дошедшему тексту, его интересовало, «кто како служить Богу» (122), сами службы и обычаи. Слово «сего», по-видимому, указывало на «пощенье по силе», упомянутое «немцами».

Но почему Владимир сослался на неприятие посильного поста именно своими отцами-предками, в то время как в действительности язычники вообще не соблюдали постов? Даже о постничестве княгини Ольги, крестившейся до Владимира, летопись ничего не упоминала. Зато об ориентации Владимира на предков летопись сообщала снова, даже после крещения Руси: «И живяше Володимеръ по устроенью отьню и дедню» (142, под 996 г.). Ссылка Владимира на отцов не была случайной.

Думается, что первоначально, в «Древнейшем киевском своде», в данном эпизоде выражение «пощенье по силе» означало не пост, а близкое по написанию и звучанию, но иное по смыслу выражение: «потщенье», или «потщанье», старание, устремление, усердие по силе в делах веры. Действительно, Владимир в «Древнейшем киевском своде» занимался оценкой вер, а не служб[19]. Доводом за «потщанье», а не пост, служит, пожалуй, и композиция рассказа о выборе веры Владимиром, где указания правил еды или поста никогда не стояли первыми в характеристиках вер. Аналогичное выражение употреблялось уже под 912 г., в договоре Олега с греками: «потщимся, елико по силе» (48. Постараемся, насколько в наших силах), а слово «потщанье» употреблялось в похвале Владимиру под 1015 г.

У позднейших переписчиков летописи, вероятно, возникали какие-то догадки о специфичности смысла здесь слова «пощенье», и в одном из списков XV в. «Повести временных лет» данное место о Владимире и «немцах» было осмыслено без упоминания поста: «Како заповедь ваша?.. Пущение по силе»[20].

Таким образом; отказ Владимира можно объяснить тем, что закоренелому язычнику не понравилась та необязательность, с которой «немцы» следовали заповедям, в противоположность истовости его «отцов», живших «по рускому закону». Таковой, быть может, была версия «Древнейшего киевского свода», позднее затемненная.

На эту версию указывают и добавочные свидетельства, правда, тоже неотчетливые. Как можно догадываться по не совсем внятному изложению, Владимир по-своему понял ссылку «немцев» на изречение апостола Павла: «Аще кто пьеть или ясть, то все въ славу Божью» (100)[21]. Владимиру не понравилась у «немцев» полная бытовая свобода еды, противоречившая навыкам его «отцов», далеко не все без разбора пивших и евших. Летопись подчеркивала, что не все языческие предки «ядяху вся нечисто» (30, 32).

Неправильность западного богослужения, вероятно, дополнительно к вере подразумевалась как причина отказа Владимира от предложения «немцев». Не-

даром в списке XV в. «Новгородской первой летописи», заключавшей донесторовский текст, в соответствующем месте была упомянута именно служба, а не слава: «Аще кто пиеть и ясть, все въ службу Божию творить»[22]. В следовавшем тут же продолжении рассказа о выборе вер, уже в так называемой «Речи философа», «немцы» осуждались за вольность именно в хлебном ритуале: «Служать бо опресноки, рекше оплатки, ихъ же Богъ не преда. Но повеле хлебомъ служити, и преда апостоломъ. Приемъ хлебъ, рек: "Се есть тело мое, ломимое за вы". Тако же и чашю приемъ, рече: "Се есть кровь моя новаго завета". Си же того не творять. Суть не исправили веры» (100).

И все же остается неясной история летописной версии о богослужебных претензиях Владимира: то ли она присутствовала уже в «Древнейшем киевском своде», то ли стала оформляться только позднее. Наиболее вероятным кажется предположение о том, что первоначальное развитое повествование «Древнейшего киевского свода» о переговорах Владимира с «немцами» затем было сокращено. Оттого в дошедшем тексте оно заметно короче повествования о переговорах Владимира с мусульманами и иудеями. Нестор застал уже сокращенный текст.

Можно высказать гипотезу о более или менее скептическом отношении всех составителей летописи к «немцам» по причине расчетливости, эгоистической рационалистичности «немцев», их нежелания себя утруждать в делах веры. Под 986 г., в «Речи философа», сказано еще мягко: «Ихъ же вера маломь с нами разъвращена» (100). Но далее, под 987 г., посольство Владимира к «немцам» категорично подтвердило: «видехомъ въ храмех многи службы творяща, красоты не видехомъ никоея же».

Мотив эгоистической, некрасивой и алогичной распущенности «немцев» в вере был продолжен в летописи под 988 г. в большом, открыто полемическом поучении против «немцев»: «Не преимай же ученья от латынъ, ихъ ученье разъвращено. Влезъше бо въ церковь, не поклонятся иконамъ. Но стоя, поклонится и, поклонився, напишеть кресть на земли и целуєт. Въставъ, простъ станеть на немь нагами. Да легъ, целуеть, а вставъ, попирает. Сего бо апостоли не предаша. Предали бо сут апостоли крестъ поставленъ целоват и иконы предаша… Паки же и землю глаголють материю. Да еще имъ есть земля мати, то отець имъ есть небо. Искони бо створи Богъ небо, таже землю… Аще ли, по сих разуму, земля есть мати, то почто плюеете на матерь свою? Да семо ю лобъзаете и паки оскверняете? Сего же преже римляне не творяху, но исправляху на всех сборехъ, сходящеся от Рима и от всех престолъ… На 7-мь сборе… сходящеся исправляху веру. По семь же сборе Петръ Гугнивый со инеми шедъ в Римъ и престолъ въсхвативъ, и разъврати веру, отвергъся от престола Ярусалимска, и Олексаньдрьскаго, и Царяграда, и Онтиахийскаго. Възмутиша Италию всю, сеюще ученье свое разно. Ови бо попове, одиною женою оженивъся, служать, а друзии, до 7-ми женъ поимаюче, служать. Их же блюстися ученья. Пращають же грехи на дару, еже есть злее всего. Богъ да схранить тя от сего» (128, 130)[23].

Еще дважды в летописи можно заметить отражение мнения о склонности «немцев» к рациональным удобствам и выгодам (но уже не в делах веры) — в рассказе апостола Андрея, поразившем римлян («ты слышаще, дивляхуся»), о том, как моются новгородцы, «не мучими никим же, но сами ся мучать» (26), и в рассказе под 1075 г. о посольстве германского императора ко внуку Владимира Святославу Ярославовичу: «В се же лето придоша сли из немець къ Святославу. Святославъ же, величаяся, показа имъ богатьство свое. Они же, видевше бещисленое множьство, — злато, и сребро, и паволокы, — и реша: "Се ни въ что же есть. Се бо лежить мертво. Сего суть кметье луче. Мужи бо ся доищють и болше сего"» (210).

«Немцы» здесь выглядят уже не «дивлящимися», но умело расчетливыми. Они тем более расчетливы на фоне вроде бы аналогичных немецкому приговору рассуждений киевских князей. В летописном рассказе под 996 г. Владимир говорил: «Сребромь и златом не имам налести дружины, а дружиною налезу сребро и злато, яко же дедъ мой и отець мой доискася дружиною злата и сребра» (140). Владимир имел в виду ближних людей, за верность которых ничем невозможно расплатиться: «Бе бо Володимеръ любя дружину и с ними думая о строи земленем, и о ратехъ, и о уставе земленем» (140). «Немцы» же сухо рассчитывали на наемных ландскнехтов.

Под 1073 г. другой внук Владимира Изяслав Ярославович, подобно «немцам», открыто надеялся на наемников, но не смог обратить деньги в воинов: «Изяслав же иде в Ляхы со именьем многым, глаголя, яко "симь налезу вои", еже все взяша ляхове у него, показавше ему путь от себе» (196). «Немцы» же не выглядели такими незадачливыми. «Немецкий» недостаток постепенно стал переосмысливаться как достоинство.

Литературная манера летописных повествователей. Отношение к «немцам» не занимало летописцев. Оттого упоминания «немцев» в летописи были эпизодичны и не связаны друг с другом, а все прямые и косвенные оценки «немцам» содержались только в высказываниях летописных персонажей, совершенно отсутствуя в речи собственно летописцев.

Летописная статья под 987 г. продолжила рассказ о выборе веры киевским князем Владимиром Святославовичем, который известил бояр о том, что «приходиша немци. И ти хваляху законъ свой» (120). Приведенный отрывок находился уже в «Древнейшем киевском своде» 1039 г.[24]

Летописцы видели у народов не только недостатки, но и достоинства. Летопись упоминала о том, что «немцы» именно хвалили свой закон. Слово «хвалили» у летописца указывало не только на содержание речи «немцев», но и на красоту ее формы. Ведь греки тоже «хвалили» свой закон, и тут же в летописной статье пояснялись составные смысловые элементы понятия «хвалити»: это говорить много и «хитро», так что такую речь слушать «чюдно» и «любо». В других местах летописи обозначение «хвалити» тоже подразумевало красивую форму речи и сопровождалось примерами довольно больших изысканных похвал (под 969, 988, 1015, 1037 гг. и пр.). В том, как «немцы» хвалили свой закон, тоже можно убедиться по их речи, переданной летописцем под 986 г. Она довольно риторична.

Если посмотреть, какие относительно большие и, следовательно, ценимые речи иноземцев цитировались летописцами в «Повести временных лет», то это только речи греков и «немцев» («немецкие» речи — апостола Андрея из Рима во вступлении к летописи, моравского князя Ростислава и немецкого вассала Коцела под 898 г., римского папы под тем же 898 г., римского папы под 986 г.). Однако как примирить скептическое отношение летописцев к «немцам» со скрытым признанием «немецкой» речевой искусности? Дело не в греках или «немцах» самих по себе. Посланцы Владимира по странам искали красоту в богослужении, а летописцы — в христианских речах. Судя по статье под 986 г., булгары-магометане тоже говорили настолько неплохо, что Владимир их «послушаше сладко» (98). Однако по отношению к ним летописец не применил слова «хвалити», считая красивыми только христианские греческие и «немецкие» речи. Только в христианских речах летописцы отмечали красоту их содержания и формы, в том числе в христианских речах, звучавших на Руси (ср.: хотя апостолы не были на Руси, «но ученья ихъ, аки трубы, гласять» — 98, под 983 г. После крещения: «Събысться пророчество на Русьстей земли, глаголющее: “Во оны дни услышать глусии словеса книжная, и яснъ будеть языкъ гугнивых”… и Господь… хвалимъ от русьскых сыновъ, певаем въ Троици» — 134, 136, под 988 г. Глеб о Борисе: «Где суть словеса твоя, яже глагола къ мне… Ныне уже не услышю тихаго твоего наказанья» — 150, под 1015 г. Летописец о митрополите Иоанне: «хытръ книгамъ… речистъ же» — 218, под 1089 г. И пр.) «Немцы» были хороши лишь тем, что они христиане.

Тут подыскивается аналогия в памятнике, современном «Повести временных лет», — в **«Хождении» игумена Даниила** в Святую землю. В «Хождении» говорится о встречах игумена Даниила с крестоносцем Балдуином Фландрским, который был королем Иерусалимского королевства с 1100 до 1118 г. Даниил преимущественно в церковных стилистических и фразеологических традициях описал Балдуина, представив его, в сущности, церковником. В древнерусских памятниках того времени принято было изображать именно церковных деятелей, особенно монахов, как самозабвенно старательных людей, всегда с радостью, любовью и тщанием делающих все им положенное. С той же благостностью действовал у Даниила Балдуин: он «с радостью повеле»[25], он «призва… с любовию», он «познал… добре и люби», он «со тщанием и с любовию повеле» (106), «свещю держа с радостию великою» (110) и пр. Князья, мирские и вовсе не святые, обычно так не изображались, даже если речь шла об их участии в церковных церемониях.

Именно у церковных деятелей, включая монахов, памятники часто отмечали тихость, кротость, смирение. Например, Феодосий Печерский «имеаше бо съмерение и кротость велику» и учил других монахов «съмерену быти… и не величати ся»[26]. То же описал Даниил у Балдуина: «есть мужь благодетенъ, и смерен велми, и не гордить ни мала» (106), «стоитъ съ страхом и смирениемъ великим» (108). И это тоже было не типично для изображения древнерусских князей в литературе XI–XII вв.

Характернейшая черта святых, преподобных, блаженных — рыдания, слезы. Так, апостол Петр «источникы испустивъ от очию сльзьныя»[27]. То же, по словам

Даниила, делал Балдуин: «источници проливаются чюдно от очию его» (108). Древнерусские властвующие князья (не блаженные) обычно не слезливы в произведениях XI XII в.

С просьбой «Бога деля» в памятниках обращались обычно к церковникам или по поводу церковных дел: «Бога деля… сътвори молитву»[28]. Но именно так, словно к церковному деятелю, обращался во время аудиенции к Балдуину Даниил: «Да Бога деля… княже», «молю ти ся Бога деля…» (84, 106).

Именно церковному лицу кланяются до земли: «вься братия поклониша ся ему до земля» («Житие Феодосия Печерского», 99.1), поклонишеся ему до земля»[29], «поклониша ся ему до земля» («Синайский патерик», 122) и мн. др. Показательно, что так же отнесся Даниил к Балдуину: «поклонихся ему до земли» (106).

Обычно только о церковных лицах памятники сообщали, что стороны кланяются друг другу: «да ся поклоняете къжно друг къ другу» («Житие Феодосия Печерского», 99.1). Именно о взаимных благочестивых поклонах сообщил и Даниил, говоря о Балдуине: «поклонихомся ему вси, тогда и он поклонися» (108). Подобная деталь никогда не упоминалась по поводу других князей.

Наконец, всегда сугубо церковной в памятниках являлась сцена держания свечей в руках: во время переноса мощей Бориса и Глеба «предъидущем черноризцем, свеща держаще в рукахъ» («Повесть временных лет» под 1072 г., с. 194), при переносе мощей Феодосия Печерского «изыдоша же от града народи… свещи въ руках держаще» («Киево-Печерский патерик», 444), при новом переносе мощей Бориса и Глеба «черньцемъ упредъ идущимъ съ свещами»[30] и т. д. Такая же деталь упомянута Даниилом в заключительной сцене с присутствием Балдуина: «свещу… даша самому князю-тому в руце его. И ста княз-ет на месте своемъ, свещю держа…» (110). Ни один князь, кроме Балдуина, не представлен в подобном виде в памятниках XI XII вв.

Кроме того, церковные лица в памятниках, особенно монахи, показаны вполне доступными для людей. Даниил беспрепятственно посещал Балдуина, о чем запросто сообщал: «идохъ ко князю-тому», «и приидохом ко князю-тому» (84, 106, 108). Даниил с легкостью оказывался около Балдуина в самых разных ситуациях: «в тою месту ста обедати князь Балдвинъ с вои своими. Ту же и мы стахом с нимъ» (88); Балдуин «мне, худому, близь себе поити повеле» (108), «и ста княз-ет на месте своемъ… и от того вси свои свещи въжгохомъ, а от наших свещь вси людие вожгоша свои свещи» (110). Ср.: «…по рассказу Даниила выходит так, что он имел совершенно свободный доступ к королю… На самом деле в окружении Балдуина не было такой патриархальности и простоты»[31].

Почему Балдуин превратился у Даниила в наихристианнейшего государя? Ведь реальный Балдуин, славившийся огромным ростом и физической мощью, необычайной воинственностью и храбростью, большую часть времени проводил в войнах и в конце концов пал на поле брани. О его набожности ничего не известно[32]. Правда, хронист Вильгельм Тирский отметил, что по одеянию «Балдуин I… более

казался епископом, чем мирским лицом»[33]. Но Даниил охарактеризовал не одежду, а поведение Балдуина.

Дело, по-видимому, в том, что Даниил глазами церковника смотрел на Балдуина и на весь мир. Поэтому о походах Балдуина игумен упомянул очень глухо и только как о подспорье своему паломничеству. Поэтому о людях местных «отцах», а также о фрягах, корсарах, сарацинах и прочих «поганых» — Даниил упомянул тоже только с точки зрения того, насколько они помогают или мешают в паломничестве, церковном строительстве, монастырской жизни и пр. (ср. однотипные по содержанию упоминания о «фрягах»: «стоит Христос, сделанъ сребром, яко в мужа более, и то суть фрязи сделали», «есть ныне ту манастырь фряжьский, богат зело», «фрязи обновили место то суть и устроили добре» — 34, 86, 100 и мн. др.). Поэтому, наконец, у всех посещенных им мест Даниил описал только святыни, церковные достопримечательности, условия для церковного благополучия[34].

Повествование Даниила хотя и искренне, но вовсе не восторженно, постоянно толково, трезво, а иногда даже несколько скептично. Например, о латинской вечерне Даниил рассказал не без противопоставления православных и латинян: «начаша вечернюю пети на гробе горé попове правовернии… Латина же в велицем олтари начаша верещати свойскы» (110). Или: греческие «кандила вожгоша тогда, а фряжьская каньдила… ни едино же възгорсся» (106).

Даниил отметил: Балдуин «познал мя бяше добре» (106). Оценка «добре» — одна из самых частых в «Хождении». По Даниилу, все хорошо и прекрасно. Даже если дождь пошел: «дождь малъ… смочи ны добре» (110). «Ничто же зла не видехом на пути сем, но все добро показа нам Богъ видети очима своима» (104). Даниил предстает защищенным от опасностей, редкостно удачливым и благочестиво радостным паломником. «Хождение» написал и Балдуина обрисовал, пожалуй, самый поглощенный религиозным чувством, ублаготворенный и незатейливый автор в древнерусской литературе XI XII вв.

Всепоглощающий церковный взгляд на мир, и на князей тоже, был присущ ряду ранних, но не таких трепетных древнерусских авторов, начиная со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона. В «Поучении» же Владимира Мономаха, наиболее близком по времени к «Хождению» Даниила, были сформулированы общие идеи, близкие к смыслу и фразеологии Даниилова изображения Балдуина. Мономах призывал князей: «Епископы и попы и игумены… с любовью взимайте от них благословленье» (ср., как Балдуин «с любовию» обращался с игуменом); «паче всего гордости не имейте в сердци и въ уме» (ср. о Балдуине: «не гордить ни мала»); «боле же чтите гость… или солъ» (ср., как Балдуин почтил Даниила: «повеле поставити высоко» — 110); «и человека не минете, не привечавше, добро слово ему дадите (ср., как приветил Даниила Балдуин: «познал добре»); «победити… покаяньемъ, слезами и милостынею… а Бога деля не ленитеся» [35] (у Балдуина тоже проливаются слезы покаянно, и он все делает «со тщанием»); и пр.

В древнерусской литературе начала XII в. нет прямых аналогий уважению Даниила к латинянину Балдуину и к современному Иерусалиму. Однако можно

предположить, что подобную тему книжность того времени затрагивала. Так, возможно, не случайно «Киевская летопись» под 1110 г. вдруг вспомнила об Иерусалиме, о том, что ангел пригрозил Александру Македонскому смертью за намерение напасть на Иерусалим и повелел ему, напротив, поклониться до земли некоему тамошнему мужу: «…умьрьши, поне же помыслилъ еси взити въ Ерусалимъ, зло створити ереемъ Божьимъ и к людемъ его… Иди путемъ твоимъ к Иерусалиму, и узриши ту въ Ерусалими мужа… и борзо пади на лици своемь, и поклонися мужу тому, и все, еже речеть к тобе, створи»[36].

И действительно, в **«Киевской летописи»** под 1190 г. наталкиваемся прямо-таки на похвалу немцам в рассказе о третьем крестовом походе с участием императора Фридриха Барбароссы. Слух о походе дошел до киевского летописца в очень бедном виде, рассказ довольно невнятен, особенно в риторических отступлениях. По ним можно понять, что «немцев» и русских летописец в данный момент считал единым миром и этот мир называл «нашим», «нами», что подвиг немцев напомнил летописцу о единстве христианского мира. Ср.: «Не только отсутствует ненависть, предубеждение против немцев-католиков, конфессиональная вражда наоборот: немцы одинаковые с русскими христиане и борцы с богопротивным и агарянами: Барбароссу против агарян, как некогда Мономаха на половцев, побуждает идти ангел»[37]. См. в летописи под 1190 г.: «Проявилъ бо бяшеть ему… ангеломъ, веля ему ити» к «иноплеменьникомъ». И под 1111 г.: «Се бо ангелъ вложи въ сердце Володимеру Манамаху пустити братью свою на иноплеменникы» (268). Судя по летописи, значительные христианские деяния рассматривались летописцами как объединяющие мир. Например, возведение крупных храмов: к знаменитой церкви, построенной Андреем Боголюбским «иногда бо аче и гость приходилъ изь Царягорода и от инихъ странъ, изь Рускои земли, и аче латининъ, и до всего христьяньства, и до всее погани» (591, под 1175 г.).

Летописец с демонстративной экзальтацией относился к «немцам», на полном серьезе называл «немцев» мучениками, высказывался о них в том же сокрушенно-молитвенном тоне и в тех же выражениях, в каких в летописи говорилось о древних и о современных русских мучениках. Ср. в данной статье («мученици **святии, прольяша кровь свою… причте я ко избраньному своему стаду», «Богь** нашь **знамения прояви»**) и в статье под 1147 г. речь одного из князей: «…святии пророци апостоли съ мученикы венцашася и по Господе **крови своя прольяша**… причти мя **избраномъ твоемъ стаде… святии** правовернии цари **прольяша крови своя»** (350 351); затем над телом этого мученически убиенного князя **«Богь прояви** над ним **знамение** велико» (354). Те же выражения повторялись под 1175 г., в рассказе о мученическом убиении другого князя (588 589); под 1197 г., в предсмертной речи еще одного князя (704).

Необычное пристрастие летописца к «немцам» диктовалось религиозно-политическими соображениями, интересом летописца к мировой борьбе христиан с агарянами. В летописи просматривается сквозной сюжет. Если под 1110 г. летописец рассказал о запрете ангела обижать Иерусалим, то под 1187 г. летописец

сообщил о падении Иерусалима: «…во дни наша преда Господь градъ Ерусалимъ святы беззаконьнымъ темь агаряномъ. Да кто свесть умъ Господень, кто ли свесть таиная его створеная… Богу же тако попустившю гневъ свои… и святыню завета Господня плениша». Но тут же летописец твердо пообещал: «И ни по колицехъ леть, яко же исповедають царскыя книгы, опять возвратить Господь скрижали завета Господня во Иерусалимъ» (655 656). Через несколько лет это предсказание начало сбываться, и под 1190 г., продолжая эту тему в сходных же выражениях («преда место святыня своея», «богостудными тыми агаряны», «кто бо свесть умъ Господень и тайная его творения кто весть», «Богу же тако попустившу гневъ свои»), летописец заговорил о «немцах», сам удивляясь Господнему выбору.

3. Варяги

В первых датированных статьях «Повести временных лет» рассказывается о варягах-скандинавах и, возможно, отражается прямо не оговоренная летописцем группировка народов, в которой свое место занимали и варяги.

Словосочетание «варязи из заморья» можно рассматривать как кратчайшую их этническую характеристику, данную Нестором. У Нестора фраза, вероятно, выглядела так: «варязи, приходяще из заморья», и большинство летописей содержат ее, а в «Лаврентьевской летописи» она сокращена[38].

Упоминание о варягах под 859 г. имело естественное продолжение в тут же следующей летописной статье под 862 г.: «Имаху дань варязи, приходяще из заморья… Изъгнаша варяги за море и не даша имъ дани». Цельное (в «Своде Никона» 1073 г.?) повествование о варягах было затем разорвано маленьким отвлечением Нестора к хазарам и его вставкой «пустых» годов между 859 и 862 гг.

Первоначальный, цельный рассказ о варягах, по-видимому, велся летописцем по повествовательному шаблону, состоявшему примерно из трех частей: «Послали к варягам за море… и пришли варяги из заморья… и ушли варяги за море». Полностью такая последовательность изложения была соблюдена, например, в статье под 1024 г., упоминавшей варяжского князя Якуна: Ярослав «посла за море по варяги. И приде Якунъ с варяги… Якунъ иде за море» (161).

Шаблон легко варьировался и прерывался летописцами в зависимости от сюжета. Обычно использовались лишь его первые две части: «пославъ за море, приведе варягы» (144, под 1015 г.), «хотяше бежати за море… и приведоша варягы» (158, под 1018 г.), «бежа за море… приде Володимиръ съ варяги» (90, под 977 и 980 гг. Изложение прервано перечислением «пустых» годов). Иногда летописцам достаточно было только одной части шаблона: Игорь «посла по варяги многи за море» (58, под 941 г. Подразумевалось, что затем варяги и пришли), «Рогъволодъ пришелъ из заморья» (90, под 980 г. Подразумевалось, что он как-то был вызван).

Таким образом, статьи под 859 862 гг. содержали два эпизода о варягах: приходящих из заморья и затем изгнанных за море (вторая и третья части шаблона), приглашенных из-за моря и пришедших (первая и вторая части шаблона).

В указанном шаблоне отразилось и устойчивое представление летописца о варягах как о приморском или заморском народе. Ведь повторявшиеся высказывания о них неизменно упоминали море (замечания о местопребывании других народов и племен делались в тексте летописи, как правило, один раз, при первом их назывании). Встретившийся как-то редкий случай несоответствия привычному представлению сразу же был оговорен летописцем: «Бе же варягъ той пришел изъ Грекъ» (96, под 983 г. Тот варяг пришел из греческой земли. А не из-за Балтийского моря). Летописцам важно было отметить способ передвижения варягов или к варягам морское плавание. Это они поясняли выражениями «иде за море», « посла за море», «бежа за море», «пришли из заморья» и пр. «Заморскость» — специфическая особенность варягов сравнительно с остальными народами в летописи.

Другое же представление о варягах не так уникально. Указанные шаблоны изложения, означавшие быстроту передвижения, использовались в «Повести временных лет» только по отношению к народам кочевым или мигрирующим. Например, о печенегах летописцы много раз рассказывали в повторявшихся выражениях и по одинаковой схеме: 1) «придоша» 2) «сташа» или «оступиша» 3) «отъидоша» или «побегоша». Угры: «идоша» «придоша» — «находиша». Половцы: «придоша на Русскую землю» — «воююще по земли». В эту кочевую компанию попали и варяги, которых летописец прямо назвал «находниками» (36, под 862 г.). Варяги приходят из-за моря, как «половци, иже исходять от пустыне» (242, под 1096 г.). Сходство между варягами и кочевниками ощущалось только в находничестве извне. Однако это бросало тень на варягов в летописи.

Якун. В повествовании о борьбе за киевское княжение между сыновьями Владимира Крестителя Ярославом и Мстиславом под 1024 г. упомянут варяжский князь Якун, летописная характеристика которого остается двусмысленной: то ли он был слеп (если текст читать, как написано в списках: «и бе Я кунъ слепъ»), то ли был красив (если текст реконструировать: «и бе Якунъ сь лепъ»)[39]. Пока не удается найти бесспорные доводы в пользу одного из двух возможных прочтений, что побуждает внимательнее присмотреться к манере литературной работы летописца.

Имеющиеся данные делятся на несколько групп.

Исторических данных о Якуне — Акуне — Гаконе, упоминаемом также в «Эймундовой саге», нет[40].

Текстологические данные свидетельствуют как будто о слепоте Якуна. Слово «слепъ» стоит во всех важнейших списках «Повести временных лет»[41]. Однако можно предположить, что слово «слепъ» распространилось в результате очень давнего искажения; что в «Древнейшем киевском своде» 1039 г. стояло выражение «сь лепъ», но уже в «Своде Никона» 1073 г. оно заменилось словом «слепъ». Текстологически опровергнуть или подтвердить такое предположение нечем. Вопрос о слепоте или красоте Якуна на основе текстологии пока не разрешаем.

Фразеологические данные, пожалуй, позволяют отрицать прочтение «сь лепъ», потому что оно делает не совсем обычной форму всей фразы. Тут два довода. Во-первых, при таком прочтении указательное местоимение оказывается стоящим

после имени («Якунъ сь»), в то время как в тексте «Повести временных лет» указательные местоимения «сь», «сей» и пр., как правило, ставились перед именами личными. Однако есть и два исключения: «Георгиеви сему» (148, под 1015 г.), «Ярославъ же сей» (166, под 1037 г.). После нарицательных же существительных соответствующие местоимения встречались нередко. Так что этот довод нетверд.

Второй довод: слово «лепъ» не имеет пояснения, в то время как в тексте летописи обычно уточнялось, чем именно «лепъ», «добръ» или красив персонаж, — ростом, лицом, взором, душою[42]. Однако уточнение делалось не всегда. См., например, под 986 г.: «женъ красныхъ», «едину красну» (98), «отроча красно» (108). Так что не удается решительно отвергнуть прочтение «сь лепъ».

Более того. Напрашивается довод за прочтение «сь лепъ». Ведь фраза начинается с глагола: «Бе Якунъ сь…». А при таком глагольном начале определение, в том числе местоимение «сь», постоянно ставилось после определяемого слова: «Бяше отрокъ сь…» (148, под 1015 г.), «да були… крестъ сь» (260, под 1097 г.), «бе же варягъ той…» (96, под 983 г.), «бысть же князь ихъ…» (35, под 1061 г.) и пр. Однако не так уж редко определение находилось в препозиции: «И бе вся земля…» (106, под 986 г.), «бе же и другый старець…» (202, под 1074 г.), «бе же сей мужь…» (220, под 1089 г.), «быша си злая» (230, под 1093 г.) и т. д. Значит, и этот довод не срабатывает. Таким образом, фразеологические данные тоже не вносят ясности в вопрос о слепоте или красоте Якуна.

Данные контекста рассматриваемой летописной статьи можно толковать как косвенные указания на слепоту Якуна. Ведь сообщается, что на нем была маска («луда»), уместная для слепца[43]. Однако же опять: значение слова «луда» не ясно, оно могло означать и шлем, латы, плащ[44].

Другое контекстное указание: Ярослав с поля битвы «побеже съ Якуномъ». Почему он побежал с Якуном вместе? Обычно потерпевшие поражение бегут «разно», то есть врозь. Ярослав же бежал с Якуном, как можно предположить, потому что тот был слеп, а слепого необходимо было сопровождать. Сходная ситуация в летописи была обрисована только что, под 1015 г. Бежавший с поля битвы и разболевшийся Святополк не мог сам передвигаться, его несли на носилках. Поэтому он требовал от отроков: «Побегнете со мною». И рассказчик подчеркивал: «бегающе с нимь», «бежаху с нимь» (158). Некоторые другие упоминания совместного бегства в летописи тоже были значащими, хотя подразумевались не болезни, а иные неприятные обстоятельства в жизни действующих лиц. Например, под 977 г.: «побегьшю же Олегу с вои своими» в такой панике, что Олега эти воины спихнули с моста (88); под 1093 г.: «побеже и Володимеръ с Ростиславомъ» настолько спешно, что Ростислав утонул в реке рядом с Владимиром (230); под 1018 г.: «Ярославъ же убежа съ 4-ми мужи» — так поразительно мало осталось от его войска, что после ему пришлось набирать воинов заново (158). Однако иногда подобные словосочетания не означали ничего, кроме парности лиц: «Изяславу же со Всеволодомъ Кыеву побегшю» (184, под 1068 г.); «бежа Игоревичь Давыдъ с Володаремь Ростиславичемь» (216, под 1081 г.). Следовательно, нельзя с полной уверенностью

утверждать, что бегство Ярослава с Якуном было обусловлено слепотой Якуна. Контекстные данные не дают возможности сделать однозначный вывод.

Наконец, приходится учитывать соответствие той или иной характеристики Якуна типичным мотивам в летописи. Если Якун был слепым и носил маску, оттого имея зловещий вид, то такой облик варяжского пришельца перекликался с летописной обрисовкой неприятной или угрожающей внешности других пришельцев. Золотая маска делала Якуна похожим на идола, «кумира», а у идолов летопись обычно отмечала золотые или позолоченные части, либо их золотое тело (94, 106, 112, под 980 и 986 гг.).

Однако мотив красивого Якуна, одетого в золотой плащ, тоже находит соответствие в летописи. Красивыми летописцы называли и нерусских персонажей, употреблялось даже обозначение «бесовьская лепота» (192, под 1071 г.). Золотой наряд и вообще дорогая одежда оказывались знаком несчастья (см. комментарий к статье под 1015 г.). Конкуренция мотивов ничего не решает.

Итак, несмотря на обилие доводов, нельзя установить, какое чтение в летописи было первоначальным, был ли Якун красив или слеп. Удивляет равнодушие летописцев к двусмысленности этого изложения, хотя обычно летописцы были готовы давать нужные пояснения. Возможно, этот «текст намеренно был написан так, что допускал двойственное прочтение»[45].

Скорее всего, дело не в летописце. В данной летописной статье, очень компилятивной[46], составитель, сводивший источники, невольно отразил литературные особенности какого-то источника, содействовавшие яркости, но не строгой ясности повествования. Действительно, «слеп» и «сь лепъ» — это как бы игра слов. Что-то похожее на каламбуры и игру словами в тексте статьи встречается еще: «привезоша **жито** и тако **ожиша**», «нача **сечи** варяги, и бысть **сеча** силна»; «видев же Ярославъ, яко **побежаемъ** есть, **побеже** съ Якуномъ, княземь варяжьскым, и Якунъ ту **отбеже** луды златое» (162). Кроме того, слово «гроза» было употреблено в статье сразу в двух смыслах — «дождь, гроза» и «страх, борьба» («И бысть сеча силна, яко посветяше молонья, блещашеться оружье, и бе гроза велика и сеча силна и страшна». В другом месте летописи слово «гроза» употреблялось лишь в смысле «угроза, противостояние»: «стояче в грозе сей» — 228, под 1093 г.). На результаты только небрежности летописца при компилировании материалов все это как-то не похоже. Однако не ясно, каков был необычный своей словесной изощренностью источник летописца XI в.

4. Болгары

Сообщение «Повести временных лет» под 858 г. о походе византийского императора Михаила III на болгар и крещении болгарского царя Симеона позволяет поставить вопрос об отношении летописца к дунайским болгарам. Приведенное летописное сообщение Нестор составил на основании продолжения «Хроники» Георгия Амартола[47]. У Нестора опущены некоторые детали греческого изложения,

явно уничижавшие болгар, но тем не менее в древнерусском пересказе уничижительный оттенок получился даже насыщенней. Во фразе объединены три мотива, принижающие проигравшую сторону, — невозможность противостоять, смиренное прошение о чем-либо, покорность: «Болгаре… не могоша стати противу, креститися просиша и покоритися грекомъ» (34). Каждый из этих мотивов нередок в летописных рассказах о походах и сражениях, но вместе все три мотива были отнесены только к болгарам. Подобный штрих побуждает предположить, что древнерусский летописец низко ставил болгар.

Сходная сдержанная или скрытая уничижительность по отношению к болгарам заметна и в других рассказах о поражениях болгар, например, в летописной статье под 967 г., где в краткой фразе опять объединены три мотива — одоление болгар, взятие городов у болгар, вокняжение единого победителя у болгар: «одоле Святославъ болгаромъ, и взя городъ 80 по Дунаеви, и седе княжа ту…» (78). В отдельности эти мотивы постоянно встречаются в летописи, но вместе и оттого так веско — только о болгарах. Факт тоже мелкий, но подтверждающий предположение о низком статусе болгар у Нестора.

Поддается распознаванию уничижительный оттенок и в летописной статье под 902 г., где тоже объединены три мотива, направленные против болгар, — пленение болгар, их поражение и их бегство: «Угре… всю землю Болгарьску плениваху… и победиша болгары, яко одва Семионъ… убежа» (42). Этот отрывок летописец заимствовал из продолжения «Хроники» Георгия Амартола[48], притом полностью сохранил усилительно-уничижительные слова в адрес болгар: «всю землю», «одва убежа». Данное обстоятельство снова указывает на вовсе не положительное отношение Нестора к болгарам.

Та же уничижительность проглядывает в статье, вернее, фразе под 942 г., объединившей два мотива — поражение и смерть болгарского князя: «Симеонъ… побеженъ бысть хравати и умре» (58). Нестор так сократил свой главный источник — продолжение «Хроники» Георгия Амартола[49], что выделились и сгустились принижающие болгар мотивы. Сходная последовательность изложения была использована в летописи еще только по отношению к отъявленному злодею Святополку Окаянному: «одоле Ярославъ, а Святополкъ… испроверже зле животъ свой» (158, под 1019 г.).

Принижающий смысл в летописи имели сообщения не только о разгромленных болгарах, но и о болгарах-победителях. Например, в летописном вступлении Нестор рассказал о закреплении болгар на Дунае. Это сообщение представляет собой амальгаму фраз из разных источников[50]. В результате Нестор ничего хорошего не сказал о болгарах. Во-первых, он назвал их насильниками: «придоша… болгаре, и седоша по Дунаеви, и населници словеномъ быша» (28). Во-вторых, Нестор принизил значимость господства болгар, сразу сменив их другими завоевателями: «Посемь придоша угри белии и наследиша землю Словеньску».

Подобный способ преуменьшения значимости военных успехов некоторых народов быстрым вытеснением первоначальных насильников славян последующи-

ми Нестор неоднократно использовал в начальной части летописи. Например, по Нестору, не удалось господствовать волохам у славян: «Волохове прияша землю Словеньску. Посемъ же угри прогнаша волъхи и наследиша землю ту» (40, под 898 г.). Нестор сразу вывел славян из-под удара волохов: «Волхомъ бо нашедшемъ на словени на дунайския… насилящемъ имъ. Словени же ови, пришед ше, седоша на Висле» (24). Следы экспансии обров, по изложению Нестора, не замедлительно были стерты даже дважды: сначала «Богъ потреби я, помроша вси, и не остася ни единъ объринъ»; потом «по сихъ же придоша печенези» (30). Господство хазар, по Нестору, также подверглось неотвратимой смене: «си владеша, и после же самеми владеють… володеють бо козары руськии князи и до днешнего дне» (34). Наконец, в изложении Нестора, господствовавшие у словен варяги тоже быстро сменились, под 859 г. Нестор сообщил: «Имаху дань варязи изъ заморья… на словенехъ» и пр. И тут же, под 862 г. (а 860 и 861 гг. — пустые), объявил: «Изъгнаша варяги за море и не даша имъ дани», а на смену им пришли уже другие варяги, называемые русью: «пояша по собе всю русь и придоша» (34, 36). Так что болгары у Нестора выступали в ряду, так сказать, нехороших народов.

Нестор и прямо выразил свое отрицательное отношение к нападавшим болгарам. В статье под 929 г. об успешном походе Симеона на Царьград летописец вставил осудительные эпитеты, отсутствовавшие в его главном источнике: болгарский царь пришел «въ силе въ велице, в гордости» (56)[51]. Только к злейшим врагам летописец применял подобные выражения и эпитеты, — к печенегам («въ силе велице, бещислено множьство» — 78, под 968 г.; «с печенеги в силе тяжьце» — 198, под 1019 г.), к обрам («теломъ велици и умомь горди» — 30), к деревлянам («гордящеся» — 70, под 945 г.), к Святополку Окаянному («сего убийцю и гордаго» — 158, под 1019 г.), к дьяволу («его… гордымъ помысъломь» — 224, под 1091 г.). Болгары у Нестора опять вошли в нехороший ряд.

Не только в военных эпизодах проявились неблагоприятное отношение летописца к болгарам или сравнительно низкая оценка их значимости. Так, в рассказе о начале славянской грамоты под 898 г. Нестор перечислил славянские народы, обретшие грамоту, но при этом нарушил историческую последовательность овладения народов грамотой, поставив болгар после Руси: «Симъ бо первое преложены книги — мораве, — яже прозвася грамота словеньская, яже грамота есть в Руси и в болгарех дунайскихъ» (40). Как бы ни объяснять появление такой фразы, не очень складной, но бесспорно, что к болгарам Нестор отнесся не как к народу первостепенной культурной значимости.

В летописных политических перечислениях стран Болгария никогда не занимала первого места, начиная с первого же упоминания, когда Нестор назвал страны «по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска» (24), — на первом месте Венгрия. Показательно, что в договоре 971 г. с греками Болгария указана последней по важности. Святослав клялся грекам не нападать «на страну вашю… на ни власть Корсуньскую… ни на страну Болгарьску» (86).

Свое неблагоприятное или не очень уважительное отношение к болгарам лаконичный Нестор предпочитал выражать завуалированно или же бегло. Однако это отношение выражалось и более настойчиво, когда летописец упоминал об участии болгар в борьбе с Русью. Так, под 944 г. летописец рассказал о походе Игоря на греков, использовав сведения из «Жития Василия Нового»[52]. Но в «Житии» не сказано, какое именно сообщение о Руси болгары тайно послали к грекам, а летописец его привел: «болгаре послаша весть, глаголюще: “Идуть русь и наяли суть к собе печенеги”» (58). В летописи нередки упоминания о посылках просьб о помощи, когда, например, осажденной стороне удается переслать просьбу через вражеское кольцо. Однако послание болгар имело принципиально иной характер: болгары формально не участвовали в войне Руси с Византией, и, специально процитировав болгарское предупреждение грекам, летописец показал, что болгары сыграли роль шпионов, передавших стратегически важную информацию о составе войска Игоря и помогших грекам ускользнуть от поражения.

В той же шпионской функции болгары выступали у Нестора неоднократно. Под 941 г. летописец заявил, что «послаша болгаре весть ко царю, яко идуть русь на Царьградъ, скедий 10 тысящь» (58), снова было сказано, что болгарами послана грекам упреждающая стратегическая информация о величине русского войска в 10 тысяч кораблей. И вот что самое показательное: летописец взял сведения о 10 тысячах кораблей из продолжения «Хроники» Георгия Амартола[53]; но там сведения о русском войске сообщались в изложении от автора; Нестор же превратил болгар в передатчиков этих сведений и фактически сделал болгар шпионами; благодаря им греки смогли подготовиться и расправились с русским флотом.

Роковую роль, как показал Нестор в статье под 971 г., сыграли болгары в судьбе Святослава. Болгары у летописца опять выступили в качестве тайных информаторов о маршруте и состоянии русского войска и даже в роли провокаторов. Не даром Нестор раскрыл содержание болгарского послания: «послаша переяславци къ печенегомъ, глаголюще: “Се идеть вы Святославъ в Русь, вземъ именье много у грекъ и полонъ бещисленъ, съ маломъ дружины”» (88). Печенеги точно узнали, чем можно поживиться и что им делать, и смогли убить Святослава. В отрицательном отношении Нестора к болгарам, кажется, нельзя сомневаться.

Под тем же 971 г. летописец рассказал об открытой стычке болгар с Русью еще до гибели Святослава: «Приде Святославъ в Переяславець, и затворишася болгаре во граде, и излезоша болгаре на сечю противу Святославу» и т. д. (84). В летописи достаточно часты однообразные по трафарету и деталям рассказы о подобного рода стычках и о затворениях осажденной стороны в том или ином городе. В данном же рассказе летописец показал ожесточенную враждебность болгар русам, ибо упомянул о болгарской контрвылазке, а такой элемент повествовательной схемы Нестор вводил, говоря только об особо упрямых врагах («деревляне затворишася въ граде и боряхуся крепко изъ града» — 72, под 946 г.; «затворишася корсуняне въ граде... и боряхуся крепко изъ града» — 124, под 988 г.). Так что и тут летописец представил болгар в отрицательной роли.

Неблагоприятное отношение Нестора к болгарам, со всеми его оттенками, вероятно, объяснимо политическими причинами. Нестор составил «Повесть временных лет» во время полной зависимости Болгарии от Византии. Вполне естественно слились антивизантийские и антиболгарские настроения киевского летописца, перенесенные им на прошлое, на IX X вв.

5. Поляки

В статье под 1019 г. в «Повести временных лет» рассказывается о бесславной смерти Святополка Окаянного, первого князя-братоубийцы на Руси. Обозначение места его смерти «межю Ляхы и Чехы», вероятно, восходило к западнославянской поговорке «между чехы и ляхы», которая имела иносказательный смысл «Бог знает где», но была осмыслена летописцем как указание реальной местности[54].

В упоминании о «пустыне» между ляхами и чехами отразилось представление летописца о границах между странами. Пустыню между Польшей и Чехией летописец мыслил не единственной в своем роде. Пустыни еще назывались в летописи. Например, пустынями отделялась Мадиамская земля от Египта и от Красного моря (108, 110, под 986 г.); Етривская пустыня существовала «межю встокомь и севером» (242, под 1096 г.); некоторые запустелые, ставшие безлюдными места в Византии и на Руси напоминали пустыни (84, под 971 г.; 232, под 1093 г.). Кроме того, между Византией и Русью отмечались и «страшны места» (48, под 912 г.). Все это были области, пограничные между населенными землями. Летописцы не проводили линейных границ между землями, не руководствовались зримыми картографическими линиями, а вместо границ подразумевали промежуточное пространство между «точками», то есть ориентирами политическими, географическими или ландшафтными. Так обозначались переходы не только между странами, но и между раем и адом, владениями братьев, городом и пригородом и пр. Зачаток будущей категории линейной границы можно отметить у летописцев лишь при упоминании ими ограды («столпья») монастыря или ворот городской стены. Из сочинения Мефодия Патарского было заимствовано также упоминание о пограничных воротах в цепи гор, сомкнувшихся вокруг «нечистых» народов (под 1096 г.). И это все. Границу между Польшей и Чехией летописец просто не был в состоянии провести.

В конце «Повести временных лет», в статьях под 1103 и 1104 гг., содержится серия сообщений о выдаче древнерусских княжен замуж за иностранных правителей: дочерей киевского великого князя Святополка Изяславича (внука Ярослава Мудрого) за польского короля Болеслава III Кривоустого и за венгерского королевича Ладислава (сына Коломана), а дочери перемышльского князя Володаря Ростиславича (племянника Святополка) за византийского царевича Алексея (сына Иоанна Комнина).

Несмотря на краткость, в этих сообщениях скрыто все-таки отразились представления летописца о землях или странах, «не своих» для киевских персонажей. Судя по форме сообщений о княжнах, Польшу, Византию и Венгрию летописец

счел «не своими», отдаленными, не очень благоприятными для княжен странами. Поэтому он употребил выражения «ведена в Ляхи», «ведена в Угры», «ведена Цесарюгороду». Выражения «быть ведену куда-то», «вести куда-то» в летописи обычно означали «не свое» место, неприятное для насильственно или вынужденно ведомого: «на заколенье веденъ бысть», «въ плень ведени быша во Осурию», «ведоша на место краньево (лобное) и распяша», «ведяше… по пустыни» (110, 118, 110, под 986 г.), «ведоша в веже» (234, под 1093 г. Имелся в виду половецкий плен), «веде с собою» (158, под 1018 г. Имелся в виду польский плен).

Отразившееся в подобных выражениях (с глаголом «вести» или причастием «веден») представление летописцев о «не своих» землях содержало различные неотчетливые оттенки. «Не своя» земля для летописного персонажа — это, прежде всего, не родная область, не «отчина». Поэтому о переводе князя из Ростова в Новгород летописец выразился с некоторым неблагоприятным оттенком по отношению к как бы чужому Новгороду: «Новгородци же идоша Ростову по Мьстислава Володимерича и, поемше, ведоша им Новугороду» (238, под 1095 г.). «Не свое» место это не только не родное, но иногда и не приличествующее, умаляющее героя место. Ср., куда привели теребовльского князя: «ведоша и Белу городу, иже град малъ у Киева… и ведоша им в ыстобку малу» (252, под 1097 г.). «Не свое» место могло быть даже приятным, оставаясь до поры все-таки непривычным для персонажей. Ср.: «И придохомъ же въ Греки. И ведоша ны, иде же служать Богу своему. И не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли» (122, под 987 г.). Страны, куда были ведены древнерусские княжны, возможно, ощущались летописцем не только как «не свои», но и хуже как чуждые для киевских невест. Оттого он упомянул в летописи больше не упоминаемые титулы женихов из тех стран: «царевичь», «королевичь».

Польша в летописи постоянно представлялась «не своей» страной для древнерусских персонажей. Недаром о польском короле, бежавшем из Киева в Польшу, летописец высказался так: «И приде в свою землю. Святополкъ же нача княжити Киеве» (158, под 1018 г.). То есть Польша другая земля (выражение «в свою землю» не являлось шаблонной формулой). Для русских летописных персонажей Польша выставлялась подчеркнуто не родной страной. Ср.: «Святополкъ же бежа в Ляхы. Ярославъ же седе Кыеве на столе отьни и дедни» (156, под 1016 г.); «Ярополкъ же, оставивъ матерь свою и дружину… бежа в Ляхы» (216, под 1085 г.).

Польша, как «не своя» для персонажей земля не дает им возможности остановиться, отдохнуть, осесть, ни выжить. Ср.: «Святополкъ бежа… и пробежа Лядьскую землю… прибежа в пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже зле животъ свой» (158, под 1019 г. Ср. печенеги на Русской земле: «И побегоша печенези разно, и не ведяхуся, како бежати, и овии бегающе тоняху въ Сетомли, ине же въ инехъ рекахъ, а прокъ ихъ пробегоша и до сего дне» 164, под 1036 г. Торки на «не своей» земле: «пробегоша и до сего дне и помроша, бегающе» 176, под 1060 г.).

Наконец, Польша как «не своя» для русских земля вся необычно возбуждена, разрушительна, неблагополучна. Так, в Польше люди вдруг уничтожили церковь и власть (см. статью под 1030 г.) Ср. о неблагополучии у других народов: «нивъздержаньно» творят у себя соседние «при насъ ныне половци» — 32 ; иступленно «секуть гору, хотяще высечися» окруженные горами «сквернии языки, иже суть в горах полунощных» (242, 244, под 1096 г.). Летописцы удовлетворялись только мелкими литературными средствами выражения этой идеи.

Болеслав. В статье под 1018 г. рассказывается о произошедшем после смерти Владимира Святославовича захвате Киева польским королем Болеславом I Храбрым, который поддержал князя Святополка Владимировича Окаянного, боровшегося за власть со своим сводным братом князем Ярославом Владимировичем. Этот отрывок позволяет коснуться вопроса о делении людей на «своих» и «чужих» в «Повести временных лет».

Рассмотрим, в частности, как летописец (предшественник Нестора) отнесся к польскому королю Болеславу, внезапно пришедшему «с ляхы» из Польши. Летописный текст содержит выразительную характеристику короля: «черево толъстое», «великъ и тяжекъ». Хотя первая оценка, броская и грубая, высказана персонажем, а вторая, более общая и мягкая, принадлежит самому летописцу, но они поставлены вместе, вторая поясняет первую. Летописец был согласен с первой оценкой Болеслава и подчеркнул физическую ненормальность или необычность короля, который в действительности вряд ли был так уродлив или удивителен. Летописец, в сущности, отделил польского короля от нормальных людей, а неприятно необычный — значит, «чужой».

К характеристике Болеслава летописец добавил еще одну яркую деталь: король был настолько грузен, «яко и на кони не могы седети», то есть, как можно понять, не садился на коней вообще. Это тоже ненормально, тем более для короля. На самом деле Болеслав, конечно, ездил на коне, что невольно подтвердил летописец двумя-тремя строчками ниже («вседъ на конь»). Отлучив Болеслава от конской езды, летописец снова отлучил его от нормальных людей, подтолкнув в разряд «чужих».

В характеристике Болеслава присутствовала деталь, не столь бросающаяся в глаза, но существенная: «Да то ти прободемъ трескою». Королю угрожали позорящей смертью — не от меча, сабли, копья или стрелы, а от жерди, кола. Недаром Болеслав так оскорбился: его выключали из состава благородных воинов. Сам летописец понимал оскорбительность этой угрозы (назвав ее словом «укаряти»), однако по ее существу не возразил, допуская возможность перевода Болеслава в более неблагородный ряд.

Смысл данного места «Повести временных лет» помогают проверить его переписчики, которые в списках XV в. заменили непонятное слово «треска» словом «тростие»: «Да чрево твое толъстое прободемъ ти тростью»[55]. В результате, возможно, изменился смысл фразы. «Тростью» обычно оборонялись от вредных существ, нечистой силы и пр. Например, в «Успенском сборнике»: «Тръсть пагуба есть змиемъ» (349). В той же «Повести временных лет» «тростью» избавлялись от

нечистой силы в рассказе под 912 г. (54), стали Перуна «тети же зльемь», отделываясь от него, в рассказе под 988 г. (132). Так что Болеславу, словно нечистой силе, грозили воткнуть «трость» в брюхо. Хотя подобная ассоциация у переписчиков не была четкой, но показательно, что они даже чуть решительней отнесли польского короля к чуждым существам.

Отметим еще одну деталь в эпизоде с Болеславом. Воевода Будый как бы стоит напротив короля («сташа оба полъ рекы»), рассматривает его, притом неприязненно. Будый относится к Болеславу как к «чужому». Летописец, пожалуй, был солидарен с Будыем. В общем, летописец находился лишь на подступах к обрисовке необычного персонажа как «чужого».

Разные летописцы, участвовавшие в создании «Повести временных лет», тоже только приближались к резкому различению «чужих» персонажей от «своих». Способы характеристик аналогичны в рассказах: об обрах во вступительной части летописи, о печенежине под 992 г., о «детище» под 1065 г., о богах народа чуди под 1071 г., о митрополите Иоанне под 1089 г. Все это незваные пришельцы в той или иной мере: обры (авары) напали на славян, печенежин вместе с печенежским войском пришел на Русь тоже извне, митрополит Иоанн был приведен из Византии, неведомого «детища» (младенца) выловили со дна реки, чудские боги подымаются из «бездны».

Летописцы постоянно отмечали неприятную, необычную внешность нежданных пришельцев: обры — «теломъ велици и умомъ горди» (30), печенежин — «превеликъ зело и страшенъ» (138), «детищь» — «на лици ему срамнии удове» (178), чудские боги «суть же образом черни, крилаты, хвосты имуще» (192), о митрополите Иоанне, очевидно, очень изможденном, люди сказали: «Се навье пришелъ» (220. Это мертвец пришел. Как бы с того света).

К этим главным признакам «чуждости» пришельцев летописцы иногда добавляли замечания о неприязненном рассматривании их необычной внешности, очевидно, нормальными людьми: уродливого «детища... позоровахомъ до вечера... иного нелзе казати срама ради» (178. Младенца мы разглядывали до вечера... о прочем же и упомянуть стыдно); страхолюдного митрополита «видевше людье вси рекоша: "Се навье..."» (220. Все люди, видевшие его, обозвали его: «Это мертвец...»); хромого Ярослава рассмотрели, пока «стояша месяца 3 противу собе», и стали его «укаряти» (156. Стояли около трех месяцев друг против друга и стали его поносить).

Сравнительно редко указывалось на странный, чуждый нормальному образ жизни пришельцев: обры «не дадяше въпрячи коня, ни вола», но ездили на людях (30), чудские боги «живуть... в безднахъ», боятся креста (192), митрополит Иоанн — «скопьчина» (220. Скопец)...

Иногда в той же летописной статье добавлялась еще одна примета «чуждости» пришлых персонажей — их недостойный конец: обры — «Богъ потреби я, помроша вси, и не остася ни единъ объринъ» (30. Бог истребил их, все они перемерли, ни одного обрина не осталось в живых), страшный печенежин — удавлен славя-

нином, который «удави печенезина в руку до смерти» (138. Удавил печенежина до смерти своими руками), уродливый «детищ» — «пакы ввергоша им в воду» (178. Снова выбросили его в реку), пугающий худобой митрополит — «от года бо до года пребывъ, умре» (220. С год протянув, помер). Рассказ о Болеславе находился в ряду рассказов о неприятных — «чужих» пришельцах.

Признаки, по которым персонажей можно было отнести к «чужим», еще не составились у летописцев в четкую систему. Поэтому в некоторых рассказах они использовали далеко не все, иногда и не самые главные мотивы «чуждости». Например, в повествовании под 945 г. о древлянах, пришедших из своей деревлянской земли в Киев, и в повествовании под 1015 г. о туровском князе Святополке Окаянном, насильно вокняжившемся в Киеве, не сообщалось о дурной внешности этих пришельцев, однако говорилось об их странном поведении (деревляне объявили: «Не едемъ на конех» — 70. Святополк же совсем «не можаше седети на кони» — 158), а затем упоминалось об их позорной смерти (деревлян было велено «засыпати я живы, и посыпаша я» — 70. Засыпать их живыми, и полностью засыпали их. Святополк же «прибежа в пустыню... испроверже зле животъ свой» — 158. Прибежал в пустыню... мерзко испустил свой дух). Среди рассказов о чужаках рассказ о Болеславе содержит, пожалуй, самый полный набор соответствующих мотивов.

Однако характеристику Болеслава летописец закончил неожиданной похвалой: «Но бяше смысленъ» (156). Этот эпитет в «Повести временных лет» прилагался только к «своим». Болеслав не воспринимался летописцем как абсолютный чужак. Смысловой оттенок «свой» или «чужой» еще был расплывчатым и колеблющимся. В других рассказах летописцы учитывали вдруг отношение «чужого» персонажа к «нашему», и тогда, например, печенежин неприязненно разглядывал русского воина («узре й печенезинъ и посмеяся» — 138. Печенег увидел его и надсмеялся над ним). Нечетко оформившееся и неустойчивое, обозначенное как бы необязательными деталями деление людей на «своих» и «чужих» было типично для «Повести временных лет».

Наконец, под 1030 г. летописец сообщил о смерти Болеслава: «В се же время умре Болеславъ Великый в Лясехъ» (164). Приведенное сообщение — это пример краткого официального летописного известия, составленного по специфическим правилам, позволявшим летописцу скрыть свою малую информированность о событиях или малую заинтересованность ими. Польского короля Болеслава I Храброго летописец назвал «великим» вовсе не от великого уважения. Несколько раньше, под 1018 г., возможно, тот же предшественник Нестора саркастически записал, что Болеслав был «великъ и тяжекъ» (156). В прочих местах летописи прозвание «великий» прилагалось только к библейским и церковным лицам. В данном же случае летописец не намекал ни на рослость, ни на духовность польского короля, но просто повторил то, как его именовали другие люди, поляки: Болеслав был «великый в Лясехъ». Составители летописи употребляли лишь широко бытовавшие прозвища, что и оговаривали: «И прослу яко же великый Антоний... И уведанъ бысть всеми великый Антоний» (170, под 1051 г.); «си вси звахуться от грекъ Ве-

ликая Скуфь» (44, под 907 г. Ср. 30); «и прозваша Олга вещий» (46, под 907 г.); «Левонъ… иже Левъ прозвася» (40, под 887 г.); «Ивану, нарицаемому Цемьскию» (86, под 971 г.).

Упоминание летописца о последовавшем мятеже в Польше было шаблонным: с теми же деталями и в тех же выражениях летописцы рассказывали и о других мятежах и избиениях (ср. под 1024, 1071, 1093, 1097 гг.) Нет уверенности в том, что летописец считал смерть Болеслава причиной мятежа. Все лаконичное повествование о Польше составилось, по-видимому, методом формальной сводки двух несвязанных сообщений — о смерти Болеслава и о мятеже. Поэтому Польша получилась названной в соседних фразах по-разному: «в Лясехъ», «в земли Лядьске».

Как только киевские летописцы касались событий собственно в западноевропейских странах, летописное изложение становилось отрывочным, шаблонным, малосодержательным. Рассказывая о поляках, летописец в основном отделывался формулами и привычной фразеологией. Ср. другой рассказ о поляках, под 1069 г.: польский отряд пришел в Киев, и князь «распуща ляхы на покормъ. И избиваху ляхы отай. И възвратися в Ляхы Болеславъ, в землю свою» (186). Речь шла уже о другом польском короле — Болеславе II). Этот рассказ, в сущности, явился сокращенным повторением предыдущего эпизода под 1018 г. о приходе поляков в Киев: «И рече Болеславъ: "Разведете дружину мою по городомъ на покоръмъ". И бысть тако… Оканьный же Святополкъ рече: "Елико же ляховъ по городомъ, избивайте я". И избиша ляхы. Болеславъ же побеже ис Киева… и приде в свою землю» (158). Таким образом, сообщение под 1030 г. о Болеславе I Храбром на этот раз не дает возможности выявить авторское отношение летописца к польскому королю.

Бес в облике поляка. Под 1074 г. в летопись было вставлено большое повествование о жизни первых монахов Киево-Печерского монастыря. Тут упомянут поляк, он же бес, тоже связанный с представлениями летописца о «своих» и «чужих».

Описание беса, одетого под поляка, в приведенном отрывке вызывает целый ряд вопросов к отдельным деталям. Во-первых, не ясно, что такое «луда», — плащ или маска. Вряд ли это плащ, потому что тогда непонятно, зачем бесу надо было заходить в церковь именно в плаще и как по плащу старец сразу определил поляка. Скорее всего, имелась в виду маска, которой бес в церкви прикрыл свою образину, чтобы походить на человека. А на поляка он был похож своим костюмом, а не плащом.

Во-вторых, неясно, что такое «приполъ» и, соответственно, что обозначало выражение «в приполе». Если «приполъ» — это пола, то тогда непонятно, зачем цветки у беса были в двух, притом скрытых местах — под полой и за пазухой. «Приполъ» — это на самом деле, пожалуй, не сама пола, а место около полы, может быть, над полой, нижняя часть «лона», то есть талия. «В приполе» — на талии костюма.

В-третьих, неясно, о каких цветках шла речь — реальных или изображенных (неважно, подразумевался репей, шиповник, ясменник или иной цветок). Для ответа на вопрос обратим внимание на выражение «носяща в приполе». Глагол

«носити» в летописи имел отношение только к переноске тела человека или к ношению одеяний, украшений, знаков отличия. Ср.: «Ношаху сли печати злати, а гостье — сребрени» (62, под 945 г.); «багряницю… красно носяща» (152, под 1015 г.); «се язвено… носить Всеславъ и до сего дне на собе» (168, под 1044 г.); «носимъ на собе креста» (192, под 1071 г.) Таким образом, бес над полами, на талии своего одеяния носил цветок или цветки, — вышитые или пришитые изображения, которые и позволяли считать его одежду польской. Эту одежду, вероятно, украшали цветки, а не один цветок. Недаром в большинстве списков летописи сказано во множественном числе: «носяща в приполе цветки»[56]. Но, может быть, и один крупный цветок красовался над одной полой, тем более что в пояснении к этому украшению все списки употребили единственное число глагола: «еже глаголется лепокъ». Так или иначе, но бес извлекал из изображения цветка как бы настоящие цветок за цветком и бросал их в братию. Это волшебство, иллюзия. Далее в той же летописной статье приводились и другие примеры того, что бесы могут делать, «творяче в мечте» (208).

Самое интересное для нас в данном случае то, что летописец (вернее, автор сказания о киево-печерских монахах) подразумевал щеголеватость одежды как отличительную черту поляков. Это не случайно. Особенно красивые или дорогие наряды летопись обычно отмечала у чужаков — у грека («причинися въ святительские ризы» — 122, под 927 г.), у древлян, у венгра, у поляка и пр. Безобразно одетыми представлялись также чужаки — булгары: «въ храме… стояще бес пояса» (122, под 987 г.). О красоте или некрасивости одежды же «своих» персонажей сами летописцы не упоминали ничего (они лишь во вставленных повестях сохраняли авторские указания на практические отклонения от обыденной нормы в одеяниях мучеников). Поляк, в образе которого скрывался бес, один из самых ощутимо «не своих» персонажей в летописи.

6. Венгры

В искусно изложенном эпизоде под 1027 г. говорилось о сражении между внуками киевского князя Ярослава Владимировича — между Ярославом Святополковичем, на стороне которого выступило венгерское войско во главе с венгерским королем Коломаном, и Давыдом Игоревичем, на стороне которого был небольшой отряд половецких ханов Боняка и Алтунопы. Какого-либо личного отношения к венграм летописец не проявил.

В повествовании об этом сражении сделаны заимствования из разных устных источников[57]. Видно, насколько органично летопись усваивала все не «свое». Характеристика венгерского войска полностью соответствовала канону воинского рассказа в летописи, обычно осведомлявшего, каков был воинский строй сражавшихся, как нарушился этот строй, как побежали проигравшие битву, как их преследовали, как они погибали, сколько их погибло, кто именно был убит и пр. (ср. статьи под 1024, 1036, 1060, 1093, 1096, 1103, 1107 и др. гг.). Необычно только

конкретное уточнение: венгры построились рядами, шеренгами: «ис полчишася на заступы» (262). Но с венграми в летописи постоянно связывалось что-нибудь непривычное. Так что и эта деталь оказалась на своем месте.

Но совершенно необычна для «Повести временных лет» фраза с поэтическими сравнениями: «И сбиша угры акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице». Слова «мячь», «соколъ», «галица», названия каких-либо игр или игральных предметов больше не употреблялись в летописи, а птицы упоминались очень редко (голуби и воробьи — под 946 г., черный ворон — под 1074 г., птицы вообще — под 986 г. в «Речи философа», еще под 912 и 1065 гг. в выписках из «Хроники» Георгия Амартола). Сочетание двух сравнений подряд — «акы в мячь, яко се соколъ» — также было необычно для летописи (двойные сравнения в летописном тексте попадаются редко и только в церковно-риторических рассуждениях. В характеристике заслуг княгини Ольги: «аки деньница предъ солнцемь и аки зоря предъ светомъ» — 82, под 969 г. В цитате из Псалтыри: «яко коло, яко огнь» — 242, под 1096 г.).

И все же, при всей необычности указанной фразы с двумя сравнениями, она вписывалась в общее летописное изложение, потому что в повествовании под 1097 г. многократно (больше десяти раз) использовались сравнения, а во всей летописи нередко использовались сравнения с животными (хотя и не с птицами).

Но, самое главное, потому что необычность фразы, возможно, входила в летописные «правила игры». Дело в том, что в свои рассказы о нападениях, сражениях, осадах и иных военных событиях летописцы открыто или скрыто включали речи проигравшей, потерпевшей стороны, тоже подводившей итоги. В результате появлялись странные, уникальные оценки и детали в повествовании. Так, в статье под 907 г. об успешном походе Олега на Царьград летописец привел слова греков, своеобразно оправдывавших свое поражение: «Несть се Олегъ, но святый Дмитрей, посланъ на ны от Бога» (44). Святой Димитрий Солунский больше нигде не упоминался в летописи, и смысл ссылки на Димитрия нам уже не ясен. В этой статье как бы со слов греков летописцем был описан погром Царьграда — поэтому о греках говорилось сочувственно, а о Руси отрицательно, тон получился парадоксальный: Олег «много убийства сотвори около града грекомъ, и разбиша многы палаты, и пожгоша церкви. А их же имаху пленникы, овехъ посекаху, другиа же мучаху, иныя же растреляху, а другыя в море вметаху. И ина многа зла творяху русь грекомъ...» (44).

В прочих рассказах о сражениях греков и руси летописцы тоже использовали греческие источники и греческие речи, сочувственные по отношению к грекам, но отрицательные по отношению к руси, содержавшие редкие для летописи выражения. Например, под 988 г. после взятия Корсуня Владимиром греческие персонажи рассуждали между собой: «...Гречьскую землю избавишь от лютыя рати. Видиши ли, колько зла створиша русь грекомъ?» (126. Кстати, словосочетание «лютая рать» больше нигде не употреблялось в летописи). В составленной по византийским источникам статье под 941 г. о походе Игоря на Царьград войско руси выглядело злодейским: город «весь пожьгоша. Их же емше, овехъ растинаху;

другия, аки странь, поставляюще и стреляху въ ня; изимахуть, опаки руце съвязывахуть, гвозди железныи посреди главы въбивахуть имъ. Много же святыхъ церквий огневи предаша, манастыре и села пожьгоша…» (58). Сравнение «аки странь» и слово «странь» были употреблены только в этом месте летописи. Статью под 866 г. о походе Аскольда и Дира на греков летописец тоже почти целиком составил на основе греческих источников[58], откуда проник резко отрицательный эпитет по отношению к руси («безбожныхъ руси») и редкостные для летописи детали и выражения («буря въста», «волнамъ вельямъ въставшемъ засобь», «корабля смяте», «приверже» — 36, 38).

Таким образом, можно предположить, что в статье под 1097 г. вставленная летописцем необычная фраза «сбиша угры акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице» явилась отзвуком как бы из венгерских речей по поводу венгерского поражения. Однако этому предположению противоречит поэтическое принижение венгров в данной фразе, что вряд ли было свойственно даже устному венгерскому источнику.

Вероятнее всего, рассматриваемое высказывание о венграх восходило к половецкому эпосу (так считал М. Д. Приселков[59]). Но и в этом случае фраза вписывалась в летопись с ее изобразительными сравнениями, относившимися к различным народностям и людям: «яко же и всякий зверь» (30), «яко пси», «аки скотъ бессловесный» (32), «аки волкъ» (70, под 945 г.), «аки губа напаяема» (74, под 955 г.), «аки пардусъ» (78, под 964 г.), «аки луна в нощи» (82, под 969 г.), «акы зверье дивии» (148, под 1015 г.), «акы свинья в кале» (182, под 1068 г.), «яко мухы» (208, под 1074 г.) и др. Летописец с литературным профессионализмом, даже изысканно исполнил свое дело, но живого представления о венграх у него не было на этот раз.

Венгр Георгий. В летописной повести под 1015 г. о злодейском убийстве Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира Святославовича, действовал слуга Бориса, персонаж западного происхождения — венгр Георгий. Можно предполагать, что эту повесть создал сам составитель «Древнейшего Киевского свода», а сведения о Георгии он вставил из не дошедшего до нас «Жития Антония Печерского»[60].

Однако сведения о Георгии летописец изложил, вероятно, по-своему. Для него главным была, конечно, верность слуги князю, но характеристика этого слуги отразила и подспудное отношение летописца к Георгию как, так сказать, к неправильному человеку, с которым все происходило не по чину. Летописец только косвенно выразил неотчетливое ощущение отличия от «своих»: «чужие» — «неправильны».

«Неправильным» являлось положение Георгия, которое летописец подчеркнул: «Бе бо сей любимъ Борисомь… его же любляше повелику Борисъ». В летописи князья любили своих отцов и сыновей и пр., а не слуг. (Разве что под 986 г. в «Речи философа» пересказывалась библейская история о четырехлетнем Моисее, которого полюбил египетский фараон. Но Моисей был слишком мал, чтобы стать слугой и наперсником фараона, да и потом им не стал). Летописцу показалась не-

правомерной княжеская любовь к собственному слуге, да еще любовь «повелику». Интересно, что в «Сказании о Борисе и Глебе» более явно выражено неодобрение: «Бе любимъ Борисъмь паче меры»[61].

Выражение «любить кого-либо повелику» подразумевало и следствие — обильную материальную поддержку от любящего: «любяше дружину повелику, именья не щадяше, ни питья, ни еденья браняше» (164, под 1036 г.); «попы любяше повелику... и дая имъ от именья своего урокъ» (166, под 1037 г.) и пр. Летописец указал на странное, чрезмерное материальное внимание князя к своему слуге, украшенному гривной. «Неправильной» являлась и внешность Георгия: Борис «възложилъ на нь гривну злату велику. В ней же предъстояше пред нимь». Но ведь не княжеский слуга, а, наоборот, князь перед окружающими должен был красоваться в золотой гривне, да еще большой. Автору был знаком библейский мотив отличения героя золотой гривной (ср.: Бытие, гл. 41, стих 42: «И възложи гривну злату на выю его»; Книга пророка Даниила, гл. 5, стих 29: «И гривну златую възложиша на выю его»[62]). Но в Библии отличали вовсе не слуг и отсутствовал мотив их предстояния перед господином.

«Неправильной» была и дальнейшая судьба Георгия. Он погиб, пронзенный вместе с Борисом одним копьем: «падша на нем, прободоша с нимь». Слугам же положено было находиться на расстоянии от князя. С Георгия сорвали гривну: убийцы пытались с него «вборзе сняти гривны съ шие... и тако сняша гривну». Ведь так с уважаемым человеком обычно не расправлялись, — странная, отвратительная ситуация. У Георгия отсекли голову: «усекнуша главу его... а главу отвергоша прочь», — так свирепо в летописи не убивали, тело не расчленяли.

Наконец, тело убитого не смогли опознать: «после же не обретоша тела сего въ трупии», — заключительный непорядок, ибо опознание чьего-либо тела обычно не вызывало затруднений, даже среди множества трупов (см., например, под 977 г.). Логика рассказа вовсе не требовала упоминания о безрезультатных поисках тела Георгия (без этого упоминания изложение развивалось бы без перескока через события: убийцы пронзили Бориса и его слугу, у слуги отрубили голову и сняли гривну, Бориса же завернули в шатер и повезли на повозке). Вероятно, летописцу хотелось сообщить все известные ему детали необычной судьбы Георгия как персонажа все-таки «чужого».

Необычны были имя и происхождение Георгия: «родомъ сынъ угърескъ, именемь Георги». Когда надо было выделить происхождение человека или его имя, летописец употреблял пояснения «родом такой-то» и «именем такой-то», а не просто обозначал национальность и имя персонажа. Так он сделал и тут, обозначив двойную необычность персонажа, ибо конкретные венгры упоминались в летописи очень редко (еще дважды: король Стефан под 996 г. и король Коломан с епископом Купаном под 1097 г.), а имя Георгий относилось лишь еще к одному реальному человеку (к греку митрополиту под 1051, 1072, 1073 гг.). Венгров летописцы не раз связывали с необычными (не половецкими ли?) предметами обихода — с вежами

(под 898 г.), с серебром и особыми конями (под 969 г.), с игрой в мяч (под 1097 г.). Необычный значит, «чужой».

Украшенная или почетная одежда иноземцев ощущалась как зловещий признак. Она несла неудачи и несчастья тем, кто ее носил; деревлян е (а они «чужие») «в великихъ сустугахъ гордящеся» (величались в крупных застежках), были убиты (70, под 945 г.); варяг Якун, на котором была маска, отделанная золотом (или плащ), проиграл сражение и потерял свое украшение («луда бе у него золотом истъкана… отбеже луды златое» 162, под 1027 г.). На Георгия тоже была наложена тень чуждости и зловещести. Но не все оттенки здесь распоз наны нами.

Отношение к венграм как к неприятно необычному народу после «Повести временных лет» продолжилось в «Киевской летописи». В большой летописной повести под 1150 г. о борьбе князя Изяслава Мстиславовича за киевский престол упоминается о торжественном обеде, который князь устроил, войдя в Киев, на великокняжеском дворе, куда позвал, очевидно, представителей поддержавших его киевлян и десятитысячного отряда венгров.

Венгерский турнир киевский летописец обозначил как нечто необычное для киевлян и, вероятно, поэтому употребил довольно необычные слова: «фари», «скоки», «кметьство». Летописец сказал, что киевляне «дивяхутся» уграм, а слова «дивлятися», «дивитися», «дивно», «дивный» и пр. имели в летописи два противоположных смысловых оттенка. По отношению к церкви, к церковным зданиям, слова «дивитися» и пр. обозначали приятное удивление зрителей редкостной красотой. Соответственно под 1161 г. говорилось, что князь Андрей Боголюбский построил каменную церковь и «украси ю дивно»[63]; под 1175 г. описывалась другая построенная им каменная церковь, в которой «всимъ приходящимъ дивитися» (581). Во всех остальных случаях слова «дивитися», «дивно» и пр. означали неприятное удивление сторонних зрителей от зловещего или печального зрелища. Например, под 1151 г. рассказывалось о постройке князем Изяславом Мстиславовичем грозных военных судов: «Бе бо исхитрилъ Изяславъ лодьи дивно, беша бо в нихъ гребци невидимо, токмо весла видити, а человекъ бяшеть не видити» (423). Под 1153 г. говорилось о траурной церемонии: вошедший на княжеский двор и в княжеский дом увидел всех от слуг до князя в черном и «подивися, что се есть» (464). Под 1175 г. отмечалось, что злодейскому убийству Андрея Боголюбского «удивишася небеснии вои, видяще кровь проливаему за Христа» (585). Под 1161 г. княжеские мужи упрекали своего князя в смертельном риске: «Дивно есть, княже, оже… живота своего не блюдеши» (513 514). Под тем же годом сообщалось о зловещем знамении: «бысть знамение в луне страшно и дивно… изменяючи образы своя» и т. д. (516). Если летописец сказал, что киевляне «дивляхутся» венгерскому ристанию, то, думается, он имел в виду не умиленное, а отчужденно-настороженное удивление киевлян небывалому параду венгров, мощных союзников Изяслава.

Согласуется с такой ситуацией и характеристика обеда, на котором Изяслав, киевляне и венгры «пребыша у велице весельи», только в весельи, но не в любви. Обычно же любовь обязательно упоминалась в летописных сообщениях о княже-

ских обедах или съездах: «пребыша у велице весельи и у велице любви», «пребыша у велице любви и у велице весельи» (423, под 1151 г.; 441, под 1151 г.; 454, под 1152 г.), «пребыша в весельи велице и в любви мнозе», «в весельи мнозе и во любви велици» (682, под 1195 г.), «пребывше у весельи и у любви» (368, под 1148 г.) и мн. др. Отсутствие упоминания о любви не бывало случайным и указывало все-таки на отсутствие близких, доверительных отношений между сторонами. Например, пошел князь к новгородцам, с которыми «не добре живяху», оттого и про их общий обед сообщалось без упоминания любви: «бысть радость велика въ тъ день» (528, под 1168 г.). Другой княжеский обед с новгородцами тоже прошел без любви: «обедавше, веселишася радостью великою» (369, под 1148 г.). Как-то монахов позвал князь на обед, сдержанный, без проявлений любви: «позва манастыря вся на обедь и бысть с ними весель» (682, под 1195 г.). А с отрядом иноземцев обед, устроенный князем, прошел как бы совсем без добрых чувств: «позва… черннии клобупи вси, и ту попишася у него вси черннии клобупи» (там же). За год до своего обеда 1150 г. с венграми князь Изяслав Мстиславович дал обед венграм и полякам, только что пришедшим ему на помощь, но реально еще не помогшим, и в сообщении об этом обеде тоже не упоминалось про любовь: пришли к Изяславу во Владимир «угре в помочь и Болеславъ, лядьский князь, съ братомъ своимъ Индрихомъ съ многою силою. Изяславъ же позва я к собе на обедъ. И тако обедавше, быша весели» (386, под 1149 г.) Неупоминание любви в сообщении 1150 г. об обеде Изяслава и киевлян суграми, по-видимому, отразило еще отстраненное отношение к венграм.

Подтверждают такое отношение приводимые повсеместно под 1150 г. речи персонажей. Изяслав перед своей дружиной называл венгров гостями: «Уже ми толико доехати с гостьми, съ угры и с ляхы» (401). И венгры соглашались перед Изяславом: «Мы госте есме твои» (414). А дорогобужцы перед Изяславом отзывались о венграх еще определенее: «Се, княже, чюжеземьци угре с тобою» (410). В общем, сообщение об обеде под 1150 г. и вся повесть в целом засвительствовали несколько отчужденное отношение киевлян, войска Изяслава и самого Изяслава к венграм.

Возможно, автор повести, летописец, тоже без любви относился к венграм. Недаром в летописной повести было рассказано о ненадежности венгров, о том, как один из персонажей подкупил венгров, чтобы они не помогали Изяславу: «вда золото много и умьзди я, да быша воротили короля. И тако умолвиша короля пойти домови. Король же послуша ихъ» (406).

После того как венгры в конце концов реально поддержали Изяслава, отношение к ним, естественно, потеплело, и в 1151 1152 гг. обеды и встречи с венграми проходили уже «с любовью»: «пребыша у величи любви» (419), «обуястася с великою любовию» (447). Изяслав прочувствованно благодарил венгерского короля за помощь. Но, несмотря на это, отчужденное отношение к венграм сохранялось, и тот же Изяслав перед битвой с русскими, в присутствии союзного ему венгерского полка обратился к своей дружине, назвав тут же стоящих венгров чужими: «перед чюжими языкы дай ны Богъ честь свою взяти» (449, под 1152 г.).

Летописец тоже был настроен неблагоприятно и сообщил сведения, которые явно отрицательно характеризовали венгров: «угре же пьяни величахуся» и в решающий момент не помогли «лежахуть пьяни, яко мертви» (442, под 1151 г.). Сообщалось и еще об одной антикиевской попытке подкупа венгров (450, под 1152 г.). Так что отношение в Киеве (в том числе и летописцев) к венграм в середине XII в. было, что называется, сложным.

Далее в «Киевской летописи», под 1189 г., речь шла о борьбе за Галич. В 1188 г. галицкая знать прогнала галицкого князя Владимира Ярославовича, пригласив из Владимира другого князя — Романа Мстиславовича. Владимир уехал за помощью в Венгрию, приближавшиеся венгерские полки вынудили Романа бежать из Галича. В Галиче был посажен править венгерский королевич. Тогда галицкая знать позвала княжить Ростислава Берладничича из Смоленска. Но венгры убили Ростислава и в отместку стали бесчинствовать в Галиче.

Обращает внимание то, что для автора летописного повествования почти не было хороших персонажей, но все участники событий поступали плохо, своекорыстно. Венгры поступали плохо еще и до бесчинств: когда венгерский король въехал в Галич, то «не посади в немь Володимера… посади в нем сына своего Андрея. А Володимера поя с собою во Угры опять, нужею отима добытокъ, и всади его на столпъ и с женою его. Король же бе великъ грехъ створи» (661, под 1188 г.). Однако и русские персонажи оказались не лучше. Когда Владимир Ярославович княжил в Галиче, то был «любезнивъ питию многому, и думы не любяшеть с мужми своими, и поя у попа жену и постави собе жену», а также «где улюбивъ жену или чью дочерь, поимашеть насильем» (659 660, под 1188 г.). За то «насилье» его и прогнали, а он: «поимавъ злато и сребро много», отправился к венгерскому королю. Галичане тоже вели себя худо, «переступишеть хрестьное целование» (657, под 1187 г.), «восташа на князь свои» (660, под 1188 г.), «не бяхуть вси во одиои мысли», обещали поддержку Ростиславу Берладничичу, а потом большинство их перебежало к венграм. Как сказал Ростислав о галичанах: «суть ко мне крестъ целовало, ажь ловять головы моея. Да Богъ судить имъ и тотъ крестъ, его же ко мне целовале» (664, под 1189 г.). Однако затем предавшиеся венграм галичане снова захотели Ростислава. Вот отчего летописец упомянул «лесть галичькую». Роман Мстиславович также вел себя подло: будучи зятем Владимира Ярославовича, «слашеть без опаса к мужемь галичькимъ, подътыкая ихъ на князя своего, да быша его выгнале изъ отчины своея, а самаго быша прияли на княжение» (660, под 1188 г.). Роман передал княжение Владимиром своему брату («отнудь и кресть к нему целова: “Боле ми того не надобе Володимерь”» 661, под 1189 г.), но потом вопреки крестному целованию затребовал Владимир обратно. И т. д. и т. п.

Окружающий мир в изображении летописца жестко несправедлив, этически расшатан, летописец же все-таки был сторонником порядочности и порядка. Поэтому о Ростиславе Берладничиче, который верил крестному целованию галицких мужей и «не веды льсти ихъ», летописец рассказал более сочувственно: рыцарственный князь сильно пострадал и погиб, «причтеся к дедомъ своимъ и ко отцемь

своимъ» (665, под 1189 г.). Можно составить целый список этических правил, сторонниками которых выступали киевские летописцы.

Среди летописных персонажей, нарушающих порядок и обычаи, венгры были представлены летописцем как изобретательные и изощренные вредители. Они в Галиче «в божницахъ почаша кони ставляти и в ызбахъ». Они галицкого князя Владимира Ярославовича не просто заточили, а «всади его на столпъ и с женою его, столп в виде "веже каменое, ту бо держашеть им король и с попадьею его" и с двеима детятема, поставленъ бо бе ему шатеръ на вежи» (666, под 1190 г.). Ростислава Берладничича венгры злодейски уморили хитроумным способом: «приложивше зелье смертьное к ранамъ. И с того умре» (665, под 1189 г.). Необычная вредоносность венгров имела объяснение у летописца: «се иноплеменьници» (663, под 1189 г.), у них навыки другие, диковинные, особенно опасные.

Парциальность иностранцев в летописи. Западная тематика в «Повести временных лет» не отличалась ни разнообразием, ни глубиной. Летописцы охарактеризовали лишь несколько западных народов и стран: варягов, «немцев» и Рим, Польшу и поляков, Венгрию и венгров, Чехию (но не отдельных чехов). Преобладало следующее отношение летописцев к западным странам и людям: иноземцы — это «не свои». О «не своих» летописцы писали без особой внимательности, внешне сдержанно и даже равнодушно, нередко по мелочному фразеологическому шаблону, чаще — как о соседях, находящихся где-то извне, далеко, или как о неприятных пришельцах, вдруг появившихся на Руси. Иностранцы, с точки зрения летописцев, отличались различными отклонениями от русских жизненных норм и вызывали у летописцев скрытые скептические и осудительные чувства. Запад не был чем-то авторитетным для летописцев. Редкие явно положительные упоминания стран и иноземцев, как правило, восходили к западным источникам, использованным летописью.

Категория «не своих» в летописи не была представлена последовательно, развернуто и отчетливо. Одна из возможных причин этого заключалась в главенствующем мировосприятии составителей летописи, в том, что летописцы постоянно стремились не к укрупнению, а к умельчению людских группировок. Это видно уже по самому началу «Повести временных лет», где трех братьев, сыновей Ноя, Нестор представил разделенными («живяху кождо въ своей части» — 24), первоначально единый род людской — тоже разделенным («расъсея по всей земли» — 24), владения каждого из сыновей — разделенными на множество стран и народов, славян — тоже разделенными на много народностей и племен («разидошася по земле… И тако разидеся словеньский языкъ» — 24, 26), поляков — в свою очередь, разделенными на племена, и так разделены каждое племя («жившимъ особе» — 26, 30) и каждый род («живяху каждо съ своим родомъ и на своихъ местехъ» — 26, 28). И далее летописцы, называя тот или иной народ, на самом деле имели в виду только его отдельные части или отдельных представителей (например, «варяги» — отряд воинов, «немцы» — посольство и пр.). Обратным путем — от частей к цело-

му мысль летописцев не развивалась. Поэтому они почти совсем не употребляли обозначений, объединявших все человечество в единое целое. Неостановимое разрушение или исконное отсутствие крупных целых, к пониманию которых еще только предстояло прийти, отвлекало от проведения граней между «своими» и «не своими», «чужими».

Правда, вопреки обычной манере изложения, в летописи встречаются обозначения стран или народов без их дальнейшего дробления на умельчающиеся части. Но во всех подобных случаях на летописное изложение и словоупотребление влиял какой-либо инородный источник. Например, во вступлении к летописи летописец, перечислив племена, вдруг объединил их в единое целое: «Бе множьство ихъ. Седяху бо по Днестру оли до моря. Суть гради их и до сего дне. Да то ся зваху от грекъ Великая Скуфь» (30). Ясно, что тут не обошлось без греческого источника, а именно сочинения Епифания Кипрского[64]. Или, например, далее, под 898 г., неожиданно следовало заявление, объединявшее всех славян: «Бе единъ языкъ словенескъ» (40). Однако эта фраза в составе большого отрывка была внесена в летопись из западнославянского «Сказания о преложении книг на словенский язык»[65]. Еще пример сообщение летописи под 983 г.: «Иде Володимерь на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их» (96), — о ятвягах говорится как о недробимой цельности. Цельный взгляд на ятвягов заимствован из фольклорных преданий о войнах Владимира Святославича[66]. Под 1071 г. приведено пророчество, оперировавшее целыми странами: «яко… землямъ преступати на ина места, яко стати Гречьскы земли на Руской, а Рускей земли на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися» (188). Это цитировалось предсказание языческого волхва, то есть тоже фольклорный материал. И т. д.

Преобладал же в летописи рассыпанный или рассыпающийся мир, не панорама, а калейдоскоп. Пределом деления должен был стать отдельный, единичный человек, но и он в летописи распадался как бы на разных людей с резко различающимися, не сводимыми воедино качествами (например, апостол Андрей — на юге пророк, а на севере простак; угрин Георгий и счастливчик, и неудачник; Болеслав Польский и урод, и умен; и пр.[67]). Еще предстоит выяснить исторические причины восприятия мира в столь рассыпающемся виде киевскими летописцами конца XI начала XII вв. Быстрота конфессиональных, политических, экономических и прочих перемен, резкая нестабильность феодальной обстановки X XI вв., вероятно, способствовали формированию «умельчающегося» мировосприятия. Попытки же монументализации мира проявились в литературе позже, к концу XII в.

Примечания

[1] См.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2 / Статьи и комментарии Д. С. Лихачева. С. 107.

[2] ПЛДР. М., 1978. Т. 1 / Текст летописи подгот. О. В. Творогов. С. 22. Далее страницы указываются в скобках. Орфография всех памятников здесь и далее передается с упрощениями.

[3] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. Т. 4. М.; Л., 1940. С. 42 44, 72 73.

[4] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 44.

[5] Ветхозаветная цитата. См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1: Вводная часть. Текст. Примечания. С. 123.

[6] Из сочинения Мефодия Патарского. См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 92, 101 103.

[7] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 80 92.

[8] «Слово о Законе и Благодати» Илариона // ПЛДР. М., 1994. Т. 12 / Текст памятника подгот. А. М. Молдован. С. 59. Далее страницы указываются в скобках.

[9] *Попов А.* Библиографические материалы. VI. Слово на рождество Христово и Чтение на крещение Господне. (Древнеславянские памятники в сербском изводе XIV века) // ЧОИДР. М., 1880. Кн. 3. С. 166.

[10] *Климент Охридски.* Събрани съчинения. София, 1970. Т. 1. / Изд. подгот. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов. С. 301.

[11] *Попов А.* Указ. соч. С. 363.

[12] *Климент Охридски.* Събрани съчинения. София, 1973. Т. 3. / Изд. подгот. Ст. Ангелов и Хр. Кодов. С. 192.

[13] *Востоков А. Х.* Филологические наблюдения. СПб., 1865. С. 93.

[14] *Fedotov G. F.* The Russian Religius Mind. Cambridge (Mass.), 1946, p. 88 См.: *Поляков Л. В.* Метод символической экзегезы в «исторической теологии» Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 2. С. 65.

[15] *Соболевский А. И.* Чудо св. Климента, папы римского. Древнерусское «слово» (домонгольского периода) // ИОРЯС. СПб., 1901. Т. 6, кн. 1. С. 7, 8.

[16] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 147, 558, 638.

[17] *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 104, 381.

[18] Ср.: Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. / Подгот. А. Ф. Бычков. С. 83.

[19] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 150 151.

[20] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 83.

[21] Первое послание к коринфянам, Х. 31. Идентификацию см.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 104.

[22] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 133.

[23] Истолкование фразы «прощають же грехи на дару», то есть за мзду, см.: *Кириллин В. М.* Комментарий к «Слову о вере христианской и латинской» Феодосия Печерско го // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI XIV вв. М., 1996. С. 73 74.

[24] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 148 151, 560.

[25] ПЛДР. М., 1980 / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. С. 84. Далее страницы указываются в скобках.

[26] «Житие Феодосия Печерского» // Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 97, стб. 2; с. 99, стб. 1.

[27] «Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста // Успенский сборник. С. 314, стб. 2.

[28] «Синайский патерик» // ПЛДР. Т. 2 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1980. С. 124.

[29] «Киево-Печерский патерик» // ПЛДР. Т. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. С. 438.

[30] «Киевская летопись» под 1115 г. // ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 280.

[31] *Данилов В. В.* К характеристике «Хождения игумена Даниила» // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. 10. С. 94.

[32] См.: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., б. г. Т. 4. Стб. 834.

[33] *Данилов В. В.* Указ. соч. С. 94.

[34] Ср.: *Переверзев В. Ф.* Литература Древней Руси. М., 1971. С. 46: «герой "Хождения" обнаруживает себя путешественником узкого кругозора».

[35] ПЛДР. Т. 1 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. С. 398, 396, 400.

[36] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 263 264.

[37] *Панов В.* Комментарии. Киевская летопись // Древнерусские летописи. С. 363.

[38] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 233.

[39] См.: *Ламбин Н. П.* О слепоте Якуна и его златотканной луде // ЖМНП. СПб., 1858. Ч. 98, № 4 6, отделение 2. С. 74 76.

[40] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 371.

[41] См.: Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 144; «Ипатьевская летопись» // ПСРЛ. Т. 2. Стб. 135; «Софийская первая летопись» // ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 135.

[42] Эта неловкость изложения отмечена: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских рукописных сводах. С. 646.

[43] См.: *Карамзин Н. М.* История государства российского. М., 1988. Кн. 1, т. 1 4. Примечания ко второму тому, стб. 13 14, примечание 27.

[44] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 371; *Крымский А. Е.* Древнекиевский говор // ИОРЯС. СПб., 1906. Т. 11. Кн. 3. С. 396.

[45] *Данилевский И. Н.* Библеизмы «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1992. Сб. 3. С. 95.

[46] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 179, 223 225, 425.

[47] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 47 48.

[48] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 49.

[49] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 57.

[50] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 45, 85, 90.

[51] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 54.

[52] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 69 72.

[53] См.: *Шахматов А. А.* Указ. соч. С. 55.

[54] См.: *Ильин Н. Н.* Летописная статья 6523 года и ее источник: (Опыт анализа). М., 1957. С. 43 44, 138, 156 157.

[55] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 139.

[56] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 242.

[57] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 464.

[58] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 246 247.

[59] См.: Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С. 464.

[60] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 86 87, 92 93, 573.

[61] Успенский сборник. С. 48, стб. 2.

[62] Библия. Остог, 1581. Л. 20, стб. 1; л. 154, сб. 1. Благодарю Л. И. Щеголеву за указание этих параллелей.

[63] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 511. Далее столбцы указываются в скобках.

[64] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 80.

[65] *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 80 81; Повесть временных лет. Ч. 2 / Комментарии Д. С. Лихачева. С 256 257.

[66] См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 485.

[67] Об этом явлении «расщепления» героев летописного повествования см.: *Еремин И. П.* «Повесть временных лет» как памятник литературы; Он же. Литература Древней Руси: (этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 85 97.

ВИДЫ ОБРАЗНОСТИ
В «СКАЗАНИИ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ»

Речь идет об архаических смысловых образованиях, которые мы лишь условно называем художественной образностью, а занимаемся на самом деле авторской манерой описания различных явлений мира в «Сказании о Борисе и Глебе»[1].

Образы-тропы единичны, не развиты и даже как-то случайны в «Сказании», где гораздо чаще встречается иной вид образности, которую уже нельзя называть художественной. Это отрывки с более или менее выраженным изобразительным смыслом. Их только для краткости мы называем образами.

1. «Нагнетательная» образность

Древнерусские писатели XI XII вв. хорошо владели таким видом перечня, как нагнетание однородных качеств объекта изложения. Нагнетание служило не столько украшающей амплификацией, сколько изобразительным средством. Простейший случай — перечисление двух синонимов. Например, в «Сказании чудес Бориса и Глеба», примыкающем к «Сказанию о Борисе и Глебе» в «Успенском сборнике», рассказывалось о том, что один человек нечаянно наступил на могилу святых, от которой изошел огонь, и стали его ноги «опалене и ожьжене» (60.1). Сочетанием двух близких определений был создан образ заметной, но поверхностной, безболезненной, так сказать, предупреждающей пораненности ног персонажа, который, действительно, «искочивъ, начать поведати и нозе показывая своеи дружине». При отсутствии общепринятой классификации образов, тем более архаических, такой «малый» образ можно условно назвать «нагнетательным».

«Нагнетательные» смыслы были особенно часты в «Сказании о Борисе и Глебе». Каждое важное явление в «Сказании» представало подчеркнуто усиленным, а внешне — сдвоенным. Так, застигнутый несчастьями человек мог плакать двумя плачами одновременно: «Отъ двою плачю плачю ся и стеню, дъвою сетованию сетую и тужю. Увы мне, увы мне!» (51.1). Эти два «увы» Глеба не только по отдельности относились одно к умершему отцу, а другое к убитому брату, но в совокупности обозначили особенно горький плач, не в два, а во много раз сильнее

обычного плача, что и отметил сам автор: «Блаженыи възъпи плачь мь горькыимь и печалию сердечьною» (50.2 51.1). Соответственно особо циничный злодей Святополк усугубил свою страшную судьбу: «И тако обою животу лихованъ бысть и сьде… и тамо…» — и на земле, и на небе (54.2 55.1).

Чаще всего не счетом, а синонимичными повторами автор обозначал резкую усиленность качеств явлений[2]. Например, автор повторял: «Въ велице печали бяаше Володимиръ… и много печаляаше ся» (43.2) — очень глубокая печаль. Положительный герой пребывал «въ мънозе мысли… како предати ся на страсть, како пострадати» (47.1) — эта «страсть» была у него неизбывной. Отрицательный герой был полон усиленных гнусных желаний: «А азъ… къ болезни язву приложихъ, приложю къ безаконию убо безак(о)ние» (50.2). Характеристики героев постоянно составлялись из усиливающих сдвоений: положительные герои «земля Русьскыя забрала и утвьржение» (56.2), отрицательные «съветьникы всему злу и началникы всей неправьле» (46.1 2).

Даже о себе автор говорил в той же усилительно-сдваивающей манере. Например, о том, что он сугубо нерешителен: «ако похвалити не съвемъ или чьто рещи недоумею и не възмогу» (56.1). Нередко изложение велось сплошь в сдвоенных выражениях. Таков плач Бориса по умершем отце: «сияние и заре лица моего. Бъздро уности моее, наказание недоразумения моего… отче и господине мои. Къ кому прибегну, къ кому възьрю?.. Увы, мне, увы мне!.. Сердце ми горить, душа ми съмыслъ съмущаеть. И не вемь, къ кому обратитися и къ кому сию горькую печаль простерети» и т. д. (44.1 2) безграничное отчаяние.

Автор сдваивал уже сдвоенное. Вот отчего появлялись, в частности, тройные сочетания — оригинальное творчество автора, а не привычные устно-фольклорные или молитвенные формулы. Например, очень сильную печаль героя обозначали не два, а три элемента: «въ тузе и печали, удручьнъмь сердцьмь» (46.2) вероятно, потому что «туга и печаль» выступили как традиционное фразеологическое целое, к которому автор добавил уже им самим выбранное второе соответствие — «удрученное сердце».

Библейские сопоставления в «Сказании» тоже служили способом усиливающего удвоения: Святополк — это Каин, а Борис — Авель, Борис же со Глебом — это Иосиф и Вениамин и т. д. Сопоставительная часть изложения, в свою очередь, удваивалась и утраивалась: мучение Бориса подобно мужскому мучению Никиты и Вячеслава, оно подобно мучению и женскому, Варвары (47.1).

Усиливающие сдвоения распространялись на все произведение. Праведность Бориса повторялась в Глебе: они вдвоем — «меча обоюду остра» (56.2). Вместе с Борисом переживали горе окружающие его люди — всеохватывающая печаль. Борис умирал дважды, пока не умер окончательно — так мучился. Святополк совершил два убийства такой неистовый злодей.

Обилие и разнообразие «нагнетательных» смыслов в «Сказании» было беспрецедентным для древнерусской литературы XI — начала XII вв., включая переводную. Конкретные византийские аналогии такому насыщению пока неизвестны.

Его можно объяснить особенностью повествовательной манеры автора «Сказания», который изображал мир состоящим из отчетливых явлений с сильными и яркими признаками, а в этом деле у автора уже просматриваются литературные предшественники. Целая теория индивидуальности явлений мира по их качествам была изложена в «Шестодневе» Иоанна Экзарха: «Коемуждо качьство, по нему же знати будетъ, им же се от инехъ отлучаетъ» (72 об. 2, 73.1), «коеждо свое отдельно имать качьство, им же инехъ се отлучаетъ, и то коеждо, яко же иматъ, то по тому се познаваетъ: вода бо свое качьство, рекьше студьнство иматъ, а въздухъ влагу, огнь же — теплоту» (89.1). И еще приводились примеры разграниченности явлений мира как неписанный закон: «Колико зло есть, еже свои чинъ комуждо преступати и уставъные пределы без боязни миновати. Сие же уставы пределные видети есть, како ти бездушные вещи хранетъ. Море, буреми мутимо и надымающи се на суседу земль, е и пориваемо, песка се стыдить и на точныхъ пред елъ не рачитъ преступати... не писаныи законъ виле, пескомъ написанъ, и въспеть се възвращаетъ» (3 первого счета, стб. 1 2). Признаки каждого явления вечны: Бог «вложи же въ ты твори елико же велеаше състояти се летъ силу доволну. Сего цеща и земле пребываетъ, яко же в испръва створена. И море не худеетъ, ни увеличит се. И въздухъ, яко же испръва прие естество, тако же и с досели хранитъ» и т. п. (4 первого счета, стб. 1 2).

О том же кратко упоминал Иоанн Златоуст: «Нъ и небо, и земля, и море, и вьсе видимое и невидимое милостию Божиею бысть, и състоить ся, и хранить ся» («Слово в великий четверток», 339.1). Краткие и невразумительные рассуждения «О лици», то есть об индивидуальном, были включены в «Изборник» 1073 г.: «Лице же есть еже своими деиствы и своиствы явлено и отълучено отъ ед иноестьвьныихъ ему», «нерасекаемо еже собьство, рекьше лице нарекоша, собьство же и лице суштее чястью есть» (226 в, 228 а).

Из древнерусских писателей XI начала XII вв. по тому же поводу рассуждал Владимир Мономах в своем «Поучении»: «Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы твоея и твоихъ великыхъ чюдесъ и доброть, устроенныхъ на семь свете: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма, и светъ, и земля на водахъ положена, Господи, твоимъ промысломъ! Зверье розноличнии, и птицы, и рыбы украшено твоимъ промысломъ, Господи! И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ человека, како образи розноличнии въ человечьскыхъ лицихъ: аще и весь миръ совокупить, не вси въ одинъ образъ, но кый же своимъ лиць образомъ по Божии мудрости» (235 236)[3].

Однако эти философские размышления отнюдь не гарантировали изобразительности на практике. Судя по «Сказанию о Борисе и Глебе», широкая изобразительность была характерна для литературной манеры именно этого автора.

Стремление к изобразительности у автора выразилось в нетрадиционно частом употреблении слов «зрети», «узрети», «воззрети», «видети» в повествовании о персонажах, зрением которых все выхватывалось волнующе, конкретно, детально и резко: «узьрю ли си лице братьца моего» (44.2 45.1), «вижь течение

сльзъ моихъ» (52.2), «узьре… блистание оружия» (48.1), «видеша стълпъ огньнъ» (53.2–54.1), «зьря къ иконе» (47.2) и пр. Смотрели довольно долго: «Чьто стоите зьряще?» (48.2). Рассматривали друг друга взаимно: «И яко узьре я святыи… а они узьревъше» его (51.2). Впитывали впечатление зрением и слухом вместе: «оного съмерение видя и слыша» (49.2), «услыши гласъ мои и призьри и вижь приключьшая ся» (52.2). Думали через зрение: «Си видевъ блаженыи, разумевъ» (51.2), «вижь, Господи, и суди» (53.1). Сильные эмоции мешали отчетливому зрению, очи затуманивались слезами: «И възьревъ на небо съ сльзами» (48.2), «възьревъ къ нимъ умиленама очима и сльзами лице си умывая» (51.2).

Автор «Сказания» был склонен к изображению эмоций. Он разделял потрясение всех, кто услышал о трагедии Бориса и Глеба, и сам готов был плакать: «Къто бо не въсплачеть ся съмрьти тое пагубное, приводя предъ очи сердца своего?» (45.2), «къто бо не почюдить ся…?» (49.2), «съ сльзами припадающе молимъ ся» (57.2). Автор сам или устами своих героев отмечал постоянно, кто кого любит или ненавидит: «ненавидя мене» (49.1), «не любляаше его» (43.1), «любиимъ предъ лицьмь матере своея» (44.1). И как кто любит — то без пылкости, деловито: «приязньство имеете» (46.1), то тянется к добрым отношениям: «целованиа чаяяше оть нихъ прияти» (51.2), то чересчур проявляет благосклонность: «бе любимъ Борисъмь паче меры» (48.2). Автор благославлял подлинность чувства: «Тъкмо помощь… отъ нелицемерьныя любъве» (45.2). И сразу же разоблачал обманное предложение «любъвь имети»: злодей «льстьно, а не истину глаголя» (46.1). Самое горькое — когда герой не находил любовного отклика, и тогда долго передавались его жалобы: «И никто же не вънемлеть ми…» (52.2).

Автор всегда держал в поле зрения меняющиеся настроения действующих лиц — их печаль, горе, уныние, «сокрушение сердца», радость, утешенность, умиление, веселие, «омрачение», страх, трепет, зависть, «вознесени е сердцем», удивление, обиду и т. п. Их действия и раздумья изображались вместе с их чувствами «въ сердци». Каждый герой так страстно стремился к своей цели: Борис хотел «все престрадати любъве ради» (47.2), Святополк — «на братоубийство горяща» (46.1), «и на большая неистовя ся» (50.1), Ярослав — «не търпя сего зълаaго убииства» (54.1). Чувство даже мешало восприятию реальности: Глеб, радуясь встрече с людьми, не распознавал в них своих убийц, а Святополк от ужаса видел преследователей там, где их не было. Возможно, все это происходило в действительности, но автор «Сказания», пожалуй, первым в древнерусской литературе столь обильно и неравнодушно показал чувства героев. Причем взволнованные речи героев приводились в «Сказании» как бы полностью: такое обилие неостановимо длинных речей необычно для того времени. Они короче и суше даже в риторичном «Чтении о Борисе и Глебе».

Для автора «Сказания» была характерна также напряженность в изображении хода событий, увлеченность ими. Она толкала автора к незапланированным нарушениям строгой последовательности повествования, и он отвлекался к иным фактам, правда, поправляя себя тут же: «…инде съкажемъ. Ныне же несть время.

А о сихъ по ряду сице есть» (43.1), «нъ се остаану много глаголати, да не многописании въ забыть вълеземъ. Нъ о немь же начахъ си съкажемъ убо сице» (43.2). Герои «Сказания» в своих речах тоже вдруг забегали вперед и предвидели будущее: Борис — свою гибель, Святополк — свою неудачу. Но и эти перескоки прерывал или сам герой: «Темь же что реку или чьто сътворю?» (44.2), либо же автор: «Яко же и бысть, еже последи съкажемъ. Ныне же несть время, нъ на предълежащее възвратимъ ся» (50.2).

«Событийная» напряженность автора проявлялась еще и в нередком употреблении слова «абие» и ему подобных. «Абие» эмоционально означало не энергичность действий героев, а внезапность переломных состояний: «и абие узьре» (48.1), «и абие усъпе» (49.2), «нъ ту абие въниде въ сердце его сотона» (50.1), «и абие вьсемь весла от руку испадоша и вьси отъ страха омьртвеша» (51.2), «приспеша вънезапу» (51.1). Да и герои тоже мыслили события быстро наступающими: «мнехъ въбързе узьрети» (51.1), «повеле зарезати и въбързе» (53.1).

Автор, преувеличивая значительность событий, исключительно часто употреблял слово «все»: «всехъ милуя и вься набъдя» (45.2), «вьсю надежю свою на Господа положилъ есть» (46.1), «имыи въ руку вься воя отца моего и вься любимыя отцемь моимь» (49.1), «по вьсемъ сторонамъ и по вьсемъ землямъ преходяща, болезни вься и недуги отъгонита» (56.1), «а вы не о единомь бо граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и молитву въздаета, нъ о всей земли Русьскеи» (56.2–57.1). Ср., по наблюдению О. В. Творогова, «распространенный в средневековой литературе «максимализм»: если радостен, то обязательно «зело» или «вельми», если плач, то обычно «велик»[4].

Создатель «Сказания о Борисе и Глебе» оказался уникален напряженной изобразительностью своего повествования. В XII в. гораздо меньшей изобразительности добились те, кто писал под влиянием «Сказания». Например, автор «Повести об убиении Андрея Боголюбского», использовавший много выражений и повествовательную манеру «Сказания», лишь риторически удлинил перечни в своей «Повести», что привело к утрате образности. Так, в начале «Повести об убиении Андрея Боголюбского» рассказывалось о новопостроенной великолепной каменной церкви, и в этом одном из самых длинных описаний здания в непереводной древнерусской литературе XI–XII вв. была подчеркнута мысль о роскоши церкви: князь «удиви ю паче всихъ церквии», «удиви ю светлостью же, не како зрети», «яко и всимъ приходящимъ дивитися, и вси бо, видевше ю, не могуть сказати изрядныя красоты ея», «изъмечтана всею хытростью» и т. п. Обобщенно указана масса предметов, заполнивших собор: иконы, золото, каменье, жемчуг, цаты, сосуды, финифть, рипиды, кадила и пр. — все они многообразные, великие и бесценные. Затем обрисовано богатство внутреннего пространства: «издну церкви, от верха и до долу, и по стенамъ, и по столпомъ ковано золотомъ, и двери же и ободверье церкви златомъ же ковано, и бяшеть же и сене златомъ украшена от верха и до деисиса» (581–582). Однако образа не возникло, потому что детали не создавали зримого целого в логически построенном описании.

То же и с изображением эмоций. Чувства героев в «Повести об Андрее Боголюбском» названы такие же, как в «Сказании о Борисе и Глебе»: « скрушеномъ сердцемъ, и уздыханье от сердца износя, и слезы от очью испущая » (583), «трепещющи» (587) и пр. Но взволнованные речи и плачи героев уже коротки и передаются одной фразой: «И нача плакати над нимь Кузмище: “Господине мои, како еси не очютилъ… или како ся не домыслилъ…” — и тако плакася» (590). По сравнению со «Сказанием» в «Повести» больше выражено не непосредственных проявлений чувств, а несколько отстраненного удивления автора и персонажей: «всимъ приходящимъ дивитися» (581), «подобна быста удивлению» (582), даже ангелы «удивишася» (585). Эмоции в «Повести» холоднее и слабее, чем в «Сказании».

«Событийная» напряженность «Повести» тоже проявлялась по образцу «Сказания», но урезанно и ослабленно: однажды процитирован псалом (583), однажды перебито изложение («мы же на преднее възвратимся» — 593), однажды использована игра слов — узко в традициях «Сказания» («О, горе вамъ нечестивии, что уподобистеся Горясеру» — 587). Автор «Повести» все-таки уже больше рассуждал, а не изображал. Отсюда пословичные назидания: «Аще бо не напасть, то не венець. Аще ли не мука, то ни дарове» (584), «идеже законъ, ту и обидъ много» (592). Автор «Повести» находился лишь в тени «Сказания».

2. «Срединная» образность

Наряду с «нагнетательными» образами в «Сказании о Борисе и Глебе» были распространены также «малые» образы иного типа: каждый из них возникал в результате объединения автором двух взаимоисключающих качеств в описании объекта, но мыслимых как одновременные. В формальной логике столкновение противоположностей ведет к алогизму, в литературе же порождает некое «срединное» смысловое целое. Это видно на примере следующей мысли в «Сказании о Борисе и Глебе». Автор считал Бориса и Глеба людьми и одновременно ангелами: «Ангела ли ва нареку… человека ли ва именую?» На каждое отдельное из этих утверждений автор находил контрдоводы: Борис и Глеб — люди, но «паче всего человечьска ума преходита множьствъмь чюдесъ и посещениемь немощьныихъ»; Борис и Глеб — ангелы, «нъ плътьскы на земли пожила еста въ человечьстве». Автор испытывал недоумение и находил ответ в некоей «срединной» категории: «По истине несумьньне рещи възмогу: вы убо небесьная чловека еста, земльная ангела» (56.1–2) — полуангелы, полулюди.

Автор «Сказания» не сам открыл этот смысловой «кентавр», а скорее всего просто следовал традиции риторических похвал подвижникам. Сходные сочетания употреблялись в оригинальных и переводных житиях того времени, например, в «Житии Феодосия Печерского» Нестора: «Преподобьныи же отець нашь, иже по истине земльныи ангелъ и небесный человекъ» (88.2), в «Слове похвальном Кириллу и Мефодию»: «быста небесьная человека и земьная ангела» (207.1). Кирилл Туровский в «Сказании о черноризчстем чину» трезво пояснил: выражающиеся

так имеют в виду «не небесных аггел… но земных аггел, сиреч преподобных муж законодавець, иже в ветсемь и новем законе в телесней чистоте богоугодно послужиша; таковии бо человеци аггели нарицаются» (360).

«Срединный» образ в «Сказании о Борисе и Глебе» получался особенно эффектным, когда возникал на основе «нагнетательного» перечисления. Так, автор перечислил признаки роскошной жизни князей: «И багряница, и бря чины, сребро и золото, вина и медове, брашьна чьстьная, и быстрин кони, и домове красьнии и велиции, и имениа многа, и дани, и чьсти бещисльны, и гърдения яже о болярехъ своихъ» (45). И тут же автор заявил: «Уже все имъ акы не было николи же, вся съ нимь ищезоша, и несть помощи ни отъ кого же сихъ — ни отъ имения, ни отъ множьства рабъ, ни о(т) славы мира сего». Вот богатство есть, а вот его нет — получился «срединный» образ зыбкого, исчезающего богатства и быстро промелькнувшей богатой жизни, что автор определил, сославшись на слова Соломона: «Вьсе суета и суетие суетию були» (45.1–2).

Разумеется, многие детали этого образа были традиционными. Ср., например, облик богача в «Слове на упивающихся» Иоанна Златоуста: «иже трапезы наслаждьшагося многоснедны, и иже ризами одеяннаго брачинными, и раб множьство водящаго, и обходяща по торжищу» (1041). Традиционен был и прием изображения суетной человеческой жизни путем столкновения противоположных соседящих повествований: о чем-то наглядном, ощутимом и вдруг исчезнувшем. Ср. в «Слове о терпении» того же Иоанна Златоуста: вот есть живой величавый человек, «доброта» его лица, ясные очи, «лепые» власы, вознесенная шея и т. д.; и вдруг нет живого человека, лицо почернело, очи растеклись, власы отпали, шея сокрушилась, в «пьрсть бысть» — нарисован образ скоротечной жизни, «видимъ, чьто въ мале бываемъ» (447.1–448.1). Но в целом весь образ в «Сказании о Борисе и Глебе» — оригинальное творчество автора, хотя и в рамках архаической литературной традиции.

Нередко «срединный» образ не отличался отчетливостью. Так, автор «Сказания» как-то отметил, что Борис «плакаше ся съкрушенъмь сердцьмь, а душею радостьною гласъ испущааше» — горе и радость сталкивались одновременно. Сочетанием противоположностей обозначалось «срединное» состояние Бориса — утешенность: «тьчию утешааше ся» (46.2–47.1). Автор нечетко выразил этот образ: рассказ о чувствах Бориса сбивчив, противоположение чувств не подчеркнуто, обозначение «срединного» результата косвенно и находимо в тексте с трудом, на границе другого эпизода.

Многие «срединные» образы в «Сказании» были еще более неотчетливыми: настолько медленно, вяло связывались противоположности в единое целое и настолько незаметно проскальзывало авторское обозначение «срединного» результата, если оно вообще присутствовало. Вот автор с прискорбием объявил о мученической смерти Бориса: «И абие усъпе, предавъ душю свою въ руце Бога жива месяца иулия в 24 день» (49.2). Но через несколько строчек автор рассказывал о Борисе нечто противоположное: Борис оказался жив и «начатъ въскланяти святую

главу свою» (50.1). Благодаря противоречивости изложения зарождалось «срединное» по смыслу повествование автора о Борисе — не о мертвом и не о живом, а об умирающем. Образ очень слабый. Прямого авторского указания на «промежуточное» состояние героя нет, только косвенно оно подтверждено в начале данного эпизода, когда один из слуг обращается к Борису с таким предупреждением: «красота тела твоего увядаеть» (48.1–2) — показательно настоящее время глагола: тело «увядает», но еще не «увяло».

«Срединные» образы яснее ощущались там, где энергично сталкивались смыслы. Например, автор «Сказания» отметил, что Борис, горюя об умершем отце, «не могыи глаголати, въ сердци си начать сицевая вещати» (44.1). Привычно подразумевалось в литературе, в том числе и в «Сказании», то, что люди «вещают», «глаголят» вовне, к слушателям. Нетрадиционное же выражение «въ сердци вещати» оказывалось своего рода оксюмороном, создававшим «срединный» образ того, будто внутренняя речь Бориса напряженно рвется наружу. Этот смысловой оттенок, вероятно, ощущался автором. Поэтому длинная внутренняя речь Бориса была оформлена по правилам внешне произносимой речи, а в конце своего монолога Борис заговорил уже о внешнем выходе своих слов: «Къ кому обратити ся и къ кому сию горькую печаль простерети».

Большинство «срединных» смыслов все же являлись мимолетными для автора, их наличие не всегда доказуемо. Например, в «Сказании» были упомянуты гребцы в «лодье»: «И абие вьсемъ весла от руку испадоша, и вьси от страха омьртвеша» (51.2) — явная противоположность обычной ассоциации о гребцах, оживленно и дружно двигающих руками и веслами. Образ в «Сказании» получился «срединный»: гребцы не двигались, но не умерли, а всего лишь «омьртвеша», то есть были полны внутреннего напряжения. Однако автор ничем не пояснил, действительно ли он вкладывал оттенок напряженной застылости в изображение гребцов. Образ, кстати, традиционный. Ср. Евангелие от Матфея, гл. 28: «От страха же его сотрясошася стрегущеи и бышя яко мерътви» (16 об., 1); «Житие Николы Мирликийского»: «яко и веслам испасти из рукъ», «страх я великъ объять, и от страха падоша корабленицы» (225 об., 226).

Насыщенность «Сказания о Борисе и Глебе» экспрессивными, но несколько однообразными «нагнетательными» и «срединными» смыслами, по-видимому, относилась к одному из проявлений древнерусской архаической повествовательной манеры в XI–XII вв.

Примечания

[1] Цитируемые далее в этом разделе произведения: Библия // Библия. Острог. 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Житие Николая Мирликийского» // Житие Николая Чудотворца. М., 1643. Указываются листы издания; «Житие Феодосия Печерского» Нестора // Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. Указываются страницы и столбцы издания; «Изборник» 1073 г. //

Изборник Святослава 1073 г.: Факсимильное изд. М., 1983. Указываются листы издания; «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» // ПСРЛ. Т. 2. Указываются столбцы издания; «Поучение» Владимира Мономаха // Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897; «Сказание о Борисе и Глебе» // Успенский сборник; «Сказание о черноризчстем чину» Кирилла Туровского // *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12; «Сказание чудес Бориса и Глеба» // Успенский сборник; «Слово в великий четверток» Иоанна Златоуста // Успенский сборник; «Слово на упивающихся» Иоанна Златоуста // ВМЧ. Сентябрь, 14 24; «Слово о терпении» Иоанна Златоуста // Успенский сборник; «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» // Успенский сборник; «Шестоднев» Иоанна Экзарха // Шестоднев, составленный Иоанном ексархом болгарским: По харатейному списку Московской синодальной библиотеки 1263 года. Слово в слово и буква в букву / Изд. подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 3. Указываются листы и столбцы издания. Памятники цитируются с упрощением орфографии.

[2] Ср.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 169 175; *Фрейданк Д.* Повторы и их функции в Чтении о Борисе и Глебе // Проблемы изучения культурного наследия. М, 1985. С. 57 64.

[3] О «Шестодневе» Иоанна Экзарха и «Поучении» Владимира Мономаха см.: *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 137 139. Ср. также: «…основная идея “Шестоднева” восхищение разнообразием мира, неповторимостью отдельных его объектов, их многочисленностью» (Там же. С. 228).

[4] *Творогов О. В.* Стилистические особенности романа об Александре Македонском // Александрия: Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. М.; Л., 1965. С. 173.

«АРХАИЗИРУЮЩЕЕ» ПОВЕСТВОВАНИЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Литературное творчество древнерусских писателей развивалось вовсе не по прямой линии, новый стиль — на смену старому стилю, и примером может служить «Слово о полку Игореве», автор которого в первой же фразе своего произведения предупредил, что будет повествовать именно «старыми словесы», и это обещание сдержал. В приверженности автора «старым словесам» можно убедиться на примере фразеологических параллелей к «Слову» из других памятников. В данной работе ограничимся только тремя параллелями, из которых литературная ориентация автора «Слова» определяется достаточно явственно.

1. «Железныи папорзи»

На предположение об «архаизирующей» ориентации «Слова» наводит темное место в обращении к князьям: «А ты, буи Романе и Мстиславле!... Суть бо у ваю железный папорзи подъ шеломы латинскими. Теми тресну земля»[1]. К непонятному слову «папорзи» подыскиваются две основные параллели — «поворозa» и «паперси»[2]. Первой рассмотрим параллель «поворозa» — из летописной повести под 1216 г. о битве новгородцев с суздальцами на реке Липице; в тексте поздней версии повести по «Новгородской Карамзинской летописи» сообщается о князе Мстиславе Удалом: «бе бо у него топоръ с *поворозою* на руце, и сечаше темь»[3]. Слова «папорзи» и «поворозa» кажутся близкими по созвучию, тем более что в «Московско-Академической летописи», содержащей тот же поздний текст о Липицкой битве, слово «поворозa» написано еще ближе орфографически к слову «папорзи»: «бе бо у него топоръ с *паворозою* на руце»[4].

О связи «поворозы» с «папорзи» свидетельствуют также неоднократные, но до сих пор не отмеченные случаи фразеологического сходства поздней версии повести о Липицкой битве со «Словом о полку Игореве», причем большинство параллелей встречается в том самом отрывке повести, где упомянуты «поворозы». Перечислим их по ходу летописного изложения.

1) Повесть: *«А забудем, братье,* домы, жены и дети» (122); «Слово»: «дорога, *братие, забыв* чти, и живота… и отня злата стола, и своя милыя хоти…» (48), — совпадают слова «забыти» и «братие», перекликаются синонимичные слова «домы» и «живот», «жены» и «хоть», а, возможно, также «честь» и «отний стол».

2) Повесть: «А коли любо умирати»; «Слово»: «хощю главу свою приложити» (44), — тут, правда, лишь смысловое сходство выражений «любо умирати» и «хощю главу приложити».

3) Повесть: «ссед с *коней… боси поскочиша…* полезше же с *конь,* тако же поидоша *боси,* завиваючи ноги»; «Слово»: *«поскочи* горнастаемъ... въвръжеся на бръзъ комонь и *скочи* с него *босымъ* влъкомъ… избивая гуси и лебеди» (55), — совпадают слова «поскочити» и «босый» (а «босость» — очень редкий мотив); перекликаются по смыслу «ссести с коней» и «скочити с коня»; наконец, созвучны слова «завивати» и «избивати» (в повести первоначально, вероятно, было более разумное: «боси забиваючи ноги», а не искаженное «завиваючи»).

4) Повесть: «побежени же бывше *полкы силнии*»; «Слово»: «бяшеть притрепалъ своими *сильными плъкы»* (50), — совпадает словосочетание «сильные полки», синонимичны слова «победити» и «притрепати».

5) Повесть: «се бо слава ею и хвала *погыбе»;* «Слово»: «усобица княземъ на поганыя *погыбе»* (49), — совпадает слово «погыбе» в приложении к абстрактным понятиям.

Возможные переклички со «Словом» встречаются и перед рассматриваемым отрывком из летописной повести.

1) Повесть: *«Одинъ* есмы *брат* съ Ярославом» (116); «Слово»: *«одинъ братъ,* одинъ светъ светлыи — ты, Игорю» (46).

2) Повесть: «стояша за *щиты* всю нощь, *кликоша* бо въ всех полцех» (120); «Слово»: «дети бесови *кликомъ* поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными *щиты»* (47).

3) «Повесть: «и *бишясь* ти *день* и до вечера» (120); «Слово»: *«бишася день,* бишася другыи, третьяго дни къ полуднию…» (49).

Какой же конкретно была связь летописной повести со «Словом о полку Игореве» и соответственно слов «повороза» и «папорзи»? Фразеологическое сходство со «Словом» отсутствовало в самой ранней версии повести, находящейся в «Новгородской первой летописи» обоих изводов, а появилось оно только в более поздней версии летописной повести, восходящей к летописному своду начала или середины XV в. и дошедшей в нескольких летописях XV в.[5], среди которых, кстати говоря, текст поздней версии повести в «Новгородской Хронографической летописи» конца XV в. в результате симптоматичной описки, навеянной «Словом о полку Игореве», вдруг ни к селу ни к городу упоминает даже половцев[6]. Таким образом, по крайней мере, не позднее начала или середины XV в. на летописную повесть о Липицкой битве как-то повлияло «Слово»; но, добавим, не обязательно само «Слово», а, возможно, исчезнувшая его переработка, предшествовавшая «Задонщине». Однако так или иначе, но вывод о параллели «папорзи — повороза» ясен: слово

«поворозa» в поздней версии летописной повести действительно коррелирует со словом «папорзи» в «Слове о полку Игореве» и оправдывает исправление в тексте «Слова» искаженного написания «папорзи» на правильное «паворзи» или «паворози», что было предложено еще Д. Дубенским, а затем Ю. М. Лотманом, правда, на основании палеографических соображений [7].

Итак, уже можно попытаться осмыслить, что такое «папорзи — паворзи». Судя по параллели из летописной повести о Липицкой битве, «папорза», вероятнее всего, означала нечто вроде петли из ленты или ремня: с ремнем-поворозою на руке был топор у князя во время сечи[8]. Значит, некие ремни или полосы означали «папорзи — паворзи» и в «Слове о полку Игореве».

Теперь есть основания обратиться к семантике словосочетаний в «Слове». Смысл словосочетания «железные папорзи» был уже переносный — имелись в виду ремни особого рода или даже вовсе не ремни, а железные полоски или ободки, либо опоясывающие ряды железных нагрудников у воинов, когда цельной кирасы еще не изготовляли. Раз «папорзями» обозначается совсем другой предмет — нагрудники, то, следовательно, перед нами не изобразительная метафора, но и не символ, а иносказание, обозначение одного предмета через другой предмет, то есть метонимия.

Такое толкование данного словосочетания наводит на предположение об одной из семантических особенностей «Слова», в котором сочетание необычного эпитета с существительным нередко являлось иносказанием: «опуташа въ путины железны» (50), — железные путины — это не обычные путы, которыми опутывают, а что-то, напоминающее цепи или гибкую проволоку[9]; «на Немизе… молотять чепи харалужными» (54), — ясно, что харалужные цепи — это в данном случае не цепи, а мечи, которыми «веютъ душу отъ тела»; «зелену паполому постла» (48) — имеется в виду не только зеленая паполома — покрывало, а трава в роли савана; и т. д. — можно умножить примеры предметных иносказаний в «Слове».

После первой параллели «папорзи — паворзи», перейдем к рассмотрению второй параллели к «папорзям», которая обнаружена В. Н. Перетцом в «Хронике» Георгия Амартола, где в одном из рассказов говорится, как византийский цесарь заботился о сохранности «предивнаго и единокаменьнаго столпа… на красоту же ему и на лепоту медяны обручи прекова и мнози поперсьци» [10]. Параллель здесь та, что «папорзи» и «поперсьци» являются словами хотя и разными, но созвучными и одновременно сходными по смыслу, ведь «папорзи», «паворзи» и «поперсьци» означали примерно одно и то же: ремни или пояса, очевидно, нагрудные металлические[11]. Недаром вслед за Ф. И. Буслаевым В. Н. Перетц склонялся именно к поправке «паперси» вместо испорченного «папорзи» в тексте «Слова», правда, предложил «паперси» со значением «латы» [12].

Вторая параллель позволяет высказать еще одно предположение о семантике авторских высказываний в «Слове о полку Игореве». Кажется, не так уж и важно, какие именно из созвучных слов первоначально стояли в тексте памятника, потому что не терминологическое, а переносное значение всей фразы было здесь самым

главным: «Суть бо у ваю железныи папорзи (паворзи, паперси) подъ шеломы латинскими» иносказательно означало сплошную закованность головы и тела воинов (а, возможно, и коней) в железо. Этот-то мотив окованности воинов металлом и повторялся в данном месте «Слова» как, несомненно, важный: тут же упоминаются Ярослав Осмомысл на *«златокованнемъ»* престоле со «своими *железными* плъки» (52); у других князей «храбрая сердца в жестоцемъ *харалузе скована»* (51); иных «опуташа въ путины *железны»* (50); половцы тоже предстают в виде «*железныхъ* великихъ плъковъ» (50).

Семантическая особенность «Слова о полку Игореве», наблюдаемая в данном случае, по-видимому, была вот какой: во фразы и выражения автор регулярно вкладывал настолько расширительный, переносный, иносказательный смысл, что в пределах такого смысла становилось возможным менять конкретные слова внутри фразы по созвучию, по родственности значений или как-либо еще, чем и занимались позднейшие переписчики, а затем и исследователи «Слова», а общий смысл фразы не менялся.

Приведем еще примеры словесной толерантности «Слова о полку Игореве». Так, оказывается допустимым, чтобы ошибки писцов и научные реконструкции взаимно соприсутствовали и в результате двояко звучала, например, фраза: то ли «что ми шумить, что ми звенить давечя», то ли «что ми шумить, что ми звенить далече» (48), — все равно выражается ощущение отдаленности автора от описываемых событий. Так же двояко может звучать, например, обращение к ветру: то ли «бяшетъ *горъ* подъ облакы веяти», то ли «бяшетъ *горé* подъ облакы веяти» (54), все равно где-то далеко вверху. Еще пример двоякости звучания: то ли «меча *времены* чрезъ облаки», то ли «меча *бремены* чрезъ облаки» (52), — и в том, и в другом случае передается представление о чем-то затруднительном для метания, но с силой метаемом[13]. Таково семантическое коварство «Слова» плата за широкую иносказательность.

Отсюда делаем еще один, уже третий предположительный вывод о семантическом своеобразии «Слова о полку Игореве»: ассоциативная связь иносказаний, трудно уловимых ныне переосмыслений была ведущей в ходе повествования этого памятника.

И, действительно, перейдем к контексту фразы с «папорзями». Железные «папорзи паворзи паперси» вместе с латинскими шеломами обозначали закованность в металл и, следовательно, тяжкую железную амуницию воинов[14] и поэтому естественно связывались с, казалось бы, непонятным непосредственным продолжением повествования в этом месте Слова»: «теми тресну земля» (52), то есть от тяжелого вооружения треск и гром шел по всей земле[15]. Подобные прямо и косвенно выраженные земельно-звуковые мотивы (неприятные звуки над землей или от земли) типичны для «Слова»: «*гримлютъ* сабли... *трещатъ* копиа харалужныя... среди *земли* Половецкыи» (48); «быти *грому* великому... *земля тутнетъ*... половци идутъ» (47); «половци неготовами *дорогами* побегоша... *крычатъ* телегы» (46); «*кликну, стукну земля*... вежи ся половецкии подвизашася» (55).

Но можно сделать еще четвертый, более широкий и, кажется, неожиданный вывод вообще о повествовательной манере автора «Слова», а именно — об ориентации автора «Слова» на прошлое повествование XI в., но не на современное ему повествование XII в. Ведь странно, что нет аналогий светскому иносказательному изложению, характерному для «Слова», среди произведений XII в., а вот в XI в. по крайней мере одна аналогия есть, и какая — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, переведенная с греческого на Руси в середине XI в.[16] Именно в «Истории» Флавия и именно в речах героев, сконструированных древнерусским переводчиком сочинения, встречается экспрессивная метонимия, причем наиболее часто в первых трех книгах «Истории», насыщенных фольклорно-легендарным материалом в отличие от последующих книг, составленных очевидцем событий[17].

Ограничимся примерами, структурно близкими к «железным папорзям» «Слова о полку Игореве» — метонимическими сочетаниями существительных с прилагательными в «Истории» Иосифа Флавия: «въ единъ путь смьртныи ведошася» (путь смертный — казнь); «повемь язычьскую злобу» (языческая злоба — заговор с целью убийства); «душа наша темну храмину оставивши» (темна храмина — тело); «потят будеши серпом небесным» (серп небесный — смерть); «отъятися от римских рук» (римские руки — власть Рима); «иссухають сълньцемъ жатвеным» (солнце жатвенное — зной); «укрепи мышци июдеискы» (мышцы иудейские — войска Иудеи); «не терпящи буря конное» (буря конная — натиск конницы) и пр.[18]

Подобную иносказательную манеру старых экспрессивных речей, по-видимому, взял за образец автор «Слова о полку Игореве», но пользовался «старыми словесы» гораздо гуще и старательнее своих предшественников: «старые словесы» были для него «старшими словесами», но не устаревшими.

Повествовательная ориентация автора «Слова» на «старые — старшие словесы» подтверждается и другими схождениями с «Историей» Иосифа Флавия. Так, именно в сочинении Флавия присутствовали древние мотивы окованности войска металлом («окованы быша железомь»[19]) и громыхающего треска оземь от тяжести вооружения («падеся ниць с великым громом, запен си о камень с тяжкымъ оружиемь»[20]). Иносказания в «Истории» Флавия также допускали замену конкретных слов без ущерба для общего смысла метонимии (ср.: «потят будеши серпом небесным»; а в другом списке: «пожат будеши серпом небесным»[21]). Наконец, немало фразеологизмов «Истории Иудейской войны» было использовано в «Слове о полку Игореве»[22].

Ориентацию автора «Слова» на «старые-старшие словесы» можно условно назвать «архаизирующей», имея в виду само явление настойчивой обращенности к XI в. у автора конца XII в., но не подразумевая при этом, будто автор «Слова» исходил из теоретического деления сочинителей на архаистов и новаторов. Причины «архаизирующего» повествования в «Слове» еще не ясны, требуются обширные исследования, в частности, продолжение наблюдений над различными параллелями к «Слову», что мы и делаем далее.

2. «Что ми звенить... рано предъ зорями»

Иногда в одной только фразе обнаруживается несколько «архаизирующих» явлений благодаря параллелям к «Слову». Так, не замеченную исследователями параллель к фразе из «Слова о полку Игореве» «что ми шумить, *что ми звенишь* давечя рано предъ зорями?» находим в «Хронике» Георгия Амартола: «Где ми суть глаголи твоихъ трудъ? *Звьнятъ»* (151), — тоже вопрос и тоже непривычная для нашей современной фразеологии форма «звьнять ми», где глагол «звенети» сочетается с местоимением в дательном падеже, то есть предполагается, что звон адресуется определенному лицу, а не просто распространяется в пространстве[23].

Подобная параллель заставляет увидеть, что адресность звука была нередкой в «Слове о полку Игореве». Ср. далее о князе Всеславе: *«Тому* въ Полотске *позвониша* заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Киеве звонъ слыша» (54), — звон был направлен и дошел до адресата. Пение в «Слове» также было направлено на персонажа, а не только посвящено ему: *«кому* хотяше песнь творити» (43); «песнь пояше старому *Ярославу*» (44); «пети было песнь *Игореви*» (44); *«тому* — припевку... рече» (54); «певше песнь *старымъ княземъ,* а потомъ — *молодымъ* пети» (56); отсюда и гусли направленно «*княземъ* славу рокотаху» (44). Клич в «Слове» временами также оказывался адресным: «Дивъ кличетъ... велитъ послушати земли незнаеме» (46), — то есть «кличеть... *земли незнаеме»;* «Донъ *ти,* княже, кличетъ» (52). Свист тоже адресно направлен: «Овлуръ свисну... велить *князю* разумети» (55) — «свисну... *князю*». Даже, кажется, и стон направлен: «нощь стонущи *ему*» (46).

Также и не подразумевавшие издавания звука самые различные глаголы в «Слове» сочетались с беспредложными существительными в дательном падеже, обозначающими именно направленность на адресата действия: «чръпахуть *ми* синее вино» (50; в переводе сейчас больше выделяется причинно-целевой смысл: «черпали для меня синее вино»); «Двина течетъ *онымъ грознымъ полочаномъ*» (53; в переводе сейчас преобладает целевой смысл: «течет для тех грозных полочан»); «*обиде* порождено» (47; сейчас более опосредствованно: «порождено на обиду, в обиду, для обиды, к обиде»); «утру князю кровавыя его раны» (54; в переводе менее непосредственно, не так в упор: «утру у князя, на князе»). И это далеко не все примеры «дательного направленности» (а не дательного принадлежности) в «Слове»[24].

Создается странное впечатление о крайней, может быть, даже нарочитой в «Слове» архаичности выражений типа «что ми шумить, что ми звенить» и т. п. Ведь аналогии встречаем в XI в., но не XII в. Например, в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона середины XI в. находим такое же обилие непривычных для нас словосочетаний глаголов с беспредложными существительными в «дательном направленности». Так, глаголы, подразумевающие звук, как правило, сочетаются у Илариона с указанием адресата этого звука: «воскликнете *Богу*... вся земля да... поеть *тобе,* да поеть же *имени* твоему... услыши ны, Боже»[25]; «что *ти* приречемь,

христолюбче… зовемь *ти,* о блажениче» (29–30). И глаголы, не связанные с издаванием звука, тоже направляли действие к адресату в «Слове» Илариона: «закалаемь *бесомъ* друг друга» (24; сейчас сказали бы: «закалываем для бесов, в честь бесов»); «*тому* поработають» (25; сейчас переводится: «поработают для него, во имя его»); «*та* припахну воня» (29); «дивна и славна *всемъ округъниимъ странамъ*» (33); «*еи* же и церковь… създа» (33) и т. д. В «Молитве» Илариона, присоединенной к его «Слову», также постоянны аналогичные обороты с беспредложными существительными в «дательном направленности»: «съгрешаемь *ти»* (35), «огрози *странамъ»* (38); «Троицу… царьствующу… *аггеломъ и человекомъ»* (39) и пр.[26]

Сугубо предварительное, и, возможно, сомнительное предположение о нарочитой ориентации «Слова о полку Игореве» на редкостную фразеологию XI в. нуждается в серьезном обосновании соответствующими аналогиями, которые пока являются единичными и отыскиваются с трудом. Тем не менее в рассматриваемой фразе «что ми звенить…» обнаруживается еще один архаический для конца XII в. мотив: «рано предъ зорями». Почему надо было указать, что действие происходит именно рано утром? Только ли потому, что в действительности так оно и было?[27] В «Слове о полку Игореве» упоминаются и полдень, и вечер, и ночь, и полночь, но считанные разы, а вот раннее утро упоминается очень часто по разным поводам и семантически в основном для того, чтобы показать томительную длительность события, начавшегося или продолжающегося с утра. И в самом деле, в эпизоде «что ми звенить» несчастье разразилось не сразу, а назревало с утра первого дня до полудня третьего дня: «Что ми шумить, что ми звенить давечя *рано предъ зорями?* Игорь плъкы заворочаетъ… Бишася *день,* бишася *другыи, третяго дни къ полудню* падоша стязи Игоревы» (48–49). Точно так же события, предшествующие поражению Игоря, начались рано и длились долго: *«Съ зарания* въ пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя… Другаго дни *велми рано* кровавыя зори светъ поведають… Съ зараниа до вечера, съ вечера *до света* летять стрелы каленыя» (46–48). Ярославна с раннего утра и, по-видимому, тоже долго плачет об Игоре: «*рано* кычеть… *рано* плачеть», да и сама об этом говорит: «слала къ нему слезь… *рано*» (54–55), — и вот только к «полунощи» Игорь совершает побег. Сам побег Игоря тоже длится долго, — ведь он бежит, избивая гусей и лебедей с утра до вечера: к «*завтроку,* и обеду, и ужине» (55); потом снова упомянуто раннее время — на рассвете соловьи песнями «*светъ* поведають»; но только днем, когда «солнце светится на небесе — Игорь-князь въ Рускои земли» и появляется (56). Нужно отметить, что упоминания другого времени суток, например, ночи, тоже служат изображению тревожной длительности явлений в «Слове»: «Дльго *ночь* мрькнеть» (46); Всеслав «*въ ночь* влъкомъ рыскаше», пока ему не «позвониша заутреннюю рано» (54); Святослав во сне видит долгие картины: «Си ночь съ вечера одевахуть мя… Всю *нощь* съ вечера босуви врани възграяху…» (50).

Единичная аналогия обозначению длительности события через упоминание утра в «Слове» извлекается опять-таки из «Хроники» Георгия Амартола. Например, поход Давида начался с утра и долго длился: «*Утрьни* Давыдъ иде *заутра*

стречи землю иноплеменьникъ… и пришедшю Давыду въ землю ону в 3 день… и с победою возвратившюся въ 4 день» (128). Значит, снова можно вернуться к предположению о том, что автор «Слова о полку Игореве» брал редкие формы повествования, редкие даже в XI в., и применял их в своем произведении. Но дополнительные аналогии надо еще найти.

Об «архаизирующей» повествовательной манере «Слова о полку Игореве», конечно, можно спорить. Однако поддержку такому предположению находим в осторожных, но регулярно повторяемых выводах А. Н. Робинсона об идейно-политической архаичности «Слова», в котором, по словам исследователя, преобладает «идеология, направленная к возрождению архаических традиций «Русской земли», утверждение идеалов, восходящих к устаревшим (в эпоху феодальной раздробленности) традициям Киевской Руси»; и еще: «необычная для памятников русской литературы насыщенность «Слова» редкими или единственными в своем роде трудными для понимания символами… является одним из свидетельств архаичности памятника уже для своего времени (XII в.)»; «“Слово о полку Игореве” по своему содержанию и форме было архаичным феноменом второй половины 80-х годов XII в.»; «высокие идеи «Слова», как и его прекрасная поэтика, не отвечали реальным политическим требованиям и эстетическим нормам эпохи феодальной раздробленности… они становились безнадежно архаичными»[28]. Показательно, что даже Д. С. Лихачев выдвинул предположение о том, что «Слово» «исполняется как бы двумя певцами», первый из которых — «певец-архаист», он «предлагает исполнять песнь «старыми словесы»… в манере Бояна», а второй — «певец-рассказчик», «он предлагает петь по «былинам сего времени»; правда, отделить «старые словеса» от «былин сего времени» в тексте «Слова о полку Игореве» удается все-таки с трудом: «тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для “Слова”»[29].

3. «Подъ облакы»

По поводу «архаизации» в «Слове» добавим три наблюдения над рядом пространственных мотивов. Наблюдение первое. У героев и символических персонажей «Слова», как и во всяком произведении, конечно, есть верхний пространственный уровень, в пределах которого они действуют, но уровень несколько неожиданный. Это не небо, как обычно бывает в памятниках. Небо вообще лишь один раз упоминается в «Слове», да и то в концовке, возможно, добавленной в первоначальный текст позже; притом небо здесь служит только фоном для солнца: «Солнце светится на небесе — Игорь-князь въ Рускои земли» (56). Солнце же как самостоятельное обозначение верхней границы действий персонажей наиболее часто упоминается в «Слове», и особенно деяния Игоря развертываются под солнцем: «Тогда Игорь възре на светлое солнце» (44); «Игорь-князь… поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше» (46); «Игорю утръпе солнцю светъ»

(52). Воины Игоря тоже пребывают под солнцем: «Светлое и тресветлое слънце… простре горячюю свою лучю на… вои» (55).

Сопровождение героев в походе реальным солнцем это уникальная повествовательная черта «Слова о полку Игореве», пожалуй, больше не находимая ни в памятниках XII в., ни в памятниках XI в., в которых солнце упоминается лишь в связи с космологическими и фенологическими темами или при статичных описаниях строений и вооружений, блистающих под солнцем. Удается найти еще только один эпизод с солнцем, сопровождающим персонажей, в «Поучении» Владимира Мономаха самого конца XI в.: «да не застанеть вас солнце на постели. Тако бо отець мои деяшет блаженыи и вси добрии мужи свершении… солнцю въсходящю, и узревше солнце…»[30]. Сходство «Слова» опять с древностью…

Наблюдение второе. Как известно, внимание автора «Слова» к солнцу, вероятно, было связано с реальным обстоятельством похода Игоря с солнечным затмением. Но и другие повторяющиеся мотивы «Слова», реальные и символические, тоже были связаны с различными внешними обстоятельствами того похода по степи: обильные птичьи мотивы, особенно соколиные, соловьиные, галочьи и пр.; мотив бегущего волка; мотивы травы и единичного древа в степи; мотивы поля, холма и неведомости пути и т. д.

Если верна догадка о появлении стойких литературных мотивов в «Слове» в зависимости от специфических реалий действительности, то мы, может быть, опять встречаемся с «архаизирующим» повествованием в «Слове», потому что в произведениях XII в., кажется, не обнаруживается случаев стихийного возникновения художественных мотивов под влиянием предметных особенностей реальной ситуации, затрагиваемой или подразумеваемой произведением, а вот ранее хотя бы единичный случай указать можно. В «Сказании о Борисе и Глебе» конца XI — начала XII вв. в сцене нападения убийц на Глеба упомянута известная своей необычайной яркостью деталь, отсутствующая в других произведениях о Борисе и Глебе: убийцы Глеба «обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ, бльщаща ся, акы вода»[31]. Сверкание оружия нередко описывается в памятниках, но необычное сравнение блеска мечей — «акы вода» — появилось, по-видимому, оттого, что мечи были обнажены над водой, на реке, когда Глеб плыл «въ кораблици» и убийцы «гребяаху ся къ нему» и, нагнав, «начаша скакать… въ лодью его». Само по себе сравнение «акы вода» (особенно в связи с кровопролитием) книжного происхождения[32], но оно было напомнено автору окружающей обстановкой тех событий.

Догадка об «архаичности» отдельных литературных мотивов в «Слове» подкрепляется третьим наблюдением над верхним уровнем действий различных персонажей — под облаками. Наиболее ясно этот верхний облачный уровень обозначен в самом начале «Слова»: «Боянъ бо вещии… растекашется… серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43), земля предстает как низший уровень деятельности Бояна, а облака — как высший. В последующем тексте уровни тоже противопоставлены, хотя и не так отчетливо, друг другу: «О, Бояне… летая умомъ подъ облакы… рища… чресъ поля…» (44), — вверху облака, а внизу поля;

«о, ветре… мало ли ти бяшеть горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море» (54), — вверху облака, а внизу море; «Игорь… потече къ лугу Донца и полете соколомъ подъ мьглами» (55), — внизу луг, а вверху «мглы», то есть облака. Такое же противопоставление содержит фраза со следующим упоминанием облаков: Ярослав Осмомысл «затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки» (52). Выражение «чрезъ облаки» означало область не столько выше облаков, над облаками, сколько вдоль них, а потом за ними на том же уровне; ср. аналогии: «рища… чресъ поля на горы» (44) — вдоль и за пределы полей; «занесе чресъ поля широкая» (44) — вдоль за широкие поля; «вьются голоси чрезъ море до Киева» (56) — вдоль за море. Так что во фразе о Ярославе Осмомысле тоже присутствуют два уровня действий: низший — Дунай, а высший — облака; и, значит, облака в «Слове» постоянно составляют верхний уровень развития событий, не связанный ни с небесами, ни с солнцем (кроме одного кажущегося исключения: «чръныя тучя съ моря идуть, хотять прикрыти 4 солнца» — 47; однако тут тучи — субъект действия, идут, куда хотят, и не являются объектом деятельности земных героев).

Аналогии «Слову», его облакам в роли самостоятельного (без неба и солнца) верхнего предела действий персонажей встречаются опять именно в очень ранних переводных произведениях — в «Александрии» («великъ орелъ… възлете на облакы», в другом списке — «под облакы»[33]); в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (римляне «акы под облаком пришедше», в другом списке — «по облаком»[34]); в «Шестодневе» Иоанна Экзарха («брези… акы до облакъ възведени беаху… до облакъ суще зрещиимъ», «пенещи се море и въсходещее до облакъ»[35]); в «Хронике» Георгия Амартола («видевь некоего высока… стояща, прикасающаяся до облака»[36]); а также в оригинальном древнерусском произведении XI в. — в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («въ нощи на поли… виде церковь у облака сущу»[37]).

Позднее с мотивом облаков как мерой высоты произошли заметные перемены, не свойственные «Слову о полку Игореве». Облака стали упоминаться в ироническом контексте, например, во «Владимиро-Суздальской летописи» под 1169 г. и в «Киевской летописи» под 1172 г. («сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ»[38]); а в положительном контексте — вперемешку с небесами, что видно даже в «Задонщине» (жаворонок и иные птицы то летят «под синие облакы», а то и чаще — «под синие небеса»)[39]. Значит, кажется, есть основания вернуться к предположению об «архаизирующей» ориентации «Слова о полку Игореве» и в этом литературном мотиве.

Все, сказанное выше, побуждает к дальнейшим исследованиям. Надо проверить масштабы «архаизирующей» ориентации «Слова о полку Игореве» на гораздо большем количестве аналогий к нему из других памятников. Если явление «архаизации» подтвердится, то можно поставить вопрос о постоянстве «архаизирующих» «оглядываний назад» в древнерусской литературе на протяжении с XII по XVII вв., а не только во второй половине XIV — начале XV вв., в период так называемого Предвозрождения. В общем, история древнерусского архаического литературного творчества содержит немало неожиданностей.

Примечания

[1] Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов. Л., 1967. С. 52. Далее страницы указываются в скобках. Орфография текста передается с упрощениями.

[2] См.: *Перетц В.* Слово о полку Ігоревім: Пам'ятка феодальної України-Руси XII віку: Вступ. текст. Коментар. У Києві, 1926. С. 280; *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI XIII веков. Л., 1968. С. 150 151; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Л., 1973. Вып. 4. С. 53 54; *Бобров А. Г.* Папороз // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 4. С. 11 13.

[3] ПЛДР. Т. 3 / Текст памятника по «Новгородской Карамзинской летописи» подгот. Я. С. Лурье. С. 122. Далее страницы указываются в скобках. Орфография древнерусских текстов здесь и далее передается с упрощениями.

[4] Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 472.

[5] О версиях повести, как называет их исследователь, см.: *Лурье Я. С.* Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV XVI вв. // ТОДРЛ. Т. 34. С. 96 115. Среди списков поздней версии повести первичен текст именно в «Новгородской Карамзинской летописи», см.: *Бобров А. Г.* Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 100. и др. Благодарю А. А. Горского за указание на то, что так называемый свод 1448 г. (середины XV в.) на самом деле появился в 1410-х годах и что в нем эта «поздняя» версия повести о Липицкой битве, использовавшая фразеологию «Слова», могла быть как раз более ранней, чем в «Новгородской первой летописи», бытуя внелетописно уже в XIII в.

[6] *Лурье Я. С.* Указ. соч. С. 103. Вместо «нынешние полцы» появились «нынешние половце».

[7] *Лотман Ю. М.* О слове «папорзи» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 14. С. 34–40.

[8] См.: *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 2. Стб. 856 857. Ср. также в «Киевской летописи» под 1147 г.: «ужемъ за ногы уворозиша», то есть обмотали (ПСРЛ. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 352). В книжных описях упоминается «евангелие с поворозами», то есть с лентами или ремешками. Благодарю И. А. Комарова за это указание и за консультацию по древнерусскому воинскому наряду. А. Л. Никитин полагает, что «топоръ с поворозою» — это топор с гардой, защищавшей руку. А. А. Пауткин к словам «папорзи», «поворза» добавляет еще слово «павеза», обозначавшее вертикальную выпуклость вдоль щита.

[9] См.: *Адрианова-Перетц В. Я.* Указ. соч. С. 130 132. Ср. указание Д. С. Лихачева о «Слове о полку Игореве»: «Метонимия — основной художественный троп в "Слове"... Метонимия характерна преимущественно для военного языка» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 189 190).

[10] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1: Текст. С. 339.

[11] В греческом тексте «Хроники» здесь употреблено слово, заимствованное из латинского lorum ремень. В более позднем переводе «Хроники» в XIV в. это слово переведено аналогично — как «поясы». Благодарю за консультацию В. А. Матвеенко и Л. И. Ще-

голеву, в переводе которых это место звучит еще и так: «для красоты и великолепия он оковал (его) медными обручами и множеством опоясок» (*Матвеенко В. А., Щеголева Л. И.* Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола): Русский текст, комментарий, указатель. М., 2000. С. 271).

[12] *Перетц В.* Указ. соч. С. 280. Один из исследователей настаивает, что «паперси, по персьци» означали часть конского убора, ремень на нижней части конской груди (*Орел В. Э.* «Слово о полку Игореве» и его этимологическое изучение // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988. С. 129).

[13] Про «времены» как предметы вращения, метательные диски или мяч и см.: *Мурьянов М. Ф.* «Слово о полку Игореве» в контексте европейского Средневековья // Palaeoslavica. Cambridge (Massachusetts). 1966. Vol. 4. P. 120, 123, 127. Есть еще реконструкции: «камены» и «пламены» (Там же. С. 106), но и эти исправления остаются в тех же смысловых пределах.

[14] Ср. весовое описание амуниции Голиафа в «Хронике» Георгия Амартола: «шлемъ медянъ на главе его, и въброня, в ня же ся облачаше, имущи сиклъ 5000 меди и железа, и ножнице медяны на ногу его… копье 600 сиклъ железа, и щитъ медянъ…» (125). Одна лишь броня весила 50 60 кг, а наконечник копья — 6 или 7 кг.

[15] О значении слова «треснути» см.: *Перетц В.* Указ. соч. С. 280; *Адрианова-Перетц В. П.* Указ. соч. С. 107, 134.

[16] *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском пере воде. М.; Л., 1958. С. 112.

[17] О фольклорности первых книг «Истории» см.: *Мещерский Н. А.* Указ. соч. С. 39 40. О метонимичности изложения Иосифа Флавия см.: Там же. С. 84 86. О конструировании речей героев древнерусским переводчиком см.: Там же. С. 82 и др.

[18] Там же. С. 216, 221, 239, 258, 277, 295, 300, 315.

[19] Там же. С. 376. Ср. полки в «Хронике» Амартола: «все железомь утверженомъ» (558).

[20] Там же. С. 402.

[21] Там же. С. 258.

[22] См.: Там же. С. 104 105.

[23] Любопытно, что редкостная метафора «ми глаголи звьнять» появилась в результате неправильного перевода греческого текста «Хроники»: «звенять» вместо не понятого переводчиками слова «уходят» (см.: *Матвеенко В. А., Щеголева Л. И.* Указ. соч. С. 396).

[24] Уже отмечалось, что дательным падежом в «Слове» представлены «конструкции, различные в смысловом отношении» (*Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игреве» как памятник древнерусского языка // Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М.; Л., 1950. С. 163). Сочетание же глагола с «ми», превращающимся из местоимения в усилительно-выделительную частицу, называют еще дательным поэтическим или дательным заинтересованного лица (*Виноградова В. Л.* К лексико-семантическим параллелям «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. С. 149 152).

[25] Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1 / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. С. 26.

[26] Еще одно произведение с обилием архаических словосочетаний глаголов с беспредложными существительными в дательном падеже — это служба князьям Борису и Глебу

на 24 июля в списке XV в. (см.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 150 167). Однако еще надо выяснить, восходит ли список к тексту XI в.

[27] Сражения, действительно, начинались обычно с утра. См., например: *Перетц В.* Указ. соч. С. 210.

[28] *Робинсон А. Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI XII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 241, 255, 267, 302, 308. Из представления об архаичных литературных пластах «Слова о полку Игореве» исходит А. Л. Никитин в его книге «Слово о полку Игореве: Тексты. События. Люди» (М., 1998). В этой связи примечателен давний вывод языковеда, сформулированный еще в 1938 г.: «приходишь к заключению, что в "Слове" отразилась более архаическая стадия языка» (*Винокур Г. О.* К вопросу о языке «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. С. 98).

[29] *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 10, 12, 13, 25 и др.

[30] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 246 247.

[31] Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М, 1971. С. 51.

[32] В Библии копье у Голиафа блестит, как вода (Первая книга Царств, гл. 17). Ср. еще один, поздний случай — в «Хронографе» 1512 г. в статье «О Галиафе»: «в руку его мечь, яко вода, чисть» (ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 109). Не ясно, откуда это сравнение именно меча с водой (а не копья, как в Библии) попало в хронографическую статью о Голиафе, являющуюся пересказом «Хроники Георгия Амартола», но у самого Амартола нет такого сравнения (125), а влияния «Сказания о Борисе и Глебе» в данной хронографической статье не наблюдается.

[33] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения, с. 34. Аналогия указана: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 4. С. 13, 36.

[34] *Мещерский Н. А.* Указ. соч. С. 274.

[35] Шестоднев, составленный Иоанном екзархом болгарским / Изд. подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 3. Л. 66 66 об.

[36] *Истрин В. М.* Книги временьныя... С. 443 444.

[37] Успенский сборник... С. 105.

[38] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 336; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 553.

[39] «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1966. С. 536, 541, 542, 548, 549, 551, 552.

ЖИВОЙ ЛАНДШАФТ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1. К вопросу о пейзаже

В «Слове о полку Игореве» преобладают проявления так называемого «панорамного зрения» автора — охват огромных пространств, как бы наблюдаемых с огромной высоты[1]. Однако подлинно пространственно-изобразительных картин, рисуемых сверху, «Слово» все же не содержит. В этом памятнике есть картины природы, увиденной хоть и издалека, но не сверху, а как бы сбоку. Примерно так смотрит на мир Ярославна. Она стоит на забрале в Путивле и «видит» далекие земли и реки, море и поле, на котором потерпела поражение дружина Игоря. В таких «боковых» описаниях всегда упоминаются небо, облака или солнце. Не приближаются ли подобные описания природы к самостоятельным литературным пейзажам, образным и объемным? И вообще — можно ли применять такое современное наше понятие, как «литературный пейзаж» к «Слову о полку Игореве»?

Самый выразительный пример встречается в начале «Слова» — в характеристике пения Бояна: «Боянъ бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43)[2]. Здесь перечислены три пространственных элемента: облака, ассоциировавшиеся с небом, с пространственным верхом, земля, ассоциировавшаяся с пространственным низом, и некое древо, представляемое между верхом и низом. Думается, не нужно специально доказывать то, что подобные ассоциации действительно существовали у автора «Слова», который в одном месте прямо сказал по поводу облаков: «горé подъ облакы» (54) — вверху под облаками (правда, если исправленное издателями слово «горъ» значило «горй», а не «горы»). Как отметил Д. С. Лихачев, «мысль, песнь, слава Бояна движется в трех сферах пространства: верхнем, нижнем и среднем»[3]. Три пространственных элемента складываются, и возникает реальный, пейзажный, «высотный» образ огромного пространства, которое снизу доверху заполнял своим пением Боян. Таким на первый взгляд кажется авторский смысл этого места «Слова».

Однако дальнейшие наблюдения заставляют отказаться от столь заманчивой трактовки. «Древо» в данном отрывке не было похоже на реалию, являясь скорее

символом, притом не совсем понятным нам. Значит, «нагнетания» трех однородных элементов в образ не происходило у автора, который и в контексте высказывания нигде не развил и не поддержал тему огромности пространства, охватываемого пением Бояна.

Поиски аналогий в «Слове», более четких по реально-пространственному смыслу, заводят в тупик. Самая близкая аналогия: «О Бояне, соловию стараго времени! А бы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы» (44). Облака означали верх, поля — низ, древо и горы помещались между небом и землей. В пространственном ассоциировании подобных реалий сомневаться не приходится. Ср. пояснение, например, в «Псалтыри толковой» XII в.: «възвышаються, яко горы; низеуть же, яко поле» (449). Но все дело в том, что не все являлось реалиями и в этой, второй характеристике Боянова пения: символичны, а не реальны и «мыслено древо», и «тропа Трояня». Предметная картина рассыпается. Тема огромности пространства пения Бояна не выдвигалась у автора и здесь.

В «Слове о полку Игореве» еще есть места, содержащие упоминания небесного верха, земного низа и середины между ними, но тоже не составившие пространственного образа. Например, автор сообщил: «Темно бо бе въ 3 день: два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста, и въ море погрузиста, и съ нима молодая месяца, Олегъ и Святъславъ, тьмою ся поволокоста» (50—51). Формально мы можем указать пространственные элементы в приведенном отрывке: «два солнца — оба багряная стлъпа — море». Столп привычно мыслился между верхом и низом, как, например, в «Повести временных лет»: «Явися столпъ огненъ от земля до небеси» (273, под 1110 г.). Однако все элементы «Слова» имели символический смысл, чего и не скрывал автор, упомянувший два солнца и два месяца, в небе одновременные. Автор иносказательно говорил о поражении русских князей и не думал о создании картины тьмы с моря до неба.

Точно так же не складывалось в единый реальный пейзаж красочное описание: «Другаго дни велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрелами съ Дону Великаго» (47). Что это за четыре солнца? И солнце, и тучи, и дождь — это символы, обозначавшие русских князей, половцев и их битву. Описание было символичным, а если брать только его реальную сторону, то реалии оказывались пространственно не связанными друг с другом: солнце мыслилось автором вовсе не над морем, но отдельно от моря.

Пейзаж отсутствовал и в отрывках уже преимущественно реального, а не только символического содержания. Ярославна плачет: «Светлое и тресветлое слънце!.. чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои? Въ поле безводне жаждею имъ лучи съпряже» (55). Три пространственные реалии — солнце, его луч, поле — могли бы создать объемный образ. Солнечный луч привычно мыс-

лился связывающим солнце и землю. Ср. в «Минеях служебных» 1095 и 1097 гг.: «Солнце земли луча простьрл есть» (176). Однако и в данном месте «Слова» пространственный образ не складывался, потому что, судя по последовательности фраз, солнце простерло луч только на воинов, а с полем был связан иной мотив.

Прочие аналогии в «Слове» лишь укрепляют сделанный вывод. Например, обращение Ярославны: «О ветре, ветрило!.. Мало ли ти бяшеть горé подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море?» (54). Здесь упомянуты пространственные элементы только верха и низа — солнце и море. Ветер тоже относится к верху, дует вверху. Ср. в «Слове» же: «Высоко плававши... на ветрехъ» (52). Но остался неназванным средний пространственный уровень. Ветер словно бросается из-под облаков на сине море, между облаками и морем зияет как бы белое пятно. Законченного образа нет. Правда, слово «горъ» в данном месте, исправленное при издании на «горé», можно истолковать как «горы» — «ветер горы под облаками обвевает»[4]. Однако и в таком случае автору «Слова» мы не можем приписать стремления к созданию образа: не связаны эти облака и сине море — ветер обвевает отдельно горы под облаками и отдельно лелеет корабли на море (так построена фраза).

Прочие примеры отвести совсем легко. «Тъгда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше» (46) — солнце не обязательно над чистым полем, оба эти элемента, скорее, мыслились автором по отдельности, и остался никак не упомянут промежуточный пространственный элемент между солнцем и полем. «Игорю утръпе солнцю светъ, древо небологомъ листвие срони» (52) — есть пространственные элементы верхний, солнце, и средний, древо, но не назван низ. Да и вряд ли имелось в виду солнце именно над реальным древом. «Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» (49), «уныша цветы жалобою, и древо с тугою къ земле преклонилось» (55) — обозначены пространственные элементы нижний (земля, трава, цветы) и средний (древо), но зато не назван верх. «Небрежность» автора «Слова» объяснима одним: не реально-пространственные образы его привлекали, а символика горя. «Слово о полку Игореве» настойчиво указывает на старания автора совсем в иной сфере творчества, нежели создание литературных пейзажей, «“пейзажи” “Слова о полку Игореве” — это плоды нашего воображения, действующего под влиянием воспитанной на литературе нового времени потребности “видеть” то, что описывается в литературном произведении» (Лихачев Д. С.)[5].

Попытки найти пейзажные образы в других памятниках древнерусской литературы XI–XII вв. тоже заканчиваются неудачей, в том числе, например, в сочинениях Кирилла Туровского. Приведем лишь небольшой отрывок из огромного описания весны «Слова по пасхе»: «Ныне небеса... темных облак, яко вретища, съвьлекъше... Ныне солнце, красуяся, к высоте въсходить и, радуяся, землю огреваеть... Ныня древа леторасли испущають...» (416–417). Можно выделить элементы всех трех пространственных уровней — верха (небо, солнце, облака), низа (земля) и середины (древа), но сделать это можно только чисто искусственно, так как

пространственные элементы не связаны в предметное целое. Кирилл Туровский описывал символическую весну — победу христианства на Руси — и к четкому пространственному образу не стремился.

Короче говоря, категорию «литературный пейзаж» нам надо уточнить категорией, более соответствующей семантике «Слова о полку Игореве». В отрывке о Бояне преобладало абстрактное, а не изобразительное содержание. Глагол «растекашется» имел не предметный, а абстрактный смысл «двигаться», «распространяться», «следовать», отчего стало возможным отнести его к трем разнородным существительным сразу — «мыслию», «вълкомъ», «орломъ». В тексте «Слова» автор время от времени превращал предметный глагол в более абстрактный по значению, относя его сразу к двум-трем существительным: «поскочи горнастаемъ къ тростию и белымъ гоголемъ на воду» (55) — слово «поскочити», чтобы подходить не только к горностаю, но и к гоголю, обозначало стремительное движение вообще; «стрежаше е гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ» (55) — «стрежаше» больше обозначало, пожалуй, «присутствовать перед кем-либо», «сопровождать кого-либо»; «въстона… Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми» — «въстона» означало, скорее, «заскорбел», «стал мучиться», недаром эта фраза была продолжена упоминаниями о тоске и печали. Глагол «растекашется» еще относился и к Бояну, обозначая энергию его мысли. Недаром «растекашется» было окружено обозначениями мыслительной деятельности этого лица: «по замышлению… вещий... хотяше песнь творити… помняшеть…» (43). Дополнительные детали — «по древу», «по земли», «подъ облакы» — символизировали многообразие или изобретательность пения Бояна, как последующие символы — «10 соколовъ на стадо лебедей» (44) — указывали на его искусность.

Однако наряду с главным абстрактно-символическим смыслом в характеристике пения Бояна в качестве второстепенных присутствовали и предметные смыслы. Во-первых, автор, возможно, подразумевал, что Боян в своем пении «растекался» очень далеко, за пределы Руси, пел о далеких походах. Ассоциативно важными в характеристике Бояна явились четыре слова: «мыслию по древу — вълкомъ — орломъ», благодаря им нагнетались пространственные ассоциации с отдельными местностями или далекими частями мира[6]. Волки, судя по всему тексту произведения, представлялись автору всегда где-то в полях, вне границ Руси: «серый влъци въ поле» за Курском (46), «влъци... по яругамъ» у Дона (46), «бежить серымъ влъкомъ… къ Дону Великому» (47), «влъкомъ… дорискаше до куръ Тмутороканя» (54), «влъкомъ… потече къ лугу Донца» по степи половецкой (55). Боян-волк, по авторскому изображению, следовательно, тоже растекался мыслью где-то по далеким степям.

Замечание о том, что Боян растекался «шизымъ орломъ подъ облакы» (43) указывало на далекий полет орла. Орлы в «Слове» далеко клекотали — в поле, у Дона, за Русской землей (46). В других памятниках орлы — реальные и в сравнениях — летали очень далеко. В «Похвале Кириллу Философу» Климента Охридского: «Прелатая, яко, орелъ на вся страны от въстока до запада и от севера и юга» (426).

В «Повести пророка Иеремии о пленении Иерусалима» орел летал «на всякъ путь» из Иерусалима в Вавилон и обратно (34.2, 36.1). Орел посещал человека в далеком путешествии в «Житии Вита» (225.1). «Орьлъ идущь съ небесе» показывал путь к раю в «Хождении Агапия в рай» (467.1, 470.1). В «Галицко-Волынской летописи» под 1201 г. выражение «прехожаше землю ихъ, яко и орелъ» (716) тоже имело в виду далекий, через всю «землю», полет орла. Боян-орел, вероятно, казался автору «Слова» улетающим очень далеко своей мыслью, во всяком случае, за пределы Руси.

Древо у автора «Слова» тоже помещалось на дальних рубежах. С древа начинались неведомые земли: «Дивъ кличеть връху древа, велитъ послушати земли незнаеме, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьскыи блъванъ» (46). Древо соотносилось с пограничными реками: «древо не бологомъ листвие срони: по Руси и по Сули гради поделиша» (52). Древо стояло на берегу Донца (55). Древо преклонялось к земле на берегу Каялы (49) и на берегу Стугны, разделившей русских и половцев (55). Древо, в обозначениях автора, тоже служило вехой далекой перспективы, куда уносилась мысль Бояна.

Наконец, Боян растекался «мыслию», если полагать, что автор говорил о мысли, но не о белке, а мысль в «Слове» имела свойство лететь далеко: можно было «мыслию... прелетети издалеча» (51), мыслью можно было мерить огромные поля (55). Если уж кого-то нельзя «ни мыслию смыслити», то, значит, он пребывает совсем далеко — на том свете (49). И в других древнерусских памятниках мысль не только возносилась высоко, но и неслась далеко[7]. Таким образом, есть основания предполагать, что в высказывании о пении Бояна автор подчеркнул дальность бега Бояновой мысли.

Действительно, после этой характеристики автор пояснил конкретнее, насколько далеко «растекалось» пение Бояна: Боян пел «Храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълки Касожьскыми» (44), то есть мысль Бояна «дотекала» до касогов. Сказано также, что Боян помнил «първыхъ временъ усобице» (43), а слово «усобицы» означало здесь не ссоры между князьями, но их довольно дальние походы на врагов вовне Руси. Ср. в «Слове»: «Усобица княземъ на поганыя» (49). Боян помнил о далеких походах.

В том же контексте следовало знаменитое сопоставление: поющий Боян «пущашеть 10 соколовь на стадо лебедеи» (43 44). Упоминание соколов и лебедей имело пространственный оттенок. По изображению автора «Слова», соколы неуклонно устремлялись за пределы Руси: «буря соколы занесе чресъ поля широкая… къ Дону Великому» (44), «о, далече заиде соколъ: птиць бья, къ морю» (49), «два сокола слетеста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя… Дону» (50). Сокол находился вне своего гнезда: «соколъ... высоко птицъ възбиваетъ, не дасть гнезда своего въ обиду» (51). Сокол летал к своему гнезду, но опять-таки над полем половецким, вне Руси: «полете соколомъ», «соколъ къ гнезду летить… въ поле Половецкомъ» (55, 56). Лебедей, на которых охотились соколы, автор «Слова» мыслил тоже только вне Руси, в половецких степях (46, 55). Так что темы песен Бояна касались именно дальних мест — автор «Слова» снова давал понять это.

И еще. Во второй характеристике Бояна автор «Слова» говорил, что поющий Боян «рища… чресъ поля на горы» (44): через те самые «поля широкая» и «великая поля», куда отправлялись русские князья «копие приломити конець поля Половецкаго» (44). Это поле казалось автору очень далеким: «Дремлеть въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» (47). Все вдаль и вдаль от пределов Руси устремлялась мысль Бояна, так ее характеризовал автор в начале «Слова о полку Игореве».

В древнерусской литературе XI–XIII вв. нет близкой аналогии рассмотренной фразе о Бояновом пении, но есть косвенные подтверждения ее смысла — нередкие упоминания о дальности распространения высказываний известных проповедников и правителей. Например, Моисей Выдубицкий в «Слове» 1199 г. поминал широкое распространение речей киевского князя Рюрика Ростиславича: «Во всю бо землю изиидоша, по пророку, богомирная словеса твоя» (713). Такой же пространственный смысл неоднократно выражался в «Слове похвальном Кириллу и Мефодию»: «словесе Божия… излия ся устьнама его и вьсю вьселеную сластьно възвесели», «словеса ваю… насладиста вьсю вьселеную» (200.1, 207.2). О дальнем распространении «словес» повествовали «Слово об иссохшей смоковнице» Иоанна Дамаскина, «Слово о самаряныни» Иоанна Златоуста и др.: «По вьсеи бо земли изиде гласъ ихъ и въ страну вьселеныя глаголи ихъ» (302.2), «въ вьсю землю изиде вещание ихъ и въ коньць вьселеныя глаголи ихъ» (423.2).

В начальном высказывании автора «Слова» о Бояне можно предположить отражение еще одной пространственной темы — о быстроте «растекания» мыслей у Бояна, быстром охвате им многих сюжетов. Творительный оборот в сопоставлении Бояна с волком и орлом — «растекашется вълкомъ, орломъ» — передавал ощущение быстроты передвижения так же, как потом при описании стремительного бегства Игоря из плена: «А Игорь князь поскочи горнастаемъ… гоголемъ… и скочи… влъкомъ… и полете соколомъ… Игорь соколомъ полете… Влуръ влъкомъ потече» — двигались так быстро, что «претръгоста бо своя бръзая комоня» (55). Так же автор рассказал о таинственном Всеславе: «Скочи… лютымъ зверемъ… скочи влъкомъ… влъкомъ рыскаше… влъкомъ путь прерыскаше» (53–54) — стремительно скакал из города в город. Быстротой передвижения в пространстве отличались герои в литературе динамичного монументализма (термин Д. С. Лихачева[8]).

Сходными по смыслу с «творительными» оборотами были «убыстряющие» сравнения с животными. Из древнерусской литературы XI–XII вв. их можно привести несколько — они хорошо известны. В «Повести временных лет» (под 964 г.) говорилось о быстроте походов Святослава: «и легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше» (63). В «Галицко-Волынской летописи» (под 1201 г.) отмечалась стремительность напора князя Романа Галицкого: «Устремил бо ся бяше на поганыя, яко и левъ, сердитъ же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодилъ, и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ» (716). В библейской Книге пророка Исаии подобными же средствами изображался воинский натиск: «Колеса ко лесницам их, акы буря. Устремляются, акы львы, и предстают, акы львичища» (67). Смысл всех

этих открытых и скрытых сопоставлений сводился к утверждению стремительности деяний героев, в том числе и пения Бояна.

Образ далеко и стремительно растекавшегося пения Бояна находит объяснение в особом художественном представлении автора «Слова». Описания природы, упоминавшие небо, солнце или облака, служили не пейзажем, а своего рода гигантским «**экраном**», на котором действия героев отражались и преображались в огромном увеличении, укрупненно. Вот движутся по степи навстречу друг другу войска русских князей и половцев, и тут же на небесном «экране» движутся тучи на солнце, трепещут молнии и пр. Вот русские князья потерпели поражение — и на великом «экране» с неба до земли происходят свои изменения: меркнет солнце, гаснут багряные столпы, погружаются в море; или меркнет солнце, а древо роняет листья; или солнце простирает особо горячий луч в безводном поле; или ветер бросается вниз из-под облаков и не «лелеет», а дует «по ковылию». Пение Бояна тоже укрупненно отражалось на этом постоянном «экране»: Боян «хотяше песнь творити», и уже под облаками парил орел, по земле бежал волк, в некое действие вовлекались древо, облака, поля, горы. Этот вертикальный «экран» отражал не психологические состояния героев, не их чувства и переживания, а именно их внешние действия, поступки. Герои в качестве реалий или символов были включены в укрупняющую и героизирующую их поступки картину природы с небом, солнцем или облаками.

Природа отзывалась на действия не только вплоть до неба, но и широко по земной плоскости. Например, как только Игорь начал поход «и поеха по чистому полю», то «солнце ему тъмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичь убуди, свистъ зверинъ въста, збися Дивъ, кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаеме, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню» и т. д. (46).

Укрупняющий деяния человека «экран» природы над героями или вокруг героев, более узкий или более широкий, присутствовал в «Слове» почти всегда. Битва с половцами еще не началась, а уже «земля тутнетъ, рекы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ» (47). Поражение: «Падоша стязи Игоревы... Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» (49). «Игорь къ Дону вои ведетъ. — Уже бо беды его пасетъ птиць по дубию, влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (46). Игорь бежит из плена и от погони — «тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползоша только. Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песньми светъ поведаютъ» (56). Отклик в природе находит даже движение рук Бояна: «Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей... — своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше» (43–44). Природа в «Слове о полку Игореве» была не пейзажная, она способствовала монументальности изображения людей. Ср. вывод Д. С. Лихачева об авторе «Слова»: «Говоря о природе, он не дает пейзажей, а описывает реакцию природы на события, происходящие у людей», «большинство действий и событий в “Слове” указывают на участие природных явлений в происходящем»[9].

Для древнерусской литературы XI XIII вв. все это типично. В ее памятниках не наблюдалось самостоятельных, самодовлеющих пейзажей, высотных или плоскостных. Описаниями природы подчеркивалась важность человеческих деяний. Например, крещение Руси возвеличивали длинные описания природы в поучениях митрополита Илариона и Кирилла Туровского. Древнерусские писатели исходили из традиционного представления о первенстве, главности человека в мире реальной природы. Как говорил Иоанн Златоуст: «Вьсе ставлено житию нашему», «вьсе бо бысть… намъ же на потребу: солнце, да человекы освещаеть, облаци на дъждевное служение, земля — на плодовьное гобиньство, море же — на обилие купьцемь, вьсе, тебе, человеку, служить» («Слово о десяти девицах», 315.1; «Слово в великий четверток», 340.2).

Однако «Слово о полку Игореве» и тут уникально. Если в остальных памятниках «экранируются» на природу эпохальные, очень крупные, итоговые деяния людей, вроде крещения Руси, то в «Слове» речь идет о довольно частных, вовсе не вселенских действиях героев: Боян поет, Игорь выступает в поход, Игорь продолжает поход, битва начинается, Игорь разгромлен, Игорь бежит из плена, Игорь возвращается («Солнце светится на небесе Игорь князь въ Рускои земли», 56). Автор «Слова», вероятно, исходил из более внимательного, более уютно-интимного, более «аборигенного» отношения к природе, чем предыдущие древнерусские писатели. Опять сошлемся на Д. С. Лихачева: «“Легкое” пространство соответствует человечности окружающей природы», «“Слово о полку Игореве”… отмечено печатью человечности, особенно внимательного отношения к человеческой личности»[10].

Монументализм автора «Слова» был даже немного «хозяйственным». Не оттого ли поступки героев ставились в связь и со сценами сельскохозяйственными, свадебными, охотничьими? Такой подход, возможно, проявился кроме «Слова о полку Игореве» еще в «Слове о погибели Русской земли»: торжествующая над врагами Русь — и отражение этого в картинном богатстве ее природы и хозяйства, с озерами, реками, дубравами, зверьми и птицами, городами и селами, обитателями и церквами. Не была ли навеяна уютная дробность явлений природы в литературе конца XII — начала XIII вв. набравшим силу процессом феодального дробления Руси?

В целом период XI XII вв. представляется временем закладки огромного художественного потенциала благодаря широкой открытости древнерусских авторов реальному миру и особенно благодаря удивительному дару автора «Слова о полку Игореве» свободно мыслить и ассоциировать во многих духовных мирах сразу абстрактном и предметном, символическом и изобразительном, языческом и христианском, политическом и философском и пр.

2. Мир животных

Чаще всего исследователей интересует богатейшая христианская и языческая, литературная и фольклорная символика, связанная с животными. Это тема

преимущественно идеологическая и религиоведческая. Некоторые исследователи очерчивают круг знаний древнерусских книжников о реальной природе. История естествознания? Но мало кто раскрывает изобразительную сторону древнерусских анималистических описаний и воплотившиеся в них творческие черты личностей авторов или книжников[11]. Вот что прямо относится к истории литературы.

Эстетическое своеобразие автора «Слова о полку Игореве» виднее на традиционном анималистическом фоне переводных произведений, которые специально описывали животных. Так, две «Александрии», сначала хронографическая, затем так называемая сербская, наряду с упоминанием реальных животных, использовали все мыслимые варианты конструирования фантастических существ. В «Александриях» были описаны «звери человекообразны»: «двоеглавнии змиевы», но «ноги имеяху» («Александрия» сербская, 54)[12]; «половину человекъ, половину песъ» («Александрия» хронографическая, 188); «все тело их человеческо, глава же песья» («Александрия» сербская, 102); «до пояса имуще образ человечь, рогы же на главе — оленя, прочее же от пояса зверино тело имуща, нозе же прежнии — птичьи, задний же — коневе» («Александрия» хронографическая, 234). Изображены огромные твари: «блъхы скачюща, яко и жабы» («Александрия» хронографическая, 76); «рацы исходяще, кони ухапаху» («Александрия» сербская, 202). И необычайно миниатюрные люди: «локтя величеством» (98). Упомянуты существа с устрашающе большим числом членов: «о шести ногъ и о трехъ очесехъ и о пяти очесехъ» («Александрия» хронографическая, 77). И, напротив, с недостатком или вообще отсутствием отдельных частей тела: «люди... о единои ноги… по каменью скачюще» («Александрия» сербская, 114), «человеци безглавни» («Александрия» хронографическая, 77). В отношении последних в «Луцидариусе» было пояснено: «люди безглавнии, им же очи на плечахъ, и место устъ и носа имеють на персехъ две диры» (432). В «Александриях» действовали существа, для кого смертельны обычные земные условия: «ветру студену дохнувшю на них, вси изомроша» («Александрия» сербская, 114). И те, кто невероятно жизнестоек: «повар рыбы сухие… во езере… измочи и рыбы сухие ожиша и во езеро втекоша» (112). И те, кто неуязвим в самых гибельных обстоятельствах: «птици… приближашеся къ огню, вхожаху въ огнь и пакы без вреда вылетаху изъ огня» («Александрия» хронографическая, 188).

Та же фантастическая комбинаторика проявилась и в «Физиологе», «Сказании об Индийском царстве», «шестодневах» и «палеях», в некоторых житиях.

Ни пейзажей, ни прочих картин с участием фантастических или реальных животных древнейшие памятники не развертывали. Они обычно связывали каждого животного только с одной деталью природы. Например, в «Физиологе» такой деталью было древо, реже — гора или река, иногда — пустыня или небо, но без малейшей картинности. Совокупность всех рассказов «Физиолога» не объединяла животных в цельный мир. Разрозненными оставались и детали природы, сопровождавшие животных. К примеру, деревья в рассказах «Физиолога» никак не свя-

заны друг с другом: то это «древа ливаньска» (203), то это дуб в Индии (340), то древо у Евфрата (351), то дуб близ рая (366) и т. д.

Изолированными друг от друга оставались детали природы и в «Александрии», в «Космографии» Козмы Индикоплова и пр.

Правда, в памятниках обозначались и сборища животных, но очень лаконично. Так, в рассказах того же «Физиолога» разные типы животных были связаны друг с другом попарно. В одном рассказе действуют лиса и птицы, в другом — кит и рыбы, в третьем — ибис и рыбы, в четвертом — выдра и крокодил, в следующем далее — ихневмон и змей, затем — олень и змей, или голубь и змей, либо — слон и змей и т. п. В «Физиологе» наблюдается лишь одно исключение — в сказании о том, как слетались на брань враждующие стаи птиц: «Да есть слышати до небеси голву... и опадению перию бес числа» (XV—XVI), — детали (птичий крик до неба и устилание земли перьями) создавали образ пространства, охваченного птичьим сражением. Но это образ явно поздний: лишь в списке XVI в. данное сказание было присоединено к концу старого текста «Физиолога».

В «шестодневах», «палеях», «хрониках» животные перечислялись в рассказах о пятом дне творения мира только для пояснения библейской идеи о внезапной заполненности всего мира. Ср. Бытие, гл. 1: «И наполните воды, яже въ морехъ, и птицы да умножатся на земли» (1.2); «Шестоднев» Иоанна Экзарха: «И плъни беаху въси брези; нирааху сквозе глубины; такожде и морскые удоли, и великые и малые пучины въсечьскыихъ и различныхъ рыбъ плъны беаху», «не бы же праздна ни тина, ни калъ», «овы по ширине плавающе, а другые — по краю, а другые — по глубине, а другые — подъ камениемъ» (162.2—162 об. 1, 164.2, 165.1). То же в «Палее толковой» 1477 г. (20 об. 2, 21.1 и сл.).

Теперь рассмотрим мир «Слова о полку Игореве», отвлекшись от его символики и сосредоточившись на изобразительных чертах памятника. «Слово о полку Игореве», обходившееся без фантастики и подробного описания животных, кое в чем все же смыкалось с традиционным литературно-анималистическим фоном. Когда автор «Слова» упоминал реальное животное, то он не давал развернутых описаний и довольствовался одной-единственной деталью из мира природы. Например, автор связывал орла с облаками: «растекашется... подъ облакы» (43). Сокола — с ветром: «на ветрехъ ширяяся» (52). Автор избегал жесткой привязки конкретных деталей к определенным зверям или птицам и в других местах «Слова» с облаками и с небесной высотой связывал сокола: «полете... подъ мьглами» (55), «высоко плававши» (52), «высоко птицъ възбиваетъ» (51), а с ветром связывал чернядь: «стрежаше... на ветрехъ» (55). В общем, автор «Слова» представлял птиц летящими в небесном верху.

Подобные связи наличествовали почти во всех произведениях древнейшей литературы. Орел связывался с облаками в хронографической «Александрии»: «Възлете на облакы»; в другом списке — «под облакы» (34). С небесами был связан орел в «Сказании Агапия о рае»: «идущъ съ небесе» (467.1), в «Житии Макария Римского»: «Летай... под небесем» (53). С воздухом связывался орел в «Поучении»

Кирилла Философа (53), «Молении Даниила Заточника» (394). С высотой связан орел в «Физиологе» (VI), в «Слове о прилюблении убогих» Иоанна Златоуста (321.2), «Слове похвальном Кириллу и Мефодию» (200.1). Птицы связаны с небом в Библии («Библия», 1.2. Бытие, гл. 1), «Шестодневе» Иоанна Экзарха (160.2, 161 об. 2, 162.1). С воздухом связывались птицы в «Шестодневе» Иоанна Экзарха (175 об. 1–2), «Палее толковой» 1406 г. (20 об. 2), «Повести об Акире Премудром» (254). С высотой связаны птицы в «Синайском патерике» (60), «Шестодневе» Иоанна Экзарха (236.1), «Слове о трех мнисех» (61).

Автор «Слова о полку Игореве» упоминал, правда, и не летящих в небе, но, как можно догадаться, лишь попархивающих птиц, однако тоже в связи только с одной деталью из мира природы — с деревьями: соловей скачет «по древу», а птицы — «по дубию» (44, 46). Связь «птицы — древо» тоже являлась распространеннейшей в литературе, начиная с Библии: птицы приходят на древо («Библия», 8.1. Евангелие от Матфея, гл. 13), сидят на деревьях («Сказание Агапия о рае», 468.1; «Слово о трех мнисех», 62; «Беседа трех святителей», 140; «Физиолог», VIII; «Житие Андрея Юродивого», 141), гнездятся на древе («Житие Василия Нового», 372) и т. д. Связь птиц с дубами также повторялась в памятниках: птицы поют в дубраве («Александрия» хронографическая, 122), вселяются на дубе («Физиолог», 340–341), вьют гнездо на дубах («Сказание об Индийском царстве», 466).

Однако автор «Слова о полку Игореве» вышел за пределы литературных традиций к изображению необычайно широкого целого. Каждое животное в «Слове» сплочено в однородную группу с объединяющими признаками. Волки — серые (43, 46, 55), бегущие, скачущие, рыскающие (43, 46, 47, 53, 54, 55). Различий у них нет. Соловей или соловьи — поют, издают щекот (44, 46, 56). Сокол или соколы — прекрасно и целеустремленно летают, догоняют и бьют птиц (44, 49, 50, 51, 52, 56). Галки — «говорят» или молчат (46, 48, 56). Вороны — «грают» или не «грают» (48, 50, 56).

Разные группы животных, в свою очередь, связаны в сообщества: соколы и лебеди (44); соколы и галки (44); птицы, волки, орлы, лисицы (46); соловьи и галки (46); враны и галки (48); чайки и черняди (55); сороки, враны, галки, дятлы, соловьи (56). Птичий мир мыслился цельным — недаром автор неоднократно употреблял обобщающее слово «птици» (46, 49, 51, 52, 53, 56). А звери и птицы в «Слове» тоже объединились в цельный животный мир — «птичь... зверинъ» (46).

Детали ландшафта в «Слове» представали в однотипном виде. Земля в «Слове» — это одна и та же почва, которая зловеще гудит, дрожит, стучит (47, 52, 55). По земле «растекаются», по земле сеют, земля — под копытами коней, к ней клонятся, на нее свергаются (43, 48, 49, 51, 55). Облака в «Слове» — это один и тот же род легких высоких облаков, под которыми парят, летают, веют (43, 44, 54, 55), а иногда их и пронизывают (52. Низкие облака, или туманы, в «Слове» — это уже «мгла» или «мьглы» — 46, 53, 55).

Поля в «Слове» — всегда просторные. Для героев — «великая поля», для отдельного героя — «чистое поле» (46). Через поля рыщут и несутся (44). В поле сво-

бодно скачут и далеко заходят (46, 47). По полю беспрепятственно едут и рассыпаются (46). Поля покрывают, их пытаются частично перегородить или измерить (46, 47, 55). Поле с иными эпитетами — «поле Половецкое», «поле незнаемо», «поле безводно» — это всегда место сражения (44, 48, 52, 55, 56).

«Синее море» в «Слове» — это постоянно некий пограничный предел, отнюдь не идиллический, а больше тревожный и тревожащий (47, 49, 50, 51, 54, 55). Синий цвет, кстати говоря, вообще тревожен в «Слове» — синие молнии перед битвой (47), синее вино печали в мутном сне Святослава (50), синяя мгла Всеслава-оборотня (53), синий Дон как объект страстного желания, мутящего ум Игорю (44), на синем море плещет крылами Обида (49), на синем море «лелеють месть» Руси (51), на синем море ветер беспокойно качает-лелеет корабли (54).

Из всех ландшафтных деталей в «Слове» лишь «древо» менее однородно, чем остальные. То это «зелено древо», с тенью (55). То «древо» «листивие срони» и клонится, как бы увядая (49, 52, 55). А то «мыслено древо» (44). Временами же вообще не ясно, какое «древо» автор имел в виду (43, 46). Однако оно, пожалуй, оставалось одним и тем же, потому что, во-первых, слово «древо» в тексте «Слова» всегда употреблялось в единственном числе; потому что, во-вторых, это «древо» при всех обстоятельствах оказывалось объектом активной деятельности, местом энергичных поступков: по нему «растекаются» и скачут, с него «кличут», под ним одевают и пр. (43, 44, 55); и потому что, в-третьих, «древо» каждый раз мыслилось находящимся на дальнем рубеже от Руси.

Ландшафтные детали в «Слове» тоже в разных вариациях сцеплялись друг с другом, особенно часто — земля, море, облака, древо, трава. В «Слове» присутствует цельный ландшафтный мир — тот, что «за шеломянемъ» Русской земли.

Постоянно связывая животных с ландшафтом, автор создал назревающий стихийно по всему тексту «Слова» образ природы, которую освещает «солнцю светъ». Мир заполнен животными. Животные вездесущи. Оттого, например, волки связаны помимо земли еще и с полем: «влъци въ поле» (46), и с яругами: «влъци... по яругамъ» (46), и с лугом: «влъкомъ... къ лугу» (55). К каждой детали ландшафта кто-то приставлен: в частности, горностай — «къ тростию», а чайки — «на струяхъ» (55). Каждая часть ландшафта в «Слове» населена живностью, и, например, в поле действуют соколы, орлы, соловьи, галки, кречеты, враны, волки, лисицы, туры. Эстетический эффект связности.

В тексте «Слова» выделились и отдельные образы связности. Животные окружают людей, зашедших в поле: «Игорь къ Дону вои ведетъ. Уже бо беды его пасетъ птиць по дубию, влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (46). Автор «Слова» поднялся до предметно-изобразительного шедевра: «О, Донче! Не мало ти величия, лелеявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами подъ сению зелену древу. Стрежаше е гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрьнядеми на ветрехъ» (55).

Эти картинные связности не восходили к традиционным описаниям животных и природы. В фольклоре аналогичное множество животных, напротив, рассеивалось по миру, как например, в древней былине «Вольга»:

Уходили все рыбы во синии моря,
Улетали все птицы за оболака,
Ускакали все звери во темныи леса (537).

Люди в «Слове» также представали в обильном предметном окружении, особенно Игорь, — воинском (конь — 44, 46, 55; стремя — 46; седло — 50; шлем — 44; копье — 44, 47; щиты — 46; мечи — 51; стяги — 44, 47, 49; и пр.), ландшафтном (поле — 44, 55; древо с листвой и тенью — 49, 52, 55; трава — 49, 55; ковыль — 54; луг — 55; река — 44, 46, 50, 52, 55, 56; берега — 49, 55, 56; волны и струи — 55; море — 49, 55), суточном (солнце — 44, 46. 52, 55, 56; полдень — 49; тьма — 44, 46; ночь — 46; полночь — 55; зори — 47, 48, 55, 56; раннее утро — 46, 55), фенологическом (ветры — 47, 54, 55; мгла — 47, 55; роса — 55). Богато были связаны с предметным миром Боян, русское войско, в том числе куряне, русские князья (включая сон Святослава и плач Ярославны), половцы и т. д. Автор «Слова» свободно связывал разнообразные явления — предметные и символические, христианские и языческие, политические и философские, исторические и сиюминутные, и пр. По широте связей автору «Слова о полку Игореве» не подыскивается близких аналогий ни среди древнерусских писателей того времени, ни в фольклоре.

Но широкое мироизображение в «Слове» имело одну ограничительную особенность. Мир природы в «Слове» более всего был переполнен птицами. Автор связывал птиц не только традиционно с небом и деревьями, но и со всеми основными частями ландшафта. С полем: «птици... въ поле Половецкомъ» (56, здесь имеются в виду и страна, и собственно поле), «соколы... чресь поля широкая» (44), «врани на болони» — на лугу. Птицы связаны и с водой: «гоголемъ на воду» (55), «соколъ — къ морю» (49), «дятлове — къ реце» (56); «галицы — къ Дону Великому» (44), «зегзицею по Дунаеви» (54). Птицы мельтешат или слышатся всюду. Тут и «лебеди роспущени», и «щекотъ славии», и «говоръ галичь» (46), и «часто врани граяхуть» (48, 50), и «куръ Тмутороканя» (54, если имелись в виду петухи), и «гуси и лебеди завтроку, и обеду, и ужине» (55), и «сорокы не троскоташа» (56), и многие другие упоминания птиц, а также птицеобразных существ, например, Обиды с «лебедиными крылы» (49). Даже у ветра упоминаются «крыльца» (54). Заполненность мира существами в «Слове» напоминает о «Шестодневе» Иоанна Экзарха, но со странным различием: «Шестоднев» подчеркивал заполненность мира в основном рыбами, а «Слово» — птицами. «Заптиченность» «Слова» сочеталась с полным отсутствием упоминаний о рыбах. Глубины рек и моря оказывались пусты и словно безрыбны у автора «Слова». В лучшем случае упоминалось речное дно (50, 55). Отсутствовали также упоминания о насекомых. А гад (гад ли, а не птица?) был назван лишь однажды — «полозие» (56).

Преобладание упоминаний о рыбах объяснимо богословскими интересами автора «Шестоднева». Преобладание же упоминаний о птицах свидетельствовало об ином круге интересов, по поводу которого давно уже замечено: «Автор, без сомнения, был "птицегараздом" — птицеведом. Из всех животных он лучше всего знал птиц, их повадки»[13].

Можно предположить даже большее: что автор «Слова» заполнил природу как раз тем, что наиболее заметно наблюдательному человеку, привычно вступившему «въ стремень» и едущему по степи, — птицами и зверями. Автор проявил свойство, так сказать, «аборигена», вернее, отличался некими «аборигенными» чертами.

Правомерно ли применять обозначение «абориген» к автору «Слова»? Ведь неизвестно, уроженцем какой местности он являлся или где привык жить. «Слово» не отразило точной географической и биологической реальности — об этом написано исследование[14]. «Слово» пестрит географическими названиями от гор Угорских и от Дуная до Волги, от Тмуторокани до Новгорода и Литвы. О многих деталях природы в «Слове» нельзя сказать с уверенностью, южные они либо северные.

«Аборигенность» автора «Слова» проистекала из его острой впечатлительности по отношению к конкретно зримой природе, не узко местной, но по преимуществу, пожалуй, степной. Это дало знать о себе небывалой многочисленностью реальных цветовых и световых обозначений в тексте памятника. Серые волки (43, 46, 47, 55), сизый орел (43), светлое солнце (44, 55, 56), синий Дон (44), черный ворон, кровавые зори, черные тучи, синие молнии, мутные реки (47), черная земля (48), синее море (49, 50, 51, 54), багряные столпы (50), серебряные струи, синяя мгла (53), белый гоголь, зеленая трава, серебряные берега, зеленое дерево, темный берег (55). Эти цветообозначения сохраняли реальное содержание, а не стерлись в условные топосы. Оттого они образовывали гармоничные цветовые сочетания во фразах. Серое с сизым: «серым вълкомъ... шизымъ орломъ» (43). Черное с серым: «чръныи воронъ... серымъ влъкомъ» (47). Красное, черное, синее: «кровавыя зори... чръныя тучя... синии млънии» (47). Зеленое и серебряное: «зелену траву... сребреныхъ брезехъ... подъ сению зелену древу» (55). В «Слове» обильны еще цветовые обозначения лишь воинских предметов: червленые щиты (46, 47, 53), «чрьленъ стягъ, бела хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружие» (47), «златым шеломомъ посвечивая» (47), золоченые шлемы (52), золоченые стрелы (56). Сочетались природа и война: кровавая трава (53), кровавый берег (54).

Не заимствовал ли откуда-нибудь автор «Слова» подобную, редкую для Древней Руси, манеру изложения? Из всех известных нам памятников той эпохи богатой «цветностью» повествования отличается «Хроника» Константина Манассии, особенно в начальных главках о сотворении мира и животных. Но «Хроника» Манассии не могла непосредственно повлиять на «Слово о полку Игореве», будучи переведена на болгарский язык в середине XIV в., а на русский — в начале XVI в. При всем том между «Хроникой» и «Словом» наблюдается целый ряд соответствий в темах и мотивах. Одно из соответствий уже было отмечено в науке: рас-

суждения Манассии о своем стиле, его отличии от Гомера (127), и высказывания автора «Слова» о своем стиле и его отличии от Бояна (54)[15]/

Некоторые другие переклички мотивов и литературных приемов укажем по ходу повествования «Хроники». В общем виде сходны высказывания о неизбежности смерти даже самого крупного человека («Хроника», 124, и «Слово», 54). Перекликаются многочисленные сны героев с последующими истолкованиями в «Хронике» и «Сон Святослава» с боярским истолкованием в «Слове». Сходны привычка ссылаться на притчи и чужие изречения в «Хронике» и та же склонность у автора в «Слове».

При общем сходстве мотивов обнаруживаются даже лексические параллели между «Хроникой» и «Словом». Например, потоп: «Львъ беше въ водахъ затворенъ» («Хроника», 113); персонаж утонул: «затвори дне» («Слово», 55). Воспитание воинов: «въ оружих въспитана», «копиемъ потрясати научен и лук тяглити» («Хроника», 130, 207); «подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени... луци у них напряжени» («Слово», 46). Знамения: «вълк искачя некуду ис хлъма... Орел же прилетау, птищь великокрилен... Лисица же некаа лукава сим съпротивлеущи ся» («Хроника», 193); «пасетъ птиць... влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ... зовуть, лисици брешутъ» («Слово», 46). Пересказ содержания чужого сочинения: «съписаниа рекошу, яко... пресхраберъ явив ся, егда... копиемъ прободъ съпротивнааго и уязвивъ... того на земя наизвръже и от сего име... красное звание» («Хроника», 138); «песнь пояше... храброму Мстиславу, иже зареза Редедю... красному Романови Святъславличю» («Слово», 44). Смерть: «извръже душу» («Хроника», 146); «изрони душу» («Слово», 53).

Относительные фразеологические соответствия встречаются и вне сходства мотивов. «Птища же... криле свои распростерта и творяща сению» («Хроника», 156); «дружину... птиць крилы приоде» («Слово», 53). «И скочи... акы зверь» («Хроника», 222); «скочи... лютым зверемъ» («Слово», 53). Наконец, в обоих памятниках читаются сходные слова, не так уже часто употребляемые в литературе: «обеси ся», «съмысленъ», «струя» (речные), «насады», «судъ» (смерть) и пр.

«Хроника» была составлена Манассией не позднее 1187 г. (как и «Слово»?). Этим хронологическим совпадением подсказывается разгадка эпизодического сходства «Слова о полку Игореве» с болгарским переводом «Хроники» Манассии. Оба произведения, по всей вероятности, использовали общий фонд литературных средств византийской литературы, в том числе и «цветность» в изображении природы, а болгарский перевод и «Слово» имели еще и общую фразеологию, восходящую к староболгарской литературе.

Но автор «Слова» не утратил своеобразия. Большинство носителей цвета у него не те, что у Манассии. Например, у Манассии нет черной земли и черных туч, нет белого гоголя или иной белой птицы, нет зеленой травы и зеленого древа и пр. У автора «Слова» как раз больше окрашена природа, а у Манассии — быт. Автор «Слова» называет цвета, которые отсутствуют у Манассии, — «серый» и «шизыи». Кроме того, он гораздо чаще употребляет обозначения цветов, редких

или редкостных у Манассии «чръныи», «синии», «сребряныи» и «зеленыи». Не «аборигенна» ли такая сдержанная гамма цветов у автора «Слова» и их большая примененность к природе сравнительно с пряной яркостью, но в основном быта в «Хронике» Манассии?

«Аборигенной» впечатлительностью автора «Слова» объяснимо еще и то, что он «никогда не вводит в свое произведение иноземных зверей. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только к образам русской природы, избегает всяких сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателей» (Д. С. Лихачев[16]).

Наконец, «аборигенные» корни имела тонкая слуховая восприимчивость автора, проявившаяся в тексте «Слова»: «струны… рокотаху», «комони ржуть… трубы трубять» (44), «нощь стонущи… грозою… Свистъ зверинъ въста… Крычатъ телегы… Орли клектомъ… зовутъ, лисици брешутъ... Щекотъ славии успе, говоръ галичь убудися» (46), «дети бесови кликомъ поля прегородиша… Гремлеши о шеломы мечи харалужными» (47), «звонъ слыша… уши закладаше… ретко ратаеве кикахуть... галици свою речь говоряхуть… Гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя… Что ми шумить, что ми звенить» (48), «звоня Рускымъ златомъ… Тии бо… кликомъ плъкы побеждаютъ… кричатъ подъ саблями» (51); «храбрая дружина рыкаютъ» (52); «позвони своими острыми мечи о шеломы… трубы трубятъ» (53), «позвониша заутреннюю... въ колоколы... звонъ слыша… зегзицею…кычеть» (54), «свисну за рекою… кликну, стукну земля, въшуме трава» (55), «сорокы… троскоташа… дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песньми светъ поведаютъ… вьются голоси» (56). В «Слове» слышны рокот, стон, свист, боевое ржание, крики и клики, громыхание, шум и звон, треск, рык, клекот, щекот, стрекотанье, постукивание, лай, человеческие голоса и пенье. Опора автора на слух и на слуховую память заметна еще: по всепроникающей и разнообразной речевой ритмичности; по заполненности «Слова» речами персонажей настолько, что иногда не ясно, где кончается одна речь и начинается другая; по своеобразной «диалогичности» «Слова»[17]; по цитированию запомненных на слух песен и «припевок» Бояна.

Причислить личность автора «Слова» полностью к «аборигенам», конечно, невозможно, но «аборигенность» налицо. Подобный тип предметной и широкоохватной впечатлительности, как у автора «Слова о полку Игореве», больше никогда не повторился в древнерусской и новой русской литературе, хотя подлинные писатели-аборигены позднее появлялись в России регулярно и живо писали свои местные пейзажи.

Примечания

[1] Прекрасный очерк этого: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. Л., 1985. С. 29—75.

[2] Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» ПСРЛ. Т. 2. М., 1962 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов; «Житие Вита» Успенский сборник. XII

XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. Указываются страницы и столбцы издания; Книга пророка Исаии — Адрианова-Перетц; «Минеи служебные» — *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI–XIII веков. Л., 1968; «Повесть временных лет» — Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. СПб., 1897; «Повесть пророка Иеремии о пленении Иерусалима» — Успенский сборник; «Похвала Кириллу Философу» Климента Охридского — Климент Охридский. Събрани съчинения. София, 1970. Т. 1 / Изд. подгот. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов; «Псалтырь толковая» — *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 2; «Слово» Моисея Выдубицкого — ПСРЛ. Т. 2; «Слово в великий четверток» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о десяти девицах» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Тексты подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Слово о самарянныни» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово об иссохшей смоковнице» Иоанна Дамаскина — Успенский сборник; «Слово по пасхе» Кирилла Туровского — *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 13; «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» — Успенский сборник; «Хождение Агапия в рай» — Успенский сборник.

[3] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 49.

[4] См. реконструкцию древнерусского текста «Слова» и комментарии Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина: Слово о полку Игореве. Л., 1985. С. 33, 44, 478.

[5] *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 227.

[6] О «локальном признаке дальности» см.: *Лотман Ю. М.* О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1965. Вып. 181. С. 210–216.

[7] Примеры см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Указ. соч. С. 28–29, 177–178.

[8] О стиле монументализма см. работы Д. С. Лихачева: 1) Человек в литературе Древней Руси. 2-е изд. М., 1970. С. 25–62; 2) Развитие русской литературы X–XVIII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 64–67, 73–74; 3) Стилеформирующая доминанта древнерусского домонгольского искусства и литературы // Средневековая Русь. М., 1976. С. 131–134; 4) Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 80–102; 5) «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 39–75.

[9] *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Т. 1. С. 646; Т. 3. С. 192.

[10] *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Т. 1. С.646; Т. 2. С. 211.

[11] По первой теме — о литературной символике животных — см., например: *Дурново Н. Н.* К истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901; *Орлов А. С.* Об особенностях формы русских воинских повестей: (кончая XVII в.). М., 1902; *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. М., 1987. Т. I. С. 438–439; Т. 2. С. 143; *Лихачева О. П.* Некоторые замечания об образах животных в древнерусской литературе // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 99–105. По второй теме — о реальных анималистических знаниях древнерусских писателей — см., например, работы Н. В. Шарлеманя и Г. В. Сумарукова, ссылки на них далее. По третьей теме — о манере изображения животных — нет специальных работ.

[12] Цитируемые произведения: «Александрия» сербская — ПЛДР. М., 1982. Т. 5 / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева; «Александрия» хронографическая — *Истрин В. М.*

Александрия русских хронографов: исследование и текст. М., 1893. Приложения; «Беседа трех святителей» — ПЛДР. М., 1980. Т. 2 / Текст памятника подгот. М. В. Рождественская; «Библия» — Библия. Острог. 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Вольга» — Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 4-е изд. М.; Л., 1950. Т. 2; «Житие Андрея Юродивого» — Великие Минеи Четии. СПб., 1870. Октябрь 1–3; «Житие Василия Нового» — *Вилинский С. Г.* Житие св. Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1911. Ч. 2: Тексты жития; «Житие Макария Римского» — *Адрианова-Перетц В. П.* Указ. соч.; «Луцидариус» — *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. СПб., 1890; «Моление Даниила Заточника» — ПЛДР. Т. 2 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев; «Палея толковая» 1406 г. — Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892. Вып. 1; «Палея толковая» 1477 г. — Толковая палея 1477 года: Воспроизведение синодальной рукописи № 210 / Под наблюдением П. Поновицкого. СПб., 1892. Указываются листы и столбцы издания; «Повесть об Акире Премудром» — ПЛДР. Т. 2 / Текст памятника подгот. О. В. Творогов; «Поучение Кирилла Философа» — *Адрианова-Перетц*; «Синайский патерик» — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967; «Сказание Агапия о рае» — Успенский сборник; «Сказание об Индийском царстве» — ПЛДР. Т. 2 / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров; «Слово о полку Игореве» — Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967; «Слово о прилюблении убогих» Иоанна Златоуста — Успенский сборник; «Слово о трех мнисех» — *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2; «Слово похвальное Кириллу и Мефодию» — Успенский сборник; «Физиолог» — *Карнеев А. Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890; «Хроника» Константина Манассии — Староболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Тексты памятника подгот. М. А. Салмина; словоуказатели подгот. О. В. Творогов. София, 1988; «Шестоднев» Иоанна Экзарха — Шестоднев, составленный Иоанном Экзархом болгарским / Текст памятника подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 3.

[13] *Шарлемань Н. В.* Природа в «Слове о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: Сборник исследований и статей. М., Л., 1950. С. 217. Ср. различие между «Шестодневом» Иоанна Экзарха и испытавшим его влияние «Поучением» Владимира Мономаха при выражении ими одной и той же основной политической мысли. «В "Поучении" эта мысль приводится на примере поведения птиц, в "Шестодневе" — на сходном примере из жизни рыб... Русь была далека от морей» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Т. 2. С. 148).

[14] *Сумаруков Г. В.* Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983. «Пространство в "Слове" художественно сокращено, — сгруппировано и "символизировано"» (*Лихачев Д. С.* Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 135).

[15] См.: *Орлов А. С.* Слово о полку Игореве. М.; Л., 1938. С. 42–44; *Jakobson R.* L'authenticite du Slovo // La Geste du prince Igor'eppopée russe du douzième siècle. New York, 1948. P. 292–293; *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 38.

[16] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» // Слово о полку Игореве. Л., 1990. С. 40. Ср.: *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Т. 2. С. 176. Ср. также: «...памятник этот, тесно связанный с фольклором, берет для сравнения только тех зверей и птиц, которые реально существовали на Руси» (Там же. Т. 1. С. 459); у автора «любовь к Родине...

обострила его слух, зрение, его поэтическое воображение» (Там же. Т. 2. С. 214). Недаром у автора «Слова» отмечена «разнообразная наблюдательность» (*Лихачев Д. С.* «Задонщина» // Литературная учеба. 1941. № 3. С. 96).

[17] *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 9 38.

РАЗРУШЕНИЕ ИСТОЧНИКА

(гипотеза о первоначальном виде «Слова о погибели Русской земли»)

Компилятивное изложение нередко бывало сопряжено с глубокой переработкой ранних источников древнерусскими авторами. Один из сложных случаев представлен «Словом о погибели Русской земли», которое принадлежит к загадочным и даже головоломным произведениям. Сейчас известны два почти идентичных списка памятника: первый, более ранний, — XV в., и второй, более поздний, — XVI в.; однако ясности в атрибуции произведения это обстоятельство не прибавляет, потому что оба списка одинаково дефектны и восходят к общему протографу, хотя список XV в. сохранил более древние черты[1]. По не очень ясным упоминаниям князей в дошедшем дефектном тексте «Слово» датируется XIII в., — то ли 1238 г., то ли временем до 1246 г., то ли и более поздними годами[2].

Исторический смысл «Слова о погибели Русской земли» тоже не ясен. Недоумения начинаются уже с заголовка памятника. В раннем списке XV в. заголовок написан с буквенными исправлениями и явными искажениями и поэтому может быть прочтен по-разному: «Слово о погибели Рускыя земни и о смерти великого князя Ярослава»; или же: «Слово о погибели Рускыя земны по смерти великого князя Ярослава»[3]. В списке XVI в. такого заголовка нет вообще. О какой «погибели Русской земли» идет речь, — не ясно, потому что в обоих списках сохранилось только самое начало произведения, всего 2 странички. Причем переписаны они без понимания и внимания; текст настолько испорчен, что, например, в списке XV в. на все 45 строк отрывка из памятника приходится более 20 ошибочных или переправленных писцом написаний слов, искажений фраз и словесных пропусков; даже имя Владимира Мономаха написано переписчиком неверно: «Володимеру Иманаху». Естественно, что столь небольшой и искаженный текст с трудом поддается истолкованию и допускает различные догадки о его смысле. За отсутствием более надежных данных в какой-то степени прояснить исторический смысл произведения помогают аналогии понятиям, темам и мотивам «Слова» из других древнерусских памятников, чем и занимаются исследователи этого красивого, но слишком краткого и маловразумительного отрывка.

Понятие «погибели» в «Слове о погибели Русской земли» вызвало особенно много истолкований[4]. В дошедшем тексте памятника это слово употреблено только один раз — в заголовке, где «погибель Русской земли» («о погибели... по смерти»), как можно понять, связана со временем после смерти великого князя киевского Ярослава Владимировича Мудрого в 1054 г. Аналогичные мотивы, насколько можно на них положиться, из других памятников подтверждают связь «погибели Русской земли» с определенным историческим временем второй половины XI в.

Например, в «Повести временных лет» слова «погубити», «губити», «погибать» по отношению к Русской земле постоянно употреблялись летописцами в статьях только с 1054 по 1097 гг. («погубить землю отець своихъ и дедъ своихъ», «губять землю Русьскую», «погубили суть землю Русьскую», «погыбнеть земля Руская», «губимъ Русьскую землю» и т. д.[5]). А затем, в XII—XIII вв., эти выражения использовались летописцами лишь в редчайших случаях. Так, в «Лаврентиевской летописи» под 1147 г. сказано: «Земля наша погыбаетъ» (299), — но речь уже шла о Черниговской земле, а не о всей Русской земле.

Еще одна аналогия. В «Слове о полку Игореве» мотив «погибели» тоже был связан со временем после смерти Ярослава Мудрого: «...минула лета Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя... Тогда при Олзе Гориславличи... *погибашеть* жизнь Даждь-Божа внука... Тогда *по Рускои земли* ретко ратаеве кикахуть»[6], — тут автором затронута та же тема о погибании Русской земли именно во второй половине XI в. — начале XII в. при князе Олеге Святославовиче (умер в 1115 г.).

Но вернемся к смыслу заголовка «Слова о погибели Русской земли». Если в заголовке мотив «погибели земли» подразумевал время второй половины XI в., то в это время «погибель» никак не могла обозначать состоявшееся или ожидаемое уничтожение либо исчезновение Русской земли.

В контексте «Слова» и других памятников выражение «погибель земли» имело, скорее всего, переносное значение «разорение, опустошение». Недаром автор «Слова» сразу после заголовка приступил хотя и к противоположной теме, но как раз того же хозяйственного рода, — об отсутствии разорения, об украшенности и наполненности Русской земли благами.

Аналогичные выражения в других ранних памятниках отчетливей, чем в «Слове о погибели», обозначали «погибель земли» как ее разорение, прежде всего хозяйственное. Например, «Повесть временных лет» довольно ясно разделила компоненты погибели на ее причину и на ее следствие. Так, под 1097 г. было сказано: «начнеть брать брата закалати, и *погыбнеть* земля Руская, и врази наши половци, пришедше, возмуть земьлю Русьскую» (253), — причиной погибели земли, по мнению летописца, являются междоусобия князей, а следствием погибели станет пленение, захват земли врагом. Но в чем выражается сама погибель или погубление земли? На этот вопрос тоже ответила «Повесть временных лет». Под 1093 г. летописец пояснил: «погании *губять* землю Русьскую... половци... пустишася по земли, воююче... опустеша села наша и городи наши... земля мучена бысть... все

тоще ныне видимъ» (212 216), то есть погубление земли состоит в ее разорении, опустошении, мучении.

В «Слове о полку Игореве» выражение «погибашеть жизнь Даждь-Божа внука» тоже означало разорение имущества русских жителей[7].

«Хроника» Георгия Амартола, переведенная на Руси в XI в., также подтверждает, что под «погибелью» какой-либо области или города, например, Иерусалима, понималось прежде всего его хозяйственное запустение, разорение, разрушение, включая, конечно, и убийства. Как его «первое же по времени *погыбелье* же и запустениемь… градъ бошью (полностью) пустъ створивъ», так и «2-е *погыбелье* Иерусалиму» толковалось как «мерзость запустению»: губитель Иерусалима «разоривъ стены градныя, весь градъ пожьже и испроверже» и т. п.[8] Точно так же толковалось «3-е бьшью (полное) *погыбение* Иерусалиму»: «народы, и грады, и царствие, еще же и страны, и воины, и домы… разрушими», «велия стена разорена, и гради раскопани, и святость (святыня) потреблена» и пр. (175, 176).

Из переведенной в XI же в. «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия достаточно привести только один пример «о *погибели* града», — он содержит ясное пояснение, что такое «погибель»: «пременение града от светлости на пустоту, и от лепоты на многостонанныи образъ, и от преславнаго создания на разорениа и на зажигание»[9].

Так что в заголовке «Слова о погибели Рускыя земли по смерти великого князя Ярослава» автор имел в виду хозяйственное или хозяйственно-политическое разорение Русской земли, которое началось или последовало со смерти Ярослава Мудрого во второй половине XI в.

В конце «Слова» есть нужное для датировки упоминание еще одного неприятного процесса и времени его бытования: «А в ты дни *болезнь* крестияном от великаго Ярослава и до Володимера, и до ньшяшняго Ярослава, и до брата его Юрья князя Володимерьскаго», — некая «болезнь христиан» отмечена автором от времени Ярослава Мудрого до его внука Владимира Всеволодовича Мономаха и даже до Владимировых правнуков — до Ярослава Всеволодовича и Юрия Всеволодовича. Фраза очень неясна, не содержит глагола, она, может быть, не закончена, — но на ней и обрывается дошедший отрывок «Слова» в обоих списках.

Что такое «болезнь крестияном»? Это выражение, скорее всего, имело переносный смысл и означало горе или несчастье у христиан. Такое словоупотребление было характерным для древнейших памятников. Например, в целом ряде переводных поучительных слов отцов церкви, переписанных в «Успенском сборнике» конца XII — начала XIII в., «болезнь», бесспорно, означала «печаль». Например: «отбеже от васъ *болезнь* и печаль, скорбь и въздыхание»[10], — в данном окружении синонимов «болезнь» и есть печаль, скорбь и т. п. Далее: «обретоста острую сию, и печальную, и *болезньную* жизнь» (300. Слово Иоанна Дамаскина об иссохшей смоковнице), — «болезньныи» и есть печальный. Еще: «бе бо има печаль велика, *болезни* пълъна» (375. Слово Андрея Критского о четверодневном Лазаре), «болезнь» и составляет печаль.

Очень много раз «болезнь» в переносном смысле как печаль упоминалась в «Повести о Варлааме и Иоасафе», переведенной в XI — начале XII в.: «съхранить себе… чиста от греховъ… трудом и *болезнию*, плачемъ же и рыданиемъ»[11], — «болезнь» значит то же, что «труд» (то есть печаль), плач и пр. Еще пример: «душю бедою и *болезнию* разделяя» (192), — «болезнь» аналогична беде. И совершенно ясно сказано: «моя *болезнь*… несть по обычаю недугъ… но от скорбе и печали душевныя сердцемъ *болю*» (197), — под «болезнью» подразумевается душевное, сердечное болезнование, скорбь. В «Повести о Варлааме и Иоасафе» даже употреблялось словосочетание, близкое к «Слову о погибели Русской земли». В «Слове о погибели»: «болезнь крестияном»; в «Повести о Варлааме»: «крестьяньское же болезнь» (122); причем в повести тут же поясняется суть «болезни христиан»: все житейское «печаль творить… скорбь же имать в мире семъ… Крестьянское же болезнь временна», — «болезнь», она же житейская печаль или скорбь у христиан временна, преходяща.

В оригинальных древнерусских произведениях слово «болезнь» тоже нередко употреблялось в переносном значении «печаль, горе», как например, в летописной повести об убиении Бориса и Глеба под 1015 г. в «Повести временных лет»: «вся напаяюща сердца, горести и *болезни* отгоняща, страсти злыя ицеляюща» (135), — «болезни» отнесены к явлениям сердечным, это горести и страсти.

На фоне многочисленных аналогий можно полагать, что «болезнь крестияном» в «Слове о погибели» означала сердечное или душевное беспокойство, печаль, горе христиан.

Поводы для такой «болезни»-горя не пояснены в дошедшем отрывке «Слова», но датирующая зацепка, кажется, есть, — в косвенном виде сохранилась авторская периодизация «болезни». Прежде всего, это время «от великаго Ярослава и до Володимера». Вряд ли здесь подразумевалось автором, что «болезнь» христиан длилась сплошь от начала великого княжения Ярослава Мудрого в 1019 г. и до конца великого княжения Владимира Мономаха в 1125 г. Ведь Ярослав Мудрый считался исключительно боголюбивым князем, принесшим огромную пользу христианам в этот период: как восславил летописец, «радовашеся Ярославъ, видя множьство церквий и люди хрестьяны», «в печали утешаеми» (148–149), — не «болезнь» и печаль, а радость и утешение. Тем более не могла подразумеваться «болезнь» при Владимире Мономахе, успехи которого автор «Слова» восхвалял.

Для прояснения исторического смысла выражения «от великаго Ярослава и до Володимера» полезно опять-таки обратиться к аналогиям в других памятниках, в частности, к «Повести временных лет», где под 852 г. в известной хронологической выкладке по русской истории использованы практически все основные типы выражения «от… до…» с временным значением. Счет велся летописцами обычно от начала одного явления до начала другого явления; например: «отъ перваго лета Святославля до перваго лета Ярополча летъ 28» (17). Летописцы могли вести счет и от конца одного явления и до конца другого явления; например: «отъ смерти Святославля до смерти Ярославли летъ 85». Но нередко ни начало, ни конец явле-

ний летописцами не обозначались; например: «отъ Адама до потопа летъ 2242». В подобных случаях основания для расчета становились расплывчатыми, и подразумевались не столько начало или окончание связываемых явлений, сколько некий момент их полной воплощенности или расцвета. Так что выражение «отъ Адама до потопа» не претендовало на точность и означало у летописца нечто вроде «от Адама в расцвете его сил до потопа во всем его объеме».

Таким образом, неясное высказывание автора в «Слове о погибели Русской земли» о времени «болезни» христиан «от великаго Ярослава и до Володимера», вероятно, так же неточно вело отсчет по неопределенным пикам деятельности этих великих князей, — примерно от второй половины деятельности Ярослава Мудрого и до первой половины деятельности Владимира Мономаха, то есть с 1040-х или 1050-х годов и по 1110-е годы (Владимир Мономах стал великим князем в 1113 г.). Значит, «болезнь» продолжалась лет 60.

Но отсюда следует, что время «погибели»-разорения Русской земли и время «болезни»-горя христиан в «Слове» совпадают и относятся ко второй половине XI — началу XII вв.

Однако в «Слове о погибели Русской земли» время «болезни» продолжено автором до Мономаховых правнуков — «и до ныняшняго Ярослава, и до брата его Юрья князя Володимерьскаго». Юрий Всеволодович княжил во Владимире с 1212 г. и до своей смерти в 1238 г.; «нынешний» Ярослав Всеволодович умер в 1246 г. Напомним, что, по мнениям разных ученых, в «Слове» имелось в виду либо время не позже 1238 г., если владимирский князь Юрий Всеволодович упоминался как живой, но был поставлен автором «Слова» после Ярослава, который оказался «главнее», так как в этом году являлся князем киевским; или же автором имелось в виду время до 1246 г., раз Ярослав Всеволодович был назван «нынешним», то есть живым; наконец, автор мог подразумевать время и после 1246 г., если толковать определение «нынешний» не как «живущий ныне», а просто как «современный» Ярослав в отличие от «старого, прошлого» Ярослава Мудрого. Так или иначе, но «болезнь» христиан, по периодизации автора «Слова», распространялась на первую половину XIII в.

Но выражение «и до ныняшняго Ярослава, и до… Юрья» означало не непрерывное продолжение «болезни» в течение XII—XIII вв., а ее рецидив при Ярославе и Юрии Всеволодовичах. Предыдущие княжения их прадеда Владимира Мономаха, их деда Юрия Владимировича Долгорукого и их отца Всеволода Юрьевича Большое Гнездо автор «Слова» не мог считать подверженными «болезни», так как сам же и восхвалял этих князей. Скорее всего, в последней, оборванной фразе автор «Слова о погибели Русской земли» неявно наметил два этапа «болезни» христиан на Руси: первый этап — «болезнь» во второй половине XI — начале XII вв.; второй этап лет через 100 — «болезнь» в первой половине XIII в., после смерти Всеволода Юрьевича Большое Гнездо в 1212 г.

Если верно предположение о времени, на которое в «Слове» указывали понятия «погибель» Русской земли и «болезнь» христиан, то тогда в дошедшем от-

рывке памятника можно различить предположительно же более **древний и более новый пласты текста**. В самом деле, «Слово» начинается описанием красот Русской земли, и описание это ведется в настоящем времени: «многими красотами удивлена еси… всего еси испольнена земля Руская». Но так можно было восхищаться красотами Руси только в ее благополучный период, в отсутствие «погибели» и «болезни». Таких благополучных периодов, по «Слову о погибели», было два: первый — при Ярославе Мудром, в первой половине XI в.; и второй период — от Владимира Мономаха и до Всеволода Большое Гнездо включительно, с начала XII в. по начало XIII в. В любом случае, это означает, что описание красот Русской земли появилось до формирования дошедшего до нас текста «Слова о погибели» второй четверти XIII в., 1238–1240-х годов, и что к первоначальному тексту и взамен его были добавлены более поздние вставки.

Дальнейшее повествование в дошедшем тексте «Слова» дает некоторые основания различить в нем соседство раннего отрывка и позднейшей вставки. Так, можно заметить, что в дошедшем тексте памятника присутствуют рядом два принципиально разных перечисления во многом одних и тех же народов. Перечисление народов, опасавшихся Владимира Мономаха, составлено по принципу охвата огромного пространства «крест накрест», преимущественно с юга на север, с севера на юг, с востока на запад: от половцев — к литовцам; от угров (венгров) — к заморским «немцам» (шведам, скандинавам); от буртасов, черемисов, мордвы — к царьградскому (византийскому) правителю. Перечисление же на сходную тему — «все покорено было» русским князьям — составлено совсем по иному принципу движения по «окружности»: «Отселе до Угоръ, и до Ляховъ, до Чаховъ (чехов); от Чахов до Ятвязи; и от Ятвязи до Литвы, до Немець; от Немець до Корелы; от Корелы до Устьюга, где тамо бяху Тоимици погании, и за Дышючимъ моремъ (Ледовитым океаном); от моря до Болгаръ (волжских булгар); от Болгарь до Буртасъ; от Буртасъ до Чермисъ; от Чермисъ до Моръдви». Непосредственное соседство в памятнике двух принципиально разных этно-географических описаний — явление необычное и уже само по себе вызывает сомнения в их одновременности. Можно думать о большей древности этно-описательного принципа «крест накрест», хотя уверенно утверждать это нельзя из-за отсутствия ясных и близких аналогий в текстах XI–XIII вв. Разве что в «Повести временных лет» под 986 г. о выборе вер Владимиром Крестителем у разных народов летописец развернул рассказ, кажется, по сходному принципу «крест накрест»: предлагают свою веру болгары волжские — затем «немцы от Рима» — затем хазары — затем греки.

Перечисление же этнических областей или народов (но не географических пунктов!) по принципу «окружности» или «полукруга» имеет лишь более поздние аналогии, не ранее конца XII в. Например, в «Слове о полку Игореве» читается перечень областей по «дуге» от Волги до Крыма: «послушати… Влъзе, и Поморию (азовскому), и Посулию (Сула — левый приток Днепра), и Сурожу, и Корсуню (города в Крыму)» (46); так же по «кругу» перечисляются народы: «немци, и венедици, ту греци, и морава» (50); кстати говоря, и обращение автора к князьям, как

отметил Д. С. Лихачев, тоже следует по географической «дуге» последовательно с востока на запад, — от Владимиро-Суздальского княжества до княжества Полоцкого[12]. На фоне аналогий предположение о позднейшей вставке «кругового» перечисления народов в первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» кажется правдоподобным, хотя все-таки шатким.

Но есть еще одно свидетельство о возможной вставке этого «кругового» перечня народов: оно извлекается из исторического содержания этого перечня, который завершается обобщающей фразой, правда, не очень складной и вразумительной в обоих списках «Слова о погибели»: «то все покорено было Богомъ крестияньскому языку поганьскыя страны: великому князю Всеволоду, отцю его Юрью князю Кыевьскому, деду его Володимеру Иманаху». Из этой фразы в обоих списках «Слова» можно понять, что «христианскому языку» были покорены не все перечисленные страны, а лишь все «поганьскыя страны»; из перечисленных же народов языческими или нехристианскими народами в XI—XIII вв. оставались ятвяги, литва, «тоимици погании» и ряд народов от волжских болгар до мордвы. Именно они, как перечислено в дошедшем тексте, были подчинены якобы трем князьям: великому князю владимирскому Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо, отцу Всеволода князю киевскому Юрию Владимировичу Долгорукому, деду Всеволода Владимиру Мономаху.

И вот тут-то видна граница вставки. Дело в том, что, по наблюдениям ученых, каких-либо походов Владимира Мономаха на волжских болгар, на мордву или на литву вообще не зарегистрировано в летописях[13]; напротив же, успешные походы Юрия Владимировича и Всеволода Юрьевича отмечены, например, «Лаврентьевской летописью» под 1120 г. (на болгар), под 1184 г. (на болгар), под 1186 г. (на болгар и мордву). Это значит, что новый, «круговой» перечень народов и новые упоминания князей Всеволода Юрьевича и Юрия Владимировича в известной мере механически были присоединены к первоначальному тексту, к старому упоминанию о Владимире Мономахе и о народах, его опасавшихся.

Есть и третье свидетельство о вставке. Обращает внимание стилистическая разница в именовании князей. Для первоначального текста «Слова о погибели», вероятно, была характерна лапидарная, без пояснений, манера называния князей: «великый князь Ярослав», «князь великый Володимеръ», или еще короче — «великый Ярослав», «великый Володимеръ», или же совсем просто — «Володимер». А во вставленном тексте новые князья, чтобы избежать путаницы совпадающих имен, обозначались уже иначе, — с указанием их родства и области их правления. В результате, Владимир Мономах стал упоминаться еще и как «дед».

Аналогичную старую и новую манеру в именовании князей можно наблюдать, например, в «Лаврентиевской летописи». Сначала князья именуются лапидарно, только по именам. Потом, в торжественных сообщениях, князья получают родословные характеристики, вроде такой: «умре Брячиславъ, сынъ Изяславль, внукъ Володимерь, отець Всеславль» (151, под 1044 г.). Затем появляются географические уточнения: «преставися Всеславъ, полоцкий князь» (264, под 1101 г.); «пре-

ставися Всеволодъко городецьскый князь» (293, под 1141 г.); «Всеволодъ князь кыевьскый приде» (295, под 1144 г.). Позднее все эти сведения начинают объединяться при торжественном упоминании князя: «преставися князь рязаньскый Игорь, сынъ Глебовъ» (391, под 1195 г.) и пр. Так что старое и новое, действительно, просматриваются в дошедшем тексте «Слова о погибели».

Представить же, каков без вставок был **первоначальный текст** «Слова о погибели Русской земли» в пределах дошедшего текста, можно только сугубо предположительно и отрывочно, но все-таки не так уж расплывчато. В первоначальном виде «Слово о погибели Русской земли», по-видимому, содержало описание красот Русской земли (в настоящем времени), похвалу деяниям Владимира Мономаха (в прошедшем времени) и осуждение предшествовавшего Мономаху периода «болезни» христиан (давно прошедшее время, плюсквамперфект). Эти три отрывка из дошедшего текста «Слова», по всей вероятности, и восходят к его первоначальному тексту[14].

Каких-либо внешних свидетельств о существовании такого предполагаемого сочинения нет. Но в пользу того, что три указанных мотива в первоначальном тексте «Слова» сочетались в единое повествовательное целое, свидетельствуют композиционные аналогии подобному изложению, углубляющемуся от настоящего времени в прошлое. Например, во введении к «Повести временных лет» цельный трехчастный рассказ составляет географическое описание общепринятого пути через Русь «изъ варягъ в греки» вкупе с описанием путешествия апостола Андрея по тому же пути (6 7). Первая часть этого рассказа обзор разных путей на Руси и из Руси ведется преимущественно в настоящем времени: «потечеть... вътечеть... внидеть» и т. д. Причем перечисление направлений движения напоминает о старом принципе «крест накрест»: «Днепръ бо потече из Оковьскаго леса и потечеть на полъдне (на юг); а Двина ис того же леса потечеть, а идеть на полунощье (на север)... ис того же леса потече Волга на въстокъ... в болгары и въ хвалисы». Вторая часть летописного рассказа переходит к деяниям главного героя — апостола Андрея на очерченном пространстве и ведется уже в прошлом времени: «училъ святый Онъдрей... и пройде въ устье Днепрьское...» и пр. Третья часть рассказа касается времен, даже предшествовавших Андрею, когда поясняет, «како есть обычай» у словен, сложившийся, конечно, задолго до Андрея (плюсквамперфект). Этот летописный рассказ близок по структуре к первоначальному рассказу «Слова о погибели Русской земли».

Еще одна структурная аналогия встречается в «Повести временных лет» под 1096 г. Описываются местность далеко на северо-востоке и неведомый народ, там пребывающий, все в настоящем времени: «суть горы заидуче в луку моря... секуть гору, хотяще высечися... помавають рукою...» и пр. (227). Затем изложение переходит к деяниям героя на этой территории, — уже в прошедшем времени: Александр Македонский был здесь, «взыде на всточныя страны до моря... и виде ту человекы нечистыя» и т. д. Затем затрагивается и время до Александра Македонского (плюсквамперфект): рассказывается о сложившихся обычаях этого народа.

Подобные повествовательные структуры, правда, в кратком виде, использовались и в других памятниках. Например, в «Хождении» игумена Даниила в Палестину начала XII в. (1104 1106 гг.). Описание местности в настоящем времени: «И ту есть место на пригории»; рассказ о деяниях героя в этих местах — в прошедшем времени: «На то место притече скоро святая Богородица… глаголаше… и узре… и согнуся…»; заход в еще более глубокое прошлое: раскрывается «пророчество Симеона, яко *прежь* рече святей Богородици»[15].

Скорее всего, то была старая повествовательная традиция углубления от настоящего в далекое прошлое. Ведь даже в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия присутствовала та же структура изложения. Например, описание местности у Иерихона в настоящем времени: над городом «стоить гора… противу же еи стоит гора… межи тема горама есть поле… Въ Ерихоне же есть кладязь…»; затем история в прошедшем времени: «Тъ же градъ Исусъ, Наввинъ сынъ… добы копиемь…»; затем — предыстория: «О томь же кладязи слово есть, яко *древле*…» и т. д. (345).

Предполагаемый первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» вполне вписывается в эту повествовательную традицию. Напротив же, дошедший уже со вставками позднейший текст «Слова» с его, как получилось в итоге, многоступенчатым углублением в историю — от географического настоящего ко Всеволоду Большое Гнездо, Юрию Долгорукому, Владимиру Мономаху, Ярославу Мудрому структурно совершенно необычен и находится вне традиции. Сравнительно большая вставка, пожалуй, сама была составлена по традиционной схеме, повторила хронологически трехступенчатую структуру изложения (настоящее — Всеволод отец его Юрий), принятую в первоначальном тексте «Слова» (настоящее Владимир Мономах Ярослав Мудрый) и тем самым усложнила изложение в целом, — так можно объяснить нынешнее состояние «Слова о погибели», исходя из предположения о том, что могло существовать первоначальное его ядро, или первоначальная редакция, или произведение более раннего автора.

По сохранившимся отрывкам можно определить **время** появления этого гипотетического **первоначального текста** «Слова о погибели Русской земли». Как уже говорилось, описывать благополучие Русской земли (это первый отрывок первоначального текста) было уместно в один из двух периодов: или в первой половине XI в., либо полувеком позднее с начала XII по начало XIII вв. Первый период, скорее всего, отпадает, и вот почему. Ведь в «Слове о погибели», в третьем отрывке первоначального текста, сказано: «А *в ты дни* болезнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера…». Выражением «в ты дни» (часто с глаголом «быти») в памятниках авторы обычно обозначали далекое прошлое. Например, в текстах «Успенского сборника»: «лето въторое царствующю Декию… Бе некто *въ ты дни* мужь сановитъ…» (177. Мучение святого мученика Христофора), — речь шла о далеком времени римского императора Деция. Или: «*Въ ты же дни* бяше начальникъ священникомъ… правоверьныи обьщии отець нашь Герьманъ», «*въ ты же дни* нечьстивыи Анастасии нечьстивьно нача дерьжати священьство» (250, 251 252.

Житие мученицы Феодосии, «мучене при Констянстине Кавалине»), — о времени византийского императора Константина Копронима. Выражением « въ ты годы» также обозначалось давнее прошлое. Так, в «Чтении о Борисе и Глебе» XI — начала XII вв.: «Бысть бо, рече, князь *въ тыи годы*… именемь Владимеръ»[16], — автор вспоминал о деятельности Владимира Крестителя, прежде чем перейти к его детям. И вообще, выражением «въ ты…» во временном значении обозначалось давно прошедшее время, плюсквамперфект, какие бы существительные ни употреблялись. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «То было *въ ты* рати и *въ ты* плъкы» (48), — поминаются войны и походы давнего XI в. По-видимому, и в «Слове о погибели Русской земли» выражение «в ты дни» (глагол «быти», очевидно, подразумевался) указывало на давно прошедшие для автора времена «от великаго Ярослава и до Володимера» XI — начала XII в. (если только «в ты дни» не позднейшая вставка). Так или иначе, но имеется повод для догадки о том, что предполагаемый первоначальный текст «Слова о погибели» мог появиться не ранее XII — начала XIII в.

Эту датировку подтверждают аналогии основным литературным мотивам в рамках первоначального текста «Слова». Аналогии обнаруживаются именно в памятниках, не переступивших за начало XIII в. Часть аналогий уже была приведена выше. Добавим еще.

Первый отрывок первоначального текста — описание красот Русской земли — имеет сравнительно богатую аналогию с началом же «Шестоднева» Иоанна Экзарха, хорошо известного на Руси уже в XI в. «Слово»: «…украшена земля Руськая… реками и кладязьми… горами… холми… дубравоми… птицами бещислеными… винограды… — всего еси испольнена…». «Шестоднев»: «небо… *украшено*… и земля садом и *дубравами*… и *горами*… и *рекы*… рыбами *испълнены*», «*рекы*… и *кладеци*» (колодцы), «*дубравы* и… *горы*», «*птице* еже *бечисмене*» (бесчисленные)[17]. Характер сходства элементов перечисления в обоих памятниках указывает на то, что тут «Слово о погибели Русской земли», конечно, восходило не непосредственно к «Шестодневу», а к очень старой традиции описания природы, когда вкупе обычно упоминались украшенность, наполненность, земля, реки, колодцы и источники, горы, холмы, дубравы, сады или «винограды», птицы…

Поэтому не удивительно, что природоописательные аналогии «Слову» обнаруживаются и в других, но тоже древних, предшествовавших «Слову о погибели» произведениях, как например, в «Слове о десяти девицах» Иоанна Златоуста (один из его списков находится в «Успенском сборнике»): «тъ бо… *украшеныи* ликъ звездныи основа… *землю напълни*… *горы*, и *дубравы*, *хълмы*, источъники… *рекы*… роды садовьныя» (315). Слабую аналогию этой последовательности описания элементов ландшафта в «Слове» можно найти также в «Хождении» игумена Даниила: «ни *рекы*, ни *кладязя*… несть… Суть *винограда* мнози…», «несть *рекы*… ни *кладязя*… в *горах*…» (48, 58).

В произведениях же конца XII—XIII вв. специальных описаний природы, подобных «Слову о погибели», уже не встречается, и лишь иногда почти неузнаваемые сочетания знакомых элементов попадаются в отрывках на совершенно иные

темы. Например, в «Слове о полку Игореве»: «наступи на *землю* Половецкую, притопта *хлъми*... взмути *реки* и *озеры*» (50). Или совсем в метафорическом значении в «Молении Даниила Заточника»: «Зане князь щедръ, аки *река*, текуща... сквози *дубравы*... А бояринъ щедръ, аки *кладяз сладокъ*»[18]. Но все это в лучшем случае только отзвуки старой природоописательной традиции, к которой гораздо ближе оказывается «Слово о погибели Русской земли», возможно, оттого что оно появилось еще до конца XII в.

Второй отрывок первоначального текста «Слова о погибели», посвященный Владимиру Мономаху, тоже перекликается именно со старыми памятниками. Так, мотив страха всех стран, включая «поганых», перед Владимиром Мономахом разрабатывался кроме «Слова о погибели» только в особых летописных похвалах Мономаху под 1125 г. в «Лаврентиевской летописи» и под 1126 г. в «Ипатьевской летописи». Вошедший в похвалу Мономаху мотив металлических ворот, которыми отгораживаются или отгораживают от опасности (в «Слове» это «угры (венгры) *твердяху каменыи городы железными вороты*, абы на них великыи Володимеръ тамо не вьсехалъ») в XIII в., насколько нам известно, не встречается, а имеет некоторую аналогию только раньше, в «Ипатьевской летописи» под 1201 г., где напоминается какая-то старая легенда, посвященная «Мономаху, погубившему поганыя... половци, изгнавшю... за Железная врата» (716); вне связи с Мономахом железные врата упоминаются фразеологически сходно в «Хождении» игумена Даниила: «сделано есть около *градом каменым твердо, врата же* имат *железна* град-от» (96); еще одна относительная аналогия, но уже с медными вратами, извлекается из «Повести временных лет» под 1096 г., где пересказана древняя легенда о «нечистых народах», которые «заклепени» Александром Македонским в горах: «и ту створишася врата медяна и помазашася сунклитомъ... ни огнь можеть вжещи его, ни железо его приметь» (228). Так что повествование о Владимире Мономахе как первоначальное ядро «Слова о погибели Русской земли», пожалуй, обладает чертами древности XI XII вв.

Правда, не все мотивы в пределах первоначального текста «Слова о погибели» подтверждают его древность, но только из-за того, что они не находят параллелей в древнейших памятниках; зато параллели дошли в несколько более поздних произведениях. Например, высказывание о «немцах» в «Слове о погибели» «далече будучи за синимъ моремъ» соотносится со «Словом о полку Игореве», в котором неоднократно упоминается «синее море» (49, 50, 51, 54); выражение «далече будучи» в «Слове о погибели» перекликается с выражением «далече залетело» в «Слове о полку Игореве» (47); а глагол «будучи» в значении «находясь» неоднократно употребляется в «Слове о полку Игореве»: «прелетети издалеча... Аже бы ты былъ», «не бысть ту (тут) брата», «князю Игорю не быть» (в плену) и пр. (51, 53, 55). Знаменитое восклицание «Слова о погибели» «О, светло светлая... земля Руськая... всего еси испольнена...» сходствует с не менее знаменитым восклицанием «Слова о полку Игореве» — «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!»

(46, 47), а также со словосочетанием «светъ светлый» (46). Однако эти параллели в «Слове о полку Игореве» настолько дробны в каждом случае, что заставляют предполагать не влияние одного произведения на другое, а общую ориентацию обоих памятников на какую-то древнюю литературную традицию, но бóльшую близость к ней все-таки «Слова о погибели Русской земли».

Представить в цельном виде эту литературную традицию XI XII вв. мы пока не можем, но разрозненные отголоски ее, сходные с мотивами и фразеологией «Слова о погибели Русской земли», можем указать, кроме «Слова о полку Игореве», и в некоторых более поздних памятниках. Например, в торжественном слове Моисея Выдубицкого, помещенном под 1199 г. в «Ипатьевской летописи», восхваляется киевская «держава», которая «не токмо и в Рускых концехъ ведома, но и сущимъ в море далече» (713. Ср. в «Слове о погибели»: «далече будучи за… моремъ»). В «Похвале роду рязанских князей», заключающей «Повесть о разорении Рязани Батыем» в 1237 г., сказано, что рязанские князья у греческих ца рей «дары… многи взимаша»[19] (ср. в «Слове о погибели»: император «цесарегородскыи… великыя дары посылаша» ко Владимиру Мономаху). Но, опять-таки, «Слово о погибели» богаче сочетаниями древних элементов, чем эти памятники. Все это позволяет относить первоначальный текст «Слова о погибели» ко времени даже ранее конца XII в.

Больше того, характеристика Мономаха как главное содержание второго отрывка первоначального текста побуждает резко сузить его датировку. Такая обобщающая похвала деяниям Мономаха могла появиться, вероятно, лишь после его смерти, то есть не ранее 1125 г., но не позднее второй четверти XII в., пока в Киеве правили поочередно его сыновья. Отсюда и первый отрывок первоначального текста можно также отнести ко второй четверти XII в., ибо благополучие всей Русской земли допустимо было превозносить хотя и после смерти Владимира Мономаха, но, пожалуй, до разгрома Киева в 1169 г. Андреем Боголюбским. Подчеркнем, правда, еще раз, что не обнаруживается никаких определенных следов существования «Слова о погибели Русской земли» в XII в., тем более в первой половине XII в., и предположение о первоначальном виде «Слова» остается лишь гипотезой.

В целом, мы еще яснее видим, что история «Слова о погибели Русской земли» свелась к погибели самого «Слова». Первоначальный текст «Слова», появившийся во второй четверти XII в., претерпел замены и вставки лет через 100, не ранее второй трети XIII в.[20]; этот новый текст XIII в., в свою очередь, был подвергнут разрушительной экзекуции, по догадкам исследователей, то ли вскоре, в 1263 1283 гг., то ли только через 200 лет, в 1450 1480-е годы, и в качестве строительного материала оказался присоединенным к «Житию Александра Невского», вне которого мы «Слова о погибели» и не знаем. Однако, как можно убедиться, есть некоторые основания для того, чтобы представить первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» как самостоятельное произведение предшественника «Слова о полку Игореве».

Примечания

[1] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 21 44.

[2] Обзор датировок и уточненную датировку см.: *Горский А. А.* Проблемы изучения «Слова о погибели Русской земли». (К 750-летию со времени написания) // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 19, 23 33.

[3] См. снимок рукописи: *Лопарев Х.* Слово о погибели Руския земли: Вновь найденный памятник литературы XIII века. СПб., 1892. С. 25 27. Далее текст «Слова» цитируется по изданию: *Бегунов Ю. К.* Указ. соч. С. 154 155.

[4] Обзор точек зрения на понятие «погибель» и уточнение его смысла см.: *Горский А. А.* Указ. соч. С. 20 23; *Бегунов Ю. К.* Указ. соч. С. 114 117.

[5] Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. СПб., 1897. С. 157, 212, 220, 221, 247, 253, 254. Далее страницы указываются в скобках.

[6] Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. С. 48. Далее страницы приводятся в скобках.

[7] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI XIII веков. Л., 1968. С. 107, 104.

[8] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Т. 1. С. 199, 202. Далее страницы указываются в скобках. Благодарю В. А. Матвеенко за указание словоупотребления в этом памятнике.

[9] *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 444. Далее страницы указываются в скобках.

[10] Повесть Поливия о скончании живота Епифана Кипрского // Успенский сборник XII XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 278. Далее страницы указываются в скобках.

[11] Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI XII вв. / Изд. подгот. И. Н. Лебедева. Л., 1985. С. 155. Далее страницы указываются в скобках.

[12] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1976. С. 67.

В «Ипатьевской летописи» под 1111 г. встречается самое раннее перечисление стран как будто бы по дуге: «ко всимъ странамъ далнимъ рекуще: къ грекомъ, и угромъ, и ляхомъ, и чехомъ, дондеже и до Рима пройде» (ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 273). Но есть сомнения в раннем происхождении этой летописной статьи и данного перечисления: предполагаются «здесь безусловные следы редакторской работы середины или второй половины XIII в.» (*Никитин А. Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 71). Столбцы цитированного издания «Ипатьевской летописи» далее указываются в скобках.

[13] См.: *Бегунов Ю. К.* Указ. соч. С. 118 119.

[14] В дошедшем тексте «Слова» первый отрывок первоначально текста от слов «О светло светлая…» до слов «…о правоверьная вера хрестияньская»; второй отрывок от слов «Володимеру Иманаху, которымъ то половоци…» до слов «…бортьничаху на князя

великого Володимера»; третий отрывок — «А в ты дни болезнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера».

[15] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. М., 1980. С. 38. Далее страницы указываются в скобках.

[16] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 4.

[17] Шестоднев, составленный Иоанном ексархом болгарским / Текст памятника подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. М., 1879. Кн. 3. Л. 1, 3, 5, 5об.

[18] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. С. 392.

[19] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1981. С. 200.

[20] В частности, в первоначальный текст, изъеденный заменами и вставками, было вставлено и именование «жюрь Мануилъ цесарегородскыи», который якобы опасался Владимира Мономаха. На самом же деле, так странно названный византийский император Мануил Комнин правил гораздо позже Владимира Мономаха, в 1143–1180 гг., и к Владимиру Мономаху не имел отношения (см.: *Лопарев Х.* Указ. соч. С. 13–15).

Наверняка в «Слове» имелся в виду «*кюрь* Мануилъ». В рукописи XV в. в слове «жюрь» буква «ж» написана неуверенно, выглядит очередной опиской писца и может быть прочтена как «ік» (то есть: «и и кюрь»). В рукописи XVI в. это место совсем искажено: «и иже Рамануилъ царьгородский» (см.: *Бегунов Ю. К.* Указ. соч. С. 156). О вставке упоминания Мануила как будто свидетельствуют лексические аналогии из других памятников. Слово «кюрь» («кюр, кир» — господин) в летописных текстах стало употребляться, кажется, лишь с начала XIII в. (в «Лаврентьевской летописи» — под 1207–1208, 1217 гг.; в «Ипатьевской летописи» — под 1237 г.).

Византийский император в «Слове» назван по главному городу страны «цесарегородскыи», а не как обычно — «греческий», и это опять ведет к XIII в. Ср. именование иностранных правителей в «Ипатьевской летописи»: «цесарь великыи Филипъ *Римьскыи*» (723. Под 1207 г.); «Иродъ *Ерусалимъскыи* и Неронъ *Римъскыи*» (869. Под 1269 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Куда нас заводит изучение поэтики древнерусской литературы XI XIII вв.? Мы наталкиваемся на не очень исследованную проблему: творческая личность в раннем Средневековье. И вот что любопытно: господство канона и традиций в средневековой литературе не отменяет успешной деятельности творческих личностей в ней. Нельзя ли в таком случае распознать по-настоящему творческие личности в ряду писателей и книжников древнейшего периода русской литературы? Фактически они уже давным-давно указаны, именованные и анонимные, во многочисленных историях древнерусской литературы, и наша задача заключается в более углубленной характеристике творчества этих личностей по текстам их произведений. Вот когда пригодится «микропоэтика» в своем роде «нанотехнология» литературоведческого анализа.

И микропоэтика, и макропоэтика литературы позволяют различить разные стороны творческой личности, потому что писатель может представать и как художественный талант, и как идеологический талант, и как литературно-повествовательный талант. Мы зададимся самым интересным вопросом: можно ли найти художественный талант, то есть наделенность воображением и эстетическим чувством, среди древнерусских писателей XI — начала XIII вв.?

Для предварительного ответа на этот вопрос полезно начать исследование с писателей XVII в., с протопопа Аввакума, художественное начало в сочинениях которого сейчас общепризнанно.

Ограничимся лишь одним эпизодом из многочисленных рассказов Аввакума о расправах над ним различных «начальников». В «Житии» Аввакума содержится яркий рассказ, который обычно не комментируется исследователями в виду его полной понятности: «Та же ин начальник, во ино время, на мя рассвирепел, прибежав ко мне в дом, бив меня, и у руки огрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне»[1] (это произошло, вероятно, в 1647 г. в селе Лопатищи Нижегородского края[2]).

Если типичным для Аввакума было общее представление о противниках как о грызущих собаках (особенно в редакции В его «Жития»: «грызутся еретики, что

собаки» — 43; «грызлися, что собаки, со мною власти» — 59), то в рассматриваемом рассказе Аввакум перенес на человека уже несколько предметных признаков пса, и «начальник» как бы превратился в рассвирепевшего здоровенного пса, который своими зубами-клыками вгрызается («огрыз») в руку, в персты Аввакума. В этой лапидарной картинке ударными для Аввакума послужили две детали: впившиеся зубы Аввакум упомянул дважды, а пострадавшую руку — трижды, которые так и стоят перед глазами читателя.

Кроме того, картинка обогатилась еще одним элементом — упоминанием кровопролития у жертвы нападения. Аввакум в своих сочинениях обычно подчеркивал обильность такого жертвенного кровопролития (например, в «Житии»: «светлую Росию… очервленит ю кровию мученическою» — 53; в «Книге бесед»: «руская освятилася земля кровию мученическою» — 95; в «Книге толкований»: «крови неповинныя реки потекли» — 106; «кровь беспрестанно льется» — 108; и мн. др.), однако в рассматриваемом рассказе появился уже пес с пастью, обильно наполненной кровью («наполнилась гортань ево крови»).

Сценка эта была пронизана у Аввакума двойным чувством. С одной стороны, высоким горестным чувством по отношению к себе, которое протопоп, приступая к циклу рассказов о притеснениях от «начальников», точно выразил цитатой из Псалтыри: «объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя: скорбь и болезнь обретох» (24)[3]; а в рассказе о данном «начальнике» трагичность этой сценки обозначил тем, что пасть или горло пса по-библейски назвал «гортанью». С другой же стороны, Аввакум выразил насмешливое презрение к этому оголтелому, совершенно непотребному псу-«начальнику»: «Он меня *лает*, а ему рекли: "Благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!"».

В итоге, в данном эпизоде мы обнаруживаем факт несомненного образного творчества Аввакума. Однако тут Аввакум вряд ли ставил перед собой осознанную цель обязательно художественно отобразить реальное событие. Ведь для этого его описание слишком кратко и неразвернуто. Просто в рассказе отразилась исконная художественность натуры Аввакума, которая время от времени, особенно в неофициальной обстановке и в неофициальном окружении, приводила его к мимолетному образному повествованию.

Даже позднейшим читателям «Жития» его художественные красоты были ни к чему, и поэтому, например, в послеаввакумовской редакции «Жития» (XVIII в.) рассказ о кусачем «начальнике» был грубо сокращен в одну фразу: «И паки инсильник нападе на мя и отгрыз, бьючи, зубами мои руки»[4].

Таким образом, можно предположить, что эстетически лучшее у Аввакума и в литературе XVII в. — это эпизодические, то более, то менее частые проявления мимолетного художественного (изобразительно-экспрессивного) творчества, зависевшие, в первую очередь, от стихийной художественной одаренности авторов.

Но ведь художественные натуры существовали всегда. Видимо, им было дано проявляться не в книжности тех веков, а, может быть, в фольклоре, а еще чаще в

устной речи. О художественных и литературных талантах Древней Руси еще многое предстоит сказать.

Примечания

[1] Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст «Жития» подгот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979. С. 24. Далее по этому изданию указываются в скобках страницы «Жития» и иных произведений Аввакума.

[2] Комментарий к «Житию» / Сост. В. Е. Гусев и Н. С. Демкова // Там же. С. 269 270.

[3] Комментарий к «Житию». С. 270.

[4] Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст Прянишниковского списка подгот. В. И. Малышев. М., 1960. С. 312.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Древняя Русь в новейшей русской поэзии*

В предлагаемом обзоре (о судьбе древнерусских мотивов в наше время) мы рассмотрим русскую поэзию постсоветского периода 1992–2007 гг., то есть поэзию за последние 15–16 лет. Так как за этот, казалось бы, не такой уж большой промежуток времени было написано неисчислимое количество стихотворных произведений, то мы посчитали целесообразным просмотреть лишь более или менее представительную часть общего целого, а именно — поэтические циклы или подборки в некоторых московских толстых журналах, охотно собирающих со всей России и печатающих новые стихотворения на древнерусские темы («Наш современник» и отчасти «Москва»).

В получившемся беглом обзоре анализируются прямые стихотворные высказывания поэтов, как подробные, так и краткие, но только непосредственно о древнерусских лицах и событиях. Прочее остается вне рассмотрения: не дается оценки каждого стихотворного произведения в целом — не наше это дело; не обозреваются иные темы, отличающиеся от названной, — фольклорные, религиозные и библейские мотивы новейшей русской поэзии; не привлекаются к обзору и стихотворные переводы и переложения древнерусских памятников, когда отношение нынешнего поэта к Древней Руси выражается лишь очень скрыто.

Поэтический материал располагается нами по исторической хронологии затрагиваемых тем; в каждом случае определяется степень распространенности соответствующих мотивов в новейшей русской поэзии, по мере возможности указываются использованные поэтами древнерусские источники и — главное — направление их переработки поэтами. Обобщения следуют в конце обзора.

Апостол Андрей Первозванный

Апостол Андрей, о путешествии которого из Крыма к месту будущего Киева и к новгородским словенам рассказывается в самом начале «Повести временных

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-04-00544а.

лет», является редким персонажем новейшей русской поэзии. Лишь однажды апостола Андрея упомянул *В. И. Шемшученко* в своем стихотворенном цикле «Взыскующего небо сохранит», когда воспевал Тамань:

Я не знал, что Андрей Первозванный
Здесь из греков в варяги прошел
(«Москва». 2005. № 10. С. 85).

Мифическим сообщением о том, будто бы апостол Андрей посетил Тамань, поэт, услышав какую-то местную легенду или прочитав некую краеведческую работу, смело дополнил летопись в целях придания Тамани более высокого исторического статуса.

Древние племена

Славянские племена — тоже редкий объект новейшей русской поэзии. Для одних поэтов — это, так сказать, «вкусные», исполненные значительности названия, как например, для *А. В. Шацкова* в цикле «Высокое мгновение», в стихотворении «Рождественское»:

Кривичи, радимичи и вятичи
По деревням, селам, городам
(«Наш современник». 2005. № 12. С. 38).

У других поэтов — это повод для несколько раздраженного этнографического суждения, как например, для *В. В. Брюховецкого* в стихотворении «Эта прошлая жизнь…»:

О, бесстыжая Русь! Сплав сармата с тунгусо-эвенком
(«Наш современник». 2006. № 4. С. 68).

Аналогичную мысль, но уже в форме шутливого каламбура высказал *А. Горшков*:

Новгородец, живший возле чуди,
Сам на чудей смахивал чуть-чуть
(«Наш современник». 2004. № 10. С. 156).

За всем этим присутствует внушаемое поэтами представление о множестве, распространенности и многоликости славянства.

Кирилл и Мефодий

Поминание просветителей славян в новейшей русской поэзии немного чаще встречается сравнительно с иными темами, имеющими отношение к Древней Руси. Для поэтов Кирилл и Мефодий — это неясно представимые составители ясно представимой славянской азбуки. Один из поэтов попытался изобразить процесс создания и обучения этой азбуке, конечно, исходя из самых общих знаний о

роли Кирилла и Мефодия, которые у него остались почти бесплотными фигурами. *Ю. М. Ключников* в цикле «Жива земля, пока жива Россия», в стихотворении «Аз есмь» торжественно провозгласил:

Когда облечься письменною плотью
Пришел душе славянской звездный час,
Ту плоть Кирилл и брат его Мефодий
Определили первой буквой —
«Аз».
— Аз есмь — мой предок тонкой вывел кистью
(«Наш современник». 2004. № 10. С. 113).

Автор стихотворения представил составление славянской азбуки, пожалуй, как публичное зримое действо, и поэтому у него славянская душа облекается видимой плотью письмен, а ученик или писец выводит слово, правда, не пером на пергамене, а тонкой кистью, — следовательно, то ли на иконе, то ли на фреске.

Другие авторы довольствовались еще более расплывчатыми, но по-прежнему энергичными риторическими обозначениями вселенского значения подвига Кирилла и Мефодия. Вместо звезд («звездный час») участником деяний становилось солнце, как например, в стихотворении *В. Ф. Терехина*:

Солнечным светом наполнить глагол
Призваны были Кирилл и Мефодий
(«Наш современник». 2004. № 6. С. 43).

Или вообще на звуки, время и пространство воздействовала славянская азбука у того же В. Ф. Терехина в стихотворении «Колокол» из цикла «Чем успокоится душа»:

«Громче» — попросил Мефодий.
«Звонче» — подхватил Кирилл.
Сдвинуть время и пространство
Смог славянский алфавит
(«Наш современник». 2006. № 7. С. 29).

Тут Кирилл и Мефодий, возможно, невольно для автора, стали напоминать участников бойкого музыкального ансамбля.

У вышеупомянутого же В. И. Шемшученко эмоция противоположна бравурному настрою: Кирилл и Мефодий превратились в печальные символы несправедливо забытой культуры — в цикле «Родные мои пеньки», в стихотворении «Ветеран» о том,

Что Мефодий забыт и Кирилл,
Что нет места в стихах для иконы
(«Наш современник». 2004. № 4. С. 38).

О них поэт горестно напомнил нашим забывчивым современникам.

Языческие божества

Древнерусские языческие божества поминаются современными поэтами и, как правило, с уважением и даже симпатией. Так, *Д. Коротаев*, явно знакомый с перечнем языческих богов в «Повести временных лет» под 980 г. и, вероятно, с наставлениями Владимира Мономаха в его «Поучении», причудливо переосмыслил роль идолов и представил их как надежных спутников и помощников славян, даже как почти христианских борцов с сатаной:

Мой предок был и груб, и нагл,
Но равно — честен и умен,
И твердо вел его Симаргл
По темной лестнице времен.

Он делал только то, что мог.
Знал меру в лени и еде.
И привередливый Дажьбог
Не оставлял его в беде.

Он пел, эол гуслярских струн,
А если был черед войне —
Его копье держал Перун
И метко бил по Сатане

(«Наш современник». 1994. № 9. С. 109).

Вполне достойное прошлое. Только непонятно, почему Дажьбог назван привередливым.

Та же тенденция оправдания и возвеличения языческих богов, но с еще более явственной ориентацией автора на «Слово о полку Игореве», проявилась в стихотворении *А. Гребнева* «Заповедная тишина»:

И славой опять заклубится дорога
Испытанных битвами внуков Стрибога!
И грозные в небе замолкнут перуны.
И песню ударят Бояновы струны!

(«Москва». 1997. № 10. С. 18).

В грозное славословие проникли и многочисленные странности. Например, почему русское войско поэт назвал внуками Стрибога, бога ветров, в то время как в «Слове о полку Игореве» русские названы внуками (то есть потомками) Даждь-Бога, а ветры, названные внуками Стрибога, выставлены силой, враждебной русским? Видимо А. Гребнев ориентировался на наше современное вполне положительное сравнение «быстрый, как ветер» и перенес положительную эмоцию на внуков Стрибога, не очень отчетливо помня «Слово о полку Игореве».

Явную симпатию к язычникам проявил *Е. Н. Семичев* в цикле «Я без души не лезу в драку». Киевский князь Владимир Святославович приказывает скинуть Перуна в реку, а уклончивые киевляне жмутся:

— С кручи в Днипро опустите его,
Яко гнилое полено.
— Солнышко-князь! Мы и так, и тово…
Море ему по колено.
(«Наш современник». 2001. № 9. С. 66).

Если не по букве, то по духу это соответствует рассказу летописца под 988 г., который все же сочувствовал киевлянам, застигнутым врасплох страшным приказом князя.

Языческие боги стали вызывать откровенно лирические чувства у некоторых поэтов. Например, *О. Старостина* в стихотворении «Перун», переосмыслив новгородское предание, изобразила этого идола неуклюжим, но вызывающим жалость существом, пострадавшим от принятия христианства новгородцами:

Как столкнули в Волхов его дубовую тушу,
И поплыл идол, да не вниз по реке, а в гору,
К Ильмень-озеру выплыл да там и вышел на сушу,
Деревянные стопы правя к дремучему бору
(«Наш современник». 1997. № 8. С. 96).

Увлекательно, неправда ли, заняться поисками его останков или того места?

А другой поэт — *Н. Сербовеликов* в книге «Врозь живем на свете этом…» (М., 2000) — высказал надежду найти покой и уют у языческого капища:

И однажды в мире сем подлунном
я желал бы наконец проснуться
и открыто к капищу Перуна,
как домой, на родину вернуться
(С. 31. Цитируется по кн.: Казначеев С. М. Современные русские поэты: Этюды. М., 2006. С. 296).

Все это не неоязычество на полном серьезе, а попытки поэтов найти моральную основу современной жизни в далеком и, как им кажется, идеальном прошлом.

Олег Вещий

Вопреки нашему ожиданию, киевский князь Олег довольно редко и невнятно упоминается современными поэтами, обычно припоминающими на тему об Олеге стихи Пушкина, а не летопись. Так, *В. И. Кочетков* в цикле «Дойти до своих», в стихотворении «Советники» упомянул «глупых хазар, разбитых славянским кону́нгом Олегом», который предстает как «воинственный Рус с отважной дружиною светловолосых» («Наш современник». 1997. № 2. С. 6). Но в «Повести временных лет», уважительно относящейся к хазарам, нет сообщений о войнах Олега с хазарами (их разгромил Святослав) и не употребляются отрицательные эпитеты по отношению к хазарам. В. И. Кочетков, ценящий в первую очередь воинственность Олега, явно воспользовался «Песнью о вещем Олеге» А. С. Пушкина, а так-

же откуда-то вычитанными историческими сведениями о варягах, но свел все к одному к идеалу мужественности.

Соответственно, *И. Тюленев* не совсем «лепо» смешал очень смутные припоминания, заимствованные им из летописного рассказа под 907 г. о походе Олега на греков и из стихотворения А. С. Пушкина «Щит Царьграда», с собственными немотивированными фантазиями:

Я вспомню день, когда я был народ,
Когда к Босфору прибивал свой щит.
Сидел на стругах древнерусский флот.
… … …
В Олегов щит бью пикою своей,
Чтоб затупить на брата острие
(«Наш современник». 1997. № 7. С. 9).

В летописи Олег *повесил* свой щит во вратах Царьграда, у Пушкина не совсем точно: *прибил*. То, как можно прибивать щит к морскому проливу Босфор, вообще вообразить невозможно. Кроме того, флот Олега, по летописи, состоял из кораблей, а воины были вооружены копьями. У И. Тюленева же это войско больше похоже на гораздо более позднее, — казачье: сидит на стругах и с пиками. Наконец, битье по щиту, чужому или своему, а также затупление оружия никогда не служило символом примирения с врагами или отказа от междоусобиц в Древней Руси. В результате мешанины понятий и некоторой бессмыслицы в стихотворном повествовании образ Олега отсутствует у автора, а облик иступленно-лирического героя стихотворения приобретает комичный истерический оттенок, вовсе не предусмотренный патриотичным автором.

Символические высказывания поэтов, упоминающих Олега, содержат еще большую, хотя и менее заметную мешанину понятий. Например, *Д. Е. Кан* в цикле «Славяне, обреченные на славу…» оперировала следующими символами:

Но в дни затменья да пребудут с нами
Олега щит и Святослава меч
(«Наш современник». 2004. № 8. С. 119).

Упоминание затмения, конечно, соотносится со «Словом о полку Игореве», а упоминания Олега и Святослава отсылают нас к летописи. В контексте стихотворения затмение у поэтессы символизировало несчастье, нападение врагов, а щит и меч — охрану, оборону от напавших. Олег же и Святослав символизировали успешных древних защитников Руси.

Однако тут в который раз можно заметить типичные смещения в неотчетливой исторической памяти поэтов. В летописи щит Олега был связан с его нападением на Царьград, а не с защитой Руси. Точно так же меч Святослава, не любившего Русскую землю и перенесшего свое княжение в Болгарию, тоже был связан с его нападением из Болгарии на Византию, а не с защитой Русской земли: подаренным мечом пытались подкупить Святослава греки, и он этот меч поцеловал из любви

к оружию вообще (в летописном рассказе под 971 г.); никакие другие мечи не сопрягались с деятельностью Святослава. Патриотизм поэтессы оказался основанным на грубых переосмыслениях источников, — все ради прославления военно-образцовой Древней Руси.

В стихотворении той же поэтессы, написанном несколькими годами ранее, наблюдаются еще более резкие смешения, — поступки Олега и Святослава перенесены на все древнерусское войско:

Ты на врата византийской империи
свой водружавшее щит.
… … …
Ты, целовавшее меч.
Русоволосое русское воинство —
буйные кудри до плеч.
Копья врагов о щиты затупившее.
… … …
непобедимая рать соколиная
(«Наш современник». 1999. № 7. С. 29).

Соколы — это уж из «Слова о полку Игореве». Однотипные прославительные детали кочуют по разным стихотворениям разных авторов.

Княгиня Ольга

Летописные рассказы под 945–946 гг. о княгине Ольге, разумеется, производят впечатление на современных русских поэтов, которые, если используют их, то переосмысляют до неузнаваемости, щеголяя оригинальностью переосмыслений. Так, *А. М. Макаров* в цикле «Любить не умею без веры», в стихотворении «Прикосновение», почему-то считая себя древлянином, проникся острой жалостью к древлянам, которым Ольга на самом деле умно отомстила за убийство своего мужа князя Игоря, и укорил якобы жестокого Нестора-летописца:

Простите Ольгу, недалекие древляне,
бросали в ямы вас, обманывали, жгли
… … …
О, как жестоко мстит убитый вами Игорь
… … …
Вот хаос птичьих стай: к хвостам их привязали
горящие труты…
… … …
Я летопись листал и слышал запах места,
я слышал рев огня и видел отчий дом,
который позабыл в строку поставить Нестор
(«Наш современник». 1993. № 2. С. 93).

Древляне, так сказать, жертвы центральной власти.

Аналогичную перестановку акцентов проделала и *С. Леонтьева* в цикле «Янтарная веточка», в стихотворении «Месть Ольги»:

Ни Ольги, ни древлян… Могилы молчаливы.
… … …
Сожжен Искоростень. А мести страшен свет.
… … …
… Но летопись читая,
по запаху страниц почуяла укор.
… … …
Горящий птичий хвост. Почти живой костер.
Не надо! Подожди!..
(«Наш современник». 1999. № 12. С. 145).

Здесь нет политического подтекста, просто жалко.

Еще одна женщина тоже пожалела деревлян, — *Н. Тимченко* в стихотворении «Завоеватель»:

Твое имя крестили
в реке славяне,
Твоих предков Ольга
сжигала в бане
(«Наш современник». 2002. № 7. С. 183).

Новые настроения имеют тенденцию быстро, как эстафетная палочка , распространяться среди современных поэтов.

Переосмысление другой темы, — крещения Ольги, — находим у *Н. Н. Егоровой* в цикле «Червонное солнце над миром звенит…», в стихотворении «Ольга»:

Пускай среди сосен и снега
Примером для северных стран
Покрестятся Днепр и Онега
Ледовым крещеньем славян.
… … …
И ты, ледяная княгиня,
Бобра и медведицы мать, —
Не местью своею отныне
Поставлена повелевать
(«Наш современник». 2004. № 8. С. 132–133).

Не вдаваясь в истолкование различных мелких намеков на летопись в стихотворении, обратим внимание на главное: крещение Ольги состоялось не в Русской земле, а в византийском Царьграде, и отнюдь не было таким по-зимнему холодным, грозным и даже зловещим, как это получилось у поэтессы. Но ведь поэтессе так хотелось показать тяжелую силу славянских деяний.

Рогнеда

Летописный сюжет о гордой полоцкой княжне Рогнеде Рогволодовне, которую киевский князь Владимир Святославович насильно взял себе в жены, убив ее родителей и братьев, лишь однажды использован в новейшей русской поэзии, — *Н. Н. Егоровой* в стихотворении «Рогнеда» из цикла «Под распевы древней литургии»:

Умчались по санному следу
Отец твой убитый и брат.
Ты входишь в преданье, Рогнеда,
В кровавой рубахе до пят.

Текут твои древние слезы
На алые нитки шитья.
… … …
И вьется судьба, словно нитка,
По краю волчаной дохи.
… … …
Ты мужу бросаешь: «Убийца!»
(«Наш современник». 1999. № 9. С. 94).

Н. Н. Егорова, несомненно, знакомая с «Лаврентиевской летописью», с ее материалами под 980 г. и 1128 г. (о Владимире и Рогнеде), а также под 1096 г. («Поучение» Владимира Всеволодовича Мономаха, содержащее символ похоронных саней), превратила известную легенду об оскорблении Владимира Рогнедой в красивую и благородную романтическую картину, во что-то вроде яркой цветной миниатюры, на века запечатлевшей «древние слезы» поруганной Рогнеды. Сочувствие чужой беде сейчас дорогого стоит. Поэтому жалеют и бедолаг-древлян, и поверженного Перуна.

Кроме того, имя Рогнеды используется поэтами для провозглашения идеи своеобразного интернационализма. Оттого, например, признал *В. Потапов* в стихотворении «Две крови»: «Я — сын Рогнеды и Хасана» («Наш современник». 2002. № 7. С. 180). Дело здесь не в именах, а в племенах, — славянском и тюркском. Но вот незадача: Рогнеда была варяжкой, а не славянкой. Неверная реалия подпортила высокую идею.

Крещение Руси

После гомерического славословия крещению Руси в юбилейные 1980-е годы русская поэзия примолкла на эту тему, и за последние годы можно указать лишь одно стихотворение, сравнительно подробно разрабатывающее этот неисчерпаемый сюжет, — «Крещение Руси» *Л. А. Сафронова* из цикла «Затаилась Русь святая»:

Из Корсу́ни князь Владимир
Едет, Богу рад.

В голове его решенье:
— Ой ты, гой еси!
Завтра ж сделаю крещенье
Киевской Руси.
… … …
За днепровским перевозом
Золоченый врун,
По воде плывет навозом
Сверженный Перун
(«Наш современник». 2006. № 6. С. 71).

Автор знает летописный рассказ под 988 г. о крещении Киева Владимиром Святославовичем, крестившимся перед тем в крымском городе Корсунь. Помнит и летописное повествование под 980 г. об оскорблении Владимира Рогнедой, назвавшей его сыном рабыни, и последующее обличение многоженца и прелюбодея Владимира летописцем. Поэт переработал летописные сообщения в близкий лубочному листу рассказ о бойком подвиге Владимира, изложенный бодрым, несколько насмешливо-раешным стихом. Многоженец полубылинный Владимир теперь думает иначе, чем язычник: «В голове теперь молитва за *одна* жена». Оскорбительно о Владимире теперь отзывается не Рогнеда, а некий иудей: «Ноне вылез в богомольца сын рабыни князь». Если подобные изменения, включая ругательные слова в адрес Перуна, можно объяснить строго соблюдаемой православной идеологической позицией автора, то отдельные детали вкрались в стихотворение по историческому недосмотру поэта: деревянный Перун не был золоченым идолом, у него лишь ус был золотым, а голова серебряной; кроме того, государем стали называть великого князя не ранее XV в., а термин «Киевская Русь» вообще не употребляли в Древней Руси, тем более во времена Владимира Крестителя. Перед нами типичная контаминация поэтом разновременных и неотчетливо помнимых реалий и понятий, которые могут сгодиться при передаче чисто условного, трафаретного представления о Древней Руси любого периода.

Ближайшее время после крещения Руси, возможно, имел в виду *А. С. Люлин* в стихотворении «Валаам» в цикле «Ты куда идешь, Ванюша?»:

На Ладоге белая пена…
По безголовым валам
Два инока Сергий да Герман
Заехали на Валаам.

И там, где молились карелы
Поганым замшелым богам, —
Вознес колокольные стрелы
Преображения храм
(«Наш современник». 2000. № 5. С. 64).

Поэт глухо упомянул легендарных основателей Валаамского монастыря грека Сергия и крещенного им местного карела, получившего после крещения имя Гер-

ман. Стихотворение является, пожалуй, не более чем туристической зарисовкой, передающей, если можно так выразиться, эколого-архитектурные впечатления уважительно настроенного посетителя этого места.

Борис и Глеб

Когда-то популярная тема об убийстве в 1015 г. князей Бориса и Глеба Святославовичей их единокровным (или двоюродным) братом Святополком Окаянным отозвалась в новейшей русской поэзии коротким публицистическим нравоучением в стихотворении *Г. Дубровина*:

Борис и Глеб —
Нам свет в дороге.

Их участь — пасть
От злого брата.
Мирская власть —
За низость плата
(«Наш современник». 1995. № 7. С. 52).

Намек на низость нынешних властей.

Мстислав

Тмутараканский князь XI в. Мстислав Владимирович, который назван «храбрым» в «Слове о полку Игореве» и о походе которого на касогов (адыгов) рассказано в «Повести временных лет» под 1022 г., удостоился единственной строчки в единственном стихотворении в цикле *Ю. Н. Беличенко* «Позднее время мое», в стихотворении «Тамань»: «Мстислав на касогов уводит полки» («Наш современник». 1997. № 3. С. 35). Даже в одной этой строчке просматривается тенденция поэта «усилить» древнерусского князя: ведь в летописи было упомянуто только два противостоящих полка — русский и касожский, а у Ю. Н. Беличенко Мстислав руководит уже многими полками.

Владимир Мономах

Самый знаменитый и благополучный великий киевский князь XII в. — Владимир Всеволодович Мономах — получил оценку в стихотворении *Е. Лукина* с затейливым названием «Застольная беседа с действительным тайным советником Гавриилом Державиным» (из цикла «Над крепостью гром с серебром пополам…»); всего одна строчка: «Над синею пропастью Русь удержал Мономах» («Наш современник». 1996. № 12. С. 161). Е. Лукин имел в виду сдерживание Мономахом княжеских междоусобиц; *синяя* же пропасть обозначала и реальную синеву глубокой горной пропасти, и, возможно, зловещую опасность, с которой ассоциировался синий цвет в «Слове о полку Игореве». Политическое предупреждение поэта и нам.

«Слово о полку Игореве»

Мотивы «Слова о полку Игореве», особенно из первой половины памятника, остаются популярными в новейшей русской поэзии. Чаще всего поэты пытаются вообразить сам процесс сочинения «Слова о полку». Так, *В. Подлузский* в цикле «На бересте лесов древнерусская вязь…» в стихотворении «Новгород-Северский поезд» нарисовал следующую картину:

На бересте берез древнерусская вязь.
Для потомков дружинников чудо не ново.
Сам Господь воссиял. Ни монах и ни князь
Не могли о Полку начертать это Слово.

Плыли буквы почти под лебяжьим пером.
Автор грешную землю пытался утешить
… … …
Русь пока без Москвы. Непридуманный Кремль,
Может быть, на пиру хочет выдумать Игорь.
… … …
Ярославна вот-вот зарыдает кукушкой.
Видит князь позади златокудрую рать…
(«Наш современник». 2005. № 11. С. 123).

Невнятность смысла и отрывочность исторических припоминаний поэта составляют главную черту этого стихотворения. В самом деле, не ясно, кто, по мысли В. Подлузского, создал «Слово о полку Игореве»: не монах и не князь, но сам Господь или некий автор-утешитель? Не ясно и то, как выглядело «Слово о полку»: то ли начертано-нацарапано на бересте, то ли писано пером, но в том и в другом случае никак не древнерусской вязью, вопреки утверждению стихотворца. И т. д. Поэт понадеялся, что многозначительной риторикой он придаст глубину своему произведению.

Другой поэт — *Е. В. Курдаков* — в цикле под названием «В мире никто над поэтом не волен» несколько яснее представил момент создания «Слова о полку Игореве»:

Когда затихли битвы и отшумели рати,
Ерей Ефоний, старец, настроил свой гудок:
— Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати…
И — молвил «Слово» павшим, а нам, живым, урок.
… … …
Давно за шеломянем земли родной преданья,
Напастьми и тугóю опять взошли поля.
… … …
…Каяла дышит слепо,
Мглой окрутили бесы, маня в Тьмутаракань
(«Наш современник». 1993. № 1. С. 58).

Неведомый иерей Ефоний провозглашен в стихотворении Е. В. Курдакова автором «Слова о полку Игореве», наверное, по версии какого-либо нынешнего любителя «Слова о полку» (таких любителей и версий множество). На этот раз, у Е. В. Курдакова, «Слово о полку» не записывается, а произносится древнерусским автором. В остальном же Е. В. Курдаков использовал излюбленный прием стихотворцев на темы «Слова», — скептически пофилософствовать о будущем Руси и о нашей современности, вплетая в свое риторическое повествование выражения и мотивы из «Слова о полку Игореве».

В подобный широкий исторический контекст, то страдательный, то мужественный, включают написание «Слова о полку Игореве» и прочие наши современные поэты, вроде *Е. Н. Семенова* (цикл «Я построил дом на своих костях»):

…Туда же на Калку-реку,
Смертно за Русскую правду сражаться,
Вещее Слово писать о Полку
(«Наш современник». 2000. № 10. С. 103).

В трех строчках — три века, с XI по XIII.

Другим мотивом, нередко затрагиваемым поэтами, является пение Бояна. Например, у *А. Иванова* Боян превратился во вселенскую фигуру в стихотворении «Соловецкий монастырь»:

С неба на землю нисходит Боян,
гуслями вечности души врачуя
(«Москва». 1955. № 5. С. 146).

Мотив струн, связанный с Бояном, также служит возвеличению России, — у *М. В. Струковой* в цикле «Все пройдет — а Россия останется»:

На нашей карте кресты и руны,
О нашей правде рокочут струны
(«Наш современник». 2005. № 10. С. 57).

В новейшей русской поэзии изредка используются и различные мелкие мотивы из «Слова о полку Игореве», — обычно в привнесенном поэтами минорном контексте. Звучит укор в стихотворении *Н. Кожевниковой* «К гербу»:

Мой храбрый русич!..
… … …
Тебе ли, ратнику, стыдиться
Щита червленого с копьем?
(«Москва». 1993. № 5. С. 40).

Далее. Чувствуется лирическая грусть в стихотворении *И. И. Переверзина* «Родина» (из цикла «Снова дождик прошел стороной»): «Там корни мои, там Карна и Жля» («Наш современник». 1995. № 3. С. 78). Или вдруг трагическим тоном поэт поминает деталь из «Слова о полку Игореве» — *В. А. Бердяев* в поэме «Псковский десант»: «И слезу изронил хмурый Тмутараканский болван» («Наш современник».

2004. № 5. С. 6). Примечательно, как действует на поэтов своего рода «память чувства» от давнего прочтения ими «Слова о полку Игореве»: именно зловещие или ставшие зловещими детали «Слова» горестно и страдальчески переосмысляются поэтами, но опять-таки для возвеличения своего отечества. Поэтому и в стихотворении *Н. Н. Егоровой* «Русиния» (цикл «Я покоряюсь логике вещей») печальный плач Ярославны безмерно ширится над миром:

Плач Ярославны — над Эгейским морем.
… … …
Зегзицей взвейся над земным шеломом
(«Наш современник». 2002. № 7. С. 118).

Михаил Черниговский

О Руси во время татаро-монгольского ига современные русские поэты почти не пишут. Иногда кратко помянут Евпатия Коловрата из «Повести о разорении Рязани Батыем» в 1237 г. Лишь один сюжет однажды привлек большее внимание поэта: *В. И. Кочетков* в цикле «Песни о вечной разлуке», в стихотворении «Михаил Черниговский» описал убийство черниговского князя Михаила Всеволодовича в Золотой Орде в 1246 г.:

Великий князь входил в шатер Батыя
с седою непокрытой головой.
… … …
И после злого, долгого молчанья
вдруг вскинул хан тигриные глаза.

Батый предложил Михаилу милость, но при условии

— коль ты моим поклонишься кумирам
и моему священному огню.

Михаил ответил Батыю:

— Твои кумиры только деревяшки.
Не дереву, а Богу я служу.

Тогда

как молнией сверкнули ятаганы,
и покатилась княжья голова
(«Наш современник». 1992. № 1. С. 92 93).

В итоге, по мотивам древнерусского «Сказания об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора» В. И. Кочетков написал балладу с неизбежными усилительно-романтическими деталями; на самом деле не известно, каков был возраст Михаила перед убиением и был ли он сед, как выглядел Батый в это время и т. д.

Открылась возможность для мешанины представлений. Ответ Михаила о кумирах-деревяшках отсутствует в «Сказании» и припомнен поэтом из «Повести временных лет» (обличение языческих идолов христианами под 983 и 986 гг.). Дальше — больше. По «Сказанию», один из русских предателей отрезал голову Михаилу и отбросил ее прочь. Но нашему современному поэту такой эпизод, по-видимому, показался роняющим честь Руси, и он заменил его сценкой, в действительности восходящей к гораздо более поздним временам: вроде бы турки с ятаганами напали на Михаила. И тут поэт невольно и сам уронил честь Михаила, потому что только об отрубленных головах врагов было принято говорить, что они покатились.

Куликовская битва

Куликовской битве 1380 г. современные русские поэты охотнее всего посвящают стихи. Поэтическое отражение получили, пожалуй, почти все основные этапы Куликовской битвы, известные стихотворцам из «Сказания о Мамаевом побоище», «Задонщины» или из учебников. Но не живописание непосредственно самого сражения сейчас интересует поэтов, а больше — моменты, предшествующие битве, или после нее. Вот эти этапы.

Сообщение вести. Вот Мамай пошел на Русскую землю, и — в стиле баллады:

С волчьих бродов несется усталый гонец
Упредить о нашествии Дмитрия-князя

(*Шацков А. В.* Предстояние. (Август 1380 года) // «Москва». 2005. № 8. С. 139; «Наш современник». 2005. № 12. С. 40).

Посещение Сергия Радонежского Дмитрием Донским перед походом. Оно публицистически переосмыслено современным поэтом:

новые Сергий и Дмитрий идут
для собирания отчей державы

(*Иванов А.* Соловецкий монастырь // «Москва». 1995. № 5. С. 146).

Выступление в поход, — все значительно:

Благоверного князя Димитрия
Лебединые кони летят.
… … …
Вот и принята схима Ослябею,
Надевает клобук Пересвет.
… … …
И, пятная дорогу подковою,
За Коломну, за Дон на рыси

Рать на поле идет Куликовое,
Вековечное поле Руси!
(*А. В. Шацков*. Сергий Радонежский // Москва. 1999. № 11. С. 118. Цикл «На поле Куликовом»).

Сбор войска. Один из поэтов представил себя в едином ратном ряду от Александра Невского до Дмитрия Донского:

Рядом с ратниками Александра
и в ряду Куликовских полков
(*Берязев В. А.* Псковский десант. Поэма // «Наш современник». 2004. № 5. С. 73).

Другой поэт тоже увидел себя в куликовском строю:

В Непрядве мое отраженье — в доспехах.
Его я увидел, и сразу окреп
(*Штубов В.* Непрядва // «Москва». 1994. № 12. С. 124. Цикл «Время древнее, былинное…»).

Еще один поэт отразился в Непрядве, правда, не испытывая восторженной уверенности в своих силах:

увидеть свое отражение средь пешая рати
Димитрия — русские двинулись в путь
к Непрядве…
Кольчужка дырява, но я не сробею в той битве
(*В. М. Башунов*. Молитва Сергия // «Москва». 1999. № 10. С. 84. Цикл «Корни»).

Перенесение себя на Куликово поле и в те времена, кажется, стало для поэтов неким общим местом. Так, *Л. А. Сафронов* в стихотворении «Поле Куликово» (в цикле «Соловей — певец захолустья») вспоминает ночь накануне битвы:

Я к земле сырой приставил ухо
… … …
И услышал, как рыдают глухо
Русская с татарскою женой.
… … …
… княгиня Евдокия
На другом курлычет берегу.
… … …
— Матерь Божья, помоги дружинам
Воротиться к женам в отчий дом.
(«Наш современник». 2001. № 4. С. 27).

Поэт свел воедино «женские» мотивы, в том числе о жене Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевне, из «Сказания о Мамаевом побоище» и «Задонщины». Очень

примечательно то, что поэт жалеет и русских женщин, и татарских . Хотя в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище» (а позднее в «Казанской истории») подобная жалость, охватывающая обе стороны — и русских, и татар, — в некоторой степени уже была выражена, однако Л. А. Сафронов демонстративно разделил свое сочувствие поровну на обе стороны. Этот примирительный жест сделан, конечно, в соответствии с требованиями нашего нынешнего исторического момента.

Но продолжим обзор поэтического отображения различных этапов Куликовской битвы.

Расположение отрядов, — опять все возвышенно-романтично:

Велением властной руки
За древа непрядвской дубравы
Сокрыты лихие стрелки
И отроки
в чаянье славы
… … …
«Во первых семь дней сентября
На Дон собиралися вои…»
Скакали, коней торопя,
Шагали росистой травою

(*А. В. Шацков*. Восьмое сентября // «Москва». 1999. № 11. С. 119).

Якобы летописную цитату поэт сам сочинил.

Особенно любят поэты начинать описание событий с куликовского утра:

На поле Куликовом стынет рать.
Полнеба
зори золотом убрали.
… … …
И тьму столетий слышат на Руси
Поочередно пахарь или воин

(*Денисов В.* Евразийская история // «Наш современник». 2005. № 2. С. 105. Цикл «Нас делали Христос и аллах»).

Или иной, более лиричный, немного отдающий «Словом о полку Игореве» вариант описания утра накануне Куликовской битвы:

Утро над полем сраженья встает.
Вскинуты пики. Натянуты луки.
Гибнут мужчины…
А баба поет
древнюю песню о вечной разлуке

(*Кочетков В. И.* Задонщина // «Наш современник». 1992. № 1. С. 92).

Затем троице-сергиев монах Александр Пересвет как символ отважного сопротивления возникает в памяти поэтов. Надо выбирать:

то ли с копьем Пересвет,
то ли в ярме со скотом
(*Переверзин И.* Снежный подорожник // «Москва». 1995. № 12. С. 121).

Призыв:

Взлети, взлети на стремя, Пересвет!
(*Сорокин В. В.* Русский путь // «Наш современник». 2006. № 7. С. 137).

Один из поэтов то ли в шутку, то ли всерьез воскликнул: «Пересвет! — он подобен атлету!» (*Скуляков А.* Покшинская панорама // «Наш современник». 2007. № 2. С. 285). Но, к сожалению:

Убит Пересвет — Ослябе
еще воевать за Русь
(*Гречко О. П.* Наши реки ушли под лед // «Наш современник». 1996. № 9. С. 60).

В сущности же, образа Пересвета нет, только символ.

Посмертная похвала Пересвету и Ослябе:

Жив Пересвет, Ослябя — жив,
пока их помнят наши храмы.
Сим инокам слагая стих,
судьбы их пригубляя чашу…
Отчизну чтить учусь у них
благословеннейшую нашу
(*М. Н. Аввакумова.* В старом Симонове // «Москва». 1999. № 3. С. 47).

В сущности, вполне предсказуемая риторика и вполне ожидаемые героизирующие штампы (благо их много) наполняют стихотворения о Куликовской битве.

Иногда, но редко, поэты выделяют и самые напряженные моменты начавшейся битвы:

Лук — Непрядва, полк — стрела,
Дон натянут тетивою.
… … …
Под Бренком уж княжий конь
(*Лубовская М.* Куликово поле // «Москва». 1994. № 1. С. 100).

Тут уж поэт снова не упускает возможности перенести себя в те времена и вообразить себя участвующим в сражении:

Мы вновь на поле Куликовом.
Как ощетинилась Орда!
Зарницы в сумраке суровом
И красная в реке вода.
Засадный полк еще в засаде,
и гибнет полк передовой.
… … …
я в черной сотне рядовой.
… … …
аз есмь на ратном рубеже.
… … …
Я в черной сотне самый черный,
чернее — только Пересвет
(*Осипов В.* На русском рубеже // «Наш современник». 1997. № 7. С. 117).

В этом стихотворении поэт объединил и усилил, так сказать, экологические сведения из «Сказания о Мамаевом побоище» и «Задонщины». Но не ясно, почему В. Осипов столь настойчиво стал подчеркивать мотив черного цвета, несвойственный древнерусским произведениям о Куликовской битве. В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминаются, но нейтрально, *черное* знамя Дмитрия Донского и *чернец* Пересвет. Возможно, черным цветом поэт хотел подчеркнуть трагичность битвы на Куликовом поле, однако отчетливости его ассоциации мешают его же двусмысленные утверждения о своей принадлежности к «черной сотне», в которой он «рядовой» (термин явно из нашего времени).

Наконец, поле Куликово уже после битвы вызывает специфический отклик в душе поэтов. В древнерусских произведениях о победе в Куликовской битве конец обычно был умиротворенно-радостным или, по крайней мере, мажорным. У наших же современных поэтов настроение беспросветно-трагическое:

Над мертвым полем Куликовым,
когда усопших погребут,
в стране угрюмой и суровой
крылами лебеди гребут.

И перья белые роняя
на голову и мятый шлем…
… … …
Стальная мертвая дружина
и поредевшая орда…
(*Кругляков Г. В.* Гуси-лебеди // «Наш современик». 1999. № 12. С. 124. Цикл «Взгляд из-под ладони»).

Свое тягостно-похоронное напряжение поэт выдает характерной оговоркой: у него погребают не убитых, а «усопших». Зловещи в этом мрачном мертвом поле металлически окостеневшие «усопшие» и над ними белые, как бы остановившиеся

лебеди. Г. В. Кругляков, возможно, припомнил описание погибшего войска из «Повести о разорении Рязани Батыем», а также живописные источники типа картин В. М. Васнецова и В. В. Верещагина, изображавших поля битв после сражений.

И вот совсем трагическая картина:

Уязвленный стрелой, потерявший коня,
Без щита и без шлема лежал он у Дона.
Багряницей кровавой покрылась броня.
… … …
Это Дмитрий над павшими другами плачет.
… … …
Застонал богатырь: «Я живой, не убит».
… … …
Уязвленный стрелой, он лежал на земле,
В небеса устремив взгляд последний, холодный
(*О. Селедцов*. После сечи // «Москва». 2001. № 12. С. 129).

Такой подход к Куликовской битве сейчас, наверное, типичен. Например, подобное же, скажем так, лежаче-кладбищенское настроение, хотя менее ясно и другими словами, выразил другой поэт:

Я обнимаю поле Куликово,
Как пращуры далекие мои
(*Борисов М. Ф.* Цикл «Дней ушедших трепетные лица…» // «Наш современник». 2006. № 5. С. 82).

В общем, современным поэтам душевно тяжко напоминать читателям о Куликовской битве. Ср. стихотворение *А. Малашенко* «Переславль»:

Спит Переславль — великий город,
Брат старых русских городов.
… … …
Всех нас на поле Куликово
Не кличет Переславский князь.
Спят витязи твои в бесславье.
… … …
И плач горючий Ярославен
Вотще не трогает их сон
(«Наш современник». 2002. № 9. С. 144).

Куликовская битва обернулась поражением, подобным Игореву. Вот до чего довела А. Малашенко тоска.

XV век

Люди, события и произведения Руси XV в. оказываются наименее привлекательными объектами для новейшей русской поэзии. В лучшем случае это лириче-

ские знаки, риторически упоминаемые поэтами, вроде «Троицы» Андрея Рублева у *А. В. Шацкого*:

Пребудут в скорбях над тщетой, надо лжой
Три Лика Андрея Рублева.
Три ангела в блеске цветенья поры
(«Москва». 2005. № 8. С. 140)

Поэты проявляют склонность к лирическим упоминаниям о сравнительно малоизвестных сейчас лицах и явлениях. Так, *Л. Скатова* в стихотворении «Полоцк — Иерусалим» описала раку полоцкой княжны Евфросинии Георгиевны в Полоцке:

…и тусклый мрамор
полов, по коим ты взошла,
из града Полоцка, княжна
Далее подходим
мы к изголовью Ефросиньи,
что дремлет в изголовье синем
(«Наш современник». 1998. № 1. С. 139).

Вообще-то Евфросиния (Предслава) Полоцкая, праправнучка Владимира Крестителя, жила в XII в., но ее «Житие» было составлено, скорее всего, не ранее XV в., через посредство которого поэтесса могла узнать о путешествии преподобной в Иерусалим, где та и скончалась. Раку Евфросинии на тускло-мраморном полу Л. Скатова представила в романтически дремлющей дымке, извлекши синий цвет из самого имени блаженной, для еще большего облагорожения предмета поклонения.

Другой поэт — *С. Золотцев* в цикле «Молитва моя о России» — вдруг назвал еще один редко вспоминаемый ныне объект: «Я сложил свою песню, свою голубиную книгу» («Наш современник». 1992. № 10. С. 102). Апокрифическая космогоническая «Голубиная книга», сложившаяся, предположительно, в XV в., преобразовалась в сознании С. Золотцева на основе его субъективной поэтической ассоциации в интимно-лирическое песенное творение, ласкающее слух.

Лишь одно событие XV в. больше всех попало в сферу внимания современных русских поэтов — ознаменовавшее конец татаро монгольского ига знаменитое «стояние на Угре» войска Ивана III против войска ордынского хана Ахмата в 1480 г. Поэт *И. Смолянинов* написал, что видна река

…Угра синей лентой вдали.
Здесь Русь и Орда выжидали друг друга
На грани Московской земли
(«Наш современник». 1994. № 4. С. 86).

Опять романтический синий цвет, то ли грустный, то ли зловещий, то ли просто красивый, введен поэтом в описание исторического события, произошедшего

поздней осенью, когда Угра, по сообщениям летописей уже замерзла, то есть не могла синеть.

Д. Кузнецов в «Балладе о великом стоянии» иначе изобразил то же событие:

Но лежит под ногами колючий,
Пять столетий не тающий снег.
На щитах — неземное сиянье.
Сжаты намертво копий древки.
Это — в вечном великом стоянье
Мы застыли у вечной реки
(«Наш современник». 1997. № 8. С. 38).

Однако и в этом стихотворении заметна настроенность поэта на романтический шаблон, только другой, на изображение застывшего, как бы замерзшего или окаменевшего войска, превращенного в памятник, символизирующий вечное значение великого подвига русских воинов.

В новейшей русской поэзии встречается также кратчайший стихотворный перечень некоторых исторических событий со второй половины XIV в. по начало XVI в., например, в своего рода краеведческом цикле *А. А. Боброва* «Холмы Москвы», в стихотворении «Боровицкий холм» упоминаются:

…спящий здесь Стефаний Пермский,
Создавший грамоту зырян.

— Почали строить город камен, —
Выводит отрока рука.
… … …
Москву назвали Третьим Римом…
(«Наш современник». 1997. № 9. С. 4).

Просветитель коми первый епископ Пермской епархии Стефан умер в 1396 г.; «городъ камен», то есть каменные стены московского Кремля, начали строить в 1367 г.; Москву уверенно называть Третьим Римом стали с начала XVI в. Вряд ли А. А. Бобров самолично собрал эти факты, рассеянные в различных житийных, летописных и эпистолярных источниках XV XVI вв.; наверняка он просто повторил сведения из какого-либо путеводителя, но для вящей значительности сдобрил изложение поэтическими шаблонами: Стефана превратил в Стефания, конечно же, спящего (или дремлющего) в могиле; ввел писца (почему-то отрока), своей рукой описывающего памятное событие, и т. п., вполне апробированный стихотворцами способ подачи исторических фактов.

XVI век

Русь XVI в. еще отрывочней представлена в новейшей русской поэзии. Даже Иван Грозный пока отсутствует в ней как персонаж, а современники Ивана Грозного упоминаются крайне скупо. Например, *М. Н. Аввакумовой* в «Заздравной пес-

не» из цикла «Черные нитки» восхвалена «родина Игоря и Пересветова» («Наш современник». 1995. № 8. С. 45). Похвала не совсем ясна и даже двусмысленна, так как не понятно, кого имела в виду поэтесса, современника Ивана Грозного, писателя-публициста XVI в. Ивана Пересветова или же современника Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы монаха Пересвета, а также героя «Повести временных лет» князя Игоря Рюриковича или же героя «Слова о полку Игореве» князя Игоря Святославовича. Кстати, ни того, ни другого Игоря нельзя считать героическим символом Руси. Целиком полагаться поэту на безграничное риторическое воодушевление, видимо, не полезно.

Из крупных событий XVI в. поэты поминают взятие Казани Иваном Грозным, и то глухо, как, например, *И. И. Тюленев* в стихотворении «Историческое» (в цикле «Нужно дальше как-то жить»):

Чу, это шип пищалей, сабель звон.
… … …
Взорвали порох под стеной кремля
Казанского. Подкоп мог вырыть я!
(«Наш современник». 2003. № 5. С. 32).

Шаловливо зачислил себя в добровольцы…

Больше нравятся поэтам, так сказать, исторически маргинальные персонажи XVI в. Так, *Н. Рачков* в стихотворении «Блаженный Вася» рассказал о Василии Блаженном:

Вопя не о царе Иване,
На гноище, на свежей ране,
Подъявши к храму очеса,
Опять сидит блаженный духом,
Ловящий потрясенным слухом,
О чем взыскуют небеса.
… … …
А он, счастливый, в струпьях, в прахе
Каким-то вервием трясет
(«Наш современник». 2004. № 2. С. 63).

Вряд ли поэт читал малоизвестное «Житие Василия Блаженного» конца XVI в. Однообразный нищенский облик юродивого Н. Рачкову, возможно, на самом деле подсказала картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Женские маргинальные образы, естественно, больше привлекают поэтесс, как например, *М. Муравьеву*, прочувствованно написавшую о главной героине «Повести о Петре и Февронии» 1540-х годов стихотворение «Феврония»:

То-то правда, что дщерь древолазца,
Хоть в княгинях свой век прожила.
За тобой мне ни в чем не угнаться,
Только крохи сбирать со стола.

— Ты прости меня, брате Давиде,
Что не чином оправила стол.
Что тропой своей княжеской идя,
В простоте меня сущу обрел.
Ты конца своего очевидцев
Третий раз присылаешь ко мне. —
Сколько хитрости было в девице,
Сколько кротости в старой жене.
… … …
— Господине ты мой, властелине,
Погоди, я иду за тобой! —

Здесь ничего не режет слух, уместно использованы фразеология и детали повести, гладкие речи героини мягко чередуются с афористическими рассуждениями поэтессы, реалии из повести незаметно переосмысляются ею в символы, и все это передает настроение зрелой кротости как Февронии и Петра (в монашестве — Давида), так и самой М. Муравьевой, кротости, наверное, в противовес нынешнему некроткому времени.

Наконец, совсем малоизвестную легенду о почти неизвестном лице стихотворно пересказал *В. Верстаков* в балладе «Над житием Даниила Московского»: на охоте князь Василий Иоаннович Шуйский в разрушенном монастыре перед посадкой на коня «ста на плиту среди сырой земли», где «был Богом упокоен блаженный князь московский Даниил»; конь сбросил Шуйского, и «был покалечен князь» («Наш современник». 1997. № 7. С. 101). Поэт действительно прочел подобный рассказ про московского князя XIII в. Даниила Александровича, восходящий к «Степенной книге царского родословия» XVI в., но перепутал действующих лиц. В «Чуде о князе Иване Шуйском» в «Степенной книге» сообщалось о том, что в свите великого князя московского первой трети XVI в. Василия III Ивановича находился некий князь Иван Михайлович Шуйский, с которым и приключилась эта неприятная история. У В. Верстакова же сброшенным с коня оказался князь Василий Иванович Шуйский, будущий царь, и, следовательно, событие было перенесено лет на сто вперед, в Смутное время начала XVII в. Кроме того, в древнерусском тексте сказано, что Василий III ехал по какому-то своему делу, а не именно на охоту; что в старом Даниловском монастыре на гробе с мощами Даниила Александровича с древних лет лежал камень, и именно с камня, а не с плиты пытался князь Иван сесть на коня; а также, что конь с князем вдруг стал на дыбы, упал и умер, очевидно, придавив князя, которого затем еле живого, но все же не покалеченного, вытащили из-под коня. Неточности у В. Верстакова свидетельствуют о невнимательности или забывчивости поэта, поспешившего досочинить предание о скором наказании грешника за святотатство.

XVII век

XVII век в новейшей русской поэзии представлен всего лишь несколькими темами, и то скупо. Начнем со Смуты. Не столько события Смутного времени в России начала XVII в., сколько отдельных его участников вспоминают современные русские поэты, причем напоминания эти обычно описательны и более чем кратки. Например, *М. Ю. Евдокимов* в цикле «Жребий», в стихотворении «Гермоген» жалеет несчастного патриарха Гермогена, которого, как известно, за его несгибаемость польские интервенты в Москве уморили голодом в январе 1612 г.:

Перед лампадой плачет патриарх,
Стар, немощен, но фанатичен в вере
(«Москва». 2006. № 7. С. 70).

Н. А. Мирошниченко в цикле «Родина! Родина! Там на лугу…» многозначительно взывает: «Пожарский где? За Мининым пора!» («Наш современник». 2004. № 11. С. 6). Впрочем, в цикле *Ю. Н. Щербакова* «А герои уходят в былины и сказки…» все благополучно завершилось в августе 1612 г.:

Как в том далеком годе,
Когда вошли полки
Пожарского в Москву

И затем уже 1642 г.:

И спаситель Отечества
Дмитрий Пожарский
Похоронен был
В Суздальском монастыре
(«Наш современник». 2006. № 7. С. 93).

Кроме того, изгнание поляков из Москвы с удовлетворением описал *А. А. Бобров* в стихотворении «Псковская горка»:

Князь отчаянно ведет,
Собирая войск останки,
Бой у Сретенских ворот,
Бьет поляков на Лубянке
(«Наш современник». 1997. № 9. С. 4).

Конечно, можно придраться: «войск останки» это убитые и похороненные, «останки» уже ничем не могут помочь в бою, они вместо «остатков» появились ради рифмы. А в общем, стихотворной исторической фактографией можно назвать подобного рода творчество поэтов на тему о Смуте.

Последующая тема, которой сейчас лишь изредка касаются поэты, это казачество и различные вольные люди России XVII в. Историческую справку о казаках изложила *М. В. Струкова* в стихотворении «Предки»:

За службу на южной границе
Наделы им дал государь.
Взошло далеко от столицы
Село Туголуково встарь.
… … …
Там гнули особые луки
И русский хранили рубеж
(«Наш современник». 2005. № 10. С. 58).

Рассказано о казаках пока с традиционно-благожелательным чувством. Но вот новые нотки появились у разных поэтов в стихотворениях о Степане Разине. *И. С. Стремяков* в стихотворении «Стенька» (цикл «Полынья») едко поддел когда-то превозносимого литераторами предводителя восставших:

С казаками разбойного толка
веселя и бунтуя народ,
Стенька Разин гуляет по Волге
и за городом город берет.
… … …
Высоко залетел казачишка —
очень больно потом упадет
(«Наш современник». 1994. № 10. С. 104).

В том же смысле высказался и *Н. Оболонский* в стихотворении «Воровской поход» (цикл «Темная зелень озимого поля»). Разин — хитрый мужик, его помощники — палачи:

Не оттого ли с наложницей Разин
Ласковый — как никогда?
… … …
Други его, распалясь от винища,
Тащат к реке воевод
(Там же. С. 107)

Поэты быстро идеологически перековались в духе последнего времени: как это не уважать царскую власть и бунтовать народ? — такие люди плохи, и будет им плохо.

Аввакум

Наиболее популярная фигура XVII в. в новейшей русской поэзии — это родоначальник раскола протопоп Аввакум. О нескольких моментах его биографии, известных в основном из его «Жития», и предпочитают писать поэты. Прежде всего, об взаимоотношении Аввакума и царя Алексея Михайловича рассказал *В. И. Кочетков* в стихотворении «Обличение Аввакума»:

Нескладуха шумит
на Великой и Малой Руси.

Рушат старую веру
лукавые никониане.
На дорогах разбой.
А в Приказах — ворюга на воре.
Не природный русак,
а заморский ловкач Лигарид
у царя с патриархом
в высокой чести и фаворе.
… … …
Ой, гляди, Государь,
промотаешь ты царство свое.
Все овечки твои
обернутся, поверь мне, волками.
… … …
И сказал Государь:
— Нечестивца в сибирский острог!
(«Наш современник». 1992. № 1. С. 90–91).

Стихотворение, особенно его якобы исторические детали, отразило не столько проникновение В. И. Кочеткова во внутренний мир Аввакума через его сочинения (в стихотворении редко когда используются выражения самого Аввакума), сколько подмену облика реального церковного бунтаря XVII в. шаблонным представлением об обличителе государственной власти гораздо более позднего времени (сами словечки «в фаворе» и «ловкач» уводят нас в другую эпоху). В действительности же Аввакум никогда не произносил обличительных речей перед царем и не посылал ему обличительных посланий по сугубо государственным вопросам, тем более перед своей первой ссылкой 1653 г. в Сибирь; да и не царь, а патриарх Никон был инициатором ссылки Аввакума, царь же Алексей Михайлович относился к Аввакуму хорошо, по крайней мере, мягко; наконец, грек Паисий Лигарид появился при царском дворе не ранее 1661 г., так что о нем Аввакум и не слышал ничего в 1653 г. Аввакум у В. И. Кочеткова чисто условная фигура, актуальный ныне носитель протестной идеи, причем выражающийся менее ярко и хлестко, чем это делал Аввакум в реальности.

Другие эпизоды из жизни Аввакума поэты упоминают довольно скупо. Так, знаменитый эпизод о том, как в сибирской ссылке протопоп со своей женой Анастасией Марковной, по рассказу «Жития», «по льду голому… брели пеши, убивающеся о лед», был сведен поэтессой *М. Н. Аввакумовой* к приземленному замечанию усталой жены: «Побредем, Аввакумко, опять… Побредем… Ничего» («Наш современник». 1995. № 8. С. 45). Содержание эпизода из «Жития» в стихотворении обеднено. Ведь в «Житии» здесь присутствует идея не покорности, а сопротивления. Жена обратилась к мужу в высоком стиле, называя его протопопом: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И протопоп, уважительно назвав ее по отчеству, ответил ей сочувственно, однако призвал к бесконечной стойкости: «Марковна,

до самыя до смерти!» И протопопица одобрила их подвиг: «Добро, Петрович, ино еще побредем». У поэтессы же Марковна, в сущности, уничижительно обозвала протопопа «Аввакумкой». Поверхностное знание литературного памятника в конце концов привело поэтессу к искажению его смысла.

Чаще же всего поэты поминают или даже живописуют казнь Аввакума сожжение его в северной ссылке, в Пустозерском остроге по указу царя Федора Алексеевича в 1682 г. Таково, например, стихотворение *В. Журжина* «Протопоп Аввакум»:

Был бит и сана был лишен,
но не смирился и сожжен
на злом костре как еретик
за то, что смел хулу речи
о государевом дворе
(«Москва» 2005 № 9 С 49)

Не останавливаясь на различных мелких неточностях в стихотворении, отметим все же одну несообразность, кажется, принципиальную: Аввакума и его трех сподвижников сожгли в срубе (не на костре!) «за великия на царский дом хулы», в первую очередь на покойного царя Алексея Михайловича. Не понятно, зачем В. Журжину, вопреки официальной формулировке, понадобилось говорить о хуле Аввакума на государев двор: чтобы верноподданно не упоминать о неуважении к царю?

Что же касается костра, на котором якобы был сожжен Аввакум, то это, по-видимому, распространенная поэтическая ассоциация с костром инквизиторским Ср. у *В. В. Артемова* в «Слове плачевном о протопопе Аввакуме» (цикл «Прости атамана»):

Прикрутили суровой веревкою…
и огонь занялся
(«Москва». 2004. № 10. С. 8).

Кроме некоторых конкретных событий из жизни Аввакума, наши современные поэты любят порассуждать об общем значении этого родоначальника раскола, но опять-таки с какой-то мешаниной реалий и идей. Например, *М. Сопин* в стихотворении «Последний перекресток» выразился так:

История вокруг,
В тебе, с тобою.
Тишайший, Аввакум и Мономах
(«Москва». 1995. № 10. С. 75).

Связь Аввакума и «тишайшего» царя Алексея Михайловича понятна. Но при чем тут Владимир Мономах?

Далее. *В. Мухин* в стихотворении «Явление Аввакума» нарисовал следующую картину:

Из моря вышел дерзостный старик.
… … …
Мы услыхали слово Аввакумово:
… … …
— Еще чуток — пожрали б ни за что
Друг друга, яко волки пустобрюхие
(«Наш современник». 1998. № 1. С. 137).

Что-то не припоминается, когда это Аввакум выступил в роли миротворца и где употребил сравнение с пустобрюхими волками. Но самое главное: что это за море, из которого якобы вышел Аввакум, и вообще — при чем тут море?

Еще один пример нескладных мыслей витии о роли Аввакума находим в стихотворении *Ю. Э. Савченко*:

Полно витися, думушка, над гнездом души,
Полно век, Аввакумушка, коротать в глуши
Старина ты старинушка, византийский сон!
От раскольного клинушка звон до сих времен.
… … …
Не покинь, Аввакумушка, в длани меч вложи!
(«Наш современник». 1995. № 7. С. 49).

У поэта выходит, что XVII век — это «византийский сон», в расколе им ощущается нечто разбойничье, а Аввакум представляется воином или даже военачальником с мечом в руках, по своей воле (или в результате отставки) коротающим свой век в глуши, но могущим благословить на битву. Стихотворец витиевато обратился не по адресу.

Из современников Аввакума поэты иногда описывают боярыню Феодосью Прокопьевну Морозову — в точном соответствии с суриковской картиной, как например *С. И. Соколов* в стихотворении «Боярыня Морозова» (цикл «Летняя погода»):

Глаза твои запавшие
Да иссушенный лик,
На сани тело павшее…
(«Наш современник». 2000. № 8. С. 21).

Тот же привязчивый суриковский источник ощущается в стихотворении *М. Кралина*:

…боярыню Морозову
на злую гибель увозили.
… … …
…женщины с двумя поднятыми перстами.
… … …
…бояр глумливый гогот
(«Наш современник». 2002. № 3. С. 152).

Однажды был упомянут и главный враг Аввакума — патриарх Никон, но в странном контексте. *В. П. Голубева* в стихотворении «Потомок Аввакума»

(цикл «Пора возвращаться») терзали смутные сомнения насчет того, кто же оказался прав:

Пойми: Аввакум или Никон?
Хорошо или плохо
То, что Никон содеял над книгой в палатах приказных
С языком…?

Но последствий их борьбы никто не предвидел:

Не гадал Аввакум, да и сумрачный Никон не баял,
Выходя, словно царь, из Крестовой палаты потемок
… … …
Перепуталось все…
(«Наш современник». 2001. № 7. С. 53–54).

Сомнения нынешнего поэта выступают как предчувствие очередного пересмотра истории Руси не совсем достойными потомками прошлых борцов.

История Руси

Уникальную попытку создания поэтической истории отрицательных героев Древней Руси (и Европы) предпринял *Ю. Кузнецов* в поэме «Сошествие во ад», отчасти следуя Данте, отчасти «Хождению Богородицы по мукам». На самом деле это злорадный суд православного поэта над многочисленными изменниками, еретиками, палачами и разбойниками; их множество:

В огненной яме стояла косматая тень.
То был Олег, князь рязанский, и вечные муки.
К черному солнцу вздымал он дрожащие руки
… … …
То был Исидор
Он подписал…
Гнусную унию.
… … …
Был и Курицын, остистый осевок литовства,
И волошанка Елена, невестка царя.
… … …
В огненной яме стояла косматая тень.
Это был Курбский…
… … …
Я увидел на огнище царя Иоанна.
… … …
— Стенька, проснись!..
Стал по частям собираться…
(«Наш современник». 2002. № 12. С. 27–32).

Но здесь не место оценивать столь мрачную поэму, в которой подробно описываются посмертные муки древнерусских исторических лиц, однако об их прошлой земной деятельности напоминают иногда только краткие ярлыки, ка к бы повешенные автором на мучимых.

Древние города

В известной мере самостоятельной темой новейшей русской поэзии является воспевание старинных русских городов.

О древнерусской Москве поэты сейчас пишут очень редко. Не без труда удалось найти лишь одно произведение, да и то вне круга наших обычных источников, — поэму *С. В. Мясникова* «Легенда о Московии» в газете «Московия литературная» (2006. Сентябрь, № 8 9. С. 10):

А в век десятый походя заглянем:
На берегах извилистой реки
Селиться стали пращуры славяне.

Сто лет спустя на северо-восток,
На край Руси спешат переселенцы,
Кто от степных набегов изнемог,
Мужья и жены, старцы и младенцы.
… … …
Кучка боярин знатным слыл весьма,
Все села вдоль реки в боярской воле.
И потому подножие холма
Именовалось как «Кучково поле».
… … …
Правителем Залесской же земли
Был Юрий князь, прозваньем Долгорукий…

И далее об основании Москвы Юрием Владимировичем Долгоруким развертывается стихотворная история, написанная на основе трудов известных российских историков (поэт перечисляет эти труды) и с обильным использованием распространенных поэтических штампов, а также со внезапными нелепостями, вкравшимися в гладкое рифмованное повествование, например, в дремучем лесу князь повстречал страшного зверя:

И словно на врага на поле бранном,
На зверя он рванулся, осердясь,
С отвагою взмахнув мечом буланым.

Что это за меч? Судя по рифме, здесь нет опечатки, С. В. Мясников имел в виду меч именно буланый, наделив меч конской мастью!

Прочие города Древней Руси тоже редко упоминаются современными поэтами. Так, о древнем Пскове и псковитянке княгине Ольге однажды было высказано

несколько похвальных слов в стихотворении *А. Н. Логвинова* «Пскову 100 лет» (цикл «Пред ликом небесной царицы…»):

Я был крещен задумчивым Изборском,
И колыбель качал могучий Псков.
… … …
Такая у княгини Ольги ширь
(«Наш современник». 2004. № 4. С. 5).

Ростов Великий удостоился такой строки у *С. А. Хомутова* в цикле «Мы поедем по русским родным уголкам…». «…оплечия Ростовского кремля» («Наш современник». 2005. № 8. С. 79). Смоленску же повезло больше в новейшей русской поэзии, наверное, потому, что он дает возможность поэтам описать смоленскую крепость и коснуться излюбленной военно-патриотической темы. Например, *Ю. В. Пашков* в стихотворении «Жить не одним столетьем» констатировал:

Жива в Смоленске старина.
Собор. И крепости стена:
Прицельно щурятся бойницы,
И в башнях ратный дух гнездится
(«Москва». 2006. № 7. С. 111).

Подробнее историю смоленской крепости раскрыла *Н. Н. Егорова* в стихотворении «Легенда о башне Веселухе»:

Чтоб лях и литвин не дошли до Москвы,
Возвел Годунов эти стены и рвы.
Нашел он, смиряя преданий огонь,
Могучего зодчего с кличкою Конь.
От гроба святого следы хороня,
Под башню впечатали череп коня
(«Наш современник». 2004. № 8. С. 133).

Факты, взятые, должно быть, из какого-то пособия, поэтесса деловито изложила слогом пушкинской «Песни о Вещем Олеге» и его коне, — в итоге получилась рифмованная речь экскурсовода.

Общие темы

До сих пор мы говорили о конкретно приуроченных исторических темах новейшей русской поэзии. Теперь же обратимся к ее темам общим, — о различных древнерусских явлениях и объектах вообще.

Воинскую древнерусскую тематику современные поэты затрагивают в первую очередь. При этом ход мыслей поэтов бывает примерно одинаков: древнерусское войско охраняет нас как бы и сейчас, мы как бы его часть. Именно такую мысль высказал *В. Н. Вьюхин* в стихотворении «Копья» (цикл «Поднимутся светлые храмы»):

Но не зря древнерусская рать
Сквозь века протянула нам копья.
… … …
…Мы умеем стоять,
Приподняв, чтоб виднее, забрало
(«Наш современник». 2004. № 11. С. 94).

Отдельные части страны также ассоциируются у поэта с охраняющим войском. Так, в стихотворении того же В. Н. Вьюхина «Полярный Урал» (цикл «Как хочется мира и лада…») вершины Уральских гор

…стоят…
Как воинства российского шатры.
… … …
…Подпоясана Россия
Твоим литым железным кушаком
(«Наш современник». 2005. № 11. С. 93).

Правда, как это нередко случается при неумеренном возвеличении объекта воспевания, в стихотворение неожиданно вкрадывается и непредусмотренный поэтом смысл: поставлены шатры, и Россия, неудобно подпоясанная железным кушаком, скорее, лежит, отдыхая, чем настороженно стоит.

В обобщенную воинскую тематику входит и поэтическое описание подготовки к некоему сражению, как например, в стихотворении *Д. Кан* «Ветер воли»:

Конь буланый. Меч булатный.
Небеса в крови.
На священный подвиг ратный,
Русь, благослови!
… … …
Щит к щиту. Шелом к шелому.
И плечо к плечу
(«Москва». 1998. № 5. С. 48).

Описывать приуготовления к ратному подвигу любят поэты. Так, многозначительно пишет *Н. А. Зиновьев* в стихотворении с многозначительным названием «Сон про наган» из цикла «На самом древнем рубеже»:

Я собрал князей удельных,
Холодок бежит меж плеч.
Я целую крест нательный.
Я беру двуручный меч.
— Постоим за веру, други!
… … …
Золотится на хоругви
Лик Спасителя Христа
(«Наш современник». 2006. № 9. С. 90).

Сам Н. А. Зиновьев помыслил себя не менее, чем великим князем, и, судя по названию стихотворения (про наган), одновременно и революционным комиссаром, призывая к предстоящей борьбе «за веру» уже в наше время. Обращение к древнерусской тематике помогло зашифровать этот призыв: осторожность («холодок бежит меж плеч») не помешает.

Из других обобщенных древнерусских тем поэты риторически иногда касаются проблемы богатства и бедности, но обычно невнятно, вроде *С. Воронова*:

И наверно, достойнее тщанья
Ваших игрищ на княжьем пиру
Побирушкой дуда обнищанья
Прокричит на высоком юру
(«Наш современник». 2004. № 2. С. 83).

Тему то ли антикняжеского, то ли антицарского бунта и казни однажды затронул *В. И. Кочетков* в стихотворении «Память»:

Он в кровавую плаху вдавился,
батогами иссеченный кметь.
А над площадью хищником вился
грозный, княжеский окрик: «Не сметь!»
И толпа каменела, немея,
И стрелецкие стыли полки
(«Наш современник». 1995. № 4. С. 7).

Характерная для В. И. Кочеткова мешанина разновременных исторических реалий дала о себе знать и в этом стихотворении, где одновременно присутствуют и кметь XII в. и стрелецкие полки XVII в.

Из всех древнерусских мотивов самым редким у поэтов является мотив языческих похорон, разумеется, в приложении к нашим современникам. Ср. грустное высказывание *К. В. Рябенькова* в стихотворении «В храме у Никитских» (цикл «Есть еще, люди, на свете...»):

И ладья твоя последняя
В край отчалит неземной
(«Наш современник». 2005. № 9. С. 151).

Нечто вроде некролога.

Самым же частым занятием любителей Древней Руси выступает славословие старинным книгам и рукописям. Так, *В. Мазин* в стихотворении «Читая летописи» растроганно написал:

Прохожу по неизвестности
Девяти веков своих
За российские окрестности
До угодий родовых.
За славянскими языцами
Повторяю древний слог.

За монашескими лицами
Вижу северо-восток.
Стрелы вольного охотника
Убираются в колчан.
Песнь югорского вольготника
Слышу я по кедрачам.
Переписчик Новгородчины,
Проводник мой дорогой.
Шлю привет с хантыйской вотчины
Православною рукой
(«Наш современник». 2005. № 6. С. 127).

Позиция поэта не совсем обычна для подобного вида стихотворений: в летописи (см. «Повесть временных лет» под 1096 г., где записан рассказ новгородца Гюряты Роговича) В. Мазин нашел упоминания о своих собратьях угре, за что и благодарен древнему новгородскому рассказчику; сам поэт относит себя к потомкам угры — к хантам; а для нерусского человека вполне простительно объясняться кудрявыми и не совсем правильными выражениями на русском языке, — такова, конечно, маска или шутка поэта.

Прочие поэты более единообразны в своем любовании старинной книгой. Поэтесса *Н. А. Мирошниченко* в стихотворении «Береза» восславила даже свиток: «Свиток мой древний, где каждая главка про Русь» («Наш современник». 2004. № 11. С. 5). Но снова приходится возвращаться к вопросу об отчетливости исторических представлений у поэтов. Конечно, без мешанины понятий поэтесса не обошлась (свиток состоял из подклеенных друг ко другу документов, писанных на столбцах, и не содержал глав; сам термин «глава» поздний). Ту же смесь времен встречаем в восхищенном стихотворении *И. Н. Хрущ* «Каллиграф» (цикл «Россия! Где твой свет высокий?»):

Витиеваты древних письмена
Дрожит перо в ручищах каллиграфа,
Когда он пишет: даты, имена
… … …
Расписывает буквы вензелями
… … …
А он сидел прикован, как цепями,
К пергаменту с витыми вензелями
(«Наш современник». 2006. № 7. С. 152).

В описании древнерусских почерков и писцов у поэтессы смешались века XI XIII и век XVII: ведь в раннее время писали на пергамене (а не на пергаменте!) строгим уставом и полууставом, вовсе не витиеватым; а в позднее время скорописный почерк на бумаге мог стать и витиеватым, но без вензелей, больше характерных уже для росчерков начала XIX в. Смесь времен ощутима и в облике «каллиграфа», профессионального, очень старательного и философичного в ранние времена, но,

вполне возможно, уже не профессионального и не каллиграфичного, а случайного и торопливого писца XVII в., который с дрожащим пером «в ручищах» сообщает «даты, имена». Все это И. Н. Хрущ намешала в одном человеке.

Не совсем ясно, к чему призывает *А. В. Шацков* в стихотворении «Опальный инок» (цикл «Край света»), быть скромным или отказаться от переписывания:

Сотри свое имя-изотчество —
Захлопни Лаврентьевский свод
(«Москва». 2001. № 6. С. 91).

Однако в большей степени привлекают современных поэтов не столько малодоступные рукописные, сколько виденные ими старопечатные книги. Так, *Н. Б. Рачков* в стихотворении «Душа божественное чтит…» дал поэтическое книговедческое описание такой красивой Псалтыри:

Из смутного XVII века
В телячьей коже редкая Псалтырь.
Заглавных букв малиновые звоны,
Церковных слов узорная резьба
(«Москва». 2005. № 12. С. 100).

Выражение «слов узорная резьба», возможно, свидетельствует о том, что поэт описал именно печатную книгу, которую, кстати говоря, можно даже идентифицировать: если Н. Б. Рачков отнес ее к Смутному времени, то это могла быть только известная московская «Псалтырь» 1615 г. с предисловием о событиях Смуты. Остальное — «звоны».

Другой поэт — *А. Н. Логвинов* — в стихотворении «Старое евангелие» яснее отметил, что он держал в руках и даже нюхал книгу именно старопечатную:

Тяжелый металл переплета,
Закладки злаченая нить.
… … …
… давнего времени слог.
Что буквы, что древности речи
… … …
Странички по запаху сладки,
Местами потерта печать
(«Наш современник». 2004. № 4. С. 6).

Правда, оговорка А. Н. Логвинова о потертости печати, то есть о потертости книжного шрифта, не является удачным указанием на древность книги, но, напротив, уводит нас в гораздо более поздние времена, когда книги стали печатать на нестойкой целлюлозной бумаге; в старых же книгах, напечатанных на тряпичной бумаге, шрифт оставался свежим на века, не истирался, не выцветал и не сыпался.

Завершим наш обзор древнерусской тематики в новейшей русской поэзии несколькими примерами использования старинных стилистических средств современными поэтами. Древнерусское слово поэты вообще-то ценят и слагают ему

хвалу. Вот и *Н. Б. Рачков* в стихотворении «Русское слово» (цикл «Говорить в России о России») напомнил:

Оно, как державная слава,
Сияло в устах Ярослава
(«Москва». 2003. № 7. С. 111).

Но тут поэт, кажется, перехвалил князя или перепутал князей. Дело в том, что, судя по летописи, красноречием отличался не Ярослав, а Святослав.

Для удачного использования древнерусских оборотов в поэтической практике нужно все же более тонкое знание памятников. Поэтому редко, но все же встречается у отдельных стихотворцев использование именно стиля определенного древнерусского писателя. Например, *Ю. М. Лощиц* в цикле «Христос ругается» обличил в манере протопопа Аввакума нынешние наши нравы и «Москву блудливую»:

До пуза бороды,
ноздри гневливые,
уста медовые,
слова елейные,
ручищи пухлые,
сребролюбивые
утробы плотные,
препохотливые
(«Наш современник». 2005. № 10. С. 43–44).

Голосом Аввакума Ю. М. Лощиц усилил саркастичность своего произведения.

Иногда поэты вспоминают выражения из отдельных памятников. Так, *С. Викулов* в поэме «Ханский ярлык» о событиях 1261 г. в речах своих персонажей цитировал то «Слово о погибели Русской земли», то, кажется, летописную повесть о нашествии Батыя:

… украсно украшен
Удел твой, князь, и город Городец!
… … …
Ведун-монах со скорбью написал:
… … …
— Секуще стар и млад, акы праву
(«Москва». 1995. № 2. С. 38, 40).

Подобные вкрапления, сделанные поэтами ради придания «древнерусского» колорита изложению, чаще всего встречаются в виде отдельных словосочетаний: «быть исполчаему на рать» (*Муравьева М.* // «Наш современник». 2000. № 6. С. 37); «я бью перед вами челом» (*Воробьев В. В.*Простите // «Наш современник». 2004. № 4. С. 130. Цикл «Не дай святынь на поруганье»); «премногое ныне в печальных цветах, слезами премногие век оросили» (*Хомутов С. А.* // «Наш современник». 2005. № 8. С. 78); и т. д.

Предварительные итоги проделанного нами обзора сводятся к следующему выводу, ясному вообще-то заранее, но теперь более детализированному: подавляющее большинство рассмотренных стихотворных произведений в той или иной мере относится к явлениям так называемой «массовой культуры» и содержит некоторые типичные для нее признаки.

Первый признак принадлежности к массовой культуре — сравнительно узкий круг тем и источников у стихотворцев, когда они пишут о Древней Руси. Поэты пользуются, как правило, самыми популярными и легко доступными материалами, — историческими пособиями разного рода, местными путеводителями, отдельными работами знаменитых историков, творениями великих поэтов прошлого (особенно А. С. Пушкина), а также постоянно переиздаваемыми текстами широко известных древнерусских литературных шедевров (особенно «Повести временных лет», «Слова о полку Игореве», «Сказания о Мамаевом побоище», «Жития» протопопа Аввакума и пр.).

Второй признак принадлежности к массовой культуре — поверхностность поэтов в понимании древнерусских материалов, смутность их припоминаний о когда-то давно, притом невнимательно прочитанных памятниках. Большую часть усилий стихотворцы тратят на причудливое переосмысление памятников и запомнившихся выражений из них и при этом допускают ошеломляющую мешанину разновременных, относящихся к разным векам понятий и деталей, потому что на самом деле такие поэты, кого бы они ни упоминали или ни описывали, представляют себе некие обобщенные образы людей Древней Руси вообще, даже превращают их в знаковых носителей неких, в основном политических или нравственных идей.

Лишь изредка бывают исключения, когда поэты, вчитавшись в памятники, почти без штампов создают одушевленные романтические варианты и даже как бы цветные миниатюры на основе древнерусских произведений; такие единичные художественные сочинения, конечно, уже нельзя отнести к массовой культуре.

Кроме того, в особый разряд новейшей стихотворной продукции на древнерусские темы можно выделить, по своей сути, учебно-познавательные рифмованные писания, авторы которых не утруждают себя осмыслением или переосмыслением памятников, а пересказывают фактографию древнерусских источников, готовят туристические зарисовки виденных ими материальных памятников Древней Руси или составляют декоративные стилизации под древнерусскую речь. Чаще всего это тоже явления массовой культуры наших дней, ее просветительское крыло.

Третьим же признаком принадлежности стихотворений на древнерусские темы к массовой культуре служит ходульность, прямолинейность и единообразие авторских настроений и идей. Ведь для чего эти авторы чаще всего сочиняют? — для демонстративного выражения своего патриотизма. Поэты составляют добровольную политическую дружину в массовой культуре. Отсюда следуют в новейшей поэзии бесконечное возвеличение и идеализация Древней Руси и православия, древнерусского войска и его побед, духовной стойкости русского народа и его руководите-

лей, — параллельно со скрытым или открытым осуждением нашей современности за отступление от вековых устоев жизни.

Но наряду с воинствующими или стонущими охранителями старины появились, если можно так выразиться, либеральные поэты, которые изобретательно занялись переоценкой того, что ранее безусловно считалось плохим: стали симпатизировать язычеству, деревлянам, татаро-монголам, патриарху Никону и пр. Эта новая струя в массовой культуре добавляет пока лишь формирующиеся идеологические штампы, притом в конгломерате со штампами старыми.

Есть еще четвертый, пожалуй, самый типичный признак принадлежности к массовой культуре у новейших стихотворений на древнерусские темы: преобладающая склонность к банальности, к риторическим перепевам того, что когда-то было сравнительно новым и оригинальным. Для сопоставления с недалеким прошлым поэзии можно использовать, например, книгу *В. В. Сорокина* «Где твой меч? Стихи, поэмы, баллады» (М., 2006). Автор, регулярно печатавшийся в журнале «Наш современник», собрал в книге свои произведения за 1960–1980-е годы с не совсем привычными для тех лет темами и образами. На фоне творчества В. В. Сорокина как активного представителя поэзии второй половины XX в. видно, насколько все-таки вторичны в своем большинстве современные русские поэты, затрагивающие древнерусские темы. Речь идет, конечно, не о прямых заимствованиях из В. В. Сорокина у новейших поэтов, а о продолжении прежних поэтических тенденций второй половины XX в. в новейшей поэзии конца XX — начала XXI вв. при обращении к темам древнерусским.

Рассмотрим (кратко) сходную тематику обоих этих периодов. Так, о крещении Руси В. В. Сорокин писал еще в 1969 г.:

Скоро грянет крестительный гром
Над великой языческой Русью
… … …
Там тяжелый искрящийся крест
Подымает Владимир высоко!
… … …
Где вы, идолы гордых славян?..
… … …
Никогда на земле — одному
Бесконечно не будут молиться.
… … …
Время грозно меняет богов,
Рушит статуи,
даже стальные!..
(«Крещение». С. 22–23).

И уважение к языческой Руси, и превознесение величия крещения, и язвительные намеки на нашу современность, — все эти характерные новые мотивы поэзии 1960–1980-х годов сохранились и растиражировались в новейшей русской поэзии, только как-то обмельчали.

Значимые упоминания имен из «Слова о полку Игореве» использовал В. В. Сорокин уже 30 лет назад:

Я твой правнук, Бояне.
Местью венчанный князь
(«Монолог гусляра». С. 34).

Или:

А в Ярославе вышла Ярославна
За реченьку, за горькие луга:
— А где же ты, мой суженый, мой славный?
(«Бессмертный маршал». С. 313).

В новейшей русской поэзии эти и другие имена из «Слова о полку Игореве» произносятся лишь с большей напыщенностью.

Далее. Евпатия Коловрата чаще всех древнерусских героев описывал В. В. Сорокин:

Идет —
Коловрат!
Коловрат!
И кованый шлем серебрится,
И конь под седлом горячится
… … …
Русый волос Евпатия
тронула вглубь седина,
На кудрявых висках,
на чупрыне поземка видна.
Так Евпатий тяжел,
так Евпатий комлист и высок,
Под обувкой, прессуясь, приокский сочится песок
(«Евпатий Коловрат». С. 164, 172).

Российских поэтов постсоветского периода не привлекает фигура народного героя Евпатия Коловрата, зато русыми могучими воинами предстают древние варяги-русы, сохранившийся штамп перенесен теперь на других персонажей.

По поводу татаро-монгольского нашествия на Русь новейшие поэты предельно лаконичны, хотя, к примеру, В. В. Сорокин в 1968 1975 гг. создал целую поэму «Евпатий Коловрат» и ряд стихотворений. Но, оказывается, опора на традицию вовсе не исчезла, и для перенимания традиции нынешними поэтами показательна одна «неправильная» деталь. В 1960 г. В. В. Сорокин в стихотворении «Я россиянин» упомянул ятаган:

Я приседал под свистом ятагана.
Мой путь прямой, и я не мог свернуть
Перед ордой лавинной Чингис-хана (с. 9).

Тот же, скорее, турецкий, а не татаро-монгольский ятаган в 1992 г. упомянул В. И. Кочетков в стихотворении о прямом и гордом князе Михаиле Черниговском; только в 1992 г. эти ошибочные ятаганы стали гораздо злее.

О Куликовской битве В. В. Сорокин написал много в 1970-е годы, и почти все его мотивы перешли в новейшую русскую поэзию. Вот примеры высказываний В. В. Сорокина:

И Пересвет
Сверкнул в седле крестом булатным
(Поэма «Дмитрий Донской». С. 214).

На бессмертный подвиг ратный
Русь Ослябю позвала.
… … …
Он скакал и меч навстречу
Поднимал перед ордой.
Падал яростно на плечи
Волос русый и густой
(«Воин». С. 40).

И над полем седым Куликовом
Низко-низко плывут облака
(«В синей дреме родного рассвета…». С. 36).

Облака идут-плывут на воле,
Звон мечей затих и стук подков
Отдыхает Куликово поле
В синеве торжественных веков
(«Поле Куликово». С. 49).

В новейшей русской поэзии, пожалуй, лишь усилилась только лирическая обработка тех же тем вместо эпической их подачи.

Далее. Облик Ивана Грозного В. В. Сорокин рисовал неоднократно («престольный, мрачный Иоанн… Сухой прищур и бледное лицо»; «воинственный и грозный Иоанн, как выжженный булыжник, темнолицый» — с. 55, 297–298). Новейшая же поэзия, как мы уже отмечали, избегает слишком тягостных, остро трагических тем и сцен, и поэтому образ Ивана Грозного в ней фактически отсутствует.

Смутное время сравнительно кратко поминал В. В. Сорокин («…Минин и Пожарский вдруг ополченье повели!»; «мы пропадем без Мининых, Пожарских, Сусаниных готовьте» с. 62, 252), еще лаконичней поминает Смуту новейшая русская поэзия.

Тему казачества В. В. Сорокин затронул очень благожелательно:

Седой Урал в сиянье небывалом.
Здесь подымал Ермак охранный меч
Над рваною Кучумовой ордою
(«Бессмертный маршал». С. 291–292).

Уважительное отношение к казачеству продолжено новейшей русской поэзией, но не всеми поэтами, некоторые из которых предпочитают говорить на эту тему с ухмылкой в адрес недозволительно вольных людей.

Наконец, у В. В. Сорокина редко, но все же встречались высказывания о старинных книгах и стилизация древнерусской речи:

Донской нахмурился, поник.
Пред ним — гора мудреных книг
("«Дмитрий Донской». С. 180).

И как поведал
мудрый летописец:
«Здесь было раны
некому лечити!..»
(«Евпатий Коловрат». С. 161).

Эти темы в новейшей русской поэзии подхвачены с особенным старанием и любованием как отражение недавней «моды» на древнерусскую литературу и культуру.

В целом, можно убедиться в том, что когда новейшая русская поэзия касается древнерусских тем, то она «ведет себя» как явление массовой культуры, быстро реагирующей на государственные и общественные потребности сегодняшнего дня, и этой оперативной душеспасительной миссией поэты гордятся.

Указатель имен

Анатолий Сергеевич Демин

ПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(XI—XIII вв.)

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор Н. Полякова
Оператор Е. Зуева
Оригинал-макет подготовлен Л. Гоготовой
Художественное оформление переплета С. Жигалкина

Подписано в печать 15.07.2009. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 32,895. Тираж 800. Заказ №

НП «Рукописные памятники Древней Руси»
№ госрег. 1067746430102
Тел.: 95-171-95. E-mail: **Lrc.phouse@gmail.com**
Site: **http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru**